This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

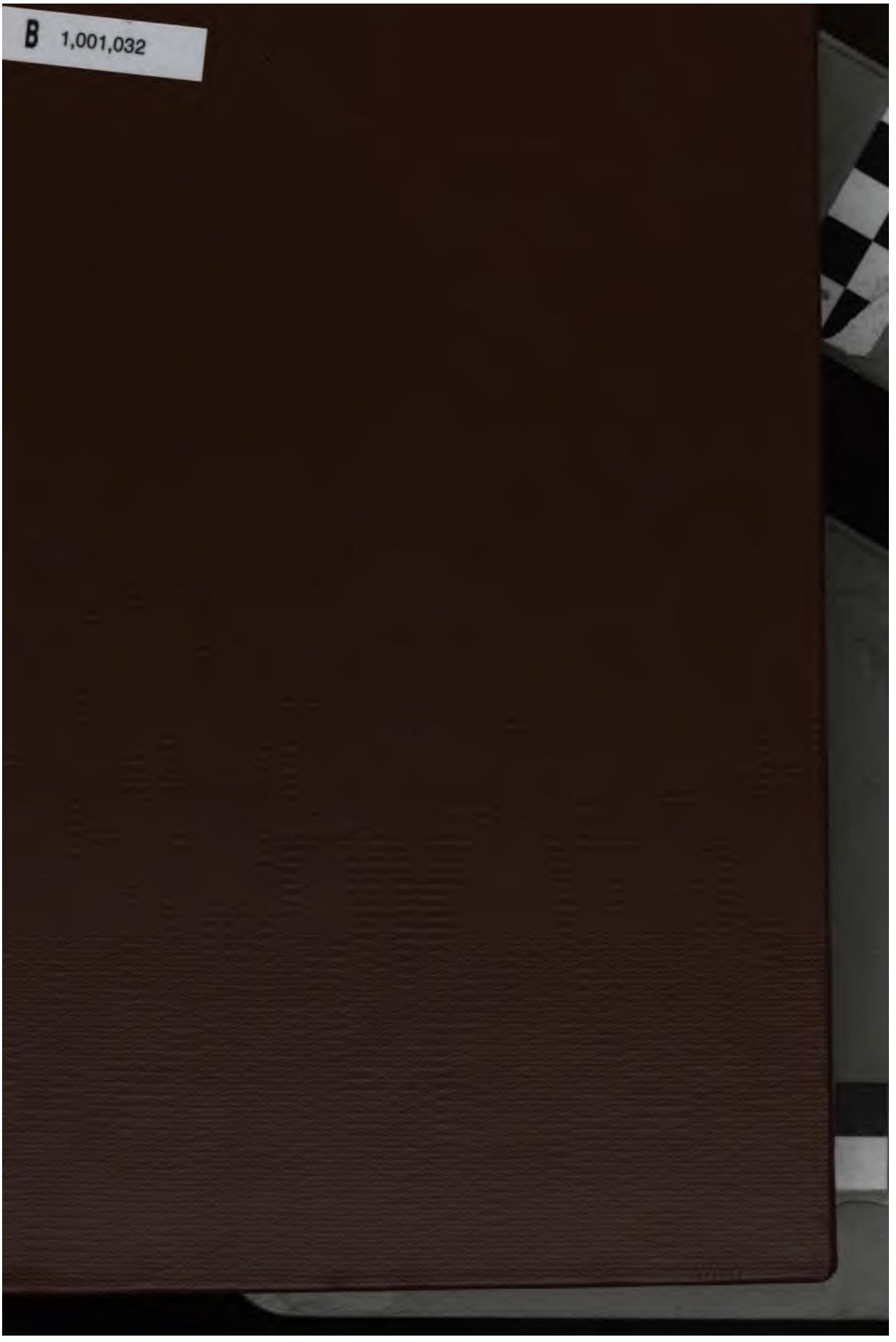
- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`

B 1,001,032



THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

THE UNIVERSITY OF MICHIGAN · LIBRARIES · 1817

И. В. Щепкинъ

Zhdanov, Ivan Nikolaevich

СОЧИНЕНІЯ

И. Н. ЖДАНОВА.

ТОМЪ ВТОРОЙ.

ИЗДАНІЕ ОТДѢЛЕНІЯ РУССКАГО ЯЗЫКА И СЛОВЕСНОСТИ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМІИ НАУКЪ.

Вас. Остр., 9 линія, № 12.

1907.

891.79
Z634
1904
v. 2

Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургъ, Декабрь 1907 г.
Непремѣнный Секретарь, Академикъ *С. Ольденбургъ*.

1023755-172

ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ТОМУ СОЧИНЕНІЙ И. Н. ЖДАНОВА *).

Согласно плану, одобренному Отдѣленіемъ русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ, въ настоящій томъ, которымъ заканчивается изданіе сочиненій И. Н. Жданова, вошли, кромѣ трудовъ покойнаго ученаго, и статьи, касающіяся его жизни и дѣятельности. Весь матеріалъ подраздѣленъ на четыре отдѣла, при чемъ всѣ сочиненія И. Н. Жданова расположены, какъ и въ первомъ томѣ, въ хронологическомъ порядкѣ.

Первый отдѣлъ составляютъ статьи по новой русской литературѣ:

1) *Н. И. Гнѣдичъ* (Рѣчь, произнесенная на актѣ Императорскаго Историко-Филологическаго Института, 5-го іюня 1884 г., по поводу столѣтія со дня рожденія знаменитаго переводчика «Иліады»). Печатается по бѣловой копіи, съ собственноручными поправками автора.

2) *Нѣсколько словъ о значеніи Пушкина въ исторіи русской литературы* (Рѣчь, произнесенная въ публичномъ засѣданіи Совѣта Императорскаго Александровскаго Лицея 29-го января

*) Общее введеніе къ изданію см. въ I-мъ томѣ.

1887 г.). Напечатано впервые въ книжкѣ: «29-го января 1887 года. Въ память пятидесятилѣтія кончины А. С. Пушкина», изданіе Императорскаго Александровскаго Лицея. Спб. 1887 г. (стр. 25—38) и отд.

3) *Л. А. Мей* (Рѣчь, читанная 17-го мая 1887 г. въ Императорскомъ Александровскомъ Лицеѣ, по случаю двадцатипятилѣтія кончины Л. А. Мея). Эта рѣчь не была издана, и сохранилась въ бѣловой копіи, съ собственноручными поправками И. Н. Жданова.

4) *О драмѣ А. С. Пушкина «Борисъ Годуновъ»* (Публичная лекція, читанная въ Императорскомъ Александровскомъ Лицеѣ. Въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая. Спб. 1892 г.).

5) *Д. И. Фонвизинъ* (Статья, написанная въ 1897 г. и напечатанная въ Русскомъ Біографическомъ Словарѣ, въ томѣ «Фаберъ — Цявловскій». Спб. 1901 г.).

6) *Памяти В. Г. Бѣлинскаго* (Рефератъ, читанный въ Неофилологическомъ Обществѣ при Спб. Университетѣ, 18-го декабря 1898 г. Изд. отд. брошюрой, въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, въ томъ же году).

7) *Пушкинъ о Петрѣ Великомъ* (Рѣчь). Напечатано въ Приложеніяхъ къ «Отчету о состояніи и дѣятельности Императорскаго Спб. Университета за 1899 г.» (стр. 1—47), Спб. 1900 г., а также въ «Вѣстникѣ Всемірной Исторіи» 1900 г., № 5, стр. 31—70.

8) *«Русалка» Пушкина и «Das Donauweibchen» Генслера.* Напечатано въ книгѣ «Памяти А. С. Пушкина». Сборникъ статей преподавателей и слушателей Историко-Филологическаго факультета Императорскаго Спб. Университета. Спб. 1900 г., стр. 139—179.

Въ составъ второго отдѣла вошли:

9) *Рѣчь къ студентамъ объ А. А. Котляревскомъ.* Напечатано въ книгѣ «Поминка по А. А. Котляревскомъ». Кіевъ, 1881 г., стр. 41—51 (отд. оттискъ изъ «Кіевскихъ Университ. Извѣстій» 1881 г., октябрь), а также въ «Чтеніяхъ въ Историческомъ Обществѣ Нестора лѣтописца», кн. 3-я.

10) *О трудахъ А. Н. Веселовскаго.* Напечатано въ «Живой Старинѣ» 1894 г., № 2, стр. 276—282, а также въ «Отчетѣ Имп. Русскаго Географическаго Общества» за 1893 г. Спб., 1894 г. (Приложенія, стр. 15—23).

11) *О трудахъ Ѳ. И. Буслаева по исторіи русской словесности* (Рѣчь). Напечатано въ книгѣ: «Четыре рѣчи о Ѳ. И. Буслаевѣ, читанныя въ засѣданіи Отдѣла Коменскаго 21-го января 1893 г.». Спб. 1898 г., стр. 17—28 *).

12) *Учено-литературная дѣятельность Л. Н. Майкова* (Изъ рѣчи, читанной въ общемъ собраніи Императорской Академіи Наукъ 13-го мая 1900 г.). Напечатано въ «Журналѣ Министерства Нар. Просвѣщенія», 1900 г., ч. CCCXXXI (октябрь), отд. Современной лѣтописи, стр. 71—74.

Матеріаломъ третьяго отдѣла послужили слѣдующія рецензіи И. Н. Жданова:

13) *О сочиненіяхъ А. С. Архангельскаго.* Рецензія на сочиненія А. С. Архангельскаго: 1) «*Къ изученію древне-русской письменности*», 2) «*Творенія отцовъ церкви въ древне-русской письменности*». Напечатано въ «Отчетѣ о 34 присужденіи наградъ гр. Уварова» 1892 года.

---

*) О Ѳ. И. Буслаевѣ, какъ историкѣ литературы, И. Н. Ждановъ сдѣлалъ сообщеніе также въ засѣданіи Неофилологическаго Общества, 27-го октября 1897 г.

14) *Отзывъ объ учебникахъ Яковлева и Смирновскаго* (Докладъ, сдѣланный въ засѣданіи Комиссіи для обсужденія вопроса о замѣнѣ учебниковъ по русскому языку, для кадетскихъ корпусовъ, 26-го марта 1897 года). Печатается по подлинной рукописи.

15) *Къ исторіи русскаго стихосложенія. По поводу книги В. Н. Перетца: «Изъ исторіи русской пѣсни»*. Чч. 1 и 2. Спб., 1900 г. Напечатано въ «Извѣстіяхъ Отдѣленія русск. яз. и словесности Императорской Академіи Наукъ» 1900 г., кн. 4.

16) *Рецензія на сочиненіе И. Н. Созоновича: «Къ вопросу о западномъ вліяніи на славянскую и русскую поэзію»*. Напечатано въ «Отчетѣ о 42 присужденіи наградъ гр. Уварова» 1900 г.

17) *Рецензія на сочиненіе В. В. Сиповскаго: «Н. М. Карамзинъ, авторъ Писемъ русскаго путешественника»*, Спб. 1899 г. Напечатано въ «Отчетѣ о присужденіи премій митрополита Макарія» въ 1901 г.

Четвертый отдѣлъ составляютъ слѣдующія приложенія:

I) О черновой рукописи III-й части изслѣдованія о «Валтасарѣ» — замѣтка С. Ѳ. Ольденбурга.

II) «И. Н. Ждановъ». — Біографическій очеркъ, составленный А. Ч.

III) «Нѣсколько словъ по поводу лекцій И. Н. Жданова».

Къ настоящему тому приложены портретъ И. Н. Жданова и указатель именъ, встрѣчающихся въ I-мъ и II-мъ томахъ.

[Н. И. ГНѢДИЧЪ]. [1])

Въ 1770 г. на московской сценѣ поставлена была новая пьеса: «Евгенія» Бомарше, переведенная Николаемъ Пушниковымъ. Драма имѣла чрезвычайный успѣхъ и долго держалась на сценѣ. «Сія комедія часто представляется на Россійскихъ театрахъ и довольно уважаема», замѣчено въ «Драматическомъ Словарѣ».

«Евгенія» — одно изъ слабыхъ произведеній французскаго писателя. Теперь не всѣ, можетъ быть, помнятъ даже заглавіе этого ранняго опыта автора «Фигаро» и «Севильскаго Цирульника». Но въ исторіи русской литературы эта забытая теперь драма имѣла важное значеніе. Успѣхъ ея былъ своего рода знаменіемъ времени.

Въ семидесятыхъ годахъ прошлаго столѣтія жилъ въ Москвѣ въ положеніи уважаемой, но уже забывавшейся литературной знаменитости, «россійскій Расинъ» А. П. Сумароковъ. Новая драма произвела и на него сильное впечатлѣніе. Но это впечатлѣніе было совсѣмъ непохоже на то, которое испытывали москвичи, ломившіеся въ театръ на представленіе «Евгеніи». Недоумѣніе, ужасъ и негодованіе овладѣли душой автора «Хорева». Онъ недоумѣвалъ, какъ можетъ нравиться пьеса, непохожая на

[1] Рѣчь по поводу столѣтія со дня рожденія знаменитаго переводчика Иліады].

тѣ великіе образцы драматическаго искусства, которые онъ привыкъ чтить и изъ которыхъ, прибавимъ, черпалъ щедрой рукой; онъ негодовалъ на извращеніе вкуса, онъ боялся за будущее русской сцены. Раздраженный на согражданъ, Сумароковъ рѣшилъ подѣлиться своимъ горемъ съ Вольтеромъ, и получилъ отъ него сочувственный отвѣтъ. Это ободрило старика. Въ 1771 г. въ приложеніи къ своей новой трагедіи «Димитрій Самозванецъ» Сумароковъ напечаталъ рѣзкій протестъ противъ драматическаго новшества. — «Ввелся, писалъ онъ, новый и пакостный родъ слезныхъ комедій, ввелся тамъ (во Франціи), но тамъ не исторгнутся сѣмена вкуса Расинова и Мольерова; а у насъ по театру почти еще и начала нѣтъ; такъ такой скаредный вкусъ, а особливо вѣку Великія Екатерины не принадлежитъ. А дабы не впустить онаго, писалъ я о таковыхъ драмахъ къ г. Вольтеру; но они въ сіе краткое время вползли уже въ Москву, не смѣя появиться въ Петербургѣ: нашли всенародную похвалу и рукоплесканіе, какъ скаредно ни переведена Евгенія, и какъ нагло актриса подъ именемъ Евгеніи бакханту ни изображала: а сіе рукоплесканіе переводчикъ оныя драмы, какой то подъячій, до небесъ возноситъ, соплетая зрителямъ похвалу и утверждая вкусъ ихъ. Подъячій сталъ судьею Парнаса и утвердителемъ вкуса московской публики!... Конечно скоро представленіе свѣта будетъ. Но неужели Москва болѣе повѣритъ подъячему, нежели г. Вольтеру и мнѣ». Протестъ этотъ не только не имѣлъ успѣха, но сдѣлался причиною новаго горя для литературнаго стародума. Оскорбленная рѣзкимъ тономъ Сумарокова, Москва освистала его «Синава».

«Сбираются ругать меня враги и други;
Сіе ли за мои, Россія, мнѣ услуги!»

писалъ послѣ этого обиженный россійскій Расинъ, и принялся строчить жалобу Императрицѣ.

Не будемъ останавливаться на этихъ проявленіяхъ досады

писателя, пережившаго свою славу. Насъ интересуетъ теперь не Сумароковъ, а то рѣзкое различіе литературныхъ воззрѣній, то столкновеніе установившейся драматической традиціи съ какимъ-то театральнымъ новшествомъ, которое такъ ясно обозначилось въ успѣхѣ «Евгеніи» и въ раздраженіи Сумарокова.

«Ввелся *новый* родъ слезныхъ комедій», говоритъ Сумароковъ; этотъ новый родъ грозитъ исторгнуть сѣмена вкуса Расинова и Мольерова. Сумароковъ правъ. Пьеса, имѣвшая успѣхъ, дѣйствительно, была опытомъ новаго рода драмы, непохожей ни на трагедію, во вкусѣ Расина, ни на комедію Мольера. Это была одна изъ такъ называемыхъ плаксивыхъ комедій (comédies larmoyantes) или буржуазныхъ трагедій. Самъ Бомарше назвалъ ее просто: драма.

Первымъ образцомъ того новаго вида драматическихъ произведеній, къ которому принадлежала «Евгенія», была пьеса: «Георгъ Барнвелль или Лондонскій купецъ» англійскаго писателя Георга Лилло, появившаяся въ 1731 году. Пьеса эта вовсе не была выдающимся произведеніемъ. Художественныя достоинства ея очень скромны. Но, несмотря на то, она вызвала общій восторгъ, быстро пріобрѣла извѣстность во Франціи, въ Германіи и вызвала многочисленныя подражанія, изъ которыхъ нѣкоторыя далеко превзошли свой первообразъ. Чѣмъ же объяснить этотъ необычайный успѣхъ Лилло? Тѣмъ, что пьеса его, при всѣхъ ея недостаткахъ, дѣйствительно была новинкой и по содержанію, и по исполненію, и притомъ такой новинкой, которая какъ разъ отвѣчала пробудившейся въ европейскихъ обществахъ потребности какой-то новой литературы. На европейской сценѣ господствовали въ то время двѣ формы драмы, которыя строго различались и смѣшеніе которыхъ не допускалось ни подъ какимъ видомъ: трагедія и комедія. Образцами первой считались произведенія Корнеля и Расина, образцами второй — сочиненія Мольера. Изъ произведеній этихъ образцовыхъ писателей извлечены были правила драматическаго творчества, составившія нѣкотораго рода уложеніе, котораго неуклонно должны были держаться всѣ,

рѣшавшіеся посвятить свои силы на служеніе Таліи или Мельпомены. Драма Лилло не была ни трагедіей, ни комедіей. Сюжетъ ея трагическій, но дѣйствующія лица не цари, не герои, какъ это принято было въ трагедіи, а обыкновенные смертные изъ буржуазной среды, изображеніе которой допускалось только въ комедіи; въ обработкѣ сюжета замѣчалось нарушеніе великаго закона трехъ единствъ. Словомъ, скромная драма Лилло была въ сущности открытымъ возстаніемъ противъ установившагося литературнаго режима. Лилло «вспугнулъ французскій классицизмъ изъ его спокойствія и его обезпеченнаго господства», какъ выражается Геттнеръ. Попытка англійскаго писателя удалась. Она была встрѣчена единодушными привѣтствіями. Лилло угадалъ измѣненіе литературнаго вкуса. Онъ понялъ, что псевдо-классическая трагедія уже теряла кредитъ. Но буржуазная трагедія, появленіе которой на московской сценѣ такъ возмутило Сумарокова, была въ свою очередь только однимъ изъ проявленій того широкаго литературнаго движенія, которое въ это время пріобрѣтало все большую и большую силу. Не въ одной только области драмы оспаривалось господство псевдо-классицизма. Рядомъ съ прямой и широкой, но избитой отъ частой ѣзды, дорогой, всюду стали замѣчаться извилистыя линіи живыхъ тропинокъ, пробитыхъ здоровыми и крѣпкими ногами. Недовольство монотонностью, искусственностью, подражательностью, сухой разсудочностью ложно-классической поэзіи росло. Росла вмѣстѣ съ тѣмъ и новая литература, выступившая на замѣну отживавшей. Никѣмъ эта смѣна двухъ литературныхъ направленій не изображена въ такихъ сжатыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ рѣзкихъ чертахъ, какъ Тэномъ въ его «Исторіи англійской литературы». Поэтому я позволю себѣ возобновить теперь въ вашей памяти одну изъ самыхъ интересныхъ страницъ этого блестящаго труда. «Искусственность свѣтской жизни, въ томъ видѣ, въ какомъ Людовикъ XIV ввелъ ее въ моду, начинала уже сильно надоѣдать европейскому обществу. Сухость и безсодержательность ея сдѣлались для каждаго очевидны. Общество чувствовало усталость отъ необходимости быть

всегда на вытяжкѣ, заботиться о представительности, подчиняться этикету. Люди начали догадываться, что любезность не есть еще любовь, что мадригалъ не исчерпываетъ всей поэзіи, а развлеченіе не составляетъ счастія. Стали понимать, что человѣкъ не элегантная кукла, а свѣтскій петиметръ не совершенство природы, и что есть свѣтъ внѣ салоннаго міра. Женевскій плебей, протестантъ и отшельникъ, котораго религія, образованіе, геніальность и бѣдность повели гораздо дальше и скорѣе чѣмъ другихъ людей, высказалъ въ это время всенародно общественный секретъ и всѣмъ показалось, будто онъ открылъ или отыскалъ снова деревню, совѣсть, религію, человѣческія права и неподдѣльныя чувства. И вотъ, является новый типъ, кумиръ и образецъ своей эпохи, *чувствительный человѣкъ*, который по серьезности своего характера и по любви къ природѣ составляетъ рѣзкую противоположность съ идеаломъ придворнаго человѣка. Эта личность, безъ сомнѣнія носитъ на себѣ отпечатокъ тѣхъ мѣстъ, которыя посѣщаетъ. Онъ изысканъ и притворенъ, готовъ расчувствоваться при видѣ ягнятъ, пощипывающихъ молодую травку, благословлять птичекъ, празднующихъ свое счастье щебетливымъ пѣніемъ. Онъ напыщенъ и фразеръ, сочиняетъ длинныя тирады о чувствахъ, разражается въ ругательствахъ противъ испорченности вѣка, взываетъ къ Добродѣтели, Разуму, Истинѣ и прочимъ отвлеченнымъ божествамъ, гравируемымъ на деревѣ для заглавныхъ виньетокъ. Но, наперекоръ своей собственной волѣ, онъ остается академикомъ и салоннымъ человѣкомъ; наговоривши вдоволь любезностей дамамъ, онъ сталъ говорить имъ о природѣ и декламировать въ обточенныхъ періодахъ о Богѣ. Въ сущности онъ все-таки оказывается первымъ возмутителемъ противъ классическихъ обычаевъ и, въ качествѣ такового, созрѣваетъ гораздо раньше въ Англіи — странѣ германской, нежели во Франціи — странѣ латинской». Затѣмъ историкъ англійской литературы перечисляетъ намъ имена главныхъ представителей новаго литературнаго движенія, открывшагося въ Англіи. Упоминаются: Томпсонъ, авторъ описательной

поэмы: «Времена года» (1726), Ричардсонъ, родоначальникъ семейнаго романа (1740, 1748, 1753), Стернъ, введшій въ моду новый литературный родъ: чувствительное путешествіе (1767), Макферсонъ, надѣлавшій шуму изданными имъ пѣснями Оссіана (1760), Юнгъ, авторъ меланхолическихъ «Ночныхъ думъ» (1742) и др. За этими крупными талантами тянется рядъ второстепенныхъ писателей «въ такомъ обиліи, что окружающую литературу можно бы, по выраженію Тэна, назвать безъ преувеличенія библіотекой чувствительнаго человѣка». Итакъ Томпсонъ, Ричардсонъ, Стернъ, Макферсонъ, Юнгъ — вотъ видные представители новаго литературнаго направленія въ Англіи. Описательная поэзія, семейный романъ, чувствительное путешествіе, поэма во вкусѣ народной поэзіи, элегическая дума — вотъ тѣ литературные виды, образцы которыхъ дали упомянутые писатели. Картину новаго литературнаго движенія, искусно набросанную Тэномъ, должно дополнить только однимъ замѣчаніемъ. Ненадобно думать, что литературное движеніе опредѣлилось сразу во всей своей противоположности псевдоклассицизму. Напротивъ, оно развивалось съ самой медлительною постепенностью. Зародившись, такъ сказать, въ самыхъ нѣдрахъ псевдоклассицизма, оно только съ теченіемъ времени успѣло отъ него отдѣлиться и еще позже успѣло точно опредѣлить тотъ новый литературный принципъ, который составлялъ его силу.

Прослѣдимъ вкратцѣ историческій ходъ новаго направленія. На первыхъ порахъ движеніе выразилось только въ предпочтеніи однихъ видовъ псевдо-классической поэзіи другимъ. Вмѣсто торжественныхъ одъ и поэмъ съ величавыми героями, стали привлекать къ себѣ особенное вниманіе идиллія и эклога. Европа огласилась нѣжными звуками свирѣли, вездѣ журчали ручейки, раздавалось любовное воркованье «добрыхъ поселянъ». Модные дамы и кавалеры переодѣвались въ пастушекъ и пастуховъ. Въ этомъ идиллическомъ одушевленіи было много фальши, но въ немъ все-таки уже сказывалась потребность чего-то безыскусственнаго, задушевнаго, чего-то непохожаго на гос-

подствовавшую литературную напыщенность. Нѣкоторые и остановились на этой стадіи новаго движенія. Одинъ изъ нашихъ писателей начала XIX ст. говоритъ о своихъ идилліяхъ такъ: «я видѣлъ всю трудность исполненія, но лучше хотѣлъ заблудиться на *стезѣ новой*, нежели идти избитою дорогою нашей оды, нашей басни, и вообще умножить толпу неудачныхъ подражателей лучшимъ нашимъ писателямъ». Панаеву и на умъ не приходитъ выбраться совсѣмъ изъ дебрей псевдо-классицизма. Но онъ все-таки радъ, что наткнулся на новую тропинку и расхаживаетъ по ней съ выраженіемъ полнаго довольства.

«Описательная поэма» была уже болѣе рѣшительнымъ шагомъ въ начавшемся движеніи. Томпсонъ, давшій первый опытъ такой поэмы, былъ вѣрующій почитатель псевдо-классическихъ образцовъ. Онъ — подражатель Попа. Но новостью у Томпсона было то, что описаніе природы, входившее только какъ второстепенная часть въ псевдо-классическія поэмы, выдѣлено имъ въ особый видъ поэтическихъ произведеній. Онъ думалъ, что поэтическій пейзажъ можетъ имѣть самостоятельное значеніе, а не служить только фономъ какого-нибудь историческаго или бытового сюжета. Строгіе псевдоклассики покачивали при этомъ головами. Они припоминали, что «сей родъ поэмъ не былъ извѣстенъ древнимъ поэтамъ». Они находили, что описательная поэма идетъ въ разрѣзъ съ основными положеніями того поэтическаго Credo, которое они признавали едино-истиннымъ и едино-спасительнымъ. «Всякое благоразумно расположенное сочиненіе должно образовать *цѣлое*, котораго бы всѣ части были между собою связаны, котораго бы средина соотвѣтствовала началу и конецъ срединѣ: таковы правила Аристотеля и Горація; но въ поэмѣ описательной нѣтъ ни цѣлаго ни порядка, ни соотвѣтственности между частями». Но, несмотря на эти суровыя замѣчанія критики, опытъ Томпсона имѣлъ величайшій успѣхъ. Явилось много подражателей, изъ которыхъ нѣкоторые достигли не меньшей извѣстности, какъ и ихъ образецъ. Достаточно назвать имена Делиля во французской литературѣ, Матисона и Клейста въ нѣ-

мецкой. Ночныя думы Томпсонова соотечественника Юнга тоже причислялись къ отдѣлу описательной поэзіи. Въ основѣ этого успѣха описательной поэзіи очевидно лежали тѣ же глубокія причины, которыя выдвинули идиллію изъ ряда другихъ родовъ поэтическихъ произведеній. Природа стала входить въ моду. Стало нравиться «путешествіе сердца къ природѣ и такимъ ощущеніямъ, которыя изъ нея проистекаютъ», какъ выразился Стернъ въ своемъ «Чувствительномъ путешествіи». Что такое «Чувствительное путешествіе»? Это смѣсь отрывковъ идиллій и описательной поэмы, изложенныхъ прозой и вставленныхъ въ рамку дорожныхъ замѣтокъ. Симпатичный талантъ Стерна, его неподражаемый юморъ придали этой смѣси совершенно своеобразную привлекательность. Неудивительно поэтому, что за Стерномъ потянулись цѣлые ряды подражателей. Установился новый литературный родъ, уже не имѣвшій никакихъ образцовъ въ господствовавшемъ псевдо-классическомъ репертуарѣ. Рядомъ съ «чувствительными путешествіями» развиваются семейный романъ и буржуазная драма, вытѣсняя все больше и больше героическую поэму и псевдо-классическую трагедію. Литература наполняется изображеніями обыденной, всѣмъ понятной дѣйствительности. Рядомъ съ поэтическимъ пейзажемъ развивается поэтическій жанръ.

Этотъ новый вкусъ оказывалъ въ свою очередь полезное воздѣйствіе на ранѣе развившееся идиллическое настроеніе. Въ самомъ дѣлѣ, рядомъ съ бьющими жизнью образами новаго романа и новой драмы, какими блѣдными и фальшивыми должны были казаться безпристрастному взгляду идиллическія картинки! Правда, франтоватые пастухи и накрахмаленныя пастушки долго продолжали еще наигрывать нѣжныя мелодіи, но ихъ уже переставали слушать, «Пріятныя сельскія пѣсни», которыя исполнялись подъ аккомпаниментъ свирѣли, уже утрачивали къ себѣ симпатіи. Всѣ стали догадываться, что эти пѣсни только пародіи на настоящую народную пѣсню. Явилась потребность послушать не вымышленные, а истинные «звуки природы». Идиллическое одушевленіе переродилось въ интересъ къ безыскусственной народной поэзіи.

Но удовлетворить эту новую потребность оказалось не такъ-то легко. На первыхъ порахъ пришлось удовольствоваться полу-поддѣлкой. Въ 1760 году Макферсонъ издалъ сборникъ древнихъ шотландскихъ пѣсенъ. Основа этихъ пѣсенъ была, дѣйствительно, народная, но онѣ были значительно передѣланы самимъ издателемъ. Имъ же придумано было и имя барда Оссіана, которому будто бы принадлежали ново-открытыя пѣсни. Поддѣлка была разоблачена только впослѣдствіи. На первыхъ порахъ фальшь осталась незамѣченной и сборникъ Макферсона встрѣченъ былъ съ единодушнымъ и искреннимъ восторгомъ: до такой степени сильна была у всѣхъ жажда свѣжей народной струи въ поэзіи. Спустя пять лѣтъ явился сборникъ балладъ, изданный Т. Перси (1765), но этотъ добросовѣстный трудъ далеко не достигъ такой извѣстности, какъ мнимый Оссіанъ. Самозванецъ затмилъ своимъ блескомъ законнаго собственника. Но какъ бы то ни было интересъ къ безыскусственной поэзіи пробудился. Этимъ объясняются и попытки новаго изученія разнаго рода произведеній самобытной народной поэзіи. Является книга Лоута о священной поэзіи Евреевъ (1753); трудъ Роб. Вуда: «Опытъ объ оригинальности генія Гомера» (1769). Послѣдняя книга представляла попытку покинуть при изученіи Омира условную точку зрѣнія, опредѣляемую готовой теоріей героическаго эпоса, и посмотрѣть на великія поэмы исторически, какъ на произведенія, связанныя съ жизнью опредѣленной народности, какъ на отраженіе опредѣленной, хотя и очень отдаленной эпохи.

Починъ въ новомъ литературномъ движеніи, о которомъ мы говорили, безспорно принадлежитъ англичанамъ. Но это движеніе быстро перешло за границы своей первоначальной родины и охватило всѣ европейскія литературы. Англійскія новинки переводились и вызывали подражанія. При этомъ замѣчается любопытное явленіе: сѣмена, вывезенныя изъ Англіи, даютъ иногда на новой почвѣ болѣе обильный урожай, чѣмъ на родинѣ.

Особенно удобной для новыхъ посѣвовъ оказалась нѣмецкая литературная почва. Въ самомъ дѣлѣ, нигдѣ новое литературное

направленіе не выразилось съ такой силой, нигдѣ оно не опредѣляется съ такой ясностью и точностью, какъ именно въ литературѣ нѣмецкой. Не будемъ перечислять именъ многочисленныхъ нѣмецкихъ переводчиковъ и подражателей англійскихъ писателей новаго направленія. Припомнимъ только дѣятельность Лессинга, Гердера, лихорадочное оживленіе «бурнаго» періода, который захватываетъ и раннія произведенія Гете и Шиллера. Англійскія воздѣйствія во всѣхъ этихъ явленіяхъ нѣмецкой литературы несомнѣнны. Но нѣмцы скоро успѣли оставить далеко за собой своихъ первыхъ иноземныхъ наставниковъ. Въ самомъ дѣлѣ, только въ нѣмецкой литературѣ новое литературное движеніе достигло, такъ сказать, своего самосознанія; только благодаря дѣятельности великихъ нѣмецкихъ писателей, выяснился тотъ общій принципъ, который объединялъ и осмысливалъ всю эту вереницу литературныхъ явленій, о которыхъ мы говорили выше.

Новое литературное движеніе все болѣе и болѣе расходилось съ утвердившимися литературными преданіями. Рознь между старой и новой литературой росла. Но въ чемъ же сущность этой розни? Старая литература называла себя классической, она выступала подъ охраной великихъ авторитетовъ античнаго творчества. Новая литература оказывалась въ противорѣчіи со старой. Что же? Неужели новое литературное движеніе вело къ отрицанію высокаго значенія античной поэзіи? Неужели, придерживаясь новаго направленія, слѣдовало закрывать глаза на всѣ художественныя достоинства древняго искусства? На эти вопросы отвѣчалъ Лессингъ. Нѣтъ, сказалъ онъ, никто не отрицаетъ и не будетъ отрицать неумирающаго значенія классическихъ образцовъ. Отвертывались только отъ неудачныхъ подражаній этимъ образцамъ, отъ ихъ французскихъ искаженій. Всѣ признаютъ достоинства Омира, Софокла, Аристофана, и это-то именно признаніе заставляетъ видѣть ложь въ произведеніяхъ тѣхъ, которые выдавали себя за новыхъ Омировъ, новыхъ Софокловъ, новыхъ Аристофановъ. Господствующая литература

тѣмъ именно и нехороша, что она присваиваетъ себѣ имя, которое не въ правѣ носить. Она называетъ себя классическою, тогда какъ на самомъ дѣлѣ ее слѣдуетъ назвать мнимо-классической, псевдо-классической. Она только переняла нѣкоторыя формы классической литературы, не позаботившись усвоить ея духа. Такимъ образомъ проведена была рѣзкая грань между копіями и оригиналами, и античный міръ былъ спасенъ для новой литературы. Мало того: въ новомъ литературномъ движеніи, какъ оно выразилось въ Германіи, обращенію къ древнему міру придавалась особенная важность. Стали пристально изучать памятники античной жизни, стали писать произведенія въ античномъ вкусѣ. Совершилось то, что нѣкоторые называютъ «вторымъ возрожденіемъ». Фаустъ вступалъ въ бракъ съ Еленой.

Далѣе, новые писатели упрекали псевдо-классиковъ въ томъ, что они усвоили только формы древней литературы, не вникая въ ея духъ, не задаваясь вопросомъ о томъ, что же именно придало греческой литературѣ живое, неумирающее значеніе. Оригинальность, неразрывная связь съ народной жизнью, глубокій національный характеръ греческой поэзіи — вотъ въ чемъ ея сила, источникъ ея достоинствъ, говорили новые писатели. Въ сопоставленіи съ такой оригинальной литературой чѣмъ долженъ былъ казаться господствовавшій псевдо-классицизмъ? Лишеннымъ значенія подражаніемъ, явленіемъ безъ почвы, искусственнымъ, безжизненнымъ цвѣткомъ. Такая литература — явленіе безцѣльное, ненужное. Чѣмъ же ее замѣнить? Какъ спастись отъ этой литературной засухи? Спасеніе одно — стремленіе къ оригинальности. Должны же быть національныя основы творчества и у новыхъ народовъ. Нужно только возвратиться къ этимъ основамъ, нужно ихъ отыскать. Ранѣе сказавшееся стремленіе къ безыскусственной народной поэзіи получаетъ такимъ образомъ живой и глубокій смыслъ. Никѣмъ это требованіе національныхъ основъ поэзіи не было выражено съ такой силой, какъ Гердеромъ. «Отъ древнѣйшихъ временъ у насъ не осталось рѣшительно никакого живого поэтическаго творчества, на которомъ

бы выросла наша новѣйшая поэзія, какъ отпрыскъ на стволѣ націи; другіе народы вѣками шли впередъ и образовали себя на собственной почвѣ, на національныхъ произведеніяхъ, на вѣрѣ и вкусѣ народа, по остаткамъ старины; потому ихъ поэзія и языкъ сдѣлались національными. Мы же, бѣдные нѣмцы, съ давнихъ поръ осуждены были—никогда не оставаться собою, наша пѣснь есть какой-то смѣшанный крикъ, эхо камыша Іордана, Тибра, Темзы и Сены; нашъ духъ есть духъ наймита, пережевывающаго то, что потоптала нога другихъ. И теперь, когда мы уже стоимъ на такой высокой вершинѣ почитанія со стороны другихъ народовъ, теперь, когда французы, которымъ мы такъ долго подражали—хвала и благодареніе Богу!—въ свою очередь подражаютъ намъ, теперь, когда мы имѣемъ такое счастье, что нѣмецкіе дворы начинаютъ уже читать по нѣмецки и произносить пару нѣмецкихъ именъ,—о Небо,—что мы теперь за люди! Какой варваръ былъ бы тотъ, кто сталъ бы заботиться о невѣжественномъ народѣ, объ осадкѣ его сказокъ, предразсудковъ, пѣсенъ, грубаго языка! Онъ явился бы съ тѣмъ, чтобы замарать нашу классическую, считающую слоги литературу, какъ сова среди прекрасныхъ пестро-одѣтыхъ пѣвчихъ птицъ! А все таки, навсегда останется истина, что та часть литературы, которая имѣетъ отношеніе къ народу, должна быть сообразна народу, или же она есть классическій пузырь; навѣки пребудетъ истиной то, что если у насъ нѣтъ народа, то нѣтъ публики, нѣтъ націи, нѣтъ языка и поэзіи, которые были бы нашими, которые бы жили и дѣйствовали въ насъ. Вѣдь мы теперь все пишемъ для кабинетныхъ ученыхъ, составляемъ оды, героическія стихотворенія, церковныя и кухонныя пѣсни, такъ что никто ихъ не понимаетъ, никто не любитъ и не чувствуетъ. Наша классическая литература представляетъ собою райскую птицу, пеструю, благопристойную, съ высокимъ полетомъ, но не имѣющую подъ собой нѣмецкой почвы».

Толки объ оригинальности были подхвачены писателями «бурнаго» періода, который недаромъ получилъ такое прозвище. Это

было временемъ задорнаго и крикливаго протеста противъ монотонности, подражательности и напыщенности старой литературы. Оригинальность, геніальность—таковъ былъ девизъ «бурныхъ» писателей. У нихъ была своя библія, въ составъ которой входили книги Омира, Оссіана и Шекспира. Въ этихъ книгахъ видѣли наиболѣе полное воплощеніе духа оригинальности. Надѣялись, что вдохновеніе этихъ геніевъ осѣнитъ и ихъ вѣрныхъ поклонниковъ. Въ этихъ порывахъ, въ этихъ «геніальностяхъ» много причудливаго, даже смѣшного, но причудливость эта не должна однако скрывать той серьезной мысли, которая въ ней таилась.

Такимъ образомъ, благодаря усиліямъ нѣмецкихъ писателей, во-первыхъ, проведена была рѣзкая грань между старымъ и новымъ направленіями литературы, а во-вторыхъ, намѣчена была цѣль, къ которой должно стремиться новое литературное движеніе. Старое направленіе—ложное, подражательное, псевдо-классическое. Этой литературной фальши противопоставлялось съ одной стороны истинное пониманіе античнаго, а съ другой—стремленіе къ оригинальности, отыскиваніе національныхъ основъ поэтическаго творчества. Но такъ какъ эти два литературныя теченія — возрожденіе античнаго и преклоненіе передъ оригинальностью — вышли изъ одного и того же источника, то они легко сливались снова въ нѣкоторыхъ пунктахъ.

Самымъ важнымъ изъ такихъ пунктовъ былъ древнегреческій эпосъ. Поэмы Омира чтили и какъ откровеніе античнаго духа, и какъ лучшіе образцы первобытнаго и самобытнаго народнаго творчества. Этимъ объясняется тотъ глубокій интересъ къ Омиру, который овладѣваетъ нѣмецкой литературой въ послѣднія десятилѣтія XVIII вѣка. Оживляется научное изученіе Омира, поставленное на торную дорогу историческаго метода: рядомъ съ этимъ являются попытки присвоить поэмы Омира родной литературѣ, воспроизвести ихъ въ оболочкѣ нѣмецкой рѣчи. Опыты переводовъ увѣнчиваются монументальнымъ трудомъ Фосса (1781, 1793); опыты научныхъ изслѣдованій открываютъ

совершенно новыя точки зрѣнія на древнюю поэзію: являются Prolegomena ad Homerum Вольфа (1795).

Другимъ пунктомъ, гдѣ сливались возрожденіе античнаго и стремленіе къ безыскусственности въ поэзіи, была идиллія. Но здѣсь уже не довольствовались только возрожденіемъ Ѳеокрита, а старались создать національную идиллію, которая являлась бы отраженіемъ нѣмецкаго духа и нѣмецкой жизни. Мы видѣли, что еще въ началѣ новаго литературнаго движенія идиллія заняла видное мѣсто въ поэзіи. Нѣмцы имѣли уже идилліи Гесснера, которыя очень нравились въ свое время. Но онѣ скоро были забыты, когда явились «Луиза» Фосса (1784) и «Германъ и Доротея» Гете (1797). Въ этихъ произведеніяхъ нѣмецкая идиллія достигла высшаго художественнаго значенія.

Вернемся на родину. Мы присутствовали при бурномъ столкновеніи сторонниковъ буржуазной трагедіи съ ревнивымъ охранителемъ псевдо-классической музы. Побѣда осталась не на сторонѣ второй. Сумароковъ былъ осмѣянъ. Но этотъ случай былъ только аванпостной стычкой. Генеральныя битвы литературныхъ новаторовъ съ защитниками старины относятся къ болѣе позднему времени: къ послѣднему десятилѣтію XVIII вѣка и первымъ десятилѣтіямъ XIX.

Въ это время развертывается литературная дѣятельность Карамзина. Съ его именемъ соединяется мысль о томъ литературномъ направленіи, которое характеризуется названіемъ: сантиментализмъ. И въ самомъ дѣлѣ, благодаря главнымъ образомъ дѣятельности Карамзина, заведена была и на Руси «библіотека чувствительнаго человѣка», о которой говоритъ Тэнъ. Карамзинъ несомнѣнный сторонникъ новаго литературнаго движенія. Онъ почитатель Томпсона, Гесснера, Стерна, Ричардсона, Макферсона; онъ недолюбливаетъ французскихъ классическихъ драматурговъ и предпочитаетъ имъ Шекспира, Лессинга, онъ высоко цѣнитъ даже Коцебу. — Въ русской литературѣ Карамзинъ взялъ на себя роль пропагатора излюбленнаго имъ направленія европейскихъ литературъ. Въ этой роли онъ оставался вѣренъ себѣ и

какъ авторъ, и какъ переводчикъ, и какъ издатель «Московскаго Журнала». Дѣятельность Карамзина не пропала даромъ. Новое направленіе быстро стало пріобрѣтать все новыхъ и новыхъ сторонниковъ и въ читающемъ и пишущемъ людѣ. Около автора «Писемъ русскаго путешественника» собирается кружокъ усердныхъ и дѣятельныхъ сотрудниковъ. Правда, на первыхъ порахъ мы встрѣчаемъ здѣсь только подражателей, которые умѣютъ лишь повторять мотивы, впервые разыгранные у насъ Карамзинымъ. Но позже, въ молодомъ поколѣніи писателей, воспитавшихся на сантиментализмѣ Карамзина, появляются уже такіе люди, какъ Жуковскій, которые ведутъ дальше дѣло своего учителя, придаютъ его направленію нѣкоторое разнообразіе.

Успѣхъ Карамзина былъ блистательный, но онъ достался ему не безъ борьбы. На первыхъ же порахъ своей дѣятельности онъ встрѣтился съ рѣшительными противниками вводимыхъ имъ литературныхъ новшествъ. Въ ряду этихъ сторонниковъ установившихся литературныхъ преданій однимъ изъ первыхъ отозвался на пропаганду Карамзина Ив. Андр. Крыловъ, въ то время еще не мечтавшій о славѣ народнаго баснописца. Литературное направленіе Карамзина казалось ему просто какой-то нелѣпостью. Крыловъ пишетъ «Похвальную рѣчь Ермалафиду» (1793), обозначая этимъ потѣшнымъ именемъ Карамзина. «Ермалафія», чепуха,—иного названія для дѣятельности Карамзина Крыловъ не находитъ. Слѣдующіе за нимъ противники литературной новизны выступаютъ съ новымъ полемическимъ пріемомъ: новизна не только нелѣпа, но и вредна, опасна. Съ такой именно тенденціей написана ядовитая «Ода въ честь моему другу», принадлежащая, по догадкѣ А. Д. Галахова, перу одного изъ самыхъ упорныхъ враговъ Карамзина — П. И. Голенищеву-Кутузову.

Пересматривая IV часть журнала «Ипокрена» (1799), гдѣ помѣщена эта «Ода», невольно поддаешься чувству нѣкотораго удивленія. Въ книжкѣ помѣщены, между прочимъ, нѣкоторыя сочиненія юнаго Жуковскаго, князя Шаликова, — сочиненія во вкусѣ Карамзина. Самыя заглавія нѣкоторыхъ статей носятъ

несомнѣнные слѣды сантиментальнаго настроенія: «Меланхолія», «Мечтанія чувствительнаго» и т. под. Остальныя книжки журнала наполнены статьями подобнаго же характера. Очевидно, редакція журнала вовсе не стояла во враждебныхъ отношеніяхъ къ тому новому литературному направленію, которое проводилъ и защищалъ Карамзинъ. Какъ же объяснить странную выходку противъ Карамзина, допущенную на страницахъ «Ипокрены»? Быть можетъ, тутъ имѣли извѣстное значеніе побужденія зависти, соперничества, обиженнаго литературнаго честолюбія, или иныя еще болѣе темныя движенія души. Но мнѣ кажется, мы можемъ выйти изъ затрудненія и не прибѣгая къ такимъ догадкамъ. Нужно припомнить, что новое литературное движеніе и на западѣ, какъ было уже замѣчено, не опредѣлилось сразу, а пробивалось постепенно, въ отдѣльныхъ явленіяхъ, связь которыхъ стала ясна только впослѣдствіи. Въ одномъ только пунктѣ новое движеніе и литературная старина рѣзко столкнулись на первыхъ же порахъ, — во взглядѣ на драму. Въ остальныхъ пунктахъ такого открытаго столкновенія не было. Можно было оставаться строгимъ классикомъ, и въ то же время зачитываться сочиненіями Стерна, Ричардсона, Макферсона. Такъ было на Западѣ, такъ же было и у насъ. Пав. Аѳан. Сохацкій, редакторъ «Ипокрены», былъ ревностнымъ сторонникомъ псевдо-классицизма и потому недолюбливалъ Карамзина, но онъ могъ не считать измѣной своимъ литературнымъ убѣжденіямъ помѣщеніе на страницахъ «Ипокрены» русскихъ подражаній западнымъ «чувствительнымъ» писателямъ. Любопытно, что и самъ авторъ «Оды», Кутузовъ, выступилъ впослѣдствіи, какъ переводчикъ Грэя, автора «Сельскаго кладбища»...

Для полноты представленія тогдашнихъ литературныхъ отношеній нужно прибавить, что и Карамзинъ съ его послѣдователями не могутъ, въ свою очередь, считаться полными представителями созрѣвшаго на Западѣ новаго литературнаго направленія. Карамзинъ и его послѣдователи остановились на одной изъ промежуточныхъ стадій новаго движенія. Они переняли евро-

пейскій сантиментализмъ и проглядѣли явленія, которыя развились на его основѣ: возрожденіе античнаго творчества и сочувственное обращеніе къ безыскусственной словесности.

Этой неопредѣленностью литературныхъ отношеній, этой неполнотой выраженія литературныхъ направленій объясняется, почему во время борьбы карамзинистовъ и ихъ противниковъ не всѣ рѣшились примкнуть къ той или другой сторонѣ; было не мало писателей, которые стояли особнякомъ, находя правду и неправду и у карамзинистовъ и у ихъ враговъ. Далѣе, той же неопредѣленностью литературныхъ отношеній объясняется и то, почему борьба сторонниковъ и противниковъ Карамзина вылилась подъ конецъ въ странную форму спора о старомъ и новомъ слогѣ, точно въ способѣ выраженія и заключалась вся разница двухъ борющихся литературныхъ направленій. Починъ этого спора о слогѣ принадлежалъ литературнымъ старикамъ. Въ 1803 году явилась извѣстная книга Шишкова: «Разсужденіе о старомъ и новомъ слогѣ». Это былъ вызовъ, обращенный къ Карамзину и его послѣдователямъ. Карамзинъ не отвѣчалъ. За то не замедлили отвѣтомъ его горячіе сторонники. Начались ожесточенные споры объ языкахъ русскомъ и славянскомъ, которые тянутся черезъ два первыя десятилѣтія нашего вѣка.

Въ это время, какъ разъ при началѣ споровъ о старомъ и новомъ слогѣ, выступаетъ на литературное поприще новый дѣятель, выступаетъ смѣло, даже съ нѣкоторымъ задоромъ. Вотъ какъ писалъ этотъ начинающій авторъ въ предисловіи къ одному изъ первыхъ своихъ произведеній: «Знаю, какъ трудно писать драматически; но зато болѣе льщуся, что трудъ мой будетъ награжденъ.... Горе же мнѣ, естьли надежда обманетъ меня, и трудъ мой останется напрасенъ — презрѣнъ! Презрѣнъ! Нѣтъ! люди, умѣющіе прямо цѣнить знанія и таланты — цѣнили уже и мои. Ободрись, молодой Авторъ! и естьли Факиры будутъ шипѣть позади тебя — презри ихъ. Первое перо Волтера, Шакеспира и Шиллера конечно было не безъ слабостей; такъ почему жъ не простить ихъ молодому Русскому Автору Николаю Гнѣдичу».

Мое дальнѣйшее изложеніе будетъ посвящено обозрѣнію жизни и литературной дѣятельности этого именно писателя. Спѣшу припомнить при этомъ, что въ текущемъ году исполнилось столѣтіе со дня рожденія знаменитаго переводчика Иліады, а годомъ раньше — полвѣка со дня его кончины.

Николай Ивановичъ Гнѣдичъ, сынъ небогатаго Полтавскаго помѣщика, родился 2 февраля 1784 года. Не отрадно было его дѣтство. Онъ не зналъ матери. Она умерла, когда нашъ будущій писатель былъ еще малюткой.

Отъ колыбели я остался
Въ печальномъ мірѣ сиротой;
На утрѣ дней моихъ разстался,
О мать безцѣнная, съ тобой!
Я отъ пеленъ усыновленъ
Суровой мачихой — судьбою.

Материнскія ласки и материнскія заботы остались незнакомы Гнѣдичу. Что касается отца, то онъ, повидимому, мало обращалъ вниманія на воспитаніе сына. По крайней мѣрѣ, съ тѣхъ поръ, какъ Гнѣдичъ началъ себя помнить, онъ росъ, предоставленный случайнымъ впечатлѣніемъ, которыя могла давать окружающая среда. «Я выросъ, какъ дикое растеніе, само себѣ предоставленное», читаемъ въ записной книжкѣ Гнѣдича.

Съ 1776 года въ Полтавѣ существовало среднеучебное заведеніе—духовная семинарія. На югѣ Россіи духовныя училища долгое время не имѣли того сословнаго, замкнутаго характера, который рано сталъ особенностью этого рода школъ въ Великороссіи. Въ семинаріи, какъ въ былое время въ братскія школы и въ Кіевскую коллегію, отдавалъ своихъ дѣтей каждый, кто только могъ и хотѣлъ дать имъ школьное образованіе. На скамьяхъ южнорусскихъ церковныхъ школъ рядомъ съ дѣтьми духовныхъ

постоянно сидѣли дѣти мѣщанъ и шляхетства. Этому установившемуся обычаю послѣдовалъ и отецъ Николая Гнѣдича. Въ 1793 году будущій писатель поступилъ въ Екатеринославскую семинарію (такъ называлась тогда Полтавская семинарія, потому что Полтава входила въ составъ Екатеринославской епархіи). Онъ пробылъ здѣсь около пяти лѣтъ. Въ концѣ 1797 года вышло распоряженіе о перенесеніи семинаріи изъ Полтавы въ Новомиргородъ. Отецъ Гнѣдича не нашелъ почему-то удобнымъ перевести туда сына, а отправилъ его въ Харьковскій коллегіумъ.— По учебной программѣ, по всему складу школьнаго дѣла коллегіумъ ничѣмъ не отличался отъ семинаріи въ Полтавѣ. Но тотъ всесословный характеръ, который отличалъ южнорусскія духовныя школы, выказывался въ Харьковскомъ коллегіумѣ съ особенной силой. Коллегіумъ былъ основанъ (въ 1726) главнымъ образомъ на средства кн. М. М. Голицына, который имѣлъ въ виду учрежденіемъ училища въ Харьковѣ оказать услугу всѣмъ обитателямъ слободской Украйны. Въ послѣдующее время коллегіумъ продолжалъ пользоваться попеченіями и пособіями кн. Голицыныхъ. При этомъ Голицыны постоянно смотрѣли на покровительствуемую ими школу, какъ на учрежденіе всесословное. Въ 1802 году еп. Христофоръ задумалъ было преобразовать коллегіумъ въ училище для церковниковъ. Кн. Александръ Голицынъ съ рѣшительностью выступилъ противъ этого намѣренія и прямо заявилъ не по разуму ревнивому епископу, что откажетъ коллегіуму въ своей помощи, если только задуманное преобразованіе дѣйствительно осуществится.

Въ Полтавской семинаріи и въ Харьковскомъ коллегіумѣ Гнѣдичъ прошелъ весь тотъ курсъ наукъ, который установился въ духовныхъ школахъ еще съ XVII вѣка. — Въ этомъ курсѣ слѣдовали одна за другой: Грамматика, Піитика, Риторика, Философія и Теологія. Обращалось особенное вниманіе на упражненія воспитанниковъ въ составленіи привѣтственныхъ рѣчей и стиховъ. Въ бумагахъ Гнѣдича найдено нѣсколько образчиковъ такого рода риторическихъ и поэтическихъ упражненій, которыя

показываютъ, что Харьковскій школьникъ хорошо уже владѣлъ русской литературной рѣчью и русскимъ литературнымъ стихомъ. Съ увѣренностью также можемъ сказать, что еще въ южнорусскихъ школахъ Гнѣдичъ пріобрѣлъ прочныя свѣдѣнія въ древнихъ языкахъ, по крайней мѣрѣ въ языкѣ латинскомъ, на изученіе котораго въ старыхъ духовныхъ школахъ обращалось преимущественное вниманіе. Въ то время, когда Гнѣдичъ учился въ Харьковѣ, префектомъ коллегіума былъ протоіерей Андрей Прокоповичъ, хорошій знатокъ латыни, составитель латинской христоматіи и авторъ историко-литературнаго труда, написаннаго на латинскомъ языкѣ: Lexicon manuale ecclesiasticorum scriptorum ex variis probatissimis historiis (1813).

Въ мартѣ 1800 года Гнѣдичъ поступилъ въ Московскій университетъ и пробылъ здѣсь до конца 1802 года. Гречъ въ своихъ воспоминаніяхъ свидѣтельствуетъ, что Гнѣдичъ отличался такимъ образованіемъ, какимъ могли похвалиться далеко не всѣ современные ему писатели: «Гнѣдичъ получилъ основательное классическое образованіе, зналъ въ совершенствѣ латинскій и греческій языки, прочиталъ со вниманіемъ большую часть писателей древности; потомъ выучился французскому языку и понималъ по итальянски». Нѣтъ сомнѣнія, что этимъ «основательнымъ образованіемъ», такъ же какъ и развитіемъ вкуса къ литературной дѣятельности, Гнѣдичъ въ значительной мѣрѣ обязанъ Московскому университету. Лобановъ, другъ и біографъ Гнѣдича, замѣчаетъ: «къ Иліадѣ, великому созданію генія, онъ питалъ любовь еще въ университетѣ; перенесъ ее съ собою въ общество и вознамѣрился перевести ее». Все это заставляетъ думать, что Гнѣдичъ умѣлъ воспользоваться годами своего студенчества съ толкомъ и пользою. У насъ слагается представленіе о даровитомъ и трудолюбивомъ юношѣ съ сильно возбужденнымъ ученолитературнымъ интересомъ.

Поэтому съ чувствомъ величайшаго изумленія читаемъ мы недавно изданное письмо Гнѣдича къ отцу, относящееся къ годамъ его пребыванія въ университетѣ. «Вамъ извѣстно, пишетъ

Гнѣдичъ, что я достигаю полноты тѣлеснаго возраста, достигаю той точки жизни, того періода, въ который долженъ я благодарностью платить Отечеству. Благодарность ни въ чемъ иномъ не можетъ заключаться, какъ въ оказаніи услугъ Отечеству, какъ общей матери, пекущейся равно о своихъ дѣтяхъ. Желаніе вступить въ военную службу превратилось въ сильнѣйшую страсть. — Вы можетъ быть скажете, что я не окончалъ наукъ. Но что воину нужно? Философія ли? Глубокія-ли какія науки или математическія познанія?—Нѣтъ: духъ силы и бодрости (зачеркнуто: Признательно скажу вамъ, что охота къ ученію мало по малу угасаетъ). Вы можетъ-быть думаете, что я слабъ здоровьемъ, и считаете способнымъ вступить въ статскую службу. Нѣтъ,—я чувствую себя способнымъ лучше управлять оружіемъ, нежели перомъ». — Что за странность! Мы думали, что Гнѣдичъ съ серьезнымъ интересомъ занялся своей скромной студенческой работой, что онъ весь ушелъ въ книги и лекціи. Оказывается, мы заблуждались. Онъ прямо заявляетъ, что охота къ ученію у него угасаетъ. Онъ открещивается отъ «глубокихъ наукъ». Вмѣсто мирнаго питомца музъ передъ нами появляется какой-то кандидатъ въ служители кровожаднаго Арея.

Всѣ, знакомые съ позднѣйшей дѣятельностью Гнѣдича, поспѣшатъ, конечно, заявить, что эта охота къ военной службѣ была мимолетнымъ юношескимъ увлеченіемъ, которое прошло, не оставивъ слѣда. Правда, желаніе Гнѣдича промѣнять университетъ на казарму дѣйствительно не осуществилось. Быть можетъ, не было на то воли отца, быть можетъ, и самъ Гнѣдичъ отказался отъ своего намѣренія. Нельзя только не признать, что письмо Гнѣдича къ отцу дышитъ несомнѣнной искренностью, что его воинственное одушевленіе было, можетъ быть, мимолетно, но неподдѣльно. Во всякомъ случаѣ, это странное письмо Гнѣдича даетъ намъ удобный случай познакомиться съ нѣкоторыми чертами его характера, съ чертами, которыя съ одинаковой силой обнаруживались въ немъ и въ юности, и въ зрѣлые года. Гнѣдичъ былъ по природѣ энтузіастъ. Самъ онъ въ своемъ неокончен-

номъ предсмертномъ стихотвореніи такъ характеризуетъ свою душу:

«Сама ты у меня отъ юности могуча,
И безпокойна, и кипуча,
Какъ Тульскій самоваръ.
Отъ дѣтства ко всему твой безпрерывный жаръ».

Въ другомъ своемъ стихотвореніи онъ говоритъ про свое сердце:

«.... что съ юности нѣжной оно трепетало
При чувствѣ прекрасномъ, при помыслѣ важномъ иль смѣломъ,
Дрожало при имени славы и гордой свободы»...

То же говорятъ про Гнѣдича и его друзья. «Онъ былъ очень воспріимчивъ и пылокъ, сердился за бездѣлицу, но вскорѣ утихалъ», говоритъ о Гнѣдичѣ Гречъ. «Воспитываясь въ Московскомъ университетѣ, замѣчаетъ Лобановъ, онъ отличался *пылкостью ума*, добротою сердца и былъ горячо любимъ своими товарищами, которыхъ увлекалъ своею *пламенною любовью* къ поэзіи. Позже, довѣрчивый, пламенный и постоянный въ дружбѣ, онъ былъ отмѣнно пріятенъ въ дружескихъ бесѣдахъ». Гнѣдичъ, прибавляетъ Лобановъ, легко приходилъ въ состояніе восторга. «Довольно было одного звука изъ твореній Гайденовъ и Моцартовъ, одного взгляда на созданія Рафаэлей и Микель-Анджеловъ, одного счастливаго стиха Виргиліевъ и Расиновъ, чтобы страстная и пылкая душа его пришла въ восторгъ и упоеніе».—Мы не имѣемъ права заподозрѣвать правдивость этихъ извѣстій, но не можемъ не замѣтить, что и въ дружеской характеристикѣ Лобанова рядомъ съ пламенемъ и жаромъ проступаетъ еще другая черта Гнѣдичева характера, которая придавала своеобразный видъ его врожденному энтузіазму. Онъ не только былъ энтузіастомъ, но и хотѣлъ имъ казаться. Онъ не любилъ скрывать своего жара; ему напротивъ нравилось, если этотъ жаръ выступалъ наружу и замѣчался другими. Это опасное стремленіе могло перейти въ аффектацію, въ желаніе порисоваться своимъ чув-

ствомъ, своей восторженностью. И дѣйствительно, нечего грѣха таить, эта послѣдняя черта была у Гнѣдича. Она представляла оборотную сторону его природной пылкости. Гнѣдичъ не прочь былъ взмыливать свой энтузіазмъ, если онъ не пробуждался самъ собой. Любовь къ наружному блеску, къ эффектнымъ положеніямъ, ко всему театральному и показному рано стала обнаруживаться у Гнѣдича. У него была натура актера. Этимъ объясняется его страсть къ театральному искусству и декламаціи. Еще въ университетѣ онъ, по словамъ Лобанова, «плѣнялъ своихъ товарищей одушевленнымъ сильнымъ чтеніемъ писателей, особливо драматическихъ... и за представленіе на университетскомъ театрѣ нѣкоторыхъ трагическихъ лицъ бывалъ осыпаемъ единодушными похвалами. Эта любовь къ драматическимъ произведеніямъ, продолжаетъ тотъ же Лобановъ, къ роду сильнѣйшему въ области поэзіи, болѣе другихъ удовлетворявшему возвышенную и пылкую его душу, была господствовавшею страстью и услаждала его въ теченіе всей его жизни». Дѣйствительно, Гнѣдичъ былъ завзятый театралъ и кромѣ того пользовался въ свое время извѣстностью, какъ чрезвычайно искусный чтецъ. Это налагало на него «особый отпечатокъ». Театральный завсегдатай и публичный декламаторъ сказывались въ самой фигурѣ Гнѣдича, въ его манерѣ держаться и говорить. Въ немъ было что-то похожее на трагическаго актера во вкусѣ старинныхъ театральныхъ правилъ. «Онъ былъ нѣсколько чопоренъ, говорилъ кн. Вяземскій, величавъ; рѣчь его звучала нѣсколько декламаторски. Онъ какъ то говорилъ гекзаметрами... Онъ слылъ хорошимъ чтецомъ, но въ чтеніи его, *какъ и во всемъ прочемъ*, было мало простоты и натуральности». Подобный же отзывъ о чтеніи Гнѣдича даетъ и М. Дмитріевъ. «Чтеніе Гнѣдича было непріятно. Это было какое то громозвучное, но глухое пѣніе, почти завываніе».

Но вернемся къ годамъ юности нашего писателя. Его мечты о военной службѣ были только однимъ изъ раннихъ проявленій все той же склонности къ эффектно-обнаруживающемуся энтузіазму, о которой мы говорили. Его тѣшила мечта о бранныхъ

подвигахъ, о славѣ полководца, которая, быть можетъ, выпадетъ на его долю; но пусть даже не осуществятся эти мечты, пусть онъ будетъ убитъ при первой же стычкѣ, получится все-таки эффектная картина въ стилѣ казацкихъ думъ: отважный юноша, сраженный вражьей пулей «въ полѣ незнаемѣ». Гнѣдичъ, можетъ быть, уже оплакивалъ свою раннюю кончину, но это только возбуждало сильнѣе его рыцарскій жаръ. Онъ не могъ равнодушно видѣть «воина». Онъ представлялъ себѣ, какъ при пріѣздѣ Государя онъ явится къ нему и лично заявитъ свое желаніе поступить въ солдаты. «Я не могу видѣть воина, не чувствуя нѣкоего сладостнаго удовольствія въ душѣ своей, того воина, объ коемъ говорятъ всѣ съ величайшею похвалою. Образъ героя Суворова живо напечатлѣнъ въ душѣ моей, я его боготворю. Жаль мнѣ прервать союзъ съ музами, но гласъ Отечества зоветъ, и я долженъ стремиться со всею пылкостью вступить на то поприще жизни, по которому шествуя, надѣюсь оказать услуги Отечеству. Если протечетъ мнѣ 20 лѣтъ, духъ бодрости ослабнетъ, желаніе уменьшится. До 20 лѣтъ, можетъ-быть, я буду не безъ имени человѣкъ. Лучше несравненно для Отечества, полезнѣе для самого себя вступить въ тотъ родъ службы, къ которому кто чувствуетъ себя способнымъ, нежели перемѣнять свои склонности..... Внимательными глазами разсматривалъ я всѣ роды службы. Всякая имѣетъ труды и награжденія, пожертвованія силъ и удовольствіе, — во всякой службѣ есть счастливцы и несчастливцы. Но военная служба, по мнѣнію моему, превосходитъ всѣ прочія. Славно, очень славно и любезно умереть на ратномъ полѣ при открытомъ небѣ. Правда, не меньше пріятно умереть въ своемъ мѣстѣ рожденія. Но судьба ничья неизвѣстна. Нельзя жить въ свѣтѣ и не испытать несчастій! Не всегда свѣтитъ солнце, не всегда бываетъ майское утро. Теперь въ разсужденіи военной службы наступаетъ, можно сказать, майское утро. Въ гвардіи дана прежняя привилегія. Государь поступаетъ по сердцу Екатерины; теперь можно сыскать счастье... Я уповаю на Бога и прошу Его, да дастъ мнѣ силы къ понесенію трудовъ. Позвольте

мнѣ вступить въ военную службу по пріѣздѣ Е. И. В., котораго я самъ буду просить»...

Письмо Гнѣдича къ отцу относится къ послѣднему времени его пребыванія въ университетѣ. Мечты о военной службѣ были разбиты. Оставалось попытать счастья на другихъ путяхъ жизни. Въ концѣ 1802 года Гнѣдичъ покинулъ Московскій университетъ, а въ началѣ 1803 года отправился въ Петербургъ. Отправимся за нимъ и мы, но не тотчасъ. Намъ нужно еще пересмотрѣть и внести въ опись литературные пожитки, брошенные въ Москвѣ юнымъ искателемъ служебнаго счастья.

Литературная дѣятельность Гнѣдича началась очень рано и была довольно разнообразна. Первые печатные труды Гнѣдича появились въ то время, когда нашему писателю было только 18 лѣтъ. Въ 1802 году Гнѣдичъ издалъ небольшой сборникъ переводовъ и оригинальныхъ статей подъ заглавіемъ: «Плоды уединенія». Въ этомъ сборникѣ вы найдете все, что хотите: тутъ есть во-первыхъ два стихотворенія: «Несогласіе» и «Стонъ при гробѣ М-а», затѣмъ два произведенія въ драматической формѣ: «Драмма — Доброй внукъ» и «Честолюбіе и поздное раскаяніе, трагедія», далѣе нѣсколько небольшихъ повѣстей: «Моритъ или жертва мщенія», «Примѣръ храбрости», «Нещастная любовь, — отрывокъ», наконецъ нѣсколько большихъ чувствительныхъ разсужденій въ томъ родѣ, о которомъ могутъ дать понятіе первыя произведенія Жуковскаго. Чувствительныя разсужденія были въ большой модѣ при господствѣ сантиментализма; Гнѣдичъ заплатилъ дань этой модѣ статьями: Гимнъ добродѣтели, О богатствѣ, Чувства кающагося грѣшника, Весеннее утро, Соловей, Кладбище, О великодушіи. — Одну изъ статей своего сборника: «Моритъ или жертва мщенія», Гнѣдичъ тогда же издалъ еще отдѣльно съ посвященіемъ Ив. Влад. Лопухину и съ эпиграфомъ изъ Карамзина. Къ посвященію присоединено коротенькое предисловіе, не лишенное значенія для характеристики тогдашней литературной манеры Гнѣдича: «Любезный читатель! Я имѣлъ удовольствіе чувствовать и писать,—сладостное удовольствіе! но

оно еще увеличится, оно сдѣлается безцѣнно, естьли твое сердце— сердце чувствительное одобритъ его, естьли раздѣлитъ его вмѣстѣ со мною». Кто не разслышитъ здѣсь знакомыхъ звуковъ Карамзинской литературы? Въ томъ же году, когда появились «Плоды уединенія», Гнѣдичъ напечаталъ еще переводъ трагедіи Дюсиса: «Абюфаръ или арабская семья». Въ слѣдующемъ затѣмъ 1803 году Гнѣдичъ издалъ переводъ трагедіи Шиллера: «Заговоръ Фіэско въ Генуѣ» и оригинальный романъ въ двухъ частяхъ: «Донъ Коррадо де-Геррера или духъ мщенія и варварства Гишпанцевъ».

Самымъ крупнымъ изъ всѣхъ перечисленныхъ мною произведеній слѣдуетъ признать послѣднее, т. е. романъ «Донъ Коррадо». Я позволю себѣ остановиться съ нѣкоторымъ вниманіемъ на этомъ образчикѣ русской повѣствовательной литературы начала текущаго столѣтія.

Въ Алжирѣ, — въ какое именно время, въ точности неизвѣстно,— пользовался широкой, хотя и самой печальной извѣстностью нѣкто Донъ-Жуанъ де-Геррера, пиратъ, промышлявшій человѣчьимъ товаромъ. Онъ «былъ изъ первыхъ разбойниковъ, изъ первыхъ варваровъ, торгующихъ бѣдными невольниками». У Донъ-Жуана было два сына: Алонзо и Коррадо. Алонзо былъ добръ, чувствителенъ и не обнаруживалъ никакой склонности къ преступному ремеслу своего отца. Отецъ не любилъ его за то. Расположеніемъ Донъ-Жуана пользовался другой сынъ. Коррадо не могъ жаловаться на скупость природы: она наградила его умомъ и твердой энергической волей. «Онъ родился съ мужественнымъ характеромъ, онъ родился для великихъ дѣлъ. Такъ, онъ былъ бы великой человѣкъ; въ молодыхъ еще лѣтахъ онъ не любилъ пресмыкаться; въ молодыхъ лѣтахъ душа его возвышалась при предметахъ страшныхъ: когда небо было ясное, когда свѣтило солнце; тогда Коррадо былъ не веселъ, тогда никакія забавы, никакія игры товарищей не могли развеселить его; когда же вихри вздымали столбомъ пыль, когда буря гнала черныя облака, когда блескъ молніи ослѣплялъ глаза,

когда трескъ грома оглушалъ людей; тогда, — о! тогда-то былъ онъ веселъ, тогда-то сердце его билось сильнѣе; и онъ, поднявши вверхъ голову, съ веселымъ духомъ бѣгалъ по комнатамъ и вызывалъ оробѣвшихъ товарищей, играть съ нимъ. Порокъ и добродѣтель раждаются въ каждой сторонѣ, и человѣкъ, составленный изъ смѣси оныхъ, бываетъ злымъ и добрымъ, научаясь изъ примѣровъ ему представляющихся». Коррадо, «будучи еще ребенкомъ, питался воздухомъ, которымъ дышали злодѣи», и изъ него вышелъ чудовищный негодяй, который оставилъ далеко за собой преступнаго отца.

Коррадо рано началъ принимать участіе въ разбойничьихъ разъѣздахъ отца. Во время одного изъ такихъ разъѣздовъ попала въ неволю молодая, красивая грузинка. Коррадо влюбляется и хочетъ жениться на невольницѣ. Отецъ не позволяетъ. Тогда Коррадо, не долго думая, рѣшается отдѣлаться отъ отца. Во время страшной бури, когда на кораблѣ поднялась суматоха, и каждый думалъ только о себѣ, Коррадо выбралъ удобную минуту и незамѣтнымъ толчкомъ сбросилъ въ море стараго пирата. Буря усиливается. Разбойничье судно разбито. И сыну, и отцу грозитъ, повидимому, неминуемая гибель, но рѣдкая случайность спасаетъ того и другого. Не буду утомлять вашего вниманія пересказомъ тѣхъ приключеній и преступленій Коррадо, описаніемъ которыхъ заняты въ романѣ цѣлыя главы. Перейду прямо къ послѣднему періоду жизни и дѣятельности героя Гнѣдичева романа. Коррадо разными правдами и неправдами, или, говоря точнѣе, только неправдами удается получить мѣсто начальника отряда испанскихъ войскъ и стать владѣльцемъ замка. Въ это время въ одномъ изъ угловъ Испаніи вспыхнуло возстаніе. «Бѣдной народъ, гнетомый игомъ рабства, отягченный ужасными налогами, сдѣлавшійся игрушкою Инквизиціи, лишился куска хлѣба, лишился средствъ обработывать поля, и они сдѣлались пусты, какъ степи Ливійскія. Неужели народу смотрѣть на ужасную нищету, обитавшую въ ихъ хижинахъ? Неужели имъ смотрѣть на сребролюбіе, похищающее у нихъ послѣднюю овцу, ихъ пи-

тавшую, похищающее за то, что они не въ состояніи заплатить великихъ податей? Нѣтъ, чувство негодованія родилось въ сердцахъ ихъ; они ожесточились и захотѣли уменьшить тяжесть ига общими силами; всѣ приступили къ Правительству; это назвали бунтомъ и велѣли усмирять ихъ не правосудіемъ, не кроткими законами, а мечемъ». Коррадо получаетъ порученіе усмирить мятежъ. Онъ быстро это исполняетъ, но какъ исполняетъ! Деревня, усмиренная Коррадо, представляла картину разрушенія; долина, въ которой она ютилась, была покрыта трупами.

Но, не довольствуясь этой страшной картиной, авторъ примѣшиваетъ еще къ жестокости Коррадо религіозный фанатизмъ, въ данномъ случаѣ совершенно непонятный и неожиданный. «Всемогущій! размышляетъ авторъ, это дѣла тѣхъ, которые почитаютъ себя твоими мстителями, и, блуждаясь въ страшномъ суевѣріи, съ бѣшенствомъ поражаютъ невинныхъ; и когда раны ихъ точатъ кровь, когда стоны ихъ поражаютъ воздухъ, то суевѣріе думаетъ, что это благоугодная тебѣ жертва». Затѣмъ разсказывается цѣлый рядъ новыхъ злодѣйствъ Коррадо. Онъ встрѣчается случайно съ своимъ отцомъ, схватываетъ его, бросаетъ въ подвалъ своего замка и затѣмъ убиваетъ. Жена Коррадо, Олимпія, находитъ неожиданно брата своего мужа, Алонзо, приглашаетъ его въ замокъ и оказываетъ ему самое нѣжное вниманіе. Коррадо, не зная кого ласкаетъ Олимпія, вернувшись домой, при первой же встрѣчѣ убиваетъ брата. Затѣмъ онъ, такъ сказать мимоходомъ, отправляетъ на тотъ свѣтъ еще нѣсколько человѣкъ. Наконецъ, правительство узнаетъ о злодѣйствахъ Коррадо и рѣшается положить имъ конецъ. Романъ оканчивается изображеніемъ послѣднихъ дней преступника. «Неизобразимы мученія и ужасы, терзавшіе предъ смертію сердце Коррада. Души убитыхъ пробудились и усугубляли его мученія. Не могши сносить оныхъ, онъ собственными руками хотѣлъ удавить себя. Съ посинѣвшимъ лицемъ, съ кровавыми глазами, съ одеревенѣвшими около горла руками застали его и успѣли возвратить ему жизнь.... Но отвратимъ взоръ отъ болѣзненной картины коле-

сованія Коррада. Кому неизвѣстна страшная Инквизиція? Скажемъ только, что земля наконецъ освободилась отъ чудовища съ его наперстникомъ».

М. Дмитріевъ въ «Мелочахъ изъ запаса моей памяти» говоритъ о романѣ Гнѣдича слѣдующее: «Этотъ романъ можно вспомнить только потому, что онъ написанъ Гнѣдичемъ, переводчикомъ Иліады; но не должно забыть, при томъ, что это — произведеніе его молодости. Онъ написанъ въ родѣ тѣхъ *ужасныхъ* романовъ, которые были тогда въ модѣ, но не въ подражаніе г-жѣ Радклифъ, а болѣе въ родѣ романовъ нѣмецкихъ». Замѣчаніе вѣрное. Въ нѣмецкой литературѣ того времени были въ модѣ такъ называемые разбойничьи романы, самые извѣстные образцы которыхъ далъ Вульпіусъ (авторъ «Ринальдо Ринальдини»). Размноженіе этого рода романовъ объясняютъ успѣхомъ, который имѣли «Разбойники» Шиллера. Разбойничьи романы были болѣе или менѣе неудачными подражаніями этого произведенія великаго поэта. Въ рѣзкомъ несходствѣ двухъ братьевъ— Алонзо и Коррадо въ романѣ Гнѣдича мы можемъ видѣть также слабое и отдаленное отраженіе Карла и Франца Моора. Недаромъ Гнѣдичъ беретъ для своего романа эпиграфъ изъ Шиллера. Въ это время германскій поэтъ былъ вообще однимъ изъ любимыхъ писателей Гнѣдича. Въ томъ же 1803 году, когда появился Донъ-Коррадо, Гнѣдичъ издалъ переводъ Шиллеровой піесы: «Заговоръ Фіэско». Прибавлю, что въ романѣ Гнѣдича открываютъ еще вліяніе одного изъ романовъ Мармонтеля.

Далѣе, что касается способа изложенія, литературной манеры, господствующей въ «Коррадо», то тутъ обнаруживается несомнѣнное вліяніе Карамзина. Мы видѣли, что это вліяніе замѣтно еще въ «Плодахъ уединенія». То же нужно повторить и о романѣ. Въ подтвержденіе этого я, сверхъ приведенныхъ уже выдержекъ, позволю себѣ сдѣлать еще двѣ. Вотъ какъ изображаетъ Гнѣдичъ прощаніе нѣкоего Донъ-Перлато съ его воспитанницей передъ наступленіемъ той роковой ночи, когда онъ

былъ убитъ подосланными племянникомъ убійцами: «Донъ-Перлато призвалъ къ себѣ Розину. Это была его воспитанница, его дочь. Она была уже сговорена за молодого Донъ-Ористана, чувствительнаго—любезнаго человѣка. Болѣе часа онъ съ нею разговаривалъ, увѣщевалъ ее, какъ отецъ, наставлялъ ее въ добродѣтели и велѣлъ ей любить Ористана и почитать Донъ-Москозо. «Такъ, говорилъ онъ, люби его, дочь моя, какъ своего брата; онъ гордъ, онъ презираетъ насъ, но я не знаю за что, я не слышалъ отъ него ласковаго слова, но при всемъ томъ люблю его. Пускай онъ придетъ ко мнѣ, пускай требуетъ у меня всего, и я ему не откажу, я его люблю; но онъ — онъ — Богъ ему судія!» Слезы покатились по лицу Перлата; онъ прижалъ Розину къ груди своей, прижалъ ее крѣпко, какъ будто предчувствуя, что прижимаетъ ее въ послѣдній разъ. Они имѣли какое-то печальное чувство; но боялись обнаружить его другъ другу. Розина поцѣловала у него руку, пожелала ему доброй ночи, взглянула на него и слеза выкатилась изъ глазъ ея; въ дверяхъ еще разъ оборотилась, взглянула, и ушла имѣя въ сердцѣ своемъ чувство скорби и горести. Ахъ! она не знала, что поутру *обниметъ только хладной трупъ своего благодѣтеля, своего отца*». — А вотъ размышленіе автора «Коррадо», по поводу смѣлаго поступка могильщика Инфанта, освободителя Донъ-Жуана изъ тюрьмы: «Люди! посмотрите на Инфанта — на бѣднаго, добраго, человѣколюбиваго Инфанта, который, выработывая кусокъ хлѣба въ потѣ лица своего, раздѣляетъ его съ неимущимъ, а вы! — вы — пресыщаетесь дарами фортуны, богачи, дремлющіе въ сладкой нѣгѣ, проснитесь! выйдите изъ очаровательнаго заблужденія, раздерите завѣсу, помрачающую взоръ вашъ — проснитесь! и посмотрите на человѣчество». Карамзинскій стиль, хотя и воспроизводимый нѣсколько неумѣло, такъ и бросается въ глаза въ этихъ строкахъ. Прибавлю кстати, что подражаніе Карамзину сказывается у Гнѣдича не только въ прозаическомъ слогѣ, но и въ манерѣ стихотворной. Карамзинъ считалъ самымъ удобнымъ для стихотвореній на темы, взятыя изъ народной, безыскусствен-

ной поэзіи, ямбическій стихъ съ дактилическимъ окончаніемъ. Этимъ размѣромъ написанъ «Илья Муромецъ»:

«Не хочу съ поэтомъ Греціи
Звучнымъ гласомъ Каллiопинымъ
Пѣть вражды Агамемновой
Съ храбрымъ правнукомъ Юпитера»....

Гнѣдичъ пользуется этимъ размѣромъ при передачѣ Оссіана. Вотъ нѣсколько строкъ изъ стихотворенія: «Красоты Оссіана или пѣсни въ Сельмѣ» (1804):

«Ты, которая являешься
Изъ-за темныхъ облакъ запада
Съ тихимъ взоромъ и трепещущимъ,
Ты, которая течешь теперь,
По пространству неба синяго
Тихо, важно и торжественно, —
О звѣзда вечерня, свѣтлая,
Ночи тихой вѣрна спутница!
Для чего свой взоръ трепещущій
На долину опускаешь ты?»....

Или вотъ начало «Послѣдней пѣсни Оссіана» (1806):

«О источникъ ты лазоревый,
Со скалы крутой спадающій
Съ бѣлой пѣною жемчужною!
О источникъ, извивайся ты,
Разливайся влагой свѣтлою
По долинѣ чистой Лутау.
О дубрава кудреватая!
Наклонись густой вершиною,
Чтобы солнца лучъ полуденный,
Не палилъ долины Лутау»

Романсъ Гнѣдича (1805):

Долго-ль, долго-ль будешь биться,
Сердце бѣдное, въ груди....

написанъ «на голосъ: Пой во мракѣ тихой нощи» Карамзина.

Словомъ, Гнѣдичъ, насколько онъ выразился въ Коррадо и другихъ раннихъ произведеніяхъ, — несомнѣнно, писатель новаго слога. Но это однако не помѣшало карамзинистамъ высказать начинающему писателю нѣсколько рѣзкихъ замѣчаній. Макаровъ, издатель «Московскаго Меркурія», въ своемъ разборѣ Гнѣдичева романа, писалъ: «Донъ-Коррадо рѣжетъ, душитъ, давитъ — самъ не зная *для чего* — всѣхъ безъ разбору возраста и пола, родныхъ и сторонникъ, враговъ и друзей — всѣхъ, до которыхъ рука его можетъ достать. Отъ первой страницы до послѣдней сей романъ представляетъ только картины убійства, отравленій, злодѣяній, разсказанныхъ съ удивительнымъ хладнокровіемъ. Жаль, что такому прекрасному сочиненію не достаетъ цѣли, плана, слога и занимательныхъ приключеній!» Далѣе Макаровъ приводитъ цѣлый рядъ отдѣльныхъ неудачныхъ выраженій, отысканныхъ въ романѣ Гнѣдича. Макаровъ правъ. Романъ Гнѣдича нельзя назвать удачнымъ произведеніемъ. Обрисовка характеровъ незамысловата до наивности: всѣ дѣйствующія лица романа дѣлятся на двѣ рѣзко различныхъ группы: съ одной стороны злодѣи, которые только и дѣлаютъ, что убиваютъ, грабятъ, насильничаютъ; съ другой стороны — невинные, чувствительные и добродѣтельные люди, въ родѣ Алонзо, Олимпіи, Донъ-Перлато и др. Языкъ невыработанный, по мѣстамъ даже просто неправильный. Въ планѣ есть нескладица. Изложеніе напыщенное, риторическое съ неудачными притязаніями на силу и драматизмъ. Эти притязанія въ соединеніи съ грамматическими неправильностями производятъ иногда комическое впечатлѣніе тамъ, гдѣ авторъ хотѣлъ достигнуть впечатлѣнія ужаснаго.

Но, несмотря на всѣ эти недостатки, въ романѣ Гнѣдича

есть что-то привлекательное. Привлекательно то благородное одушевленіе, та неподдѣльная гуманность, то глубокое отвращеніе къ насилію, которымъ проникнуто произведеніе молодого автора. Авторъ—человѣкъ возвышеннаго образа мыслей и благороднаго сердца—вотъ какое впечатлѣніе выносишь изъ знакомства съ этимъ раннимъ произведеніемъ Гнѣдича.

Позже Гнѣдичъ рѣдко возвращался къ тѣмъ общественнымъ темамъ, которыхъ коснулся онъ, хотя и неудачно, въ романѣ Донъ Коррадо. Можно развѣ указать на стихотворенія: «Общежитіе» (1804), «Перуанецъ къ Испанцу» (1805), эпиграмма: «Помѣщикъ Балабанъ». Мысль перваго стихотворенія та, что только въ преданности общему благу, въ служеніи отечеству человѣкъ можетъ найти задачу, достойную разумнаго существа. Стихотвореніе представляетъ рѣзкій протестъ противъ общественнаго индеферентизма, противъ эгоистическаго: «моя хата съ краю», противъ равнодушнаго отношенія къ общественному злу:

«И ты, когда законъ ногами попираютъ,
Болванамъ золотымъ курятъ всѣ ѳиміамъ,
Достойныхъ же вѣнцовъ—всѣхъ пылью засыпаютъ;
Ты долженъ ли тогда скитаться по лѣсамъ?
Ахъ, нѣтъ! но о добрѣ всеобщемъ лишь радѣя,
Всѣмъ другомъ истиннымъ себя ты окажи,
Гнетущу руку ты останови злодѣя,
И что гнетомый правъ, ты свѣту покажи,
Неблагодарныхъ обяжи!...
Священный долгъ намъ есть—для блага всѣхъ трудиться:
Какъ безъ подпоръ нельзя и винограду виться,
Такъ мы безъ помощи другихъ не проживемъ;
Тотъ силу отъ подпоръ—мы отъ людей беремъ.
Всѣмъ вмѣстѣ должно жить, всѣмъ вмѣстѣ намъ трудиться,
Гнушаться зломъ—добро любить;
И радость изъ одной всѣмъ чаши пить:
Вотъ цѣль, съ какою всякъ изъ насъ въ сей міръ родится.»

Стихотвореніе «Перуанецъ къ Испанцу» проникнуто искреннимъ сочувствіемъ къ униженнымъ и оскорбленнымъ и ненавистью къ угнетателямъ. Эпиграмма: «Помѣщикъ Балабанъ» интересна тѣмъ, что имѣетъ прямое отношеніе къ русской дѣйствительности:

«Благочестивый мужъ, Христу изъ угожденья,
Для нищихъ на селѣ построилъ домъ призрѣнья, —
И нищихъ для него надѣлалъ изъ крестьянъ.»

Въ записной книжкѣ Гнѣдича разбросано немало замѣтокъ, касающихся общественныхъ и политическихъ отношеній. Въ нихъ онъ рисуется передъ нами, какъ сторонникъ разумной свободы и разумно поступательнаго движенія общественной жизни. «Есть люди, пишетъ Гнѣдичъ, (и таковъ мой почтенный сосѣдъ), которые, не имѣя понятія объ лучшемъ состояніи общества или правительства, съ гордостью утверждаютъ, что иначе и быть не можетъ. Они согласны въ томъ, убѣждаяся очевидностями, что существующій порядокъ соединенъ съ большимъ зломъ; но утѣшаютъ себя мыслію, что другой порядокъ невозможенъ. — Сосѣду моему вспоминалъ я того императора японскаго, который едва не умеръ со смѣху, когда ему разсказывали объ образѣ правленія въ Голландіи. Но сосѣдъ остался непоколебимъ, какъ ирокезецъ, который понять не можетъ, чтобы можно было побѣждать враговъ, не жаря плѣнныхъ.» — Гнѣдичъ вѣритъ въ силу разума, управляющаго ходомъ исторіи: «законы разума вѣчны, неизмѣнны; онъ не временщикъ, котораго можно подкупить или обольстить; онъ не возмутитель, способный къ покорности за какія нибудь ничтожныя уступки.» — Но эта глубокая вѣра въ прогрессъ не мѣшаетъ однако нашему писателю признавать, что возможны и опасныя уклоненія отъ пути, указываемаго разумомъ исторіи—бываютъ эпохи застоя, эпохи мрачныя и развращающія: «государства доводятся до такого положенія, что въ нихъ мыслящему человѣку ничего не можно сказать безъ того, чтобы не показаться осуждающимъ, и власти, кото-

рыя это дѣлаютъ, и народъ, который это переноситъ. Въ такія времена безнадежныя должно молчать. Въ такія времена печальныя молодые люди до старости, а старые до гроба доходятъ въ молчаніи. — Или горе безразсудному, который начнетъ говорить что думаетъ, прежде нежели обезпечилъ себѣ хлѣбъ на цѣлую жизнь. Горе ему, если чувство добра и справедливости поселилось въ сердцѣ бѣдняка. Лицемѣріе, притворство — вотъ верховный законъ общественный для того, кто рожденъ безъ наслѣдства.» — Даже «самые высокіе и твердые умы должны производить низости и уродливости при отверженіи отъ своей свободы: «Насъ рабство подъ твоей державой возвышаетъ», воскликнулъ Ломоносовъ Елизаветѣ». Гнѣдичъ — сторонникъ разумнаго движенія впередъ, и потому именно врагъ всякаго насилія, прикрывается ли оно краснымъ или бѣлымъ знаменемъ. Онъ съ ужасомъ отворачивался отъ революціоннаго самоуправства, но онъ же позволяетъ себѣ сказать: «Если въ исторіи Екатерины II будетъ разорвана первая страница ея, это будетъ исторія истинно великой государыни.» Послѣ приведенныхъ отрывковъ, мы поймемъ, почему въ стихотвореніи: «Иностранцамъ — гостямъ моимъ» (1824) Гнѣдичъ обращается къ своимъ новымъ знакомцамъ съ такими словами:

«Когда нибудь и вы въ родимой сторонѣ,
Подъ небомъ счастливымъ земли свободной вашей,
Въ бесѣдахъ дружескихъ воспомните о мнѣ;
Скажите: скиѳъ сей былъ достоинъ дружбы нашей...
Любилъ отечество, но жилъ въ немъ не рабомъ,
И у себя подъ тѣснымъ шалашомъ
Дышалъ святой свободой.»

Сбирая въ одну группу тѣ немногія произведенія, въ которыхъ Гнѣдичъ касается общественныхъ вопросовъ, я забѣжалъ нѣсколько впередъ. Вернемся къ прерванному разсказу.

Въ началѣ 1803 года на одной изъ Петербургскихъ заставъ прописалъ свой паспортъ молодой человѣкъ, пріѣхавшій изъ Москвы. Онъ былъ высокъ ростомъ, статенъ, съ благородной осанкой, съ правильно очерченнымъ профилемъ. Издали онъ могъ показаться красавцемъ. Но стоило только подойти ближе, чтобы убѣдиться въ ошибкѣ. Лицо его было совершенно изуродовано оспой. Оно «было покрыто не только рябинами, но и швами; правый глазъ вытекъ, почему пріѣзжій въ шутку называлъ себя «Циклопомъ.» Но этотъ некрасивый циклопъ «придавалъ (однако) себѣ всѣ притязанія и прихоти красавца... (какъ выражается кн. Вяземскій). Онъ всегда одѣвался по послѣдней картинкѣ; волоса были завиты; шея повязана платкомъ, котораго стало бы на три шеи». Конечно, онъ только сильнѣе выказывалъ свое безобразіе, вставляя его въ изысканную нарядную раму. Но онъ не замѣчалъ этого. Онъ просто не могъ побѣдить какой-то врожденной склонности ко всему нарядному, эффектному, бросающемуся въ глаза. Незнакомому фигура элегантнаго урода могла бы показаться только смѣшной. Но тѣ, кому удавалось съ нимъ сблизиться, знали, что за забавной наружностью скрывались недюжинныя дарованія, пылкое, доброе и благородное сердце и воля, воспитанная въ возвышенныхъ правилахъ чести и добра. Такимъ, по крайней мѣрѣ, представляется Гнѣдичъ по сохранившимся отзывамъ близко знавшихъ его людей. Исключеніе составляетъ отзывъ Вигеля; но вѣдь о комъ Вигель сказалъ доброе слово? Наша столица и ея окрестности произвели на Гнѣдича на первыхъ порахъ чарующее впечатлѣніе. Онъ пишетъ стихотвореніе «Петергофъ» (1803), родъ описательной поэмы, въ которой картины Петергофскаго сада чередуются съ пышными фразами о добродѣтеляхъ Императрицы Маріи Ѳеодоровны. Но это очарованіе, вызванное внѣшнимъ блескомъ столицы, скоро прошло. Оно смѣнилось новымъ горькимъ чувствомъ. Новичекъ въ столицѣ, у котораго на первыхъ порахъ разбѣжались глаза, скоро убѣдился, что блескъ «сѣвернаго сіянія»—блескъ холодный. «Я одинокъ, я на чужбинѣ», — вотъ что почувствовалъ Гнѣдичъ.

Этимъ чувствомъ проникнуто стихотвореніе 1805 года: «Гласъ благодарности:»

Долго ль будешь, рокъ суровый,
Дни весны моей мрачить,
И на сей ты годъ мой новый
Хочешь тучи наводить?
Гдѣ, въ какихъ сердцахъ найду я
Противъ этихъ тучъ отводъ,
Или мнѣ, опять горюя,
Провлачить и этотъ годъ,
Здѣсь — далеко на *чужинѣ*
Отъ родныхъ, друзей моихъ?
Бѣдняку — и сиротинѣ
Не найти во вѣки ихъ!

Тоже чувство пробивается и въ стихотвореніи: «На гробѣ матери.» Онъ жалѣетъ, что судьба «занесла его далеко» отъ его «тихой родины.»

Знакомое уже намъ письмо Гнѣдича къ отцу даетъ понять, въ какомъ возвышенномъ настроеніи, съ какими блестящими надеждами вступалъ въ жизнь молодой Гнѣдичъ. Онъ думалъ «оказать услуги Отечеству». Онъ писалъ: «гласъ Отечества зоветъ, и я долженъ стремиться со всею пылкостью вступить на то поприще жизни, по которому шествуя, надѣюсь оказать услуги Отечеству». При переводѣ этихъ возвышенныхъ плановъ на языкъ житейской прозы получилось нѣчто очень скромное «Гласъ отечества» прозвучалъ очень тихо: онъ позвалъ молодого энтузіаста въ одну изъ петербургскихъ канцелярій и указалъ ему мѣсто за одной изъ конторокъ. «1 марта 1803 года опредѣленъ въ департаментъ Народнаго Просвѣщенія на должность писца и тогда же произведенъ въ коллежскіе регистраторы», отмѣчено въ послужномъ спискѣ Гнѣдича. Приказная Фортуна оказалась не особенно благосклонной къ Гнѣдичу. Довольно долго пришлось ему довольствоваться скромной ролью мелкаго канцелярскаго чиновника.

Въ 1810 году открылась было надежда получить мѣсто при нашемъ посольствѣ въ Вашингтонѣ. «Я былъ уже на мази ѣхать искать Фортуны тамъ, гдѣ растетъ перецъ, въ Сѣверную Америку, при посольствѣ», пишетъ Гнѣдичъ Капнисту. Но это предположеніе почему-то не осуществилось. Зато, вскорѣ послѣ этого, въ началѣ 1811 года, Гнѣдичу удалось поступить на службу въ Императорскую Публичную Библіотеку. Въ званіи сначала помощника библіотекаря, а потомъ библіотекаря онъ оставался на службѣ до января 1831 года. Для полноты служебнаго списка Гнѣдича прибавлю, что поступивъ на службу въ Публичную Библіотеку, онъ продолжалъ занимать прежнее мѣсто въ департаментѣ Народнаго Просвѣщенія до 24 мая 1817 года. Кромѣ того, съ 1814 г. по 1827 г. онъ числился письмоводителемъ въ государственной канцеляріи. Послѣдніе два года своей жизни Гнѣдичъ прожилъ въ отставкѣ.

Съ теченіемъ времени Гнѣдичу удалось добиться обезпеченнаго положенія. Въ 1812 году онъ получилъ пенсію отъ вел. кн. Екатерины Павловны; въ 1826 г. пенсію отъ Государя; въ 1827 году еще какую-то прибавку изъ Государственной канцеляріи. Но всѣ эти щедроты достались Гнѣдичу уже тогда, когда силы его были надломлены, когда испытанія жизни уже успѣли оказать на него свое давящее и разрушающее дѣйствіе. Они же, эти испытанія жизни, наложили свою печать и на поэзію нашего писателя, придавъ его лирикѣ одинъ преобладающій тонъ.

Въ послужномъ спискѣ Гнѣдича отмѣчено: «родового и благопріобрѣтеннаго имѣнія не имѣетъ». Маленькое помѣстье, которое досталось Гнѣдичу послѣ отца, нашъ писатель передалъ сестрѣ. Ему приходилось такимъ образомъ жить заработкомъ, а въ первое время службы этотъ заработокъ былъ ничтоженъ. Гнѣдичу пришлось познакомиться съ нуждой. Жизнь бѣдняка съ ея мелкими, но болѣзненными непріятностями будила въ молодомъ писателѣ горькія чувства:

Люди есть и здѣсь, конечно,—
Кто Лукулловъ всѣхъ сочтетъ! —

Но бѣднякъ межъ ними вѣчно
Человѣка не найдетъ...
Они чувствовать не знаютъ,
Имъ невнятенъ стонъ другихъ;
Ихъ добро—есть видъ корысти
Или гордости одной;
Нѣтъ не къ воплямъ, но лишь къ лести
Слухъ они склоняютъ свой.

Такъ писалъ Гнѣдичъ въ стихотвореніи «Гласъ благодарности» (1805). Тоже горькое чувство сказывается и въ другомъ стихотвореніи: «Сонъ скупого» (1805). Припомнимъ влеченіе Гнѣдича къ блеску, ко всему нарядному и показному, и мы поймемъ, что неизвѣстность и нужда должны были отзываться въ немъ съ особенной болѣзненностью.

Изрѣдка Гнѣдичу удавалось покидать на время Петербургъ. Такъ, въ 1805 и въ 1810 годахъ онъ ѣздилъ на родину. Но и эти поѣздки приносили мало отрады: «съ 15 іюля я въ объятіяхъ родственниковъ, но рыдающихъ; не подъ веселымъ кровомъ отеческимъ, но на гробахъ моихъ предковъ. Я всегда досадовалъ, что воображеніе мое увеличиваетъ предметы выше ихъ сущности, но вотъ въ первый разъ оно ихъ уменьшило. Положеніе сестры моей болѣе тягостно и достойно сожалѣнія, нежели я воображалъ въ Петербургѣ. Я кляну себя, зачѣмъ такъ медлилъ пріѣздомъ. Сердце мое такъ стѣснено, что я ничего не могу писать тебѣ, любезный другъ, посторонняго. Здѣсь весь воздухъ пахнетъ и смѣется, а люди всѣ плачутъ. Должно имѣть Зенонову философію, чтобы быть равнодушнымъ». Такъ писалъ Гнѣдичъ съ родины въ 1810 году. Спустя нѣсколько времени сестра Гнѣдича умерла, оставивъ на его попеченіе сироту — дочь. Гнѣдичъ искренно привязался къ ней. Но въ 1826 году умерла и племянница. Въ глубоко прочувствованномъ стихотвореніи: «На смерть дочери покойной сестры» Гнѣдичъ оплакалъ юное существо, бла-

годаря которому онъ «позналъ сладость жить не для себя», которое лелѣялъ

«Какъ лучшую мечту, какъ сладкую надежду»...

Такимъ образомъ и на родинѣ въ впечатлѣніяхъ, которыя давала ему жизнь родной семьи, Гнѣдичъ находилъ не отраду, а только источникъ новой скорби, новаго горя.

Ко всему этому присоединилась еще несчастная, безнадежная любовь. Скорбная нота нераздѣленнаго чувства рано начинаетъ звучать въ стихотвореніяхъ Гнѣдича. Въ «Романсѣ» 1805 г. слышатся и признаніе, и упреки, и отчаяніе:

Землю ту, гдѣ *ты* ступала,
Землю ту я цѣловалъ...
Но увы! завѣса пала,
Страшну правду я узналъ.

***

Я узналъ — о лучше бъ вѣчно
Не встрѣчалъ тебя взоръ мой,
Чѣмъ, любя *тебя* сердечно,
Знать, что я забытъ тобой.

***

Для чего жъ *ты* сердцу льстила,
Чтобъ его лишь побѣдить?
Для чего змѣей *ты* была,
Чтобы послѣ уязвить?

***

Смѣйся ты, что я страдаю,
Что мученія терплю,
Что отъ нихъ я умираю —
Умираю, но люблю.

Изъ стихотворенія «Элегія», относящагося къ той же порѣ, мы узнаемъ, что онъ живетъ далеко отъ своей милой, на чужбинѣ и томится разлукой.

О Софія, мой другъ, я разлученъ съ тобой,
Въ пустыню занесенъ, какъ вихремъ листъ сухой,
. . . . . .
Увы! умру я здѣсь — умру въ чужой странѣ,
Никто не проліетъ одной слезы по мнѣ,
Ни къ гробу мрачному никѣмъ непровожденный,
И прежде гроба я—отъ всѣхъ уже забвенный
Засыплюсь хладною, незнаемой рукой,
И буду — страшна мысль — забвенъ я и тобой.

Эти упоминанія о чужбинѣ, о разлукѣ заставляютъ догадываться, что царицей сердца нашего поэта въ это время была какая-нибудь очаровательная его землячка. Такимъ образомъ къ грустнымъ впечатлѣніямъ, которыя давала ему родина въ рѣдкіе пріѣзды, присоединялось еще горькое чувство нераздѣленной любви. Съ намеками на это чувство мы встрѣчаемся потомъ въ цѣломъ рядѣ лирическихъ произведеній Гнѣдича. Въ одномъ изъ этихъ стихотвореній онъ объясняетъ смыслъ «страшнаго глагола: любить» и заканчиваетъ это объясненіе такъ:

Вотъ что испытывалъ (я знаю надъ собою),
Кто въ жизни разъ влюбленнымъ былъ,
И вотъ зачѣмъ никто два раза не любилъ.

Наконецъ, есть еще одно обстоятельство, котораго нельзя обойти при объясненіи тона, господствующаго въ лирикѣ Гнѣдича. Это обстоятельство — болѣзненность нашего писателя. Отъ природы некрѣпкій, онъ былъ поставленъ судьбой въ такія условія, которыя мало-по-малу превратили его жизнь въ лѣтопись болѣзней, врачебныхъ совѣтовъ и аптечныхъ сигнатуръ. Гнѣдичъ написалъ даже особый трудъ, который озаглавилъ: «Исторія моихъ болѣзней».

Страданія души, страданія тѣла, страданія отъ нужды, страданія отъ семейныхъ несчастій, страданія отъ любви, страданія отъ болѣзней, цѣлый рядъ страданій.... Согласимся, что у

насъ налицо достаточно, даже слишкомъ достаточно, условій, которыя могли развивать и поддерживать въ нашемъ писателѣ то грустное, меланхолическое настроеніе, которое преобладаетъ въ его лирическихъ произведеніяхъ. Въ этомъ чувствѣ меланхоліи Гнѣдичъ встрѣтился съ другимъ современнымъ ему пѣвцомъ грусти — съ Жуковскимъ. Одинаковыя причины производили одинаковое дѣйствіе. Лира Гнѣдича издавала нерѣдко звуки, до обманчивости сходные съ звуками лиры Жуковскаго. Мысли о смерти, о жизни «тамъ», о таинственномъ общеніи живыхъ съ отшедшими «милыми сердцу», о радостномъ свиданіи за гробомъ, о любви, какъ отраженіи на землѣ неземного блага — всѣ эти любимые мотивы поэзіи Жуковскаго повторяются и у Гнѣдича. Въ подтвержденіе я могу указать цѣлый рядъ стихотвореній Гнѣдича, въ которыхъ указанное сходство выступаетъ то сильнѣе, то слабѣе, то въ цѣломъ, то въ подробностяхъ. Вотъ эти стихотворенія: На гробѣ матери, Скоротечность юности, Элегія, Къ Провидѣнію, Осень, На смерть дочери умершей сестры, Дума, На смерть Дельвига, Надпись на гробѣ полковника Быковскаго. — Прочтемъ хоть одно изъ этихъ стихотвореній:

Кто не вкушалъ на землѣ жизни на лонѣ любви,
Тотъ бытія земного возвышенной цѣли не понялъ;
Тотъ предвкусить не успѣлъ сладостной жизни *другой:*
Онъ, какъ туманъ, при рожденіи гибнущій, умеръ не живши.

Если бы мы не знали, чье это стихотвореніе, мы нисколько не удивились бы, если бы встрѣтили подъ нимъ подпись: Василій Жуковскій. Любопытно, что сходство открывается даже въ подробностяхъ, въ отдѣльныхъ образахъ и картинахъ. Жуковскій любилъ рисовать такую картину: уединенная могила безвременно погибшаго пѣвца; надъ могилою тѣнь деревьевъ; на деревѣ — лира умершаго; изрѣдка, она издавала звуки; кажется, будто слышатся отголоски изъ другого міра. Укажу для примѣра на стихотвореніе «Пѣвецъ» (1810) и «Посланіе къ Блудову» (1809):

У Гнѣдича мы находимъ такую же точно картину въ стихотвореніи: «Скоротечность юности»:

О холмъ, гдѣ лиру въ дѣтствѣ строя,
Съ цѣвницей селъ я соглашалъ,
Ты будь одромъ мнѣ вѣчнаго покоя!
Сего, какъ счастья, я желалъ:

Всегда желалъ, чтобъ край священный
Гдѣ кости спятъ отцовъ моихъ,
Близъ нихъ спокоилъ прахъ мой тлѣнный
Въ своихъ объятіяхъ родныхъ;

Чтобъ тамъ безмолвная могила
Возвысилася надо мной,
И только-бъ съ вѣтромъ говорила
Своей высокою травой.

А ты, для коей я вселенну
Любилъ и жизнь хотѣлъ влачить,
Сестра! когда ты грудь стѣсненну
Захочешь плачемъ облегчить...

Мою забвенную цѣвницу
Воспомни, принеси съ собой,
Чтобъ отличить пѣвца гробницу,
Повѣсь подъ дубомъ надо мной.

Она въ полночный часъ, унылой,
Тебѣ пѣвца напомянетъ;
Со стономъ вѣтра надъ могилой
И свой надгробный стонъ сольетъ...

Примѣръ этотъ тѣмъ особенно любопытенъ, что о прямомъ вліяніи Жуковскаго на Гнѣдича говорить трудно: «Скоротечность юности» написана Гнѣдичемъ въ 1806 г., а указанныя выше стихотворенія Жуковскаго относятся къ 1809 и 1810 годамъ.

Гнѣдичъ сходился съ Жуковскимъ и въ идеалѣ счастья. «Главный предметъ моихъ желаній — домашнее счастіе; моихъ? Едва ли это не цѣль и конецъ, къ которымъ стремятся предпріятія и труды каждаго человѣка».—Кто не припомнитъ при этомъ извѣстнаго разсужденія Жуковскаго: «Кто истинно добрый и счастливый человѣкъ»? Но Жуковскому хоть подъ старость удалось осуществить тотъ идеалъ счастливой жизни, который онъ такъ бережно несъ всю свою жизнь. Гнѣдичъ остался холостякомъ. «Увы — я бездоменъ, я безроденъ. Кругъ семейственный есть благо, котораго я никогда не вѣдалъ. Чуждый всего, что бы могло меня развеселить, ободрить, я ничего не находилъ въ пустотѣ домашней, кромѣ хлопотъ, усталости, унынія. Меня обременяли всѣ заботы жизни домашней безъ всякаго изъ ея наслажденій». — «Нѣсколько разъ порывался онъ вкусить счастіе домашней жизни, говоритъ Гречъ, но удерживался мыслію о безобразіи своемъ».

До сихъ поръ мы говорили все о страданіяхъ и скорби. Но были, конечно, и у Гнѣдича свѣтлыя минуты. Тотъ, кто вздумалъ бы изобразить его жизнь одной черной краской, сдѣлалъ бы крупную ошибку.

Мы видѣли, что еще въ молодости Гнѣдичъ обнаружилъ страсть къ драматическому искусству. Позже онъ сталъ завзятымъ театраломъ. Часы, проводимые имъ въ театрѣ, были для него часами высокаго наслажденія. «Не знаю наслажденія не *физическаго* болѣе восхитительнаго, какъ видѣть игру хорошихъ актеровъ», читаемъ въ запискахъ Гнѣдича. Но онъ не довольствовался только скромною ролью зрителя. Гнѣдичъ не мало поработалъ для театра, какъ переводчикъ. Я уже упоминалъ, что въ 1802 году Гнѣдичъ перевелъ драму Дюсиса: «Абюфаръ или арабская семья»; въ 1803 году онъ издалъ переводъ Шиллеровой трагедіи «Заговоръ Фіэско». Затѣмъ въ 1807 году поставлена была на сценѣ трагедія *Леаръ*; это—передѣлка передѣлки: французскій писатель передѣлалъ Шекспира, а Гнѣдичъ передѣлалъ

француза. Въ 1816 году появилась трагедія Вольтера: «Танкредъ» въ переводѣ Гнѣдича. Кромѣ того, ему принадлежатъ переводы отдѣльныхъ сценъ изъ «Троила» Шекспира (1812) и изъ «Андромахи» Расина (1820).

Частое посѣщеніе театра и работы для театра сблизили Гнѣдича съ театральнымъ міркомъ. Приэтомъ, пунктомъ сближенія была не всегда только безпримѣсная любовь къ искусству. Гнѣдичъ былъ далеко не аскетъ. Вы убѣдитесь въ этомъ, прочитавъ, напримѣръ, его стихотвореніе «Циклопъ». Въ посланіи къ гр. Хвостову Гнѣдичъ, правда, дѣлаетъ грустное признаніе:

«Мнѣ можно ли, Хвостовъ, любовью льститься музъ?
Мнѣ можно ли вступать съ безсмертными въ союзъ,
Когда и смертныхъ дѣвъ плѣнить я не умѣю?
И дуренъ я, и хворъ, и денегъ не имѣю»...

Но тогдашнія сплетни говорили другое. «Театральная хроника стараго времени гласитъ, замѣчаетъ кн. Вяземскій, что и онъ (Гнѣдичъ) имѣлъ дни своихъ любовныхъ успѣховъ и счастія.» Приведенное выше выраженіе Гнѣдича: «никто два раза не любилъ», нужно, кажется, понимать нѣсколько въ условномъ смыслѣ. Знатоки этого отдѣла психологіи чувствованій утверждаютъ, что въ счетѣ чувствъ легко сдѣлать ошибку. Настоящее въ области чувства всегда кажется первымъ и единственнымъ въ своемъ родѣ; все прошлое представляется при этомъ чѣмъ-то инымъ, минутнымъ увлеченіемъ, ошибкой, обманомъ и т. п. Такъ, вѣроятно, было и съ Гнѣдичемъ. Гречъ говоритъ: «онъ умѣлъ любить страстно, пламенно: въ противномъ случаѣ не былъ бы поэтомъ, но любовь его улетала изъ сердца съ мечтами воображенія». Но вслѣдъ затѣмъ тотъ же Гречъ прибавляетъ: «глубокое, неизгладимое впечатлѣніе произвела въ немъ Катерина Семеновна Семенова, которую онъ училъ трагической декламаціи».—Знакомство Гнѣдича съ знаменитой артисткой началось около 1807 года. Гнѣдичъ обрабатывалъ съ ней трагическія роли, былъ ея репетиторомъ. Позже Гнѣдичъ жаловался, что работая съ Семеновой онъ

долженъ былъ сильно напрягаться, а это вредно отзывалось на его здоровьи.—«Особенную у меня раздражительность горла, говоритъ Гнѣдичъ въ запискѣ о своихъ болѣзняхъ, должно, можетъ быть, приписать между прочимъ тѣмъ частымъ и необыкновеннымъ напряженіямъ его, какія я дѣлалъ, начавъ еще съ 1807 года обрабатывать трагическія роли съ бывшею актрисою Г. Семеновой». Можемъ, кажется, прибавить, не рискуя сказать пошлость, что при этомъ сближеніи съ великой артисткой не уцѣлѣло и сердце ея репетитора. Недаромъ Гречъ, хорошо знавшій Гнѣдича, упоминаетъ о «неизгладимомъ впечатлѣніи», произведенномъ Семеновой. Что касается артистки, то она, повидимому, платила своему учителю чувствомъ благодарности, уваженія, но-не болѣе. Въ 1818 или 1819 г. она близко познакомилась съ кн. Иваномъ Алексѣевичемъ Гагаринымъ; въ январѣ 1820 г. «обезпеченная въ своемъ положеніи», какъ выражается Араповъ въ «Лѣтописи русскаго театра», вышла въ отставку; въ 1828 году повѣнчалась съ своимъ давнишнимъ покровителемъ. Нельзя не замѣтить, что какъ разъ въ 1818—1819 годахъ грустные мотивы начинаютъ съ особенной силой повторяться въ стихотвореніяхъ Гнѣдича.

Какъ бы то ни было, и на этомъ пути нашъ писатель добрался только до такого же разочарованія, которое ему и раньше пришлось пережить. Осталось чувство пустоты и одиночества тѣмъ болѣе горькое, что года молодости и силы все больше и больше уходили въ даль. Горькой ироніей надъ собой звучитъ четверостишіе Гнѣдича: «День моего рожденія», написанное въ 1824 году:

Дорогой скучною, погодой все суровой,
Тащу я жизнь мою сегодня сорокъ лѣтъ.
Что жъ нахожу сегодня, въ годъ мой новый?
Да больше ничего, какъ только сорокъ лѣтъ.

Еще болѣе тяжелое впечатлѣніе оставляетъ стихотвореніе «Дума»:

Печаленъ мой жребій, удѣлъ мой жестокъ!
Ничьей не ласкаемъ рукою,
Отъ дѣтства я росъ одинокъ, сиротою,
Въ путь жизни пошелъ одинокъ;
Прошелъ одинокъ его — тощее поле,
На коемъ, какъ въ знойной Ливійской юдолѣ,
Не встрѣтились взору ни тѣнь, ни цвѣтокъ;
Мой путь одинокъ я кончаю,
И хилую старость встрѣчаю
Въ домашнемъ быту одинокъ.
Печаленъ мой жребій, удѣлъ мой жестокъ!

Стихотвореніе это написано въ 1832 году. Въ слѣдующемъ году Гнѣдича не стало. Онъ умеръ 3 февраля 1833 года.

Въ предшествующемъ изложеніи мы познакомились съ литературными опытами Н. И. Гнѣдича въ повѣствовательной и драматической формѣ. Эти опыты принадлежатъ большею частью ранней молодости нашего писателя и представляютъ, такъ сказать, пробы пера, которымъ и самъ авторъ ихъ не придавалъ впослѣдствіи большого значенія.—Мы познакомились затѣмъ съ лирическими произведеніями Гнѣдича, которыя, смѣняясь одно другимъ, тянутся чрезъ всю жизнь поэта. — Едва ли не самое вѣрное сужденіе объ этихъ произведеніяхъ высказалъ самъ Гнѣдичъ:

Спѣшу, о стихи, васъ отъ грознаго спасть приговора;
Спѣшу васъ отдать подъ покровъ снисходительной Дружбы. —
И если она не найдетъ въ васъ ни прелестей слова,
Какими насъ Музы изъ устъ ихъ любимцевъ плѣняютъ;
Ни пламенныхъ чувствій, ни думъ тѣхъ могучихъ, какія
Кипятъ на устахъ вдохновенныхъ и души народовъ волнуютъ,
То—нѣжная въ чувствахъ найдетъ хоть меня въ моихъ пѣсняхъ...

Въ самомъ дѣлѣ, стихотворенія Гнѣдича имѣютъ *важное біографическое значеніе:* мы знакомимся по нимъ съ тѣмъ, что занимало думы нашего писателя, чѣмъ волновался онъ, что любилъ и отъ чего страдалъ. Лирику Гнѣдича съ такимъ же правомъ можно назвать лѣтописью его сердца, какъ и лирику Жуковскаго.

Но если разсматривать стихотворенія Гнѣдича, независимо отъ ихъ отношенія къ интимной біографіи поэта, если не смотрѣть на нихъ, какъ на поэтическую лѣтопись его сердца, то значеніе ихъ окажется довольно скромное. Всѣ эти «пѣсни», а также и другія произведенія Гнѣдича, намъ уже знакомыя, стоятъ въ несомнѣнной связи съ современнымъ движеніемъ литературы, но мы напрасно искали бы въ нихъ новаго слова, новыхъ мотивовъ. Если бы отъ Гнѣдича остались только эти произведенія, мы признали бы въ немъ второстепеннаго писателя періода Карамзина и Жуковскаго, не болѣе. Слава Гнѣдича, его право на почетное и самостоятельное мѣсто въ исторіи русской литературы въ тѣхъ трудахъ, которыхъ мы еще не касались. Его слава въ переводѣ Иліады и другихъ памятниковъ античнаго творчества, въ переводѣ новогреческихъ пѣсенъ и, наконецъ, если хотите, въ его идилліи.

Это — важнѣйшіе труды Гнѣдича. Но не смотря на это, я постараюсь сдѣлать обозрѣніе и этихъ трудовъ возможно краткимъ. Дѣло въ томъ, что очеркъ литературнаго движенія, представленный мною въ началѣ чтенія, значительно облегчаетъ и упрощаетъ здѣсь мою задачу.

Сдѣлаемъ нѣсколько припоминаній. Новое литературное движеніе опредѣлилось, какъ мы видѣли, въ противоположность прежнему, псевдоклассическому направленію, долго господствовавшему въ европейскихъ литературахъ. Прежнее направленіе разоблачено было, какъ ложное, подражательное, искусственное. Новое направленіе напротивъ выставило на своемъ знамени девизъ: оригинальность, правда, природа. Отрядъ, собирающійся подъ это знамя, движется двумя путями: путемъ, пробитымъ великими мастерами древности, и новооткрытымъ путемъ новоевро-

пейской народной словесности. Псевдоклассицизму противопоставляется классицизмъ; подражательности — стремленіе къ самобытнымъ основамъ творчества.

У насъ на Руси рѣшительное обнаруженіе новаго направленія связывается съ дѣятельностью Карамзина и его сторонниковъ. Но, какъ я имѣлъ уже случай замѣтить, въ дѣятельности Карамзинистовъ на первыхъ порахъ были крупные пробѣлы. Они слишкомъ занялись своими чувствами и на этомъ невинномъ, но малоплодномъ занятіи остановились. Но мало-по-малу движеніе возстановляется. Обращеніе къ безыскусственной поэзіи и изученіе античнаго міра находитъ и на Руси, хотя немногихъ, но подготовленныхъ и дѣятельныхъ партизановъ. Является Уваровъ, ученый классикъ и вмѣстѣ съ тѣмъ членъ «Арзамаса». Является Гнѣдичъ, переводчикъ Омира и вмѣстѣ съ тѣмъ лирическій поэтъ, подтягивающій въ унисонъ Жуковскому. Онъ былъ членомъ Россійской Академіи, но никто, конечно, не станетъ причислять Гнѣдича къ писателямъ стараго слога во вкусѣ Шишкова.

2 января 1814 года въ торжественномъ собраніи Публичной библіотеки Н. Ив. Гнѣдичъ читалъ разсужденіе о причинахъ, замедляющихъ успѣхи нашей словесности. Двѣ такихъ причины отыскиваетъ онъ: первая — недостаточное знакомство съ древними; вторая — невниманіе къ національно-оригинальному, къ родному языку и родной исторіи. «Отъ временъ Рима и до нашихъ, во всѣхъ странахъ Европы и у насъ, образованіе языка тогда только начиналось, когда писатели знакомились съ языками древнихъ, а успѣхи тамъ только быстрѣе возрастали и словесность народную возвысили до совершенства, гдѣ писатели основательно изучали творенія древнихъ, признанныя образцами превосходнаго первымъ законодателемъ вкуса.

. . . . «Vos exemplaria Graeca
Nocturna versate manu, versate diurna».

Но пусть этотъ пробѣлъ нашего образованія будетъ восполненъ, пусть также уваженіе ко всему отечественному: къ род-

ному языку, къ родной поэзіи, къ родной исторіи прочно укоренится въ общемъ сознаніи, возможна ли будетъ все-таки и при этомъ русская оригинальная литература? Въ одной изъ замѣтокъ Гнѣдича, помѣщенныхъ въ записной книжкѣ, слышится какъ будто сомнѣніе. — «Въ настоящее время, когда народы европейскіе, по безпрерывнымъ сношеніямъ и сближеніямъ своимъ, сливаются, такъ сказать, въ одну націю, народъ, одаренный чувствами сильными и характеромъ мощнымъ, едва ли въ состояніи образовать литературу своеобразную, литературу истинно національную, а особенно, если онъ съ самаго возрожденія общества и литературы всегда и исключительно предпочитаетъ языкъ чужой и поклоняется образцамъ иноземнымъ». Но эта замѣтка была, конечно, только выраженіемъ преходящаго настроенія мысли, а не кореннымъ убѣжденіемъ Гнѣдича. Онъ вѣрилъ въ дарованія русскаго народа, онъ прямо говоритъ объ этомъ въ разсужденіи о замедляющихъ причинахъ. Гнѣдича мало радовала русская литература, не только прежняя,—литература Ломоносова и Державина,—но и та, которая выступила ей на смѣну,—литература сантиментализма. Эта стадія развитія новой литературы его не удовлетворяла. Онъ желалъ большаго, онъ хотѣлъ видѣть дальнѣйшее движеніе и пока не видѣлъ, сомнѣвался и хандрилъ. Но лишь только развернулась передъ нимъ поэтическая дѣятельность Пушкина, онъ оживился и воскликнулъ, какъ Симеонъ: Нынѣ отпущаеши раба твоего, Владыко, яко видѣста очи мои спасеніе твое.... Трудно представить большее одушевленіе, чѣмъ то, которымъ проникнуто стихотвореніе Гнѣдича: А. С. Пушкину.

Пушкинъ, Протей,
Гибкимъ твоимъ языкомъ и волшебствомъ твоихъ пѣснопѣній!
Уши закрой отъ похвалъ и сравненій
Добрыхъ друзей:
Пой, какъ поешь ты, родной соловей!
Байрона геній, иль Гете, Шекспира,

Геній ихъ неба, ихъ нравовъ, ихъ странъ:
Ты же, постигнувшій таинство русскаго духа и міра,
Пой намъ по-своему, Русскій Баянъ!
Небомъ роднымъ вдохновенный,
Будь на Руси ты пѣвецъ *несравненный*.

Гречъ говоритъ: «Пушкина любилъ онъ съ какимъ-то родительскимъ изступленіемъ и искренно радовался его успѣхамъ и славѣ».

Гнѣдичъ высоко ставилъ поэзію Пушкина, именно потому что видѣлъ въ ней откровеніе оригинальнаго русскаго генія. Какъ истинный представитель литературной мысли своего времени, онъ цѣнилъ больше всего именно оригинальность, непосредственность, «геніальность» творчества. Поэзія должна быть откровеніемъ природы; въ пѣсняхъ должны слышаться простые безыскусственные звуки природы. Вотъ какъ Гнѣдичъ высказываетъ эту мысль о сущности поэзіи въ посланіи къ Плетневу:

Есть безпристрастнѣйшій поэтовъ судія,
Ихъ мать, ихъ первая помощница — Природа.
Предстань передъ лицо ея
Въ часъ солнцева торжественнаго всхода,
Когда умытая душистою росой
Является со всей роскошной красотой
Безсмертно-юная Природа;
Или въ тотъ часъ, когда и ночь и тишина
Лѣнивымъ сномъ смыкаетъ смертныхъ очи:
Природа лишь подъ кровомъ ночи,
Какъ непорочная, прекрасная жена,
Любимцу тайныя красы разоблачаетъ.
Пусть геній твой природу вопрошаетъ;
И если ты ея достойный неофитъ,
Она къ тебѣ заговоритъ
Своимъ простымъ, но черни непонятнымъ

Краснорѣчивѣйшимъ для сердца языкомъ;
И если въ сердцѣ онъ откликнется твоемъ
Глубокимъ трепетомъ, душѣ поэта внятнымъ;
И если по тебѣ внезапно пробѣжитъ
Священный холодъ изступленья,
И духъ твой закипитъ
Живою жаждой пѣснопѣнья,—
Рукою смѣлою коснися струнъ нѣмыхъ:
Онѣ огнемъ души зажгутся,
Заговорятъ, и отъ перстовъ твоихъ
Живыя пѣсни разольются.

Въ стихотвореніи «къ моимъ стихамъ» онъ высказываетъ надежду, что Дружба и въ его «пѣсняхъ нестройныхъ»

Услышитъ тотъ голосъ, сердечный языкъ тотъ всемірный
Какимъ говоритъ къ намъ безсмертная матерь — Природа....

Въ стихотвореніи: «Иностранцамъ — гостямъ моимъ» онъ выражается подобнымъ же образомъ:

Скажите: Скиѳъ сей былъ достоинъ дружбы нашей:
Какъ мы, къ поэзіи любовью онъ дышалъ,
Какъ мы, ей лучшіе дни жизни посвящалъ;
Бесѣдовалъ съ Гомеромъ и Природой....

Это сопоставленіе Природы и Омира чрезвычайно характерно для Гнѣдича, какъ представителя знакомаго уже намъ направленія литературной мысли.

Лучшіе труды Гнѣдича были посильнымъ выраженіемъ его литературныхъ предилекцій. Въ молодости онъ увлекается Оссіаномъ — Макферсона, мнимо-народныя пѣсни котораго долго шли за настоящія. Въ 1804 году онъ пишетъ: «Красоты Оссіана или пѣсни въ Сельмѣ». — «Въ стихахъ сихъ, объясняетъ Гнѣдичъ, много не найдутъ того, что есть въ «Пѣсняхъ въ Сель-

мѣ», но многое найдутъ, чего нѣтъ въ нихъ; скажу (но, можетъ быть, эта смѣлость мнѣ и непростительна), что я хотѣлъ только всѣ красоты Оссіана слить въ эти пѣсни, и въ нихъ однѣхъ хотѣлъ показать, каковъ Оссіанъ». Спустя два года (въ 1806 г.) онъ переводитъ послѣднюю пѣснь Оссіана. Въ стихотвореніи: «Къ К. Н. Батюшкову» онъ съ увлеченіемъ припоминаетъ нѣкоторые мотивы изъ Оссіана рядомъ съ «волшебной пѣснью Омира»:

Иль посѣтимъ Морвенъ Фингаловъ,
Ту Сельму, домъ его отцовъ,
Гдѣ на пирахъ сто арфъ звучало,
И пламенѣло сто дубовъ;

Но гдѣ давно лишь вѣтеръ почи
Съ пустынной шепчется травой,
И только звѣздъ безсмертныхъ очи
Тамъ свѣтятъ съ блѣдною луной.

Тамъ Оссіанъ теперь мечтаетъ
О битвахъ и дѣлахъ былыхъ;
И лирой — тѣни вызываетъ
Могучихъ праотцевъ своихъ....

Позже Гнѣдичъ заинтересовался ново-греческой народной поэзіей. Въ 1825 году онъ издалъ небольшой сборникъ этихъ пѣсенъ (числомъ 12) подъ такимъ заглавіемъ: «Простонародныя пѣсни нынѣшнихъ Грековъ, съ подлинникомъ, изданныя и переведенныя въ стихахъ, съ прибавленіемъ введенія, сравненія ихъ съ простонародными пѣснями русскими и примѣчаній». Текстъ пѣсенъ взятъ изъ извѣстнаго сборника Форіэля съ нѣкоторыми поправками и дополненіями, которыя сообщилъ Гнѣдичу протоіерей Константинъ Экономосъ, бывшій экономъ константинопольскаго патріарха, жившій въ то время въ Петербургѣ. Что касается перевода, то нельзя, кажется, не признать, что онъ сдѣланъ мастеромъ своего дѣла. Недаромъ, по свидѣтельству Греча,

ново-греческія пѣсни въ переводѣ Гнѣдича «приводили въ восторгъ Грибоѣдова». Къ пѣснямъ присоединены введеніе и примѣчанія. Введеніе дѣлится на двѣ главы: въ первой дана общая характеристика ново-греческихъ пѣсенъ, составленная тоже по Форіэлю. Здѣсь мы читаемъ между прочимъ: «Чѣмъ болѣе встрѣчаемъ произведеній, гдѣ естественное, истинное и прекрасное отъ усильнаго исканія, тщательности и украшеній, потеряны, тѣмъ болѣе находимъ прелести въ произведеніяхъ, въ которыхъ воображеніе юное и смѣлое излилося со всею свободою, и для одного удовольствія изливаться. Почти такимъ образомъ, и по причинамъ одинакимъ, выходя изъ душнаго бала, даваемаго роскошью суетѣ и скукѣ, мы вкушали бы наслажденія чистѣйшія, когда бы вдругъ случилось намъ увидѣть картину радостей невинныхъ, живыя игры дѣтства....» Гнѣдичъ удержалъ въ своемъ изложеніи это мѣсто статьи Форіэля, потому что вполнѣ раздѣлялъ его симпатіи къ безыскусственной поэзіи. Вторая глава Гнѣдичева введенія представляетъ любопытный опытъ сравненія ново-греческихъ пѣсенъ съ русскими. Греческіе міологи напоминаютъ наши причитанья; «пѣсня ласточки», которую поютъ въ Греціи весной, похожа на веснянки; пѣвцы ново-греческихъ пѣсенъ заставляютъ вспомнить украинскихъ кобзарей. Гнѣдичъ отыскиваетъ сходство въ самомъ стилѣ греческихъ и русскихъ пѣсенъ, при чемъ дѣлаетъ между прочимъ любопытное указаніе на слѣды отрицательныхъ сравненій въ ново-греческихъ пѣсняхъ. Въ примѣчаніяхъ къ отдѣльнымъ пѣснямъ повторяются подобныя же сопоставленія. Укажу на примѣчанія къ пѣснямъ: Сонъ Дима, Послѣднее прощаніе Клефта, Умирающій Іотъ.

Изучающій русскую литературу съ особеннымъ интересомъ остановится на этихъ экскурсіяхъ Гнѣдича въ область русской народной пѣсни. Видимъ, что переводчикъ Иліады, хоть и не посвятилъ особаго труда нашей народной поэзіи, но зналъ ее и дорожилъ ею. Недаромъ приведенный мною ранѣе горячій привѣтъ Пушкину написанъ Гнѣдичемъ «по прочтеніи сказки его о царѣ Салтанѣ и проч.» Гнѣдичъ даже гордился поэтическимъ богат-

ствомъ русскаго народа, онъ жалѣлъ только, что мало средствъ, мало пособій для знакомства съ этимъ богатствомъ. «Наши старинныя повѣсти, читаемъ въ записной книжкѣ, стихотворенія, наши народныя пѣсни, которыхъ богатствомъ и истинно народнымъ поэтическимъ духомъ мы можемъ передъ другими народами хвалиться, а особенно геніальная, своеобразная Пѣснь о полку Игоревѣ, во многихъ отношеніяхъ важны исторически; сіи пѣсни, безъ сомнѣнія, суть хотя слабый и неопытный отголосокъ поэзіи прежнихъ временъ, достойный самаго рачительнаго вниманія и сбереженія, требуютъ обрабатыванія осторожнаго и благоразумнаго....» Подобныя же замѣчанія, проникнутыя живымъ интересомъ къ русской народной поэзіи, читаемъ и во введеніи къ сборнику ново-греческихъ пѣсенъ и въ предисловіи къ Идиллiи Ѳеокрита.

Обратимся теперь къ важнѣйшему труду Гнѣдича, къ переводу Иліады. Въ 1810 году столь извѣстный графъ Дм. Ив. Хвостовъ напечаталъ посланіе къ Гнѣдичу, въ которомъ говоритъ о немъ, какъ о поэтѣ, какъ о любимцѣ музъ. Въ отвѣтъ на это посланіе Гнѣдичъ съ первыхъ же словъ заявляетъ, что не можетъ, къ сожалѣнію, принять предлагаемаго ему титула. Онъ не признаетъ себя поэтомъ, не находитъ въ себѣ нужныхъ поэту силъ:

Мнѣ, изволеніемъ всеправящихъ боговъ,
Не суждено въ удѣлъ сихъ выспреннихъ даровъ.

Область, ему доступная, въ которой его усилія не пропадутъ даромъ, другая.

Мой духъ лишь воспаленъ любовію къ наукамъ,
Къ священной истинѣ, златыя лиры къ звукамъ;
И счастливъ, чувствуя волшебну сладость ихъ.
Они отрада мнѣ. въ прискорбныхъ дняхъ моихъ:
Восторженной душой при гласѣ лиръ священныхъ,
Живой я восхожу на пиръ боговъ блаженныхъ!....

Гнѣдичъ намекаетъ здѣсь на свои работы надъ Омиромъ. Будущій переводчикъ Иліады заинтересовался древне-греческимъ эпосомъ еще въ Университетѣ. Съ годами этотъ интересъ не слабѣлъ, а росъ. Въ 1807 году (въ стихотвореніи: Къ К. Н. Батюшкову) Гнѣдичъ называетъ Омира *своимъ* пѣвцомъ:

Иль мой пѣвецъ — Царь пѣснопѣній,
Неумирающій Омиръ,
Среди безчисленныхъ видѣній
Откроетъ намъ весь древній міръ.

О, пѣснь волшебная Омира
Насъ вмигъ перенесетъ, пѣвцовъ,
Въ край героическаго міра
И поэтическихъ боговъ....

Мало-по-малу эти занятія Омиромъ сосредоточились у Гнѣдича около опредѣленной задачи. Онъ задумалъ переводить Иліаду. Въ 1809 году вышла въ свѣтъ небольшая книжка, заключавшая въ себѣ переводъ 7-й пѣсни Иліады александрійскимъ стихомъ. Это былъ первый опытъ переводчика Иліады. Гнѣдичъ началъ свой трудъ именно съ 7-ой пѣсни, потому что первыя шесть пѣсенъ были уже извѣстны въ русскомъ переложеніи Ермила Кострова (1787). Въ 1811 году отыскалось продолженіе перевода Кострова (7, 8 и половина 9-й пѣсни). Но это не остановило Гнѣдича. Онъ продолжалъ свою работу. Въ 1812 году появился его переводъ 8-й пѣсни, затѣмъ онъ успѣлъ перевести принятымъ имъ размѣромъ еще пѣсни 9, 10 и часть 11-ой. На этомъ его попытка переводить Иліаду александрійскимъ стихомъ оборвалась. Въ 1813 году появилось въ Чтеніяхъ въ Бесѣдѣ любителей русскаго слова письмо къ Гнѣдичу Уварова, въ которомъ тотъ доказывалъ возможность и преимущество перевода Омира на русскій языкъ гекзаметромъ. «Если нѣмцы, владѣя языкомъ весьма непокорнымъ, достигли до того, что имѣютъ хорошіе и вѣрные метрическіе переводы, зачѣмъ намъ, русскимъ, не имѣть

наконецъ перевода Омира гекзаметромъ?» Мысль Уварова была принята Гнѣдичемъ. Его давній трудъ получилъ такимъ образомъ новые размѣры и поставленъ былъ на новый путь. Первый отрывокъ своего перевода Иліады гекзаметромъ Гнѣдичъ напечаталъ въ 1813 году. Затѣмъ съ 1813 года до 1829 года въ разныхъ журналахъ появилось немало отрывковъ изъ разныхъ пѣсенъ Иліады въ новомъ переводѣ Гнѣдича. Въ 1829 году появился полный текстъ русской Иліады, изданный въ двухъ томахъ in octavo со всей возможною тогда типографской роскошью. «Позже, нежели бы могъ, говоритъ Гнѣдичъ въ предисловіи, и не въ томъ видѣ, какъ бы желалъ, издаю переводъ Иліады. Долговременная болѣзнь воспрепятствовала мнѣ ранѣе напечатать его и присовокупить Введеніе и Примѣчанія; они требовали много времени для такого рода объясненій творенія древняго, какой избранъ мною, и отрывкомъ былъ напечатанъ въ Сынѣ Отечества.» Отрывокъ, упоминаемый здѣсь, носитъ заглавіе: О тактикѣ Ахеянъ и Троянъ, о построеніи войскъ, о расположеніи и укрѣпленіи становъ (лагерей) у Гомера.»

Такова внѣшняя исторія Гнѣдичева перевода Иліады. Почему Гнѣдичъ остановился на изученіи именно Омира, почему Омиръ сталъ излюбленнымъ предметомъ его занятій, это, послѣ всего изложеннаго ранѣе, объясняется безъ труда. Гнѣдичъ зналъ и высоко цѣнилъ античное творчество; онъ также высоко цѣнилъ все оригинальное и безыскусственное въ поэзіи:

«Есть безпристрастнѣйшій поэтовъ Судія,
Ихъ мать, ихъ первая наставница—Природа....»

По примѣру западныхъ представителей новаго литературнаго движенія Гнѣдичъ цѣнилъ Иліаду, какъ двойное откровеніе: откровеніе природы и античнаго духа.

Омиръ—сама природа. «Языкъ страстей человѣчества юнаго, кипящаго всею полнотою силы и духа, еще не стѣсняемый условіями образованности, изливающійся со всею свободою и со всею простотою душъ царей-пастырей, не могъ быть образомъ вы-

раженія подобенъ нашему; онъ не облекался въ блестящія и разнообразныя формы, которыя мы изыскиваемъ; или, лучше сказать, онъ не имѣлъ другихъ формъ, кромѣ вдохновенію принадлежащихъ—*простоты* и *силы*. Изъ сихъ началъ истекаютъ величайшія красоты поэзіи Гомерической, красоты, не включая мѣстныхъ, всемірныя и вѣчныя, какъ природа и сердце человѣка. Гомеръ и природа одно и то же....» «Если есть въ Иліадѣ несовершенства, они похожи на неправильность природы, которая, не смотря на несовершенства, нашему невѣжеству такими представляющіяся, очамъ внимательнымъ кажется всегда великою....»

Но природа не отвлеченность. Она познается только въ опредѣленныхъ конкретныхъ формахъ. Такова и поэтическая природа Омира. Это природа опредѣленной народности и опредѣленной поры. Это — одно изъ воплощеній греческаго генія. «Иліада заключаетъ въ себѣ цѣлый міръ, не мечтательный, воображеніемъ украшенный, но списанный такимъ, каковъ онъ былъ, міръ древній, съ его богами, религіею, философіею, исторіею, географіею, нравами, обычаями, словомъ всѣмъ, чѣмъ была древняя Греція. Твореніе Гомера есть превосходнѣйшая энциклопедія древности. Съ такой точки зрѣнія должно смотрѣть на поэмы Гомера. Онѣ, подобно книгамъ бытія, суть печать и зерцало вѣка. И кто любитъ восходить къ юности человѣчества, чтобы созерцать нагую прелесть природы, или питаться уроками временъ минувшихъ, предъ тѣмъ цѣлый міръ, земной и небесный, разовьется въ Иліадѣ картиною чудеснаго, кипящею жизнію и движеніемъ, прекраснѣйшею и величайшею, какую только создавалъ геній человѣка. Не славу одного какого либо племени, но цѣлаго великаго народа; не одни блестящія свойства какого либо героя, всѣ характеры, всѣ страсти человѣчества юнаго, всѣ стороны жизни героической обнялъ и изобразилъ великій живописецъ древности.» — Отсюда трудность пониманія и перевода такихъ памятниковъ, какъ поэма Гомера. «Дѣлая выраженія греческія русскими, должно было стараться, чтобы не сдѣлать русскою мысли Гомеровой, но что еще болѣе — не украшать подлинника. Очень

легко украсить, а лучше сказать, подкрасить стихъ Гомера краскою нашей палитры; и онъ покажется щеголеватѣе, пышнѣе, лучше для нашего вкуса; но несравненно труднѣе сохранить его Гомерическимъ, какъ онъ есть, ни хуже, ни лучше. Вотъ обязанность переводчика, и трудъ, кто его испыталъ, нелегкій....»

Гнѣдичъ счастливо побѣдилъ эти затрудненія, благодаря глубокому изученію Гомера, благодаря продолжительному и внимательному ознакомленію съ обширной литературой Омировской. Въ предисловіи къ переводу Иліады мы находимъ лишь слабые слѣды этой обширной начитанности Гнѣдича. Но важны и мимоходныя указанія, которыя здѣсь находятся. Онъ цитуетъ книгу Вуда о геніи Омира, нѣмецкій переводъ Гомеровыхъ поэмъ Фосса, изслѣдованіе Вольфа....

Знакомство съ этими и подобными трудами помогло Гнѣдичу возвыситься надъ тѣми фальшивыми, условными литературными требованіями, которыя выставляла прежняя литературная теорія. Псевдо-классики не теорію извлекали изъ фактовъ, а факты гнули подъ теорію. Они находили поэмы Омира слишкомъ грубыми, даже неправильными; поэтому при переводѣ считали нужнымъ поправлять ихъ, прикрашивать. Гнѣдичъ зналъ, что у насъ эти старомодныя воззрѣнія еще сохраняли силу въ его время. «У насъ еще господствуютъ тѣ односторонніе литературныя сужденія, которыя достались намъ въ наслѣдство отъ покойныхъ аббатовъ....» Но знатокъ Омира не могъ и не хотѣлъ считаться съ мнѣніями «литературныхъ старовѣровъ,» какъ онъ выражался. «Чтобы сохранить свойства поэзіи древней, столь вообще противоположныя тому, чего мы отъ нашихъ поэтовъ требуемъ, переводчику Гомера должно отречься отъ раболѣпства передъ вкусомъ гостиныхъ, передъ прихотливою утонченностью и изнѣженностью обществъ, которыхъ одобренія мы робко ищемъ, но коихъ требованія и взыскательность связываютъ, обезсиливаютъ языкъ.... Знаю, что для нашихъ читателей успѣхъ могъ быть несомнительнѣе въ родѣ перевода вольнаго, какъ Попіевъ или Чезаротти. Но почитатели древности не прощаютъ симъ ве-

ликимъ поэтамъ, что они осмѣлились преобразить отца поэзіи, дабы сдѣлать его болѣе сообразнымъ съ требованіемъ и вкусомъ вѣка ихъ. Требованія перемѣняются, вкусъ вѣка пройдетъ; между тѣмъ какъ многія тысячи лѣтъ Гомеръ не проходитъ. Это памятникъ древности, требующій отъ переводчика не новой Иліады, какъ Попіева, но, такъ сказать, слѣпка, который бы, сколько позволяетъ свойство языка, былъ подобенъ слѣпкамъ ваятельнымъ....»

Переводъ Иліады былъ, конечно, главнымъ, но не единственнымъ трудомъ Гнѣдича по усвоенію русской литературѣ памятниковъ античнаго творчества. Кромѣ Иліады онъ перевелъ: а) отрывокъ изъ XI пѣсни Одиссеи: Танталъ и Сизифъ въ адѣ б) нѣсколько такъ называемыхъ Гомерическихъ гимновъ (Гомеровъ гимнъ Минервѣ, Гомеровъ гимнъ Діанѣ; Гомеровъ гимнъ Венерѣ); в) одну изъ одъ Анакреона: «Кузнечикъ;» г) одну идиллію Ѳеокрита: «Сиракузянки или праздникъ Адониса.»

Изъ этихъ переводовъ стоитъ остановиться на послѣднемъ. Мы видѣли, какое значеніе имѣла идиллія въ томъ общемъ стремленіи къ простотѣ и естественности, которое развивается въ европейскихъ литературахъ въ противоположность долго господствовавшей напыщенности и риторикѣ. Она была первымъ робкимъ шагомъ въ этомъ стремленіи, но и этотъ невѣрный шагъ радостно привѣтствовался, какъ важный литературный подвигъ. Припомнимъ успѣхъ идиллій Гесснера. Позже идиллія успѣваетъ выбиться на болѣе торную дорогу и переходитъ въ очерки изъ простонароднаго быта. Въ русской литературѣ, современной Гнѣдичу, пользовался большой извѣстностью, какъ авторъ «пастушескихъ стихотвореній», Владиміръ Панаевъ. Въ 1820 году онъ издалъ небольшой сборникъ своихъ идиллій, присоединивъ къ нимъ въ началѣ довольно обширное «Вмѣсто предисловія.» — Древніе, пишетъ Панаевъ, оставившіе намъ образцы почти во всѣхъ родахъ Поэзіи, не были, кажется, столько счастливы относительно Поэзіи Пастушеской. Конечно, идилліи Ѳеокрита исполнены простоты удивительной и живыхъ изображеній при-

роды; но сія простота часто переходитъ предѣлы, становится, по крайней мѣрѣ для насъ, слишкомъ грубою; искусство изображать природу, избирая предметы иногда низкіе, теряется въ самыхъ мелочныхъ подробностяхъ, набросанныхъ безъ разбора и приличія.» Далѣе Панаевъ продолжаетъ: «Не смотря на упрекъ, который осмѣлились мы сдѣлать пѣвцу Сициліи, онъ оставался лучшимъ Пастушескимъ Стихотворцемъ до половины минувшаго столѣтія, и токмо Пѣвцу Гельвеціи предоставлено было превзойти его. Идилліи Геснера, подобно Ѳеокритовымъ, исполнены простоты; но простота сія не имѣетъ уже ничего низкаго или грубаго; онъ также изображаетъ природу, часто въ малѣйшихъ ея подробностяхъ, но пользуется ими съ величайшимъ вкусомъ, съ строгою разборчивостью; и можно утвердительно сказать, что немногіе стихотворцы достигли столь высокой степени въ искусствѣ живописать. Его картины имѣютъ всю свѣжесть натуры.»

Затѣмъ нашъ авторъ задается вопросомъ: возможна ли идиллія съ содержаніемъ, взятымъ изъ современной жизни, и отвѣчаетъ на этотъ вопросъ отрицательно. «Иные, можетъ быть, спросятъ: «для чего Стихотворцы не переселятъ Идиллію въ наши времена? Тогда она совершенно лишилась бы своего достоинства, даже правдоподобія, а писатель увидѣлъ бы себя въ самомъ затруднительномъ положеніи. Извѣстно, каковы нынѣшніе пастухи и земледѣльцы: продолжительное рабство сдѣлало ихъ грубыми и лукавыми. Такими ли привыкли воображать счастливыхъ обитателей Аркадіи? И можно ли это согласить съ тою невинностію и чистотою нравовъ, съ тѣми нѣжными, благородными чувствованіями, въ которыхъ *должна* заключаться сущность Идиллія?» — Вы спросите: почему это «должна?» Отвѣтъ одинъ: такъ требуетъ установившаяся теорія, — отвѣтъ, обличающій какое-то безпомощное и удрученное состояніе мысли.

Гнѣдичъ къ переводу «Сиракузянокъ» тоже присоединилъ предисловіе. Прежде всего онъ старается отстранить странное и ложное мнѣніе, будто идиллія есть особая какая-то пастушеская поэзія. «Поэзія идиллическая у насъ, какъ и въ новѣйшихъ литературахъ

европейскихъ, ограничена тѣснымъ опредѣленіемъ *Поэзіи Пастушеской:* опредѣленіе ложное.» Идиллія, на взглядъ Гнѣдича, это картина изъ дѣйствительной жизни, небольшой разсказъ съ содержаніемъ, которое можетъ быть такъ же разнообразно, какъ разнообразна человѣческая жизнь. «Идиллія Грековъ, говоритъ онъ, по самому значенію слова, есть *видъ*, *картина* или то, что мы называемъ *сцена*, но сцена жизни и пастушеской, и гражданской, и даже героической.» Затѣмъ Гнѣдичъ даетъ быстрый очеркъ исторіи идилліи, начиная съ Ѳеокрита. Ѳеокритъ для него «поэтъ первый, а лучше сказать единственный» въ своемъ родѣ, свѣтлый фаросъ, «къ которому всякій разъ, когда мы заблуждаемся, должно возвратиться.» О какихъ то низостяхъ и грубостяхъ Ѳеокрита, требующихъ исправленія, у Гнѣдича, конечно, нѣтъ и помину. Зато позднѣйшія идилліи, всѣ эти подмалеванныя копіи Ѳеокрита, кажутся ему лишенными вкуса и значенія. Таковы между прочимъ и идилліи Гесснера, передъ которыми преклоняется Панаевъ, «Гесснеръ, котораго много читали при дворѣ Людовика XV, не могъ выдержать испытанія времени: онъ создалъ природу сантиментальную, па свой образецъ; пастуховъ своихъ идеализировалъ, а что хуже, въ идиллію ввелъ миѳологію греческую. Въ этомъ состояло его важнѣйшее заблужденіе: нимфы, фавны, сатиры для насъ умерли и не могутъ показаться въ поэзіи нашего времени, не развивая ледяного холода». Отрадное исключеніе въ ряду ново-европейскихъ идиллій Гнѣдичъ находитъ только въ идилліяхъ новыхъ нѣмецкихъ писателей: Фосса, Броннера, Гебеля. Они достигли успѣха, потому что съумѣли придать своимъ идилліямъ жизненный національный характеръ. «Германскіе поэты поняли, что родъ поэзіи идиллической болѣе, нежели всякій другой, требуетъ содержаній народныхъ, отечественныхъ; что не одни пастухи, но всѣ состоянія людей, по роду жизни близкихъ къ природѣ, могутъ быть предметами сей поэзіи. Вотъ главная причина ихъ успѣха.»

Такимъ образомъ возможна идиллія съ содержаніемъ, взятымъ изъ современности, возможна, стало быть, въ частности и

идиллія съ содержаніемъ, заимствованнымъ изъ русской жизни. У насъ идиллія возможнѣе даже, чѣмъ гдѣ либо. «Гдѣ, если не въ Россіи, болѣе состояній людей, которыхъ нравы, обычаи, жизнь такъ просты, такъ близки къ природѣ? Это правда, русскіе пастухи не спорятъ въ пѣснопѣніи, какъ греческіе; не дарятъ другъ друга вазами и проч., но отъ этого развѣ они не люди? Развѣ у нихъ нѣтъ *своихъ* сердецъ, *своихъ* страстей? А у другихъ простолюдиновъ нашихъ развѣ нѣтъ своей вѣры, повѣрій, нравовъ, костюмовъ, своего быта домашняго и своей, русской природы?—Наши многообрядныя свадьбы, наши хороводы, разныя игрища, праздники сельскіе, даже церковные—суть живыя идилліи народныя, ожидающія своихъ поэтовъ»....

Сопоставленіе воззрѣній Панаева и Гнѣдича говоритъ само за себя. Предисловія Панаева и Гнѣдича,—это два міра, два литературныхъ періода, два разныхъ языка. Панаевъ, младшій современникъ Гнѣдича (1792—1859), выступаетъ представителемъ «литературныхъ сужденій, которыя, по выраженію Гнѣдича, достались въ наслѣдство отъ покойныхъ аббатовъ.» Гнѣдичъ — выразитель мнѣній повыхъ «почитателей древности.» Одинъ—псевдо-классикъ, другой—классикъ; одинъ смотритъ на поэзію, какъ на умѣнье невинно обмануть себя и другихъ; другой — какъ на правду и жизнь; одинъ брезгливо отворачивался отъ народнаго быта, другой входитъ въ него съ какимъ то чувствомъ отрады и бодрой энергіи.

Не довольствуясь соображеніями о возможности русской идиллія, Гнѣдичъ захотѣлъ дать и образецъ ея. Въ 1821 году написалъ онъ идиллію «Рыбаки,» всѣмъ знакомую со школьной скамьи. Дѣйствующими лицами выступаютъ здѣсь, какъ извѣстно, два невскихъ рыбака и какой-то «бояринъ,» живущій въ великолѣпномъ теремѣ. Боярину понравилась игра на свирѣли одного изъ рыбаковъ, и онъ даритъ ему «свирѣль дорогую.»

Изъ пальмова древа, съ слоновою костью и златомъ;
А скважины въ ней, какъ пчела на сотахъ вылѣпляетъ!...

Бояринъ этотъ—не кто иной, какъ графъ Ал. Серг. Строгановъ, бывшій директоромъ Публичной библіотеки, покровитель Гнѣдича; «высокій теремъ» — дача на Большой Невкѣ съ извѣстнымъ «Строгановскимъ садомъ,» который тянется по берегу Черной рѣчки. — «Никто изъ помнящихъ времена былыя (до 1811 года), говоритъ Гречъ, не пройдетъ равнодушно мимо изящной виллы его (на берегу Большой Невки), окруженной великолѣпнымъ паркомъ съ гробницей Гомера. Всякъ вспомнитъ о покойномъ графѣ, какъ онъ, бывало, по воскресеньямъ, сидитъ на широкомъ крыльцѣ дома, обращенномъ къ саду, и радуется веселящеюся вокругъ него толпою. На берегу Невки, передъ домомъ тоня, которую хозяинъ виллы посѣщалъ неоднократно и бесѣдовалъ съ простодушными рыбарями. Эта картина воспламенила благолюбиваго Гнѣдича, и онъ передалъ ее современникамъ и потомкамъ въ изящной простотѣ русской идилліи.»

Идиллія Гнѣдича считалась въ свое время произведеніемъ образцовымъ, помѣщалась въ христоматіяхъ, разбиралась и заучивалась, какъ образецъ идилліи. Въ наше время придавать идилліи Гнѣдича «классическое» значеніе, смотрѣть на нее, какъ на художественную картину изъ народнаго быта было бы, конечно, странно, но вмѣстѣ съ тѣмъ было бы, кажется, несправедливо лишать Гнѣдичевыхъ «Рыбаковъ» всякаго художественнаго значенія. По моему мнѣнію, самое вѣрное сужденіе объ идилліи Гнѣдича, да и объ его поэзіи вообще высказано было Дружининымъ. «Гнѣдичъ не былъ поэтомъ въ полномъ смыслѣ этого слова, говоритъ Дружининъ, но онъ въ замѣчательной степени обладалъ свѣтлымъ поэтическимъ инстинктомъ, значительно развившимся вслѣдствіе постояннаго труда и знакомства съ обаятельнымъ древнимъ міромъ. Ссылаюсь на его извѣстную идиллію «Рыбаки,» которая въ цѣломъ не выдерживаетъ поверхностной критики, но въ которой встрѣчаются такія художественныя описанія природы, какія можно найти только у Пушкина и по временамъ у Лермонтова. Описаніе вечера надъ Невою въ срединѣ названной идилліи безъ преувеличенія можно поставить ря-

домъ съ нѣкоторыми стихами Гете».... Что касается историческаго значенія идиллій нашего писателя, то оно опредѣляется просто хронологической датой. Идиллія Гнѣдича написана въ 1821 году, т. е. только годъ спустя послѣ выхода идиллій Панаева.

Въ заключеніе мнѣ нужно бы еще упомянуть о цѣломъ рядѣ прозаическихъ статей Гнѣдича по разнымъ вопросамъ, касающимся просвѣщенія, литературы, изящныхъ искусствъ. Вотъ перечень этихъ статей: 1) упомянутое уже выше Разсужденіе о причинахъ, замедляющихъ успѣхи просвѣщенія въ Россіи (1814), 2) О вкусѣ и его вліяніи на словесность и нравы (1816), 3) Письмо о переводѣ и представленіи трагедіи Расина: Ифигенія въ Авлидѣ (1815), 4) О вольномъ переводѣ Бюргеровой баллады «Ленора», — разборъ «Ольги» Катенина (1816); 5) Замѣчанія на опытъ о русскомъ стихосложеніи г. Востокова (1818), 6) Рѣчь, читанная въ полугодичномъ собраніи вольнаго общества любителей русской словесности: о значеніи и задачахъ «изящной словесности» (1821), 7) Письмо къ Батюшкову о статуѣ мира, изваянной для графа Н. И. Румянцева скульпторомъ Кановою въ Римѣ (1817), 8) Академія художествъ или выставка художественныхъ произведеній 1820 года (1820), 9) Синонимы (1805).

Не буду останавливаться на этихъ произведеніяхъ Гнѣдича. При изученіи ихъ мы натолкнулись бы на нѣкоторыя кажущіяся противорѣчія и недоумѣнія, разъясненіе которыхъ повело бы къ утомительному анализу подробностей и потребовало бы немало времени. А вѣдь общее воззрѣніе Гнѣдича на условія, необходимыя для развитія образованности и литературы намъ и безъ того извѣстно. Мы видѣли, что два требованія предъявлялъ онъ русскому образованію и русской литературѣ: первое — изученіе народной поэзіи и народнаго быта, пониманіе и чувство народности. Гнѣдичу удалось подмѣтить начинавшееся исполненіе этого требованія. Ему удалось увидѣть «Русскаго Баяна, постигнув-

шаго таинство русскаго духа и міра.» Второе требованіе: изученіе древнихъ, сближеніе съ началами античной культуры. На это требованіе современная Гнѣдичу русская образованность не давала отвѣта. «Шлоссеръ, глубокомысленный нѣмецкій писатель, въ сочиненіи своемъ: Всеобщая исторія Древности, быстро излагая характеръ и духъ вѣковъ героическихъ Греціи, для изображенія коихъ заимствуетъ важнѣйшія черты изъ поэмъ Гомеровыхъ, между прочимъ, говоритъ: «Нахожу безполезнымъ долѣе останавливаться на семъ предметѣ; изученіе Гомера такъ же тѣсно соединено съ воспитаніемъ юношества Германскаго, какъ могло быть у Грековъ.» Когда бы и мнѣ можно было то же сказать о воспитаніи Русскаго юношества, я также почелъ бы ненужнымъ говорить объ Гомерѣ при переводѣ поэмы его. Но древняя тьма лежитъ на рощахъ Русскаго Ликея....» Такъ писалъ Гнѣдичъ въ предисловіи къ переводу Иліады.

Сталъ ли бы онъ теперь писать такія горькія слова? Сталъ ли бы онъ теперь повторять все тотъ же упрекъ русскому образованію?... Мы привели бы его въ настоящее собраніе....

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ О ЗНАЧЕНІИ ПУШКИНА ВЪ ИСТОРІИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. *)

. . . . . Пробили
Часы урочные: поэтъ
Роняетъ молча пистолетъ,
На грудь кладетъ тихонько руку
И падаетъ...

Печальная, но вѣрная картина! Да, эта картина не вымыслъ не отрывокъ изъ романа; то — правда, быль, скорбная и страшная быль.

27-го января 1837 года на одной изъ глухихъ окраинъ Петербурга раздался выстрѣлъ. Широко разошелся гулъ этого выстрѣла и мучительной болью отозвался онъ въ сердцахъ всѣхъ, для кого геній, поэзія, благородная мысль, народная слава не были только «слова, слова, слова».

Вотъ что разсказываетъ Жуковскій, бывшій очевидцемъ послѣднихъ дней и кончины поэта: «съ утра 28-го числа, въ которое разнеслась по городу вѣсть, что Пушкинъ умираетъ, его передняя была полна приходящихъ; одни освѣдомлялись о немъ че-

1) Рѣчь по случаю пятидесятилѣтія со дня кончины поэта.

резъ посланныхъ; другіе — и люди всѣхъ состояній, знакомые и незнакомые — приходили сами. Трогательное чувство національной, общей скорби выражалось въ этомъ движеніи».

Прошло два дня. 29-го января въ три четверти третьяго часа пополудни Пушкина не стало.

Потухъ огонь на алтарѣ...

Могучій стонъ вырвался изъ народной груди. Тоска разлилась по русской землѣ. «Горница, гдѣ онъ лежалъ во гробѣ, передаетъ тотъ же очевидецъ, была безпрестанно полна народомъ. Конечно болѣе десяти тысячъ человѣкъ перебывало въ ней, чтобы взглянуть на него: многіе плакали, иные долго останавливались и какъ будто хотѣли всмотрѣться въ лицо его; было что-то разительное въ его неподвижности посреди этого движенія, и что-то умилительно-таинственное въ этой молитвѣ, которая такъ тихо, такъ однозвучно слышалась посреди этого тихаго, смутнаго говора».

Оправдались при этомъ слова поэта:

Несчастье намъ учитель, а не врагъ,
Спасительно-суровый собесѣдникъ,
Безжалостный разитель бренныхъ благъ,
Великаго понятный проповѣдникъ.

Въ этой тысячной толпѣ, молчаливо тѣснившейся у гроба поэта, дѣйствительно открывалось что-то великое и торжественное, что-то притомъ неожиданное и небывалое. Впервые на Руси общественная скорбь о кончинѣ поэта выразилась съ такой величественной ясностью, впервые литературная утрата была оплакана, какъ національное горе. Ясно стало тогда, что наша литература поднялась до значенія важной общественной силы, ясно стало, что и общество узнало величіе этой силы, научилось цѣнить творческую мысль, какъ свое лучшее благо и какъ свою высшую славу.

Съ тѣхъ поръ прошло полвѣка. И снова встаетъ предъ общими очами страдальческій образъ безвременно погибшаго поэта, снова повторяется его имя при общественной молитвѣ, снова справляется по немъ народная тризна.

Чувство, которое испытываемъ мы, участники этой поздней тризны, быть можетъ, менѣе болѣзненно, чѣмъ то, которое переживали современники поэта, но оно конечно такъ же искренно, глубоко и сильно.

Не берусь быть истолкователемъ такого чувства. Для этого у меня не стало бы ни времени, ни силъ. Я рѣшаюсь въ слабомъ и бѣгломъ наброскѣ намѣтить одну только сторону дѣятельности великаго поэта, сторону по которой, мнѣ кажется, всего яснѣе можно опредѣлить историко-литературное значеніе поэзіи Пушкина.

Поразительное и необычайное явленіе представляютъ первые шаги Пушкина въ литературѣ. Онъ выступалъ точно восходящій лучезарный богъ, вызывающій своимъ появленіемъ общую радость, единодушный сердечный привѣтъ. Никто не оспаривалъ его генія. Никто не сомнѣвался въ великомъ будущемъ, ожидающемъ юнаго поэта. Рядъ его первыхъ опытовъ — рядъ его первыхъ успѣховъ.

Жуковскій и Державинъ, пѣвецъ Людмилы и пѣвецъ Фелицы, авторъ балладъ и авторъ одъ, съ одинаковымъ интересомъ прислушивались къ пѣснямъ новаго пѣвца; представители двухъ литературныхъ поколѣній мирно сходились въ привѣтствіяхъ и благословеніяхъ начинавшему поэту. Есть что-то трогательное и знаменательное въ этомъ союзѣ боровшихся противоположностей, союзѣ, скрѣпляемомъ рукою 16-ти лѣтняго поэта. Тутъ какъ будто разъ навсегда намѣчена была та высокая, примирительная, объединяющая роль, которой Пушкинъ оставался вѣренъ во всю свою жизнь.

Пушкинъ — художникъ миротворецъ. Въ его поэтическихъ работахъ находили отзвукъ и примиреніе самыя разнообразныя, даже противоположныя движенія общественныхъ и литератур-

пыхъ идей. Онъ зналъ какую-то волшебную тайну, которая давала ему средство самые рѣжущіе диссонансы разрѣшать въ своеобразную художественную гармонію.

Позвольте мнѣ иллюстрировать это положеніе нѣсколькими примѣрами.

Время Александра I представляетъ важную и любопытную страницу въ исторіи нашего общественнаго самосознанія. Въ началѣ истекающаго столѣтія въ русскомъ обществѣ опредѣлились и вступили въ борьбу два направленія общественной мысли: «творческое» и «хранительное», по терминологіи Карамзина. Какъ разъ въ ту пору, когда Пушкинъ вступалъ въ жизнь, «творческое» движеніе, во главѣ котораго стоялъ самъ Императоръ, достигаетъ наиболѣе яркаго и опредѣленнаго выраженія. Въ 1818 году, когда только что вышедшій изъ Лицея Пушкинъ писалъ «Руслана и Людмилу», Императоръ Александръ произнесъ свою достопамятную рѣчь при открытіи Польскаго сейма, рѣчь, которая, по выраженію Карамзина, сильно отозвалась въ молодыхъ сердцахъ. Къ тому же 1818 году относится другая, тоже памятная рѣчь,—рѣчь Уварова въ собраніи Педагогическаго Института. Наконецъ, все въ томъ же 1818 г. Н. Тургеневъ напечаталъ свой «Опытъ теоріи налоговъ», а Куницынъ свое «Естественное право» и статьи по европейскому государственному праву.

Но не долго раздавались звуки этого дружнаго хора поклонниковъ творческаго духа. Полковникъ Скалозубъ уже обдумывалъ въ это время свою знаменитую фразу: «фельдфебеля въ Вольтеры дамъ», а Фамусовъ искалъ только случая, чтобы открыто заявить: «ученье — вотъ чума!» Пройдетъ какихъ-нибудь два года послѣ упомянутыхъ выше рѣчей, и голоса Фамусовыхъ и Скалозубовъ станутъ раздаваться все громче и громче, заглушая «и пѣсни мирныя фригійскихъ пастуховъ, и гимны важные, внушенные богами».

Авторъ «Руслана» не остался безучастнымъ зрителемъ этой общественной борьбы. Онъ бросился въ схватку со всѣмъ увле-

ченіемъ молодости, со всей стремительностью своей пылкой природы. Само собой понятно, что ученикъ Куницына оказался подъ знаменами сторонниковъ прогресса. Удары Пушкина, падавшіе на дѣятелей противоположнаго лагеря, были безпощадны. Пушкинъ выказалъ при этомъ много непозволительнаго задора, много юношескаго легкомыслія. Но не забудемъ однако, что въ вольнолюбивыхъ пѣсняхъ начинавшаго поэта слышались и серьезные, глубоко прочувствованные и живые мотивы. Назову для примѣра стихотвореніе «Деревня». Кто не помнитъ этихъ прекрасныхъ, полныхъ пророческаго смысла словъ:

Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенной
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря! [1])

Мѣнялось время. — «Дней Александровыхъ прекрасное начало» отодвигалось все болѣе и болѣе въ даль. Иные люди выдвинулись впередъ и завели они иныя рѣчи... Пушкинъ остался при этомъ вѣренъ и благороднымъ чаяніямъ своей юности, и своему примирительному, обобщающему призванію. Онъ отбросилъ отъ завѣтовъ молодости тотъ нѣсколько отвлеченный, космополитическій характеръ, который безспорно представлялъ ихъ слабую сторону. Оказавшійся недочетъ онъ покрылъ на счетъ сторонниковъ иныхъ воззрѣній. Онъ взялъ у нихъ то, чѣмъ они искренно или притворно хвалились, что выставляли на видъ, какъ заброшенную и реставрированную святыню. Гимны этой неоспоримой святынѣ Пушкинъ слилъ съ вольнолюбивыми мотивами своихъ юныхъ дней и создалъ изъ этой смѣси какую-то своеобразную и характерную гармонію. Вотъ почему авторъ, напи-

1) Стихотвореніе «Деревня» заслужило Пушкину одобреніе Императора Александра I. «Faites remercier Pouchkine des bons sentiments que ses vers inspirent», сказалъ Государь кн. Васильчикову, который представилъ ему это стихотвореніе.

савшій въ 1831 г. «Бородинскую годовщину» и «Клеветникамъ Россіи», былъ правъ, когда писалъ о себѣ въ 1836 году:

И долго буду тѣмъ любезенъ я народу,
Что чувства добрыя я лирой пробуждалъ,
Что въ мой жестокій вѣкъ возславилъ я свободу
И милость къ падшимъ призывалъ.

Вернемся опять къ годамъ юности нашего поэта. Въ то время въ кругу чисто-литературныхъ отношеній шла такая же ожесточенная борьба, какъ и въ области общественныхъ идей. Боролись сторонники стараго и новаго слога, карамзинисты и «славяне», члены чопорной Бесѣды и шутливаго Арзамаса. На сторонѣ послѣднихъ были преимущества достаточно ясныя, если назовемъ имена Жуковскаго и Батюшкова. Но мы бы сильно ошиблись, если бы стали думать, что на противоположной сторонѣ не было важныхъ и несомнѣнныхъ достоинствъ. Въ дѣятельности карамзинистовъ было два замѣтныхъ пробѣла: слабость народно-поэтической стихіи и отсутствіе драматическаго творчества. А эти два пункта были какъ разъ самыми сильными сторонами у сторонниковъ другого лагеря. Въ ихъ рядахъ выросла внушительная фигура такого мощнаго представителя народнаго слова, какъ Крыловъ. Почтенный Шишковъ старался по мѣрѣ силъ распространять знакомство съ памятниками народнаго слова и народной поэзіи. Что могли противопоставить всему этому почитатели Карамзина? Ужели Бѣдную Лизу, или Ленору, перелицованную въ Людмилу? На сценѣ противники карамзинскаго направленія господствовали безъ соперниковъ:

Тамъ Озеровъ невольны дани
Народныхъ слезъ, рукоплесканій
Съ младой Семеновой дѣлилъ;
Тамъ нашъ Катенинъ воскресилъ
Корнеля геній величавый,

Тамъ вывелъ колкій Шаховской
Своихъ комедій шумный рой [1]).

И въ литературной борьбѣ молодой Пушкинъ не остался праздным зрителемъ. Назову его стихотворенія:

«Желаніе» (1816 г.) «Къ Жуковскому» (1817 г):

Но что? Подъ грозною парнасскою скалою
Какое зрѣлище открылось предо мною?
Въ ужасной темнотѣ пещерной глубины,
Вражды и зависти угрюмые сыны,
Возвышенныхъ творцовъ зоилы записные,
Сидятъ безсмыслицы дружины боевыя,
Далеко дикихъ лиръ несется рѣзкій вой;
Варяжскіе стихи визжитъ варяговъ строй...

Это писалъ членъ Арзамаса, бойкій «Сверчокъ». Но Пушкинъ скоро понялъ, что роль литературнаго сверчка, который долженъ знать только свой шестокъ, не по немъ, что передъ нимъ стоятъ другія, болѣе серьезныя и широкія задачи. На первыхъ порахъ это выразилось въ томъ, что Пушкинъ сталъ искать сближенія съ лучшими дѣятелями противо-арзамасскаго лагеря. Въ 1818 году Пушкинъ завязываетъ дружеское знакомство съ Катенинымъ, а черезъ него знакомится и съ Шаховскимъ. Важно, что въ этихъ знакомствахъ первый шагъ сдѣланъ былъ Пушкинымъ. Біографъ поэта разсказываетъ: «Пушкинъ просто пришелъ въ 1818 году къ Катенину и, подавая ему свою трость, сказалъ: я пришелъ къ вамъ, какъ Діогенъ къ Антисѳену: побей, но выучи! — «Ученаго учить — портить», отвѣчалъ авторъ Ольги».

Въ сближеніи съ противниками Арзамаса Пушкинъ умѣлъ оцѣнить и усвоить себѣ тѣ именно сильныя и лучшія ихъ стороны, на которыя я уже указалъ.

---

1) Изъ кружка Шаховского вышелъ и Грибоѣдовъ.

Пушкинъ широко понималъ значеніе народности въ литературѣ. «Съ нѣкотораго времени, писалъ онъ въ 1825 году, у насъ вошло въ обыкновеніе говорить о народности, жаловаться на отсутствіе народности; но никто не думалъ опредѣлить, что разумѣетъ онъ подъ словомъ *народность*.

«Одинъ изъ нашихъ критиковъ, кажется, полагаетъ, что народность состоитъ въ выборѣ предметовъ изъ отечественной исторіи. Другіе видятъ народность въ словахъ, оборотахъ, выраженіяхъ, т. е. радуются тому, что, изъясняясь по-русски, употребляютъ русскія выраженія. Народность въ писателѣ есть достоинство, которое вполнѣ можетъ быть оцѣнено одними соотечественниками: для другихъ оно или не существуетъ, или даже можетъ показаться порокомъ. Ученый нѣмецъ негодуетъ на учтивость героевъ Расина; французъ смѣется, видя въ Кальдеронѣ — Коріона, вызывающаго на дуэль своего противника и проч. Все это однакожъ носитъ печать народности. Есть образъ мыслей и чувствованій, есть тьма обычаевъ, повѣрій и привычекъ, принадлежащихъ исключительно какому-нибудь народу. Климатъ, образъ жизни, вѣра даютъ каждому народу особенную физіономію, которая болѣе или менѣе отражается и въ поэзіи».

Съ этими замѣчаніями нельзя не согласиться. Нужно только сдѣлать нѣкоторую оговорку. Выборъ предметовъ изъ отечественной исторіи не опредѣляетъ, конечно, «народности» писателя. Но умѣнье не только выбрать, а и съ художественной правдой обработать эти предметы можетъ, конечно, служить вѣрной пробой «народности» поэта. Поэзія Пушкина выдержала эту пробу. Онъ далъ намъ «Бориса Годунова», «Полтаву», «Капитанскую дочку». «Народность въ словахъ, оборотахъ, выраженіяхъ» — признакъ самъ по себѣ конечно внѣшній, указывающій на форму, а не на существо дѣла. Но степень приближенія или отчужденія, симпатіи или антипатіи поэта къ памятникамъ народнаго слова, къ образамъ народнаго творчества, къ народной пѣснѣ и народной сказкѣ служатъ опять-таки вѣрнымъ показателемъ при испытаніи «народности» писателя. Пушкинъ выдержалъ и это испыта-

ніе. Не буду называть его «Руслана и Людмилу», гдѣ народная поэзія является только какъ блѣдная тѣнь. Но кто станетъ отрицать вѣяніе народнаго творчества въ «Пѣснѣ о вѣщемъ Олегѣ», въ стихотвореніяхъ: «Зимній вечеръ», «Утопленникъ», «Бѣсы», въ сказкахъ «о Царѣ Салтанѣ», «о Рыбакѣ и рыбкѣ»? Рядъ этихъ произведеній въ народно-поэтическомъ стилѣ увѣнчивается такимъ дивнымъ художественнымъ созданіемъ, какъ «Русалка». Припомнимъ еще труды поэта по собиранію памятниковъ народной поэзіи, припомнимъ, что и «Борисъ» и «Полтава» полны народно-поэтическихъ вліяній. Такими произведеніями могли одинаково наслаждаться и люди, воспитавшіе свой вкусъ на балладахъ Жуковскаго, и поклонники «варяжскихъ стиховъ». Одно изъ литературныхъ противорѣчій было такимъ образомъ снято. Диссонансъ разрѣшился въ гармонію.

Въ современной Пушкину литературѣ велись оживленные споры о классицизмѣ и романтизмѣ, споры, въ которыхъ едва ли не самое видное мѣсто занималъ вопросъ о драмѣ, о драматическихъ формахъ. Припомнимъ, что въ области драмы сторонники литературныхъ традицій долгое время занимали господствующее положеніе. Что же Пушкинъ? Намъ извѣстенъ его взглядъ на драму, взглядъ, высказанный имъ съ той характеристической своеобразностью, которая называется наивностью генія. «Съ 1820 года, будучи удаленъ отъ московскихъ и петербургскихъ обществъ, я въ однихъ журналахъ могъ наблюдать направленіе нашей словесности. Читая жаркіе споры о романтизмѣ, я вообразилъ, что и въ самомъ дѣлѣ намъ наскучили правильность и совершенство классической древности и блѣдные, однообразные списки ея подражателей; что утомленный вкусъ требуетъ иныхъ, сильнѣйшихъ ощущеній и ищетъ ихъ въ мутныхъ, но кипящихъ источникахъ нашей народной поэзіи. Мнѣ казалось однако довольно страннымъ, что младенческая словесность, ни въ какомъ родѣ не представляющая никакихъ образцовъ, уже успѣла немногими опытами притупить вкусъ читающей публики; но, думалъ я, французская словесность, всѣмъ намъ съ младенчества и

такъ коротко знакомая, вѣроятно, причиною сего явленія. Искренно признаюсь, что я воспитанъ въ страхѣ почтеннѣйшей публики и что не вижу никакого стыда угождать ей и слѣдовать духу времени. Это первое признаніе ведетъ къ другому, болѣе важному: такъ и быть, каюсь, что я въ литературѣ скептикъ (чтобъ не сказать хуже), и что всѣ ея секты для меня равны, представляя каждая свою выгодную и невыгодную сторону. Обряды и формы должны ли суевѣрно порабощать литературную совѣсть? Зачѣмъ писателю не повиноваться принятымъ обычаямъ въ словесности своего народа, какъ онъ повинуется законамъ своего языка? Онъ долженъ владѣть своимъ предметомъ, несмотря на затруднительность правилъ, какъ онъ обязанъ владѣть языкомъ, несмотря на грамматическія оковы... Воспитанные подъ вліяніемъ французской критики, русскіе привыкли къ правиламъ, утвержденнымъ сею критикою, и неохотно смотрятъ на все, что не подходитъ подъ ея законы»...

Очевидно, точка зрѣнія Пушкина была такъ своеобразна, такъ широка и возвышенна, что для него исчезали, какъ несущественныя подробности, всѣ особенности древней и новой драмы, всѣ различія Шекспира и Корнеля. Въ своихъ произведеніяхъ Пушкинъ оставался вѣренъ этой возвышенной, объединяющей точкѣ зрѣнія. Въ «Борисѣ» онъ представилъ опытъ народной драмы въ стилѣ Шекспировскихъ хроникъ, въ «Скупомъ Рыцарѣ», «Каменномъ гостѣ» онъ далъ образецъ драмы съ строго-выдержаннымъ единствомъ драматическаго мотива. И не знаешь, право, чему больше удивляться,—широкому ли размаху кисти въ Борисѣ, или сжатому и строгому стилю его драматическихъ сценъ.

Таковъ былъ Пушкинъ, такова была его высокая примиряющая роль въ нашей литературѣ. Онъ объединилъ въ художественной синтезѣ разнообразныя теченія современной ему общественной и поэтической мысли и этой синтезой очистилъ путь для дальнѣйшаго движенія нашей литературы. Пушкинъ точно созданъ былъ для такой именно объединяющей роли. Всякая одно-

сторонность, всякая крайность и нетерпимость внушали отвращеніе его гармонически настроенной душѣ. «Самаго лучшаго состоянія нѣтъ на свѣтѣ, писалъ Пушкинъ Дельвигу, но разнообразіе спасительно для души!» «Ты отучилъ меня отъ односторонности, писалъ поэтъ Катенину, а односторонность есть пагуба мысли». Это отвращеніе отъ односторонности, это стремленіе къ разнообразію и помогли Пушкину стать тѣмъ, кѣмъ онъ сталъ— вождемъ новаго литературнаго движенія, хорегомъ всей новѣйшей русской литературы.

Свободы сѣятель пустынный,
Я вышелъ рано, до звѣзды...
Но потерялъ я только время,
Благія мысли и труды...

Ошибся великій поэтъ. Не напрасенъ былъ его великій трудъ, не прошло безслѣдно его «думъ высокое стремленье». Онъ самъ убѣдился въ этомъ. Онъ уже видѣлъ, какіе пышные всходы далъ его щедрый посѣвъ, онъ видѣлъ, какъ навстрѣчу ему шли новые, молодые таланты, единодушно и открыто называвшіе его своимъ наставникомъ и вождемъ. Руку Пушкина жали Державинъ, Карамзинъ, Жуковскій, другую онъ дружески протягивалъ Гоголю, Лермонтову, Кольцову,—союзъ талантовъ, въ которомъ примиряющее призваніе Пушкина нашло свое высшее выраженіе! Припомнимъ письмо Гоголя послѣ смерти Пушкина: «Моя жизнь, мое высшее наслажденіе умерло съ нимъ. Мои свѣтлыя минуты въ моей жизни были минуты, въ которыя я творилъ. Когда я творилъ, я видѣлъ передъ собою только Пушкина. Ничто мнѣ были всѣ толки, я плевалъ на презрѣнную чернь; мнѣ дорого было его вѣчное и непреложное слово. Ничего не предпринималъ, ничего не писалъ я безъ его совѣта. Все, что есть у меня хорошаго, всѣмъ этимъ я обязанъ ему. И теперешній трудъ мой есть его созданіе. Онъ взялъ съ меня клятву, чтобы я писалъ, и ни одна строка его не писалась безъ того, чтобы онъ не являлся въ то время очамъ моимъ. Я тѣшилъ себя мыслью, какъ

будетъ доволенъ онъ, угадывалъ, что будетъ нравиться ему, и это было моею высшею и первою наградою. Теперь этой награды нѣтъ впереди! Что трудъ мой? Что теперь жизнь моя?»... Припомнимъ еще стонъ, съ болью и проклятіемъ вырвавшійся изъ груди Лермонтова при вѣсти о кончинѣ Пушкина. Припомнимъ торжественный плачъ, пропѣтый надъ его могилой Кольцовымъ.

Шли годы. Уходили въ могилу и младшіе современники Пушкина, его ближайшіе ученики. Но не умирала благоговѣйная память о великомъ учителѣ, не забывались его поэтическіе уроки. Пушкинскіе завѣты, какъ родовая святыня, передавались однимъ поколѣніемъ другому. И теперь стоитъ передъ нами образъ Пушкина, окруженный такимъ же свѣтящимся нимбомъ, какъ и въ былые далекіе дни. И теперь передъ этимъ образомъ мирно сойдутся люди самыхъ несходныхъ настроеній и самыхъ противоположныхъ стремленій.

Поэтъ-пророкъ предвидѣлъ это:

«Нѣтъ! весь я не умру! Душа въ завѣтной лирѣ
Мой прахъ переживетъ и тлѣнья убѣжитъ —
И славенъ буду я, доколь въ подлунномъ мірѣ
Живъ будетъ хоть одинъ пінтъ».

И онъ не умеръ въ самомъ дѣлѣ. Не умеръ въ нашей литературѣ пегодующій пророкъ, который призванъ

«Глаголомъ жечь сердца людей»,

не умеръ и добродушный разсказчикъ, передающій

Преданья русскаго семейства,
Любви плѣнительные сны,
Да нравы нашей старины.

Не умеръ художникъ русскаго слова, не умеръ народный пѣвецъ. Онъ живъ. Живъ великій поэтъ, потому что жива русская поэзія, жива русская мысль, живъ русскій геній.

Л. А. МЕЙ. [1]

Нѣсколько мѣсяцевъ спустя послѣ открытія Царскосельскаго Лицея одинъ изъ его воспитанниковъ писалъ своему другу: «что касается до моихъ стихотворческихъ занятій, я въ нихъ успѣлъ чрезвычайно, имѣя товарищемъ одного молодого человѣка, который, живши между лучшими стихотворцами, пріобрѣлъ много въ поэзіи знаній и вкуса, и, читая мои прежніе стихи, вижу въ нихъ непростительныя ошибки. Хотя у насъ, правду сказать, запрещено сочинять, но мы съ нимъ пишемъ украдкою». — «Скажу тебѣ новость, писалъ нѣсколько позже тотъ же лицеистъ, намъ позволили теперь сочинять, и мы начали теперь періоды, вслѣдствіе чего посылаю тебѣ двѣ мои басни и желаю, чтобы онѣ тебѣ понравились».

Этими извѣстіями открывается одна изъ любопытнѣйшихъ главъ исторіи нашего Лицея,—глава, которую можно озаглавить: «Лицейская Литература».

Лицейскія стихотворенія Пушкина и его товарищей имѣли многочисленное потомство.

Біографія великаго поэта сохранила намъ названія нѣсколькихъ школьныхъ альманаховъ его времени: «Лицейскій Мудрецъ»,

---

1) Рѣчь, читанная въ день двадцатипятилѣтней годовщины смерти Мея.

«Для удовольствія и пользы», «Неопытное перо», «Пловцы». Рядъ подобнаго рода изданій не прерывался, кажется, во все послѣдующее время лицейской жизни. Въ числѣ сотрудниковъ, наполнявшихъ своими произведеніями эти альманахи, окажется, конечно, немало скромныхъ именъ, извѣстность которыхъ не перешла за порогъ Лицея. Таковъ, напримѣръ, тотъ «Аристъ», къ которому обращался Пушкинъ въ посланіи «Къ другу стихотворцу»:

«Аристъ, и ты въ толпѣ служителей Парнаса!
«Ты хочешь осѣдлать упрямаго Пегаса,
«За лаврами спѣшишь опасною стезей
«И съ строгой критикой вступаешь смѣло въ бой!

«Аристъ, повѣрь ты мнѣ, оставь перо, чернилы,
«Забудь ручьи, лѣса, унылыя могилы,
«Въ холодныхъ пѣсенкахъ любовью не пылай;
«Чтобъ не слетѣть съ горы, скорѣе внизъ ступай!»

(Соч. Пушк., изд. 1882 г. 1, 9).

Таковъ другой болѣе поздній «поклонникъ пламенный и мученикъ искусства», который

«Разсудкомъ обуздать не могъ своей мечты
«И пѣлъ, что пѣлося, безъ ладу, безъ разбора,
«Какъ малое дитя, едва ли разумѣвъ,
«Что есть условный строй, наслушанный напѣвъ».

Имена и произведенія этихъ непризнанныхъ служителей искусства забыты, но самое появленіе ихъ не лишено значенія. Оно указываетъ на существованіе извѣстной литературной традиціи, на присутствіе какого-то поэтическаго вѣянія, которое заставляло вспыхивать даже маленькія, едва замѣтныя искры. Такія искры скоро потухали, но истиннымъ и сильнымъ талантамъ это вѣяніе давало возможность разгораться въ яркое, веселое пламя. Для такихъ истинныхъ и сильныхъ талантовъ «лицейскія стихотворенія» были, конечно, только первыми опытами поэти-

ческаго самоопредѣленія, подготовительными этюдами для дальнѣйшихъ художественныхъ работъ. Но Лицей съ чувствомъ родственнаго участія слѣдилъ и за этими позднѣйшими работами своихъ бывшихъ питомцевъ, онъ гордился ихъ успѣхами и радовался, когда имя лицеиста вносилось на страницы исторіи русской литературы. Лицей помнилъ, что первыми поэтическими возбужденіями эти таланты обязаны были лицейской средѣ, что лицейскія преданія помогли имъ узнать и оцѣнить свое призваніе.

Нѣсколько мѣсяцевъ назадъ мы съ привычнымъ, вѣчно новымъ интересомъ перечитывали одну изъ самыхъ блестящихъ страницъ исторіи русской литературы. На этой страницѣ написано имя лицеиста I курса Александра Сергѣевича Пушкина. Позвольте мнѣ сегодня развернуть нашу литературную лѣтопись на другой страницѣ, страницѣ менѣе блестящей, но полной однако жизни и художественной прелести. На страницѣ этой записано имя лицеиста XI курса — Льва Александровича Мея.

Мей пробылъ въ Лицеѣ шесть лѣтъ, съ 1835 по 1841 г. Онъ вступилъ въ Лицей 13-лѣтнимъ мальчикомъ, а вышелъ 19-лѣтнимъ юношей. Какой слѣдъ оставило въ душѣ поэта это шестилѣтіе его лицейской жизни, о томъ мы узнаемъ изъ его собственныхъ признаній. Лицейскія воспоминанія Льва Александровича, къ которымъ онъ возвращался не разъ, полны живого и теплаго чувства.

«И вы въ толпѣ тѣней, друзья моей весны,
«Былые спутники на жизненной дорогѣ!
«Сошлися весело на школьномъ мы порогѣ
«И смѣло въ путь пошли, судьбой увлечены.
«Я отставалъ отъ васъ: одни вслѣдъ за другими,
«Умчалися вы въ даль и скрылися отъ глазъ;
«Но слѣдъ вашъ свѣжъ еще и догоню я васъ
«У общей пристани, за гранями земными».

(Соч. Мея, изд. 1862—63 г. II, 163—164).

За полгода до смерти Мей въ восторженныхъ выраженіяхъ привѣтствовалъ Лицей по поводу его 50-лѣтней годовщины:

«Да!.... Ты ужъ посѣдѣлъ, родимый нашъ Лицей!
«Но честной сѣдиной святыхъ твоихъ кудрей
«Гордимся мы, — затѣмъ, что цѣлые полвѣка
«Ты въ слабомъ отрокѣ готовилъ человѣка
«И мужа, сильнаго въ борьбѣ съ коварнымъ зломъ,
«Съ насиліемъ тупымъ и раболѣпной ложью,
«И души чистыя вознесъ къ Престолу Божью....

«Охъ! Лицеистамъ есть припомнить кой о чемъ,
«И много есть — *о чемъ* былого допроситься,
«И много есть — *о комъ* усердно помолиться!....
«Но что я говорю?.... Для духа нѣтъ могилъ:
«Мы живы, мы полны несокрушимыхъ силъ,
«А тотъ, кого ужъ нѣтъ, — возстани и воскресни, —
«На зовъ лицейскій нашъ, на голосъ братской пѣсни!

(Юбил. Лицея 1861 г., стр. 54).

Эти горячія строчки напоминаютъ стихотворенія Пушкина, посвященныя Лицею: тотъ же задушевный тонъ, то же теплое чувство, то же признаніе высокаго значенія Лицея для его питомцевъ.

Для Мея лицейскія воспоминанія имѣли, впрочемъ, особенное значеніе. Школьные годы были, кажется, лучшей порой въ недолгой жизни нашего поэта. То, что онъ помнилъ о до-лицейскихъ годахъ, то, что онъ испыталъ въ послѣ-лицейское время, было полно грустныхъ впечатлѣній и глубокихъ страданій.

Дѣтскія воспоминанія Льва Александровича начинаются семейнымъ несчастьемъ — смертью отца:

«Отецъ мой, и къ тебѣ судьба была сурова,
«И въ полномъ цвѣтѣ силъ свела нежданно въ гробъ.

«Ребенкомъ я глядѣлъ на твой остывшій лобъ,
«На впалые глаза и на парчу покрова....
«Спокойно я тебя поцѣловалъ въ уста,
«Спокойно подошелъ къ могилѣ за толпою,
«И видѣлъ, какъ тебя засыпали землею,
«И какъ поверхъ легла тяжелая плита.
«И были новы мнѣ — весенняя погода,
«Кудрявые верхи кладбищенскихъ березъ,
«И голосъ дьякона, и рѣзкій стукъ колесъ,
«И запахъ ладана, и скопище народа.

(Соч. Мея т. II, стр. 161—162).

Рядомъ съ образомъ безвременно погибшаго отца выступалъ въ воспоминаніяхъ поэта другой образъ, полный скорби и затаеннаго страданія:

«Отецъ, младенецъ — братъ, и ты, родная, ты,—
«Блѣдна, болѣзненна, подъ ранней сѣдиною,
«Въ конецъ истомлена неравною борьбою,
«Но не знакомая съ упрекомъ и съ укоромъ,
«Но съ всепрощающей улыбкою и взоромъ,
«Переглянувшимся отчаянно съ судьбой.
«О, мать моя, скажи, скажи мнѣ: для чего же
«Печально ты глядишь въ загадочную высь,
«И словно молвишь мнѣ: «бѣдняжка, не борись —
«Для силы есть предѣлъ и для терпѣнья тоже»?

(Соч. Мея II, 160—161).

Таковы до-лицейскія воспоминанія Мея. Его жизнь по выходѣ изъ Лицея напоминаетъ повѣсть о горѣ «злосчастьѣ».

«Полетѣлъ молодецъ яснымъ соколомъ,
«а Горе за нимъ бѣлымъ кречетомъ;
«молодецъ полетѣлъ сизымъ голубемъ,
«а Горе за нимъ сѣрымъ ястребомъ;

«молодецъ пошелъ въ поле сѣрымъ волкомъ,
«а Горе за нимъ съ борзыми вѣжлецы;
«молодецъ сталъ въ полѣ ковыль-трава,
«а Горе пришло съ косою вострою,
«да еще Злосчастіе надъ молодцемъ насмѣялося:
«быть тебѣ, травонька, посѣченой,
«и буйны вѣтры быть тебѣ развѣяной».

(Памят. Ст. Рус. Лит. I, 7—8).

Мей говорилъ о своей судьбѣ въ выраженіяхъ очень близко напоминающихъ приведенныя слова старинной повѣсти:

«Охъ-вы, годы, мои торопливые,
«Торопливые вы годы и спѣшливые,
«Какъ ни съ долей, ни съ удачей вы не знался,
«Изъ огня да прямо въ полымя кидался!»

(Соч. Мея II, 206).

«Охъ, если бъ крылья, да крылья,
«Если бы доля — да доля,
«Не было бъ мысли: «*безсилья*»,
«Не было бъ слова — «*неволя!*»

Борьба съ нуждой, работа изъ-за куска хлѣба, голоданье чередующееся съ пирушками, — вотъ чѣмъ наполнена жизнь нашего поэта. По окончаніи курса Мей поступилъ на государственную службу, но чиновникъ изъ него вышелъ плохой. Прослуживъ нѣсколько лѣтъ въ скромномъ званіи канцелярскаго чиновника при московскомъ генералъ-губернаторѣ, онъ вышелъ въ отставку. Позже онъ рѣшился попробовать свои силы на педагогическомъ поприщѣ и занялъ мѣсто инспектора классовъ 2-ой московской гимназіи. Но и въ этомъ званіи онъ оставался недолго. Послѣдніе десять лѣтъ своей жизни Мей оставался безъ служебныхъ занятій. Въ эти тяжелые годы онъ называлъ себя «пятомъ чердачка».

«Вотъ и я, питомъ чердачка,
«Столицу обозрѣлъ, конечно, свысока,
«И видѣлъ я: Нева, и крѣпость, и Исакій,
«И академія, и мостъ черезъ Неву,
«И *стрѣлка* съ Биржею, и все, что видитъ всякій,
«Побывши въ Питерѣ, во снѣ иль на-яву....
«Я «питерщикъ» вполнѣ. На Питерѣ съѣлъ зубы:
«Затѣмъ и говорятъ со мною даже трубы;
«И дымомъ говорятъ:
— «Вотъ, говоритъ одна,
«Вы, сударь, видите, что я совсѣмъ бѣдна,
«Что истопель принесъ мнѣ дворникъ за послугу?....
«Да какъ же къ празднику не угодить другъ другу?»
— «Ариша»! говорю я мысленно трубѣ,
«Жила бы ты себѣ у батюшки въ избѣ,
«Доила бы коровъ, купалась подъ Купало
«И.....»
«Только изъ трубы дымъ по вѣтру умчало.
«Но пристально за нимъ я по вѣтру смотрю:
«Онъ обнялся съ другимъ.... «Ариша! говорю,
«Какъ разъ туда! для насъ, чернорабочихъ братій,
«Тамъ постланъ цѣлый рядъ фланелевыхъ кроватей:
«Тамъ есть и доктора, тамъ есть и фельдшера:
«Тамъ, помнишь, родила Марѳушина сестра?
«И померла». (Соч. Мея II, 96—97).

Жизнь, подсказывавшая такіе тяжелые, мрачные образы не могла продолжаться долго. 13 февраля 1862 г. Льву Александровичу исполнилось 40 лѣтъ. — Спустя три мѣсяца, 16 мая его не стало.

Сожалѣнія о быломъ безплодны. Не будемъ раздумывать о томъ, что могъ бы дать талантъ Мея при иныхъ, болѣе счастливыхъ условіяхъ жизни. И то, что успѣлъ сдѣлать Мей, даетъ ему видное и почетное мѣсто въ ряду нашихъ поэтовъ.

Читая стихотворенія Мея, невольно поддаешься чувству нѣкотораго удивленія. Мрачныхъ стихотвореній въ родѣ тѣхъ, которыя я цитировалъ, и которыя, мы знаемъ, подсказывались ему назойливыми впечатлѣніями дѣйствительности, у него не много, очень не много. Эти стихотворенія теряются въ ряду другихъ его работъ совершенно иного тона и иного содержанія. «Чердачокъ» слишкомъ слабо отразился въ поэзіи Мея. Напротивъ, точно желая отдохнуть и набраться силъ для борьбы съ лихой долей, онъ любилъ уноситься мыслью въ далекіе міры, совсѣмъ не похожіе на ту неприглядную дѣйствительность, которая его окружала.

У Мея было двѣ симпатіи, два излюбленныхъ круга историческихъ явленій: древній міръ и міръ русской народной поэзіи, русскихъ историческихъ преданій.

Мей пріобрѣлъ хорошее классическое образованіе. Онъ былъ знатокъ не только латинскаго, но и греческаго языка. «Не лишнимъ будетъ замѣтить, говоритъ нашъ поэтъ въ послѣсловіи къ переводу Анакреона, что «Пѣсни Анакреона Теосскаго переведены съ греческаго, что переводъ сличенъ съ переводами иностранными и улаженъ, за весьма немногими исключеніями, въ размѣръ весьма близкій къ подлиннику». Памятникомъ интереса и симпатій поэта къ классическому міру, кромѣ перевода Анакреона, являются переводы идиллій Ѳеокрита и нѣсколько оригинальныхъ произведеній: «Муза», «Галатея», «Фрина», «Фрески», «Камеи», «Обманъ», «Цвѣты», «Видѣніе», драма «Сервилія».

Для историко-литературнаго освѣщенія этихъ стихотвореній съ сюжетами изъ античныхъ преданій, нужно припомнить нѣкоторыя явленія нашей литературы сороковыхъ и пятидесятыхъ годовъ. Мей—ровесникъ Майкова, Полонскаго, Фета. Въ литературной дѣятельности всѣхъ этихъ поэтовъ съ большей или меньшей силой сказалась та же черта, которую мы замѣтили у Мея. Одинъ изъ названныхъ мною поэтовъ самъ недавно указалъ на эту черту:

«Тому ужъ больше, чѣмъ полвѣка,

«На разныхъ русскихъ широтахъ
«Три мальчика, въ своихъ мечтахъ
«За высшій жребій человѣка
«Считая чудный даръ стиховъ,
«Имъ предались невозвратимо.
«Въ твореньяхъ старыхъ мастеровъ
«Безсмертной Греціи и Рима
«Они почуяли черты
«Неизъяснимой красоты;
«Бывало, нѣжный лучъ авроры
«Раскрытыхъ книгъ освѣтитъ горы,
«Румяня ветхіе листы,
«Они сидятъ — ловя намеки,
«И ихъ восторгъ, растетъ, растетъ
«По мѣрѣ той, какъ трудъ идетъ,
«И сквозь разобранныя строки
«Чудесный образъ возстаетъ.
«И старики съ своихъ высотъ
«На нихъ, казалося, взирали
«И улыбались межъ собой,
«И ихъ улыбкой ободряли.

(Нов. Вр. 1887 г. 12 апр. № 3992).

Къ этимъ «тремъ мальчикамъ» я предлагаю присоединить четвертаго. Такія стихотворенія Мея, какъ «Цвѣты», нѣкоторыя мѣста изъ его «Сервиліи», его переводы Анакреона и Ѳеокрита даютъ на это полное право. Эти произведенія смѣло можно поставить рядомъ съ лучшими трудами подобнаго рода нашихъ «античныхъ поэтовъ». Стихотворенія на мотивы изъ древняго міра, принадлежащія Мею, Майкову, Фету, — явленія одного и того же литературнаго типа, плодъ одного и того же литературнаго вѣянія. Это вѣяніе объясняется съ одной стороны нѣкоторыми преданіями Пушкинской эпохи, а съ другой стороны — тѣмъ культомъ нѣмецкой мысли и поэзіи, который такъ характеренъ

для мыслящихъ русскихъ людей 30-хъ и 40-хъ годовъ. Нѣмецкая литература научила нашихъ поэтовъ понимать и цѣнить памятники античной поэзіи и жизни, она открывала въ этихъ памятникахъ глубокій всемірно-историческій смыслъ. Эти нѣмецкія вѣянія помогли взойти тѣмъ посѣвамъ, надъ которыми такъ много хлопотали нѣкоторые дѣятели старшаго литературнаго поколѣнія: Муравьевъ-Апостолъ, Гнѣдичъ, Уваровъ, Батюшковъ, Жуковскій, превратившійся подъ старость изъ мечтателя-романтика въ строгаго классика.

Изъ исторіи древняго міра Мей, подобно другимъ современнымъ ему поэтамъ, съ особеннымъ интересомъ останавливался на времени первыхъ римскихъ кесарей, на эпохѣ столкновенія язычества и христіанства (Сервилія, Видѣніе). Рядомъ съ греко-римскимъ выдвинулся другой, совсѣмъ не похожій на него міръ—міръ еврейско-христіанскій. Нашъ поэтъ познакомился и съ этимъ міромъ. Знакомство это оставило глубокій слѣдъ въ его душѣ и ярко отразилось въ его поэзіи. Назову стихотворенія: «Псаломъ Давида на единоборство съ Голіаѳомъ», «Изъ книги Іова», «Самсонъ», «Юдиѳь», «Еврейскія пѣсни», «Отойди отъ меня сатана», «Слѣпорожденный», «Отроковица». Нѣкоторыя изъ этихъ стихотвореній принадлежатъ къ лучшимъ произведеніямъ нашего поэта. Таковы: «Слѣпорожденный», «Отойди отъ меня сатана», «Еврейскія пѣсни». Кто не помнитъ этихъ дивно прекрасныхъ «Еврейскихъ пѣсенъ», представляющихъ подражаніе библейской книгѣ «Пѣснь Пѣсней». Отъ этихъ пѣсенъ такъ и вѣетъ знойной страстью юга:

«Поцѣлуй-же меня, выпей душу до дна...
«Сладки перси твои и хмѣльнѣе вина;
«Запахъ черныхъ кудрей чище мирры стократъ,
«Скажутъ имя твое — пролитой ароматъ!
«Оттого — отроковица —
«Полюбила я тебя...
«Царь мой, гдѣ твоя ложница?

«Я сгорѣла, полюбя...
«Милый мой, возлюбленный, желанный,
«Гдѣ, скажи, твой одръ благоуханный?

(Соч. Мея II, 40).

Но стихотворенія Мея съ содержаніемъ взятымъ изъ еврейскихъ греческихъ и римскихъ преданій, были только поэтическими экскурсіями, послѣ которыхъ онъ каждый разъ возвращался въ близкую и родную среду, въ міръ русской народной пѣсни и русскихъ историческихъ преданій. Съ русской народной поэзіей Мей познакомился еще въ дѣтствѣ и съ дѣтства же полюбилъ ее навсегда. Въ разсказѣ «Кирилычъ», полномъ автобіографическихъ намековъ, Мей вспоминаетъ о старомъ слугѣ, который разсказывалъ ему сказки, «и надобно отдать ему полную справедливость, прибавляетъ поэтъ, — разсказывалъ очень хорошо; впослѣдствіи мнѣ случилось слыхать многихъ сказочниковъ, но нѣтъ—не то, далеко не то»! Въ этомъ «далеко не то» выразилась вся сила того впечатлѣнія, которое оставили въ поэтически воспріимчивой душѣ ребенка произведенія безыскуственнаго творчества. Интересъ къ народной поэзіи Мей сохранилъ и въ Лицеѣ. «Въ 1840 году, разсказываетъ поэтъ, мнѣ довелось встрѣтить у его превосходительства Дмитрія Богдановича Броневскаго, бывшаго директора Императорскаго Царскосельскаго Лицея,—стараго сибирскаго казака Ивана Андреева... прозвище его я позабылъ. Пришелъ онъ изъ Сибири пѣшкомъ—взглянуть на Питеръ и просить, чтобы *всѣхъ* его трехъ сыновей приняли на службу царскую. Онъ разсказалъ мнѣ двѣ сказки: первая о «Маринкѣ Калайдашнѣ» представляетъ незначительныя измѣненія извѣстнаго народнаго разсказа, вторая, безъ заглавія,...» (Соч. Мея II, 334) была издана Меемъ подъ заглавіемъ: «Преданіе, отчего перевелись витязи на святой Руси».

Раннее дѣтское влеченіе Мея къ народной поэзіи нашло потомъ поддержку въ движеніи нашей литературы сороковыхъ и

пятидесятыхъ годовъ. Въ это время наше народное творчество, нашъ народный бытъ, наши историческія преданія дѣлаются предметомъ разносторонникъ наблюденій и серьезныхъ изученій. Назову имена Соловьева, Кавелина, Буслаева, Ивана Кирѣевскаго, К. Аксакова. Славянофилы и западники одинаково интересовались памятниками русской «старины и народности», хотя и разсматривали ихъ съ различныхъ точекъ зрѣнія.

Широкое умственное движеніе, вызвавшее это изученіе «старины и народности», нашло выраженіе и въ поэтической литературѣ. Въ сторонѣ отъ театра литературной войны, на которомъ бились западники и славянофилы, созрѣвали молодые таланты, которые, не мудрствуя лукаво, отдавались изученію народнаго творчества, народнаго быта, народныхъ преданій. Таковъ былъ Островскій, таковъ былъ Писемскій, таковъ былъ и Мей. Дѣятельность этихъ талантовъ образовала особую литературную школу, которая имѣетъ свои особенности, отличающія ее отъ другихъ аналогичныхъ явленій тогдашней литературы (Разсказы изъ народнаго быта Тургенева, Григоровича и др.). Въ спискахъ этой школы значилось не мало даровитыхъ людей. Кромѣ упомянутыхъ именъ назову еще одно имя Аполлона Григорьева. Онъ выступилъ какъ критикъ, для котораго дѣятельность Островскаго послужила исходнымъ пунктомъ для установленія своеобразнаго взгляда на ходъ русской литературы.

Въ рядахъ писателей этой народной школы Левъ Александровичъ занималъ особое, очень видное мѣсто. У него есть нѣсколько разсказовъ изъ народнаго быта, но не эти разсказы доставили ему извѣстность. Его важнѣйшія произведенія, историческія драмы: «Царская Невѣста» и «Псковитянка», пѣсни и поэтическіе разсказы съ сюжетами изъ области народныхъ повѣрій и старорусскихъ поэтическихъ сказаній («Русалка», «Лѣшій», «Хозяинъ», «Пѣсня про боярина Евпатія Коловрата», «Волхвъ», «Пѣсня про княгиню Вяземскую», «Спаситель», «Александръ Невскій», «Переводъ Слова о Полку Игоревѣ»). Какъ работалъ

Мей надъ этими произведеніями, о томъ мы узнаемъ изъ его послѣсловія къ «Царской Невѣстѣ»:

«Семейный бытъ нашихъ предковъ, несмотря на усильные труды любителей старины, все еще не вполнѣ разгаданный вопросъ. Въ нашихъ лѣтописяхъ одни голые факты, одни описанія мѣстничества бояръ, царскихъ опалъ, царскихъ пиршествъ и т. п., и очень мало о внутренней жизни народа. Иностранцы, очевидцы былинъ Святой Руси, говорятъ иногда о нравахъ и обычаяхъ «полудикихъ Москвитянъ»; но сообщаемыя ими свѣдѣнія — въ половину грубыя выдумки, въ половину указанія на то, что выдалось бы угломъ въ собственномъ ихъ семейномъ и гражданскомъ быту, да и эти указанія для насъ весьма незначительны. Остается — возсоздать былую жизнь по аналогіи съ нынѣшней жизнью народа, остается еще изустная, переходящая изъ рода въ родъ лѣтопись: пословицы и пѣсни. Въ пословицахъ, этой обиходной философіи нашихъ предковъ, отпечатлѣлся глубокій, затѣйливый русскій умъ, въ пѣсняхъ вылилось горячее русское сердце и въ особенности сердце женщины. Мертвая, едва замѣтная въ лѣтописи, русская женщина является въ пѣснѣ живою повсемѣстною двигательницею страсти. Здѣсь она-то лютая свекровь, которая «ходя похваляется: хорошо учить чужихъ дѣтей, нерѳженыхъ, нехѳженыхъ, невспоеныхъ, невскормленыхъ», то печальная невѣстка, «думающая крѣпкую думу о томъ, какъ вчера ея милъ-сердечный другъ загадалъ недогадливую загадку, повѣдалъ ей про свою затѣю — застрѣлить ея нѣлюба въ зеленѳмъ саду: не тужить она о постыломъ, о постыломъ своемъ мужѣ, а тужить о любимыхъ, о любимыхъ своихъ дѣтяхъ»; то «душа красная дѣвица, отъ которой огнемъ горитъ ретивѳе сердце молодецкое»; то «разгульная жена, которой «стряпня — рукава стряхня», которой «доспѣхъ — всѣмъ на смѣхъ». Такова-то въ пѣснѣ русская женщина, а «изъ пѣсни слова не выкинешь».

«Въ моей драмѣ два главныя женскія лица: Марѳа и Любаша..... Марѳа — одинъ пѣсенный типъ:

робкая, застѣнчивая дѣвушка, покорная волѣ отчей, покорная своему жеребью. Безотчетно, безъ бѣшеныхъ порывовъ страсти, полюбила она; безотвѣтно, безъ порывовъ отчаянія, склонила побѣдную голову подъ яремъ горя. Подъ какою жены она могла позволить себѣ одинѣ слезы, одни тихіе упреки..... Любаша — другой типъ, другая олицетворенная пѣсня, начинающаяся жалобами красной дѣвицы на заѣзжаго добра молодца, «что сманилъ онъ ее отъ батюшки и матушки, завезъ на чужедальнюю сторону, а завезши хочетъ кинути»..... Вотъ два пѣсенные первообраза, по которымъ мнѣ хотѣлось создать Марѳу и Любашу». (Соч. Мея, I, 542—544).

Подобныя же признанія дѣлаетъ Мей въ послѣсловіи къ «Слову о Полку Игоревѣ»: «Изучая «Слово», я убѣдился въ близкомъ сродствѣ его съ нашими народными сказками и пѣснями; тотъ же складъ рѣчи, тотъ-же напѣвъ. Естественно, что подобное убѣжденіе породило мысль о возможности уложить «Слово о Полку Игоря» въ сказочный размѣръ, и я рѣшился на эту попытку». (Соч. Мея II, 336).

То, что говорится въ приведенныхъ отрывкахъ, можно вполнѣ примѣнить ко всѣмъ произведеніямъ Мея разсматриваемаго отдѣла. Во всѣхъ этихъ произведеніяхъ сквозь стихъ поэта просвѣчиваютъ «пѣсенные первообразы», вездѣ одно и то же стремленіе выдержать «народный размѣръ», «народную рѣчь».

Такая манера поэтической работы была источникомъ достоинствъ и недостатковъ стихотвореній Мея.

Стиль народныхъ стихотвореній Мея, совокупность образовъ и выраженій, которыми онъ пользуется, отличается удивительной выдержанностью и какой-то захватывающей прелестью.

«Что касается внѣшней формы автора, говоритъ одинъ изъ критиковъ «Псковитянки», то какъ ни странно говорить въ наше время объ языкѣ, мы должны однакожъ замѣтить, что въ этомъ отношеніи Мей стоитъ едва ли не выше всѣхъ современныхъ нашихъ писателей: его рѣчь, задушевная и блестящая, всегда прекрасна; но тамъ, гдѣ дѣло идетъ о сюжетѣ чисто народномъ,

она играетъ у него всѣми красками русской самобытности и прелести. Это, конечно, не новость для всѣхъ, кто сколько-нибудь знаетъ Мея, но дѣло въ томъ, что въ «Псковитянкѣ» языкъ его подвинулся еще дальше, выработался до той степени совершенства, которая придаетъ драмѣ особое обаяніе, даже и въ сценахъ не увлекающихъ по содержанію» (Отголоски на литературныя и общественныя явленія. Крит. очерки А. Милюкова. С.-Пб. 1875 г. стр. 124—125).

Съ этимъ замѣчаніемъ согласится, конечно, всякій, кто читалъ сочиненія Мея. Мей—истинный художникъ русскаго слова. Его стихъ — пышное поэтическое узорочье въ русскомъ народномъ вкусѣ. Жаль только, что въ этихъ прелестныхъ формахъ, въ этихъ роскошныхъ украшеніяхъ и блестящихъ краскахъ онъ не всегда умѣлъ отыскать должную мѣру. Читая его драмы, вы нерѣдко встрѣтите сцены прекрасныя, какъ отдѣльныя художественно исполненныя картины, но имѣющія слабую связь съ общимъ движеніемъ драмы. Особенно характерны партіи для пѣнія и речитатива, которыя Мей, восторженный поклонникъ народной пѣсни, съ такой охотой вставлялъ въ свои драмы. Укажу примѣры изъ 1-го дѣйствія «Царская Невѣста»: хоръ гусляровъ, пѣсня, которую поетъ подъ аккомпаниментъ балалайки Калистъ Собакинъ, пѣсня Любаши. Образцомъ речитатива можетъ служить «сказка про хоробраго витязя Горыню, про лютаго змѣя Тугарина и про царевну Ладу». Эти вставки даютъ прекрасный матеріалъ для оперы, но не много прибавляютъ къ достоинствамъ драмы.

Близкое знакомство Мея съ великорусской народной поэзіей помогло ему разглядѣть слѣды послѣдней въ прозаическихъ передѣлкахъ историческихъ преданій, записанныхъ нашими старинными грамотеями. Такія пьесы, какъ Пѣснь объ Евпатіи Коловратѣ, о княгинѣ Вяземской, объ Александрѣ Невскомъ, несмотря на нѣкоторую растянутость изложенія, представляютъ большой историко-литературный интересъ, какъ попытки воссоздать забытые остатки нашего стариннаго эпоса. Но нужно

замѣтить, что и въ этихъ попыткахъ Мей дѣлалъ иногда ложные шаги. Такимъ ложнымъ шагомъ былъ его переводъ Слова о Полку Игоревѣ. Онъ передалъ Слово русскимъ сказочнымъ размѣромъ, не замѣтивъ своеобразныхъ особенностей стиля переводимаго памятника. Переводъ вышелъ неудачный, прошелъ незамѣченный и теперь совершенно забытъ.

Литературная форма произведеній Мея разнообразна. Онъ писалъ драмы, небольшія поэмы и разсказы, лирическія стихотворенія. Какія изъ этихъ произведеній нужно признать лучшими? Гдѣ съ наибольшей силой и ясностью выражается талантъ Мея? Чѣмъ силенъ этотъ талантъ? Отвѣтъ на эти вопросы не представляетъ затрудненій. Сильныя стороны таланта Мея выступаютъ въ его произведеніяхъ съ ясностью, не допускающей, кажется, колебаній и споровъ. Мей — неподражаемый мастеръ въ поэтическомъ описаніи и въ поэтическомъ разсказѣ; онъ по преимуществу «эпическій поэтъ», какъ справедливо замѣтилъ недавно одинъ знатокъ литературы. Перечислять всѣ художественно переданные разсказы и картины, разсѣянные въ сочиненіяхъ Мея было бы утомительно: ихъ слишкомъ много. Припомнимъ величественныя картины, которыя развертываются въ стихотвореніи: «Отойди отъ меня, сатана», припомнимъ картину пира въ поэмѣ «Цвѣты», припомнимъ такія произведенія, какъ Слѣпорожденный, Отроковица, Спаситель, Хозяинъ и многія другія. — Драматическія произведенія Мея — поэмы въ драматической формѣ. Лучшее въ нихъ опять-таки разсказы и картины, (напр. разсказъ Вѣры о путешествіи въ монастырь въ первомъ дѣйствіи драмы «Псковитянка». Изъ лирическихъ стихотвореній нашего поэта лучшія тѣ, которыя выдержаны въ народно-эпическомъ стилѣ.

Эпическіе поэты мало говорятъ о себѣ. Въ ихъ спокойномъ, объективномъ творчествѣ мы найдемъ мало матеріала для сужденій о личности поэта, о его міровоззрѣніи, о томъ, что волновало его умъ и его сердце. Это замѣчаніе съ извѣстнымъ, впрочемъ, ограниченіемъ примѣнимо и къ Мею. Въ 1853 г. Ап.

Григорьевъ, высоко цѣнившій талантъ нашего поэта, писалъ: «Г. Мей одинъ изъ такихъ поэтовъ, во внѣшнихъ качествахъ таланта которыхъ нѣтъ ни малѣйшей возможности имѣть хоть какое-либо сомнѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, рѣдко можно встрѣтить въ поэтѣ такое богатство фантазіи, такую силу, красоту выраженія, такое полное владѣнье словомъ и образами... Но вотъ все, что въ настоящую минуту можно сказать о несомнѣнномъ талантѣ молодого поэта. Этого всего, конечно, много, если взять безотносительно, но относительно къ таланту въ такой степени богатому силами, внѣшними средствами, русскимъ словомъ, слѣдуетъ пожелать, чтобы точнѣе, яснѣе, опредѣленнѣе выразилось то, что составляетъ душу въ поэзіи, что говоритъ въ ней душѣ, міросозерцаніе, и притомъ достойное, конечно, такихъ силъ. Вѣроятно, многіе вмѣстѣ съ нами готовы сказать г. Мею то, что одинъ нѣмецкій поэтъ говорилъ Фрейлиграту:

«O wähl ein Banner, und ich bin zufrieden,
«Ob's auch ein andres als das meine sey».

Съ этимъ замѣчаніемъ Григорьева нельзя не согласиться я, нужно только сдѣлать нѣкоторую оговорку. — Мей далеко не всегда остается вѣренъ характеру эпически спокойнаго художника. Его небольшая поэма Самсонъ неожиданно заканчивается пламенной тирадой о «пѣвцѣ — атлетѣ нашихъ дней».

«Ты, умственный атлетъ гремучихъ нашихъ дней,
«Пѣвецъ, и ты силенъ, какъ ветхій Назарей.
«Ты такъ же смѣлъ и гордъ предъ силою земною,
«И такъ же слабъ, какъ онъ, предъ всякой красотою...
«Но если-бъ ты погибъ и духомъ изнемогъ,
«Но если бы тебя коварно усыпили
«И предали тебя врагамъ, и ослѣпили,
«О!... за тебя тогда заступится самъ Богъ, —
«И за тебя, за новаго Самсона
«Во прахѣ разгромитъ все капище Дагона

(Соч. Мея II, 17).

Въ стихотвореніи «Эндорская прорицательница» поэтъ влагаетъ въ уста пророка Самуила такую рѣчь, обращенную къ Саулу:

«Тобой Израиль погибаетъ
«И ввержень въ ужасы войны.
«Не ты ль добра личиной лживой
«Прикрылъ свой духъ властолюбивый,
«И угнетенья сѣмена
«Въ Израиль высѣялъ сполна?
«Любуйся жъ, пахарь, спѣлой нивой
«И жни на ней позоръ и страхъ...
«То царство распадется въ прахъ,
«Въ пучинѣ золъ и бѣдъ потонетъ,
«Гдѣ царь пророковъ вѣщихъ гонитъ
«И тщится мысль сковать въ цѣпяхъ».

(Соч. Мея II, 28—29).

Сходный мотивъ развивается въ стихотвореніи «Канарейка»:

«Говоритъ султанша канарейкѣ:
— «Птичка! лучше въ теремѣ высокомъ
Щебетать и пѣсни пѣть Зюлейкѣ,
Чѣмъ порхать на западѣ далекомъ?
Спой же мнѣ про за-море, пѣвичка,
Спой же мнѣ про западъ, непосѣдка!
Есть ли тамъ такое небо, птичка,
Есть ли тамъ такой гаремъ и клѣтка?
У кого тамъ столько розъ бывало?
У кого изъ шаховъ есть Зюлейка —
И поднять ли такъ ей покрывало?»
Ей въ отвѣтъ щебечетъ Канарейка:
— «Не проси съ меня заморскихъ пѣсенъ,
Не буди тоски моей безъ нужды:
Твой гаремъ по нашимъ пѣснямъ тѣсенъ
И слова ихъ одалыкамъ чужды...

Ты въ лѣнивой дремѣ расцвѣтала,
Какъ и вся кругомъ твоя природа,
И не знаешь — даже не слыхала,
Что у пѣсни есть сестра — свобода».

(II, 90).

Очевидно вопросъ о свободѣ мысли и слова сильно и глубоко волновалъ поэта. Это волненіе, этотъ страстный, негодующій тонъ приведенныхъ выше отрывковъ будетъ намъ вполнѣ понятенъ, если мы припомнимъ тѣ тяжелыя, общественныя условія, при которыхъ развертывался талантъ Мея, при которыхъ прошла первая пора его литературной дѣятельности. Эти тяжелыя условія навѣвали поэту грустныя думы о судьбѣ родной земли, которую поэтъ такъ горячо, такъ беззавѣтно любилъ:

«Сѣверъ спитъ: усыпилъ его крѣпкій морозъ,
Уложила сѣдая подруга,
Убаюкала буйная вьюга...
Не проснется во вѣкъ задремавшій колоссъ,
Или къ небу отчизны морозной
Приподниметъ главу, отягченную сномъ,
Зорко глянетъ очами во мракѣ ночномъ
И воспрянетъ громадою грозной»?

(II, 56).

Поэтъ вѣрилъ, что сѣверъ проснется, и ему выпало на долю счастье увидѣть живое подтвержденіе этой вѣры:

«Тысячелѣтняя моя отроковица!
На сѣверѣ своемъ ты также обмерла,
Да, Божьей волею, тебя ужъ подняла
Благословенно-мощная десница!»

(II, 69).

Въ привѣтъ этой пробудившейся отроковицѣ сложена поэтомъ эта дивная «Запѣвка», которая звучитъ и теперь, какъ бодрый призывъ, обращенный къ грядущему:

«Охъ, пора тебѣ на волю, пѣсня Русская,
«Благовѣстная, побѣдная, раздольная,
«Погородная, посельная, попольная,
«Непогодою-невзгодою повитая,
«Во крови, въ слезахъ крещеная-омытая!
«Охъ, пора тебѣ на волю, пѣсня Русская!

(III, 205).

О ДРАМѢ А. С. ПУШКИНА: „БОРИСЪ ГОДУНОВЪ". [1])

Въ посланіи печерскаго монаха Поликарпа къ игумену Акиндину читается такой разсказъ:

«Во дни княженія Святополка... пришелъ нѣкто изъ Смоленска къ игумену Іоанну, желая быть инокомъ. Игуменъ постригъ его и назвалъ Прохоромъ. Этотъ черноризецъ Прохоръ предалъ себя на послушаніе и такое безмѣрное воздержаніе, что хлѣба себя лишалъ. Онъ собиралъ лебеду, растиралъ ее своими руками и дѣлалъ изъ нея хлѣбъ; имъ и питался. И это приготовлялъ онъ себѣ на годъ, а на слѣдующее лѣто собиралъ новую лебеду. И такъ всю жизнь свою довольствовался онъ лебедой, вмѣсто хлѣба. Видя же Богъ терпѣніе его и великое воздержаніе, превратилъ ему горечь ту въ сладость... И прозвали его лебедникомъ, потому что, какъ сказано выше, онъ питался одной лебедой, не употребляя ни хлѣба, кромѣ просфоры, ни овоща никакого, ни питья. И никогда не поскорбѣлъ онъ, но всегда съ радостью работалъ Господу... Насталъ великій голодъ, и смерть налегла на всѣхъ людей. Блаженный же продолжалъ дѣло свое, собиралъ лебеду. Увидалъ это одинъ человѣкъ и самъ сталъ собирать эту траву для себя и для домашнихъ своихъ, чтобы пропитаться ею въ голодное время, но не удобно было вкушать ее ради горечи. Между тѣмъ стала лебеда еще больше умножаться на пищу этому блаженному (Прохору). Въ тѣ дни онъ принялъ

1) Публичная лекція, читанная въ Александровскомъ Лицеѣ въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая (1892 г.).

на себя еще большій трудъ: собиралъ это зелье и растиралъ, какъ я говорилъ, въ своихъ рукахъ, дѣлалъ изъ него хлѣбы, которые раздавалъ неимущимъ, изнемогавшимъ отъ голода. Многіе въ это голодное время приходили къ нему, и онъ всѣхъ одѣлялъ. И сладко, какъ съ медомъ, было для всѣхъ то, что онъ давалъ. Никому такъ пшеничнаго хлѣба не хотѣлось, какъ этой пищи, приготовленной руками блаженнаго изъ дикаго зелья. И если онъ самъ давалъ съ благословеніемъ, то свѣтелъ, и чистъ, и сладокъ бывалъ его хлѣбъ; если же кто бралъ тайкомъ, то былъ онъ горекъ безъ мѣры, какъ полынь».

Разсказанное Поликарпомъ относится къ концу XI столѣтія. Проходили вѣка, цѣлый рядъ вѣковъ, русскій народъ не забывалъ того дикаго зелья, которое благочестивый подвижникъ умѣлъ когда-то превращать въ сладкій хлѣбъ. Чудо уже не совершалось, но врагъ, съ которымъ боролся Прохоръ, не прекращалъ своихъ набѣговъ на русскую землю, заставляя обращаться и къ лебедѣ, и къ инымъ, еще болѣе грубымъ, замѣстителямъ святаго жита. Пересматривая наши лѣтописи, мы можемъ собрать цѣлую вереницу лѣтъ, отмѣченныхъ извѣстіями о безхлѣбицѣ: 1071, 1092, 1128, 1161, 1188, 1212, 1215, 1230, 1303, 1309, 1314, 1332, 1371, 1419, 1422, 1442, 1446, 1512, 1515, 1525, 1544, 1570, 1589, 1601... Не буду продолжать далѣе этого скучнаго перечня, изъ-за каждой цифры котораго выглядываетъ горе лютое.

Я остановился на 1601 годѣ. И по размѣрамъ бѣдствія, и по его послѣдствіямъ годъ этотъ не можетъ не остановить нашего вниманія.

«Лѣта 7109, говоритъ Авраамій Палицынъ, изліяніе гнѣвобыстрое бысть отъ Бога: омрачи Господь небо облаки, и толико дождя проліяся, яко вси человѣцы во ужасть впадоша, и преста всяко дѣло земли, и всяко сѣмя сѣянное возрастши разсѣдеся отъ безмѣрныхъ водъ, ліемыхъ отъ воздуха, и не обвѣя вѣтръ травы земныя за десять седмицъ дней, и прежде простертія серпа поби мразъ сильный всякъ трудъ дѣлъ человѣческихъ, и

въ полѣхъ, и въ садѣхъ, и въ дубравѣхъ всякъ плодъ земный, и яко отъ огня поядена бысть вся земля»... «Ядоша, читаемъ въ сказаніи другого свидѣтеля голода, всяку траву и мертвину, и пси и кошки, а инъ кору липовую и сосновую, а иные живые мертвыхъ и другъ друга ядоша: то бо есмь азъ видѣхъ своима очима; богатыхъ домы грабили и разбивали и зажигали». Царь Борисъ не остался безучастнымъ зрителемъ народнаго горя. Чтобы дать заработокъ терпѣвшимъ нужду, начаты были, по волѣ царя, большія каменныя постройки въ Москвѣ; отысканы и назначены въ продажу запасы хлѣба, оставшіеся отъ прежнихъ урожаевъ; бѣднымъ раздавались ежедневно деньги изъ царской казны. Эта раздача денегъ оказалась мѣрой неудобной, ее пришлось отмѣнить, но и милостыня и постройки свидѣтельствовали несомнѣнно о добромъ, участливомъ отношеніи Бориса къ народному бѣдствію. Истолковать дѣйствія Годунова во время голода какъ дѣйствія дурныя, найти въ нихъ основаніе для какихъ-нибудь обвиненій Бориса—повидимому невозможно. Однако, мы встрѣчаемся и съ такими толками, и съ такими обвиненіями... Кажущееся невозможнымъ оказывается дѣйствительнымъ. «Царь Борисъ, говоритъ Палицынъ, въ тая лѣта многу милостыню творяше нищимъ... не помяну же словесе вселеннѣй покаянію наставника, иже убо отъ лихоимѣнія и отъ неправды творяй милостыню, подобится сей зарѣзавшему сына у отца, и кровь его принося въ златой чаши, да піетъ отъ нея ко здравію си».

Людское недоброжелательство преслѣдовало Бориса. Злые толки шли не по поводу только голода.

Богъ насылалъ на землю нашу гладъ;
Народъ завылъ, въ мученьяхъ погибая;
Я отворилъ имъ житницы; я злато
Разсыпалъ имъ; я имъ сыскалъ работы:
Они-жъ меня, бѣснуясь, проклинали!
Пожарный огнь ихъ домы истребилъ;
Я выстроилъ имъ новыя жилища:

Они жъ меня пожаромъ упрекали!
Вотъ черни судъ: ищи жъ ея любви!
Въ семьѣ моей я мнилъ найти отраду,
Я дочь мою мнилъ осчастливить бракомъ;
Какъ буря, смерть уноситъ жениха...
И тутъ молва лукаво нарекаетъ
Виновникомъ дочерняго вдовства
Меня, меня, несчастнаго отца!..
Кто ни умретъ — я всѣхъ убійца тайный:
Я ускорилъ Ѳеодора кончину,
Я отравилъ свою сестру царицу,
Монахиню смиренную... все я!

Эти жалобы пушкинскаго Бориса подтверждаются свидѣтельствами историческими. Передъ нами выступаетъ какой-то неудачникъ, несчастный человѣкъ, надъ которымъ зло насмѣялась судьба: побаловала успѣхомъ, дала возможность пробраться на царскій престолъ, а затѣмъ отняла отъ него и душевный покой, и удачу, и доброе имя.

Жизнь царя Бориса, превратности его судьбы — тема, полная интереса и для историка и для поэта. Не буду перечислять и разбирать всѣхъ попытокъ научнаго и художественнаго объясненія извѣстій о царѣ Борисѣ, какія появлялись въ нашей литературѣ. Я предполагаю остановиться лишь на одномъ изъ изображеній времени царя Бориса — на «Комедіи, въ ней же первая персона царь Борисъ Годуновъ» А. С. Пушкина. Выборъ именно пушкинскаго Бориса оправдывается не только именемъ поэта, но и той глубокой связью, которая соединяетъ это имя съ завѣтными воспоминаніями Лицея.

«Вы спросите, писалъ Пушкинъ Н. Н. Раевскому, — трагедія ли это съ характерами (tragédie de caractère), или трагедія съ исторической вѣрностью (tragédie de costume), я избралъ легчайшій путь, но старался соединить оба эти рода». Поэтъ указываетъ двоякое значеніе своей драмы, какъ картины исто-

рической и психологической. Наша задача — изученіе «Бориса» съ исторической точки зрѣнія,—какъ попытки освѣтить тѣ условія русской дѣйствительности конца XVI—начала XVII вв., которыя вызвали появленіе самозванца и паденіе Борисова царства.

Въ 1829 году III Отдѣленіе собственной Е. И. В. Канцеляріи, куда представлена была драма Пушкина, дало такое заключеніе о «Борисѣ Годуновѣ»: «въ пьесѣ нѣтъ ничего цѣлаго: это отдѣльныя сцены, или, лучше сказать, отрывки изъ X и XI т. Исторіи Государства Россійскаго, сочиненія Карамзина, передѣланные въ разговоры. Характеры, происшествія—все основано на сочиненіи Карамзина, все оттуда позаимствовано. Автору комедіи принадлежитъ только разсказъ, расположеніе дѣйствія на сцены. Почти каждая сцена составлена изъ событій, упомянутыхъ въ исторіи, исключая сцены самозванца въ корчмѣ, сцены юродиваго и свиданія самозванца съ Мариною». Это сужденіе могло бы остаться лишь любопытнымъ образцомъ критическихъ упражненій чиновъ полицейскаго надзора, если бы замѣчаніе о ближайшей зависимости «Бориса» отъ Исторіи Карамзина не повторялось и въ литературной критикѣ, изучавшей и оцѣнивавшей поэтическую дѣятельность Пушкина. Въ 1833 г. по поводу «Бориса» появилась обширная статья Н. А. Полевого. Критикъ хвалитъ выборъ предмета драмы, свидѣтельствующій о «проницательномъ геніи Пушкина», но самую драму находитъ совершенно неудачной. Причина неудачи—въ зависимости Пушкина отъ Карамзина. «Одну изъ неудачныхъ частей Исторіи государства Россійскаго, говоритъ Полевой, составляетъ у Карамзина описаніе царствованій Іоанна Грознаго, Ѳеодора, Бориса, Лже-Димитрія и Шуйскаго... Карамзинъ не понялъ... совершеннаго измѣненія въ духѣ народа и въ отношеніяхъ русской удѣльности, какія начались съ Василія Темнаго и кончились Іоанномъ Грознымъ. Василій Темный положилъ роковую руку на голову гидры удѣловъ, въ борьбѣ съ Шемякою; Іоаннъ III сжалъ крѣпкою рукою разрозненныя части государственнаго тѣла Россіи; смерть

внука Шемякина и присоединеніе Рязани къ Москвѣ Василіемъ довершили исторію удѣловъ. Князья сдѣлались послѣ того вельможами, властители боярами, Великій князь царемъ; политическая борьба съ полей междоусобія перешла въ палаты царскія. Какъ сильна, какъ дѣятельна долженствовала быть сія новая жизнь! Она и была такова. Посмотрите на партіи Глинскихъ, Телепневыхъ, Шуйскихъ, Бѣльскихъ, Курбскихъ; вслушайтесь въ буйство партій при смертномъ одрѣ Іоанна,... и вы узнаете, что сдѣлало сильнаго, умнаго, хотя и возмущаемаго страстями, Іоанна *грознымъ*. Онъ ужасенъ возсталъ съ своего смертнаго одра, и такъ же свирѣпо началъ терзать олигархію, какъ немилосердно дѣдъ и прадѣдъ его терзали удѣльную систему». Но суровыя мѣры Іоанна не уничтожили боярской крамолы. Эта же крамола погубила и Бориса. «Чего трепеталъ онъ? Что заставляло его робѣть, не оставлять Москвы, не являться самому къ народу и войску при извѣстной своей отважности, и не принимать смѣло внѣшней бури на грудь свою? Крамола. Ея трепеталъ Борисъ, не дерзая въ это время рѣшиться ни на грозныя, ни на милостивыя мѣры; крамола заставляла его бояться тѣни, обманывала его, измѣняла ему, возмущала умы, отвлекала отъ Бориса сердца». Карамзинъ въ разсказѣ о событіяхъ Борисова царствованія пытался лишь «составить разительную картину: мщеніе Божіе за кровь невинную». Пушкинъ вслѣдъ за Карамзинымъ призналъ въ Борисѣ убійцу Димитрія, вслѣдъ за Карамзинымъ изображаетъ несчастія Бориса, какъ «исполненіе приговора, уже подписаннаго судьбою». «Забывъ истинную причину его паденія и успѣховъ самозванца — буйную русскую олигархію,... онъ, естественно, долженъ былъ потеряться въ планѣ и развитіи его. Если съ перваго явленія намъ сказали тайну Бориса, чѣмъ сдѣлалась вся драма Пушкина? Это le dernier jour d'un condamné (послѣдній день приговореннаго къ смерти)! Вмѣсто того, чтобы изъ жребія Годунова извлечь ужасную борьбу человѣка съ судьбою—мы видимъ только приготовленія его къ казни, и слышимъ только стонъ умирающаго преступника».

Спустя двѣнадцать лѣтъ послѣ появленія статьи Полевого, сказалъ свое слово о Борисѣ другой, болѣе авторитетный критикъ. «Ни въ одномъ изъ прежнихъ своихъ произведеній, говоритъ Бѣлинскій, не достигалъ Пушкинъ до такой художественной высоты, и ни въ одномъ не обнаружилъ такихъ огромныхъ недостатковъ, какъ въ «Борисѣ Годуновѣ». Эта пьеса была для него истинно Ватерлооскою битвою, въ которой онъ развернулъ во всей широтѣ и глубинѣ свой геній и, несмотря на то, все-таки потерпѣлъ рѣшительное пораженіе»... «Борисъ Годуновъ, продолжаетъ критикъ, можетъ быть, больше, чѣмъ какое другое лицо русской исторіи годился бы если не для драмы, то хоть для поэмы въ драматической формѣ, — для поэмы, въ которой такой поэтъ, какъ Пушкинъ, могъ бы развернуть всю силу своего таланта и избѣжать тѣхъ огромныхъ недостатковъ и въ историческомъ и въ эстетическомъ отношеніи, которыми наполнена драма Пушкина. Для этого поэту необходимо было нужно самостоятельно проникнуть въ тайну личности Годунова, и поэтическимъ инстинктомъ разгадать тайну его историческаго значенія, не увлекаясь никакимъ авторитетомъ, никакимъ вліяніемъ. Но Пушкинъ рабски во всемъ послѣдовалъ Карамзину, и изъ его драмы вышло что-то похожее на мелодраму, а Годуновъ его вышелъ мелодраматическимъ злодѣемъ, котораго мучитъ совѣсть и который въ своемъ злодѣйствѣ нашелъ себѣ кару. Мысль нравственная и почтенная, но ужъ до того избитая, что таланту ничего нельзя изъ нея сдѣлать». Но въ чемъ же заключалась тайна личности Годунова и его историческаго значенія — тайна, не разгаданная ни историкомъ ни поэтомъ? Годуновъ не былъ любимъ народомъ. «Первый изъ русскихъ царей обратилъ онъ свое непосредственное, прямое, а не черезъ бояръ, вниманіе на массу народа, на его низшій и, слѣдовательно, самый обширный слой... Это была какая-то нѣжная, родственная заботливость, въ которой былъ виденъ больше отецъ, нежели царь... Народъ долженъ былъ боготворить Годунова, и Годуновъ долженъ бы быть самымъ народнымъ изъ всѣхъ бывшихъ до него царей русскихъ...

Въ такомъ случаѣ, что̀ ему тайная злоба и зависть, темная крамола боярщины! Онъ могъ спокойно презирать ее: на стражѣ его стояла лучшая и надежнѣйшая изъ всѣхъ швейцарскихъ и другихъ возможныхъ гвардій,—любовь народная... и въ самомъ дѣлѣ, народъ славилъ царя благодушнаго, ласковаго, правосуднаго, милостиваго, доступнаго... Народъ даже старался, силился полюбить Годунова — и никакъ не могъ... Если у него и была на минуту любовь къ Годунову, то въ головѣ только, а не въ сердцѣ: умъ и воображеніе народа удивлялись Годунову, а сердце молчало, упрямясь согласиться съ умомъ и воображеніемъ. Но вотъ прошла и минута этой надуманной, такъ сказать, головной любви; Борисъ удвояетъ свои благодѣянія народу, а народъ, принимая ихъ, клянетъ Бориса». Въ природѣ Годунова не было средствъ, при помощи которыхъ онъ могъ бы увлечь народную массу, вызвать ея любовь. «Борисъ Годуновъ не былъ человѣкомъ ничтожнымъ и даже обыкновеннымъ; напротивъ, это былъ человѣкъ ума великаго, который цѣлою головою стоялъ выше всего своего народа... Уже одно то, что онъ понялъ необходимость опереться преимущественно на любовь народа, показываетъ, какъ уменъ былъ этотъ несчастный любимецъ счастія. Но всѣ предпріятія его не состоялись именно потому (а не почему-нибудь другому), что у него былъ только умъ и даровитость, но не было геніальности, тогда какъ судьба поставила его въ такое положеніе, что геніальность была ему необходима. Будь онъ законный (?), наслѣдный царь, онъ былъ бы однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ царей русскихъ: тогда ему не было бы никакой нужды быть реформаторомъ, и оставалось бы только хранить statu quo, улучшая, но не измѣняя его, а для этого, и безъ геніальности, достало бы у него ума и способности, и онъ много сдѣлалъ бы полезнаго для Россіи. Но онъ былъ выскочка (parvenu), и потому долженъ былъ быть геніемъ, или пасть — и палъ... Ведя Русь по старой колеѣ, онъ самъ не могъ не споткнуться на этой колеѣ, потому что старая Русь не могла простить ему того, что видѣла его бояриномъ прежде чѣмъ увидѣла

царемъ своимъ. Чтобы утвердиться самому на престолѣ и упрочить его за своимъ потомствомъ, ему надо было преобразовать, перевоспитать Русь, внести въ ея жизнь новые элементы. Но для этого у него не было никакой идеи, никакого принципа. Онъ былъ только умнѣе своего времени, но не выше его... Вѣрно понять Годунова исторически и поэтически, — значитъ понять необходимость его паденія равно въ обоихъ случаяхъ, виновенъ ли онъ былъ въ смерти царевича, или не виновенъ. А необходимость эта основана на томъ, что онъ не былъ геніальнымъ человѣкомъ, тогда какъ его положеніе непремѣнно требовало отъ него геніальности. Это просто и ясно. Отчего же не понялъ этого Пушкинъ? Или недостало у него художественной проницательности, поэтическаго такта? Нѣтъ; оттого, что онъ увлекся авторитетомъ Карамзина и безусловно покорился ему... Карамзинъ не одного Пушкина,— нѣсколько поколѣній увлекъ окончательно своею «Исторіею Государства Россійскаго», которая имѣла на нихъ сильное вліяніе не однимъ своимъ слогомъ, какъ думаютъ, но гораздо больше своимъ духомъ, направленіемъ, принципами. Пушкинъ до того вошелъ въ ея духъ, до того проникнулся имъ, что сдѣлался рѣшительнымъ рыцаремъ исторіи Карамзина и оправдывалъ ее не просто, какъ исторію, но какъ политическій и государственный коранъ, долженствующій быть пригоднымъ какъ нельзя лучше и для нашего времени, и остаться такимъ навсегда».

Такимъ образомъ, по взгляду Полевого и Бѣлинскаго, все значеніе пушкинскаго «Бориса Годунова» сводится лишь къ болѣе или менѣе удачному пересказу нѣкоторыхъ страницъ X и XI тт. Исторіи Государства Россійскаго; самостоятельнаго значенія работа Пушкина не имѣетъ. Слѣдуетъ ли согласиться съ этимъ мнѣніемъ? Слѣдуетъ ли признать, что Пушкинъ въ своемъ «Борисѣ» дѣйствительно рабски слѣдовалъ за Карамзинымъ? Нѣтъ ли у Пушкина слѣдовъ самостоятельнаго изученія и пониманія времени Годунова? На этихъ вопросахъ стоитъ остановиться въ виду того, что сужденія Полевого и Бѣлинскаго по-

вторяются нерѣдко и теперь, когда заходитъ рѣчь о драмѣ Пушкина.

«Прочтите, говоритъ Полевой, листокъ, слѣдующій послѣ заглавнаго листка драмы Пушкина: драгоцѣнной для Россіянъ памяти Н. М. Карамзина сей трудъ, геніемъ его вдохновенный, съ благодарностію посвящаетъ Александръ Пушкинъ... Прочитавъ посвященіе знаемъ напередъ, что мы увидимъ *карамзинскаго* Годунова: этимъ словомъ рѣшена участь драмы». Изъ письма Пушкина къ Плетневу мы знаемъ, какъ появилось это посвященіе, которому критикъ придаетъ такое важное значеніе: «Я хотѣлъ ее (трагедію) посвятить Жуковскому... Дочери Карамзина сказали мнѣ, чтобъ я посвятилъ любимый трудъ памяти отца. Итакъ, если еще можно, то напечатай на заглавномъ листѣ: Драгоцѣнной для Россіянъ памяти Н. М. Карамзина» и т. д. (VII, 241—242). Пушкинъ высоко цѣнилъ, да и не могъ не цѣнить великаго труда, исполненнаго историкомъ, но поэтъ умѣлъ отдѣлять научно-литературное значеніе Исторіи Государства Россійскаго отъ тѣхъ публицистическихъ воззрѣній, которыхъ держался Карамзинъ и которыя могли проглядывать и въ его исторіи.

«У насъ никто не въ состояніи, говорилъ Пушкинъ, изслѣдовать огромное созданіе Карамзина, зато никто не сказалъ спасибо человѣку, уединившемуся въ ученый кабинетъ во время самыхъ лестныхъ успѣховъ и посвятившему цѣлыхъ 12 лѣтъ жизни безмолвнымъ и неутомимымъ трудамъ. Ноты русской исторіи свидѣтельствуютъ ученость Карамзина... Онъ разсказывалъ со всею вѣрностію историка, онъ вездѣ ссылался на источники: чего жъ болѣе требовать было отъ историка?»

Поэтъ цѣнитъ Исторію Государства Россійскаго, какъ громадный ученый трудъ, онъ дорожитъ этимъ трудомъ, какъ вѣрнымъ, основаннымъ на источникахъ историческимъ разсказомъ... Но это уваженіе къ труду Карамзина не мѣшало Пушкину говорить о «парадоксахъ Карамзина», не мѣшало утверждать, что въ Исторіи Государства Россійскаго есть «нѣсколько отдѣльныхъ

размышленій,... краснорѣчиво опровергнутыхъ вѣрнымъ разсказомъ событій».

«Однажды, вспоминаетъ поэтъ, началъ онъ при мнѣ излагать свои *любимые парадоксы*. Оспаривая его, я сказалъ: Итакъ, вы рабство предпочитаете свободѣ?» Карамзинъ вспыхнулъ и назвалъ меня своимъ клеветникомъ. Я замолчалъ, уважая самый гнѣвъ прекрасной души. Разговоръ перемѣнился. Я всталъ. Карамзину стало совѣстно и, прощаясь со мной, онъ ласково упрекалъ меня, какъ бы самъ извиняясь въ своей горячности: «Вы сказали на меня то, чего ни Шаховской, ни Кутузовъ на меня не говорили». Припомнимъ, что эти замѣтки о Карамзинѣ (долгое время печатавшіяся съ поправками Жуковскаго, совершенно измѣнявшими по мѣстамъ мысль автора) написаны Пушкинымъ въ 1825—1826 г., т. е. въ то именно время, когда поэтъ оканчивалъ или только что окончилъ «Бориса». Можно ли утверждать, что Исторія Государства Россійскаго была въ это время для Пушкина какимъ-то «политическимъ и государственнымъ кораномъ»? Можно ли допустить, что писатель, такъ ясно видѣвшій и достоинства и слабыя стороны Карамзина, какъ историка, станетъ его рабскимъ подражателемъ?

Не можетъ подлежать спору, что Исторія Государства Россійскаго служила для Пушкина важнымъ пособіемъ при ознакомленіи съ событіями русской исторіи 1598—1605 гг. Но не по одной лишь исторіи Карамзина изучалъ Пушкинъ время царя Бориса. «Карамзину, говоритъ поэтъ, слѣдовалъ я въ свѣтломъ развитіи происшествій; *въ лѣтописяхъ* старался угадать образъ мыслей и языкъ тогдашняго времени». Въ то время, когда работалъ Пушкинъ, было уже издано нѣсколько памятниковъ, имѣющихъ первостепенную важность при изученіи смутной эпохи: такъ называемый Новый Лѣтописецъ, Житіе царя Ѳеодора Ивановича, составленное патріархомъ Іовомъ, Сказаніе Авраамія Палицына, Грамота объ избраніи Бориса Годунова. Много извѣстій о времени Бориса и самозванца собрано было Щербатовымъ въ VII томѣ его Исторіи Россійской. Присматри-

валась къ трагедіи Пушкина, мы найдемъ въ ней слѣды знакомства поэта съ такими извѣстіями, которыхъ нѣтъ у Карамзина и которыя свидѣтельствуютъ объ исторической начитанности автора «Бориса». Вотъ два примѣра.

Припомнимъ разсказъ Пимена о смерти царя Ѳеодора:

Богъ возлюбилъ смиреніе царя,
И Русь при немъ во славѣ безмятежной
Утѣшилась, а въ часъ его кончины
Свершилося неслыханное чудо:
Къ его одру, царю едину зримый,
Явился мужъ необычайно свѣтелъ,
И началъ съ нимъ бесѣдовать Ѳеодоръ
И называть великимъ патріархомъ...
И всѣ кругомъ объяты были страхомъ,
Уразумѣвъ небесное видѣнье,
Зане святый владыка предъ царемъ
Во храминѣ тогда не находился.

У Карамзина (т. X, примѣч. 372) замѣчено только: «Пишутъ, что онъ умирая видѣлъ ангела и проч.». Источникъ пушкинскаго разсказа — жизнеописаніе царя Ѳеодора, составленное патр. Іовомъ: «прежде пришествія патріархова видѣлъ нѣкакова пришедша къ нему мужа свѣтла во святительскихъ одеждахъ и глаголетъ благочестивый царь внезапу предстоящимъ бояромъ своимъ, повелѣваетъ отступити отъ одра его, да устроятъ мѣсто нѣкоему, патріархомъ нарицая его... Они же глаголаша ему: благочестивый царь и великій князь Ѳедоръ Ивановичъ всеа Русіи, кого, государь, зриши и с кимъ глаголеши, еще бо отцу твоему Иеву патріарху не пришедшу, и кому повелѣваеши мѣсто устроити? Онъ же отвѣщавъ рече имъ: зрите ли, у одра моего предстоитъ мужъ свѣтелъ во одежди святительстѣй, ити ми глаголя с собою повелѣваетъ; они же чудишася на многъ часъ, царя убо единого зряще... мужа же не видяще, ни гласа его не слы-

паче и мнѣша воистинну Ангела Божія пришедша к нему и возвѣщающа ему к Богу отшествіе».

Другой примѣръ. Пушкинъ рисуетъ сцену, въ которой выступаетъ самозванецъ послѣ пораженія при Сѣвскѣ.

ЛѢСЪ.

Самозванецъ и Пушкинъ (Въ отдаленіи лежитъ конь издыхающій).

Самозванецъ.

Мой бѣдный конь! какъ бодро поскакалъ
Сегодня онъ въ послѣднее сраженье,
И раненый какъ быстро несъ меня!...
Мой бѣдный конь!

Пушкинъ (про себя).

Ну, вотъ о чемъ жалѣетъ,
Объ лошади, когда все наше войско
Побито въ прахъ!

Самозванецъ.

Послушай, можетъ быть,
Отъ раны онъ лишь только заморился
И отдохнетъ.

Пушкинъ.

Куда! онъ издыхаетъ.

Самозванецъ (идетъ къ коню).

Мой бѣдный конь!... что дѣлать? снять узду,
Да отстегнуть подпругу. Пусть на волѣ
Издохнетъ онъ (Разнуздываетъ и разсѣдлываетъ коня. Входитъ нѣсколько ляховъ).

Основой этой картины послужило извѣстіе, находящееся у Петрея и повторенное Миллеромъ и кн. Щербатовымъ.

«Г. Миллеръ, замѣчаетъ Щербатовъ, послѣдуя Петрею, говоритъ, что на семъ побоищѣ лошадь подъ самимъ самозванцемъ была ранена, и онъ едва могъ спастися отъ плѣненія». У Карамзина нѣтъ извѣстія объ убитомъ конѣ самозванца.

Я указываю на эти мелочи, потому что онѣ знакомятъ насъ съ той предварительной, черновой работой, которая скрывается за художественными картинами, развертывающимися передъ нами въ трагедіи Пушкина. Эта черновая работа не сводилась къ чтенію Исторіи Государства Россійскаго. Поэтъ, знакомый съ разнообразными извѣстіями о Борисѣ и самозванцѣ, могъ напротивъ свободно и самостоятельно отнестись къ разсказу Карамзина, могъ придавать значеніе такимъ указаніямъ, которыя были отвергнуты историкомъ, могъ расходиться съ нимъ въ оцѣнкѣ тѣхъ или другихъ извѣстій. Укажу опять два примѣра.

Вотъ — Юрьевъ день задумалъ уничтожить.
Невластны мы въ помѣстіяхъ своихъ.
Не смѣй согнать лѣнивца! радъ не радъ,
Корми его! не смѣй переманить
Работника! не то — въ приказъ холопій!
Ну, слыхано-ль хоть при царѣ Иванѣ
Такое зло? А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самозванецъ
Имъ посулить старинный Юрьевъ день,
Такъ и пойдетъ потѣха.

Такъ говоритъ бояринъ Пушкинъ. Извѣстно, что царь Борисъ въ 1601 г. возстановилъ, хотя и въ ограниченныхъ размѣрахъ, значеніе Юрьева дня. Сообщивъ содержаніе Борисова указа о крестьянахъ, Карамзинъ замѣчаетъ:

«Увѣряютъ, что измѣненіе устава древняго и нетвердость новаго, возбудивъ негодованіе многихъ людей, имѣли вліяніе и

на бѣдственную судьбу Годунова; но сіе любопытное сказаніе историковъ XVIII вѣка не основано на извѣстіяхъ современниковъ, которые единогласно хвалятъ мудрость Бориса въ дѣлахъ государственныхъ». Подъ сказаніями XVIII вѣка Карамзинъ разумѣетъ извѣстіе Татищева (повторенное и Щербатовымъ): «Сей законъ о вольности по прежнему крестьянъ онъ (Годуновъ) учинилъ противъ своего разсужденія... надѣясь тѣмъ ласканіемъ болѣе духовнымъ и вельможамъ угодить и себя на престолѣ утвердить, а роптаніе и многія тяжбы пресѣчь; но вскорѣ услыша большее о семъ негодованіе и ропотъ, что Духовные и Вельможи, имѣющіе множество пустыхъ земель, отъ малоземельныхъ дворянъ крестьянъ къ себѣ перезвали, *принужденъ паки вскорѣ перемѣнить и не токмо крестьянъ, но и холопей невольными сдѣлалъ: изъ чего великая бѣда приключилась и большею частію чрезъ то престолъ съ жизнію всея своея фамиліи потерялъ, а государство великое разореніе претерпѣло*». Пушкинъ не раздѣлялъ, какъ видно, недовѣрія Карамзина къ этимъ показаніямъ Татищева. Въ приведенной выше тирадѣ поэтъ повторяетъ извѣстіе историка XVIII вѣка, — извѣстіе, отвергнутое Карамзинымъ.

Разсказывая о содѣйствіи, которое оказали самозванцу нѣкоторые польскіе паны, Карамзинъ говоритъ: «Главою и первымъ ревнителемъ сего подвига сдѣлался старецъ Мнишекъ, коему старость не мѣшала быть ни честолюбивымъ, ни легкомысленнымъ до безразсудности. Онъ имѣлъ юную дочь прелестницу Марину, подобно ему честолюбивую и вѣтреную: Лжедимитрій, гостя у него въ Самборѣ, *объявилъ себя искренно или притворно страстнымъ ея любовникомъ и вскружилъ ей голову именемъ царевича;* а гордый воевода съ радостію благословилъ сію взаимную склонность въ надеждѣ видѣть Россію у ногъ своей дочери, какъ наслѣдственную собственность его потомства». Пушкинская Марина совсѣмъ не похожа на эту вѣтреную прелестницу Карамзина. Не самозванецъ кружитъ голову пушкинской Маринѣ; Марина вскружила голову самозванцу: она умѣла

вырвать у него признаніе въ обманѣ, она же заставила его забыть это признанье...

Нѣтъ! легче мнѣ сражаться съ Годуновымъ,
Или хитрить съ придворнымъ езуитомъ,
Чѣмъ съ женщиной. Чортъ съ ними; мочи нѣтъ:
И путаетъ, и вьется, и ползетъ,
Скользитъ изъ рукъ, шипитъ, грозитъ и жалитъ —
Змѣя, змѣя!.. Не даромъ я дрожалъ:
Она меня чуть-чуть не погубила.
Но рѣшено: заутра двину рать.

Это признаніе самозванца, вся чудная сцена объясненія Димитрія и Марины — конечно, плодъ поэтическаго генія, а не историческихъ изученій, но нельзя все-таки не обратить вниманія на сходство пушкинской Марины съ ея портретомъ, набросаннымъ въ «Краткой повѣсти о бывшихъ въ Россіи самозванцахъ»: «Сей Мнишекъ отъ втораго своего брака съ княжною Софіею Олончинскою имѣлъ рожденную дщерь, именемъ Марину, *дѣву гордую, хитрую и дерзновенную*, которая мня видѣть въ Отрепьевѣ законнаго наслѣдника Россійскаго престола, *желала его супругою быть*, а и самъ Отрепьевъ, какъ ради красоты, такъ для обычая сея дѣвы, а паче надѣяся симъ неразрывными узами присоединить къ себѣ два сильные въ Польшѣ рода, то есть Мнишковъ и Вишневецкихъ, желалъ сего супружества. *Сокрытыя въ сердцѣ ихъ мысли вскорѣ открылись*, а отецъ Мининъ, воображая дочери своей великое щастіе въ семъ супружествѣ, на сіе соизволилъ и дочь свою сему самозванцу обѣщалъ». Этотъ безыскусственный разсказъ — точно блѣдный грубый набросокъ той яркой, художественно законченной картины, которая открывается передъ нами въ сценѣ у фонтана.

Приведенныя указанія не касаются еще существа дѣла, изображенія Бориса и его судьбы, но этихъ указаній достаточно, чтобы усомниться въ справедливости замѣчанія о какой-то рабской зависимости Пушкина отъ Карамзина. Постараемся провѣ-

рить эти сомнѣнія сопоставленіемъ изображеній Борисова царствованія, которыя находимъ у Карамзина и Пушкина.

Одинъ изъ любимыхъ литературныхъ пріемовъ Карамзина, какъ историческаго живописца,— рѣзкій переходъ отъ свѣта къ тѣни, отъ картинъ, полныхъ блеска и радости, къ картинамъ мрачнымъ и грустнымъ. Нигдѣ эта любовь Карамзина къ историческимъ контрастамъ не выразилась такъ ярко, какъ въ разсказѣ о царствованіи Бориса Годунова. Въ I главѣ XI тома Исторіи Государства Россійскаго предъ нами рисуется величественная и трогательная картина, центромъ которой является излюбленный народомъ царь, вызывающій общіе восторги, распространяющій вокругъ себя радость и счастье. 30 апрѣля 1598 г. новый царь появился въ Москвѣ. «Сей день, замѣчаетъ историкъ, принадлежитъ къ торжественнѣйшимъ днямъ Россіи въ ея исторіи. Въ часъ утра духовенство съ крестами и съ иконами, Синклитъ, Дворъ, приказы, воинство, всѣ граждане ждали царя у каменнаго моста»... Прибывшій Борисъ «милостиво привѣтствовалъ всѣхъ, и знатныхъ, и не знатныхъ, представилъ имъ царицу, давно извѣстную благочестіемъ и добродѣтелію искреннею, — девятилѣтняго сына и шестнадцатилѣтнюю дочь, Ангеловъ красоты. Слыша восклицанія народа: «Вы наши государи, мы ваши подданные», Ѳеодоръ и Ксенія вмѣстѣ съ отцомъ ласкали чиновниковъ и гражданъ; такъ же, какъ и онъ, взявъ у нихъ хлѣбъ-соль, отвергнули золото, серебро и жемчугъ, поднесенные имъ въ даръ, и звали всѣхъ обѣдать къ царю. Невозбранно тѣснимый безчисленною толпою людей, Борисъ шелъ за духовенствомъ съ супругою и съ дѣтьми, какъ добрый отецъ семейства и народа, въ храмъ Успенія... Отслушавъ литургію, новый самодержецъ, провождаемый боярами, обходилъ всѣ главныя церкви кремлевскія, вездѣ молился съ теплыми слезами, вездѣ слышалъ радостный крикъ гражданъ и держа за руку своего юнаго наслѣдника, а другою ведя прелестную Ксенію, вступилъ съ супругою въ палаты царскія». Въ томъ же 1598 году Борисъ, услышавъ о движеніи крымскаго хана, издаетъ

указъ о сборѣ войска. «Сей указъ произвелъ удивительное дѣйствіе: не было ни ослушныхъ, ни лѣнивыхъ; всѣ дѣти боярскіе, юные и престарѣлые, охотно садились на коней; городскія и сельскія дружины безъ отдыха спѣшили къ мѣстамъ сборнымъ... Видѣли, чего не видали дотолѣ: полмилліона войска, какъ увѣряютъ, въ движеніи стройномъ, быстромъ, съ усердіемъ неказаннымъ, и съ довѣренностію безпредѣльною... Изчезло самое мѣстничество: Воеводы спрашивали только, гдѣ имъ быть, и шли къ своимъ знаменамъ, не справляясь съ Разрядными книгами о службѣ отцевъ и дѣдовъ». 1 сентября совершалось царское вѣнчаніе Бориса. Среди богослуженія случилось нѣчто неожиданное. Борисъ схватился за свою рубаху, готовый сбросить ее въ пользу неимущихъ; «отдамъ и сію послѣднюю народу», говорилъ онъ. «Тогда единодушный восторгъ прервалъ священнодѣйствіе: слышны были только клики умиленія и благодарности въ храмѣ; бояре славословили монарха, народъ плакалъ». Вы еще не успѣли налюбоваться этой картиной общаго счастья, какъ историкъ быстрымъ движеніемъ мѣняетъ стекло въ своемъ волшебномъ фонарѣ. Открывается мрачная картина, на которой рисуются какіе-то призраки, мучащіе подозрительнаго и угрюмаго властителя. Борисъ окружаетъ себя шпіонами, ищетъ какихъ-то измѣнниковъ, невинныхъ людей заключаетъ въ тюрьму, отправляетъ въ ссылку.

«Сонмы извѣтниковъ, если не всегда награждаемыхъ, то всегда свободныхъ отъ наказанія за ложь и клевету, стремились къ царскимъ палатамъ изъ домовъ боярскихъ и хижинъ, изъ монастырей и церквей: слуги доносили на господъ, иноки, попы, дьячки, просвирницы на людей всякаго званія — самыя жены на мужей, самыя дѣти на отцевъ, къ ужасу человѣчества!» Что же было причиной такой перемѣны въ царѣ Борисѣ? По взгляду Карамзина, искать эту причину въ ходѣ событій того времени было бы излишне. Причина скрывалась въ самомъ Борисѣ, въ его прошломъ. Всѣ эти бояре, подозрѣваемые Борисомъ, были только «страшилищами для Борисова воображенія». Россія же-

лала «забыть убіеніе Димитрія или сомнѣвалась въ ономъ. Но Вѣнценосецъ зналъ свою тайну и не имѣлъ утѣшенія вѣрить любви народной... Внутреннее безпокойство души, неизбѣжное для преступника, обнаружилось въ царѣ несчастными дѣйствіями подозрѣнія, которое, тревожа его, скоро встревожило и Россію». Измѣнился царь, измѣнились и отношенія народа къ царю. На встрѣчу страшилищамъ Борисова воображенія поднялся изъ могилы грозный призракъ, который несъ гибель Борису и его семьѣ. «Народы всегда благодарны: оставляя Небу судить тайну Борисова сердца, Россіяне искренно славили царя, когда онъ подъ личиною добродѣтели казался имъ отцемъ народа, но, признавъ въ немъ тирана, естественно возненавидѣли его и за настоящее и за минувшее: въ чемъ, можетъ быть хотѣли сомнѣваться, въ томъ снова удостовѣрились, и кровь Димитріева явнѣе означилась для нихъ на порфирѣ губителя невинныхъ»... Появляется самозванецъ. «Никто изъ Россіянъ до 1604 года не сомнѣвался въ убіеніи Димитрія, который возросталъ на глазахъ всего Углича, и коего видѣлъ весь Угличъ мертваго, въ теченіе пяти дней орошавъ его тѣло слезами: слѣдственно Россіяне не могли благоразумно вѣрить воскресенію царевича; но они *не любили Бориса!* Сіе несчастное расположеніе готовило ихъ быть жертвою обмана». Борисъ собираетъ войско. Но всѣ его «мѣры, угрозы и наказанія недѣль въ шесть соединили до пятидесяти тысячъ всадниковъ въ Брянскѣ, вмѣсто полумилліона, въ 1598 году ополченнаго призывнымъ словомъ царя, *коего любила Россія!*»

Итакъ, въ 1604 году Россія уже не любила Бориса; ранѣе въ 1598 году, она напротивъ любила его. Но дѣйствительно ли любила? Есть извѣстія, что избраніе Бориса прошло не безъ противодѣйствія нѣкоторыхъ бояръ, что и въ народѣ это избраніе не встрѣтило искренняго восторга. Карамзинъ зналъ, конечно, эти извѣстія, но вѣрный своему основному взгляду на судьбу Бориса, своему плану, дѣлившему царствованіе Годунова на двѣ непохожія одна на другую картины, онъ постарался

обойти эти извѣстія. Любопытно при этомъ сопоставить разсказъ Карамзина объ избраніи Бориса съ нѣкоторыми примѣчаніями, сопровождающими этотъ разсказъ. Въ текстѣ исторіи (на основаніи свидѣтельства избирательной грамоты) говорится, что на избирательномъ соборѣ указаніе на Бориса, сдѣланное патріархомъ Іовомъ, встрѣчено было общимъ восторгомъ: «Усердіе обратилось въ восторгъ, и долго нельзя было ничего слышать, кромѣ имени Борисова, громогласно повторяемаго всѣмъ многочисленнымъ собраніемъ». Въ примѣчаніи (389) читаемъ: «Въ лѣтописи сказано (см. Никон. лѣт.), что одни Шуйскіе *не хотѣли Годунова на царство*, однакожь и Шуйскіе не противорѣчили». Движеніе духовенства и народа къ Новодѣвичьему монастырю гдѣ таился Борисъ, изображается такъ: «Соборомъ отпѣвъ литургію, патріархъ снова и тщетно убѣждалъ Бориса не отвергать короны, велѣлъ нести иконы и кресты въ келліи царицы: тамъ со всѣми святителями и вельможами преклонилъ главу до земли... и въ то самое мгновеніе, по данному знаку, все безчисленное множество людей, въ келліяхъ, въ оградѣ, внѣ монастыря, упало на колѣна, съ воплемъ неслыханнымъ: всѣ требовали царя, отца, Бориса! Матери кинули на землю своихъ грудныхъ младенцевъ и не слушали ихъ крика. Искренность побѣждала притворство; вдохновеніе дѣйствовало и на равнодушныхъ и на самыхъ лицемѣровъ!» Въ примѣчаніи (397): «Въ одномъ хронографѣ сказано, что нѣкоторые люди, боясь тогда не плакать, но не умѣя плакать притворно, мазали себѣ глаза слюною!» Впечатлѣніе, оставляемое этими извѣстіями, нужно было во что бы то ни стало если не уничтожить, то ослабить. Поэтому-то историкъ говоритъ объ искренности, побѣждавшей притворство, о какомъ-то вдохновеніи, дѣйствовавшемъ на равнодушныхъ и лицемѣровъ. Необходимо было убѣдить читателя, что на первыхъ порахъ Борисъ былъ дѣйствительно народнымъ любимцемъ.

Обратимся къ драмѣ Пушкина. Стоитъ только прочитать первыя сцены пушкинскаго Бориса,—сцену свиданія Шуйскаго и Воротынскаго и сцену народной сходки на Дѣвичьемъ полѣ,

чтобы убѣдиться, что между разсказомъ историка и замысломъ поэта *нѣтъ сходства*. Трагедія Пушкина не укладывается въ ту рамку, которая охватываетъ царствованіе Бориса въ Исторіи Государства Россійскаго.

Карамзинъ, упоминая о князьяхъ Рюриковичахъ, участвовавшихъ въ избраніи Годунова, говоритъ: «Тутъ находились князья Рюрикова племени: Шуйскіе, Сицкіе, Воротынскій, Ростовскіе, Телятевскіе и столь многіе иные; но давно лишенные достоинства князей владѣтельныхъ, давно слуги Московскихъ Государей наравнѣ съ дѣтьми боярскими, они *не дерзали мыслить о своемъ наслѣдственномъ правѣ* и спорить о коронѣ съ тѣмъ, кто безъ имени царскаго уже тринадцать лѣтъ единовластвовалъ въ Россіи: былъ хотя и потомкомъ Мурзы, но братомъ царицы». Читаемъ у Пушкина разговоръ Шуйскаго съ Воротынскимъ и узнаемъ, что Рюриковичи дерзали мыслить о своемъ правѣ. Шуйскій говоритъ:

Какая честь для насъ, для всей Руси!
Вчерашній рабъ, татаринъ, зять Малюты,
Зять палача и самъ въ душѣ палачъ —
Возьметъ вѣнецъ и бармы Мономаха...

Воротынскій.

Такъ; родомъ онъ не знатенъ; мы знатнѣе.

Шуйскій.

Да, кажется.

Воротынскій.

Вѣдь Шуйскій, Воротынскій...
Легко сказать, природные князья.

Шуйскій.

Природные и Рюриковой крови.

Воротынскій.

А слушай, князь, вѣдь мы бъ имѣли право
Наслѣдовать Ѳеодору.

Шуйскій.

Да, болѣ,
Чѣмъ Годуновъ.

Воротынскій.

Вѣдь въ самомъ дѣлѣ!

Шуйскій.

Что жъ?
Когда Борисъ хитрить не перестанетъ,
Давай народъ искусно волновать;
Пускай они оставятъ Годунова,
Своихъ князей у нихъ довольно; пусть
Себѣ въ цари любого изберутъ.

Этотъ разговоръ — художественное развитіе лѣтописнаго намека о князьяхъ Шуйскихъ, которые Бориса «не хотяху на царство, узнаху его, что быти отъ него людемъ и к себѣ гоненію».

Воротынскій говоритъ:

Не мало насъ, наслѣдниковъ варяга,
Да трудно намъ тягаться съ Годуновымъ:
Народъ отвыкъ въ насъ видѣть древню отрасль
Воинственныхъ властителей своихъ.
Уже давно лишились мы удѣловъ,
Давно царямъ подручниками служимъ,
А онъ умѣлъ и страхомъ, и любовью,
И славою народъ очаровать.

Изъ сцены на Дѣвичьемъ полѣ мы узнаемъ, каково было это очарованье народа.

Одинъ (тихо).

О чемъ тамъ плачутъ?

Другой.

А какъ намъ знать? *То вѣдаютъ бояре* —
Не намъ чета.

Воротынскій говоритъ объ очарованіи народа, а народъ, оказывается, ссылается на бояръ. Картина народнаго моленья получаетъ при этомъ видъ комической сцены:

Одинъ.

Всѣ плачутъ —
Заплачемъ, братъ, и мы!

Другой.

Я силюсь, братъ,
Да не могу.

Одинъ.

Я также. Нѣтъ ли луку?
Потремъ глаза.

Другой.

А я слюной намажу.
Что тамъ еще?

Первый.

Да кто ихъ разберетъ!

Эти рѣчи — воспроизведеніе того извѣстія, которое Карамзинъ спряталъ, какъ мы видѣли, въ одномъ изъ примѣчаній: «Въ одномъ хронографѣ сказано, что нѣкоторые люди, боясь тогда не плакать, но не умѣя плакать притворно, мазали себѣ глаза слюною». Любопытно, что не забылъ поэтъ и другой подробности,

отмѣченной историкомъ: «Матери кинули на землю своихъ грудныхъ младенцевъ и не слушали ихъ крика».

У Пушкина:

Баба (съ ребенкомъ):

Ну, что жъ? Какъ надо плакать,
Такъ и затихъ! Вотъ я тебя!.. вотъ бука!
Плачь, баловень! (бросаетъ его объ земь; ребенокъ пищитъ).
Ну, то-то же!

Какъ подготовлялось избраніе Годунова въ цари, поэтъ не выясняетъ: остается лишь общее впечатлѣніе ловко веденной интриги, завершившейся появленіемъ на столѣ Московскихъ царей «вчерашняго раба». Пушкина, очевидно, интересовало не самое избраніе, а отношеніе къ новому царю боярства и народа. Отношеніе боярства достаточно опредѣляется словами Шуйскаго: «Давай народъ искусно волновать!» Что касается народа, то не видно пока его вражды къ Борису, но не видно и живого, дѣятельнаго сочувствія. Случайно собравшаяся толпа, которая должна представлять народъ, выкрикиваетъ то, что ей подсказано, и сама же подсмѣивается надъ своими восторгами. «Царь, коего любила Россія», такъ называетъ Карамзинъ Бориса, изображая первую пору его царствованія. Нѣтъ, это не излюбленный землей, не земскій царь, скажемъ мы, прочитавъ первыя сцены пушкинской драмы.

Но вотъ появляется передъ нами и самъ новоизбранный царь. Онъ говоритъ красивую рѣчь, въ которой обращается къ патріарху, боярству, народу:

Ты, отче патріархъ, вы всѣ, бояре!
Обнажена душа моя предъ вами:
Вы видѣли, что я пріемлю власть
Великую со страхомъ и смиреньемъ...
Сколь тяжела обязанность моя!
Наслѣдую могущимъ Іоаннамъ,

Наслѣдую и ангелу царю!..
О праведникъ, о мой отецъ державный!
Воззри съ небесъ на слезы вѣрныхъ слугъ
И ниспошли тому, кого любилъ ты,
Кого ты здѣсь столь дивно возвеличилъ,
Священное на власть благословенье,
Да правлю я во славѣ свой народъ,
Да буду благъ и праведенъ, какъ ты.

Мы не знаемъ, искрення или лжива эта рѣчь, говоритъ ли передъ нами дѣйствительно растроганный человѣкъ, или ловкій лицемѣръ; намъ ясно лишь то, что это — рѣчь заблуждающагося человѣка. Если Борисъ думаетъ обмануть своихъ слушателей, то тотъ, кто подслушалъ разговоръ Шуйскаго съ Воротынскимъ, народные толки на Дѣвичьемъ полѣ, скажетъ, что обманывающимся является при этомъ онъ самъ, этотъ искусный лицемѣръ. Если же Борисъ не лицемѣритъ, если онъ искренно говоритъ о себѣ, какъ о народномъ избранникѣ, то заблужденіе его выступаетъ еще ярче!.. Поэтому-то рѣчь царя, полная мира и любви, полная такихъ свѣтлыхъ надеждъ, оставляетъ въ насъ тяжелое и тревожное впечатлѣніе. Царь говоритъ:

Да правлю я во славѣ свой народъ,
Да буду благъ и праведенъ...

А намъ слышатся въ это время злобныя рѣчи Шуйскаго, слышится смѣхъ народной толпы...

Великій обманъ, — таково общее впечатлѣніе, оставляемое въ насъ и сценой, гдѣ выступаютъ бояре, и сценой, гдѣ дѣйствуетъ народъ, и рѣчью царя. Но вѣдь обманъ раскроется же когда-нибудь, онъ не можетъ не раскрыться; сѣмя лжи, посѣянное самымъ избраніемъ Бориса, рано или поздно взойдетъ... Послѣ рѣчи Бориса Шуйскій и Воротынскій обмѣниваются коротенькими фразами, намекающими на ихъ прежній разговоръ.

Воротынскій.

Ты угадалъ.

Шуйскій.

А что?

Воротынскій.

Да здѣсь, намедни,
Ты помнишь?

Шуйскій.

Нѣтъ, не помню ничего.

Воротынскій.

Когда народъ ходилъ въ Дѣвичье поле,
Ты говорилъ...

Шуйскій.

Теперь не время помнить,
Совѣтую порой и забывать.

Теперь не время помнить... Но когда-нибудь, быть можетъ, и настанетъ время вспомнить.

Проходитъ пять лѣтъ послѣ избранія Бориса въ цари. Появляется самозванецъ, выдающій себя за царевича Димитрія. «Мнѣніе м. Платона о Димитріѣ Самозванцѣ, говоритъ Пушкинъ, будто бы воспитанъ у езуитовъ, удивительно дѣтское и романтическое. *Всякій былъ годенъ, чтобъ разыграть эту роль*». Говоря такъ, поэтъ даетъ понять, что успѣхъ самозванца обезпеченъ былъ, по его мнѣнію, не личностью мнимаго Димитрія, а обстоятельствами того времени, суммой условій, воспитавшихъ и поддержавшихъ самозванство. Условія эти указаны тѣмъ «злымъ чернецомъ», въ разговорѣ съ которымъ опредѣляется планъ Отрепьева:

ЧЕРНЕЦЪ.

Слушай. Глупый нашъ народъ
Легковѣренъ, радъ дивиться чудесамъ и новизнѣ,
А бояре въ Годуновѣ помнятъ равнаго себѣ.
Племя древняго варяга и теперь любезно всѣмъ.
Ты царевичу ровесникъ... Если ты хитеръ и твердъ...
Понимаешь?

ГРИГОРІЙ.

Понимаю.

ЧЕРНЕЦЪ.

Что же скажешь?

ГРИГОРІЙ.

Рѣшено!
Я Димитрій, я царевичъ!

ЧЕРНЕЦЪ.

Дай мнѣ руку; будешь царь!

О народѣ говоритъ и царь:

Я думалъ свой народъ
Въ довольствіи, во славѣ успокоить,
Щедротами любовь его снискать —
Но отложилъ пустое попеченье:
Живая власть для черни ненавистна.
Они любить умѣютъ только мертвыхъ.
Безумны мы, когда народный плескъ
Иль ярый вопль тревожитъ сердце наше.

Мы видѣли народную толпу, выкликавшую имя Бориса; въ этой толпѣ не видно было любви къ Борису, но не было и открытаго нерасположенія къ нему. Теперь мы узнаемъ, что народное настроеніе успѣло выясниться и опредѣлиться, — вы-

ясниться не въ пользу Бориса. Призракъ народнаго избранничества разсѣялся. Борисъ увидѣлъ передъ собой народъ, готовый вѣрить всякой сплетнѣ, всякой клеветѣ, если только эта клевета касалась его, Бориса. Но откуда шли эти дурные толки о Борисѣ и отчего народъ такъ охотно имъ вѣрилъ?

Отвѣтъ даетъ сцена въ домѣ Шуйскаго. — Въ Москву приходитъ вѣсть о самозванцѣ. Кто принесъ эту вѣсть? Кто первый узналъ о самозванцѣ? Вѣсть сообщена въ письмѣ Гаврила Пушкина, московскаго боярина, перебравшагося въ Литву. Гонецъ передаетъ письмо Гаврила его дядѣ, а тотъ сообщаетъ затѣйливую новость Шуйскому... Шуйскій сразу оцѣнилъ значеніе литовской вѣсти:

Все это, братъ, такая кутерьма,
Что голова кругомъ пойдетъ невольно.
Сомнѣнья нѣтъ, что это самозванецъ,
Но, признаюсь, опасность не мала.
Вѣсть важная! и если до народа
Она дойдетъ, то быть грозѣ великой!

Пушкинъ развиваетъ мысль Шуйскаго:

Такой грозѣ, что врядъ царю Борису
Сдержать вѣнецъ на умной головѣ.
И по дѣломъ ему: онъ правитъ нами,
Какъ царь Иванъ (не къ ночи будь помянутъ).
Что пользы въ томъ, что явныхъ казней нѣтъ,
Что на колу кровавомъ всенародно
Мы не поемъ каноновъ Іисусу,
Что насъ не жгутъ на площади, а царь
Своимъ жезломъ не подгребаетъ углей?
Увѣрены ль мы въ бѣдной жизни нашей!
Насъ каждый день опала ожидаетъ,
Тюрьма, Сибирь, клобукъ, иль кандалы,
А тамъ въ глуши голодна смерть, иль петля.

Въ этомъ разговорѣ Шуйскаго съ Пушкинымъ намъ слышится что-то знакомое. Мы припоминаемъ разговоръ Шуйскаго съ Воротынскимъ передъ избраніемъ Бориса. И тамъ, и здѣсь появляется передъ нами кн. Василій Шуйскій, несомнѣнный врагъ Годунова, но врагъ тайный, умѣющій быть скрытнымъ; онъ бросаетъ лишь кое-какіе намеки, развивать которые предоставляетъ другимъ — Воротынскому, Пушкину. Въ пересудахъ этихъ бояръ обрисовывается передъ нами среда, съ давнихъ поръ враждебная Борису, но чувствовавшая себя недостаточно сильной для открытаго протеста.

Не мало насъ, наслѣдниковъ варяга,
Да трудно намъ тягаться съ Годуновымъ:
Народъ отвыкъ въ насъ видѣть древнюю отрасль
Воинственныхъ властителей своихъ...
А онъ умѣлъ и страхомъ, и любовью,
И славою народъ очаровать.

Теперь, когда истинныя отношенія народа къ Борису успѣли достаточно выясниться, объ очарованіи народа не могло быть и рѣчи:

. . . . А легче ли народу?
Спроси его. Попробуй самозванецъ
Имъ посулить старинный Юрьевъ день,
Такъ и пойдетъ потѣха.

Мы догадываемся теперь, какъ слагались и расходились дурные толки о Борисѣ. Толки эти росли и зрѣли на почвѣ боярскаго и народнаго недовольства. На эту же почву попадаетъ и вѣсть о самозванцѣ. Вѣсть, очевидно, не заглохнетъ. Быть грозѣ великой...

Событія развертываются быстро. Около самозванца собирается толпа русскихъ и поляковъ, одушевляемая надеждой на личную выгоду въ случаѣ успѣха претендента. Григорій, подстрекаемый этой толпой, въ ряды которой замѣшалась красавица Марина, объявляетъ открытую борьбу московскому царю:

Самозванецъ.

Кровь русская, о Курбскій, потечетъ!
Вы за царя подъяли мечъ, вы чисты,
Я жъ васъ веду на братьевъ; я Литву
Позвалъ на Русь; я въ красную Москву
Кажу врагамъ завѣтную дорогу!
Но пусть мой грѣхъ падетъ не на меня,
А на тебя, Борисъ — цареубійца!
Впередъ!

Курбскій.

Впередъ! и горе Годунову!
(Скачутъ. Полки переходятъ черезъ границу).

Если бы мы не знали, чѣмъ былъ силенъ самозванецъ эти слова показались бы намъ крикомъ безумца. Такъ именно и посмотрѣлъ на угрозы самозванца царь Борисъ:

Возможно ли? Разстрига, бѣглый инокъ
На насъ ведетъ злодѣйскія дружины,
Дерзаетъ намъ писать угрозы! Полно,
Пора смирить безумца! Поѣзжайте,
Ты, Трубецкой, и ты, Басмановъ; помощь
Нужна моимъ усерднымъ воеводамъ.
Бунтовщикомъ Черниговъ осажденъ.
Спасайте градъ и гражданъ.

Басмановъ отвѣчаетъ:

Государь,
Трехъ мѣсяцевъ отнынѣ не пройдетъ,
И замолчитъ и слухъ о самозванцѣ;
Его въ Москву мы привеземъ, какъ звѣря
Заморскаго, въ желѣзной клѣткѣ; Богомъ
Тебѣ клянусь.

Но немного прошло времени, и царь убѣдился, что справиться съ мнимымъ Димитріемъ не такъ легко. Царскія войска разбили самозванца подъ Сѣвскомъ, но вѣсть объ этой побѣдѣ не радуетъ Бориса:

Онъ побѣжденъ. Какая польза въ томъ?
Мы тщетною побѣдой увѣнчались.
Онъ вновь собралъ разсѣянное войско
И намъ со стѣнъ Путивля угрожаетъ...

Московскій царь, располагавшій всѣми средствами государственной силы, чувствуетъ себя безпомощнымъ передъ какимъ-то бродягой, окруженнымъ наскоро собравшейся толпой! Такую толпу не трудно было бъ разогнать, но за ней, очевидно, стояла какая-то другая сила...

«Николку маленькія дѣти обижаютъ, — жалуется Борису юродивый. — Вели ихъ зарѣзать, какъ зарѣзалъ ты маленькаго царевича». — «Молись за меня, бѣдный Николка!» говоритъ царь. — «Нѣтъ, нѣтъ! Нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велитъ». — Вотъ какія рѣчи пришлось выслушивать Борису! Царь понималъ, что юродивый говорилъ лишь то, о чемъ молча думали другіе...

Борису нужно теперь выдерживать двойную борьбу: одна борьба идетъ на украйнѣ государства, подъ Путивлемъ, Сѣвскомъ, Кромами; другая — въ сердцѣ государства, въ Москвѣ, на площадяхъ московскихъ. На Украйнѣ царскія войска бьются съ самозванцемъ; въ Москвѣ царь борется съ землей... Изъ первой борьбы Борисъ могъ выйти побѣдителемъ, но гдѣ найдетъ онъ силы для другой, земской борьбы?

Царь объявляетъ Басманову, что онъ недоволенъ своими воеводами:

Нѣтъ, я ими недоволенъ —
Пошлю тебя начальствовать надъ ними,
Не родъ, а умъ поставлю въ воеводы,
Пускай ихъ спѣсь о мѣстничествѣ тужитъ!

Пора презрѣть мнѣ ропотъ знатной черни
И гибельный обычай уничтожить.

Басмановъ.

Ахъ, государь, стократъ благословенъ
Тотъ будетъ день, когда разрядны книги
Съ раздорами, съ гордыней родословной
Пожретъ огонь.

Царь.

День этотъ недалекъ;
Лишь дай сперва смятеніе народа
Мнѣ усмирить.

Итакъ, для успѣха въ борьбѣ съ самозванцемъ нужно прежде всего «презрѣть ропотъ знатной черни», нужно уничтожить гибельный обычай мѣстничества. Оказывается, однако, что теперь, когда эта мѣра необходима, осуществить ее нельзя: «дай сперва смятеніе народа мнѣ усмирить». Борисъ попадаетъ въ какой-то волшебный кругъ. Самозванецъ не ждетъ, а Борису нужно еще смятеніе народа усмирить, а затѣмъ гибельный обычай уничтожить...

У Бориса, правда, остается одна надежда. Онъ ласкаетъ Басманова, апеллируетъ къ чувству личнаго честолюбія — честолюбія, не опирающагося ни на родовую гордость, ни на земское довѣріе... И вотъ, точно отвѣтъ на царскій призывъ, поднимается въ душѣ Басманова властолюбивая мечта:

Мысль важная въ умѣ его родилась.
Не надобно ей дать остыть. Какое
Мнѣ поприще откроется, когда
Онъ сломитъ рогъ боярству родовому!
Соперниковъ во брани я не знаю;
У царскаго престола стану первый...
И можетъ быть...

Можетъ быть, и замѣщу Бориса... Царь самъ подсказалъ заговоръ.

Волшебный кругъ, обведенный судьбой вокругъ Бориса, замкнулся безысходно. Судьба можетъ оказать лишь одну милость несчастному царю — предупредить позоръ развѣнчиванья, потери власти. Борису не пришлось, дѣйствительно, склонить голову передъ «разстригой». Онъ умираетъ. Но эта смерть только начало конца. Мы должны еще увидѣть, какъ со смертью Бориса гибнетъ дѣло всей его жизни, гибнетъ его царственное наслѣдство.

Только что Борисъ закрылъ глаза, Басмановъ, съ которымъ такъ откровенно бесѣдовалъ Борисъ, на котораго онъ возлагалъ столько надеждъ, переходитъ на сторону самозванца. На московской площади раздается крикъ:

Народъ! народъ! въ Кремль! въ царскія палаты!
Ступай вязать Борисова щенка!

Народъ (несется толпою).

Вязать! топить! Да здравствуетъ Димитрій!
Да гибнетъ родъ Бориса Годунова!

Этимъ могла бы закончиться драма. Мы узнали судьбу Бориса до конца. Но поэтъ даетъ еще одну заключительную сцену. Марія и Ѳедоръ Годуновы убиты сторонниками самозванца. Мосальскій объявляетъ: «Народъ! Марія Годунова и сынъ ея Ѳеодоръ отравили себя ядомъ. Мы видѣли мертвые трупы». — «*Народъ въ ужасѣ молчитъ*». — «Что жъ вы молчите? — продолжаетъ Мосальскій. — Кричите: да здравствуетъ царь Димитрій Ивановичъ!» «*Народъ безмолвствуетъ*». Извѣстно, что первоначально заключеніе пьесы было иное. Въ рукописи пьеса оканчивается народнымъ возгласомъ: «Да здравствуетъ царь Димитрій Ивановичъ!» На какомъ бы изъ этихъ двухъ варіантовъ мы ни остановились, сущность дѣла не мѣняется. Крикъ народа, который передъ тѣмъ «въ ужасѣ молчалъ», не указываетъ, конечно,

на перемѣну настроенія народной массы; за этимъ вынужденнымъ крикомъ кроется все тотъ же ужасъ, на который указываетъ и «народное безмолвіе». Этотъ ужасъ, это безмолвіе—нѣмой приговоръ самозванцу.

Борисъ погибъ, но не обманъ, не призракъ, не самозванецъ погубили его. Обманъ имѣлъ успѣхъ лишь какъ орудіе той грозной силы, съ которой не поладилъ Годуновъ. Самозванство названнаго Димитрія, по взгляду Пушкина, было ясно для всѣхъ. Плѣнникъ на вопросъ Отрепьева:

«Ну! обо мнѣ какъ судятъ въ вашемъ станѣ?» отвѣчаетъ:

А говорятъ о милости твоей,
Что ты дескать (будь не во гнѣвъ) и воръ,
А молодецъ.

Пушкинъ говоритъ Басманову:

Россія и Литва
Димитріемъ давно его признали;
Но впрочемъ я за это не стою.
Быть можетъ, онъ Димитрій настоящій,
Быть можетъ, онъ и самозванецъ; только
Я вѣдаю, что рано или поздно
Ему Москву уступитъ сынъ Борисовъ.

Такой всѣмъ ясный обманъ могъ удаваться, пока была на лицо причина, вызвавшая и поддерживавшая этотъ обманъ. Теперь Годунова не стало, его сынъ лишенъ престола. Самозванецъ сыгралъ свою роль. Раньше или позже онъ долженъ удалиться съ исторической сцены, снявъ свой театральный костюмъ, захваченный изъ казны московскихъ государей. Убійство, совершенное рьяными сторонниками самозванца, не замедлило обнаружить истинное народное настроеніе, скрывавшееся за кажущимся успѣхомъ мнимаго Димитрія. «Народъ въ ужасѣ молчитъ». Это молчаніе могло быть прервано развѣ рѣчью какого

нибудь юродиваго, который напомнилъ бы новому царю объ убійствѣ Борисова сына, какъ напоминалъ онъ Борису о гибели Димитрія... Приговоръ надъ самозванцемъ уже составленъ. Наступитъ день, приговоръ войдетъ въ законную силу и будетъ объявленъ въ окончательной формѣ.

Карамзинъ, говоритъ Полевой, не понялъ значенія боярской интриги, сгубившей Годунова; не понялъ этой интриги и Пушкинъ, рабски подражавшій Карамзину. Карамзинъ, замѣчаетъ Бѣлинскій, не оцѣнилъ отношеній, установившихся между Борисомъ Годуновымъ и народомъ; не умѣлъ оцѣнить этихъ отношеній и Пушкинъ, который шелъ по слѣдамъ Карамзина. Сопоставленіе драмы Пушкина съ разсказомъ Карамзина позволяетъ, мнѣ кажется, утверждать, что въ изображеніи судьбы царя Бориса Пушкинъ шелъ своей дорогой,—дорогой, на которой Карамзинъ не былъ и не могъ быть путеводителемъ. Карамзинскій Борисъ появляется на престолѣ, какъ излюбленный царь русской земли, вызывающій общее сочувствіе и боярства и народа. Пушкинскій Борисъ въ первыхъ же сценахъ драмы представляется мнимымъ избранникомъ народа; развитіе драмы лишь раскрываетъ ту ложь, которая скрывалась въ самомъ вступленіи Бориса на престолъ. Несчастія карамзинскаго Бориса объясняются его болѣзненной подозрительностью, вызвавшею общее недовольство. Несчастія пушкинскаго Бориса объясняются историческими условіями, среди которыхъ ему пришлось дѣйствовать, настроеніемъ боярства и народа: бояре помнили своихъ властныхъ предковъ, народъ помнилъ Юрьевъ день.

Остается еще коснуться мнѣнія Бѣлинскаго о положеніи Годунова, требовавшемъ геніальности. «Вѣрно понять Годунова исторически и поэтически, — значитъ понять необходимость его паденія... А необходимость эта основана на томъ, что онъ не былъ геніальнымъ человѣкомъ, тогда какъ *его положеніе непремѣнно требовало геніальности*». Великій критикъ точно забылъ, какъ окончилась смутная эпоха, начало которой изображено Пушкинымъ въ его Борисѣ Годуновѣ.

И Борисъ Годуновъ, и Михаилъ Ѳедоровичъ вступали на престолъ при сходныхъ, повидимому, условіяхъ, но правленіе одного подняло смуту, царствованіе другого обновило и укрѣпило русскую государственную мощь. Чѣмъ объясняется эта разница? Царь Михаилъ, его личность и его государственная дѣятельность требуютъ почтительной и благодарной памяти, но никто, конечно, не рѣшится сопоставлять Михаила Ѳедоровича съ его геніальнымъ внукомъ. Не отсутствіемъ геніальности въ Борисѣ объясняется, стало быть, его паденіе, а другими причинами, достаточно ясно указанными великимъ поэтомъ. Борисъ, по взгляду Пушкина, только казался народнымъ избранникомъ; между Борисомъ и русской землей, т. е. ея боярствомъ и ея народомъ, не было прочной объединяющей связи; Борисъ не былъ земскимъ царемъ. Не таковъ былъ царь Михаилъ, дѣйствительно излюбленный избранникъ русской земли. Михаилу приходилось рѣшать много важныхъ и трудныхъ государственныхъ вопросовъ, доставшихся ему отъ прежней поры, и онъ рѣшилъ ихъ, рѣшилъ, опираясь на народныя силы. Земскій соборъ почти не расходился при Михаилѣ. Въ такомъ единеніи царя и земли возродился и окрѣпъ русскій государственный строй, расшатанный самозванщиной.

Въ единеніи царя и земли найдемъ и мы силы для борьбы съ врагомъ, прокравшимся нынѣ въ нашу отчизну.

Царь уже сказалъ свое слово. Мы знаемъ, что державный вождь русской земли «съ сердечнымъ участіемъ слѣдитъ за многообразными проявленіями общественной помощи оскудѣвшимъ». Теперь дѣло за нами, за русскимъ обществомъ. Организмъ крѣпкій, полный жизненныхъ силъ, легко справляется съ болѣзнью, отъ которой гибнетъ хилое тѣло. Тяжелый недугъ поразилъ не малую часть нашей земли. Покажемъ, что для борьбы съ этимъ недугомъ въ русскомъ обществѣ есть довольно силъ, довольно жизненной энергіи! Откликнемся дружно на царскій призывъ!

Д. И. ФОНВИЗИНЪ.

Денисъ Ивановичъ Фонвизинъ родился въ Москвѣ 3 апрѣля 1745 года, умеръ въ С.-Петербургѣ 1 декабря 1792 г. Родословныя росписи рода Фонвизиныхъ начинаются именемъ Петра Володимерова, титулуемаго барономъ. «Въ царство великаго государя царя и великаго князя Іоанна Васильевича, всея Россіи самодержца, какъ онъ, великій государь, воевалъ Лифлянскую землю, взялъ въ плѣнъ Мечиносящаго братства брата Петра барона Володимерова сына Фонвисина съ сыномъ его Денисомъ и иныхъ того же честнаго братства шляхтовъ; и даны имъ въ Московскомъ государствѣ помѣстья многія въ разныхъ городахъ, и служили они великимъ государемъ въ нѣмецкой вѣрѣ». Въ 1653 году внукъ Петра Фонвизина Юрій Денисовичъ перешелъ въ православіе, принявъ при этомъ имя Аѳанасія. Внукъ этого Юрія-Аѳанасія Денисовича — Иванъ Андреевичъ, отецъ автора Недоросля, служилъ сначала въ военной службѣ, потомъ перешелъ въ гражданскую, занявъ мѣсто члена ревизіонъ-комисіи; въ 1774 г. онъ вышелъ въ отставку; умеръ въ 1786 г., 86 лѣтъ отъ роду. По свидѣтельству своего знаменитаго сына, Иванъ Андреевичъ «былъ человѣкъ большаго здраваго разсудка, но не имѣлъ случая, по тогдашнему образу воспитанія, просвѣтить себя ученіемъ. По крайней мѣрѣ читалъ онъ всѣ русскія книги, изъ коихъ любилъ отмѣнно Древнюю и Римскую исторію, Мнѣ-

нія Цицероновы и прочіе хорошіе переводы нравоучительныхъ книгъ». О матери своей Катеринѣ Васильевнѣ (рожд. Дмитріевой-Мамоновой) Денисъ Ивановичъ вспоминалъ, какъ о женщинѣ умной, доброй и трудолюбивой. «Вторая супруга отца моего, а моя мать, — читаемъ въ «Чистосердечномъ признаніи» Фонвизина, — имѣла разумъ тонкій и душевными очами видѣла далеко. Сердце ея было сострадательно и никакой злобы въ себѣ не вмѣщало: жена была добродѣтельная, мать чадолюбивая, хозяйка благоразумная и госпожа великодушная».

Первоначальнымъ образованіемъ Денисъ Ивановичъ обязанъ былъ отцу. Образованіе было, конечно, скромное: ребенокъ выучился грамотѣ; знакомился, подъ руководствомъ отца, съ церковно-славянскимъ языкомъ. «Какъ скоро я выучился читать, — разсказываетъ Фонвизинъ, — такъ отецъ мой у крестовъ (т. е. при молебнахъ и другихъ домашнихъ богослуженіяхъ) заставлялъ меня читать. Сему обязанъ я, если имѣю въ россійскомъ языкѣ нѣкоторое знаніе. Ибо, читая церковныя книги, ознакомился я съ славянскимъ языкомъ, *безъ чего россійскаго языка и знать не возможно*... Отецъ мой, примѣчая изъ читаннаго мною тѣ мѣста, коихъ, казалось ему, читая, я не разумѣлъ, принималъ на себя трудъ изъяснять мнѣ оныя; словомъ, попеченія его о моемъ ученіи были безмѣрны». Учителей иностранныхъ языковъ у Фонвизина не было.

Въ 1755 г. открытъ былъ московскій университетъ и при немъ гимназія. Одними изъ первыхъ воспитанниковъ, поступившихъ въ гимназію, были братья Фонвизины: Денисъ и Павелъ. Научное преподаваніе въ университетской гимназіи оставляло желать очень многаго. «Учились мы, говоритъ Денисъ Ивановичъ, весьма безпорядочно, ибо съ одной стороны причиною тому была ребяческая лѣность, а съ другой нерадѣніе и пьянство учителей». Несмотря однако на недочеты въ ходѣ учебнаго дѣла, Фонвизинъ съ благодарностью вспоминалъ о своихъ школьныхъ годахъ. Въ это время «обучась полатыни», онъ «положилъ основаніе нѣкоторымъ знаніямъ». Тогда же онъ «научился до-

вольно нѣмецкому языку» и «получилъ вкусъ къ словеснымъ наукамъ». Знакомство съ латинскимъ языкомъ, по замѣчанію Дениса Ивановича, «пособило весьма къ обученію французскаго»; этимъ языкомъ Фонвизинъ занялся въ концѣ учебнаго курса. Изъ преподавателей своихъ онъ съ особенной признательностью вспоминалъ о профессорѣ Шаденѣ, который преподавалъ логику на латинскомъ языкѣ. Денисъ Фонвизинъ считался однимъ изъ лучшихъ воспитанниковъ гимназіи: онъ не разъ получалъ награды (въ 1756, 1760 и 1761 гг.); его школьныя сочиненія назначались, вмѣстѣ съ другими лучшими работами, для прочтенія на публичныхъ актахъ. Въ одномъ изъ такихъ сочиненій юный авторъ старался «показать щедрость и прозорливость Ея Императорскаго Величества, всещедрой музъ основательницы и покровительницы»; въ другой работѣ, изложенной на нѣмецкомъ языкѣ, рѣчь шла «о наилучшемъ способѣ къ обученію языковъ». Объ успѣхахъ Фонвизина свидѣтельствуетъ также его представленіе Ив. Ив. Шувалову. Директоръ университета, съ нѣкоторыми лучшими воспитанниками, отправился въ Петербургъ «для показанія основателю университета плодовъ сего училища». Въ числѣ «избранныхъ учениковъ» были и братья Фонвизины. Время этой поѣздки опредѣляется двумя указаніями самого Дениса Ивановича: онъ былъ представленъ Шувалову прежде «производства» въ студенты, а это производство относится къ 1760 году; въ Петербургѣ московскій гимназистъ видѣлъ на сценѣ комедію Гольберга: «Генрихъ и Перниллa»; первое представленіе этой комедіи, по свидѣтельству «Драматическаго словаря», относится также къ 1760 г.; остается такимъ образомъ признать, что Фонвизинъ былъ въ Петербургѣ въ началѣ этого именно 1760 г. (по словамъ Фонвизина, онъ и его товарищи ѣздили въ Петербургъ «зимой»). Замѣчаніе Дениса Ивановича о томъ, что во время поѣздки, т. е. въ январѣ — февралѣ 1760 года, онъ былъ «не старѣе четырнадцати лѣтъ» вполнѣ совпадаетъ съ годомъ его рожденія, указаннымъ въ надписи на надмогильномъ камнѣ (3 апрѣля 1745 г.).

Въ Петербургѣ Фонвизинъ имѣлъ случай видѣть нѣкоторыхъ тогдашнихъ знаменитостей нашего служебнаго, ученаго и артистическаго міра. Онъ былъ представленъ Шувалову, былъ на куртагѣ во дворцѣ, гдѣ его поразило «вездѣ сіяющее золото, собраніе людей въ голубыхъ и красныхъ лентахъ, множество дамъ прекрасныхъ, наконецъ огромная музыка». При представленіи московскихъ гимназистовъ Шувалову присутствовалъ Ломоносовъ. Узнавъ, что Фонвизинъ и его товарищи учились по латыни, ученый «началъ говорить о пользѣ латинскаго языка съ великимъ краснорѣчіемъ». Въ домѣ своего дяди Денисъ Ивановичъ познакомился съ знаменитыми актерами Өед. Гр. Волковымъ и Ив. Аѳ. Дмитревскимъ. Это знакомство оказалось особенно интереснымъ для будущаго драматурга. «Ничто въ Петербургѣ, говоритъ онъ, такъ меня не восхищало, какъ театръ, который я увидѣлъ въ первый разъ отъ роду... Дѣйствія, произведеннаго во мнѣ театромъ, почти описать невозможно: комедію, видѣнную мною, довольно глупую, считалъ я произведеніемъ глубокаго разума, а актеровъ—великими людьми, коихъ знакомство, думалъ я, составило бы мое благополучіе. Я съ ума было сошелъ отъ радости, узнавъ, что сіи комедіянты вхожи въ домъ дядюшки моего, у котораго я жилъ».

Въ 1760 г., спустя нѣкоторое время по возвращеніи изъ Петербурга, братья Фонвизины «произведены были въ студенты». Слушателемъ университета Денисъ оставался два года. Къ этой студенческой порѣ относятся его первые литературные опыты и вмѣстѣ съ тѣмъ его первые литературные успѣхи. Въ 1761 г. Фонвизинъ помѣстилъ въ журналѣ «Полезное Увеселеніе», издававшемся подъ руководствомъ М. М. Хераскова, переводную статейку «Правосудный Юпитеръ». Въ томъ же году появился переводъ басенъ Гольберга, сдѣланный Фонвизинымъ по заказу университетскаго книгопродавца; книга эта выдержала нѣсколько изданій.

Во время поѣздки въ Петербургъ московскій гимназистъ убѣдился, «сколько нуженъ молодому человѣку французскій

языкъ». Спустя два года (1762), онъ уже «могъ разумѣть Вольтера и началъ переводить стихами его «Альзиру». Этотъ переводъ трагедіи Вольтера не остался незамѣченнымъ, хотя и не былъ напечатанъ. «Переводъ мой Альзиры, — говоритъ Фонвизинъ въ «Чистосердечномъ признаніи», — сталъ дѣлать много шума и я самъ началъ имѣть нѣкоторое мнѣніе о моемъ дарованіи; но признаюсь, что будучи недоволенъ переводомъ, не отдалъ его ни на театръ, ни въ печать». Переводъ «Альзиры» дѣйствительно былъ несвободенъ отъ нѣкоторыхъ грубыхъ промаховъ, почему Фонвизинъ называлъ этотъ свой трудъ «грѣхомъ юности» своей. Въ томъ же году, когда переведена была Альзира, напечатана была первая часть русскаго перевода книги аббата Террасона: «Геройская добродѣтель, или жизнь Сифа, царя Египетскаго, изъ таинственныхъ свидѣтельствъ древняго Египта взятая»; слѣдующія части книги появились въ 1763 г. (ч. II), 1764 г. (ч. III) и въ 1768 г. (ч. IV); на первыхъ трехъ частяхъ означено имя переводчика, Дениса Фонвизина. Ему же принадлежитъ переводъ «слова» профессора исторіи І. Г. Рейхеля о томъ, что «науки и художества процвѣтаютъ защищеніемъ и покровительствомъ владѣющихъ особъ и великихъ людей въ государствѣ»; слово это произнесено было Рейхелемъ въ публичномъ собраніи московскаго университета 3-го октября 1762 г. Въ этомъ же году проф. Рейхель предпринялъ періодическое изданіе подъ заглавіемъ: «Собраніе лучшихъ сочиненій къ распространенію знанія и къ произведенію удовольствій». Въ изданіи Рейхеля помѣщено нѣсколько переводныхъ работъ Фонвизина: «Изысканіе о зеркалахъ древнихъ», «Торгъ семи музъ», «О приращеніи рисовальнаго художества», «Разсужденіе о дѣйствіи и существѣ стихотворства». Выборъ переведенныхъ статей сдѣланъ былъ, конечно, по указанію Рейхеля, который съ участіемъ слѣдилъ за дѣятельностью своего даровитаго слушателя. «Не напрасный трудъ имѣлъ господинъ Фонвизинъ въ переводѣ на россійскій языкъ книги сея своимъ согражданамъ, писалъ Рейхель по поводу перевода «Сифа». — Великой благодарности достойны пере-

водчики, когда употребляютъ они время свое на такія книги, кои служатъ къ распространенію ученія и которыя вообще полезны для свободныхъ наукъ. При столь великомъ множествѣ худыхъ книгъ видно похвальное достоинство переводчика, когда избираетъ онъ нѣчто доброе, полезное и особливое. Что господинъ Фонвизинъ въ разсужденіи сего сдѣлалъ, о томъ общество узнаетъ съ удовольствіемъ. О знаніи его въ нѣмецкомъ языкѣ я весьма увѣренъ, а общество видѣло уже силу его въ Россійскомъ языкѣ, какъ изъ различныхъ опытовъ, такъ и изъ басенъ барона Гольберга. Можетъ быть, переведенныя имъ на россійскій языкъ Овидіевы превращенія будутъ бо́льшимъ еще доказательствомъ его способности». Біографъ Рейхеля (Шевыревъ) предполагаетъ, что сближеніе даровитаго студента съ профессоромъ исторіи и нѣмецкой литературы могло имѣть вліяніе и на развитіе сатирическаго таланта Фонвизина: «изъ писемъ Рейхеля къ Миллеру мы могли бы съ нѣкоторою вѣроятностію заключить, что профессоръ своею ироніею и своимъ умѣньемъ схватывать неразумную сторону жизни, свойствами, которыя въ этой перепискѣ сильно обнаруживаются, могъ имѣть отчасти вліяніе на нравственное развитіе геніальнаго комика».

Упомянутый Рейхелемъ переводъ Метаморфозъ Овидія неизвѣстенъ. Нужно думать, что не дошли до насъ и нѣкоторыя оригинальныя произведенія Фонвизина перваго періода его дѣятельности. «Весьма рано появилась во мнѣ склонность къ сатирѣ, разсказываетъ авторъ «Чистосердечнаго Признанія». — Острыя слова мои носились по Москвѣ; а какъ они были для многихъ язвительны, то обиженные оглашали меня злымъ и опаснымъ мальчишкою; всѣ же *тѣ, коихъ острыя слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезнымъ и въ обществѣ пріятнымъ.* Видя, что вездѣ принимаютъ меня за умнаго человѣка, заботился я мало о томъ, что разумъ мой похваляется на счетъ сердца, и я прежде нажилъ непріятелей, нежели друзей... Меня стали скоро бояться, потомъ ненавидѣть; и я вмѣсто того, чтобъ привлечь къ себѣ людей, отгонялъ ихъ отъ себя и сло-

вами, *и перомъ. Сочиненія мои* были острыя ругательства: много въ нихъ было сатирической соли, но разсудка, такъ сказать, ни капли». Для объясненія этого разсказа Фонвизина объ успѣхѣ его «острыхъ ругательствъ» не мѣшаетъ припомнить, что подобныя, не попадавшія въ печать, сатиры были въ то время въ большомъ ходу. Въ 1764 г. главнокомандующій въ Москвѣ графъ Салтыковъ доносилъ императрицѣ слѣдующее: «Развращенное здѣсь, на Москвѣ, между молодыми людьми своевольство и наглость до такой степени возрасли, что нѣкоторые изъ нихъ... дерзнули по всему городу потаенно разсѣять, *ругательныя сочиненія*, состоящія въ каталогахъ на французскомъ и русскомъ языкахъ, въ которыхъ до 300 человѣкъ и больше какъ наизнатнѣйшихъ, такъ и прочихъ фамилій, въ томъ числѣ дамы и дѣвицы, не взирая ни на чины, ни на достоинства, наичувствительнѣйшими и язвительнѣйшими выраженіями обезчещены и обижены». Теперь изъ всѣхъ сатирическихъ сочиненій Фонвизина, носившихся по Москвѣ, дошли только два произведенія, *съ* съ вѣроятностью относимыя къ 1762 г.: эпиграмма на мнимое величіе (О, Климъ, дѣла твои велики!) и злая сатира въ формѣ басни: «Лисица-казнодѣй». Изъ числа сочиненій, *приписываемыхъ* Фонвизину, къ этой ранней порѣ его литературной дѣятельности относятъ шуточное стихотвореніе: «Чертикъ на дрожкахъ. Новая быль».

Въ 1759 г. въ Москвѣ открытъ былъ «россійскій театръ». По свидѣтельству Штелина, въ этомъ театрѣ, кромѣ актеровъ по занятіямъ (Троепольскій, Троепольская, Пушкина), играли также «нѣкоторые университетскіе студенты». Сохранилось преданіе, что лучшими исполнителями изъ числа студентовъ были Як. Ив. Булгаковъ и Д. И. Фонвизинъ.

По обычаю стараго времени Фонвизинъ рано былъ записанъ въ военную службу; въ 1762 г., оставаясь студентомъ, онъ числился въ спискѣ сержантовъ Семеновскаго полка. Осенью 1762 г., во время пребыванія двора въ Москвѣ, этотъ «лейбъ-гвардіи семеновскаго полку сержантъ и московскаго университета

студентъ» подалъ прошеніе объ увольненіи его изъ университета и объ опредѣленіи на государственную службу. Въ коллегіи иностранныхъ дѣлъ куда желалъ поступить Фонвизинъ, онъ былъ «свидѣтельствованъ въ языкахъ латинскомъ, французскомъ и нѣмецкомъ и найденъ въ знаніи оныхъ достаточнымъ». Выдержавъ экзаменъ, Денисъ Ивановичъ поступилъ въ коллегію переводчикомъ капитанъ поручичья чина. Ко времени этой службы въ коллегіи относится первое путешествіе Фонвизина за границу. Онъ былъ посланъ съ лентой ордена св. Екатерины къ герцогинѣ Мекленбургъ-Шверинской. Порученіе было исполнено удачно. «Тогда былъ я еще сущій ребенокъ, говоритъ Денисъ Ивановичъ, и почти не имѣлъ понятія о свѣтскомъ обращеніи; но какъ я читалъ уже довольно и имѣлъ природную остроту, то у Шверинскаго двора не показался я невѣждою. И впрочемъ поведеніемъ своимъ пріобрѣлъ я благоволеніе герцогини и одобреніе публики».

Въ 1763 г. служебное положеніе Фонвизина измѣнилось: 7-го октября этого года императрица Екатерина подписала указъ: «Переводчику Денису Фонвизину, числясь при иностранной коллегіи, быть для нѣкоторыхъ дѣлъ при нашемъ статскомъ совѣтникѣ Елагинѣ, получая жалованье по прежнему изъ оной коллегіи». Ив. Перф. Елагинъ занималъ въ это время должность кабинетъ-министра у принятія челобитенъ, а нѣсколько позже (въ 1766 г.) къ этой службѣ присоединена была другая, — завѣдываніе театрами. Въ это время у секретарей Елагина было, конечно, не мало дѣла. Въ 1768 г. принятіе челобитенъ передано было Степ. Өед. Стрекалову. «Дѣла наши, писалъ Фонвизинъ роднымъ, снятіемъ дѣлъ челобитческихъ совершенно облегчены, однако я каждый день у Ивана Перфильевича бываю, а сколь это безпокойно, то самъ Богъ видитъ». Фонвизинъ оставался при Елагинѣ, получившемъ званіе сенатора и удержавшемъ должность «надъ спектаклями главнаго директора».

Поселившись по мѣсту службы въ Петербургѣ, Фонвизинъ поддерживалъ живую переписку съ родными: сохранились его

письма къ отцу и матери, къ сестрѣ Ѳедосьѣ Ивановнѣ и къ ея мужу В. А. Аргамакову (вступ. въ бракъ въ 1764 г.). Изрѣдка Денисъ Ивановичъ пріѣзжалъ въ родной городъ; такъ, въ концѣ 1765 г. онъ пробылъ въ Москвѣ около мѣсяца; въ 1769 г., какъ видно изъ писемъ къ Елагину, прожилъ въ Москвѣ больше полугода. Въ Петербургѣ молодой москвичъ на первыхъ порахъ сильно скучалъ. «Здѣсь знакомства еще не сдѣлалъ,— читаемъ въ первомъ сохранившемся письмѣ Фонвизина къ сестрѣ (отъ 10 августа 1763 г.). Съ кадетскимъ корпусомъ не очень обхожусь за тѣмъ, что тамъ большая часть солдаты; а съ академіей за тѣмъ, что тамъ большая часть педанты». Молодой человѣкъ искалъ въ знакомствѣ или дружбы, или любви. «Однако этого желанія, говоритъ онъ, по несчастію не достигаю и ниже тѣни къ исполненію имѣю. Разсуди, *не скучно-ль такъ жить тому, кто имѣетъ чувствительное сердце!*» Мало-по-малу знакомство однако завязалось. Кругъ этого знакомства, насколько можно судить по письмамъ Фонвизина, состоялъ изъ людей чиновныхъ и знатныхъ, среди которыхъ замѣшалось лишь одно имя, выборъ котораго объясняется артистическими наклонностями молодого писателя, — имя Ив. Аѳ. Дмитревскаго, котораго Фонвизинъ называлъ «человѣкомъ честнымъ, умнымъ, знающимъ». Изъ своихъ сверстниковъ, принадлежавшихъ къ свѣтской молодежи, Денисъ Ивановичъ особенно близко сошелся съ Вас. Ал. Аргамаковымъ, своимъ будущимъ зятемъ, служившимъ въ то время въ конной гвардіи, и съ кн. Ѳ. А. Козловскимъ, служившимъ въ Преображенскомъ полку. «Склонности и сходство нравовъ соединили насъ такъ много, что произошло оттуда истинное дружество», писалъ Фонвизинъ объ Аргамаковѣ. Съ кн. Козловскимъ, кромѣ подобнаго же сходства нравовъ, могли сближать Дениса Ивановича литературные интересы: Ѳ. А. Козловскій († 1770) не безъ нѣкотораго успѣха пробовалъ свои силы въ прозѣ и въ стихахъ. Знакомство съ этимъ рано умершимъ писателемъ оставило глубокій слѣдъ въ воспоминаніяхъ Фонвизина. Козловскій ввелъ своего друга въ общество, о ко-

торомъ тотъ впослѣдствіи не могъ «безъ ужаса вспомнить, ибо лучшее препровожденіе времени состояло въ богохуліи и кощунствѣ. Въ первомъ, замѣчаетъ Фонвизинъ, не принималъ я никакого участія и содрогался, слыша ругательство безбожниковъ; а въ кощунствѣ игралъ я и самъ не послѣднюю роль.... Въ сіе время сочинилъ я *Посланіе къ Шумилову*, въ коемъ нѣкоторые стихи являютъ тогдашнее мое заблужденіе, такъ что отъ сего сочиненія у многихъ прослылъ я безбожникомъ». Авторъ «Посланія къ слугамъ моимъ Шумилову, Ванькѣ и Петрушкѣ» въ шуточной формѣ касается философскаго вопроса, на которомъ съ особеннымъ вниманіемъ останавливались мыслители XVIII вѣка, вопроса о такъ называемыхъ конечныхъ причинахъ (causes finales), о цѣляхъ міросданія; отвѣтъ сатирика на этотъ вопросъ—безнадежно скептическій, если не вполнѣ отрицательный: «И самъ не знаю я, на что сей созданъ свѣтъ!» Въ этомъ стихотвореніи, по словамъ Фонвизина, отразилось лишь его мимолетное, поверхностное увлеченіе; въ глубинѣ души его таилось постоянно иное, религіозное настроеніе. Это настроеніе подверглось новому испытанію, когда все тотъ же кн. Козловскій познакомилъ Фонвизина съ какимъ-то старикомъ графомъ, который «ничему не вѣрилъ». «Разсужденія его, говоритъ Фонвизинъ, были софистическія и безуміе явное, но со всѣмъ тѣмъ поколебали душу мою». Эти колебанія прекратились, душевное настроеніе Дениса Ивановича пришло въ прежнее равновѣсіе послѣ бесѣды съ Г. Н. Тепловымъ, человѣкомъ умнымъ, ловкимъ и немножко философомъ (онъ составилъ книгу: «Наставленія нравственной философіи, или знанія до философіи касающіяся»). Тепловъ посовѣтовалъ Фонвизину прочитать сочиненіе англійскаго писателя Самуэля Кларка: «Доказательства бытія Божія и истины христіанскія вѣры». Книга такъ понравилась успокоившемуся скептику, что онъ рѣшился перевести ее на русскій языкъ и «издавъ въ свѣтъ сдѣлать нѣкоторую услугу соотчичамъ». Тепловъ которому сообщилъ о своемъ намѣреніи Фонвизинъ, замѣтилъ, что изданіе полнаго перевода можетъ встрѣ-

тить затрудненія, и посовѣтовалъ сдѣлать лишь извлеченіе изъ книги Кларка. «Я послѣдовалъ совѣту Григорья Николаевича, говоритъ Фонвизинъ, и сдѣлалъ выписку изъ Кларка. Недавно я ее читалъ и нахожу за нужное поправить нѣчто, а впрочемъ выписка годится. Въ самомъ концѣ моихъ «Признаній» я ее прилагаю, сердечно желая, чтобы трудъ мой принесъ хотя нѣкоторую пользу благомыслящимъ читателямъ». Признанія остались не оконченными. Не дошла до насъ и выписка изъ Кларка.

Литературные интересы и занятія Фонвизина сплетались и съ общественными, и съ служебными его отношеніями. Начальникъ Фонвизина Иванъ Перфильевичъ (Порфиріевичъ) Елагинъ считался въ свое время замѣчательнымъ писателемъ: его переводы признавались «примѣрными на россійскомъ языкѣ» («Словарь» Новикова), его называли «первымъ нашимъ писателемъ въ прозѣ» послѣ Ломоносова; начитанность Елагина казалась «изумительной» («Извѣстіе» Дмитревскаго). Сближеніе съ такимъ человѣкомъ не могло, конечно, не имѣть вліянія на дѣятельность 20-лѣтняго писателя. Извѣстно, что Фонвизинъ высоко цѣнилъ литературныя мнѣнія Елагина, дорожилъ его критическими замѣчаніями. «Не хочу видѣть мою комедію представленною, — писалъ Фонвизинъ Елагину о Бригадирѣ, — прежде, нежели вы мнѣ самую истину о ней сказать изволите, то есть прикажете выключить то, что вамъ не нравится, и прибавить то, что вамъ угодно. Ваша критика мнѣ необходима». Въ одной изъ статей, написанныхъ Фонвизинымъ уже въ концѣ жизни (1788), сочиненія Елагина упоминаются, какъ образцы «россійскаго витійства». Ближайшимъ сослуживцемъ Фонвизина былъ также писатель, — Владиміръ Игнатьевичъ Лукинъ (1737—1794), авторъ комедій, пользовавшихся въ свое время извѣстностью. Лукинъ былъ секретаремъ Елагина, Фонвизинъ — его помощникомъ. Писатели-сослуживцы не сумѣли сохранить добрыхъ отношеній. Лукинъ, правда, высоко цѣнилъ талантъ Фонвизина, признавалъ, что тотъ имѣетъ больше его «способности и знанія», но это не мѣшало секретарю Елагина всячески вредить своему

помощнику по службѣ. «Невозможно представить себѣ на мысль, — писалъ Фонвизинъ отцу (26 іюня 1766), — всѣ тѣ злости, всѣ тѣ бездѣльническія хитрости, которыя употреблялъ онъ въ поврежденіе меня въ мысляхъ Ивана Перфильевича и всей его фамиліи». Фонвязинъ отзывался о своемъ противникѣ какъ о человѣкѣ умномъ, хотя и неуживчивомъ; что же касается литературной дѣятельности Лукина, то она давала матеріалъ для обычной насмѣшливости остроумнаго сатирика. Гордый Лукинъ не могъ, конечно, простить этихъ насмѣшекъ. «Сей человѣкъ, читаемъ въ «Чистосердечномъ Признаніи», имѣющій впрочемъ разумъ, былъ безпримѣрнаго высокомѣрія и нравомъ тяжелъ пренесносно. Онъ упражнялся въ сочиненіяхъ на русскомъ языкѣ; физіономія ли моя, или *не весьма скромный мой отзывъ о его перт* причиною стали его ко мнѣ ненависти. Могу сказать, что въ домѣ самаго честнаго и снисходительнаго начальника велъ я жизнь самую непріятнѣйшую отъ дѣйствія ненависти его любимца». Фонвизинъ пытался вывести Елагина «изъ заблужденія», надѣялся, что Елагинъ «узнаетъ мало-по-малу, что любилъ бездѣльника». Но эти надежды не сбылись. Расположеніе министра къ своему секретарю осталось неизмѣннымъ. Въ 1769 г. Фонвизинъ писалъ Елагину изъ Москвы: «Ваше превосходительство изволите сами знать, что я для милліона резоновъ съ г. Лукинымъ быть вмѣстѣ не могу». Вскорѣ послѣ этого Фонвизинъ дѣйствительно оставилъ службу при Елагинѣ.

Кромѣ упомянутаго выше Посланія къ слугамъ и Выписки изъ Кларка, Фонвизинъ написалъ въ это время (1763—1769) нѣсколько оригинальныхъ произведеній въ стихахъ и въ прозѣ и издалъ нѣсколько переводныхъ работъ. Предполагаютъ, что изъ немногихъ дошедшихъ до насъ стихотвореній Фонвизина къ этой именно порѣ относятся: «Къ уму моему» (отрывокъ) и «Матюшка разнощикъ» (извѣстно только по упоминанію въ словаряхъ Новикова и м. Евгенія и въ посланіи А. С. Хвостова). Въ письмѣ сестры Дениса Ивановича Ѳ. Ив. Аргамаковой отъ 7 іюля 1765 г. упоминается привѣтствіе императрицѣ въ стихахъ, написанное Фон-

визинымъ, по порученію Елагина, по случаю закладки церкви въ Академіи Художествъ: «Сегодня Василій Алексѣевичъ (Аргамаковъ) и братецъ Денисъ Ивановичъ поѣхали въ академію; тамъ празднество и сама государыня изволитъ присутствовать... Братецъ поѣхалъ нѣсколько и для того, что, думаю, хоръ академіи будетъ пѣть его *похвальные государынѣ стихи*, которые велѣлъ ему сдѣлать Елагинъ... Стихи, которые не болѣе какъ на девяти строкахъ, братецъ сдѣлалъ на одну матерію трижды и показалъ всѣ *три сочиненія* Елагину». Въ припискѣ къ письму замѣчено: «стиховъ братцовыхъ въ академіи не пѣли, а пѣли стихи Теплова, которые очень дурны передъ братцовыми». Переводныя работы Фонвизина этой поры: «Любовь Хариты и Полидора», романъ Ж. Ж. Бартелеми (1763), «Торгующее дворянство противуположенное дворянству военному», сочиненіе аббата Куайе (Соуег), съ приложеніемъ «особливаго о томъ же разсужденія г. Юстія» (1766); «Сидней и Силли, или благодѣяніе и благодарность», повѣсть Арно (1769); «Іосифъ», поэма въ девяти пѣсняхъ, соч. г. Битобе (1769). Въ 1764 г. поставлена была на сценѣ комедія Фонвизина «Коріонъ», написанная стихами. Вслѣдъ за Коріономъ появился знаменитый «Бригадиръ». Время перваго изданія и перваго представленія этой комедіи неизвѣстно. Съ вѣроятностью можно отнести появленіе Бригадира къ 1768—1769 гг. Дмитревскій, пріятель Фонвизина, отправившійся въ августѣ 1767 г. за границу и составившій во время путешествія «Извѣстіе о русскихъ писателяхъ», говоритъ и о Фонвизинѣ, но въ числѣ его произведеній еще не знаетъ Бригадира; въ іюльскомъ выпускѣ журнала «Пустомеля» за 1770 г. упоминается о комедіи Фонвизина, которая «столько по справедливости разумными и знающими людьми *была похваляема* что лутчаго и Моліеръ во Франціи своимъ комедіямъ не видалъ принятія и не желалъ». Замѣтка относится, конечно, къ Бригадиру. Выраженія замѣтки указываютъ на то, что въ половинѣ 1770 года комедія Фонвизина не была уже послѣдней литературной новинкой. По свидѣтельству самого Фонвизина, Бригадиръ написанъ почти

одновременно съ Іосифомъ: «Тогда сдѣлалъ я Бригадира; скоро потомъ перевелъ Іосифа, и все сіе окончилъ въ Москвѣ... Я пріѣхалъ въ Петербургъ и привезъ съ собой Бригадира и Іосифа». Подобное же указаніе находимъ въ письмѣ Фонвизина къ Елагину изъ Москвы: «я время мое провожу здѣсь весьма полезно... перевелъ Іосифа, *напечаталъ Сиднея*, пишу стихи, дописалъ почти свою комедію». Какъ «Сидней», такъ и «Іосифъ» появились въ печати въ 1769 г. Въ этомъ же, вѣроятно, году возвратился Фонвизинъ въ Петербургъ и привезъ съ собой «Бригадира». Въ бумагахъ Фонвизина отысканы были: начало комедіи «Добрый наставникъ» и отрывокъ другой какой-то комедіи. Полагаютъ, что эти отрывки написаны вскорѣ послѣ «Бригадира».

Изъ переводовъ Фонвизина особенный успѣхъ имѣла поэма «Іосифъ», выдержавшая нѣсколько изданій (1769, 1780, 1787, 1790, 1802, 1819). Біографъ Фонвизина кн. П. А. Вяземскій подсмѣивается надъ славянизмами Фонвизина въ Іосифѣ: ревностному карамзинисту «эти славянизмы напоминаютъ каррикатурныя лица французскихъ водевилей». Иначе судили современники переводчика. «*Поэму Іосифъ*, говоритъ Новиковъ, перевелъ прозою на Россійскій языкъ *съ совершеннымъ искусствомъ*. Въ переводѣ семъ держался онъ важности славенскаго и чистоты Россійскаго языка». Для объясненія дѣла нужно припомнить замѣчаніе Карамзина объ Елагинскомъ періодѣ въ исторіи нашего литературнаго слога: «раздѣляя слогъ нашъ на эпохи, первую должно начать съ Кантемира, вторую съ Ломоносова; третію *съ переводовъ славяно-русскихъ* господина Елагина и его многочисленныхъ подражателей». Очевидно, и Фонвизинъ, какъ переводчикъ, принадлежитъ къ этой именно Елагинской эпохѣ.

Къ числу переводовъ можно отнести и комедію «Коріонъ», представляющую передѣлку драмы Грессе (Gresset): Сидней. Не вполнѣ оригиналенъ по замыслу и Бригадиръ. Образцомъ для этой комедіи послужило одно изъ произведеній того датскаго писателя, съ которымъ Фонвизинъ познакомился еще въ универси-

тетѣ. Гольбергъ въ комедіи Jean de France выставляетъ молодого человѣка, побывавшаго въ Парижѣ, считающаго себя представителемъ высшей культуры, пренебрежительно относящагося къ родному языку и къ родному быту. Таковъ же и Иванушка Фонвизина. Замѣчательно, что въ одно время съ «Коріономъ» Фонвизина (1764) поставлена была на сценѣ комедія «Французъ Русскій», переложенная Елагинымъ изъ упомянутой комедіи; эту же конечно пьесу отмѣчаетъ «Драматическій словарь» подъ заглавіемъ: «Жанъ де Моле, комедія въ 5 дѣйствіяхъ г. Елагина»; авторъ, по отзыву словаря, показываетъ развращеніе тѣхъ молодыхъ людей, «кои, къ сожалѣнію нашему, будучи въ чужихъ краяхъ, возвращаются подобными персонажу Жана де Моле, не обрѣтя ничего, кромѣ тщеславія и нетерпѣнія своего языка». Комедія Фонвизина заставила забыть передѣлку Елагина. Литературныя достоинства комедіи, мастерское чтеніе автора доставили Бригадиру рѣдкій, необыкновенный успѣхъ. «Надобно примѣтить, говоритъ Фонвизинъ, что я.. читалъ мастерски. Чтеніе мое заслужило вниманіе А. И. Бибикова и графа Гр. Гр. Орлова, который не преминулъ донести о томъ государынѣ». Императрица пожелала ознакомиться съ «Бригадиромъ» въ передачѣ автора. 29 іюня въ Петергофѣ Фонвизинъ представленъ былъ Екатеринѣ. Она прерывала чтеніе выраженіями своего одобренія, а выслушавъ всю пьесу «благодарила автора «всемилостивѣйшимъ привѣтствіемъ». Затѣмъ Фонвизинъ читалъ свою комедію у Наслѣдника престола, у гр. Н. Ив. Панина, у гр. Зах. Гр. Чернышева и др., вездѣ выслушивая единодушныя похвалы. Кн. Козловскій говорилъ Фонвизину, что «весь Петербургъ наполненъ его комедіею, изъ которой многія острыя слова употребляются уже въ бесѣдахъ». Тоже говорилъ ему гр. Н. Ив. Панинъ: «я васъ увѣряю, что нынѣ во всемъ Петергофѣ (гдѣ находился тогда дворъ) ни о чемъ другомъ не говорятъ, какъ о комедіи и о чтеніи вашемъ». Панинъ называлъ «Бригадира» «первой комедіей въ нашихъ нравахъ»; его особенно заинтересовалъ характеръ Бригадирши: «я удивляюсь, говорилъ Никита Ивано-

вичъ Фонвизину, вашему искусству, какъ вы, заставя говорить такую дурищу во всѣ пять актовъ, сдѣлали однако роль ея столько интересною, что все хочется ее слушать; я не удивляюсь, если сія комедія столь много имѣетъ успѣха». Эти извѣстія объ успѣхѣ «Бригадира», переданныя самимъ Фонвизинымъ въ его «Признаніи», подтверждаются и другими свидѣтельствами. Приведенная выше замѣтка «Пустомели» говоритъ, что авторъ Бригадира выслушивалъ такія похвалы, какихъ, можетъ быть, не слыхалъ и Мольеръ. «Драматическій словарь» (1787 г.) называетъ комедію Фонвизина «нравящеюся публикѣ» и «невыходящею изо вкуса»; она «часто представлялась на театрахъ, какъ въ Санктпетербургѣ, такъ и въ Москвѣ, завсегда къ отмѣнному удовольствію зрителей». Позднѣйшая критика указала нѣкоторые недочеты какъ въ построеніи комедіи, такъ и въ отдѣльныхъ подробностяхъ, но эти недочеты съ остаткомъ покрываются яркой характеристикой дѣйствующихъ лицъ: недалекой, забитой, но добродушной Бригадирши, взяточника и ханжи совѣтника, русскаго француза Иванушки, крутого и грубаго Бригадира.

Служебное честолюбіе Фонвизина не удовлетворялось занятіями у Елагина. Повидимому и самое поступленіе Фонвизина на службу къ кабинетъ-министру состоялось лишь по желанію его родныхъ. Молодому человѣку казалась болѣе привлекательной служба въ иностранной коллегіи. Въ письмѣ къ роднымъ отъ 9 февраля 1764 г. (т. е. спустя четыре мѣсяца послѣ начала занятій у Елагина), Фонвизинъ оправдывается въ какихъ-то отношеніяхъ къ коллегіи: «Напрасно думаете, чтобъ хотѣлъ я остаться въ коллегіи для того, чтобы всѣхъ тѣмъ огорчить васъ. Къ тому-же я очень знаю, сколь много я любимъ вами, и сколь много счастье мое вамъ нужно». Досада родныхъ имѣла однако основаніе. Вслѣдъ за приведенными словами Денисъ Ивановичъ сообщаетъ о своихъ планахъ относительно службы: онъ разсчитываетъ получить какое-то мѣсто при нашемъ резидентѣ въ Данцигѣ: «ce n'est pas loin d'ici, et je pourrais venir et revenir en Russie autant qu'il me plaira», утѣшалъ родныхъ молодой чи-

новникъ. Это предположеніе о Данцигѣ не осуществилось. Спустя четыре года, въ 1768 г., секретарь Елагина жаловался роднымъ на невнимательность своего шефа. «Въ производствѣ моемъ надежды никакой нѣтъ. По крайней мѣрѣ Иванъ Перфильевичъ о томъ, кажется, уже забылъ... Онъ меня любитъ, да вся его любовь состоитъ только въ томъ, чтобъ со мною отобѣдать и проводить время. О счастіи же моемъ не рачитъ онъ ни мало». Фонвизинъ рѣшился «расквитаться» съ Елагинымъ. Въ 1768 г. онъ выхлопоталъ себѣ продолжительный отпускъ и поселился въ Москвѣ. Въ слѣдующемъ году осуществилось желаніе Фонвизина: онъ расквитался съ Елагинымъ и вернулся къ первоначальной своей службѣ.

9 декабря 1769 г. по именному указу, Денисъ Фонвизинъ опредѣленъ былъ въ коллегію иностранныхъ дѣлъ, во главѣ которой стоялъ въ это время гр. Ник. Ив. Панинъ, знавшій и оцѣнившій талантливость автора «Бригадира». Кромѣ завѣдыванія иностранными дѣлами, у Панина была еще другая важная должность, «надзираніе надъ воспитаніемъ великаго князя Павла Петровича». Служба при Панинѣ оказалась не легкой. Въ письмахъ Фонвизина этой поры нерѣдко встрѣчаются оговорки о «крайнихъ недосугахъ», о «стеченіи множества дѣлъ», которыя занимаютъ все его время. «Время, конечно, у тебя мало, — писалъ Фонвизину его пріятель В. Зиновьевъ, — и я на тебя не буду пенять, хотя и очень рѣдко будешь писать». Обширная переписка, которую приходилось вести Фонвизину, была большею частію дополненіемъ къ его служебнымъ занятіямъ. По мѣткому замѣчанію кн. Вяземскаго, въ этой перепискѣ секретаря Панина «видимъ его, такъ сказать, проводникомъ, къ которому примыкали всѣ второстепенныя, содѣйствующія и предварительныя сношенія многосложныхъ пружинъ съ главнымъ побудителемъ политическаго движенія». Извѣстны письма къ Фонвизину нашихъ пословъ въ Варшавѣ (Сальдерна и Штакельберга), Лондонѣ (Мусина-Пушкина), Мадридѣ (Зиновьева), Стокгольмѣ (гр. Остермана), Цареградѣ (Обрѣскова), секретаря посольства въ

Варшавѣ Я. И. Булгакова и др. Сохранились и письма Фонвизина къ нѣкоторымъ изъ этихъ лицъ. Брату своего начальника П. Ив. Панину Денисъ Ивановичъ считалъ себя обязаннымъ сообщать постоянныя извѣстія о ходѣ политическихъ событій; въ приложеніяхъ къ письмамъ помѣщались копіи болѣе важныхъ и любопытныхъ дипломатическихъ бумагъ.

Отъ этой же поры дошло до насъ нѣсколько писемъ Фонвизина къ роднымъ, изъ которыхъ видно, какіе трудные и тяжелые дни приходилось иногда переживать людямъ, близкимъ къ Н. Панину. Враждебное къ нему отношеніе могущественнаго кн. Орлова, придворныя интриги, вторгавшіяся въ дѣятельность министра и воспитателя цесаревича, не оставляли въ покоѣ и сотрудниковъ Панина. Въ одномъ изъ писемъ 1773 года Фонвизинъ жалуется на интриги, какихъ «ни въ какомъ скаредномъ приказѣ нѣтъ». «Все вертится, пишетъ секретарь Панина, надъ бѣднымъ моимъ графомъ, котораго терпѣнію, кажется, конца не будетъ. Брата своего онъ сюда привезти боится, чтобъ еще скорѣе ему шеи не сломили, а здѣсь ни одной души не имѣетъ, ктобъ ему былъ истинный другъ. Ужасное состояніе. Я ничего у Бога не прошу, какъ чтобъ вынесъ меня съ честію изъ этого ада». Это «ужасное состояніе» было бы совершенно невыносимымъ, если бы Дениса Ивановича не поддерживала свойственная ему веселость и энергія духа, которыхъ онъ не терялъ среди самыхъ тягостныхъ обстоятельствъ. «Знай, матушка, писалъ Фонвизинъ сестрѣ,—что я весьма скучаю придворною жизнью. Ты вѣдаешь, созданъ ли я для нея. Между тѣмъ я положилъ за правило стараться вести время свое такъ весело, какъ могу, и если знаю, что сегодня въ такомъ-то домѣ будетъ мнѣ весело, то у себя дома не остаюсь». Было бы ошибкой видѣть въ этихъ словахъ указаніе только на свѣтскія развлеченія Фонвизина. Среди людей, въ обществѣ которыхъ находилъ онъ отдыхъ и отраду, было не мало лицъ, съ которыми связывали автора Бригадира литературные интересы. Онъ бывалъ у Державина, знакомъ былъ съ Княжнинымъ, Козодавлевымъ, Домашневымъ, Херасковымъ,

Майковымъ, Богдановичемъ, Барковымъ. Съ нѣкоторыми изъ этихъ писателей Денисъ Ивановичъ встрѣчался въ литературномъ кружкѣ, собиравшемся у г-жи Мятлевой. По свидѣтельству кн. Вяземскаго, основанному на письмѣ Н. В. Мятлева, «въ сихъ собраніяхъ (у Мятлевой) находилась всегда А. И. Приклонская, съ отличнымъ умомъ, начитанностью, склонностью къ литературѣ, отмѣннымъ даромъ слова и прекраснымъ органомъ... Тѣлесныя свойства природы ея не соотвѣтствовали умственнымъ: длинная, сухая, съ лицомъ, искаженнымъ оспою, она не могла бы внушить склонности человѣку, который смотрѣлъ бы одними внѣшними глазами, но умъ сочувствуетъ уму, и зрѣніе умнаго человѣка имѣетъ свою оптику. Какъ бы то ни было, но Фонвизинъ былъ ей преданъ сердцемъ, мыслями и волею: она одна управляла имъ, какъ хотѣла, и чувства его къ ней имѣли все свойство страсти, и страсти безпредѣльной». Въ «Чистосердечномъ Признаніи» Фонвизинъ передаетъ намъ нѣсколько свѣдѣній о своихъ отношеніяхъ къ любимой женщинѣ. «Я познакомился съ нею, говоритъ онъ, и скоро узналъ, что почтеніе мое превратилось въ нелицемѣрную къ ней привязанность... Съ тѣхъ поръ во все теченіе моей жизни *по сей часъ* сердце мое всегда было занято ею. Ибо страсть моя основана на почтеніи и не зависѣла отъ разности половъ». Объ этой страсти упоминаетъ Фонвизинъ въ одномъ изъ писемъ къ сестрѣ. Этой же страстью внушено посвященіе переводной повѣсти: «Сидней и Силли»: «слѣдуя волѣ твоей, перевелъ я Сиднея, и тебѣ приношу переводъ мой. Что мнѣ нужды, будутъ ли хвалить его другіе? Лишь бы онъ понравился тебѣ. Ты одна всю вселенную для меня составляешь».

Въ 1773 году закончилось образованіе Наслѣдника престола. Гр. Панинъ получилъ при этомъ въ награду богатыя помѣстья. Цѣня заслуги своихъ секретарей (Бакунина, Убри и Фонвизина), Панинъ подѣлился съ ними высочайшимъ подаркомъ. Фонвизину досталось имѣніе въ Витебской губерніи съ крѣпостнымъ населеніемъ въ 1180 чел. Такой раздѣлъ имѣній объясняется, быть можетъ, тѣмъ, что сотрудники Панина по министерству оказы-

вали ему услуги и по службѣ придворной. Извѣстно дѣйствительно, что Фонвизинъ, кромѣ занятій по должности секретаря министра, исполнялъ нерѣдко и частныя порученія Никиты Ивановича и цесаревича. Объ этомъ мы узнаемъ изъ записокъ Клостермана, коммиссіонера Фонвизина. «Великій князь наслѣдникъ и графъ Панинъ, говоритъ Клостерманъ, поручали ему покупать статуи и картины славныхъ художниковъ, книжныя рѣдкости, гравюры и проч. Я очень часто ѣздилъ съ нимъ въ лавки, въ которыхъ, равно какъ и на аукціонахъ, случалось ему дѣлать значительныя закупки. Когда ему самому не хотѣлось ѣхать на общественную распродажу художественныхъ произведеній, онъ посылалъ торговаться меня, отмѣтивъ предварительно въ каталогѣ, что нужно было купить. Такимъ образомъ я вошелъ въ сношенія съ главнѣйшими парижскими книгопродавцами... что доставило мнѣ въ послѣдствіи значительныя выгоды». Клостерманъ открылъ въ Петербургѣ магазинъ книгъ, картинъ и другихъ художественныхъ произведеній. Въ торговыхъ операціяхъ Клостермана принималъ участіе и Фонвизинъ. Въ своемъ духовномъ завѣщаніи 1786 г. онъ говоритъ: «*заведенная мною* коммерція вещами, до художествъ принадлежащими, и отправляемая нынѣ санктпетербургскимъ первой гильдіи купцомъ Германомъ Клостерманомъ, должна остаться въ полномъ и единственномъ хозяйствѣ и расположеніи жены моей».

Женился Фонвизинъ въ 1774 г. на вдовѣ Катеринѣ Ивановнѣ Хлоповой, рожд. Роговиковой. Передъ женитьбой, въ началѣ 1774 г., Фонвизинъ побывалъ въ Москвѣ; въ концѣ этого года онъ снова собирался пріѣхать въ родной городъ. Этотъ послѣдній пріѣздъ объясняется служебными отношеніями. Въ январѣ 1775 г. императрица Екатерина, вмѣстѣ со всѣмъ дворомъ, отправилась въ Москву для празднованія окончанія турецкой войны, заключенія кайнарджійскаго мира.

Въ 1777 г. разстроившееся здоровье г-жи Фонвизиной потребовало климатическаго лѣченія и мѣстомъ лѣченія избрана была южная Франція. Въ началѣ іюля Фонвизины выѣхали изъ

Петербурга. На пути они останавливались въ Варшавѣ, Дрезденѣ, Лейпцигѣ, Мангеймѣ, Страсбургѣ, Ліонѣ. Въ Монпелье, гдѣ лѣчилась Катерина Ивановна, они пробыли около двухъ мѣсяцевъ. «Житье въ Монпелье было не тщетно», по выраженію Фонвизина. Когда здоровье жены достаточно окрѣпло, Денисъ Ивановичъ, «взялъ намѣреніе воспользоваться остающимся временемъ и посмотрѣть нѣкоторыя южныя французскія провинціи». Онъ посѣтилъ Лангедокъ, Провансъ, Дофинэ, Бургонь, Шампань. «Осмотрѣвъ все то, что заслуживало любопытство въ сихъ провинціяхъ», Фонвизинъ направился въ Парижъ, куда прибылъ 20-го февраля 1778 г. Въ столицѣ Франціи русскіе путешественники пробыли полгода. Осенью 1778 г. они вернулись въ Петербургъ.

Человѣкъ, близкій къ Ник. Ив. Панину, сотрудникъ лица, руководившаго внѣшней политикой русскаго правительства, находилъ, конечно, радушный пріемъ и у нашихъ пословъ, и при иностранныхъ дворахъ. Въ Варшавѣ русскій посланникъ Штакельбергъ «офировалъ намъ, — замѣчаетъ Фонвизинъ, — домъ свой такъ, чтобъ мы его за нашъ собственный почитали». На куртагѣ секретарь Панина представленъ былъ королю. «Король, разсказываетъ Денисъ Ивановичъ, подошедъ ко мнѣ, сказалъ съ видомъ весьма ласковымъ, что онъ *знаетъ* меня давно по репутаціи и что весьма радъ видѣть меня въ своей землѣ. Потомъ спрашивалъ меня о состояніи здоровья жены моей и долго ли здѣсь останемся. На отвѣтъ мой, что я не могу имѣть счастія долго здѣсь пробыть, сказалъ онъ мнѣ, что весьма о томъ жалѣетъ, что такое короткое время не позволяетъ ему оказать мнѣ всей аттенціи, которую-бъ онъ хотѣлъ мнѣ сдѣлать». Въ Мангеймѣ, резиденціи курфирста Пфальцскаго, Фонвизинъ, зная «положеніе сего двора въ разсужденіи нашего», нашелъ нужнымъ представиться курфирсту. Ласково принятый при этомъ маленькомъ дворѣ, русскій путешественникъ изъ разговора съ курфирстомъ и его супругой убѣдился въ ихъ «просвѣщенномъ благоразуміи, усердіи къ нашему двору и большомъ уваженіи» къ

Н. Ив. Панину. Предъ отправленіемъ въ Монпелье Фонвизинъ получилъ рекомендательныя письма къ маркизѣ Fraïzeville, которая перезнакомила Дениса Ивановича и его жену со всей мѣстной знатью. Жившіе въ Парижѣ русскіе встрѣтили заѣзжаго соотечественника какъ желаннаго гостя. «На другой день (послѣ пріѣзда въ Парижъ), — разсказываетъ Фонвизинъ, — послалъ я къ секретарю нашего министра, чтобъ онъ ко мнѣ пришелъ; вмѣсто секретаря Барятинскій самъ прискакалъ ко мнѣ верхомъ и обошелся со мною, какъ съ роднымъ братомъ. Онъ меня взялъ съ собою и повезъ къ Шуваловой, Строганову, Разумовскому и къ другимъ русскимъ». Гр. Шувалова и гр. Строганова пріѣхали навѣстить жену Дениса Ивановича, не дожидаясь ея визита; онѣ хотѣли показать, что «желаютъ обходиться съ нами безъ всякихъ чиновъ», замѣчаетъ путешественникъ. «И дѣйствительно, мы всѣ видимся всякій день, — продолжаетъ Фонвизинъ. — Русскихъ здѣсь множество и всѣ живутъ какъ одна семья». Продолжительный отпускъ Фонвизина, его полугодовое пребываніе въ Парижѣ, свидѣтельствуя о вниманіи и расположеніи Панина къ своему секретарю, наводятъ вмѣстѣ съ тѣмъ на мысль, что при поѣздкѣ за-границу Фонвизинъ могъ получить какое-нибудь особое служебное порученіе. По словамъ Клостермана Фонвизинъ находился въ Парижѣ «по дѣламъ». Есть впрочемъ извѣстіе, объясняющее продолжительный отпускъ Фонвизина иначе: онъ будто бы принужденъ былъ уѣхать изъ Россіи, потому что навлекъ на себя неудовольствіе могущественнаго Потемкина.

Находясь за-границей, Фонвизинъ поддерживалъ дѣятельную переписку съ Н. Ив. Панинымъ и съ московскими родными. Въ обширныхъ и интересныхъ письмахъ изъ Франціи русскаго сатирика читатель находитъ рядъ замѣтокъ о жизни двора и дворянства, о положеніи духовенства, объ административномъ и судебномъ строѣ французскаго королевства, о бытѣ крестьянъ, объ ученыхъ учрежденіяхъ и людяхъ, объ искусствѣ и артистахъ. Общій тонъ заграничныхъ писемъ Фонвизина вызвалъ рѣзкое осужденіе кн. Вяземскаго: «Дома бичъ предразсудковъ, ревни-

тель образованности и успѣховъ разума, Фонвизинъ-путешественникъ смотритъ на все глазами предразсудка и только что не гласнымъ образомъ, а отрицательными умствованіями проповѣдуетъ выгоду невѣжества». Такъ ли? Фонвизинъ, по справедливому замѣчанію Н. С. Тихонравова, — «по природной склонности къ насмѣшливости, смотрѣлъ на заграничную жизнь глазами сатирика и описанія путешествій, служившія для него образцами, выбиралъ также написанныя въ сатирическомъ родѣ». Но и оставаясь вѣрнымъ своему сатирическому таланту, Фонвизинъ не закрывалъ глазъ передъ тѣми сторонами иноземнаго быта, которыя заслуживали уваженія и симпатіи. «Надобно отрещись вовсе отъ общаго смысла и истины, говоритъ онъ, если сказать, что нѣтъ здѣсь весьма много чрезвычайно хорошаго и подражанія достойнаго». Русскому путешественнику нравятся нѣкоторыя черты французскаго народнаго характера: «сердечная доброта», привязанность къ родинѣ. Французы, по отзыву Фонвизина, — «нація просвѣщенная и, по справедливости сказать, человѣколюбивѣйшая». Это замѣчаніе о *просвѣщенной* націи показываетъ, чѣмъ именно дорожилъ и интересовался Фонвизинъ при изученіи европейской, въ частности — французской жизни: его вниманіе привлекала культура Франціи, ея наука, литература, искусство. Удивляясь «множеству способовъ просвѣщенія» во Франціи, Фонвизинъ старался воспользоваться этими способами для пополненія своего образованія: онъ учился юриспруденціи у французскаго адвоката, слушалъ курсъ экспериментальной физики у Бриссона, пригласилъ къ себѣ для чтенія лекцій какого-то «учителя философіи», знакомился съ французскими писателями, усердно пополнялъ свою библіотеку, посѣщалъ засѣданія ученыхъ и литературныхъ обществъ. Въ одномъ изъ такихъ обществъ или съѣздовъ (le rendez-vous de la République des lettres et des arts) русскій писатель выступилъ съ сообщеніемъ объ особенностяхъ родного языка: «я имѣлъ удачу понравиться въ собраніи разсказываніемъ о свойствѣ нашего языка», замѣчаетъ онъ въ одномъ изъ писемъ къ роднымъ. По поводу своихъ занятій правовѣдѣніемъ Фонви-

зинъ выражается такъ: «Главное раченіе мое обратилъ я къ познанію здѣшнихъ законовъ. Сколь много не совмѣстны они въ подробностяхъ своихъ съ нашими, столь, напротивъ того, *общія правосудія правила просвѣщаютъ меня въ познаніи существа самой истины* и въ способахъ находить ее въ той мрачной глубинѣ, куда свергаютъ ее невѣжество и ябеда. Система законовъ сего государства есть зданіе, можно сказать, премудрое, сооруженное многими вѣками и рѣдкими умами». Находясь въ Парижѣ, авторъ «Бригадира» не могъ, конечно, не заинтересоваться французскимъ театромъ. Отъ комедіи французской Фонвизинъ въ восторгѣ. «Что принадлежитъ до спектаклей, пишетъ онъ, то комедія возведена здѣсь на возможную степень совершенства. Нельзя, смотря ее, не забываться до того, чтобъ не почесть ее истинною исторіею, въ тотъ моментъ происходящею. Я никогда себѣ не воображалъ видѣть подражаніе натурѣ столь совершеннымъ. Словомъ, комедія въ своемъ родѣ есть лучшее, что я въ Парижѣ видѣлъ».

Говоря о французской литературѣ, Фонвизинъ не скрываетъ недостатковъ нравственнаго характера нѣкоторыхъ писателей, какъ бы ни былъ великъ ихъ талантъ и литературный авторитетъ; онъ говоритъ объ этихъ недостаткахъ въ очень рѣзкихъ выраженіяхъ, но самая рѣзкость этихъ выраженій свидѣтельствуетъ о силѣ впечатлѣнія, оставленнаго въ душѣ нашего писателя произведеніями французской литературы. «Не могу вамъ довольно изъяснить, пишетъ онъ, какими скаредами нашелъ я въ натурѣ тѣхъ людей, *коихъ сочиненія вселили въ меня душевное къ нимъ почтеніе*». Въ этихъ словахъ слышится разочарованіе и обида; русскому писателю до боли досадно отъ того, что нравственный уровень французской литературной среды оказался не соотвѣтствующимъ высотѣ талантовъ, блестѣвшихъ въ этой средѣ. Фонвизинъ цѣнилъ писателей, которые «соединили свои знанія съ поведеніемъ». Такими, по его суду, оказались Руссо, съ которымъ, впрочемъ, русскому путешественнику не удалось познакомиться, и Тома (Thomas), авторъ «Похвальнаго слова Марку Аврелію»,

которое переведено было Фонвизинымъ на русскій языкъ. «Судьба не велѣла мнѣ видѣть славнаго Руссо, пишетъ Фонвизинъ сестрѣ. Твоя однакожь правда, что чуть ли онъ не всѣхъ почтеннѣе и честнѣе изъ господъ философовъ нынѣшняго вѣка. По крайней мѣрѣ безкорыстіе его было строжайшее». О Тома нашъ писатель отзывается такъ: «Исключая Томаса, котораго кротость и честность мнѣ очень понравились, нашелъ я почти во всѣхъ другихъ много высокомѣрія, лжи, корыстолюбія и подлѣйшей лести». Одинъ изъ историковъ французской литературы называетъ Тома, любимца нашего сатирика, «un homme de bien qu'aucun soupçon ne peut atteindre et qui échappa complétement *à la contagion morale dans un siècte de licence*,.... philosophe à la manière des anciens, disciple d'Epictete et de Marc-Aurèle égaré parmi des épicuriens». Что касается сужденій нашего писателя объ общественныхъ отношеніяхъ и административныхъ порядкахъ Франціи, то для правильной оцѣнки этихъ сужденій нужно припомнить время, къ которому относятся наблюденія Фонвизина,— время, когда старый государственный строй, ancien régime, доживалъ свои послѣдніе дни. Французскіе историки пользуются письмами Фонвизина, какъ цѣннымъ матеріаломъ для изображенія нѣкоторыхъ сторонъ быта дореволюціонной Франціи. Въ исторической хрестоматіи (Lectures historiques) по исторіи новаго времени, составленной Ж. Лакуръ-Гайе, приведено нѣсколько отрывковъ изъ писемъ Фонвизина, рисующихъ «сцены провинціальной жизни» (гл. XVIII, отд. II); отрывки приведены по французскому переводу, изд. съ предисловіемъ Мельхіора де Вогюэ. — Въ дополненіе слѣдуетъ замѣтить, что дѣлясь съ своими корреспондентами наблюденіями надъ европейской жизнью, авторъ никогда не забывалъ своего Иванушки. Онъ боялся и тѣни сходства съ тѣми людьми, которые выдавали себя за знатоковъ и поклонниковъ европейскаго образованія, не понимая на самомъ дѣлѣ и не умѣя понимать истиннаго смысла этого образованія. «Я очень радъ, что видѣлъ чужіе края, пишетъ Фонвизинъ сестрѣ. По крайней, мѣрѣ не могутъ мнѣ импозировать наши

Jean de France... Спору нѣтъ, много есть (здѣсь) очень хорошаго, но повѣрь же мнѣ, истинно хорошаго сіи господа конечно и не примѣчали; оно ушло отъ ихъ вниманія. Можно вообще сказать, что хорошее здѣсь найдешь, поискавши, а худое само въ глаза валитъ». Въ этихъ послѣднихъ словахъ открывается предъ нами сатирикъ. Худое ему «въ глаза валитъ»; поэтому и картины, изображающія это худое, выходили подъ его перомъ болѣе живыми, болѣе колоритными, чѣмъ замѣтки о «хорошемъ и подражанія достойномъ».

При сложныхъ и многочисленныхъ занятіяхъ Фонвизина во время службы при Панинѣ списокъ его литературныхъ произведеній этой поры не могъ оказаться очень обширнымъ. Въ 1771 г. напечатано составленное Фонвизинымъ «Слово на выздоровленіе великаго князя Павла Петровича».—22 августа 1775 г. Фонвизинъ выбранъ былъ членомъ «Вольнаго россійскаго собранія» при Московскомъ университетѣ. Общество имѣло цѣлію «исправленіе и обогащеніе Россійскаго языка чрезъ изданіе полезныхъ, а особливо къ наставленію юношества потребныхъ сочиненій и переводовъ, стихами и прозою»; отъ 1774 по 1783 г. было издано 6 частей «Опыта трудовъ Вольнаго росс. собранія». Вѣроятно, къ этому изданію относится указанный кн. Вяземскимъ отрывокъ какой-то статьи Фонвизина подъ заглавіемъ: «Мнѣніе о избраніи піесъ въ Московскія сочиненія». Въ 1777 г. изданъ упомянутый выше переводъ «Похвальнаго слова Марку Аврелію», — 24 сентября 1782 г. «представлена въ первый разъ въ Санктпетербургѣ» комедія «Недоросль»; въ печати эта комедія появилась въ 1783 г. Въ этомъ же году кн. Дашкова предприняла періодическое изданіе, подъ заглавіемъ «Собесѣдникъ любителей россійскаго слова»; къ участію въ этомъ изданіи привлечены всѣ лучшія литературныя силы того времени: Державинъ, Богдановичъ, Княжнинъ, Капнистъ и др. Фонвизинъ помѣстилъ въ «Собесѣдникѣ» слѣдующія статьи: «Опытъ россійскаго сословника»; «Примѣчанія на критику опыта росс. сословника»; «Вопросы автору Былей и Небылицъ» (вмѣстѣ съ Вопросами

помѣщены были и «Отвѣты сочинителя Былей и Небылицъ»); «Челобитная Россійской Минервѣ отъ Россійскихъ писателей»; «Къ сочинителю Былей и Небылицъ отъ сочинителя Вопросовъ»; «Поученіе, говоренное въ Духовъ день іереемъ Василіемъ». По указанію С. Н. Глинки, Фонвизину также принадлежитъ помѣщенный въ Собесѣдникѣ сатирическій разсказъ: «Повѣствованіе мнимаго глухаго и нѣмаго». Кромѣ перечисленныхъ произведеній, къ этой же порѣ литературной дѣятельности Фонвизина (1770—1783) съ большей или меньшей вѣроятностью относятся: сатирическое стихотвореніе «Посланіе къ Ямщикову» (извѣстенъ только отрывокъ); «Каллисѳенъ, греческая повѣсть»; «Та-гіо или великая наука, заключающая въ себѣ высокую китайскую философію» (переводъ); «Обманчивая наружность, или человѣкъ нынѣшняго свѣта» (отрывокъ перевода одной изъ комедій Буасси: Les dehors trompeurs, ou l'homme du jour); «Краткое изъясненіе о вольности французскаго дворянства и о пользѣ третьяго чина» (переводъ); отрывокъ статьи «О почтахъ»; проектъ государственныхъ реформъ, составленный подъ руководствомъ Н. Панина. Въ 1778 г. Фонвизинъ хлопоталъ объ изданіи какого-то лексикона. «Я вижу, что и лексиконъ нашъ умираетъ при самомъ своемъ рожденіи, писалъ Фонвизинъ Я. И. Булгакову 25 янв. 1778 г. — Повивальная бабушка, т. е. Даниловскій, плохо его принимаетъ. Я считалъ его за половину, а онъ еще около первыхъ литеръ шатается. Увѣдомьте меня искренно, не спала ли у него охота. Я купилъ уже le grand Vocabulaire. Въ маѣ онъ его вѣрно получитъ; но если молодецъ лѣнится, то пожалуйте, по привозѣ le grand Vocabulaire, продайте его скорѣе и деньги ко мнѣ переведите; а я за здоровье Даниловскаго роздамъ ихъ нищимъ, между которыми много будетъ за него богомольцевъ и изъ кавалеровъ св. Людовика» Быть можетъ, Даниловскій, по порученію Фонвизина, подготовлялъ матеріалы для того труда, отрывки изъ котораго изданы были въ «Собесѣдникѣ л. р. сл.» подъ заглавіемъ «Опытъ Россійскаго сословника», т. е. объясненія синонимовъ. Давно замѣчено, что большая часть словотол-

кованій Фонвизина представляетъ переводъ изъ книги Жирара (Girard): Synonymes françois. Упоминаніе о le grand vocabulaire могло относиться къ другому словарному труду: Le grand vocabulaire françois, contenant 1° l'explication de chaque mot considéré dans ses diverses acceptions grammaticales propres, figurées, synonymes et relatives; 2° les loix de l'orthographie, celle de la prosodie etc. Par une société de gens de lettres (Paris, 1767 — 1774 г.). Сотрудникомъ Фонвизина былъ, вѣроятно, Іоакимъ Евѳимовичъ Даниловскій, издавшій впослѣдствіи переводъ французской грамматики Ресто (Спб. 1812).

Въ 1771 г. А. П. Сумароковъ въ Послѣсловіи къ своему «Димитрію Самозванцу» жаловался на то, что въ драматической литературѣ «ввелся новый и пакостный родъ слезныхъ комедій»; эти комедіи «вползли уже въ Москву, не смѣя появиться въ Петербургѣ, нашли всенародную похвалу и рукоплесканіе». Александръ Петровичъ напрасно утѣшалъ себя, предполагая, что петербургская сцена остается вѣрною строго-классическимъ преданіямъ. Слезныя комедіи имѣли одинаковый успѣхъ и въ Москвѣ и въ Петербургѣ. Еще въ 1765 г. знакомый намъ соперникъ Фонвизина В. И. Лукинъ въ предисловіи къ пьесѣ: «Мотъ любовію исправленный» говорилъ о любителяхъ «жалостныхъ комедій», объ успѣхѣ пьесъ Детуша (Destouches) и Нивель де-ла-Шоссе (Nivelle de la Chaussée). «Одна и весьма малая часть партера любитъ характерныя, жалостныя и благородными мыслями наполненныя, а другая, и главная, веселыя комедіи. Вкусъ первыхъ съ того времени утвердился, какъ они увидѣли де-Тушевы и Шоссеевы комедіи». О покровителѣ Лукина Ив. П. Елагинѣ сохранилось извѣстіе, что онъ перевелъ «почти всѣ драматическія сочиненія Детуша». Вмѣстѣ съ переводами жалостныхъ комедій стали появляться и оригинальныя произведенія этого рода. Къ слезнымъ комедіямъ принадлежитъ, по литературному характеру, и «Недоросль» Фонвизина. По вѣрному замѣчанію кн. Вяземскаго, въ содержаніи комедіи «Недоросль» и въ лицѣ Простаковой «скрываются всѣ лютыя страсти, нужныя для

соображеній трагическихъ: разумѣется, что трагедія будетъ не по греческой или по французской классической выкройкѣ, но не менѣе того развязка можетъ быть трагическая»; впрочемъ и въ данной Фонвизинымъ развязкѣ Недоросля, въ этомъ крикѣ отчаянія, вырвавшемся изъ сердца Простаковой: «Нѣтъ у меня сына!» есть несомнѣнный трагизмъ. Біографъ и критикъ Фонвизина находитъ въ «Недорослѣ» одинъ недостатокъ: «недостатокъ изобрѣтенія и неподвижность событія. Изъ сорока явленій, въ числѣ коихъ нѣсколько довольно длинныхъ, едва ли найдется во всей драмѣ треть, и то короткихъ, входящихъ въ составъ самаго дѣйствія и развивающихся изъ него, какъ изъ драматическаго клубка». Но эти недостатки въ построеніи драмы оставались незамѣтными и ничтожными для современниковъ Фонвизина: они забывали о разматываніи драматическаго клубка, когда передъ ними развертывалась поразительная картина «злонравія», выросшаго на почвѣ крѣпостныхъ отношеній,—картина дикаго произвола, одинаково гибельнаго для господъ и рабовъ. «Недоросль», по словамъ Фонвизина, имѣлъ «полный успѣхъ» (Письмо къ Медоксу). Въ «Драматическомъ словарѣ» отмѣчено, что при первомъ представленіи «Недоросля» «несравненно театръ былъ наполненъ и публика апплодировала піесу метаніемъ кошельковъ» (подарковъ артистамъ). Заслуживавшая «вниманіе отъ публики» и «принятая съ отмѣннымъ удовольствіемъ отъ всѣхъ» комедія «почасту на санктпетербургскомъ и московскомъ театрахъ была представляема». Сохранилось преданіе, что Потемкинъ, «выходя изъ театра и увидѣвъ сочинителя, съ обыкновеннымъ своимъ просторѣчіемъ сказалъ ему шутя: «Умри теперь, Денисъ, или хоть больше ничего ужъ не пиши: имя твое безсмертно будетъ по этой одной піесѣ» (Словарь м. Евгенія).

Въ мрачныя картины «злонравія» и порока драматурги стараго времени вводили, обыкновенно, нѣсколько свѣтлыхъ образовъ, олицетворявшихъ добро и правду. Эти добродѣтельныя лица рѣдко увеличиваютъ художественное достоинство комедіи, но они важны для ознакомленія съ взглядами и симпатіями дра-

матурговъ. Въ «Недорослѣ» главнымъ представителемъ воззрѣній автора выступаетъ Стародумъ, умоначертаніе котораго указывается отчасти его именемъ: «отецъ мой воспиталъ меня по тогдашнему, говоритъ Стародумъ. — Служилъ онъ Петру Великому. *Тогда* одинъ человѣкъ назывался ты, а не вы; тогда не знали еще заражать людей столько, чтобъ всякій считалъ себя за многихъ. За то *ноньче* многіе не стоютъ одного». Въ этомъ противопоставленіи «тогда» и «ноньче», былого и настоящаго, Фонвизинъ сходится съ нѣкоторыми современными ему писателями, какъ Новиковъ, Болтинъ и др. «*Въ старину думали*,—читаемъ въ Трутнѣ, — что для украшенія разума науками надлежитъ цѣлый жить вѣкъ, то есть посвятить себя наукамъ,... изъ чего сдѣлали пословицу: Вѣкъ живи и вѣкъ учись. Но молодые наши дворяне, увидя ясно невѣжество предковъ своихъ, изъ сего заблужденія вышли и изъ стараго правила сдѣлали новое: Недѣлю учися и вѣкъ живи». Въ выраженіи новиковскаго журнала: «въ старину думали» слышится, очевидно, голосъ такого же Стародума, какого рисуетъ Фонвизинъ. Было бы, однако, ошибкой причислять Фонвизина или Новикова къ людямъ, которые помѣщаютъ всѣ свои симпатіи въ быломъ, которые томятся страннымъ желаніемъ остановить движеніе исторической жизни или даже направить это движеніе вспять. Авторъ «Недоросля», съ такой силой изображавшій недуги стараго быта, не могъ, конечно, быть сторонникомъ попятнаго движенія. Пользуясь идеализаціей былого для болѣе яркаго освѣщенія неприглядныхъ сторонъ современности, Фонвизинъ не пропускалъ, однако, случая, когда могъ высказаться противъ «стариннаго рабства» и невѣжества. Въ «Сокращенномъ описаніи житія графа Никиты Ивановича Панина», представляющемъ въ сущности не біографію этого министра, а идеальное изображеніе «добродѣтельнаго мужа», Фонвизинъ рисуетъ достоинства государственнаго человѣка такими чертами: «По внутреннимъ дѣламъ гнушался онъ въ душѣ своей поведеніемъ тѣхъ, кои по своимъ видамъ, невѣжеству и рабству составляютъ государственный секретъ изъ того, что въ

націи благоустроенной должно быть извѣстно всѣмъ и каждому, какъ-то: количество доходовъ, причины налоговъ и проч. Не могъ онъ терпѣть, чтобъ по дѣламъ гражданскимъ и уголовнымъ учреждались самовластіемъ частныя коммиссіи мимо судебныхъ мѣстъ, установленныхъ защищать невинность и наказывать преступленія. Съ содроганіемъ слушалъ онъ о всемъ томъ, что могло нарушить порядокъ государственный,... всякій подвигъ презрительной корысти и пристрастія, всякій обманъ, обольщающій очи государя или публики, всякое низкое дѣйствіе душъ, зматерѣвшихъ въ *робости стариннаго рабства* и возведенныхъ слѣпымъ счастіемъ на знаменитыя степени, приводили въ трепетъ добродѣтельную его душу».

Племянникъ автора «Недоросля», М. А. Фонвизинъ, сохранилъ извѣстіе, что по порученію и подъ руководствомъ Н. Панина Денисомъ Ивановичемъ составленъ былъ проектъ государственныхъ реформъ. Въ проектѣ шла рѣчь о верховномъ сенатѣ, которому предполагалось предоставить законодательную власть, о губернскихъ и уѣздныхъ дворянскихъ собраніяхъ, о постепенномъ освобожденіи крѣпостныхъ. Теперь извѣстно лишь введеніе къ этому акту, содержащее общія разсужденія, мотивировавшія, очевидно, потребность реформы. Рѣзкими чертами изображается здѣсь тяжелое положеніе государства при господствѣ временщиковъ и любимцевъ, когда «никто не намѣренъ заслуживать, всякой ищетъ выслуживать». Въ самомъ дѣлѣ, «посвятя жизнь свою военной службѣ, лестно ли дослужиться до полководства, когда вчерашній капралъ, неизвѣстно кто, и сказать стыдно, за что становится сегодня полководцемъ и принимаетъ начальство надъ заслуженнымъ и ранами покрытымъ офицеромъ?» Авторъ проекта пытается выяснить истинныя основы государственнаго благосостоянія: «при изслѣдованіи, въ чемъ состоитъ величайшее благо государствъ и народовъ, и что есть истинное намѣреніе всѣхъ системъ законодательства, найдемъ необходимо два главнѣйшіе пункта: вольность и собственность». Окружавшая писателя дѣйствительность была далека отъ живого осуществленія этихъ

пунктовъ. «Представимъ себѣ, говоритъ Фонвизинъ, государство, гдѣ люди составляютъ собственность людей, гдѣ человѣкъ одного состоянія имѣетъ право быть вмѣстѣ истцомъ и судьею надъ человѣкомъ другого состоянія, гдѣ каждый слѣдственно можетъ быть или тиранъ, или жертва,... гдѣ народъ, пресмыкаясь во мракѣ глубочайшаго невѣжества, носитъ безгласно бремя жестокаго рабства». Любопытно для объясненія дѣла сопоставить эти замѣчанія Фонвизина и Панина съ нѣкоторыми мѣстами изъ писемъ (1778—1779 гг.) цесаревича Павла Петровича къ П. И. Панину: «по несчастію употребляются они (государственные доходы) или на то, чтобъ доставить себѣ удовольствія,... или на то, чтобъ окружать себя людьми, кои, недовольствуясь милліонами, которые имъ даются, удвояютъ расходъ ихъ непорядочнымъ поведеніемъ и правленіемъ частей своихъ»;—«спокойствіе внутреннее зависитъ отъ спокойствія каждаго человѣка, составляющаго общество; чтобъ каждый былъ спокоенъ, то должно, чтобъ его собственныя, такъ и другихъ, подобныхъ ему, страсти были обузданы, — чѣмъ ихъ обуздать инымъ, какъ законами? Они общая узда, и такъ должно о семъ фундаментѣ спокойствія общаго подумать. Здѣсь опять воспрещаю себѣ болѣе о семъ говорить, ибо нечувствительно сіе разсужденіе довело бы меня до того пункта, отъ котораго твердость и непоколебимость законовъ зависитъ, утверждая навсегда бытіе и состояніе на вѣчность каждаго и рода его».... Сохранилось преданіе, что проектъ реформъ составленъ былъ Панинымъ и Фонвизинымъ съ вѣдома вел. кн. Павла Петровича и его супруги Натальи Алексѣевны, сочувствовавшихъ предположеніямъ реформаторовъ. Мысли, выраженныя въ проектѣ, должны были лечь въ основу законоположенія, которому Павелъ Петровичъ имѣлъ въ виду придать, по своемъ воцареніи, значеніе государственнаго устава.

Важныхъ государственныхъ и общественныхъ вопросовъ касается Фонвизинъ и въ нѣкоторыхъ литературныхъ своихъ работахъ. Въ «Челобитной Россійской Минервѣ», вызванной, какъ догадываются, столкновеніемъ Державина съ кн. А. А. Вя-

земскимъ, обращается вниманіе «Минервы» на положеніе литературы, на правовыя отношенія россійскихъ писателей: они жалуются въ своей челобитной на «знаменитыхъ невѣждъ», которые «постановили между собою условіе: всякое знаніе, а особливо словесныя науки, почитать не иначе какъ уголовнымъ дѣломъ». Глубоко-серьезное значеніе имѣютъ также нѣкоторые «Вопросы» Фонвизина, обращенные къ автору «Былей и небылицъ». Въ «Бригадирѣ» набросанъ портретъ отставного взяточника, который откровенно сознается, что бралъ и съ виновныхъ и съ правыхъ: «Я самъ бывалъ судьею,—говоритъ совѣтникъ,—виноватый, бывало, платитъ за вину свою, а правый за свою правду; и такъ въ мое время всѣ довольны были: и судья, и истецъ, и отвѣтчикъ». Такимъ образомъ «правосудіе претворилось въ торжище», какъ замѣчено въ предисловіи къ проекту реформъ. Въ «Вопросахъ» Фонвизинъ осторожно намекаетъ на гласность судопроизводства, какъ на одну изъ мѣръ для прекращенія «торжища»: «Отъ чего у насъ тяжущіеся не печатаютъ тяжебъ своихъ и рѣшеній правительства?» (вопр. 5). Екатерина отвѣчаетъ шуткой: «Для того, что вольныхъ типографій до 1782 г. не было».— Вопросъ 10-й («Отъ чего въ вѣкъ законодательный никто въ сей части не помышляетъ отличиться?») имѣлъ цѣлію напомнить автору «Былей и небылицъ» былые годы, пору Наказа и Комиссіи объ уложеніи. Вопросъ 21 («Въ чемъ состоитъ нашъ національный характеръ?») любопытенъ, какъ показатель пробудившейся въ русскомъ обществѣ потребности національнаго самоопредѣленія; Фонвизинъ не безъ причины предложилъ этотъ вопросъ императрицѣ Екатеринѣ: онъ помнилъ тѣ замѣчанія о «народномъ умствованіи», которыя внесены были въ «Наказъ» подъ вліяніемъ взглядовъ Монтескье: «Многія вещи господствуютъ надъ человѣкомъ: вѣра, климатъ, законы, правила, принятыя въ основаніе отъ правительства, примѣры дѣлъ прешедшихъ, нравы, обычаи. Отъ сихъ вещей рождается общее въ народѣ умствованіе съ оными сообразуемое.... Законоположеніе должно примѣнять къ народному умствованію. Мы ничего лучше не дѣ-

лаемъ, какъ то, что дѣлаемъ вольно, не принужденно и слѣдуя природной нашей склонности» (гл. VI, § 45, 46, 57).

31 марта 1783 г. умеръ Н. И. Панинъ. Его секретарю пришлось присутствовать при тягостномъ актѣ разбора бумагъ государственнаго человѣка. Гр. Ив. Андр. Остерманъ, производившій осмотръ, потребовалъ, чтобы открытъ былъ гардеробъ, предполагая, что и тамъ могутъ оказаться государственные документы. Открыли. «Тутъ, разсказывалъ Фонвизинъ, нашлись старые сапоги, и великая душа его успокоилась». Вскорѣ послѣ смерти Н. Панина Фонвизинъ вышелъ въ отставку «съ чиномъ статскаго совѣтника и ежегоднымъ пенсіономъ въ 3 т. рублей изъ почтовыхъ доходовъ» (Зап. Клостермана).

Въ исторіи нашего просвѣщенія 1783 годъ памятенъ, какъ годъ учрежденія Россійской академіи. Въ спискѣ лицъ, вступившихъ въ члены академіи при ея открытіи (21 окт.), значится и имя Фонвизина. Онъ посѣщалъ первыя засѣданія новаго учрежденія, принималъ дѣятельное участіе въ его работахъ. Вскорѣ послѣ открытія академіи при ней образована была комиссія («отрядъ»), которая должна была выработать руководящія правила для составленія словаря русскаго языка. Въ составъ отряда вошли: митроп. Гавріилъ Петровъ, Фонвизинъ, Леонтьевъ, Румовскій и Лепехинъ. «Планъ или начертаніе словаря, послужившее основою для дальнѣйшихъ работъ,—говоритъ историкъ Россійской академіи, — представлено въ академію какъ «сочиненное отрядомъ», но есть основаніе полагать, что истиннымъ авторомъ его былъ Фонвизинъ. Онъ, а не кто другой изъ членовъ, читалъ начертаніе въ собраніи Россійской академіи; онъ же горячо отстаивалъ начертаніе и въ личныхъ бесѣдахъ и въ письменныхъ сношеніяхъ съ своими сочленами». Главныя возраженія противъ начертанія сдѣланы были Болтинымъ. Фонвизинъ отвѣчалъ на эти возраженія въ формѣ письма къ О. И. Козодавлеву. Кромѣ этого труда, Фонвизинъ, по порученію академіи, составилъ «аналогическую таблицу буквъ К и Л» (т. е. списокъ словъ, начинающихся этими буквами), выбиралъ слова изъ «Лѣтописца ар-

хангелогородскаго», записывалъ «охотничьи термины» со словъ П. И. Панина, собиралъ «производныя и сложныя слова отъ глагола *дать*», продолжалъ также работать надъ своимъ «Сословникомъ».

Изъ письма Дениса Ивановича къ кн. Дашковой узнаемъ, что словарныя работы были закончены и представлены въ академію въ началѣ 1784 г. Фонвизинъ жилъ въ это время въ Москвѣ. Лѣтомъ 1784 г. онъ отправился вмѣстѣ съ женой въ заграничное путешествіе, продолжавшееся цѣлый годъ. Маршрутъ былъ такой: Пруссія, Саксонія, Баварія, Тироль, Италія. Путешественники останавливались въ Кенигсбергѣ, Лейпцигѣ, Нюренбергѣ, Аугсбургѣ, Инсбрукѣ, Боценѣ; въ Италіи пробыли около 8 мѣсяцевъ. На обратномъ пути останавливались въ Вѣнѣ, чтобы посовѣтоваться съ «славнымъ вѣнскимъ медикомъ Столле». Вернувшись на родину лѣтомъ 1785 г., Фонвизины поселились въ Москвѣ.

Связи съ міромъ дипломатическимъ и придворнымъ поддерживались Фонвизинымъ и послѣ отставки. Слѣды этого есть въ его письмахъ изъ-за границы. Въ Аугсбургѣ явился къ нему «русскій нашъ агентъ Кизовъ, къ которому Безбородко писалъ... сильную рекомендацію»; въ Пизѣ Фонвизинъ видѣлся съ С. Ром. Воронцовымъ, русскимъ посломъ въ Венеціи. Въ Ливорно нашъ консулъ далъ русскимъ путешественникамъ «большой обѣдъ и пригласилъ лучшихъ людей». Посолъ въ Вѣнѣ кн. Д. М. Голицынъ принялъ Фонвизина «очень хорошо». Сестра императора Іосифа II, эрцгерцогиня Елизавета, жившая въ Инсбрукѣ, узнавъ о пріѣздѣ Фонвизина, пожелала съ нимъ познакомиться; прощаясь съ путешественникомъ, герцогиня поручила ему «сказать ея поклонъ» вел. герцогу Тосканскому и королевѣ неаполитанской. Во Флоренціи, Римѣ, Венеціи Фонвизинъ знакомился съ мѣстной знатью.

Въ письмахъ изъ Германіи и Италіи раздражительность и ворчливость сатирика выказываются еще сильнѣе, чѣмъ въ письмахъ изъ Франціи 1777—1778 гг. По поводу этой раздражи-

тельности нужно замѣтить, что въ нѣкоторой, быть можетъ, даже въ очень значительной мѣрѣ, она объясняется болѣзненностью путешественника. «Я наслѣдовалъ... отъ матери моей,—говоритъ Фонвизинъ въ «Признаніи»,—головную боль, которою она во всю жизнь страдала и которая, промучивъ меня все время моего младенчества, юношества и большую часть совершенныхъ лѣтъ, лишила меня многихъ способовъ къ счастію; напримѣръ: въ университетѣ пропускалъ я многія важныя лекціи за головною болью, въ юношествѣ головная боль мѣшала мнѣ часто показать мою исправность въ отправленіи службы». Такимъ людямъ, какъ авторъ «Признанія», нужны привычныя удобства, опредѣленный образъ жизни, возможность покоя и отдыха. Путешествіе, нарушающее установившіяся привычки, можетъ оказаться для нихъ мукой. Въ заграничныхъ письмахъ Фонвизина разбросано нѣсколько замѣтокъ о мучительныхъ пароксизмахъ, которые пришлось ему вынести во время дороги. Эти болѣзненныя ощущенія должны были, конечно, оставить темный налетъ и на путевыхъ наблюденіяхъ. «Сказать могу безпристрастно, пишетъ Фонвизинъ сестрѣ,—что отъ Петербурга до Ниренберга балансъ со стороны нашего отечества перетягиваетъ сильно. Здѣсь во всемъ генерально хуже нашего: люди, лошади, земля, изобиліе въ нужныхъ съѣстныхъ припасахъ, словомъ: у насъ все лучше и мы больше люди, нежели нѣмцы». Позже знакомство съ Италіей заставило Фонвизина смягчить сужденіе о нѣмцахъ: «Дороговизна въ Веронѣ ужасная: за все, про все червонный. Я договорился съ хозяиномъ, потому что въ Италіи безъ договора за рюмку воды заплатишь червонный. Надобно отдать справедливость нѣмецкой землѣ, что въ ней житье вполы дешевле и вдвое лучше». «Рады мы, что Италію увидѣли, но можно искренно признаться, что еслибъ мы дома могли такъ ее вообразить, какъ нашли, то конечно бы не поѣхали. Одни художества стоятъ вниманія, прочее все на Европу не походитъ». Лишь только рѣчь заходитъ объ итальянскомъ искусствѣ, тонъ писемъ мѣняется. Осматривая церкви и дворцы въ Болоньѣ, Фонвизинъ вездѣ находилъ «сокро-

вища неизреченныя». Памятники искусства, собранные въ Флорентійской галлереѣ, «составляютъ прямыя государственныя сокровища», по выраженію нашего путешественника. Соборъ св. Петра въ Римѣ поразилъ и очаровалъ его: «кажется, что сей храмъ создалъ Богъ для самого себя. Здѣсь можно жить сколько хочешь лѣтъ, и всякій день захочешь быть въ церкви св. Петра. Чѣмъ больше ее видишь, тѣмъ больше видѣть ее хочешь; словомъ, человѣческое воображеніе постигнуть не можетъ, какова эта церковь. Надобно непремѣнно ее видѣть, чтобъ имѣть о ней истинное понятіе. Я всякій день хожу въ нее раза по два».

Любуясь произведеніями искусства, Фонвизинъ не забывалъ, впрочемъ, и торговыхъ своихъ дѣлъ. Въ Нюренбергѣ онъ нашелъ «много хорошихъ живописцевъ и другихъ художниковъ», которые, однако, «умираютъ съ голоду, потому что покупать некому». «Посѣщалъ я сихъ бѣдняковъ, говоритъ Фонвизинъ, лазилъ къ нимъ на чердаки и много кое-чего накупилъ по моей коммерціи и отправилъ въ Петербургъ». Въ письмѣ къ сестрѣ изъ Вѣны отъ 2 іюня 1785 г. Фонвизинъ упоминаетъ о своихъ сношеніяхъ съ Клостерманомъ: «За неоставленіе Клостермана покорно благодарствую. Онъ пишетъ ко мнѣ, что въ Москвѣ тысячи на три продалъ. Я отправилъ къ нему со всячиною семнадцать большихъ ящиковъ; кажется, что тутъ мы съ нимъ свой счетъ найдемъ».

По возвращеніи изъ заграничнаго путешествія Фонвизину, по его словамъ (въ «Разсужденіи о суетной жизни человѣческой»), «представлялся случай къ возвышенію въ суетную знаменитость». На что именно намекаютъ эти слова—не знаемъ; знаемъ только, что возвышеніе не состоялось, да и не могло состояться. Въ одномъ изъ своихъ заграничныхъ писемъ Фонвизинъ жалуется на «слабость нервовъ и онѣмѣніе лѣвой руки и ноги, оставшіяся послѣ жестокой въ Римѣ болѣзни». Эта болѣзнь была предвѣстницей паралича, который поразилъ Дениса Ивановича въ Москвѣ 29 авг. 1785 г. Клостерманъ, посѣтившій Фонвизина въ декабрѣ этого года, такъ описываетъ состояніе своего несчастнаго друга: «Онъ страдалъ разслабленіемъ всѣхъ членовъ и едва владѣлъ

языкомъ. Въ тусклыхъ глазахъ его засвѣтился лучъ радости, когда я подошелъ къ его постели; онъ хотѣлъ, но не могъ обнять меня, силился привѣтствовать меня словами, но языкъ не слушался и произносилъ невнятные звуки. Наконецъ удалось ему подать мнѣ лѣвую руку, которую я прижалъ къ груди своей... Правая рука у него совсѣмъ отнялась, такъ что онъ и двигать ею не могъ, и пытался писать лѣвою, но выводилъ по бумагѣ какіе-то знаки, по которымъ съ трудомъ можно было догадаться, что ему хотѣлось выразить. Душевныя способности также ослабли; но кушалъ онъ отлично и, не взирая на запрещеніе врача, требовалъ то того, то другого изъ любимыхъ снѣдей. Въ случаѣ отказа, вслѣдствіе неудобоваримости, онъ велъ себя, какъ малый ребенокъ, и нужно было пускать въ ходъ даже строгости, чтобы онъ успокоился». Послѣднее замѣчаніе Клостермана о «любимыхъ снѣдяхъ» объясняется маленькой слабостью нашего сатирика. Въ дневникахъ его путешествій разсѣяно не мало замѣтокъ объ обѣдахъ и ужинахъ. Онъ записывалъ, гдѣ его накормили «очень хорошо», гдѣ «весьма скверно», гдѣ «изряднехонько». Извѣстенъ анекдотъ объ удивленіи, которое вызвалъ разъ въ Н. Панинѣ аппетитъ его секретаря. Фонвизинъ взялъ себѣ пять большихъ пироговъ, подаваемыхъ къ супу. «Что ты дѣлаешь? Давно ли мнѣ жаловался на тяжесть своей головы?»—закричалъ Панинъ.—«По этой самой причинѣ, Ваше Сіятельство, отвѣчалъ Фонвизинъ, и стараюсь я оттянуть головную боль, сдѣлавъ перевѣсъ въ желудкѣ».

Въ іюнѣ 1786 г. Катерина Ивановна Фонвизина отправилась съ больнымъ мужемъ заграницу. Продолжительное лѣченіе въ Вѣнѣ и Карлсбадѣ было не безполезно. Денисъ Ивановичъ могъ вести въ это время дневникъ, писалъ письма. Дневникъ интересенъ по нѣкоторымъ замѣткамъ, въ которыхъ пробивается живой и колкій юморъ автора, не поддававшійся, какъ видно, гнету недуга. Въ Лихвинѣ больному пришлось пустить кровь. По этому поводу Фонвизинъ вноситъ въ дневникъ такую замѣтку: «хотя московскій мой врачъ, филологъ и мартинистъ, увѣрялъ

меня, что по дорогѣ, кромѣ кузнецовъ, лѣкарей никакихъ нѣтъ, однако въ Лихвинѣ сыскали мнѣ лѣкаря, который пустилъ мнѣ тотчасъ кровь поискуснѣе самого Филолога». На обратномъ пути изъ-за границы Фонвизины остановились въ Кіевѣ. Провожавшій ихъ мальчикъ долго стучался у воротъ гостиницы. «Наконецъ вышелъ на крыльцо хозяинъ и закричалъ: Кто стучится? На сей вопросъ провожавшій насъ мальчикъ кричалъ: «Отворяй: родня Потемкина». Лишь только произнесъ онъ сію ложь, въ ту минуту ворота отворились и мы въѣхали благополучно. Тутъ почувствовали мы, что возвратились въ Россію». Подъ вліяніемъ болѣзни измѣнились, повидимому, и сужденія Фонвизина объ отечествѣ. Прежде онъ находилъ, что «у насъ все лучше», чѣмъ у сосѣдей. Теперь, перебравшись за русскую границу, онъ «возблагодарилъ внутренно Бога, что онъ вынесъ его изъ той земли, гдѣ онъ страдалъ столько душевно и тѣлесно». Въ началѣ дневника, объясняя причины отъѣзда изъ Москвы, Фонвизинъ говоритъ: «совѣтъ вѣнскаго моего медика Столя и мучительная электризація, которою меня безполезно терзали, рѣшили меня поспѣшить отъѣздомъ въ чужіе краи и избавиться Москвы, которая стала мнѣ ненавистна. Сія ненависть такъ глубоко въ сердцѣ моемъ вкоренилась, что, думаю, по смерти не истребится». Конечно, эти замѣчанія о Россіи и Москвѣ выражаютъ такое же преходящее, мимолетное настроеніе, какъ и другая, противоположная замѣтка: «у насъ все лучше»... При спокойномъ состояніи духа Фонвизинъ говорилъ иначе. Онъ ставилъ вопросъ: «Какъ истребить два сопротивные и оба вреднѣйшіе предразсудки: первый, будто у насъ все дурно, а въ чужихъ краяхъ все хорошо; второй, будто въ чужихъ краяхъ все дурно, а у насъ все хорошо»?

Осенью 1787 г. Фонвизины вернулись въ Россію и поселились въ Петербургѣ. Болѣзнь, нѣсколько ослабленная заграничнымъ лѣченіемъ, не оставляла однако Фонвизина. Лѣтомъ 1789 г. онъ ѣздилъ для лѣченія въ Ригу, Бальдонъ и Митаву. Сохранился журналъ этой поѣздки, представляющій, по выраженію

кн. Вяземскаго, «журналъ страдальца и по мученіямъ, и по самымъ средствамъ исцѣленія, которыя онъ претерпѣвалъ». Здоровье не возвращалось.

По пословицѣ, бѣда не приходитъ одна. Къ страданіямъ отъ болѣзни присоединились тревоги и хлопоты, вызывавшіяся денежными затрудненіями и продолжительной тяжбой съ барономъ Медемъ, неисправнымъ арендаторомъ витебскаго имѣнія Фонвизина. По дѣламъ этого имѣнія Денисъ Ивановичъ побывалъ въ Бѣлоруссіи въ 1792 г., незадолго до смерти. Въ Запискахъ Ив. Ив. Дмитріева сохранился разсказъ о свиданіи его съ Фонвизинымъ, по возвращеніи послѣдняго изъ поѣздки въ Витебскую губернію. Дмитріевъ былъ у Державина. Пріѣхалъ Фонвизинъ. «Онъ вступилъ въ кабинетъ Державина, поддерживаемый двумя молодыми офицерами, выпущенными изъ Шкловскаго кадетскаго корпуса и пріѣхавшими съ нимъ изъ Бѣлоруссіи. Уже онъ не могъ владѣть одною рукою; равно и одна нога одеревенѣла: обѣ поражены были параличемъ; говорилъ съ крайнимъ усиліемъ и каждое слово произносилъ голосомъ охриплымъ и дикимъ, но большіе глаза его быстро сверкали. Первый брошенный на меня взглядъ привелъ меня въ смятеніе. Разговоръ не замѣшкался». Фонвизинъ говорилъ о своихъ прежнихъ литературныхъ работахъ, а затѣмъ сказалъ хозяину, что онъ привезъ ему свою комедію: «Гофмейстеръ» («Выборъ гувернера»?). «Хозяинъ и хозяйка изъявили желаніе выслушать эту новость. Онъ подалъ знакъ одному изъ своихъ вожатыхъ. Тотъ прочиталъ комедію однимъ духомъ. Въ продолженіе чтенія авторъ глазами, киваніемъ головы, движеніемъ здоровой руки подкрѣплялъ силу тѣхъ выраженій, которыя самому ему нравились». «Игривость ума, продолжаетъ Дмитріевъ, не оставляла его и при болѣзненномъ состояніи духа». Авторъ «Недоросля» смѣшилъ своихъ собесѣдниковъ разсказами о какомъ-то почтмейстерѣ, который выдавалъ себя за горячаго поклонника Ломоносова, хотя, какъ оказалось, не читалъ ни одной изъ его одъ; о драматургѣ, который написалъ трагедію въ новомъ вкусѣ: «у всѣхъ трагедіи оканчиваются

добровольнымъ или насильственнымъ убійствомъ, а его героиня, или главное лицо, умираетъ естественною смертью». «Мы разстались съ нимъ, заканчиваетъ свой разсказъ Дмитріевъ, въ одиннадцать часовъ вечера, а на утро онъ уже былъ въ гробѣ». День смерти Фонвизина 1 декабря 1792 г. Могила его на старомъ Лазаревскомъ кладбищѣ Александро-Невской Лавры. Вдова Фонвизина скончалась въ 1796 г. Дѣтей у нихъ не было.

Интересъ къ литературной работѣ не покидалъ Фонвизина и въ послѣдній періодъ его жизни: «привычка упражняться въ писаніи сдѣлала сіе упражненіе для меня нуждою», писалъ Денисъ Ивановичъ въ 1788 г. Въ этомъ именно году онъ приступилъ къ изданію журнала: «Другъ честныхъ людей, или Стародумъ, періодическое сочиненіе, посвященное истинѣ». Было уже напечатано объявленіе объ этомъ журналѣ, въ маѣ долженъ былъ появиться первый выпускъ. Но, по непредвидѣннымъ обстоятельствамъ, изданіе не состоялось. «Здѣшняя полиція воспретила печатаніе Стародума», писалъ Фонвизинъ гр. П. И. Панину 4 апр. 1788 г.—Въ дневникѣ Фонвизина подъ 14 февр. 1790 г. было отмѣчено: «по утру послалъ письмо къ Государынѣ о Тацитѣ». Князь Вяземскій объясняетъ эту замѣтку, какъ указаніе на то, что нашъ писатель «переводилъ или готовился переводить Тацита». «Сколько намъ извѣстно, замѣчаетъ біографъ Дениса Ивановича, отвѣтъ былъ не благопріятенъ». Смерть Потемкина въ 1791 г. привела Фонвизину на память «нѣкоторыя мѣста изъ священныхъ твореній царя Давида» о «бренности суетной жизни человѣческой». Думы на эту тему изложены въ «Разсужденіи о суетной жизни человѣческой». Незадолго передъ смертью («приближаясь къ пятидесяти лѣтамъ жизни») Фонвизинъ началъ автобіографическія записки подъ заглавіемъ: «Чистосердечное признаніе въ дѣлахъ моихъ и помышленіяхъ». Записки остались неоконченными. Къ послѣднему періоду жизни и литературной дѣятельности Фонвизина относятся также: Précis historique de la vie du comte Nikita Iwanowitsch Panin (1784 г.; русскій текстъ, подъ заглавіемъ «Сокращенное описаніе житія графа Никиты Ивано-

вича Панина», появился въ 1786 г.) и комедія въ трехъ дѣйствіяхъ «Выборъ гувернера». Въ бумагахъ Фонвизина отысканы кн. Вяземскимъ: отрывокъ перевода «Иліады» и отрывокъ же перевода поэмы Геснера: «Смерть Авеля». Г. Ефремовъ предположительно пріурочиваетъ эти отрывки къ 1791 г.

Къ формѣ журнальной сатиры Фонвизинъ обращался не разъ. По догадкѣ проф. Тихонравова, «весьма вѣроятно, что онъ принималъ участіе въ «Трутнѣ», «Живописцѣ» и др... При своемъ живомъ взглядѣ на общественное значеніе литературы, едва ли авторъ «Недоросля» могъ не принимать никакого участія въ журналахъ, которые были прямыми памфлетами на дурныя стороны русской жизни». Быть можетъ, умѣстно здѣсь вспомнить сатирическія статейки, направленныя противъ извѣстнаго намъ Лукина, которыя помѣщены были въ «Трутнѣ» и др. журналахъ 1769—1770 гг. Фонвизинъ признавался, что причиной вражды къ нему Лукина могъ быть «не весьма скромный отзывъ о его перѣ». Позже, въ 1783 г., Фонвизинъ помѣстилъ нѣсколько сатирическихъ произведеній въ «Собесѣдникѣ любителей россійскаго слова». Для «Стародума» издателемъ его приготовленъ былъ пѣлый рядъ статей: «Письмо къ Стародуму» отъ издателя; «Отвѣтъ Стародума»; «Письмо къ Стародуму отъ Дѣдиловскаго помѣщика Дурыкина»; «Отвѣтъ Стародума Дурыкину»; «Письмо къ Стародуму отъ племянницы его Софьи»; «Отвѣтъ Стародума Софьѣ»; «Письмо Тараса Скотинина къ родной его сестрѣ госпожѣ Простаковой»; «Всеобщая придворная Грамматика»; «Письмо Взяткина къ Его Превосходительству» и «Отвѣтъ» послѣдняго; «Письмо отъ Стародума» объ ораторскомъ искусствѣ, «Разговоръ у княгини Халдиной», «Наставленіе дяди своему племяннику». Имена лицъ, упоминаемыя въ этихъ статьяхъ (Стародумъ, Софья, Скотининъ, Простакова и др.), указываютъ на связь «Друга честныхъ людей» съ болѣе ранними произведеніями Фонвизина. Эта связь подтверждается и содержаніемъ статей. Въ «Стародумѣ» повторяются тѣ же литературныя темы, тѣ же сатирическія картины и тѣ же мечты о лучшемъ порядкѣ вещей, которыя зна-

комы намъ по «Бригадиру», «Недорослю», «Вопросамъ автору «Былей и Небылицъ» и пр. Въ письмѣ Дурыкина находимъ двойниковъ Митрофанушки: «Большой мой сынъ Ѳединька, пишетъ Дѣдиловскій помѣщикъ, по семнадцатому году, читать и писать умѣетъ, а Митюшка и Павлинька еще не начинали грамоты. Митюшка матушкинъ сынокъ; съ нимъ надобно обходиться нѣжно, ибо онъ слабаго здоровья. Я хотѣлъ бы выписать изъ Москвы учителя, да боюсь взять Вральмана».—Въ «Разговорѣ у кн. Халдиной» есть подробности, напоминающія «Бригадира». Мимоходомъ затрогивается въ «Разговорѣ» вопросъ о подготовленіи къ государевой службѣ «людей просвѣщенныхъ». Здравомыслъ, представитель автора, говоритъ: «Я хотѣлъ бы только, чтобы въ университетахъ нашихъ преподавалась особенно политическая наука... Разумѣю науку, научающую насъ правиламъ благочинія, науку коммерческую и науку о государственныхъ доходахъ. Я хотѣлъ, чтобъ у насъ по симъ предметамъ сочинены были на каждую часть особенныя книжки, по коимъ бы преподавалась въ университетахъ политическая наука. Симъ способомъ будетъ Россія имѣть во всѣхъ частяхъ гражданской службы людей годныхъ и просвѣщенныхъ». Замѣтимъ, что первыхъ профессоровъ политической экономіи и финансовъ въ московскомъ университетѣ встрѣчаемъ лишь въ началѣ девятнадцатаго столѣтія. Въ письмѣ Стародума находимъ любопытное разсужденіе на тему: «отъ чего имѣемъ мы такъ мало ораторовъ»? «Никакъ нельзя положить, говоритъ Стародумъ, чтобъ сіе происходило отъ недостатка національнаго дарованія, которое способно ко всему великому, ниже отъ недостатка россійскаго языка, котораго богатство и красота удобны ко всякому выраженію... Церковное наше краснорѣчіе доказываетъ, что россіяне при равныхъ случаяхъ никакой націи не уступаютъ. Преосвященные наши митрополиты: Гавріилъ, Самуилъ, Платонъ суть наши Тиллотсоны и Бурдалу; а разныя мнѣнія и голоса Елагина, составленные по долгу званіи его, довольно доказываютъ, какого рода и силы было бы россійское витійство, если бы имѣли мы гдѣ разсуждать

о законѣ и податяхъ и гдѣ судить поведенія министровъ, государственнымъ рулемъ управляющихъ».

Литературная критика открыла въ нѣкоторыхъ статьяхъ «Стародума» слѣды литературныхъ заимствованій. Такъ, переписка Дурыкина съ Стародумомъ оказалась передѣлкой одного изъ произведеній нѣмецкаго сатирика Рабенера. Подобныя же заимствованія давно отмѣчены и въ другихъ работахъ Фонвизина. Опытъ россійскаго сословника составленъ при пособіи «Синонимовъ» Жирара. Въ «Недорослѣ» есть рядъ реминисценцій изъ Вольтера, Лабрюйера, Дюфрени, Дюкло. Сочиненіе Дюкло (Duclos) о современныхъ нравахъ (Considérations sur les moeurs de ce siècle) было, повидимому, однимъ изъ любимыхъ произведеній Фонвизина. Отрывки изъ этой книги встрѣчаются даже въ письмахъ нашего сатирика. По поводу этихъ заимствованій нужно замѣтить, что передѣлка чужого матеріала на свой ладъ встрѣчается и у другихъ, современныхъ Фонвизину, писателей; не многіе только изъ нихъ сумѣли и при заимствованіяхъ сохранить свою оригинальность такъ, какъ сохранилъ ее Фонвизинъ. Въ самомъ дѣлѣ, сколько бы ни указано было слѣдовъ подражанія въ произведеніяхъ нашего писателя, эти произведенія останутся все-таки замѣчательнѣйшими произведеніями русской литературы, свидѣтельствующими о самостоятельной сатирической наблюдательности автора, объ его крупномъ литературномъ талантѣ. «Я вижу, что вы очень хорошо нравы наши знаете, — сказалъ Фонвизину Панинъ, — ибо Бригадирша ваша всѣмъ родня; никто сказать не можетъ, что такую же Акулину Тимоѳеевну не имѣетъ или бабушку, или тетушку, или какую-нибудь свойственницу». Трудно выразить болѣе опредѣленно то впечатлѣніе свѣжести, правдивости и оригинальности, которое оставалось въ сознаніи современниковъ Фонвизина послѣ ознакомленія съ его сатирическимъ творчествомъ.

По замѣчанію А. С. Пушкина, характеръ Фонвизина «имѣетъ нужду въ оправданіи». Быть можетъ, поэтъ имѣлъ при этомъ въ виду признаніе самого сатирика. Разсказавъ о томъ, какъ еще

въ дѣтствѣ онъ «почувствовалъ, что идти прямою дорогою выгоднѣе, нежели лукавыми стезями», Фонвизинъ замѣчаетъ: «но должно признаться, что въ теченіе жизни я не всегда держался сего правила, ибо случалися со мною такія обстоятельства, въ которыхъ долженъ былъ я или погибать, или приняться за лукавство». На что именно намекаютъ эти слова, остается неяснымъ. Интимная біографія Фонвизина не достаточно извѣстна. «Разсказываютъ,—передаетъ біографъ Дениса Ивановича,—что Фонвизинъ, искавъ милости въ князѣ Потемкинѣ, былъ готовъ предать ему любовь и благодарность свою къ графу Н. И. Панину, котораго князь Потемкинъ не любилъ; что, забавляя вельможу, передразнивалъ онъ предъ нимъ своего начальника и покровителя; но что Потемкинъ, по своенравію и непостоянству прихотей своихъ, скоро наскучилъ искательствами новаго поклонника и выждалъ только случая проводить его отъ себя съ оскорбленіемъ». Случай представился, и Потемкинъ «далъ приказаніе впередъ не впускать къ себѣ Фонвизина». Кн. Вяземскому точность этого разсказа справедливо кажется подозрительной. Фонвизинъ дѣйствительно бывалъ у Потемкина и нравился ему какъ веселый собесѣдникъ. «Сто лѣтъ васъ не видала,—писала разъ императрица Екатерина своему фавориту,—чортъ Фонвизина къ вамъ принесъ; онъ забавнѣе меня; однако я люблю, а онъ, кромѣ себя, никого». Могъ Фонвизинъ и передразнивать Н. И. Панина, но въ этой шуткѣ еще нельзя видѣть ни коварства, ни предательства. Есть притомъ другой разсказъ, объясняющій, изъ-за чего именно потерялъ Фонвизинъ расположеніе Потемкина. «Одно замысловатое слово, сообщаетъ Бантышъ-Каменскій въ своемъ «Словарѣ достоп. людей», — сказанное имъ на счетъ кн. Потемкина, возстановило противъ Фонвизина этого вельможу. Острякъ нашъ принужденъ былъ воспользоваться болѣзнью жены своей и получилъ увольненіе въ чужіе края». Петръ Ив. Панинъ, которому добрые люди поспѣшили бы, конечно, сообщить объ отношеніяхъ Фонвизина къ Потемкину, не могъ бы сохранить неизмѣнно дружественнаго расположенія къ

нашему писателю, если бы разсказъ о коварствѣ министерскаго секретаря дѣйствительно былъ правдивъ. Дружба же и уваженіе къ Фонвизину Петра Ивановича подтверждается его письмами къ сыну и къ А. Б. Куракину, относящимися къ 1788 г.: отецъ благодаритъ сына за посѣщеніе Дениса Ивановича, радуется его доброму отзыву о молодомъ человѣкѣ, называетъ своего друга «нашимъ страдальцемъ». — Подъ духовнымъ завѣщаніемъ Фонвизина (1786) находимъ подпись П. И. Панина, изъявившаго согласіе принять на себя душеприкащичество, о которомъ просилъ завѣщатель. Въ разсказѣ объ отношеніяхъ Фонвизина къ Потемкину дошелъ до насъ, очевидно, отголосокъ одной изъ тѣхъ сплетенъ, отъ которыхъ немало страдалъ остроумный сатирикъ. Теперь извѣстна еще другая сплетня, касавшаяся уже не общественныхъ, а семейныхъ отношеній Фонвизина. Онъ женатъ былъ, какъ было уже сказано, на Катеринѣ Ивановнѣ, рожд. Роговиковой, женщинѣ съ хорошими средствами: она принесла въ приданое немалый «денежный капиталъ» и домъ въ Петербургѣ. «Небо брачное, говоритъ біографъ Фонвизина, не всегда бываетъ безоблачно: нѣтъ согласія совершеннаго, то есть неразрывнаго; но счастливыми могутъ почесться тѣ браки, въ которыхъ виновнымъ бываетъ одинъ мужъ.. Въ этомъ отношеніи брачный союзъ Фонвизина былъ счастливъ». Въ письмахъ Дениса Ивановича есть нѣсколько упоминаній о женѣ, свидѣтельствующихъ о добрыхъ, дружескихъ взаимныхъ отношеніяхъ супруговъ. Въ духовномъ завѣщаніи Фонвизинъ говоритъ: «жена моя.. сохраненіемъ ко мнѣ всегда совершенно-искренной своей любви и довѣренности обязала меня вѣчною къ себѣ благодарностію и признаніемъ». Далѣе перечисляются матеріальныя жертвы, принесенныя женой: «изъ принесенныхъ ею за собой денегъ мы въ общежитіи съ ней много уже прожили, и домъ ея теперь состоитъ подъ закладомъ, да хотя же нѣсколько изъ ея денегъ и считается въ остаткѣ, но всѣ онѣ состоятъ теперь обращеніемъ своимъ въ товарахъ моихъ». Но эта благодарность и эти жертвы не мѣшали Фонвизину въ его предсмертномъ «Признаніи» съ нѣжнымъ чувствомъ вспоми-

нать о «женщинѣ плѣняющаго разума», которой во все теченіе его жизни занято было его сердце. Это-то затаенное, но не оставшееся тайной чувство и подало, быть можетъ, поводъ къ слуху о разводѣ, котораго будто бы добивалась Катерина Ивановна въ 1786 г. Фонвизины въ это время готовились къ поѣздкѣ за границу. Катерина Ивановна уѣхала въ Петербургъ, чтобъ уладить денежныя дѣла. Больной ея мужъ оставался въ Москвѣ. Его извѣстили, что жена «возставляетъ всѣхъ противъ него жалобами своими и готовится просить императрицу о разводѣ». Кн. Вяземскій, сохранившій намъ разсказъ объ этой сплетнѣ, приводитъ отрывокъ изъ неизвѣстнаго теперь письма Фонвизина къ одному изъ его петербургскихъ друзей, изъ котораго видно, какъ сильно подѣйствовала эта вѣсть на несчастнаго больного. «Вчера, узнавъ о семъ, — писалъ онъ, — я почти вовсе сталъ безъ языка». Отвѣтъ пріятеля и возвращеніе жены разсѣяли страхъ, вызванный сплетней. Замѣтимъ, что въ это именно время, передъ отъѣздомъ за границу, составлено было завѣщаніе Фонвизина; оно помѣчено 3 іюня 1786 г. Матеріальныя потери жены, которыя предусматривало завѣщаніе, возмѣщались векселемъ въ 30,000 рублей, «кои могутъ быть почитаемы въ остаткѣ отъ ея движимаго имѣнія».

Людей, которые готовы были поклеветать и посплетничать на счетъ Фонвизина, было немало. Онъ еще въ молодости нажилъ себѣ враговъ. «Природа дала мнѣ умъ острый, говоритъ нашъ сатирикъ, но не дала мнѣ здраваго разсудка. Весьма рано появилась во мнѣ склонность къ сатирѣ. Острыя слова мои носились по Москвѣ, а какъ они были для многихъ язвительны, то обиженные оглашали меня злымъ и опаснымъ мальчишкою; всѣ же тѣ, коихъ острыя слова мои лишь только забавляли, прославили меня любезнымъ и въ обществѣ пріятнымъ. Видя, что вездѣ принимаютъ меня за умнаго человѣка, заботился я мало о томъ, что разумъ мой похваляется на счетъ сердца, и я прежде нажилъ непріятелей, нежели друзей». Такимъ былъ Фонвизинъ въ студенческіе годы, такимъ же остался онъ и на всю жизнь. Его

автохарактеристика подтверждается свидѣтельствами лицъ, хорошо знавшихъ нашего сатирика въ разные годы его жизни. «Фонвизинъ отличался живою фантазіею, — говоритъ Клостерманъ, — тонкою насмѣшливостію, умѣньемъ быстро подмѣтить смѣшную сторону и съ поразительною вѣрностью представить ее въ лицахъ; отъ этого бесѣда его была необыкновенно пріятна и весела, и общество оживлялось его присутствіемъ. Съ высокими качествами ума соединялъ онъ самое задушевное простосердечіе и веселонравіе, которыя сохранялъ даже въ самыхъ роковыхъ случаяхъ неспокойной своей жизни. Онъ въ высокой степени владѣлъ даромъ краснорѣчія, и если когда ему хотѣлось чего либо добиться, то бывало трудно противустоять его просьбѣ». — «Вчера я видѣлъ кн. Юсупова, — писалъ Пушкинъ кн. Вяземскому, — и исполнилъ твое препорученіе: допросилъ его о Фонвизинѣ и вотъ чего добился. Онъ очень зналъ Фонвизина, который нѣсколько времени жилъ съ нимъ въ одномъ домѣ. C'était un autre Beaumarchais pour la conversation. Онъ знаетъ пропасть его bons—mots, да не припомнитъ». На П. В. Мятлева, какъ видно изъ его письма, цитуемаго кн. Вяземскимъ, Фонвизинъ въ обществѣ производилъ впечатлѣніе «коршуна». Собесѣдникамъ сатирика приходилось немало страдать отъ когтей этого хищника. «Взлетитъ ли Херасковъ подъ облака, коршунъ замысловатымъ словомъ, неожиданною насмѣшкою, какъ острыми когтями, сшибетъ его на землю». Веселость Фонвизина, его остроуміе и комическій даръ не оставались незамѣченными даже иностранцами, съ которыми знакомился русскій писатель во время заграничныхъ поѣздокъ. «Часто шатаясь по утру по книжнымъ лавкамъ и по кофейнымъ домамъ,—пишетъ Фонвизинъ изъ Монпелье, —прихожу къ графу Перигору и разсказываю ему, какіе мнѣ дѣлаютъ вопросы; онъ помираетъ со смѣху и, будучи очень веселаго нрава, не взирая на свою флегму, разсказываетъ мнѣ самъ побасенки. Между прочимъ, талантъ мой дразнить людей находитъ здѣсь универсальную аппробацію, а особенно дамы полюбили меня за дразненье. Я передразниваю здѣсь своего бан-

кира не хуже Сумарокова. Словомъ, со мною всѣ очень поладили и поминутно дѣлаютъ мнѣ комплименты». Изъ приведеннаго выше разсказа Дмитріева узнаемъ, что «игривость ума не оставляла Фонвизина и при болѣзненномъ состояніи тѣла». Припомнимъ, что Дмитріевъ видѣлся съ Фонвизинымъ наканунѣ его смерти... Удивительна эта веселость человѣка страдающаго, многое испытавшаго, рано познакомившагося съ житейскими невзгодами и людской враждой. Знаемъ, что невзгоды, дрязги и непріятности продолжали тревожить его до послѣднихъ дней жизни, а онъ до этихъ послѣднихъ дней сохранялъ «игривость ума». Злой сатирикъ не сталъ, очевидно, озлобленнымъ человѣкомъ. Да онъ и не могъ стать такимъ. «Я наслѣдовалъ отъ отца,— пишетъ Фонвизинъ въ предсмертномъ «Признаніи»,—какъ вспыльчивость, такъ и непамятозлобіе. Сердце мое, не похвалясь скажу, предоброе. Я ничего такъ не боялся, какъ сдѣлать какую нибудь несправедливость, и для того ни передъ кѣмъ такъ не трусилъ, какъ передъ тѣми, кои отъ меня зависѣли и кои отмстить мнѣ были не въ состояніи». «При самомъ остромъ и бѣгломъ умѣ, подтверждаетъ П. В. Мятлевъ, онъ никогда и никого умышленно не огорчалъ, кромѣ тѣхъ, кои сами вызывали его на поприще битвы на словахъ». Клостерманъ говоритъ о «задушевномъ простосердечіи» своего друга.

Но это задушевное простосердечіе замѣчалось и цѣнилось не всѣми. Затронутые остротами Фонвизина, чувствовавшіе себя оскорбленными, судили о немъ, конечно, иначе, чѣмъ Клостерманъ. Такія враждебныя сужденія проникали и въ литературу. Выше, при перечисленіи стихотвореній Фонвизина, упомянутъ былъ отрывокъ изъ «Посланія къ Ямщикову». По содержанію Посланіе представляетъ образецъ «острыхъ ругательствъ», какъ называлъ подобныя произведенія самъ Фонвизинъ:

Натуры пасынокъ, проказъ ея примѣръ,
Піита, философъ и унтеръ-офицеръ!
Ограбленъ мачихой, обиженный судьбою,
Имѣешь рѣдкій даръ довольнымъ быть собою.

На это посланіе отозвался А. С. Хвостовъ, пользовавшійся въ свое время репутаціей остроумнаго стихотворца. Отвѣтъ носитъ заглавіе: «Посланіе къ творцу посланія или копія къ оригиналу». Фонвизинъ называется въ этомъ посланіи: «Парнасса капитанъ-исправникъ», «великій браковщикъ достоинства людей», «надутой самохвалъ». Авторъ отвѣтнаго посланія перечисляетъ рядъ произведеній своего противника, пытается отыскать въ нихъ матеріалъ для юмористическихъ замѣчаній, желаетъ поднять на смѣхъ всю литературную дѣятельность Фонвизина. Насколько удачны эти попытки, можно судить по сопоставленію Фонвизина съ Сумароковымъ:

Посмотримъ, напримѣръ, всеобщій слышенъ крикъ,
Что Сумарокомъ былъ и есть всегда великъ,
Но что имъ сдѣлано? Синавъ, Хоревъ, Семира,—
Бездѣлицы, а ты, ты далъ намъ Бригадира.
Тотъ чувствіями насъ и нѣжностью плѣнилъ,
А ты часть Библіи въ комедію вмѣстилъ...

Идетъ молва, продолжаетъ авторъ посланія,

Что славы кто себѣ пріобрѣлъ дѣлами,
Тотъ сколько ни божись, что славенъ онъ, но ахъ!
Надутой самохвалъ останется въ сранцахъ;
Что цѣну знать даютъ всему прямое право
Наука, тонкой умъ и разсужденье здраво;
Что не всегда bon-mot ума бываетъ знакъ,
Что молвитъ иногда гладенько и дуракъ,
И что не надобно, на переломъ натурѣ,
Считать за старосту себя въ литературѣ
Во зло и ей самой и міру вопреки.

Въ Посланіи въ числѣ произведеній Фонвизина упоминается «Слово Марку Аврелію»; это указываетъ, что Хвостовъ писалъ свой отвѣтъ не раньше 1777 г.; отсутствіе упоминанія о Недо-

рослѣ даетъ другую приблизительную дату: не позже 1782 г. На одномъ изъ списковъ Посланія Хвостова обозначены годъ и мѣсяцъ составленія: «1781 года въ іюлѣ». Такіе литературные отвѣты, какъ Посланіе Хвостова, пишутся, обыкновенно, подъ вліяніемъ живого, не остывшаго впечатлѣнія, да и въ читателяхъ они возбуждаютъ интересъ только въ томъ случаѣ, если появляются вслѣдъ за произведеніемъ, вызывающимъ отвѣтъ. Поэтому слѣдуетъ предположить, что «Посланіе къ Ямщикову», вызвавшее стихотвореніе Хвостова, написано Фонвизинымъ въ указанное время, т. е. между 1777 и 1782 гг. «Посланіе къ творцу посланія» не осталось одинокимъ. По замѣчанію кн. Вяземскаго, къ литературнымъ врагамъ нашего сатирика нужно причислить также кн. Д. П. Горчакова: «въ «Ноэлѣ» его есть куплетъ и на автора нашего».

Первая комедія Фонвизина «Коріонъ» имѣла нерѣшительный успѣхъ. По словамъ Лукина, «комедіи «Французъ Русской» (Елагина), «*Коріонъ*» (Фонвизина) и «Награжденная добродѣтель» (Ельчанинова) вытерпѣли жестокое нападеніе и, хотя оное совсѣмъ неосновательно было, однако многихъ поборниковъ имѣло. Словомъ, ничто не могло удержать ядовитой зависти, на нихъ вооружавшейся: не только удовольствіе многихъ зрителей, ниже благоволеніе, отъ Двора оказанное». Слѣдующія за «Коріономъ» комедіи: «Бригадиръ» и «Недоросль» выдвинули Фонвизина изъ ряда современныхъ ему драматурговъ. По поводу этихъ комедій Фонвизинъ выслушивалъ такія похвалы, какія рѣдко достаются на долю литературныхъ дѣятелей. Но и къ этимъ похваламъ примѣшиваются иные, недоброжелательные голоса. Авторъ статейки о Фонвизинѣ, помѣщенной въ «Пустомелѣ» 1770 г., упомянувъ о достоинствахъ «Бригадира», спѣшитъ оговориться: «умолчу, дабы завистниковъ не возбудить отъ сна, послѣднимъ благоразуміемъ на нихъ наложеннаго». — Въ сатирѣ гр. Д. И. Хвостова «Къ разуму» читаемъ:

Лишь Недоросля намъ Фонвизинъ написалъ,
Надменинъ автора изподтишка кусалъ;

Тутъ стрѣлы злобныя отвсюду полетѣли,
Комедію играть актеры не хотѣли.

Въ примѣчаніи къ этому мѣсту сатиры авторъ говоритъ: «Недоросль Фонвизина вытерпѣлъ большое гоненіе, что извѣстно современникамъ и театральной архивѣ».

У талантливыхъ людей, кромѣ недоброжелателей, бываютъ еще другіе, не менѣе опасные враги — мнимые друзья. Одного такого друга Фонвизинъ зналъ еще въ университетѣ, среди своихъ товарищей. «Мой соученикъ,— говоритъ нашъ сатирикъ,— весьма боялся, чтобы я не сталъ смѣяться стихамъ его, а дабы вѣрнѣе имѣть меня на своей сторонѣ, то сталъ онъ хвалить мои стихи; каждая строка его восхищала; но какъ тогда разсудокъ во мнѣ недѣйствовалъ, то я со всею моею остротою не могъ проникнуть, для чего онъ такъ меня хвалилъ, и думалъ, что я похвалу его заслуживалъ». Такихъ разсчетливыхъ поклонниковъ зналъ, конечно, Фонвизинъ и въ позднѣйшіе годы. Были у него и искренніе, но опасные почитатели — люди, которые цѣнили веселаго, остроумнаго собесѣдника, но мало интересовались литературной дѣятельностью русскаго писателя. «Фонвизинъ,— говоритъ Пушкинъ на основаніи какого-то преданія,—забавлялъ знатныхъ, передразнивая Александра Петровича (Сумарокова) въ совершенствѣ»... Остроумному и общительному человѣку, какъ Фонвизинъ, всегда представляется опасность размѣнять талантъ на мелочь, сдѣлаться салоннымъ говоруномъ и балагуромъ, оставить по себѣ память лишь какъ объ авторѣ интересныхъ анекдотовъ и забавныхъ bons-mots. Эта опасность служитъ вмѣстѣ съ тѣмъ испытаніемъ серьезности и глубины таланта. Фонвизинъ выдержалъ испытаніе. Легкіе успѣхи въ гостиныхъ могутъ вскружить слабую, хотя бы и талантливую голову. Не такова была голова Фонвизина. Блестящее остроуміе, неистощимая веселость, «игривость ума», поражавшія собесѣдниковъ Фонвизина, выступаютъ, какъ господствующая, наиболѣе яркая черта, и въ литературной характеристикѣ автора «Бригадира» и «Недоросля».

Но за этой веселостью и игрой ума скрывалась глубокая серьезность. Изъ показаній самого сатирика мы узнаемъ, какъ много работалъ онъ надъ своими произведеніями, съ какой вдумчивостью и требовательностью относился онъ къ литературному дѣлу. Въ «Письмѣ къ Стародуму» Фонвизинъ говоритъ: «болѣзнь моя не позволяетъ мнѣ упражняться въ родѣ сочиненій, кои требуютъ такого непрерывнаго вниманія и размышленія, каковыя потребны въ театральныхъ сочиненіяхъ». Посылая Елагину своего «Бригадира», авторъ проситъ сказать объ его комедіи «самую истину». «Нѣтъ во мнѣ, пишетъ онъ, смѣшной гордости тѣхъ, кои сами на себя и на свое искусство надѣясь, считаютъ себя равными съ Мольеромъ, или на худой конецъ съ Детушемъ». Произведенія въ стихотворной формѣ стоили Фонвизину, по его словамъ, «неизреченнаго труда». Этой напряженности труда отвѣчалъ интересъ содержанія литературныхъ работъ Фонвизина. Въ «Письмѣ Стародума», назначенномъ для «Друга честныхъ людей», нашъ авторъ намѣренно прикрашиваетъ положеніе современной ему литературы, чтобы имѣть поводъ указать на ея важныя задачи. «Я думаю, что таковая свобода писать, каковою пользуются нынѣ Россіяне, поставляетъ человѣка съ дарованіемъ, такъ сказать, стражемъ общаго блага. Въ томъ государствѣ, гдѣ писатели наслаждаются дарованною намъ свободою, имѣютъ они долгъ возвысить громкій гласъ свой противъ злоупотребленій и предразсудковъ, вредящихъ отечеству, такъ что человѣкъ съ дарованіемъ можетъ въ своей комнатѣ, съ перомъ въ рукахъ быть полезнымъ совѣтодателемъ государю, а иногда и спасителемъ сограждан своихъ и отечества». Фонвизинъ оставался вѣренъ этой программѣ. Въ формѣ веселой комедіи или легкой сатирической статейки онъ говорилъ о предметахъ серьезнѣйшаго и важнѣйшаго значенія: о недостаткахъ современнаго воспитанія и образованія, о крѣпостныхъ отношеніяхъ, о судѣ и приказной неправдѣ, о положеніи литературы, о національныхъ и анти-національныхъ предразсудкахъ. Рѣчи резонеровъ въ комедіяхъ Фонвизина кажутся теперь утомительными и лишними, но та

старательность, съ которой обдуманы и составлены эти рѣчи, показываетъ, какое значеніе придавалъ нашъ писатель этимъ общимъ разсужденіямъ на этико-соціальныя темы. Онъ желалъ, очевидно, будить мысль современниковъ. И дѣйствительно будилъ. Правда, проповѣди Стародума, быть можетъ, не всегда достигали этой цѣли, но жизненные комическіе образы его драмъ, яркія сатирическія картинки его журнальныхъ статей не могли не затрогивать самаго вялаго воображенія, самой лѣнивой мысли, самаго неотзывчиваго сердца. Успѣхъ произведеній Фонвизина, завистливые толки его враговъ подтверждаютъ это.

«Природа дала мнѣ умъ острый, но не дала мнѣ здраваго разсудка», говорилъ Фонвизинъ, разумѣя, очевидно, подъ разсудкомъ то практическое благоразуміе, которое даетъ умѣнье приладиваться къ людямъ и обстоятельствамъ, лавировать по вѣтру. Такого умѣнья авторъ «Недоросля» не нажилъ до конца дней. Будь у него это умѣнье, онъ не потерялъ бы благоволенія автора «Былей и небылицъ», не обращался бы къ этому автору съ своими умными, но не благоразумными Вопросами, не пришлось бы ему вслѣдъ за Вопросами писать «къ сочинителю Былей и небылицъ» письма, наполненнаго оговорками и извиненіями, не пришлось бы и издателю «Стародума» встрѣтиться съ неожиданнымъ запрещеніемъ. Взамѣнъ того, что Фонвизинъ называлъ «здравымъ разсудкомъ», природа дала ему другіе, лучшіе дары: мужественное и вѣрное сердце, стойкость и глубину души. Онъ оставался вѣренъ своимъ убѣжденіямъ и идеаламъ, какъ бы ни мѣнялось отношеніе дѣйствительности къ этимъ идеаламъ, онъ пронесъ черезъ жизнь молодую привязанность сердца, удержалъ, при всѣхъ колебаніяхъ, живую религіозную вѣру.

Не обладалъ Фонвизинъ навыками практическаго человѣка и въ области обыденныхъ житейскихъ отношеній. Отецъ Дениса Ивановича былъ человѣкъ небогатый и многосемейный. Поэтому какого-нибудь родового имущества нашему сатирику не досталось. Но послѣ службы у Панина и послѣ выгодной женитьбы у Фонвизина накопились порядочныя средства. У жены его были

деньги и домъ въ Петербургѣ; Панинъ подарилъ ему имѣніе въ Бѣлоруссіи; познакомившись съ Клостерманомъ, Фонвизинъ завелъ «коммерцію вещами до художествъ принадлежащими»; при отставкѣ получилъ пенсію въ 3,000 р. Всѣхъ этихъ средствъ оказывалось, однако, мало. Денисъ Ивановичъ удивлялся своему отцу, который при небольшомъ состояніи, «воспитывая восьмерыхъ дѣтей, умѣлъ жить и умереть безъ долга». «Сіе искусство, замѣчаетъ нашъ писатель, въ нынѣшнемъ обращеніи свѣта едва ли кому извѣстно. По крайней мѣрѣ намъ, дѣтямъ его, кажется непостижимо». Имѣніе Фонвизина, вслѣдствіе неисправности неудачно выбраннаго арендатора, не приносило дохода. Привычка жить на широкую ногу, поѣздки заграницу, продолжительное лѣченіе, закупка предметовъ торговли не только поглощали наличныя средства, но и заставляли дѣлать долги. Въ духовномъ завѣщаніи 1786 г. Фонвизинъ высказываетъ опасеніе, что по смерти его останется столько долговъ, что жена его лучше захочетъ отказаться отъ наслѣдства, нежели имѣть хлопоты съ кредиторами. Тяжба по имѣнію, которую велъ Денисъ Ивановичъ въ послѣдніе годы жизни, еще больше разстроила его денежныя дѣла. По смерти Фонвизина вдовѣ его пришлось доживать вѣкъ свой въ бѣдности. Біографъ нашего писателя, кн. Вяземскій, имѣлъ въ рукахъ записку Катерины Ивановны, въ которой «проситъ она изъ крайней нужды дать ей взаймы 15 рублей». Пенсія, назначенная бывшему секретарю Н. И. Панина, не была оставлена его женѣ.

Служба министерскаго секретаря была, очевидно, скоро забыта. Но остались и останутся памятными литературныя заслуги даровитаго писателя. Батюшковъ предлагалъ выдѣлить въ исторіи нашей словесности особую эпоху, эпоху Фонвизина. Пушкинъ, ознакомившись съ «Разговоромъ у княгини Халдиной», высказывалъ сожалѣніе, «что не Фонвизину досталось изображать новѣйшіе наши нравы». «Литература екатерининскаго времени,—писалъ Бѣлинскій,—рѣшительно заслоняетъ собою предшествовавшую ей литературу. Кромѣ Державина, въ то время

былъ Фонвизинъ, первый даровитый комикъ въ русской литературѣ, писатель, котораго теперь не только чрезвычайно интересно изучать, но котораго читать есть истинное наслажденіе. Въ его лицѣ русская литература какъ будто даже преждевременно сдѣлала огромный шагъ къ сближенію съ дѣйствительностью; его сочиненія—живая лѣтопись той эпохи». «Недоросль» Фонвизина до сихъ поръ не сходитъ со сцены.

Лучшее изданіе сочиненій Фонвизина появилось въ 1866 г.: «Сочиненія, письма и избранные переводы Д. Ив. Фонъ-Визина». Съ портретомъ автора, со статьею «О жизни и сочиненіяхъ Фонъ-Визина» А. П. Пятковскаго, съ пояснительными примѣчаніями къ тексту и съ библіографическими объясненіями. Редакція Н. А. Ефремова; изд. И. И. Глазунова. Примѣчанія къ тексту принадлежатъ Пятковскому. Въ библіографическихъ объясненіяхъ, составленныхъ Ефремовымъ, вслѣдъ за перечнемъ сочиненій и переводовъ, принадлежащихъ и приписываемыхъ Фонвизину, а также собраній его сочиненій, помѣщено: «Перечисленіе статей о Фонъ-Визинѣ и его сочиненіяхъ, въ хронологическомъ порядкѣ». Въ виду общедоступности изданія Глазунова нѣтъ надобности повторять указаній, сдѣланныхъ въ «Перечисленіи» Ефремова. Остается дополнить это перечисленіе спискомъ тѣхъ изданій сочиненій Фонвизина, а также книгъ и статей, касающихся его жизни и литературной дѣятельности, которыя появились послѣ 1866 г.: «Портретная галлерея русскихъ дѣятелей», изд. А. Мюнстера, т. II, 1869 г., стр. 7—9 (краткая біографія Фонвизина, составл. М. Д. Хмыровымъ); Журналъ мин. народн. просв. 1872 г., т. II, ч. 160, апрѣль: Н. А. Лавровскій, къ біографіи Фонвизина (о переводѣ сочиненія: «Торгующее дворянство»); Русская Старина 1873 г., т. VIII, декабрь, 907—909: Письмо гр. П. Ив. Панина къ Д. Ив. Фонвизину отъ 29 авг. 1774 года (изъ собр. автографовъ Богушевскаго); Русск. Старина 1876 г., т. XV, февраль, 458—461: Письма Фонвизина къ С. С. Зиновьеву и къ Я. И. Булгакову (сообщ. кн. А. Б. Лобановымъ-Ростовскимъ и П. А. Ефремовымъ); А. П. Пятковскій, Изъ исторіи нашего литературнаго и общественнаго развитія, т. I, 1876 г., стр. 3—72: о жизни и сочиненіяхъ Фонвизина (перепеч. статьи, помѣщенной въ упомянутомъ выше изданіи Глазунова); Полное собраніе сочиненій кн. П. А. Вяземскаго, изд. гр. С. Д. Шереметева, т. V, 1880 г.: Фонъ-Визинъ (первое изданіе этого труда, основаннаго на источникахъ, часть которыхъ теперь неизвѣстна, и потому имѣющаго первостепенное значеніе для біографіи Фонвизина, появилось въ 1848 году; есть еще нѣсколько

замѣтокъ о Фонвизинѣ въ записной книжкѣ кн. Вяземскаго, помѣщ. въ VIII и IX т. Собранія его сочиненій); Драматическій словарь, или показаніе по алфавиту всѣхъ россійскихъ театральныхъ сочиненій, Спб. 1880 г. (перепеч. изд. 1787 года; есть замѣтки о «Бригадирѣ» и «Недорослѣ»); Сочиненія Державина съ объясн. примѣчаніями Я. К. Грота, т. I — VIII, 1868 — 1880 г., passim (см. Указатель); Русскій Архивъ 1881 г., кн. III, вып. 2: Фонвизинъ. Изъ неизданныхъ записокъ Клостермана (перев. съ нѣмецкаго); Архивъ кн. Воронцова, кн. 26, 1882 г., стр. 315—324: Краткое изъясненіе о вольности французскаго дворянства и о пользѣ третьяго чина (статья анонимная, но по заглавію совершенно сходная съ переводнымъ трудомъ, приписываемымъ Фонвизину); А. Н. Веселовскій, Западное вліяніе въ новой русской литературѣ, Спб. 1883, стр. 70—77 (о заимствованіяхъ въ сочиненіяхъ Фонвизина); Порфирьевъ, Исторія русской словесности, ч. II, отд. 2, Каз. 1884 (стр. 71—109: о жизни и сочиненіяхъ Фонвизина); М. Ив. Сухомлиновъ, Исторія россійской академіи, вып. VII (Спб. 1885 г.), стр. 10—32 (обозрѣніе академической дѣятельности Фонвизина); Русскій Архивъ 1887 г., кн. III, вып. 10: А. И. Станкевичъ, «Альзира» Вольтера въ переводѣ Фонвизина; Первое полное собраніе сочиненій Д. Ив. Фонвизина какъ оригинальныхъ, такъ и переводныхъ, изд. К. К. Шамова, М. 1888 (помѣщ. полный текстъ переводныхъ работъ Фонвизина); В. Ив. Семевскій, Крестьянскій вопросъ въ Россіи въ XVIII и въ первой половинѣ XIX вѣка, т. I, Спб. 1888 (стр. 170—173; о политическихъ проектахъ Панина и Фонвизина); Матеріалы для жизнеописанія гр. Н. И. Панина, изд. подъ редакціей проф. Брикнера, 1888 г., т. I (письма П. Ив. Панина къ сыну и къ А. Б. Куракину) и VII (письмо Н. И. Панина къ сыну); А. И. Незеленовъ, Литературныя направленія въ Екатерининскую эпоху, Спб. 1889 г. (Фонвизинъ разсматривается въ ряду писателей «непосредственно народнаго направленія»); Русская Старина 1892 г., т. 76, декабрь: В. А. Бильбасовъ, Памяти Фонвизина; Сочиненія Д. И. Фонвизина, подъ ред. Арс. И. Введенскаго въ Сборникѣ «Нивы» 1893 г., № 12 («собраніе только оригинальныхъ и безспорныхъ произведеній Фонвизина»); Труды Кіевской дух. академіи 1893 г., № 3: В. Н. Малининъ, Д. И. Фонвизинъ, какъ авторъ комедій (рѣчь читанная въ Обществѣ Нестора лѣтописца 1 дек. 1892 г.); Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Д. И. Фонвизина. Посмертный трудъ акад. Н. С. Тихонравова, изд. подъ ред. Л. Н. Майкова, Спб. 1894 г. (въ составъ «Матеріаловъ» вошли: а) Біографія Фонвизина, составленная Тихонравовымъ, б) Драматическія произведенія Фонвизина: Альзира, Коріонъ, Бригадиръ, Недоросль, в) Сочи-

ненія, приписываемыя Фонвизину: Чертикъ на дрожкахъ и Повѣствованіе мнимаго Глухаго и Нѣмаго. Текстъ сочиненій Фонвизина напечатанъ по рукописямъ и первымъ изданіямъ; къ тексту присоединены обширныя критико-библіографическія примѣчанія. — Примѣчанія составлены акад. Майковымъ; ему же принадлежитъ редакція текста сочиненій, приписываемыхъ Фонвизину; второе изданіе книги А. Н. Веселовскаго: Западное вліяніе въ новой русск. литературѣ, М. 1896, стр. 96 — 101. — Кромѣ указанныхъ изданій, для изученія дѣятельности Фонвизина важны всѣ книги и статьи о цесаревичѣ Павлѣ Петровичѣ, о гр. Н. Ив. и П. Ив. Панинныхъ, объ И. П. Елагинѣ, В. И. Лукинѣ, Павлѣ Ив. Фонвизинѣ, о литературной дѣятельности императрицы Екатерины II.

Памяти В. Г. БѢЛИНСКАГО.

«Пишите съ простотой». Такъ формулировалъ И. С. Тургеневъ главное, по его мнѣнію, правило, котораго долженъ держаться писатель. «Что вы называете простотой»? — спросила Тургенева русская писательница, которой данъ былъ этотъ совѣтъ относительно литературной простоты. — «Да вотъ давно тому назадъ, отвѣчалъ Тургеневъ, одна старушка говорила, что всѣ мои бѣды происходятъ отъ того, что я не живу съ простотой. Такъ вотъ и я вамъ говорю: пишите съ простотой. Пишите просто, искренно то, что васъ занимаетъ, я бы даже сказалъ, что васъ забавляетъ, и если у васъ есть живой талантъ, природный даръ, то будетъ хорошо». Замѣчательно совпаденіе этого литературнаго завѣта Тургенева со взглядомъ на искусство другого великаго русскаго писателя. «Признакъ, выдѣляющій настоящее искусство отъ поддѣльнаго, говоритъ гр. Л. Н. Толстой, есть одинъ несомнѣнный — заразительность искусства. Если человѣкъ безъ всякой дѣятельности съ своей стороны и безъ всякаго измѣненія своего положенія, прочтя, услыхавъ, увидавъ произведеніе другого человѣка, испытываетъ состояніе души, которое соединяетъ его съ этимъ человѣкомъ и другими, такъ же какъ и онъ воспринимающими искусство людьми, то предметъ, вызывающій такое состояніе, есть предметъ искусства... Болѣе всего увеличивается степень заразительности искусства степенью

искренности художника. Какъ только зритель, слушатель, читатель чувствуетъ, что художникъ самъ заражается своимъ произведеніемъ и пишетъ, поетъ, играетъ для себя, а не только для того, чтобы воздѣйствовать на другихъ, такое душевное состояніе художника заражаетъ воспринимающаго». Если же авторъ «не чувствуетъ самъ того, что́ хочетъ выразить, такъ является отпоръ, и самое особенное, новое чувство, и самая искусная техника не только не производятъ никакого впечатлѣнія, но отталкиваютъ».

Едва ли было бы справедливо ограничивать примѣненіе этого эстетическаго положенія, такъ сходно формулированнаго Тургеневымъ и Толстымъ, сферой лишь чисто-художественнаго творчества. Если простота и искренность дѣйствительно необходимы для зараженія читателя чувствомъ писателя, то, очевидно, это требованіе примѣнимо ко всѣмъ произведеніямъ человѣческаго слова, которыя могутъ дѣйствовать не только на мысль, но и на чувство читателя. Заражаетъ насъ правдивое искусство поэта и беллетриста, но такъ же заразительно можетъ быть горячее слово Оратора, публициста, литературнаго критика.

Живымъ, наглядньмъ подтвержденіемъ этого замѣчанія можетъ служить литературная дѣятельность В. Г. Бѣлинскаго.

При имени Бѣлинскаго мнѣ всегда припоминается евангельское изреченіе объ алчущихъ и жаждущихъ правды. Такимъ именно человѣкомъ «духовной жаждою томимымъ» выступаетъ передъ нами Бѣлинскій и въ своихъ статьяхъ и въ своихъ письмахъ. Его упрекали за измѣнчивость мнѣній. Вотъ что писалъ онъ по поводу этихъ упрековъ: «Тяжка у насъ роль критика, проникнутаго убѣжденіемъ и не отдѣляющаго вопросовъ объ искусствѣ и литературѣ отъ своей собственной жизни, обо всемъ, что составляетъ сущность и цѣль его нравственнаго существованія!.. И тѣмъ хуже ему, если онъ столько уважаетъ истину и столько смиряется передъ нею, что всегда готовъ отказаться отъ мнѣнія, которое защищалъ съ жаромъ и съ энергіею, но которое, въ процессѣ своего безпрерывно движущагося сознанія, онъ уже

не можетъ болѣе признавать за справедливое!.. Не смотрятъ на то, что перемѣна мнѣнія не только не доставила и не могла доставить ему никакой пользы, но еще и поставила его, или могла поставить въ непріятное положеніе къ людямъ, которые довѣряли его авторитету,—не говоря уже о томъ, что отречься отъ своего мнѣнія значитъ признаться въ ошибкѣ, а это не совсѣмъ лестно для человѣческаго самолюбія, которое всегда наклонно поддерживать, что дважды два—пять, а не четыре, лишь бы только казаться непогрѣшительнымъ» [1]).

Тотъ, кто съ такой благородной откровенностью рѣшался говорить о своихъ ошибкахъ, обладалъ, безспорно, и недюжинной силой духа и рѣдкой искренностью, рѣдкой жаждой правды. Бѣлинскій былъ строгъ въ сужденіяхъ о самомъ себѣ, онъ не прощалъ себѣ даже невиннаго, повидимому, авторскаго самолюбія, но эта нравственная требовательность не мѣшала ему сознавать силу своего слова—силу, источникъ которой онъ видѣлъ именно въ любви къ истинѣ, въ глубинѣ и искренности своихъ убѣжденій. «Ты знаешь, писалъ Бѣлинскій одному изъ своихъ друзей, что я имѣю похвальную привычку краснѣть безъ всякой причины, какъ думаютъ всѣ, но въ самомъ-то дѣлѣ очень не безъ причины... Самолюбіе — вотъ причина этого явленія... Я краснѣю оттого что мнѣ не отдали должной справедливости, слѣдовательно, отъ оскорбленнаго самолюбія; я краснѣю оттого, что мнѣ отдали справедливость, слѣдовательно, отъ удовлетвореннаго самолюбія; къ чести своей скажу, что еще чаще краснѣю я вслѣдствіе сознанія своего недостоинства, отъ того вниманія, которое оказываютъ мнѣ хорошіе люди, знающіе меня издалека. Я понимаю самое малѣйшее движеніе моего самолюбія и все-таки не могу убить въ себѣ этого пошлаго чувства. Я не написалъ ни одной статьи съ полнымъ самозабвеніемъ въ своей идеѣ: безсознательное предчувствіе неуспѣха и — еще болѣе того — успѣха всегда волновало мою кровь, усиливало и напрягало мои умственныя

1) Сочиненія В. Бѣлинскаго, ч. VIII (изд. 4), 51.

силы, какъ пріемъ опіума. И между тѣмъ, я унизился бы до самаго пошлаго смиренія, оклеветалъ бы себя самымъ фарисейскимъ образомъ, если бы сталъ отрицать въ себѣ живое и плодотворное зерно любви къ истинѣ: всѣ мои статьи были плодомъ этой любви; только самолюбіе всегда тутъ вмѣшивалось и играло большую или меньшую роль. Даже въ дружескомъ кругу, разсуждая о чемъ-нибудь, я вдругъ краснѣлъ оттого, что не хорошо выразилъ мою мысль или, что бывало всего чаще, неловко сострилъ, или отъ противной причины... Но какъ скоро дѣло касается до моихъ задушевныхъ убѣжденій, я тотчасъ забываю себя, выхожу изъ себя, и тутъ давай мнѣ каѳедру и толпу народа: я ощущу въ себѣ присутствіе Божіе, мое маленькое я исчезаетъ, и слова, полныя жара и силы, рѣкою польются съ языка моего» [1]).

Бѣлинскій былъ правъ въ оцѣнкѣ своей силы. Я не буду приводить свидѣтельствъ его современниковъ, которые говорятъ о глубокомъ и сильномъ впечатлѣніи, которое оставляли въ ихъ душѣ статьи талантливаго критика. Значеніе Бѣлинскаго ясно и понятно и безъ этихъ свидѣтельствъ. Держась терминологіи гр. Толстого, Бѣлинскаго можно назвать однимъ изъ самыхъ заразительныхъ писателей. Когда вы перечитываете сочиненія Бѣлинскаго, вы не всегда съ нимъ соглашаетесь, вы можете отыскать у него противорѣчія, обмолвки, даже фактическія неточности, но всѣ эти наблюденія, весь вашъ критическій скептицизмъ не охранятъ васъ отъ обаянія искренняго таланта и горячаго убѣжденія. Читая Бѣлинскаго, вы чувствуете, что писатель дѣйствительно «не отдѣлялъ вопросовъ объ искусствѣ и литературѣ отъ вопросовъ о своей собственной жизни, обо всемъ, что составляетъ сущность и цѣль его нравственнаго существованія», чувствуете силу и искренность его слова, высоту его душевнаго настроенія. Вамъ какъ будто слышится торжественный возгласъ: sursum corda!, который, какъ основной мотивъ, про-

1) А. Н. Пыпинъ, Бѣлинскій, его жизнь и переписка. I, 197.

ходитъ черезъ произведенія Бѣлинскаго отъ первой до послѣдней статьи.

Въ этомъ чарующемъ вліяніи личности писателя залогъ долговѣчности его произведеній. Полвѣка тому назадъ умеръ писатель, а въ его сочиненіяхъ все чувствуется біеніе живого человѣческаго сердца, чувствуется и будетъ чувствоваться. Мѣняются и будутъ мѣняться литературные взгляды, мѣняются и будутъ мѣняться общественныя отношенія, а нравственный обликъ писателя, алкавшаго и жаждавшаго правды, не теряетъ своей обаятельной силы и среди разцвѣта новой жизни.

Я не буду останавливаться долѣе на этомъ постоянномъ, вѣковѣчномъ значеніи сочиненій Бѣлинскаго. Моя задача — иная. Я имѣю въ виду временное, преходящее, историческое значеніе критической дѣятельности Бѣлинскаго. Мнѣ хочется подойти къ сочиненіямъ нашего критика съ вопросами, задаваемыми историческимъ изученіемъ литературы. Найдемъ ли у Бѣлинскаго отвѣты на такіе именно историко-литературные вопросы? Пытался ли онъ освѣтить движеніе русской литературы при помощи историческаго метода?

«Г. Бѣлинскій... почти никогда не является самимъ собою и рѣдко пишетъ по свободному внушенію. Вовсе не чуждый эстетическаго чувства... онъ какъ будто пренебрегаетъ имъ и, обладая собственнымъ капиталомъ, постоянно живетъ въ долгъ. Съ тѣхъ поръ какъ онъ явился на поприщѣ критики, онъ былъ всегда подъ вліяніемъ чужой мысли. Несчастная воспріимчивость, способность понимать легко и поверхностно, отрекаться скоро и рѣшительно отъ вчерашняго образа мыслей, увлекаться новизною и доводить ее до крайностей, держала его въ какой-то постоянной тревогѣ, которая обратилась, наконецъ, въ нормальное состояніе и помѣшала развитію его способностей» [1]). Такъ говорилъ о Бѣлинскомъ одинъ изъ его современниковъ. Этотъ же упрекъ въ отсутствіи самостоятельности и оригинальности мнѣ-

1) Сочиненія Бѣлинскаго, XI[3], 259.

ній повторялся не разъ и по смерти Бѣлинскаго, повторяется онъ и въ наши дни. Серьезно опровергать этотъ упрекъ едва ли нужно. Была область литературныхъ изученій, въ которой Бѣлинскій былъ совершенно самостоятеленъ, въ которой онъ былъ полнымъ хозяиномъ, въ которой никто не былъ и не могъ быть ему указчикомъ. Эта область — критическая оцѣнка литературныхъ произведеній, ихъ эстетическій и психологическій анализъ. Бѣлинскій самъ сознавалъ свою силу. Въ 1848 году онъ помѣстилъ въ «Современникѣ» одну изъ своихъ послѣднихъ статей: «Взглядъ на русскую литерхтуру 1847 года». Въ «Отечественныхъ Запискахъ» появилась такого же содержанія статья, написанная А. Д. Галаховымъ. «Кто прочтетъ общую часть моей и вашей статьи, писалъ Бѣлинскій Галахову, тотъ право подумаетъ, что мы согласились говорить одно и то же. Но какъ только дойдетъ дѣло до оцѣнки литературныхъ произведеній, тогда иная исторія; посылай за старикомъ Бѣлинскимъ, а безъ него плоко»[1]). Подобное замѣчаніе встрѣчается въ другомъ письмѣ Бѣлинскаго къ одному изъ его друзей по поводу повѣстей Кудрявцева. Никто, конечно, не будетъ оспаривать справедливость этой самооцѣнки нашего критика. Припомнимъ то, что сдѣлано было Бѣлинскимъ для объясненія Пушкина, Гоголя, Лермонтова, Грибоѣдова. По прекрасному выраженію Аполлона Григорьева, «имя Бѣлинскаго, какъ плющъ, обросло четыре поэтическихъ вѣнца, четыре великихъ и славныхъ имени, сплелось съ ними такъ, что, говоря о нихъ, какъ объ источникахъ современнаго литературнаго движенія, постоянно бываешь поставленъ въ необходимость говорить и о немъ, — высокій удѣлъ, данный судьбою не многимъ изъ критиковъ, едва ли даже, за исключеніемъ Лессинга, данный не одному Бѣлинскому»[2]). Вспомнимъ еще удивительную прони-

1) Историческій Вѣстникъ, 1886 г., ноябрь, 331.

2) Сочиненія Аполлона Григорьева, I, 233. Ср. отзывъ Тургенева: «Бѣлинскій безспорно обладалъ главными качествами великаго критика; и если въ дѣлѣ науки, знанія ему приходилось заимствовать отъ товарищей, принимать ихъ слова на вѣру, — въ дѣлѣ критики ему не у кого было спрашивать; напротивъ, другіе слушались его; починъ оставался постоянно за нимъ. Эсте-

цательность, съ которой угадывалъ и опредѣлялъ Бѣлинскій талантъ писателей, только начинавшихъ при немъ литературную дѣятельность, какъ Тургеневъ, Достоевскій, Гончаровъ, Ап. Майковъ, Григоровичъ.

Я привелъ замѣчаніе объ отсутствіи будто бы у Бѣлинскаго оригинальности и самостоятельности мнѣній не потому, чтобы это замѣчаніе представляло какую-либо внутреннюю цѣнность. Это замѣчаніе не лишено значенія въ другомъ отношеніи, интересно какъ указаніе живой связи литературной дѣятельности Бѣлинскаго съ современнымъ ему движеніемъ русской мысли. Если говорили, что мнѣнія Бѣлинскаго не оригинальны, то, очевидно, имѣли при этомъ въ виду сходство его мнѣній съ мнѣніями другихъ писателей, рѣшавшихъ тѣ же вопросы, которые интересовали и нашего критика. Такое сходство дѣйствительно было. Бѣлинскій не могъ, конечно, не считаться съ мнѣніями своихъ предшественниковъ и современниковъ, ему приходилось то оспаривать эти мнѣнія, то соглашаться съ ними, даже, если угодно, подчиняться имъ. Дѣятельность талантливаго критика, развивавшаяся среди оживленной борьбы литературныхъ мнѣній, не могла пред-

---

тическое чутье было въ немъ почти непогрѣшительно; взглядъ его проникалъ глубоко и никогда не становился туманнымъ. Бѣлинскій не обманывался внѣшностью, обстановкой, не подчинялся никакимъ вліяніямъ и вѣяніямъ; онъ сразу узнавалъ прекрасное и безобразное, истинное и ложное, и съ безтрепетной смѣлостью высказывалъ свой приговоръ—высказывалъ его вполнѣ, безъ урѣзокъ, горячо и сильно, со всей стремительной увѣренностью убѣжденія... Не говорю уже о статьяхъ, въ которыхъ онъ отводилъ подобающее имъ мѣсто прежнимъ дѣятелямъ нашей словесности; не говорю также и о тѣхъ статьяхъ, которыми опредѣлялось значеніе писателей еще живыхъ, подводился итогъ ихъ дѣятельности—итогъ, принятый и скрѣпленный, какъ уже сказано выше, потомствомъ; но при появленіи новаго дарованія, новаго романа, стихотворенія, повѣсти,—никто, ни прежде Бѣлинскаго, ни лучше его, не произносилъ правильной оцѣнки, настоящаго, рѣшающаго слова. Лермонтовъ, Гоголь, Гончаровъ — не онъ ли первый указалъ на нихъ, разъяснилъ ихъ значеніе? И сколько другихъ! Безъ невольнаго удивленія передъ критической діагнозой Бѣлинскаго нельзя прочесть, между прочимъ, ту небольшую выноску, сдѣланную имъ въ одномъ изъ своихъ годичныхъ обозрѣній, въ которой онъ по одной пѣснѣ о купцѣ Калашниковѣ, появившейся безъ подписи въ «Литературной Газетѣ», предрекалъ великую будущность автора. Подобныя черты встрѣчаются безпрестанно у Бѣлинскаго (Сочиненія Тургенева, XII, 27—28).

ставлять ровнаго, спокойнаго, строго размѣреннаго движенія въ одномъ направленіи; эта дѣятельность не чужда была колебаній, отклоненій въ сторону, увлеченій, даже противорѣчій. Припомнимъ приведенное выше замѣчаніе Бѣлинскаго о томъ, что онъ «всегда готовъ отказаться отъ мнѣнія, которое защищалъ съ жаромъ и энергіею, но которое, въ процессѣ своего безпрерывно движущагося сознанія, онъ уже не можетъ болѣе признавать за справедливое» [1]). Противоположность отдѣльныхъ моментовъ неизбѣжна въ такомъ процессѣ развивающейся мысли. Для правильнаго сужденія о значеніи и содержаніи этого процесса важно подмѣтить не отдѣльные противоположные моменты, а ихъ послѣдовательность, важно опредѣлить, есть ли какая-либо правильность въ смѣнѣ этихъ моментовъ, умѣлъ ли тотъ, кто переживалъ этотъ умственный процессъ, отыскать выходъ изъ колебаній и противорѣчій на торную логическую дорогу, умѣлъ ли онъ примирить боровшіяся противоположности въ какомъ-либо высшемъ синтезѣ?

Противорѣчивыя сужденія, съ которыми приходилось считаться Бѣлинскому, сосредоточивались около двухъ пунктовъ, вопросовъ о народности и художественности литературнаго творчества. Предшественники и современники Бѣлинскаго не сходились во взглядахъ: а) на движеніе русской исторической жизни и б) на задачи и значеніе литературно-художественнаго творчества.

I.

Разница во взглядахъ на русскую историческую жизнь опредѣлилась въ нашей литературѣ раньше Бѣлинскаго. Бѣлинскаго, какъ извѣстно, называютъ ученикомъ Н. И. Надеждина. Не отвергая этой преемственной связи между литературной дѣятельностью Бѣлинскаго и Надеждина, замѣтимъ, что Надеждинъ былъ, въ свою очередь, ученикомъ М. Т. Каченовскаго, извѣстнаго основателя такъ называемой скептической школы въ наукѣ

1) Сочиненія Бѣлинскаго, VIII, 51.

русской исторіи. Нѣтъ сомнѣнія, что скептицизмъ Каченовскаго, какъ справедливо замѣтилъ К. Д. Кавелинъ, не ограничивался лишь сомнѣніемъ въ подлинности источниковъ древнѣйшей русской исторіи; къ этому сомнѣнію привели его «другія, болѣе глубокія и, въ своемъ основаніи, вѣрныя требованія отъ науки русской исторіи» [1]). Каченовскій не высказалъ, однако, этихъ мыслей съ достаточною ясностью и полнотой. Литературными выразителями этого болѣе глубокаго скептицизма выступили Надеждинъ и знаменитый сотрудникъ его «Телескопа» Чаадаевъ.

Литературно-историческія условія, среди которыхъ развился скептицизмъ «Телескопа», живо и ярко очерчены Ап. Григорьевымъ. «Чтобы понять значеніе чаадаевскаго отрицанія, говоритъ Григорьевъ, въ ту эпоху и значеніе ея для послѣдующаго процесса нашего сознанія, необходимо разъяснить, что именно разбито было отрицаніемъ. Карамзинскія литыя формы, принятыя на вѣру «романтически-народною» эпохою, разлившіяся на огромное количество историческихъ драмъ, въ которыхъ кобенились Мнинины и хвастали Ляпуновы, и историческихъ романовъ съ изображеніями предковъ, снятыми прямо съ кучеровъ ихъ потомковъ,—формы, тяготѣвшія надъ эпохою даже и тогда, когда она думала съ ними бороться (въ лицѣ Полевого), образовывали извѣстное міросозерцаніе, давали извѣстное слово для объясненія нашей сущности, нашей народности... Какъ только слово это было признано фальшивымъ словомъ правдивою отрицательною натурою, оно стало для нея ненавистнымъ и враждебнымъ, какъ всякая ложь. Чаадаевъ, какъ теоретикъ, не понялъ только одного—что сама народность нисколько не виновата въ ея фальшивыхъ представленіяхъ. Совершенно правый въ отрицаніи фальшивыхъ представленій о нашей народности, взглядъ Чаадаева не могъ остановиться на одномъ этомъ отрицательномъ пунктѣ. Вмѣсто того, чтобы сказать, какъ аналитикъ: «русская жизнь, какъ и русская исторія, не подходятъ подъ тѣ рамки общеевро-

2) Сочиненія Кавелина, ч. II (1859 г.), 408.

пейской жизни и общеевропейской исторіи, подъ какія подвелъ ихъ Карамзинъ: слѣдуетъ, поэтому, поискать въ русской жизни и въ русской исторіи особенныхъ свойствъ и законовъ, на основаніи которыхъ выведены будутъ или положительныя различія или болѣе правильныя аналогіи съ европейской жизнью и европейской исторіей», — Чаадаевъ прямо сказалъ, что въ нашей жизни и исторіи нѣтъ никакой аналогіи съ общечеловѣческимъ, законнымъ развитіемъ, что мы какіе-то илоты, выбранные судьбой для указанія: что̀ можетъ быть съ племенами, отпадшими отъ цѣлости, отъ единства съ человѣчествомъ» [1]).

У Надеждина, какъ литературнаго критика, такое же отрицательное отношеніе къ русской исторической жизни сталкива-

1) Соч. Ап. Григорьева, I, 519—520. «Міросозерцаніе романтически-народной эпохи, продолжаетъ Григорьевъ, какъ только литыя карамзинскія формы размѣнялись на мелочь историческихъ романовъ и историческихъ драмъ, оказывались или дѣтски-смѣшнымъ и жалкимъ или даже оскорблявшимъ всякое, на извѣстной высотѣ стоявшее сознаніе и всякое правильно воспитавшееся человѣческое чувство. Дѣятели этой эпохи, наиболѣе пользовавшіеся успѣхомъ въ массѣ публики, за исключеніемъ блестяще-даровитаго и энергичнаго Марлинскаго, которому только недостатокъ мѣры и вкуса препятствовалъ быть однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ писателей, были: М. Н. Загоскинъ, Н. А. Полевой, И. И. Лажечниковъ и, впослѣдствіи, Н. В. Кукольникъ. М. Н. Загоскинъ, какъ человѣкъ,—одно изъ отраднѣйшихъ явленій нашего стараго быта, натура въ высшей степени нѣжная и добродушная, хотя и ограниченная—пользовался, какъ романистъ, успѣхомъ, въ наше время и съ нашей точки зрѣнія совершенно невѣроятнымъ и необъяснимымъ... Что̀ можетъ быть безцвѣтнѣе и сахарнѣе по содержанію, смѣшнѣе и жалостнѣе по выполненію, ходульнѣе и вмѣстѣ слабѣе по представленію грандіозныхъ народныхъ событій—«Юрія Милославскаго»? Вѣдь этой книги въ наше время и дѣтямъ, право, давать не слѣдуетъ, чтобы не испортить ихъ вкуса! Непроходимая пошлость всѣхъ чувствъ, даже и патріотическихъ, фамусовское благоговѣніе передъ всѣмъ существующимъ—даже до кулака, восторженное умиленіе передъ тѣми сторонами стараго быта, которыя были недавно и правдиво казнены великимъ народнымъ комикомъ Грибоѣдовымъ, не китайское даже, а звѣрское отношеніе ко всему не русскому, безъ малѣйшаго знанія настоящаго русскаго, рѣчь дворовой челяди вмѣсто народной рѣчи, съ прибавкой нѣсколькихъ выраженій, подслушанныхъ у ямщиковъ на станціяхъ,—вотъ черты другого его романа, «Рославлевъ»,—романа, который будетъ, впрочемъ, безсмертенъ по безсмертному отрывку Пушкина. Чѣмъ дальше шелъ покойный Загоскинъ въ своей дѣятельности, тѣмъ больше писалъ онъ, тѣмъ всѣ ярче и ярче выступали въ произведеніяхъ его черты невѣжественнаго барства и умиленія передъ пошлостью добраго стараго времени».

лось съ его основнымъ эстетическимъ требованіемъ — требованіемъ народности художественнаго творчества. Надеждинъ не первый въ нашей литературѣ провозгласилъ принципъ народности. Онъ только усвоилъ себѣ этотъ принципъ, не позаботившись, однако, примирить это требованіе народности съ своимъ основнымъ взглядомъ на русскую историческую жизнь. Въ итогѣ получилось нѣчто неясное и противорѣчивое.

«Подъ народностью, писалъ Надеждинъ, я разумѣю совокупность всѣхъ свойствъ, наружныхъ и внутреннихъ, физическихъ и духовныхъ, изъ которыхъ слагается физіономія русскаго человѣка, отличающая его отъ всѣхъ прочихъ людей—европейцевъ столько же, какъ и азіатцевъ. Какъ ни рѣзки оттѣнки, положенные на насъ столь различными вліяніями столь разныхъ цивилизацій, русскій человѣкъ, во всѣхъ сословіяхъ, во всѣхъ ступеняхъ просвѣщенія и гражданственности, имѣетъ свой отличительный характеръ, если только не прикидывается умышленно обезьяною. Русскій умъ имѣетъ свой особый сгибъ, русская воля отличается особенной, ей только свойственной упругостью и гибкостью, точно такъ же какъ русское лицо имѣетъ свой особый складъ, отличается особеннымъ, ему только свойственнымъ выраженіемъ. У насъ стремленіе къ европеизму подавляетъ всякое уваженіе, всякое даже вниманіе къ тому, что именно русское, народное. Я совсѣмъ не вандалъ, который бы желалъ отшатнуться опять въ вѣкъ, задвинутый отъ насъ Петромъ Великимъ (по счастливому выраженію уважаемаго литератора). Но позволю себѣ сдѣлать замѣчаніе, что въ Европѣ, которую мы принимаемъ за образецъ, которую такъ усердно копируемъ всѣми нашими дѣйствіями,—народность, какъ я ее понимаю, положена во главу угла цивилизаціи, столь быстро, столь широко, столь свободно распространяющейся. Если мы хотимъ въ самомъ дѣлѣ быть европейцами, походить на нихъ не однимъ только платьемъ и наружными пріемами, то намъ должно начать тѣмъ, чтобы выучиться у нихъ уважать себя, дорожить своей народной личностью сколько-нибудь, хотя не съ такимъ смѣшнымъ хвастов-

ствомъ, какъ французы, не съ такимъ глупымъ самодовольствіемъ, какъ нѣмецъ, не съ такой чванной спѣсью, какъ англичанинъ. Обольстительная идея космополитизма не существуетъ въ нынѣшней Европѣ: тамъ всякій народъ хочетъ быть собою, живетъ своей самобытной жизнью» [1]). Это стремленіе къ самобытности обнаруживается и въ литературѣ: «Литературы ихъ (европейскихъ народовъ) въ высшей степени самобытны, своеобразны, народны». Иначе и быть не можетъ, потому что «литература есть пульсъ внутренней жизни народа» [2]). «Литература живая должна быть плодомъ народности, питаемой, но не подавляемой общительностью» [3]). Поэтому и «нашей поэзіи не дождаться обновленія, пока русскій духъ не обратится внутрь себя, не отыщетъ въ самомъ себѣ источника новой самобытной жизни народа» [4]). Но какъ отыскать этотъ «русскій духъ»? Въ чемъ заключаются особенности русской народности? Какъ опредѣлить характеръ русской народности? Характеристика человѣка можетъ быть основана лишь въ знакомствѣ съ его дѣлами и словами, съ его жизнью, съ исторіей его умственнаго и нравственнаго развитія. Это общее правило нельзя, конечно, не примѣнить и къ характеристикѣ народовъ. Выраженіемъ народности служитъ жизнь народа во всемъ разнообразіи ея проявленій, въ ея постепенномъ развитіи, въ ея историческомъ движеніи. Сопоставимъ это безспорное положеніе съ историческими воззрѣніями Надеждина. «По лѣтописцамъ и хронографамъ народу русскому считается около десяти вѣковъ непрерывнаго быта, писалъ Надеждинъ. Восемь столѣтій исповѣдуемъ мы христіанскую вѣру и почти за шесть вѣковъ можемъ представить письменные документы нашего существованія. Но что̀ это было за существованіе? Жилъ ли подлинно народъ русскій въ это длинное тысячелѣтіе? Оставляя времена «великановъ сумрака», Рюрика и Олега, коихъ самое бытіе оказывается исто-

1) Пыпинъ, Исторія русской этнографіи, I, 261—262.
2) Ibid. 246.
3) Ibid. 250.
4) Ibid. 241.

рической проблемой, взглянемъ на такъ называемый періодъ удѣльной системы, коимъ поглощается первая половина тысячелѣтняго цикла нашихъ воспоминаній. Что представляютъ намъ въ эти пять вѣковъ отечественныя преданія? Дремучій лѣсъ безличныхъ именъ, толкущихся въ пустотѣ безжизненнаго хаоса. Напрасно живописное краснорѣчіе Карамзина усиливалось оживить сію мрачную пустоту риторической прелестью разсказа: его исторія удѣльной Руси не могла возвыситься до степени живой исторической картины и, при всемъ наружномъ великолѣпіи своего убранства, осталась сухою, мертвою хроникою. Нельзя поставить это въ вину искусству историографа: ему не съ чего было списывать! Нельзя жаловаться и на скудость лѣтописей: имъ нечего было записывать. *Нашъ удѣльный періодъ былъ періодомъ хаотическаго броженія разнородныхъ частицъ, изъ которыхъ должна была выработаться жизнь народа русскаго*... Тѣ ошибаются, кои считаютъ междоусобія, наполняющія сей періодъ, признаками напряженія жизни, и потому сравниваютъ состояніе Руси удѣльной съ драматическимъ волненіемъ древнихъ греческихъ и среднихъ итальянскихъ республикъ, такъ поэтически изображенныхъ кистью Ѳукидида и Сисмонди. Нашего удѣльнаго періода нельзя даже сравнивать съ меровейскимъ періодомъ французской исторіи, заклейменнымъ въ исторіи чертой тунеядства... Это былъ — повторяемъ снова — періодъ физическаго образованія массы, изъ которой долженъ былъ выработаться народъ русскій! *Жизни въ собственномъ смыслѣ тогда не было и не могло быть:* ибо жизнь требуетъ могущественнаго начала духа, коимъ бы проникласъ и двигалась тяжелая вещественная масса. Но въ то время что могло быть симъ животворнымъ началомъ? Единство политическаго состава? Оно не существовало! Единство общихъ идей? Ихъ не было!... Отсюда рѣшительное отсутствіе не только драматическаго движенія, но даже пластической изобразительности въ воспоминаніяхъ нашей древней исторіи. При совершенномъ бездѣйствіи пружинъ, коими возбуждается народная дѣятельность, у насъ не могло выражаться тогда ни одного глубокаго харак-

тера, ни одной рѣзкой физіономіи»[1]). Тамъ, гдѣ нѣтъ жизни, гдѣ нѣтъ народной біографіи, напрасно искать матеріала для опредѣленія народности. Нельзя отыскать такого матеріала и въ дальнѣйшей русской исторіи. «Съ Іоанна III должно считать собственно жизнь русскаго народа. Но и здѣсь цѣлые два вѣка протекли въ младенческихъ, нестройныхъ движеніяхъ организующагося государства. Въ продолженіе ихъ Россія съ неимовѣрною скоростью протекла всѣ періоды органическаго государственнаго развитія, для совершенія коихъ Европейскому Западу потребно было цѣлое тысячелѣтіе. Отсюда сіи два столѣтія представляютъ удивительную фантасмагорію быстрыхъ, внезапныхъ переворотовъ, кои тѣснятъ и обгоняютъ другъ друга. Царствованіе Іоанна IV, распадающееся на двѣ, столь противоположныя другъ другу половины, представляетъ въ себѣ любопытное совмѣщеніе, съ одной стороны, прекрасной рыцарской эпохи, когда Казань и Астрахань, Ливонія и Сибирь оглашались славными подвигами героевъ русскихъ, съ другой — мрачнаго періода тиранніи, гдѣ могущественная пята царя московскаго раздавила на самомъ цвѣту поздній всходъ русскаго феодализма. Наши народныя войны съ поляками во времена самозванцевъ имѣли весь энтузіазмъ и всю святость крестовыхъ походовъ. Установленіе патріаршества усилило іерархическій элементъ въ новой организаціи государства русскаго, который, въ лицѣ Никона, возвысился до отчаянной Гильдебрандтской войны съ самодержавіемъ и, вмѣстѣ съ Никономъ, пожралъ самъ себя. Наконецъ, нашъ Петръ воплотилъ въ себѣ реформацію!... Всѣ сіи великіе перевороты, столпившіеся въ тѣсномъ промежуткѣ двухъ столѣтій, натурально, не оставляли времени юному исполину русскому подержаться на одной постоянной точкѣ, выработать себѣ опредѣленную физіономію и проявиться въ цѣломъ мірѣ оригинальныхъ характеровъ и дѣйствій. *Въ сіи два столѣтія лицо его, подобно лицу младенца, мѣнялось безпрестанно, ни одна черта не могла*

1) Ibid. 242—244.

нарѣзаться на немъ глубоко, ни одной характеристической приметы не могло удержаться долго. Всѣ движенія его были мгновенныя, летучія: вся жизнь—порывъ, изступленіе!.. Итакъ, гдѣ же начинается полная русская исторія?... Не дальше Петра Великаго! Слѣдовательно, все наше прошедшее ограничивается однимъ вѣкомъ» [1])! Можно было бы надѣяться, что по крайней мѣрѣ въ этой «первой главѣ нашей исторіи» мы найдемъ данныя для опредѣленія русской народности. Но и эта глава, какъ оказывается, даетъ отрицательный выводъ. При Петрѣ «азіатская лѣнь спала съ плечъ вмѣстѣ съ широкимъ охабнемъ; азіатское самодовольство отлетѣло вмѣстѣ съ бородой. Россія двинулась съ Востока и примкнула къ Европейскому Западу! Но такой переворотъ былъ слишкомъ поспѣшенъ. Безъ сомнѣнія, геній преобразователя зналъ несокрушимую упругость народнаго духа; зналъ, что будетъ время, когда онъ вступитъ снова въ свои права, гордый не невѣжественнымъ самообольщеніемъ, а благороднымъ сознаніемъ своего совершеннолѣтія, чувствомъ неоспоримаго равенства съ своими европейскими братьями: и вотъ чѣмъ должно объяснить его равнодушіе ко всему, что относилось собственно къ русской народности.... Открывавшаяся передъ нами роскошь европейскаго просвѣщенія ослѣпила нашу неопытность; мы захотѣли немедленно наслаждаться ею, позабывъ, что она стоила Европѣ тмочисленныхъ трудовъ, вѣковыхъ усилій. Чтобы пріобрѣсть законныя права на сіе наслажденіе, надлежало обратить богатство европейской образованности въ нашу собственность, приспособить ее къ русскому духу и возрастить собственными силами изъ внутреннихъ соковъ русской жизни. Это требовало трудовъ, которые показались намъ тяжелы и скучны..» [2]). Итакъ, русская народность не успѣла выразиться и въ новомъ періодѣ русской исторіи. «Я не берусь представить полное изображеніе русскаго человѣка въ его своенародной чистотѣ, по-

1) Ibid. 244—245.
2) Ibid. 254, 239.

тому что, въ самомъ дѣлѣ, черты его такъ неясны, такъ неразвиты, такъ залѣплены выписными мушками» [1]).

Въ примѣненіи къ литературнымъ требованіямъ этотъ выводъ создавалъ безвыходный circulus vitiosus. Литература, чтобы быть истинно художественной, должна быть народной, но русской народности еще нѣтъ, по крайней мѣрѣ, она не опредѣлилась исторически, не установилась, не выразилась. Русскій поэтъ долженъ быть народнымъ, но какъ судить о его народности, если мы еще не знаемъ русской народности?

Бѣлинскій въ сужденіяхъ о литературѣ придавалъ народности такое же существенное значеніе, какъ Надеждинъ. «Литература непремѣнно должна быть выраженіемъ, символомъ внутренней жизни народа», читаемъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ». Раздѣлялъ Бѣлинскій на первыхъ порахъ и историческія воззрѣнія Надеждина. Вотъ для примѣра нѣсколько отрывковъ изъ сочиненій Бѣлинскаго, представляющихъ близкое сходство съ приведенными выше замѣчаніями Надеждина. «Литература, говоритъ Бѣлинскій въ одной изъ своихъ статей 1841 года, есть сознаніе народа: въ ней, какъ въ зеркалѣ, отражается его духъ и жизнь; въ ней, какъ въ фактѣ, видно назначеніе народа, мѣсто, занимаемое имъ въ великомъ семействѣ человѣческаго рода, моментъ всемірно-историческаго развитія человѣческаго духа, который онъ выражаетъ своимъ существованіемъ. Источникомъ литературы народа можетъ быть не какое-нибудь внѣшнее побужденіе или внѣшній толчекъ, но только міросозерцаніе народа. Міросозерцаніе всякаго народа есть зерно, сущность (субстанція) его духа, тотъ инстинктивный внутренній взглядъ на міръ, съ которымъ онъ родится, какъ съ непосредственнымъ откровеніемъ истины, и который есть его сила, жизнь и значеніе, та призма съ однимъ, или нѣсколькими первосущными цвѣтами радуги, сквозь которую онъ созерцаетъ тайну бытія всего сущаго. Міросозерцаніе есть источникъ и основа литературы. Это фонъ, на

1) Ibid. 262—263.

которомъ рисуются ея картины, канва, по которой вышиваются ея узоры» [1]). Критикъ даетъ общую характеристику грековъ, французовъ, нѣмцевъ и англичанъ, а затѣмъ переходитъ къ русскому народу.

«Теперь въ чемъ же состоитъ наше русское міросозерцаніе? Наука еще не сдѣлала у насъ никакого успѣха, и потому не въ ней должно искать нашего міросозерцанія (ибо міросозерцаніе выражается не въ математикѣ и другихъ положительныхъ наукахъ, а въ исторіи и философіи, которыхъ, какъ наукъ, у насъ еще нѣтъ). Станемъ же искать его въ поэзіи. Развернемъ наши народныя пѣсни и легенды: что найдемъ въ нихъ? Духъ силы, какого-то удальства, которому море по колѣна, какого-то широкаго размета души, не знающаго мѣры ни въ горѣ, ни въ радости. Но сила эта пока еще чисто матеріальная, она появляется въ богатыряхъ, которымъ палица въ триста пудъ, что тросточка, которые кладутъ въ ротъ по ковригѣ и запиваютъ ушатомъ. Удальство и широкій разметъ души опять-таки показываютъ сильную, свѣжую и здоровую натуру народа, но въ нихъ еще не видно никакого міросозерцанія. Правда, глубокая грусть, при этой исполинской силѣ, намекаетъ на какое-то темное сознаніе противорѣчія судьбы народа съ его назначеніемъ; но все это относится собственно къ его индивидуальности, а міросозерцаніе есть непосредственное разумѣніе общаго, вѣчнаго, непреходящаго. Но если бы и можно было отыскать въ нашей естественной (народной) поэзіи слѣды какого-нибудь міросозерцанія,—оно не могло ни развиться, ни произвести какія-либо слѣдствія, потому что Россія жила изолированною отъ человѣчества жизнью, чуждая интересовъ человѣчества, и до Петра Великаго была, подобно восточнымъ монархіямъ, не государствомъ, а народомъ-семействомъ. Слѣдовательно, тутъ нѣтъ и слова о литературѣ» [2]). Итакъ, въ до-Петровской Руси не могло быть и рѣчи о литера-

1) Сочиненія Бѣлинскаго, IV^5, 205.
2) Ibid. 210—211.

турѣ. Не было ей мѣста и въ Руси, преобразованной Петромъ. «Откуда же могла взяться литература послѣ Петра?... И ея, естественно, не было, потому что не могло быть. Намъ скажутъ, что Россія, пріобщившись жизни европейской, пріобщилась и ея интересамъ. Прекрасно; но эти интересы нельзя было перевезти съ товарами изъ-за границы; ихъ надо было развить изъ своей жизни, а Россіи было не до того; она хлопотала, какъ и слѣдовало, объ усвоеніи себѣ не содержанія, а только формъ европейской жизни. Поэтому, удивительно ли, что въ поэзіи Ломоносова нѣтъ никакой поэзіи, потому что нѣтъ никакого общечеловѣческаго (въ народной формѣ) содержанія. Удивительно ли, что народъ остался къ ней равнодушенъ и доселѣ не знаетъ о ея существованіи» [1]).

Въ томъ же 1841 году Бѣлинскій помѣстилъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» большую статью о русской народной поэзіи и о нѣкоторыхъ памятникахъ древней русской письменности. По поводу «Слова о полку Игоревѣ» критикъ замѣчаетъ: «Въ Словѣ о полку Игоревѣ нѣтъ никакой глубокой идеи. Это больше ничего, какъ простое и наивное повѣствованіе о томъ, какъ князь Игорь съ удалымъ братомъ Всеволодомъ и съ своей дружиной пошелъ на Половцевъ, сперва разбилъ ихъ, а потомъ самъ былъ разбитъ на голову, попался въ плѣнъ, изъ котораго, наконецъ, удалось ему ускользнуть. Безпрестанныя обращенія къ междоусобіямъ князей, или намеки на нихъ, также составляютъ содержаніе и, сверхъ того, историческій фонъ поэмы. Источникомъ историческаго произведенія поэзіи можетъ быть только исторія народа, и произведеніе въ той только степени можетъ отличаться глубокой идеею, въ какой полна «общимъ содержаніемъ» жизнь народа. Времена междоусобій съ перваго взгляда могутъ показаться самымъ поэтическимъ періодомъ въ русской исторіи; но если глубже и пристальнѣе заглянете въ сущность и значеніе этого времени, то увидите, что въ немъ не было никакихъ эле-

1) Ibid. 211.

ментовъ, которые могли бы дать поэзіи содержаніе; тамъ были только элементы для поэзіи чувства и выраженія, по общему закону—гдѣ жизнь, тамъ и поэзія. Есть рѣзкое различіе между поэзіей души человѣческой и поэзіею общества человѣческаго, поэзіею историческою: первая существуетъ и у дикихъ племенъ; вторая только у народовъ, играющихъ великую роль на аренѣ всемірно-историческаго развитія человѣчества. И потому «Слово о полку Игоревѣ» не только нейдетъ ни въ какое сравненіе съ «Иліадою», но даже съ поэмами среднихъ вѣковъ, въ родѣ «Артура и рыцарей круглаго стола» [1]). Изъ сопоставленія русской исторіи съ исторіей Европейскаго Запада получается такой выводъ: «Мы потерялись бы во множествѣ элементовъ, изъ которыхъ слагается европейская жизнь, которые всѣ вышли изъ одного источника и суть не что иное, какъ единая, безконечно развивающаяся, вѣчно движущаяся изъ самой себя идея. Нѣтъ ни тѣни этого въ древней русской жизни. Удѣльная система была точь въ точь то же самое, что помѣщичья система: отецъ-помѣщикъ, умирая, раздѣляетъ поровну своихъ крестьянъ между своими сыновьями.... Удѣльная система, самая естественная и простодушная изъ всѣхъ системъ въ мірѣ, принесла только внѣшнюю пользу Россіи, сдѣлавшись причиной ея внѣшняго расширенія и потомъ сплоченія. Въ междоусобіяхъ князей нѣтъ никакой идеи, потому что ихъ причина — не племенныя различія, не борьба разнородныхъ элементовъ, а просто личныя несогласія. Народъ тутъ не игралъ никакой роли, не принималъ никакого участія. Черниговцы дрались съ кіевлянами не по племенной ненависти, а по приказанію князей. Въ повѣсти Пушкина «Дубровскій» превосходно выражена удѣльная борьба въ раздорѣ крестьянъ Троекурова и Дубровскаго: бары поссорились, а слуги начали драться, вытаптывая поля, бить скотъ и поджигать избы» [2]).

1) Сочиненія, V[6], 85.
2) Ibid. 87—88.

По своимъ воззрѣніямъ на русскую исторію Бѣлинскій и Надеждинъ принадлежали, очевидно, къ одной и той же школѣ. Любопытно при этомъ обратить вниманіе на сужденіе Бѣлинскаго объ основателѣ скептической школы. Странности литературно-критическихъ сужденій Каченовскаго, литературное старовѣріе «Вѣстника Европы» были, конечно, вполнѣ ясны для Бѣлинскаго. Указавъ, напримѣръ, на критическія замѣчанія «Вѣстника Европы» о «Горѣ отъ ума» и о «Русланѣ и Людмилѣ», Бѣлинскій говоритъ: «Мы указываемъ на всѣ эти диковинки разумѣется не для того, чтобы доказать ихъ чудовищную нелѣпость: игра не стоила бы свѣчъ, да и смѣшно было бы вызывать къ суду людей, и безъ того уже давно проигравшихъ тяжбу во всѣхъ инстанціяхъ здраваго смысла и вкуса» [1]). Совершенно иначе отзывался Бѣлинскій объ историческихъ воззрѣніяхъ Каченовскаго. «Любопытная вещь, читаемъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» (1834 г.): г. Каченовскій, который возстановилъ противъ себя пушкинское поколѣніе и сдѣлался предметомъ самыхъ жесточайшихъ его преслѣдованій и нападковъ, какъ литературный дѣятель и судья, въ слѣдующемъ поколѣніи нашелъ себѣ ревностныхъ послѣдователей и защитниковъ, какъ ученый, какъ изслѣдователь отечественной исторіи. Впрочемъ это ничуть не удивительно: одинъ человѣкъ не можетъ вмѣстить въ себѣ всего: всеобъемлемость ума и многосторонность таланта дается немногимъ избраннымъ. Потому у г. Гоголя читайте его прекрасныя сказки, а у г. Каченовскаго его, или написанныя подъ его вліяніемъ и руководствомъ, статьи о русской исторіи, и помните латинскую поговорку: suum cuique, а болѣе всего мудрое правило нашего великаго баснописца:

Бѣда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ,
А сапоги точать пирожникъ.

Я не ученый и въ исторіи смыслю весьма немного; сужу не

1) Сочиненія, VIII[4], 414.

какъ знатокъ, но какъ любитель; но вѣдь не изъ любителей ли состоитъ и публика? Поэтому, всякое добросовѣстное мнѣніе любителя должно заслуживать нѣкоторое вниманіе, тѣмъ болѣе, если оно есть отголосокъ общаго, т. е. господствующаго мнѣнія. Теперь у насъ двѣ историческія школы: Шлецера и Каченовскаго. Одна опирается на давности, привычкѣ, уваженіи къ авторитету ея основателя; другая, сколько я понимаю, на здравомъ смыслѣ и глубокой учености. Будучи совершенно невиненъ въ послѣдней, я имѣю нѣкоторыя притязанія на первый, вслѣдствіе чего мнѣ кажется очень естественнымъ, что настоящее поколѣніе, чуждое воспоминаній старины и предубѣжденій авторитетовъ, горячо приняло историческія мнѣнія г. Каченовскаго» [1]). Одиннадцать лѣтъ спустя, въ одной изъ статей 1845 года, Бѣлинскій съ сочувствіемъ и уваженіемъ вспоминалъ объ издателѣ «Вѣстника Европы»: «Первый осмѣлился говорить о Карамзинѣ не по преданію и не по авторитету, а по собственному сужденію человѣкъ стараго поколѣнія — профессоръ Каченовскій. Князь Вяземскій доказывалъ ему его несправедливость въ стихотворномъ посланіи, которое было напечатано въ «Сынѣ Отечества» (1821 г.) и начиналось такъ:

Передъ судомъ ума сколь, Каченовскій! жалокъ...

Каченовскій перепечаталъ это посланіе у себя, въ «Вѣстникѣ Европы», поблагодаривъ издателей «Сына Отечества» за запятую и восклицательный знакъ, которыми въ первомъ стихѣ отдѣлено имя того, къ кому адресовано посланіе, и снабдилъ эту пьесу очень любопытными примѣчаніями» [2]). Припомнимъ еще, что авторитетный другъ Бѣлинскаго Станкевичъ занимался въ университетѣ русской исторіей подъ руководствомъ Каченовскаго. «Каченовскому стану писать о причинахъ постепеннаго возвышенія Москвы до смерти Іоанна III. Это одна изъ темъ,

1) Сочиненія, I, 101—102.
2) Сочиненія, IX, 6.

которыя предложилъ онъ для оканчивающихъ курсъ. Хотя это не любимый предметъ его, но онъ увидитъ, что хорошо, что дурно, и если найдетъ перваго больше, то охотно признаетъ это; а мнѣ выгода та, что я узнаю русскую исторію» [1]). Такъ писалъ Станкевичъ одному изъ своихъ друзей въ началѣ 1834 г. По предложенію Каченовскаго, работа Станкевича была напечатана въ «Запискахъ Московскаго Университета» (1834/5 г. кн. V).

«Дѣйствительна одна истина, говорилъ Бѣлинскій, и только въ одной истинѣ благо и счастье; но истина сурова, неумолима и жестока до тѣхъ поръ, пока человѣкъ только спустится къ ней и еще не овладѣлъ ею. Первый шагъ къ ней... сомнѣніе и отрицаніе. Истина есть единство противоположностей, и пока человѣкъ переживаетъ ея моменты, онъ бросается изъ одной крайности въ другую, безпрестанно впадаетъ въ преувеличеніе, исключительность и односторонность; но какъ скоро процессъ совершился, и различія разрѣшились въ гармоническое единство, то всѣ ограниченныя частности улетучиваются въ общее, ложь остается за временемъ, а истина за разумомъ» [2]). Въ этой тирадѣ прекрасно очерченъ тотъ душевный процессъ, который пережитъ былъ самимъ Бѣлинскимъ. Человѣкъ живой, впечатлительный, алкавшій правды, онъ не могъ чувствовать себя удовлетвореннымъ тѣми отрицательными выводами, на которыхъ спокойно останавливался холодный, скептическій умъ Надеждина. «Преобладающимъ элементомъ» своей души Бѣлинскій признавалъ «страстность», которая, по его словамъ, была «источникомъ мукъ и радостей» его [3]). Эту же страстность онъ переносилъ и въ область историческихъ изученій. Въ началѣ 1841 года одинъ изъ друзей критика поздравлялъ его съ тѣмъ, что онъ «вышелъ на широкое поле дѣйствительности, на животворящую почву исторической жизни»: и «груди и душѣ твоей будетъ легче», пи-

1) Анненковъ, Н. В. Станкевичъ, 84.
2) Сочиненія, IV^{5}, 198.
3) Пыпинъ, Бѣлинскій, его жизнь и переписка. Т. II, 183.

салъ другъ. Бѣлинскій отвѣчаетъ: «отчасти это справедливо; искусство задушило было меня, но при этомъ направленіи я могъ жить въ себѣ и думалъ, что для человѣка только и возможно, что жизнь въ себѣ, а вышелъ изъ себя (гдѣ было тѣсненько, но зато и тепло), я вышелъ въ новый міръ страданія, ибо *для меня дѣйствительность и историческая жизнь не существуетъ только въ прошедшемъ, я хочу ихъ видѣть въ настоящемъ* а этого-то и нѣтъ и не можетъ быть» [1]). Ясно, что человѣкъ, такъ тѣсно «свивавшій оба полы сего времени», не могъ остановиться на холодно-скептическомъ воззрѣніи на русскую жизнь; онъ «бросался изъ одной крайности въ другую», переживалъ борьбу противоположностей, которыя такъ или иначе должны были «разрѣшиться въ гармоническое единство».

Въ сочиненіяхъ и письмахъ Бѣлинскаго сохранились ясные слѣды этого тяжелаго, мучительнаго процесса, этихъ противорѣчій, которыя ожидали примиренія. Вотъ примѣры. Въ статьѣ о русской народной поэзіи, останавливаясь на нашихъ былевыхъ пѣсняхъ, Бѣлинскій высказываетъ такое общее соображеніе объ этихъ пѣсняхъ: «искать въ нихъ общей мысли все равно, что ловить жемчужныя раковины въ Фонтанкѣ. Онѣ ничѣмъ не связаны между собою; содержаніе всѣхъ ихъ одинаково, обильно словами, скудно дѣломъ, чуждо мысли. Поэзія въ прозѣ содержится въ нихъ, какъ ложка меду въ бочкѣ дегтя» [2]). Такой выводъ подсказывался знакомыми намъ взглядами на историческое прошлое Руси. Но непосредственное художественное и національное чувство Бѣлинскаго, его критическая наблюдательность не мирились, вступали въ борьбу съ предвзятыми воззрѣніями. Сдѣлавъ замѣчаніе объ отсутствіи мысли въ русскомъ эпосѣ, Бѣлинскій переходитъ къ отдѣльнымъ былинамъ. Прежде всего онъ разсматриваетъ пѣсни объ Алешѣ Поповичѣ. Выводъ получается такой: «вотъ, читатели, вы уже знакомы съ однимъ

1 Пыпинъ, op. cit. II, 88.
2) Сочиненія, V, 101.

изъ богатырей «ласкова князя Владиміра красна-солнышка»; вы уже знакомы, за какую службу и съ какими обрядами Алеша былъ принятъ ко двору его. Тутъ не было рыцарскаго посвященія; не ударяли по плечу шпагою; не надѣвали серебряныхъ шпоръ; битва была не за красоту, а противъ красоты, красоты вельми неграціозной и въ словахъ, и въ манерахъ, и въ характерѣ. Не ищите тутъ миѳовъ съ общечеловѣческимъ содержаніемъ, не ищите художественныхъ красотъ поэзіи; но въ этихъ странныхъ и оригинальныхъ оборотахъ все-таки есть поэтическіе элементы, если не поэзія; въ этихъ дикихъ и неопредѣленныхъ образахъ народной фантазіи все-таки есть смыслъ и значеніе, если нѣтъ мысли, — даже, если хотите, *есть мысль*, только частная, а не общая, народу, а не человѣчеству принадлежащая; и — повторяемъ — несмотря на дубоватую неграціозность образовъ, выраженіе чуждое мысли очень и очень не чуждо поэзіи» [1]). При дальнѣйшемъ изученіи былинъ критикъ, повидимому, совсѣмъ забываетъ о своемъ общемъ взглядѣ на русскій эпосъ. Вслѣдъ за былинами такъ называемаго Владимірова цикла разсматриваются былины новгородскія. Познакомивъ читателей съ пѣснями о Васильѣ Буслаевѣ, критикъ замѣчаетъ: «Не говоря уже о томъ, что въ этой поэмѣ очень много... поэзіи и силы въ выраженіи, *въ ней есть еще не только мысль, но и что-то похожее на идею*. Эту поэму должно понимать, какъ миѳическое выраженіе историческаго значенія и гражданственности Новгорода» [2]). По поводу былины о Садкѣ Бѣлинскій замѣчаетъ: «Въ этой поэмѣ ощутительно присутствіе идеи; она есть поэтическая апоѳеоза Новгорода, какъ торговой общины» [3]). Въ статьѣ 1845 года о «Борисѣ Годуновѣ» Пушкина Бѣлинскій говоритъ: «Эта пьеса была для него истинно Ватерлооскою битвою, въ которой онъ развернулъ во всей широтѣ и глубинѣ свой геній и, несмотря на то, все-таки потерпѣлъ рѣшительное пораженіе.

1) Ibid. 109.
2) Ibid. 168.
3) Ibid. 187.

Прежде всего скажемъ, что «Борисъ Годуновъ» Пушкина совсѣмъ не драма, а развѣ эпическая поэма въ разговорной формѣ. Дѣйствующія лица, вообще слабо очеркнутыя, только говорятъ, и мѣстами говорятъ превосходно; но они не живутъ, не дѣйствуютъ. Слышите слова, часто исполненныя высокой поэзіи, но не видите ни страстей, ни борьбы, ни дѣйствій. Это одинъ изъ первыхъ и главныхъ недостатковъ драмы Пушкина; но этотъ недостатокъ не вина поэта: его причина — въ русской исторіи, изъ которой поэтъ заимствовалъ содержаніе своей драмы. Русская исторія до Петра Великаго тѣмъ и отличается отъ исторіи западно-европейскихъ государствъ, что въ ней преобладаетъ чисто эпическій или, скорѣе, квіэтическій характеръ, тогда какъ въ тѣхъ преобладаетъ характеръ чисто драматическій. До Петра Великаго въ Россіи развивалось начало семейственное и родовое; но не было и признаковъ развитія личнаго; а можетъ ли существовать драма безъ сильнаго развитія индивидуальностей и личностей?» [1]). Позже Бѣлинскій отказался отъ этого отрицательнаго взгляда на драматическую цѣнность «Бориса Годунова» [2]). Но любопытно, что еще ранѣе, въ 1839 году, критикъ давалъ иное рѣшеніе вопроса о русской исторической драмѣ. «Русская исторія, читаемъ въ статьѣ о Лажечниковѣ, есть неистощимый источникъ для романиста и драматика; многіе думаютъ напротивъ, но это потому, что они не понимаютъ русской жизни и мѣряютъ ее нѣмецкимъ аршиномъ... Русская жизнь до Петра Великаго имѣла свои формы, — поймите ихъ и тогда увидите, что она заключаетъ въ себѣ для романа и драмы такіе же богатые матеріалы, какъ и европейская. Да что говорить о романистахъ, когда и историки наши ищутъ въ нашей исторіи приложеній къ идеямъ Гизо о европейской цивилизаціи и первый періодъ мѣряютъ норманскимъ футомъ, вмѣсто русскаго аршина!

---

1) Сочиненія, VIII, 606.
2) Ср. сочиненія, XII[4], 271, 313—314, 357.

Боже мой, а какія эпохи, какія лица! Да ихъ стало бы нѣсколькимъ Шекспирамъ и Вальтеръ-Скоттамъ» [1]).

Такія противорѣчія свидѣтельствовали безспорно о тяжеломъ, мучительномъ процессѣ развивающейся мысли. Бѣлинскій искалъ выхода изъ этихъ запутанныхъ противорѣчій и, послѣ многихъ колебаній и невѣрныхъ шаговъ, выбрался на большую дорогу, къ которой, какъ онъ думалъ, сходились всѣ тѣ отдѣльныя тропинки, по которымъ блуждала его мысль. Процессъ колебаній и порывовъ смѣнился мало по малу болѣе спокойнымъ движеніемъ мысли. Первую помощь подалъ Бѣлинскому Гегель. Когда нашъ критикъ ознакомился съ философіей нѣмецкаго мыслителя, онъ съ увлеченіемъ сталъ повторять знаменитое изреченіе: все дѣйствительное разумно. Увлеченіе понятно. Положеніе о разумности дѣйствительности распутывало, казалось, всѣ противорѣчія, обѣщало внести единство и цѣльность и въ общее міровоззрѣніе, и въ частности, въ представленія о быломъ и современномъ движеніи русской жизни. «Все, что есть, необходимо, разумно и дѣйствительно, говоритъ Бѣлинскій въ статьѣ «Менцель, критикъ Гете». Посмотрите на природу, приникните съ любовью къ ея материнской груди, прислушайтесь къ біенію ея сердца — и увидите въ ея безконечномъ разнообразіи удивительное единство, въ ея безконечномъ противорѣчіи удивительную гармонію. Кто можетъ найти хоть одну погрѣшность, хоть одинъ недостатокъ въ твореніи Предвѣчнаго Художника? Кто можетъ сказать, что вотъ эта былинка ненужна, это животное лишнее? Если же міръ природы, столь разнообразный, столь, повидимому, противорѣчивый, такъ разумно дѣйствителенъ, то неужели высшій его—міръ исторіи есть не такое же разумно-дѣйствительное развитіе божественной идеи, а какая-то безсвязная сказка, полная случайныхъ и противорѣчащихъ столкновеній между обстоятельствами? И однакожъ есть люди, которые твердо убѣждены, что все идетъ въ мірѣ не такъ, какъ должно... Удивительно ли послѣ

1) Сочиненія, III, 24—25.

этого, что исторія у нихъ является то сумасшедшимъ, то смирительнымъ домомъ, то темницею, наполненною преступниками, а не пантеономъ славы и безсмертія, полнымъ ликовъ представителей человѣчества, выполнителей судебъ Божіихъ. Хороша исторія!.... Такіе кривые взгляды, иногда выдаваемые за высшіе, происходятъ отъ разсудочнаго пониманія дѣйствительности, необходимо соединеннаго съ отвлеченностью и односторонностью. Разсудокъ умѣетъ только отвлекать идею отъ явленія и видѣть одну какую-нибудь сторону предмета, только разумъ постигаетъ идею нераздѣльно съ явленіемъ и явленіе нераздѣльно съ идеею и схватываетъ предметъ со всѣхъ его сторонъ, повидимому, одна другой противорѣчащихъ и другъ съ другомъ несовмѣстныхъ,— схватываетъ его во всей его полнотѣ и цѣльности. И потому разумъ не создаетъ дѣйствительности, а сознаетъ ее, предварительно взявъ за аксіому, что все, что есть, все то и необходимо, и законно, и разумно. Онъ не говоритъ, что такой-то народъ хорошъ, а всѣ другіе, непохожіе на него, дурны, что такая-то эпоха въ исторіи народа или человѣка хороша, а такая-то дурна, но для него всѣ народы и всѣ эпохи равно велики и важны, какъ выраженія абсолютной идеи, діалектически въ нихъ развивающейся. Для него возникновеніе и паденіе царствъ и народовъ не случайно, а внутренно-необходимо, и самая эпоха римскаго разврата есть не предметъ осужденія, а предметъ изслѣдованія. Онъ не скажетъ съ какимъ-нибудь Вольтеромъ, что крестовые походы были плодомъ невѣжества и предпріятіемъ нелѣпымъ и смѣшнымъ, но увидитъ въ нихъ разумно необходимое, великое и поэтическое событіе, совершившееся въ свою пору и свое время, и выразившее моментъ юности человѣчества, какъ всякой юности, исполненной благородныхъ порывовъ, безкорыстныхъ стремленій и идеальной мечтательности. Такъ же точно смотритъ разумъ и на всѣ явленія дѣйствительности, видя въ нихъ необходимыя явленія духа. Блаженство и радость, страданіе и отчаяніе, вѣра и сомнѣніе, дѣятельность и бездѣйствіе, побѣда и паденіе, борьба, раздоръ и примиреніе, торжество страстей и торжество духа,

самыя преступленія, какъ бы они ни были ужасны,—все это для него явленія одной и той же дѣйствительности, выражающія необходимые моменты духа, или уклоненія его отъ нормальности, вслѣдствіе внутреннихъ и внѣшнихъ причинъ. Но разумъ не остается только въ этомъ объективномъ безпристрастіи: признавая всѣ явленія духа равно необходимыми, онъ видитъ въ нихъ не безполезную лѣстницу, лежащую горизонтально, а стоящую перпендикулярно, отъ земли къ небу, и въ которой ступени прогрессивно возвышаются одна надъ другой» [1]). Тѣхъ историковъ, которые рѣшаются указывать ошибки историческихъ дѣятелей, Бѣлинскій называетъ маленькими великими людьми. «Для этихъ маленькихъ великихъ людей государство есть искусственная машина, которую по произволу можетъ вертѣть всякій маленькій великій человѣкъ. Они осуждаютъ Петровъ и Наполеоновъ, съ важностью указывая на ихъ ошибки и не шутя давая знать, что на мѣстѣ этихъ, впрочемъ, дѣйствительно великихъ людей, они бы не сдѣлали такихъ промаховъ. Они говорятъ: Петръ сдѣлалъ тогда-то вотъ то-то, между тѣмъ какъ ему слѣдовало бы въ то время сдѣлать вотъ это; они говорятъ, что Наполеонъ палъ потому, что не стоялъ за права человѣчества, а думалъ только о своей личной власти. Жалкіе слѣпцы! Петръ сдѣлалъ именно то, для чего послалъ его, что поручилъ ему Богъ,—ему, своему посланнику, помазаннику свыше; онъ угадалъ волю духа времени, — и не свою, а волю пославшаго его выполнилъ онъ, потому-то онъ и великій человѣкъ. Только маленькіе великіе люди таращатся выполнять свою случайную волю: воля великихъ людей всегда совпадаетъ съ волею Божіею, которою и сильны они, которою и удаются имъ дѣла ихъ» [2]). Этотъ общій взглядъ на исторію человѣчества примѣненъ былъ Бѣлинскимъ къ русской дѣйствительности въ извѣстной статьѣ объ «Очеркахъ Бородинскаго сраженія» Глинки. Статья эта всѣмъ, конечно, знакома, а потому и нѣтъ надобности припоминать ея со-

1) Ibid. 317—320.
2) Ibid. 288.

держаніе. Статьи о Менцелѣ и Глинкѣ интересны для насъ лишь какъ указатели начавшагося перелома въ историческихъ воззрѣніяхъ Бѣлинскаго,—начавшагося, но еще далеко не законченнаго. Бѣлинскаго упрекаютъ иногда въ томъ, что онъ не понялъ будто бы истиннаго значенія той разумной дѣйствительности, на которую указывалъ Гегель. Усвоивъ себѣ положеніе: «все дѣйствительное разумно», Бѣлинскій, говорятъ, призналъ дѣйствительностью все фактически случающееся, хотя бы и не имѣющее притязаній на философскую разумность. Обвиненіе несправедливое. Въ томъ же году, когда появилась статья о Менцелѣ, написана была другая, не менѣе извѣстная статья о «Горѣ отъ ума» Грибоѣдова. Критикъ сравниваетъ «Горе отъ ума» съ «Ревизоромъ» Гоголя и отдаетъ преимущество послѣдней комедіи. То, что изображено было Гоголемъ,—жизнь уѣзднаго городка и его обитателей,—представляло, конечно, несомнѣнную эмпирическую дѣйствительность, а между тѣмъ вся статья Бѣлинскаго построена на той мысли, что міръ, изображенный Гоголемъ,—міръ «призраковъ», міръ, противопоставляемый разумной «дѣйствительности». Критикъ дѣлитъ поэзію на два вида: на поэзію положенія, или дѣйствительности и поэзію отрицанія, или призрачности «Подъ словомъ «дѣйствительность» разумѣется все, что есть міръ видимый и міръ духовный, міръ фактовъ и міръ идей. Разумъ въ сознаніи и разумъ въ явленіи, словомъ, открывающійся самому себѣ духъ есть дѣйствительность; тогда какъ все частное, все случайное, все неразумное есть призрачность, какъ противоположность дѣйствительности, какъ ея отрицаніе, какъ кажущееся, но не сущее.... Человѣкъ служитъ царю и отечеству вслѣдствіе возвышеннаго понятія о своихъ обязанностяхъ къ нимъ, вслѣдствіе желанія быть орудіемъ истины и блага, вслѣдствіе сознанія себя, какъ части общества, своего кровнаго и духовнаго родства съ нимъ — это міръ дѣйствительности. «Овому талантъ, овому два», и потому какъ бы ни была ограничена сфера дѣятельности человѣка, какъ бы ни незначительно было мѣсто, занимаемое имъ не только въ человѣчествѣ, но и въ обществѣ,

но если онъ кромѣ своей конечной личности, кромѣ своей ограниченной индивидуальности видитъ въ жизни нѣчто общее, и въ сознаніи этого общаго, по степени своего разумѣнія, находитъ источникъ своего счастья, — онъ живетъ въ дѣйствительности и есть дѣйствительный человѣкъ, а не призракъ, истинный, сущій, а не кажущійся только человѣкъ. Если человѣку недоступны объективные интересы, каковы жизнь и развитіе отечества, ему могутъ быть доступны интересы своего сословія, своего города, своей деревни, такъ что онъ находитъ какое-то, часто странное и непонятное для самого себя, наслажденіе, для ихъ выгодъ лишаться собственныхъ, личныхъ выгодъ—и тогда онъ живетъ въ дѣйствительности. Если же онъ не возвышается и до такихъ интересовъ, — пусть будетъ онъ супругомъ, отцомъ, семьяниномъ, любовникомъ, но только не въ животномъ, а въ человѣческомъ значеніи, источникъ котораго есть любовь, какъ бы ни была она ограничена, лишь бы только была отрицаніемъ его личности, — онъ опять живетъ въ дѣйствительности. На какой бы степени ни проявился духъ, онъ—дѣйствительность, потому что онъ любовь, или безсознательная разумность, а потомъ разумъ, или любовь, сознавшая себя... Когда его сознаніе, или его субъективно-объективное существованіе заключено только въ смыслѣ, или конечномъ разсудкѣ, наглухо заперто въ соображеніи своихъ личныхъ выгодъ, въ эгоистической дѣятельности, а не въ разумѣ, какъ въ сознаніи себя только чрезъ общее, какъ въ частномъ и преходящемъ выраженіи общаго и вѣчнаго—онъ призракъ, ничто, хотя и кажется чѣмъ-то» [1]).

Это различіе дѣйствительности мнимой, или призрачной и дѣйствительности истинной, разумной помогло Бѣлинскому сдѣлать поправку и въ его общихъ воззрѣніяхъ на русскую жизнь. Поправка, какъ это всегда бывало у Бѣлинскаго, сопровождалась мучительнымъ чувствомъ. «Однакожъ, чортъ возьми, я

1) Ibid. 350—352. «Надо умѣть отличать разумную дѣйствительность, которая одна дѣйствительность, отъ неразумной дѣйствительности, которая призрачна и преходяща» (VI, 310).

ужасно измѣняюсь, писалъ Бѣлинскій Боткину въ концѣ 1840 года, но это не страшитъ меня, ибо съ пошлою дѣйствительностію я все болѣе и болѣе расхожусь, въ душѣ чувствую больше жару и энергіи, больше готовности умереть и пострадать за свои убѣжденія... Боже мой, сколько отвратительныхъ мерзостей сказалъ я печатно со всею искренностью, со всѣмъ фанатизмомъ дикаго убѣжденія!.. всего тяжелѣе мнѣ вспомнить о «Горѣ отъ ума», которое я осудилъ съ художественной точки зрѣнія и о которомъ говорилъ свысока, съ пренебреженіемъ, не догадываясь, что это благороднѣйшее, гуманическое произведеніе, энергическій (и притомъ первый) протестъ противъ гнусной *расейской* дѣйствительности, противъ чиновниковъ-взяточниковъ, баръ-развратниковъ, противъ невѣжества, добровольнаго холопства и пр.»... Вспоминая, затѣмъ о своей статьѣ по поводу книги Глинки, Бѣлинскій говоритъ: «Конечно, идея, которую я силился развить въ статьѣ по случаю книги Глинки о Бородинскомъ сраженіи, вѣрна въ своихъ основаніяхъ, но *должно было бы развить и идею отрицанія, какъ историческаго права, не менѣе перваго священнаго*, и безъ котораго исторія человѣчества превратилась бы въ стоячее и вонючее болото» [1]).

Сдѣлавъ такую поправку въ своихъ историческихъ взглядахъ, Бѣлинскій призналъ два основныхъ и равноправныхъ элемента развивающейся народности: элементъ традиціи, покоя, завѣтовъ прошедшаго и элементъ «отрицанія», движенія, измѣненій, вызываемыхъ нарождающимися потребностями національнаго быта. Взаимное отношеніе этихъ элементовъ охватывалось общимъ понятіемъ историческаго прогресса. «Слово «прогрессъ», писалъ Бѣлинскій въ 1848 году, отличается всею опредѣленностью и точностью научнаго термина, и въ послѣднее время оно сдѣлалось ходячимъ словомъ, его употребляютъ всѣ, даже тѣ, которые нападаютъ на его употребленіе... Всякое органическое развитіе совершается черезъ прогрессъ, развивается же органически

1) Пыпинъ, Бѣлинскій, II, 77—78.

только то, въ чемъ каждое явленіе есть необходимый результатъ предыдущаго и имъ объясняется» [1]).

Это понятіе прогресса, правильнаго и послѣдовательнаго развитія освѣтило для Бѣлинскаго и общее движеніе русской исторической жизни. Бѣлинскій не былъ, конечно, ученымъ знатокомъ русской исторіи, но онъ съ особымъ интересомъ слѣдилъ за движеніемъ русской исторической науки. Припомнимъ для примѣра его статью (1839) о рѣчи проф. Морошкина объ Уложеніи царя Алексѣя Михайловича [2]), рядъ замѣтокъ объ историческихъ работахъ Н. Полевого. Когда въ половинѣ сороковыхъ годовъ выступили въ нашей исторической литературѣ молодые ученые, вносившіе въ изученіе нашей старины новые взгляды, Бѣлинскій съ горячимъ сочувствіемъ привѣтствовалъ это научное оживленіе. «Наука еще не пустила у насъ глубокихъ корней, писалъ Бѣлинскій въ 1848 году, но и въ ней уже замѣтенъ поворотъ къ самобытности, именно въ той сферѣ, въ которой самобытность прежде всего должна начаться для русской науки—въ сферѣ изученія русской исторіи. Въ ея событіяхъ, до сихъ поръ объяснявшихся подъ вліяніемъ изученія западной исторіи, уже проводятся начала жизни, только ей свойственныя, и русская исторія объясняется по-русски» [3]). «Въ самомъ дѣлѣ, никогда изученіе русской исторіи не имѣло такого серьезнаго характера, какой приняло оно въ послѣднее время, читаемъ въ другой статьѣ Бѣлинскаго, написанной годомъ раньше. Мы вопрошаемъ и допрашиваемъ прошедшее, чтобы оно объяснило намъ наше настоящее и намекнуло о нашемъ бу-

1) Сочиненія, XI[2], 327.

2) Рѣчь Морошкина очень понравилась Бѣлинскому. «Если бы такимъ образомъ, говоритъ критикъ, юристы наши обработали исторію права на Руси и разоблачили его внутреннее значеніе и сокровенную, таинственную сущность—мысль, какъ далеко подвинулась бы русская исторія! Право есть краеугольный камень общественнаго зданія, цементъ, связывающій его части, и потому, пока темна эта сторона исторіи какого-либо народа, то и сама исторія его, по необходимости, есть темный непроходимый лѣсъ» (III, 143).

3) Сочиненія, XI[2], 375.

дущемъ. Мы какъ будто испугались за нашу жизнь, за наше значеніе, за наше прошедшее и будущее и скорѣе хотимъ рѣшить великій вопросъ: «Быть или не быть»? Тутъ уже дѣло идетъ не о томъ, откуда пришли варяги: съ Запада или съ Юга, изъ-за Балтійскаго или изъ-за Чернаго моря, а о томъ, проходитъ ли черезъ нашу исторію какая-нибудь живая, органическая мысль, и если проходитъ, какая именно; какія наши отношенія къ прошедшему, отъ котораго мы какъ будто бы оторваны, и къ Западу, съ которымъ мы какъ будто связаны. И результатомъ этихъ хлопотливыхъ и тревожныхъ изслѣдованій начинаетъ оказываться, что, во-первыхъ, мы не такъ рѣзко оторваны отъ нашего прошедшаго, какъ думали, и не такъ тѣсно связаны съ Западомъ, какъ воображали» [1]). Это замѣчаніе вполнѣ совпадало со взглядами историковъ новаго направленія. «Возьмемъ почти достовѣрную исторію Россіи съ прибытія къ намъ иноземной дружины съ сѣвера въ половинѣ IX вѣка. Что дѣлали мы съ половины IX до XVIII вѣка — цѣлые восемь съ половиной вѣковъ? вовсе не жили? это неправда. Факты противорѣчатъ этому. Наша исторія представляетъ постепенное измѣненіе формъ, а не повтореніе ихъ; слѣдовательно, въ ней было развитіе, не такъ, какъ на Востокѣ, гдѣ съ самаго начала до сихъ поръ все повторяется почти одно и то же; а если, по временамъ, и появлялось что-нибудь новое, то замирало или развивалось на европейской почвѣ. Въ этомъ смыслѣ мы народъ европейскій, способный къ совершенствованію, къ развитію, который не любитъ повторяться и безчисленное число вѣковъ стоять на одной точкѣ. Въ чемъ же состояло наше развитіе до XVIII вѣка? какой смыслъ его? какое его движущее начало? Вотъ тайна, еще до сихъ поръ никѣмъ не разгаданная!... Чтобы понять тайный смыслъ нашей исторіи, чтобъ оживить нашу историческую литературу, необходимы взглядъ, теорія. Они должны представить русскую исторію какъ развивающійся организмъ, живое цѣлое, проникнутое од-

1) Ibid. 25—26.

нимъ духомъ, одними началами. Явленія ея должны быть поняты, какъ различныя выраженія этихъ началъ, необходимо связанныя между собой, необходимо вытекающія одно изъ другого... Внутренняя исторія Россіи — не безобразная груда безсмысленныхъ, ничѣмъ не связанныхъ фактовъ. Она, напротивъ, стройное, органическое, разумное развитіе нашей жизни, всегда единой, какъ всякая жизнь, всегда самостоятельной, даже во время и послѣ реформы. Исчерпавши всѣ свои исключительно національные элементы, мы вышли въ жизнь общечеловѣческую, оставаясь тѣмъ же, чѣмъ были и прежде,—русскими славянами»[1]). Эти отрывки взяты изъ статьи Кавелина: «Взглядъ на юридическій бытъ древней Руси», написанной въ 1846 году. Припомнимъ, что Кавелинъ былъ близокъ къ Бѣлинскому. Статья о русской литературѣ въ 1846 году написана была Бѣлинскимъ въ сотрудничествѣ съ Кавелинымъ. Послѣднему принадлежитъ внесенный въ статью обзоръ трудовъ по русской исторіи.

Предшественники и современники Бѣлинскаго въ области литературной критики много говорили о народности вообще и русской въ особенности, но рѣдко пытались опредѣлить сколько-нибудь точно содержаніе этихъ понятій. Мы знаемъ, что понятіе народности, какъ принципъ литературной критики, усвоено было и Бѣлинскимъ, но въ его пылкой, страстной душѣ этотъ принципъ получилъ особое значеніе. Народность русская не только интересовала его умъ, какъ любопытная загадка, она жила въ его сердцѣ, волновала его, какъ предметъ оживленной и горячей любви. Бѣлинскій не понималъ космополитизма. «Терпѣть не могу я, писалъ онъ, восторженныхъ патріотовъ, выѣзжающихъ вѣчно на междометіяхъ, или на квасу да кашѣ; ожесточенные скептики для меня въ 1000 разъ лучше, ибо ненависть иногда бываетъ только особенной формой любви; но, признаюсь, жалки и непріятны мнѣ спокойные скептики, абстрактные человѣки, безпаспортные бродяги въ человѣчествѣ. Какъ бы ни увѣряли

1) Сочиненія К. Кавелина, ч. I (1859), 308, 310—311, 377.

они себя, что живутъ интересами той или другой, по ихъ мнѣнію, представляющей человѣчество страны,—не вѣрю я ихъ интересамъ. Любовь часто ошибается, видя въ любимомъ предметѣ то, чего въ немъ нѣтъ,—правда; но иногда только любовь же и открываетъ въ немъ то прекрасное или великое, которое недоступно наблюденію и уму. Петръ Великій имѣлъ бы больше, чѣмъ кто-нибудь, права презирать Россію, но онъ—

Не презиралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназначенье.

На этомъ и основалась возможность успѣха его реформы. Для меня Петръ — моя философія, моя религія, мое откровеніе во всемъ, что касается Россіи. Это примѣръ для великихъ и малыхъ, которые хотятъ что-нибудь дѣлать, быть чѣмъ-нибудь полезными. Безъ непосредственнаго элемента — все гнило, абстрактно и безжизненно, такъ же какъ при одной непосредственности все дико и нелѣпо» [1]). Говоря о народности, Бѣлинскій скорѣй готовъ былъ примкнуть къ своимъ постояннымъ литературнымъ противникамъ—славянофиламъ, чѣмъ оказаться въ одномъ лагерѣ съ противниками національной идеи. «Что личность въ отношеніи къ идеѣ человѣка, то народность въ отношеніи къ идеѣ человѣчества. Безъ національностей человѣчество было бы мертвымъ логическимъ абстрактомъ, словомъ безъ содержанія, звукомъ безъ значенія. Въ отношеніи къ этому вопросу я скорѣе готовъ перейти на сторону славянофиловъ, нежели оставаться на сторонѣ гуманическихъ космополитовъ, потому что если первые и ошибаются, то какъ люди, какъ живыя существа, а вторые и истину-то говорятъ какъ такое-то изданіе такой-то логики» [2]). Но что же такое русская народность, какъ особая «личность человѣчества»? Общая мысль о разумности историческаго процесса и о своеобразномъ движеніи русской

1) Пыпинъ, Бѣлинскій, II, 307.
2) Сочиненія, XI, 41—42.

исторіи не дала, конечно, Бѣлинскому прямого отвѣта на этотъ вопросъ, но она помогла ему раскрыть значеніе вопроса о русской народности. Народность, какъ совокупность свойствъ народа живущаго, продолжающаго развиваться, — народа, мысль и чувство котораго обращены, съ одной стороны, къ завѣтамъ былого, а съ другой къ откровеніямъ грядущаго, не можетъ быть понята какъ нѣчто неподвижное, разъ навсегда опредѣлившееся въ неизмѣнныя формы. Народность живого народа можетъ быть понята лишь какъ рядъ возможностей, которыя постепенно, съ извѣстной послѣдовательностью находятъ себѣ выраженіе въ исторической дѣйствительности. Такъ именно и понималъ Бѣлинскій русскую народность. «Мы ни отъ кого не отстали, писалъ Бѣлинскій въ 1846 году, а многихъ и опередили въ политическо-историческомъ значеніи, важной, но еще не единственной, не исключительной сторонѣ жизни для народа, призваннаго для великой роли. Наше политическое величіе есть несомнѣнный залогъ нашего будущаго великаго значенія и въ другихъ отношеніяхъ; но въ немъ одномъ еще нѣтъ окончательнаго достиженія до развитія всѣхъ сторонъ, долженствующихъ составлять полноту и цѣльность жизни великаго народа. Въ будущемъ мы, кромѣ побѣдоноснаго русскаго меча, положимъ на вѣсы европейской жизни еще и русскую мысль[1]). Эта же мысль болѣе подробно развивается въ одной изъ статей 1847 года: «Прежде всего мы скажемъ, что рѣшительно не вѣримъ въ возможность крѣпкаго политическаго и государственнаго существованія народовъ, лишенныхъ національности, слѣдовательно, живущихъ чисто внѣшнею жизнью... Намъ, русскимъ, нечего сомнѣваться въ нашемъ политическомъ и государственномъ значеніи: изъ всѣхъ славянскихъ племенъ только мы сложились въ крѣпкое и могучее государство, и какъ до Петра Великаго, такъ и послѣ него, до настоящей минуты, выдержали съ честью не одинъ суровый экзаменъ судьбы, не разъ были на краю гибели, и всегда

1) Сочиненія, XII[4], 256—257.

успѣвали спасаться отъ нея и потомъ являться въ новой и большей силѣ и крѣпости. Въ народѣ, чуждомъ внутренняго развитія, не можетъ быть этой крѣпости, этой силы. Да, въ насъ есть національная жизнь, мы призваны сказать міру свое слово, свою мысль, но какое это слово, какая мысль, — объ этомъ пока еще рано намъ хлопотать. Наши внуки или правнуки узнаютъ это безъ всякихъ усилій напряженнаго разгадыванія, потому что это слово, эта мысль будетъ сказана ими... Такъ какъ русская литература есть главный предметъ нашей статьи, то въ настоящемъ случаѣ будетъ очень естественно сослаться на ея свидѣтельство. Она существуетъ всего какихъ-нибудь сто семь лѣтъ, а между тѣмъ въ ней уже есть нѣсколько произведеній, которыя потому только и интересны для иностранцевъ, что кажутся имъ непохожими на произведенія ихъ литературъ, слѣдовательно, оригинальными, самобытными, т. е. національно-русскими. Но въ чемъ состоитъ эта русская національность — этого пока еще нельзя опредѣлить; для насъ, пока, довольно того, что элементы ея уже начинаютъ пробиваться и обнаруживаться сквозь безцвѣтность и подражательность, въ которыя ввергла насъ реформа Петра Великаго» [1]).

---

1) Сочиненія, XI[3], 29—30. Бѣлинскій отказывался точно опредѣлить элементы русской народности, но онъ пытался ихъ угадать. Въ мечтахъ о будущемъ — мечтахъ, взлелѣянныхъ горячей любовью къ родному народу, Бѣлинскій почти до безконечности раздвигалъ рядъ тѣхъ возможностей, которыя должны были проявиться въ русской жизни и итогъ которыхъ можетъ дать полное опредѣленіе особенностей русскаго народа. «Извѣстно, что Французы, Англичане, Нѣмцы такъ національны каждый по своему, что не въ состояніи понимать другъ друга, тогда какъ Русскому равно доступны и соціальность Француза, и практическая дѣятельность Англичанина, и туманная философія Нѣмца. Одни видятъ въ этомъ наше превосходство передъ всѣми другими народами; другіе выводятъ изъ этого весьма печальныя заключенія о безхарактерности, которую воспитала въ насъ реформа Петра: ибо, говорятъ они, у кого нѣтъ своей жизни, тому легко поддѣлываться подъ чужую, у кого нѣтъ своихъ интересовъ, тому легко понимать чужіе. Въ послѣднемъ мнѣніи много правды, но *не совсѣмъ лишено истины и первое мнѣніе, какъ ни заносчиво оно*». (Сочиненія, XI[3], 29). Это именно «заносчивое» мнѣніе и было мнѣніемъ Бѣлинскаго. «Русская личность, пока,—эмбріонъ, писалъ онъ Боткину въ 1847 году, но сколько широты и силы въ натурѣ этого эмбріона, какъ душна и страшна

Понятіе объ исторически-прогрессирующей, послѣдовательно развивающейся народности не могло, конечно, не отразиться и на литературныхъ сужденіяхъ Бѣлинскаго. Вслѣдъ за приведеннымъ выше замѣчаніемъ объ исторіи, какъ картинѣ органическаго развитія, Бѣлинскій говоритъ: «Если можно представить себѣ литературу, въ которой являются отъ времени до времени сочиненія замѣчательныя, но чуждыя всякой внутренней связи и

ей всякая ограниченность и узкость! Она боится ихъ, не терпитъ ихъ больше всего—и хорошо, по моему мнѣнію, дѣлаетъ, довольствуясь, пока, ничѣмъ, вмѣсто того, чтобы закабалиться въ какую-нибудь дрянную односторонность. А что мы всеобъемлющи потому, что намъ нечего дѣлать, чѣмъ больше думаю, тѣмъ больше сознаю и убѣждаюсь, что это ложь. Грузинцамъ тоже нечего дѣлать, и мало ли другихъ народовъ, ничего не дѣлающихъ и все-таки бѣдныхъ замѣчательными личностями. Русакъ пока еще дѣйствительно—ничего; но посмотри, какъ онъ требователенъ, не хочетъ того, не дивится этому, отрицаетъ все, а между тѣмъ чего-то хочетъ, къ чему-то стремится. Но о такомъ предметѣ надо говорить много или совсѣмъ не говорить, и потому мнѣ досадно на себя, что я заговорилъ. Не думаю, чтобы я въ этомъ вопросѣ былъ энтузіастомъ. Нѣтъ, я дошелъ до его рѣшенія (для себя) тяжкимъ путемъ сомнѣнія и отрицанія» (*Пятимъ*, Бѣлинскій, II, 281). Мысль, высказанная въ этомъ письмѣ, не могла показаться Боткину неожиданностью. То же самое говорилъ Бѣлинскій ранѣе, въ одной изъ своихъ статей 1839 года: «Мы вѣримъ и знаемъ, что назначеніе Россіи есть всесторонность и универсальность: она должна принять въ себя всѣ элементы жизни духовной, внутренней, гражданской, политической, общественной, и принявши, должна самобытно развить ихъ изъ себя» (Сочиненія, III, 141). При чтеніи всѣхъ этихъ отрывковъ изъ сочиненій и писемъ Бѣлинскаго, въ которыхъ идетъ рѣчь о русской всесторонности и универсальности, невольно припоминаются совершенно сходныя мысли другого русскаго писателя, припоминаются слова Достоевскаго о «всемірной отзывчивости, какъ главнѣйшей способности нашей національности», о томъ, что «стремленіе ко всемірности и ко всечеловѣчности» составляетъ «силу духа русской народности». Сходство взглядовъ несомнѣнно. Тѣмъ поразительнѣе кажется тотъ тяжелый и несправедливый упрекъ, который обращенъ былъ Достоевскимъ къ памяти знаменитаго критика. «Увѣряю васъ, писалъ Достоевскій, что Бѣлинскій помирился бы теперь на такой мысли: а вѣдь это оттого не удалась коммуна, что она прежде всего была французская, т. е., сохраняла въ себѣ заразу національности. А потому надо пріискать такой народъ, въ которомъ нѣтъ ни капли національности и который способенъ бить, какъ я, по щекамъ свою мать (Россію)». Такъ будто бы могъ говорить Бѣлинскій, тотъ самый В. Г. Бѣлинскій, который вѣрилъ, что русскій народъ «призванъ сказать міру свое слово, свою мысль», который съ ироніей говорилъ о «гуманическихъ космополитахъ», который преклонялся передъ Петромъ Великимъ за то, что онъ «не презиралъ страны родной»... Слова Достоевскаго ка-

зависимости, обязанныя своимъ появленіемъ внѣшнимъ вліяніямъ, подражательности, у такой литературы не можетъ быть исторіи. Ея исторія—каталогъ книгъ. Къ такой литературѣ слово «прогрессъ» не приложимо, и появленіе новаго, почему-нибудь замѣчательнаго произведенія въ ней не есть прогрессъ, потому что это произведеніе не имѣетъ корня въ прошедшемъ и не дастъ плода въ будущемъ. Тутъ время и годы ничего не значатъ: они могутъ идти себѣ, ничего не измѣняя. Не такъ бываетъ въ литературѣ, развивающейся исторически: тутъ каждый годъ что-нибудь приноситъ за собой, и это что-нибудь есть прогрессъ. Но не каждый годъ можно ясно увидѣть и опредѣлить этотъ прогрессъ, часто онъ оказывается только впослѣдствіи» [1]). Такой именно правильно развивающейся, слѣдовательно, имѣющей свою исторію литературы призналъ Бѣлинскій и литературу русскую.

жутся какой-то темной и печальной психологической загадкой... Ср. отзывы Бѣлинскаго о сочиненіяхъ Достоевскаго въ Сочиненіяхъ, X[6], 333—354; XI[3], 56—61, 428—430, 446—448. Высоко цѣня талантъ Достоевскаго, критикъ съ полной откровенностью говорилъ и о достоинствахъ и о недостаткахъ произведеній молодого беллетриста. «Нельзя не согласиться, писалъ Бѣлинскій, что для перваго дебюта «Бѣдные люди» и непосредственно за ними «Двойникъ»—произведенія необыкновеннаго размѣра, и что такъ еще никто не начиналъ изъ русскихъ писателей» (X, 338). Меньше понравилось критику «третье произведеніе г. Достоевскаго, повѣсть «Господинъ Прохарчинъ», которая «всѣхъ почитателей таланта г. Достоевскаго привела въ непріятное изумленіе. Въ ней сверкаютъ искры таланта, но въ такой густой темнотѣ, что ихъ свѣтъ ничего не даетъ разсмотрѣть читателю» (XI, 60). Повѣсть «Хозяйка» Бѣлинскій нашелъ совершенно неудачной: «Намъ показалось, говоритъ критикъ, что авторъ хотѣлъ попытаться помирить Марлинскаго съ Гофманомъ, наболтавши сюда немного юмору въ новѣйшемъ родѣ и сильно натеревши все это лакомъ русской народности... Во всей этой повѣсти нѣтъ ни одного простого и живого слова или выраженія: все изыскано, натянуто, на ходуляхъ, поддѣльно и фальшиво» (XI, 430). Припомнимъ еще, что была пора, когда Достоевскій увлекался взглядами Бѣлинскаго. «Незадолго передъ закрытіемъ кружка (Дурова) — разсказываетъ г. Милюковъ — одинъ изъ нашихъ членовъ ѣздилъ въ Москву и привезъ оттуда списокъ извѣстнаго письма Бѣлинскаго къ Гоголю, писаннаго по поводу его «Переписки съ друзьями». Ѳ. М. Достоевскій прочелъ это письмо на вечерѣ и потомъ, какъ самъ онъ говорилъ, читалъ его въ разныхъ знакомыхъ домахъ и давалъ списывать съ него копіи... (Литературныя встрѣчи и знакомства, 183—184).

1) Сочиненія, XI[3], 327.

Перечитывая статьи нашего критика, чрезвычайно любопытно наблюдать, какъ мало-по-малу подходилъ Бѣлинскій къ установленію этого историческаго взгляда на русскую литературу, какъ постепенно слагалась и формулировалась у него мысль о развитіи русской литературы. То, что на первыхъ порахъ казалось разрозненнымъ, безсвязнымъ, случайнымъ, соединялось мало-по-малу въ общую картину, полную жизни и мысли. «У насъ нѣтъ литературы»—такова тема первой критической статьи Бѣлинскаго—извѣстныхъ «Литературныхъ мечтаній» (1834). Въ доказательство своего основного положенія Бѣлинскій даетъ обзоръ всей русской литературы XVIII и первыхъ десятилѣтій XIX вѣка. Въ концѣ статьи читаемъ: «У насъ была эпоха схоластицизма, была эпоха плаксивости, была эпоха стихотворства, эпоха романовъ и повѣстей, наступила эпоха драмы; но еще не было эпохи искусства, эпохи литературы. Стихотворство наше кончилось, мода на романы видимо проходитъ; теперь терзаемъ драму. *И все это безъ причины, все это изъ подражательности*» [1]). Этого взгляда на явленія русской литературы Бѣлинскій держался довольно долго. Въ одной изъ статей 1841 года критикъ повторяетъ, что у насъ не было литературы, а была лишь словесность: «*Да, была словесность, которая есть вездѣ, гдѣ есть слово, языкъ, но которая состоитъ изъ произведеній случайныхъ, ничѣмъ между собою не связанныхъ, и для которой, поэтому, нѣтъ еще исторіи, а можетъ быть только каталогъ*» [2]).

Въ статьѣ 1842 года: «Русская литература въ 1841 году» замѣчается уже колебаніе отрицательнаго взгляда на русскую литературу. Статья изложена въ видѣ разговора двухъ лицъ: одинъ изъ участниковъ разговора А поддерживаетъ знакомый намъ отрицательный взглядъ на русскую литературу, другой собесѣдникъ Б указываетъ несостоятельность этого взгляда. Окончательный выводъ изъ разговора такой:

1) I, 121.
2) IV, 200.

—Б. А вѣдь результатъ нашего разговора рѣшительно въ мою пользу. Вы спрашивали меня съ насмѣшкою: «Да гдѣ жъ онѣ? давайте ихъ», и сами не только насчитали множество именъ знаменитыхъ и великихъ, но и нашли въ нашей литературѣ внутреннюю жизнь, историческое движеніе, гдѣ послѣдующее выходитъ изъ предыдущаго.

—А. Вы говорите, что я нашелъ въ нашей литературѣ даже внутреннюю историческую послѣдовательность; правда, но все это еще не составляетъ литературы въ полномъ смыслѣ слова. Литература есть народное сознаніе, выраженіе внутреннихъ, духовныхъ интересовъ общества, которыми мы, пока, еще очень не богаты... Историческій ходъ свой наша литература совершила въ самой же себѣ, ея настоящею публикою былъ самъ пишущій классъ, и только самыя великія явленія въ литературѣ находили болѣе или менѣе разумный отзывъ во всей массѣ грамотнаго общества» [1]). Такимъ образомъ, русская литература и ея исторія признаются, хотя и съ нѣкоторыми оговорками. Въ статьѣ «Русская литература въ 1843 году» оговорокъ уже нѣтъ. «Будемъ смотрѣть, читаемъ въ этой статьѣ, на то, что есть, смѣло, не прикрашивая дѣйствительности мечтами и призраками, но будемъ смотрѣть на нее безъ ненависти и страха. У насъ есть немного,—это правда, но есть же; не будемъ преувеличивать того, что имѣемъ, но не будемъ и отказываться отъ того, что есть у насъ. Наша литература началась съ 1739 года (отъ появленія первой оды Ломоносова), и для какихъ-нибудь ста четырехъ лѣтъ мы имѣемъ даже много, если не будемъ считаться, словно съ ровнями, съ европейскими литературами, которыя развились вѣками. *Но важнѣе всего то, что наша юная, возникающая литература, какъ мы замѣтили выше, имѣетъ уже свою исторію, ибо всѣ ея явленія тѣсно сопряжены съ развитіемъ общественнаго образованія на Руси, и всѣ находятся въ болѣе или менѣе живомъ, органически-послѣдовательномъ соотношеніи между со-*

1) Сочиненія, VIII, 56.

бой» [1]). Къ тому же 1844 году, когда написана эта статья, относится начало извѣстныхъ статей о Пушкинѣ. Въ первой изъ этихъ статей критикъ вполнѣ ясно и точно формулируетъ историко-литературную точку зрѣнія, съ которой, по его мнѣнію, должна быть разсматриваема дѣятельность великаго поэта. «Чѣмъ болѣе думали мы о Пушкинѣ, тѣмъ глубже прозрѣвали въ живую связь его съ прошедшимъ и настоящимъ русской литературы, и убѣждались, что писать о Пушкинѣ—значитъ—писать о цѣлой русской литературѣ: ибо какъ прежніе писатели русскіе объясняютъ Пушкина, такъ Пушкинъ объясняетъ послѣдовавшихъ за нимъ писателей. Эта мысль сколько истинна, столько и утѣшительна: она показываетъ, что *несмотря на бѣдность нашей литературы, въ ней есть жизненное движеніе и органическое развитіе, слѣдственно, у нея есть исторія.* Мы далеки отъ самолюбивой мысли удовлетворительно развить это воззрѣніе на русскую литературу, и желаемъ только одного—хоть намекнуть на это воззрѣніе и проложить другимъ дорогу тамъ, гдѣ не протоптано и тропинки. Пусть другіе сдѣлаютъ это лучше насъ. Мы первые порадуемся ихъ успѣху, а сами для себя будемъ довольны и тѣмъ, если намъ, намекомъ на это воззрѣніе, удастся положить конецъ старымъ толкамъ о русской литературѣ и произвольнымъ личнымъ сужденіямъ о русскихъ писателяхъ... Вотъ для чего, приступая къ критическому разсмотрѣнію сочиненій Пушкина, мы почли за необходимое сперва обозрѣть ходъ и развитіе русской поэзіи (ибо предметъ нашихъ статей будетъ не литература, въ общемъ смыслѣ, а только поэзія русская) съ самаго ея начала. Выходъ новаго изданія сочиненій Державина доставилъ намъ удобный случай взглянуть, съ нашей точки зрѣнія, на его творенія, и нашу статью о Державинѣ мы считаемъ началомъ статьи о Пушкинѣ, почему и намѣрены связать объ эти статьи обзоромъ историческаго развитія русской поэзіи отъ Державина до Пушкина, черезъ что статья наша о Державинѣ будетъ еще

1) VIII, 56.

пополнена и уяснена общею идеею, которая должна быть основною всего ряда этихъ статей, образующихъ собою критическую исторію изящной литературы русской» [1]). Разъ установившись, историческая точка зрѣнія находила себѣ примѣненіе и къ дальнѣйшему движенію русской литературы. Гоголь, по замѣчанію Бѣлинскаго, «показался для многихъ какъ бы извнѣ вошедшимъ въ русскую литературу, тогда какъ въ самомъ дѣлѣ онъ былъ ея необходимымъ явленіемъ, требовавшимся всѣмъ предшествовавшимъ ея развитіемъ» [2]). Бѣлинскій, какъ извѣстно, имѣлъ въ виду написать общее обозрѣніе исторіи русской литературы. Предположеніе это не осуществилось [3]), но и то, что сдѣлано было Бѣлинскимъ, даетъ намъ право назвать его первымъ по времени историкомъ новой русской литературы. Важна была ясно высказанная Бѣлинскимъ мысль о возможности и даже необходимости историческаго изученія русской литературы, важны были первые опыты историческаго освѣщенія нашей литературной исторіи, важенъ былъ первый, хотя и неполный, набросокъ «критической исторіи изящной литературы русской».

Въ основу этой критической исторіи, въ основу своихъ историческихъ сужденій о русской литературѣ Бѣлинскій положилъ мысль о борьбѣ элементовъ заносныхъ и своеземныхъ. Съ особенной ясностью и полнотой эта мысль высказывается въ статьяхъ, написанныхъ въ послѣдніе годы литературной дѣятельности Бѣлинскаго (1847—1848). «Чужое, извнѣ взятое содержаніе, читаемъ въ одной изъ статей 1847 года, никогда не можетъ замѣнить ни въ литературѣ, ни въ жизни, отсутствія своего собственнаго національнаго содержанія; но оно можетъ переродиться въ него со временемъ, какъ пища, извнѣ принимаемая человѣкомъ, перерождается въ его плоть и кровь и поддерживаетъ въ немъ силу, здоровье и жизнь. Не будемъ распространяться, какимъ образомъ это сдѣлалось съ Россіею, созданною Петромъ, и русскою лите-

1) Ibid. 100—101.

2) Сочиненія, XI², 346.

3) Ср. XII⁴, 399—448, 449—453, 454—461.

ратурою, созданною Ломоносовымъ; но что это, дѣйствительно, сдѣлалось и дѣлается съ ними—это историческій фактъ, истина фактически очевидная. Сравните басни Крылова, комедію Грибоѣдова, произведенія Пушкина, Лермонтова и, въ особенности, Гоголя—сравните ихъ съ произведеніями Ломоносова и писателей его школы, и вы не увидите между ними ничего общаго, никакой связи, вы подумаете, что въ русской литературѣ все случайно — и талантъ и геній; а можетъ ли имѣть какую-нибудь важность случайное; не есть ли это призракъ, мечта? И дѣйствительно, было время, когда вопросъ — есть ли у насъ литература? не казался парадоксомъ и многими разрѣшенъ былъ въ отрицательномъ смыслѣ. И такое рѣшеніе естественно и неизбѣжно, если русскую литературу судить на основаніяхъ, по которымъ должно судить исторію европейскихъ литературъ. Но одинъ изъ величайшихъ умственныхъ успѣховъ нашего времени въ томъ и состоитъ, что мы, наконецъ, поняли, что у Россіи была своя исторія, нисколько не похожая на исторію ни одного европейскаго государства, и что ее должно изучать и о ней должно судить на основаніи ея же самой, а не на основаніи исторій, ничего не имѣющихъ съ нею общаго, европейскихъ народовъ. То же и въ отношеніи къ исторіи русской литературы. Между писателями, которыхъ мы поименовали выше, и между Ломоносовымъ и его школою дѣйствительно нѣтъ ничего общаго, никакой связи, если сравнивать ихъ, какъ двѣ крайности; но между ними сейчасъ же явится передъ вами живая кровная связь, какъ скоро вы будете изучать въ хронологическомъ порядкѣ всѣхъ русскихъ писателей отъ Ломоносова до Гоголя» [1]). «Литература наша, говорится въ статьѣ 1848 года, была плодомъ сознательной мысли, явилась какъ нововведеніе, началась подражательностью. Но она не остановилась на этомъ, а постоянно стремилась къ самобытности, народности, изъ риторической стремилась сдѣлаться естественною, натуральною. Это стремленіе, озна-

1) Сочиненія, XI[3], 12—13.

менованное замѣтными и постоянными успѣхами, и составляетъ смыслъ и душу исторіи нашей литературы. И мы не обинуясь скажемъ, что ни въ одномъ русскомъ писателѣ это стремленіе не достигло такого успѣха, какъ въ Гоголѣ» [1]). Продолжатели дѣла Гоголя—писатели натуральной школы: «въ лицѣ писателей натуральной школы русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась къ самобытнымъ источникамъ вдохновенія, и черезъ это сдѣлалась и современною и русскою. Съ этого пути она кажется уже не сойдетъ, потому что это прямой путь къ самобытности, къ освобожденію отъ всякихъ чуждыхъ и посторонних въ вліяній» [2]).

II.

Въ связи съ вопросомъ о народности выдвигался и вызывалъ разнообразныя сужденія другой вопросъ — вопросъ объ основахъ и значеніи литературно-художественнаго творчества, о задачахъ литературной критики. «У каждаго народа, вслѣдствіе его національной индивидуальности, свой взглядъ на вещи, своя манера понимать и дѣйствовать. Это всего разительнѣе видно въ абсолютныхъ сферахъ жизни, къ которымъ принадлежитъ и искусство. Понятія объ искусствѣ, равно какъ и самая идея его, взяты нами у французовъ, и только съ появленіемъ Жуковскаго наша литература и искусство начали освобождаться отъ вліянія французскаго, извѣстнаго подъ именемъ классицизма (мнимаго). Реакція французскому направленію была произведена нѣмецкимъ направленіемъ. Во второмъ десятилѣтіи текущаго вѣка эта реакція совершила полный свой кругъ: классицизмъ французскій былъ убитъ совершенно... Но съ третьяго десятилѣтія, теперь оканчивающагося, французы снова вторглись въ нашу литературу... Владычество было не долговременно, но результаты этого владычества остались: теперь уже мало уважаютъ произведенія юной французской школы, но на искусство снова смотрятъ во

1) Ibid. 344.
2) Ibid. 373. Ср. X, 276—277.

французскія очки. Между тѣмъ, съ другой стороны, нѣмецкій элементъ слишкомъ глубоко вошелъ въ наши литературныя вѣрованія и борется съ французскимъ. Для насъ въ особенности существуютъ двѣ критики—нѣмецкая и французская, столь же различныя между собой и враждебныя другъ другу, какъ и націи, которымъ принадлежатъ» [1]). Въ чемъ же обнаруживается это различіе духа французовъ и нѣмцевъ, ихъ взглядовъ на искусство? «Германія и Франція представляютъ собою два противоположные полюса, двѣ противоположныя крайнія стороны духа человѣческаго: первая — вся мысль, вся идея, все созерцаніе, вторая—вся дѣло, вся жизнь. Германія понимаетъ (созерцаетъ) жизнь, какъ сознаніе, — и отсюда мыслительно-созерцательный, субъективно-идеальный характеръ ея искусства и науки; отъ этого и само искусство ея не что иное, какъ параллель философіи, какъ особенная форма созерцательнаго мышленія, и отсюда же абсолютный, міробъемлющій и вѣчно-юный характеръ произведеній ея литературы вообще: и науки и поэзіи. Франція, наоборотъ, понимаетъ (созерцаетъ) жизнь, какъ развитіе общественности, какъ приложеніе къ обществу всѣхъ успѣховъ науки и искусства, и отсюда положительный характеръ ея искусства. Для нѣмца наука и искусство—сами себѣ цѣль и высшая жизнь, абсолютное бытіе; для француза наука и искусство—средства для общественнаго развитія, для отрѣшенія личности человѣческой отъ тяготящихъ и унижающихъ ее оковъ преданія, моментальнаго опредѣленія и временныхъ (а не вѣчныхъ) общественныхъ отношеній» [2]). На первыхъ порахъ Бѣлинскій признавалъ рѣшительное преимущество нѣмецкой критики. «У нѣмцевъ критика основана на законахъ разума, всегда единаго и неизмѣняющагося, на началахъ науки, сообразно ея современному состоянію. Лессингъ, Шиллеръ, Шлегель и теперешняя дружина молодыхъ гегелистовъ — Ганцъ, Рёттеръ, Бауманъ, Гото и другіе — что́

1) Сочиненія, II, 299—300.
2) Сочиненія, IV, 207—208.

такое всѣ эти имена? Это названія періодовъ развитія науки изящнаго, это названіе главъ въ ея исторіи, потому что, повторяемъ, въ Германіи критика развилась исторически, и въ ея представителяхъ вы увидите вліяніе и Канта, и Шиллера, и Гегеля. По этой причинѣ, если Лессингъ, Шиллеръ и Шлегель теперь не могутъ быть законодателями вкуса, то ихъ заслуга все-таки не забыта и ихъ достоинство не унижено. Нѣмцы изучаютъ ихъ, какъ историческія лица въ наукѣ изящнаго, чтобы черезъ это изученіе видѣть ходъ и развитіе мысли о творчествѣ. Напротивъ того, какое значеніе могутъ имѣть Лагарпы и Жоффруа, кромѣ развѣ, какъ факты колобродства человѣческаго разсудка? За что подорожитъ потомство статейками Жюль-Жанена и статьями Густава Планша, Сенъ-Бёва, Низара, Филарета Шаля? Скажите, какое соотношеніе между этими людьми, имѣлъ ли кто изъ нихъ вліяніе на другого, чье имя должно стоять впереди, чье послѣ?... Нѣтъ, они являлись всѣ случайно, мысли ихъ родились случайно, какъ личныя мнѣнія, ни на чемъ не основанныя, ни къ чему не привязанныя. Ихъ назначеніе—не быть проводниками новыхъ идей объ искусствѣ, исторически развивающихся; ихъ ремесло — высказывать эфемерный вкусъ толпы, мнѣніе дня» [1]). Такъ писалъ Бѣлинскій въ 1839 году. Но подобныя же сужденія о нѣмецкихъ теоріяхъ художественнаго творчества встрѣчаются и въ болѣе раннихъ статьяхъ Бѣлинскаго. «Что такое критика,—спрашиваетъ Бѣлинскій въ одной изъ статей 1836 года, — простая оцѣнка художественнаго произведенія, приложеніе теоріи къ практикѣ, или усиліе создать теорію изъ данныхъ фактовъ? Иногда то и другое, чаще все вмѣстѣ. Потомъ, чѣмъ критика должна быть? Частнымъ выраженіемъ мнѣнія того или другого лица, принимающаго на себя обязанность судьи изящнаго, или выраженіемъ господствующаго мнѣнія эпохи, въ лицѣ ея представителей, которое есть результатъ прежде бывшихъ мнѣній, прежде бывшихъ опытовъ и наблюденій? Безъ сомнѣнія, она

1) III, 96—97.

имѣетъ право быть и тѣмъ и другимъ, но въ первомъ случаѣ она должна быть шагомъ впередъ, открытіемъ новаго, расширеніемъ предѣловъ знанія или даже совершеннымъ его измѣненіемъ, должна быть дѣломъ генія; во второмъ случаѣ она меньше рискуетъ, но зато можетъ быть увѣреннѣе въ самой себѣ, можетъ быть всегда истинною въ отношеніи къ своему времени. Итакъ критика перваго рода есть исключеніе изъ общаго правила, явленіе великое и рѣдкое, критика второго рода есть усиліе уяснить и распространить господствующія понятія своего времени объ изящномъ. Въ наше время, когда основные законы творчества уже найдены, это есть единственная цѣль критики. Уяснить эти законы теоретически, подтверждать ихъ истину практически — вотъ ея назначеніе. Теорія есть систематическое и гармоническое единство законовъ изящнаго; но она имѣетъ ту невыгоду, что заключается въ извѣстномъ моментѣ времени, а критика безпрестанно движется, идетъ впередъ, собираетъ для науки новые матеріалы, новыя данныя. Это есть движущаяся эстетика, которая вѣрна однимъ началамъ, но которая ведетъ насъ къ нимъ разными путями и съ разныхъ сторонъ, и въ этомъ-то заключается ея прогрессъ» [1]). За рѣшеніемъ вопросовъ объ основахъ творчества критикъ рекомендуетъ обращаться «къ Шлегелю, къ Сольгеру, къ Шеллингу».

Въ этомъ опредѣленіи задачъ литературной критики, какъ ее понималъ Бѣлинскій въ первый періодъ своей дѣятельности, бросается въ глаза нѣкоторая двойственность. Бѣлинскій съ благородной откровенностью отказывается отъ «усилія создать теорію» художественнаго творчества. Такое усиліе кажется критику дѣломъ рискованнымъ, да и ненужнымъ, потому что «основные законы творчества уже найдены». Но, несмотря на это, въ критикѣ все-таки возможенъ извѣстный прогрессъ: всякая готовая теорія имѣетъ ту невыгоду, что заключается «въ извѣстномъ моментѣ времени», отвѣчаетъ лишь тѣмъ фактамъ, которые

1) Сочиненія, II, 72—78.

накопились ко времени установленія теоріи. Критика должна исправить недостатокъ теоріи. Критика — движущаяся эстетика, — движущаяся, слѣдовательно, развивающаяся, предполагающая возможность не только примѣненія готовыхъ основоположеній къ новымъ фактамъ, но и критическаго пересмотра установившихся теорій, ихъ измѣненія сообразно съ новыми «моментами времени». Такое опредѣленіе двоящейся задачи литературной критики можетъ быть разсматриваемо какъ программа литературной дѣятельности Бѣлинскаго. Какъ же рѣшилъ онъ эту задачу? Какое направленіе должна была принять его движущаяся эстетика?

Первый, не достаточно еще ясный отвѣтъ на эти вопросы можно найти въ той же статьѣ 1836 года, изъ которой взятъ приведенный выше отрывокъ о задачахъ литературной критики. «Въ Германіи, говоритъ Бѣлинскій, странѣ критики, критика идеальна, умозрительна; во Франціи критика положительная, историческая. Какова же должна быть критика въ Россіи?... У насъ принесетъ пользу критика высшая, трансцедентальная: она необходима; но она у насъ должна являться многорѣчивой, говорливой, повторяющей саму себя, толковитой. Ея цѣлью долженъ быть не столько успѣхъ науки, сколько успѣхъ образованности. Въ своихъ началахъ она должна быть нѣмецкою, въ своемъ способѣ изложенія—французскою. Нѣмецкая теорія и французскій способъ изложенія—вотъ единственный способъ сдѣлать ее и глубокою, и общедоступною. Нѣмцы обладаютъ умозрѣніемъ, но не мастера посвящать профановъ въ свои таинства, ихъ можетъ понять ихъ же каста — ученые; французы зыбки и мелки въ умозрѣніи, но мастера мирить знанія съ жизнью, обобщать идеи. Подражать же исключительно нѣмцамъ—безполезно, французамъ — вредно, потому что, съ одной стороны, идея всегда должна быть зерномъ ученія, но не должна пугать своею глубиною, должна быть доступна; съ другой стороны, практическія

1) Ibid. 74—75.

начала безъ основной идеи — пустой орѣхъ, котораго не стоитъ труда грызть» [1]). Такимъ образомъ, русская критика, по мнѣнію Бѣлинскаго, должна быть своеобразнымъ соединеніемъ критики нѣмецкой и французской. Въ этомъ литературномъ итогѣ французская доля оказывается, повидимому, очень небольшой: у французовъ предполагается занять лишь «способъ изложенія», но за этимъ способомъ изложенія скрывается нѣчто болѣе важное: французы «мастера мирить знанія съ жизнью, обобщать идеи», въ ихъ критикѣ есть свои «начала», характеризуемыя терминомъ «практическія», есть своеобразная особенность — «фактизмъ». Русская критика должна примирить эти французскія «практическія начала» съ нѣмецкимъ умозрѣніемъ. Необходимость такого примиренія критикъ объясняетъ особенностями русскаго ума: «не надо забывать, что русскій умъ любитъ просторъ, ясность, опредѣленность; чистое умозрѣніе его не отуманитъ, но отвратитъ отъ себя; фактизмъ можетъ сдѣлать его мелкимъ» [2]).

Если русскій умъ, дѣйствительно, таковъ, то умъ Бѣлинскаго можно назвать типически русскимъ. Говоря о русскомъ человѣкѣ вообще, Бѣлинскій характеризовалъ самого себя. Въ умѣ нашего критика было несомнѣнное стремленіе и способность къ философскому умозрѣнію. Можемъ при этомъ сослаться на компетентнаго судью, князя Одоевскаго. «Бѣлинскій, говоритъ Одоевскій, былъ одною изъ высшихъ философскихъ организацій, какія я когда-либо встрѣчалъ въ жизни... Всякій разъ, когда мы встрѣчались съ Бѣлинскимъ (это было рѣдко), мы съ нимъ спорили жестоко; но я не могъ не удивляться, какимъ образомъ онъ изъ поверхностнаго знанія принциповъ натуральной философіи развивалъ цѣлый органически-философическій міръ sui generis» [3]). Самъ Бѣлинскій, обладавшій, по словамъ кн. Одоевскаго, философской организаціей, выказывавшій, дѣйствительно, и въ своихъ статьяхъ и въ своихъ письмахъ къ другимъ несомнѣнный инте-

1) Ibid. 74—75.
2) Ibid. 75.
3) Пыпинъ, Бѣлинскій, II, 216.

ресъ къ рѣшенію философскихъ проблемъ, не считалъ, однако, философскаго умозрѣнія тою областью, въ которой могли бы особенно ярко обнаружиться силы его ума и таланта. «Отвлеченіе—не моя сфера, писалъ Бѣлинскій одному изъ своихъ друзей въ 1838 году, мнѣ душно и гадко въ этой сферѣ, и въ мысли, какъ мысли собственно, я играю роль слишкомъ не блестящую; моя сфера — огненныя слова и живые образы: тутъ только мнѣ просторно и хорошо. Моя сила, мощь—въ моемъ непосредственномъ чувствѣ, и потому никогда не откажусь я отъ него, потому что не имѣю охоты отказаться отъ самого себя» [1]). «Меня напугали философіею, читаемъ въ другомъ письмѣ Бѣлинскаго того же 1838 года, во имя ея меня хотѣли увѣрить, что я пошлякъ, ничтожный человѣкъ, потому только, что моя кровь горяча, а сердце требуетъ любви и сочувствія. И я повѣрилъ добродушно. Но... я узналъ, что или философія вздоръ, или ее не понимаютъ. Разумѣется, философія отстояла себя въ душѣ моей, а нѣкоторые авторитеты шлепнулись». Бѣлинскій признаетъ важное значеніе философіи, если «она не отрицаетъ мистическихъ вѣрованій сердца, но разумомъ оправдываетъ ихъ», если «она не превращаетъ жизни въ сухое понятіе, въ мертвый скелетъ». «Такую философію, замѣчаетъ Бѣлинскій, я уважаю, хоть и никогда философомъ не буду» [2]).

Человѣкъ, писавшій такія строки, не могъ, очевидно, остаться исключительнымъ приверженцемъ той философско-литературной критики, которую онъ называлъ нѣмецкой, трансцедентальной; ему не могли не казаться привлекательными нѣкоторыя стороны иной, французской критики, не могли не нравиться «практическія начала» этой критики. И дѣйствительно, пересматривая сочиненія Бѣлинскаго въ хронологическомъ порядкѣ, мы рано начинаемъ встрѣчать въ нихъ такія литературныя опредѣленія и замѣтки,

1) Op. cit. I, 237.

2) Op. cit. I, 285.

которыя обнаруживаютъ несомнѣнную близость къ пріемамъ «французской» критики.

Въ «Литературныхъ мечтаніяхъ» Бѣлинскій останавливается на опредѣленіи литературы. «Французы, говоритъ онъ, называютъ литературу выраженіемъ общества». Этому опредѣленію, которое имѣетъ «свой смыслъ, и смыслъ глубокій, но только у однихъ французовъ», противопоставляется другое, нѣмецкое опредѣленіе. «Весь безпредѣльный прекрасный Божій міръ есть не что иное, какъ дыханіе единой, вѣчной идеи (мысли единаго, вѣчнаго Бога), проявляющейся въ безчисленныхъ формахъ, какъ великое зрѣлище абсолютнаго единства въ безконечномъ разнообразіи... Искусство есть выраженіе великой идеи вселенной въ ея безконечно-разнообразныхъ явленіяхъ. Прекрасно было гдѣ-то сказано, что повѣсть есть краткій эпизодъ изъ безконечной поэмы судебъ человѣческихъ. Подъ это опредѣленіе повѣсти подходятъ всѣ виды художественныхъ созданій. Все искусство поэта должно состоять въ томъ, чтобы поставить читателя на такую точку зрѣнія, съ которой бы ему видна была вся природа въ сокращеніи, въ миніатюрѣ, какъ земной шаръ на ландкартѣ, чтобы дать ему почувствовать вѣяніе, дыханіе этой жизни, которая одушевляетъ вселенную, сообщить его душѣ этотъ огонь, который согрѣваетъ ее». Обнять идею вселенной въ ея цѣломъ не въ силахъ, однако, человѣческое искусство. Оно созерцаетъ и воплощаетъ лишь отдѣльныя проявленія этой идеи. Проявленія эти отвѣчаютъ особенностямъ той или другой народности. «Каждый народъ, вслѣдствіе непреложнаго закона провидѣнія, долженъ выражать своею жизнью одну какую-нибудь сторону жизни цѣлаго человѣчества». Искусство можетъ и должно отражать такія именно частныя стороны жизни человѣчества. Поэтому литературы отдѣльныхъ народовъ «не суть выраженіе общества, но выраженіе духа народнаго». Сопоставимъ съ этимъ опредѣленіемъ заключительную замѣтку «Мечтаній». Критикъ спрашиваетъ, «когда наступитъ у насъ истинная эпоха искусства»? Отвѣтъ дается такой: «*Для этого надо сперва, чтобы у насъ образовалось*

общество, въ которомъ бы выразилась физіономія могучаго русскаго народа» [1]). Такимъ образомъ оказывается, что литература, ея развитіе служатъ показателями развитія общества: образуется общество, является и литература; нѣтъ общества, нѣтъ и литературы. Эта же мысль повторяется въ статьѣ 1841 года («Русская литература въ 1840 году»): «Несмотря на безконечное множество лицъ, составляющихъ публику, она сама есть нѣчто единое, единичная живая личность, исторически развивающаяся, съ извѣстнымъ направленіемъ, вкусомъ, взглядомъ на вещи. Поэтому, публика видитъ въ литературѣ свое, плоть отъ плоти, кость отъ костей своихъ, а не что-нибудь чуждое, случайно наполнившее собою извѣстное число книгъ и журналовъ. Гдѣ есть публика, тамъ писатели выговариваютъ народное содержаніе, вытекающее изъ народнаго міросозерцанія, а публика своимъ участіемъ, выраженіемъ своего восторга или неудовольствія показываетъ, до какой степени тотъ или другой писатель достигъ въ своемъ твореніи этой высокой цѣли. Гдѣ есть публика, тамъ есть и общественное мнѣніе, опредѣленно произнесенное, есть родъ непосредственной критики, которая отдѣляетъ пшеницу отъ плевелъ, награждаетъ истинное достоинство, наказываетъ жалкую бездарность или дерзкое шарлатанство... *Литература должна быть выраженіемъ жизни общества*, и общество ей, а не она обществу, даетъ жизнь. Нападая на нее, не надо быть и несправедливымъ къ ней: посмотрите, какъ иногда крѣпко впивается она въ общество, словно дитя всасывается въ грудь своей матери,—и ея ли вина, если съ перваго слабаго усилія она высасываетъ все молоко изъ этой безплодной груди» [2]). Въ статьѣ

1) Сочиненія, I, 12—15, 21—22, 121. Останавливаясь на эпохѣ Екатерины II, критикъ отмѣчаетъ черты общественной жизни того времени и при этомъ замѣчаетъ: «И это общество отразилось въ литературѣ: два поэта, впрочемъ весьма не ровные геніемъ, преимущественно были выраженіемъ онаго; громкозвучныя пѣсни Державина были символомъ могущества, славы и счастія Руси; ѣдкія и остроумныя каррикатуры Фонъ-Визина были органомъ понятій и образа мыслей образованнѣйшаго класса людей тогдашняго времени».

2) Сочиненія, IV, 218, 219.

1842 года («Русская литература въ 1841 году») Бѣлинскій соединяетъ оба приведенныя выше опредѣленія литературы: «Литература есть народное сознаніе, выраженіе внутреннихъ, духовныхъ интересовъ общества» [1]). Въ одной изъ статей 1843 года («Русская литература въ 1842 году») Бѣлинскій замѣчаетъ: «У насъ общественная жизнь преимущественно выражается въ литературѣ» [2]). Въ томъ же 1843 году написана Бѣлинскимъ большая статья о сочиненіяхъ Державина. Критикъ говоритъ о Державинѣ, «какъ о русскомъ поэтѣ, въ извѣстной степени и въ извѣстномъ характерѣ отразившемъ въ себѣ XVIII вѣкъ, въ той степени, въ какой отразило его на себѣ тогдашнее русское общество», а затѣмъ разсматриваетъ Державина, «какъ пѣвца Екатерины, какъ представителя цѣлой эпохи въ исторіи Россіи» [3]). «Общественная жизнь, читаемъ въ другой статьѣ Бѣлинскаго, (какъ совокупность извѣстныхъ правилъ и убѣжденій, составляющихъ душу всякаго общества человѣческаго), не могла дать творчеству Державина обильныхъ матеріаловъ. Хотя онъ и воспользовался всѣмъ, что только могло оно ему дать, однако этого было достаточно только для того, чтобы поэзія его, по объему ея содержанія, была глубже и разнообразнѣе поэзіи Ломоносова (поэта временъ Елизаветы), но не для того, чтобы онъ могъ считаться поэтомъ не одного своего времени» [4]). Въ одной изъ статей о Пушкинѣ (1844) Бѣлинскій подробно разбираетъ поэму «Кавказскій плѣнникъ». «Критики, говоритъ онъ, справедливо находили и неопредѣленность и противорѣчивость съ самимъ собою, которыя дѣлали его какъ бы безличнымъ; но они не поняли, что черезъ это-то именно характеръ плѣнника и возбудилъ собою такой восторгъ въ публикѣ. Молодые люди особенно были

1) VI, 80.
2) VII, 10.
3) VII, 131.
4) VIII, 116. Въ статьѣ «Русская литература въ 1843 году» Бѣлинскій высказываетъ надежду, что наша литература «будетъ вѣрнымъ зеркаломъ общества и не только вѣрнымъ отголоскомъ общественнаго мнѣнія, но и его ревизоромъ и контролеромъ» (VIII, 70).

восхищены имъ, потому что каждый видѣлъ въ немъ болѣе или менѣе свое собственное отраженіе. Эта тоска юношей по своей утраченной юности, это разочарованіе, которому не предшествовали никакія очарованія, эта апатія души во время ея сильнѣйшей дѣятельности, это кипѣніе крови при душевномъ холодѣ, это чувство пресыщенія, послѣдовавшее не за роскошнымъ пиромъ жизни, а смѣнившее собою голодъ и жажду, эта жажда дѣятельности, проявляющаяся въ совершенномъ бездѣйствіи и апатической лѣни, словомъ, эта старость прежде юности, эта дряхлость прежде силы, все это — черты «героевъ нашего времени», со временъ Пушкина. Но не Пушкинъ родилъ или выдумалъ ихъ: онъ только первый указалъ на нихъ, потому что они начали показываться еще до него, а при немъ ихъ было уже много. Оно не случайное, а необходимое, хотя и печальное явленіе. Почва этихъ жалкихъ пустоцвѣтовъ не поэзія Пушкина или чья бы то ни было, но общество. Это оттого, что общество живетъ и развивается, какъ всякій индивидуумъ: у него есть свои эпохи младенчества, отрочества, юношества, возмужалости, а иногда и старости. «Кавказскій плѣнникъ» Пушкина засталъ общество въ періодѣ его отрочества и почти на переходѣ изъ отрочества въ юношество. *Главное лицо его поэмы было полнымъ выраженіемъ этого состоянія общества*.... Въ этомъ отношеніи «Кавказскій плѣнникъ» есть поэма историческая. Читая ее, вы чувствуете, что она могла быть написана только въ извѣстное время, и, подъ этимъ условіемъ, она всегда будетъ казаться прекрасною»[1]). «Евгенія Онѣгина» Бѣлинскій опредѣляетъ, какъ «страдающаго эгоиста», «эгоиста по неволѣ». Причина этой неволи — общественныя условія. «Благая, благотворная, полезная дѣятельность! Зачѣмъ не предался ей Онѣгинъ? Зачѣмъ не искалъ онъ въ ней своего удовлетворенія? Зачѣмъ? Зачѣмъ? Затѣмъ, милостивые государи, что пустымъ людямъ легче спрашивать, нежели дѣльнымъ отвѣчать»[2]).

1) Ibid., 437—438, 440—441.
2) Ibid., 547.

Интересъ къ общественному значенію литературы, который просвѣчиваетъ во всѣхъ этихъ опредѣленіяхъ и замѣткахъ, внушало Бѣлинскому современное ему движеніе европейскихъ литературъ. Всѣмъ извѣстны колебанія Бѣлинскаго въ его сужденіяхъ объ явленіяхъ французской литературы XIX вѣка. Колебанія закончились признаніемъ возможности и законности соединенія художественнаго творчества съ выраженіемъ общественныхъ симпатій. «Въ наше время, писалъ Бѣлинскій въ 1843 году, искусство и литература больше чѣмъ когда-либо прежде сдѣлались выраженіемъ общественныхъ вопросовъ, потому что въ наше время эти вопросы стали общѣе, доступнѣе всѣмъ, яснѣе, сдѣлались для всѣхъ интересомъ первой степени, стали во главѣ всѣхъ другихъ вопросовъ» [1]). Критикъ указываетъ при этомъ на романы Жоржъ-Занда и Е. Сю. То же явленіе наблюдается и въ другихъ литературахъ. «Мы можемъ, говоритъ Бѣлинскій, указать на романы Диккенса, которые такъ глубоко проникнуты задушевными симпатіями нашего времени и которымъ это нисколько не мѣшаетъ быть превосходными художественными произведеніями» [2]).

Относительно русской литературы у Бѣлинскаго не было колебаній: онъ выступилъ и остался критикомъ гоголевскаго періода. Въ 1835 году появляется извѣстная статья Бѣлинскаго «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя». Эта статья можетъ быть разсматриваема, какъ своего рода литературная программа. Критическая мысль Бѣлинскаго воспиталась на сочиненіяхъ Гоголя; творчество Гоголя давало тѣ литературныя нормы, къ которымъ Бѣлинскій постоянно возвращался въ своихъ статьяхъ. Поэтому тѣ основныя положенія, которыя высказаны были въ статьяхъ о повѣстяхъ Гоголя, повторяются въ цѣломъ рядѣ позднѣйшихъ статей. Чтобы объяснить значеніе Гоголя, Бѣлинскій въ названной выше статьѣ указываетъ на два направленія поэзіи—идеальное и реальное. Поэзію реальную критикъ назы-

1) Соч. XI, 362.
2) Ibid., 363.

ваетъ «поэзіей жизни, поэзіей дѣйствительности, истинной и настоящей поэзіей нашего времени. Ея отличительный характеръ состоитъ въ вѣрности дѣйствительности; она не пересоздаетъ жизнь, но воспроизводитъ, возсоздаетъ ее» [1]) и т. д. Гоголь—представитель этой реальной поэзіи. Отличительныя черты произведеній Гоголя—«простота вымысла, совершенная истина жизни, народность, оригинальность» [2]). Реализмъ Гоголя, по взгляду Бѣлинскаго, наложилъ свою печать на цѣлый литературный періодъ. «Хорошую сторону современной литературы, читаемъ въ статьѣ 1842 года, составляетъ и обращеніе ея къ жизни, къ дѣйствительности; теперь уже всякое, даже посредственное, дарованіе силится изображать и описывать не то, что приснится ему во снѣ, а то, что есть или бываетъ въ обществѣ, въ дѣйствительности. Такое направленіе много обѣщаетъ въ будущемъ» [3]). «Сближеніе съ жизнью, съ дѣйствительностью, писалъ Бѣлинскій въ 1843 году, есть прямая причина мужественной зрѣлости послѣдняго періода нашей литературы. Слово «идеалъ» только теперь получило свое истинное значеніе. Прежде подъ этимъ словомъ разумѣли что-то въ родѣ не любо, не слушай—лгать не мѣшай, какое-то соединеніе въ одномъ предметѣ всевозможныхъ добродѣтелей или всевозможныхъ пороковъ..... Теперь дѣйствительность относится къ искусству и литературѣ, какъ почва къ растеніямъ, которыя она возращаетъ на своемъ лонѣ» [4]). Когда стали появляться произведенія писателей такъ называемой натуральной школы, Бѣлинскій, какъ было уже замѣчено, сочувственно привѣтствовалъ эти произведенія, такъ какъ видѣлъ въ нихъ прямое продолженіе того литературнаго дѣла, которое начато было Гоголемъ. «Въ лицѣ писателей натуральной школы, писалъ нашъ критикъ, русская литература пошла по пути истинному и настоящему, обратилась къ самобытнымъ источникамъ

1) I, 177.
2) Ibid., 211.
3) VI, 77.
4) VII, 30. Ср. VIII, 73.

вдохновенія и идеаловъ и черезъ это сдѣлалась и современною и русскою» [1]).

Произведенія Гоголя и писателей «натуральной школы» не могли не оправдывать въ сознаніи Бѣлинскаго того «французскаго» взгляда на литературу, который видѣлъ въ ней выраженіе общественнаго самосознанія. Было ясно, что примѣнить къ изученію «Ревизора», «Мертвыхъ Душъ», повѣстей писателей натуральной школы, а также аналогичныхъ имъ произведеній литературъ западныхъ, нормы одной лишь эстетической критики значило бы оставить безъ вниманія иную, важнѣйшую сторону этихъ произведеній. Представители «реальной поэзіи» невольно заставляли думать о связи поэта съ современнымъ ему обществомъ, о той средѣ, которую изображали реалисты-художники, о тѣхъ вопросахъ, которые задавала изображаемая дѣйствительность. Явилась мысль, что «личность поэта не есть что-нибудь безусловное, особо стоящее внѣ всякихъ вліяній извнѣ». «Поэтъ, писалъ Бѣлинскій въ 1848 году, прежде всего — человѣкъ, потомъ гражданинъ своей земли, сынъ своего времени. Духъ народа и времени на него не могутъ дѣйствовать менѣе, чѣмъ на другихъ. Шекспиръ былъ поэтомъ старой, веселой Англіи, которая, въ продолженіе немногихъ лѣтъ, вдругъ сдѣлалась суровою, строгою, фанатическою.... Поэзія Мильтона—явно произведеніе его эпохи: самъ того не подозрѣвая, онъ въ лицѣ своего гордаго и мрачнаго сатаны написалъ апоѳеозу возстанія противъ авторитета, хотя и думалъ сдѣлать совершенно другое. Такъ сильно дѣйствуетъ на поэзію историческое движеніе обществъ. Вотъ отчего исключительно эстетическая критика, которая хочетъ имѣть дѣло съ поэтомъ и его произведеніемъ, не обращая вниманія на мѣсто и время, гдѣ и когда писалъ поэтъ, на обстоятельства, подготовившія его къ поэтическому поприщу и имѣвшія вліяніе на его поэтическую дѣятельность, потеряла теперь всякій кредитъ, сдѣлалась невозможною. Говорятъ: духъ партій, сектантизмъ

1) XI, 373.

вредятъ таланту, портятъ его произведенія. Правда! И потому-то онъ долженъ быть органомъ не той или другой партіи или секты, осужденной, можетъ быть, на эфемерное существованіе, обреченной исчезнуть безъ слѣда, но сокровенной думы всего общества, его, можетъ быть, неяснаго самому ему стремленія. Другими словами: поэтъ долженъ выражать не частное и случайное, но общее и необходимое, которое даетъ колоритъ и смыслъ всей его эпохѣ» [1]). Такимъ образомъ, на смѣну чисто-эстетической критики, или, говоря точнѣе, въ дополненіе къ ней должна была явиться критика, которая обращаетъ вниманіе «на мѣсто и время, гдѣ и когда писалъ поэтъ, на обстоятельства, имѣвшія вліянія на его поэтическую дѣятельность», т. е., критика историческая. Видимъ, что мысль объ общественномъ значеніи литературы приводила Бѣлинскаго къ такому же выводу, какъ и мысль о значеніи народности въ области художественнаго творчества, — къ выводу о необходимости историческаго изученія литературы.

Какъ понималъ Бѣлинскій задачи этой общественно-исторической критики? Какъ мирилъ онъ требованія этой критики съ основами философско-эстетическаго воззрѣнія на художественное творчество? «Прежде чѣмъ опредѣлить историческое значеніе поэзіи, читаемъ въ одной изъ статей 1843 года, должно опредѣлить ея чисто-художественное значеніе: безъ этого никто не пойметъ, почему критика или эстетика признаетъ одного поэта поэтомъ, другого — нѣтъ, и почему въ одномъ она видитъ великаго, а въ другомъ — обыкновеннаго поэта. Вотъ здѣсь эстетика имѣетъ право основываться на одномъ философскомъ началѣ искусства, не относясь ни къ исторіи ни къ другимъ сферамъ сознанія. Здѣсь получаетъ свой великій смыслъ искусство, какъ искусство, какъ такая сфера дѣятельности, которая сама себѣ цѣль и внѣ себя цѣли не имѣетъ. Естественно прежде чѣмъ опредѣлить, къ зодчеству какого народа, какой эпохи, какого стиля принадлежатъ зданія такого-то архитектора, и великій ли

1) Ibid., 860—861

онъ архитекторъ, должно показать, есть ли въ его зданіяхъ творчество, полетъ фантазіи, словомъ, поэзія, или эти зданія — только груды камней, складенныя по правиламъ архитектуры трудолюбивымъ ремесленникомъ, тщательно изучившимъ техническую сторону искусства, или, пожалуй, и опытнымъ академикомъ... А этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ только на основаніи философіи изящнаго, эстетики. Но здѣсь и оканчивается работа эстетики, какъ эстетики собственно, и отсюда вступаетъ въ свои права исторія и философія исторіи. Это не значитъ, чтобы эстетика, въ какомъ бы то ни было случаѣ, отказалась отъ правъ, неотъемлемо принадлежащихъ ей въ дѣлѣ искусства: это значитъ только, что эстетика, окончивъ разсмотрѣніе художественной стороны искусства, обращается къ другой сторонѣ, столько же присущей искусству, какъ и сторона художественная,—къ сторонѣ его содержанія, и, нисколько не отказываясь отъ своихъ законныхъ и неотъемлемыхъ правъ, вступаетъ въ союзъ съ другою, родственной ей сферою — сферою исторіи. Всѣ сферы высшаго сознанія такъ родственны и тѣсно связаны между собой, что только чрезъ искусственное дѣйствіе разума можно раздѣлять ихъ; показать же точныя ихъ границы такъ же трудно, какъ и показать, гдѣ въ человѣкѣ оканчивается тѣло и начинается душа, гдѣ конецъ чувства и начало ума, и т. д.» [1]). Основы эстетическихъ воззрѣній остаются непоколебимыми, но критикъ признаетъ необходимымъ, чтобы вслѣдъ за эстетической оцѣнкой литературныхъ произведеній вступила въ свои права иная, историческая критика. Подобную же точку зрѣнія Бѣлинскій примѣнялъ и къ оцѣнкѣ текущей, современной литературы. «Полонскій, писалъ Бѣлинскій въ 1845 году, обладаетъ въ нѣкоторой степени тѣмъ, что можно назвать чистымъ элементомъ поэзіи и безъ чего никакія умныя и глубокія мысли, никакая ученость не сдѣлаютъ человѣка поэтомъ. Но и одного этого также слишкомъ мало, чтобы въ наше время заставить говорить

1) VII, 66—67.

о себѣ, какъ о поэтѣ. Знаемъ, знаемъ, скажутъ многіе: нужно еще направленіе, нужны идеи! Такъ, господа, вы правы, но не вполнѣ: главное и трудное дѣло состоитъ не въ томъ, чтобы имѣть направленіе и идеи, а въ томъ, чтобы не выборъ, не усиліе, не стремленіе, а прежде всего сама натура поэта была непосредственнымъ источникомъ его направленія и его идей. Еслибъ сказали Лермонтову о значеніи его направленія и идей, онъ, вѣроятно, многому удивился бы и даже не всему повѣрилъ; и не мудрено: его направленіе, его идеи были онъ самъ, его собственная личность, и потому онъ часто высказывалъ великое чувство, высокую мысль, въ полной увѣренности, что онъ не сказалъ ничего особеннаго. Такъ, силачъ безъ вниманія, мимоходомъ откидываетъ ногой съ дороги такой камень, котораго человѣкъ съ обыкновенной силой не сдвинулъ бы съ мѣста и руками» [1]). «Дурное, ошибочное пониманіе истины не уничтожаетъ самой истины, читаемъ въ статьѣ 1848 года. Если мы видимъ иногда людей даже умныхъ и благонамѣренныхъ, которые берутся за изложеніе общественныхъ вопросовъ въ поэтической формѣ, не имѣя отъ природы ни искры поэтическаго дарованія, изъ этого вовсе не слѣдуетъ, что такіе вопросы чужды искусству и губятъ его... Теперь многихъ увлекаетъ волшебное словцо: «направленіе», думаютъ, что все дѣло въ немъ, и не понимаютъ, что въ сферѣ искусства, во-первыхъ, никакое направленіе гроша не стоитъ безъ таланта, а во-вторыхъ, само направленіе должно быть не въ головѣ только, а прежде всего въ сердцѣ, въ крови пишущаго; прежде всего должно быть чувствомъ, инстинктомъ, а потомъ уже, пожалуй, и сознательною мыслію,—что для него, этого направленія, такъ же надобно родиться, какъ и для самого искусства. Идея, вычитанная или услышанная, пожалуй, понятая какъ должно, но не проведенная черезъ собственную натуру, не получившая отпечатка вашей личности, есть мертвый капиталъ не только для поэтической, но и всякой литературной

1) IX, 47.

дѣятельности» [1]). Такимъ образомъ, признаются равноправными двѣ стихіи литературнаго творчества: «направленіе» и «чистый элементъ искусства». Этого мало. Найдено и указано то примиряющее начало, которое объединяетъ эти несходныя стихіи, та среда, въ которой сливаются художественное творчество и движеніе общественной мысли. То, что представляется обособленнымъ въ отвлеченныхъ философскихъ основахъ, срастается въ нераздѣльное цѣлое въ единствѣ живой человѣческой личности. Поэтому-то изученіе личности писателя, элементовъ, ее опредѣляющихъ, Бѣлинскій признавалъ существеннѣйшей задачей литературной критики.

Первую попытку опредѣлить отношеніе личности писателя къ его произведеніямъ находимъ у Бѣлинскаго въ не разъ указанной статьѣ 1835 года: «О русской повѣсти и повѣстяхъ Гоголя». Опредѣленіе навѣяно нѣмецкой эстетической теоріей, которая служила въ ту пору исходнымъ пунктомъ критическихъ сужденій Бѣлинскаго. Теорія утверждала, что «художественное творчество свободно съ зависимостью». Что это значитъ? «Что такое свобода творчества отъ лица творящаго при зависимости отъ него»? спрашиваетъ Бѣлинскій. Отвѣтъ дается такой: «Поэтъ есть рабъ своего предмета, ибо не властенъ ни въ его выборѣ, ни въ его развитіи, ибо не можетъ творить ни по приказу, ни по заказу, ни по собственной волѣ, если не чувствуетъ вдохновенія, которое рѣшительно не зависитъ отъ него: слѣдовательно, творчество свободно и независимо отъ лица творящаго, которое здѣсь является столько же страдательнымъ, сколько и дѣйствующимъ. Но отчего же въ созданіи художника отражается и вѣкъ, и народъ, и собственная его индивидуальность? Отчего въ немъ отражается и жизнь, и мнѣнія, и степень образованности художника? Слѣдовательно, творчество зависитъ отъ него, слѣдовательно, онъ столько же и господинъ его, сколько и рабъ его? Да, оно зависитъ отъ него, какъ душа отъ организма, какъ зависитъ

1) XI, 370, 360.

характеръ отъ темперамента. Это всего лучше можно объяснить сномъ. Сонъ есть нѣчто свободное, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, и зависящее отъ насъ. Меланхолику снятся сны страшные, фантастическіе; флегматикъ и во снѣ спитъ или ѣстъ; актеръ слышитъ рукоплесканія, военный видитъ битвы, подьячій взятки и т. д.»[1]). Такимъ образомъ, художественное творчество также независимо отъ воли человѣка, какъ грезы его сна, но содержаніе и характеръ сновидѣній и поэтическихъ грезъ опредѣляются душевнымъ складомъ того, кому снятся эти грезы. Позже Бѣлинскій не разъ возвращался къ вопросу объ отраженіи личности поэта въ его творчествѣ. Сравненіе поэзіи со сномъ смѣнилось инымъ, болѣе значительнымъ опредѣленіемъ. Въ Обозрѣніи русской литературы за 1842 годъ критикъ останавливается на повѣстяхъ гр. Соллогуба. «Простота и вѣрное чувство дѣйствительности, говоритъ критикъ, составляютъ неотъемлемую принадлежность повѣстей графа Соллогуба. Въ этомъ отношеніи теперь, послѣ Гоголя, онъ первый писатель въ современной русской литературѣ. Слабая же сторона его произведеній заключается въ отсутствіи личнаго (извините—субъективнаго) элемента, который бы все проникалъ и оттѣнялъ собою, чтобъ вѣрныя изображенія дѣйствительности, кромѣ своей вѣрности, имѣли еще и достоинство идеальнаго содержанія. Графъ Соллогубъ, напротивъ, ограничивается одною вѣрностью дѣйствительности, оставаясь равнодушнымъ къ своимъ изображеніямъ, каковы бы они ни были, и какъ будто находя, что такими они и должны быть. Это много вредитъ успѣху его произведеній, лишая ихъ сердечности и задушевности, какъ признаковъ горячихъ убѣжденій, глубокихъ вѣрованій»[2]). Мы знаемъ, какое важное значеніе придавалъ Бѣлинскій тому, что онъ называлъ вѣрностью дѣйствительности и тактомъ дѣйствительности. Припомнимъ сужденіе критика о Гоголѣ, въ произведеніяхъ котораго открывалась «совершенная истина жизни» (I, 211). Припомнимъ замѣчаніе о Пушкинѣ, который, по сло-

1) I, 208.
2) VII, 44.

вамъ Бѣлинскаго, «въ высшей степени обладалъ этимъ тактомъ дѣйствительности, который составляетъ одну изъ главныхъ сторонъ художника». [1]). Но для полноты истинно-художественнаго творчества этотъ «тактъ дѣйствительности» долженъ соединяться, по мысли нашего критика, съ другимъ элементомъ,—элементомъ личнымъ, субъективнымъ.

Этотъ субъективный элементъ Бѣлинскій называлъ то пафосомъ, то содержаніемъ поэтическаго творчества. Что такое содержаніе художественнаго произведенія? «Я не берусь вамъ опредѣлить философски, писалъ Бѣлинскій, что такое «содержаніе» въ жизни, въ исторіи, въ искусствѣ, въ наукѣ; но охарактеризую его вамъ общими признаками и объясню примѣрами, взятыми изъ сферы искусства. Содержаніе въ искусствѣ не всегда то, что можно съ перваго взгляда выговорить и опредѣлить; оно не есть воззрѣніе, или опредѣленный взглядъ на жизнь, не начало или система какихъ-либо вѣрованій и убѣжденій, родъ философской школы или политической котеріи; содержаніе есть нѣчто высшее, изъ чего вытекаютъ всѣ вѣрованія, убѣжденія и начала; содержаніе есть міросозерцаніе поэта, его личное ощущеніе собственнаго пребыванія въ лонѣ міра, и присутствіе міра во внутреннемъ святилищѣ его духа. Когда вы читаете поэта безъ содержанія, но обладающаго большимъ талантомъ, вы чувствуете, что васъ что-то растревожило, возбудило въ васъ стремленіе къ чему-то, повергло васъ въ какое-то неопредѣленное состояніе, но не удовлетворило, не наполнило ничѣмъ; здѣсь самое наслажденіе — только разсужденіе, а не удовлетвореніе. Напротивъ, когда вы читаете поэтическія произведенія, проникнутыя глубокимъ содержаніемъ, вы чувствуете, что стремитесь къ чему-нибудь опредѣленному, наслаждаетесь чѣмъ-нибудь положительнымъ, что вы пріяли въ себя новую силу, что вашего существованія прибавилось, что вы чѣмъ-то преисполнились. Тогда вы страдаете страданіемъ вашего поэта, блаженствуете его бла-

1) VIII, 382.

женствомъ, потому что въ его страданіи. или его блаженствѣ, узнаете общечеловѣческую скорбь или радость, душу вѣка, интересъ времени» [1]). Что такое паѳосъ? «Каждое поэтическое произведеніе, говоритъ Бѣлинскій, есть плодъ могучей мысли, овладѣвшей поэтомъ». Но «искусство не допускаетъ въ себѣ отвлеченныхъ философскихъ, а тѣмъ менѣе разсудочныхъ идей: оно допускаетъ только идеи поэтическія; а поэтическая идея — это не силлогизмъ, не догматъ, не правило, это живая страсть, это паѳосъ. Что такое паѳосъ? Творчество — не забава и художественное произведеніе—не плодъ досуга, или прихоти; оно стоитъ художнику труда; онъ самъ не знаетъ, какъ западаетъ въ его душу зародышъ новаго произведенія, онъ носитъ и вынашиваетъ въ себѣ зерно поэтической мысли, какъ носитъ и вынашиваетъ мать младенца въ утробѣ своей; процессъ творчества имѣетъ аналогію съ процессомъ дѣторожденія и не чуждъ мукъ, разумѣется, духовныхъ, этого физическаго акта. Если поэтъ рѣшится на трудъ и подвигъ творчества, значитъ, что его къ этому движетъ какая-то могучая сила, непобѣдимая страсть. Эта сила есть страсть, паѳосъ... Подъ паѳосомъ разумѣется страсть, и, притомъ, соединенная съ волненіемъ крови, съ потрясеніемъ всей нервной системы, какъ и всякая другая страсть; но паѳосъ всегда есть страсть возжигаемая въ душѣ человѣка идеей и всегда стремящаяся къ идеѣ, слѣдовательно, страсть чисто-духовная, нравственная, небесная. Паѳосъ простое умственное постиженіе идеи превращаетъ въ любовь къ идеѣ, полную энергіи и страстнаго стремленія. Въ философіи идея является безплотною, черезъ паѳосъ она превращается въ тѣло, въ дѣйствительный фактъ, въ живое созданіе» [2]). Итакъ поэзія воплощаетъ, превращаетъ въ «живое созданіе» философскія идеи. Отъ этого положенія одинъ шагъ до признанія возможности воплощенія въ поэзіи и другихъ проявленій мысли, способныхъ вызывать «па-

1) VI, 53.
2) VIII, 352—354.

ѳосъ». Шагъ этотъ былъ сдѣланъ Бѣлинскимъ. «Философъ говоритъ силлогизмами, писалъ Бѣлинскій въ 1848 году, поэтъ — образами и картинами, а говорятъ оба они одно и то же. Политико-экономъ, вооружаясь статистическими числами, доказываетъ дѣйствуя на умъ своихъ читателей или слушателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ много улучшилось или много ухудшилось вслѣдствіе такихъ-то и такихъ-то причинъ. Поэтъ, вооружась живымъ и яркимъ изображеніемъ дѣйствительности, показываетъ въ вѣрной картинѣ, дѣйствуя на фантазію своихъ читателей, что положеніе такого-то класса въ обществѣ, дѣйствительно, много улучшилось, или ухудшилось отъ такихъ-то и такихъ-то причинъ. Одинъ доказываетъ, другой показываетъ, и оба убѣждаютъ, только одинъ — логическими доводами, другой — картинами. Но перваго слушаютъ и понимаютъ немногіе, другого — всѣ. Высочайшій и священнѣйшій интересъ общества есть его собственное благосостояніе, равно простертое на каждаго изъ его членовъ. Путь къ этому благосостоянію—сознаніе, а сознанію искусство можетъ способствовать не меньше науки. Тутъ и наука и искусство равно необходимы, и ни наука не можетъ замѣнить искусство, ни искусство науки» [1]).

Переходъ отъ философіи къ области общественныхъ вопросовъ облегчался для Бѣлинскаго самой же философіей, какъ понималась она въ томъ кружкѣ, въ которомъ воспитались философскія убѣжденія нашего критика. Всѣмъ, конечно, памятны тѣ страницы «Литературныхъ мечтаній», на которыхъ яркими, огненными чертами изображается «нравственная жизнь вѣчной идеи». Проявленіе этой жизни—«борьба между добромъ и зломъ, любовью и эгоизмомъ, какъ въ жизни физической противоборство силы сжимательной и расширительной». Арена вѣчной борьбы добра и зла — человѣческая жизнь въ ея разнообразныхъ проявленіяхъ. Литературное творчество не составляетъ исключенія среди этихъ проявленій. «Если при твоемъ рожденіи

1) XI, 369. Ср. II, 372; III, 343.

природа возложила на твое чело печать генія, дала тебѣ вѣщія уста пророка и сладкій голосъ поэта, если міродержавныя судьбы обрекли тебя быть двигателемъ человѣчества, апостоломъ истины и знанія, вотъ передъ тобою два неизбѣжные пути. Сочувствуй природѣ, люби и изучай ее, твори безкорыстно, трудись безвозмездно, отверзай души ближнихъ для впечатлѣній благого и истиннаго, изобличай порокъ и невѣжество, терпи гоненія злыхъ, ѣшь хлѣбъ смоченный слезами, и не своди задумчиваго взора съ прекраснаго, родного тебѣ неба. Трудно? тяжко?.. Ну такъ торгуй твоимъ божественнымъ даромъ, положи цѣну на каждое вѣщее слово, которое ниспосылаетъ тебѣ Богъ въ святыя минуты вдохновенія: покупщики найдутся, будутъ платить тебѣ щедро, а ты умѣй лишь кадить кадиломъ лести, умѣй склонять во прахъ твое вѣнчанное чело, забудь о славѣ, о безсмертіи, о потомствѣ, довольствуйся тѣмъ, если услужливая рука торгаша-журналиста провозгласитъ о тебѣ, что ты великій поэтъ, геній, Байронъ, Гете» [1])... Біографъ Станкевича, останавливаясь на этомъ размышленіи Бѣлинскаго о литературной этикѣ, замѣчаетъ: «Тутъ высказана сущность убѣжденій, царствовавшихъ въ кругѣ Станкевича съ той твердой постановкой правилъ, которая отличала всегда автора статьи. Не вдаваясь въ разборъ критической ея части, можно сказать, что изъ воззрѣнія, общаго автору со Станкевичемъ, родились всѣ ея строгія нравственныя требованія отъ литературныхъ дѣятелей, развитыя еще болѣе впослѣдствіи. Она составляетъ въ нашей исторіи словесности грань, съ которой начинается разборъ и оцѣнка направленій и возникаетъ побужденіе смотрѣть на произведенія искусства, какъ на провозвѣстниковъ высшаго нравственнаго порядка» [2]). Позже Бѣ-

1) I, 17—18.

2) Анненковъ, Н. В. Станкевичъ, 40. Эти «строгія нравственныя требованія отъ литературныхъ дѣятелей», о которыхъ говоритъ Анненковъ, нельзя, конечно, смѣшивать съ признаніемъ дидактическаго характера поэзіи. Такое признаніе всегда было чуждо Бѣлинскому. «Доколѣ поэтъ слѣдуетъ безотчетно мгновенной вспышкѣ своего воображенія, читаемъ въ «Литературныхъ мечтаніяхъ», дотолѣ онъ нравственъ, дотолѣ онъ поэтъ; но какъ скоро онъ предпо-

линскій со свойственной ему горячностью отрекался отъ своего исключительнаго увлеченія вопросами этики. «Больше всего даетъ мнѣ счастья и внутренней жизни, писалъ онъ въ 1839 году, расширеніе моей способности воспріемлемости изящнаго. Пушкинъ представалъ мнѣ въ новомъ свѣтѣ, какъ одинъ изъ міровыхъ испо[illegible] искусства, какъ Гомеръ, Шекспиръ и Гете... О грекахъ, разумѣется древнихъ, не могу думать безъ слезъ на глазахъ. Мнѣ доступна и сфера религіи, но болѣе родная мнѣ сфера — искусство, и хорошій гипсовый снимокъ съ Венеры Медицейской стоитъ въ глазахъ моихъ больше того глупаго счастья, котораго я нѣкогда искалъ въ рѣшеніи нравственныхъ вопросовъ. Боже мой, какая это была ужасная жизнь! Нравственная точка зрѣнія погубила было для меня весь цвѣтъ жизни, всю ея поэзію и прелесть» [1]). Бѣлинскій отказывается, повидимому, отъ «нравственной точки зрѣнія». Было бы, однако, ошибкой признать эти слова за указаніе на какой-то рѣшительный переломъ въ настроеніи нашего писателя. Бѣлинскій и послѣ 1839 года до конца своихъ дней оставался моралистомъ. Перемѣна настроенія замѣчалась лишь въ расширеніи «нравственной точки зрѣнія». Отъ вопросовъ индивидуальной этики Бѣлинскій перешелъ постепенно къ вопросамъ общественной правды. «Соціальность — вотъ девизъ мой, писалъ критикъ въ 1841 году. Что мнѣ въ томъ, что живетъ общее, когда страдаетъ личность? Что мнѣ въ томъ, что геній на землѣ живетъ въ небѣ, когда толпа валяется въ грязи? Что мнѣ въ томъ, что я понимаю идею, что мнѣ открытъ міръ идеи въ искусствѣ, въ религіи, въ исторіи, когда я не могу этимъ дѣ-

ложилъ себѣ цѣль, задалъ тему, онъ уже философъ, мыслитель, моралистъ, онъ теряетъ надо мной свою чародѣйскую власть, разрушаетъ очарованіе» и т. д. (Сочиненія, I, 21). «Эстетическое чувство, писалъ Бѣлинскій въ 1836 году, есть основа добра, основа нравственности. Гдѣ нѣтъ владычества искусства, тамъ люди не добродѣтельны, а только благоразумны, не нравственны, а только осторожны; они не борются со зломъ, а избѣгаютъ его; избѣгаютъ его не по ненависти ко злу, а изъ расчета» (II, 67). Эти же мысли объ отношеніи нравственности къ искусству повторяются и въ другихъ статьяхъ Бѣлинскаго. Ср. III, 307; V, 385; VIII, 72—73.

1) Пыпинъ, Бѣлинскій, I, 289—290.

литься со всѣми, кто долженъ быть моими братьями по человѣчеству, *моими ближними по Христѣ*, но кто мнѣ чужіе и враги по своему невѣжеству? Что мнѣ въ томъ, что для избранныхъ есть блаженство, когда большая часть и не подозрѣваетъ его возможностей? Прочь же отъ меня блаженство, если оно — достояніе мнѣ одному изъ тысячъ! Не хочу я его, если оно у меня не общее съ меньшими братіями моими! Сердце мое обливается кровью и судорожно содрогается при взглядѣ на толпу и ея представителей. Горе, тяжкое горе овладѣваетъ мной при видѣ и босоногихъ мальчишекъ, играющихъ на улицѣ въ бабки, и оборванныхъ нищихъ, и пьянаго извощика, и идущаго съ развода солдата, и бѣгущаго съ портфелемъ подъ мышкой чиновника, и довольнаго собою офицера, и гордаго вельможи. Подавши грошъ солдату, я чуть не плачу; подавши грошъ нищей, я бѣгу отъ нея, какъ будто сдѣлавши худое дѣло, и какъ будто не желая услышать шелеста собственныхъ шаговъ своихъ. И это жизнь: сидѣть на улицахъ въ лохмотьяхъ, съ идіотскимъ выраженіемъ на лицѣ, набирать днемъ нѣсколько грошей, а вечеромъ пропить ихъ въ кабакѣ—и люди это видятъ и никому до этого нѣтъ дѣла!... И это общество на разумныхъ началахъ существующее, явленіе дѣйствительности!... И послѣ этого имѣетъ ли право человѣкъ забываться въ искусствѣ, въ знаніи»! [1].. «Ты, я знаю, будешь

1) Op. cit. II, 125. По поводу термина «соціальная идея» біографъ Бѣлинскаго замѣчаетъ: «Для избѣжанія недоразумѣній, надо замѣтить, что Бѣлинскій употребляетъ это слово не въ томъ спеціальномъ смыслѣ, какъ оно часто употребляется, т. е., не въ смыслѣ «соціализма», котораго настоящимъ приверженцемъ не бывалъ (какъ это нѣкоторые утверждали, особенно желая тѣмъ сдѣлать ему лишній попрекъ) и, конечно, мало вникалъ въ его теоретическія построенія; а хочетъ только сказать, что вообще его господствующимъ интересомъ сталъ вопросъ объ обществѣ. Изъ тогдашняго соціализма производило на него впечатлѣніе именно та критическая точка зрѣнія, съ которой самъ Бѣлинскій начиналъ наблюдать общественную жизнь и устройство». Справедливость этого замѣчанія подтверждается статьями и письмами Бѣлинскаго, относящимися къ послѣднему году его жизни (1848). Изъ статей можемъ указать на рецензію 4-ой книжки «Сельскаго Чтенія» (Сочиненія, XI, 457—467), а изъ писемъ послѣднее письмо къ П. В. Анненкову (П. В. Анненковъ и его друзья, 611—612). Нельзя поэтому признать вполнѣ точными тѣ свѣдѣнія о

надо мною смѣяться, читаемъ въ другомъ письмѣ Бѣлинскаго того же 1841 года, но смѣйся, какъ хочешь, а я свое: судьба субъекта, индивидуума, личности, важнѣе судебъ всего міра и здравія китайскаго императора (т. е. гегелевскій Allgemeinheit). Мнѣ говорятъ: развивай всѣ сокровища своего духа для свободнаго самонаслажденія духомъ, плачь, дабы утѣшиться, скорби, дабы возрадоваться, стремись къ совершенству, лѣзь на верхнюю ступень лѣстницы развитія, а спотыкнешься — падай: чортъ съ тобою — таковскій и былъ, сукинъ сынъ... Благодарю покорно, Егоръ Ѳедорычъ (Гегель), — кланяюсь вашему философскому колпаку; но, со всѣмъ подобающимъ вашему философскому филистерству уваженіемъ, честь имѣю донести вамъ, что если бы мнѣ и удалось влѣзть на верхнюю ступень лѣстницы развитія, я и тамъ попросилъ бы васъ отдать мнѣ отчетъ во всѣхъ жертвахъ условій жизни и исторіи, во всѣхъ жертвахъ случайностей, суевѣрій и инквизиціи Филиппа II и пр. и пр.; иначе, я съ верхней ступени бросаюсь внизъ головою. Я не хочу счастія и даромъ, если не буду спокоенъ на счетъ каждаго изъ моихъ братій по крови... Говорятъ, что дисгармонія есть условіе гармоніи: можетъ быть это очень выгодно и усладительно для меломановъ, но ужъ, конечно, не для тѣхъ, которымъ суждено выразить своею участью идею дисгармоніи» [1]).

Эту общественно-литературную точку зрѣнія Бѣлинскій переносилъ и въ область литературной критики, да и не могъ не переносить, когда появлялись, съ одной стороны, такія книги, какъ «Выбранныя мѣста изъ переписки съ друзьями» Гоголя, а

Бѣлинскомъ и его убѣжденіяхъ, которыя сообщены Достоевскимъ въ его статьѣ: «Старые люди» (Собр. соч. X, 5—10 «Дневникъ писателя»). Впрочемъ, и Достоевскій признаетъ, что Бѣлинскій при всѣхъ своихъ увлеченіяхъ оставался строгимъ моралистомъ. «Выше всего цѣня разумъ, науку и реализмъ, онъ (Бѣлинскій) въ то же время понималъ глубже всѣхъ, что одни разумъ, наука и реализмъ могутъ создать лишь муравейникъ, а не «соціальную гармонію», въ которой бы можно было ужиться человѣку. Онъ, зналъ, что основа всему—начало нравственности».

1) Пыпинъ, Op. cit. II, 105.

съ другой стороны произведенія писателей натуральной школы. Припомнимъ статью Бѣлинскаго о «Перепискѣ съ друзьями» (XI, 87—108) и, въ особенности, его знаменитое письмо къ Гоголю по поводу этой «Переписки». Припомнимъ, затѣмъ, замѣчаніе критика о повѣсти Григоровича: «Антонъ Горемыка». «Это повѣсть трогательная, по прочтеніи которой въ голову невольно тѣснятся мысли грустныя и важныя» [1]). По поводу этой же повѣсти Григоровича Бѣлинскій писалъ Боткину: «Для меня иностранная повѣсть должна быть слишкомъ хороша, чтобы я могъ читать ее безъ нѣкотораго усилія, особенно въ началѣ; и трудно вообразить такую гнусную русскую, которой бы я не могъ осилить, а будь повѣсть русская хоть сколько-нибудь хороша, главное — сколько-нибудь дѣльна — я не читаю, а пожираю... Ты — сибаритъ, сластена... тебѣ, вишь, давай поэзіи да художества, тогда ты будешь смаковать и чмокать губами. А мнѣ поэзіи и художественности нужно не больше, какъ на столько, чтобы повѣсть была истинна, т. е. не впадала въ аллегорію, или не отзывалась диссертаціей... Главное, чтобы она вызывала вопросы, производила на общество нравственное впечатлѣніе. Если она достигаетъ этой цѣли и вовсе безъ поэзіи и творчества, — она для меня тѣмъ не менѣе интересна... Разумѣется, если повѣсть возбуждаетъ вопросы и производитъ нравственное впечатлѣніе на общество, при высокой художественности, тѣмъ она для меня лучше; но главное то у меня все-таки въ дѣлѣ, а не въ щегольствѣ. Будь повѣсть хоть расхудожественна, да если въ ней нѣтъ дѣла, то я къ ней совершенно равнодушенъ... Я знаю, что сижу въ односторонности, но не хочу выходить изъ нея и жалѣю, и болѣю о тѣхъ, кто не сидитъ въ ней. Вотъ почему въ *Антонѣ* я не замѣтилъ длиннотъ, или, лучше сказать, упивался длиннотами... Боже мой! какое изученіе русскаго простонародья въ подробныхъ до мелочности описаніяхъ ярмарки!... Но перечитывать *Антона* я не буду, хотя всегда перечитываю по нѣ-

1) Сочиненія, XI, 424.

скольку разъ всякую русскую повѣсть, которая мнѣ понравится. Ни одна русская повѣсть не производила на меня такого страшнаго, гнетущаго, мучительнаго, удручающаго впечатлѣнія; читая ее, мнѣ казалось, что я въ конюшнѣ, гдѣ благонамѣренный помѣщикъ поретъ и истязуетъ цѣлую вотчину, законное наслѣдіе его благородныхъ предковъ»...[1]) Въ этомъ отрывкѣ особенно важно выраженіе: «я знаю, что сижу въ односторонности». Въ такой оговоркѣ сказался эстетическій критикъ, какимъ былъ Бѣлинскій и какимъ остался до конц». Великіе вопросы общественной этики глубоко волновали человѣка, алкавшаго и жаждавшаго правды. Подъ вліяніемъ этой жажды, онъ чуть не отрекался отъ своей художественно-критической дѣятельности. «Ну, какой я литературный критикъ, говорилъ Бѣлинскій Панаеву; я рожденъ памфлетистомъ, и не смѣть пикнуть о томъ, что накипѣло въ душѣ, отъ чего сердце болитъ!» Но въ этихъ словахъ видимъ такое же временное увлеченіе многосторонне одареннаго человѣка, какъ и въ приведенномъ выше отрывкѣ изъ письма къ Боткину. «Чтобы быть критикомъ, писалъ Бѣлинскій въ 1840 году, надо родиться критикомъ, надо получить отъ природы обширное и глубокое созерцаніе, или внутреннее ясновидѣніе всего, что составляетъ содержаніе искусства, надо получить инстинктъ и тактъ для пониманія изящнаго». [2]) Эти слова — автохарактеристика Бѣлинскаго. Родившись критикомъ, онъ не могъ, если бы даже хотѣлъ, отказаться отъ своего инстинкта, «отъ способности, ясновидѣнія всего, что составляетъ содержаніе искусства». Въ послѣдній періодъ своей литературной дѣятельности Бѣлинскій отрицалъ такъ называемое чистое искусство, но онъ никогда не отрицалъ самостоятельнаго значенія искусства. «Что такое чистое искусство, писалъ Бѣлинскій въ 1848 году, этого хорошо не знаютъ сами поборники его, и оттого-то оно является у нихъ какимъ-то идеаломъ, а не существуетъ фактически. Оно

1) II, 312—313.
2) III, 326.

въ сущности есть дурная крайность другой дурной крайности, т. е. искусства дидактическаго, поучительнаго, холоднаго, сухого, мертваго, котораго произведенія не иное что, какъ риторическія упражненія на заданныя темы. Безъ всякаго сомнѣнія, искусство прежде всего должно быть искусствомъ, а потомъ уже оно можетъ быть выраженіемъ духа и направленія общества въ извѣстную эпоху. Какими бы прекрасными мыслями ни было наполнено стихотвореніе, какъ бы ни сильно отзывалось оно современными вопросами, но если въ немъ нѣтъ поэзіи, — въ немъ не можетъ быть ни прекрасныхъ мыслей и никакихъ вопросовъ, и все, что должно замѣтить въ немъ, это развѣ прекрасное намѣреніе, дурно выполненное. Когда въ романѣ или повѣсти нѣтъ образовъ и лицъ, нѣтъ характеровъ, нѣтъ ничего типическаго, какъ бы вѣрно и тщательно ни было списано съ натуры все, что въ немъ разсказывается, читатель не найдетъ тутъ никакой натуральности, не замѣтитъ ничего вѣрно подмѣченнаго, ловко схваченнаго. Лица будутъ перемѣшиваться между собой въ его глазахъ, въ разсказѣ онъ увидитъ путаницу непонятныхъ происшествій. Невозможно безнаказанно нарушать законы искусства. Чтобы списывать вѣрно съ натуры, мало умѣть писать, т. е. владѣть искусствомъ писца, или писаря; надобно умѣть явленія дѣйствительности провести черезъ свою фантазію, дать имъ новую жизнь. Хорошо и вѣрно изложенное слѣдственное дѣло, имѣющее романическій интересъ, не есть романъ и можетъ служить развѣ только матеріаломъ для романа, т. е. подать поэту поводъ написать романъ. Но для этого онъ долженъ проникнуть мыслію въ внутреннюю сущность дѣла, отгадать тайныя душевныя побужденія, заставившія эти лица дѣйствовать такъ, схватить ту точку этого дѣла, которая составляетъ центръ круга этихъ событій, даетъ имъ смыслъ чего-то единаго, полнаго, цѣлаго, замкнутаго въ самомъ себѣ. А это можетъ сдѣлать только поэтъ... Но вполнѣ признавая, что искусство прежде всего должно быть искусствомъ, мы тѣмъ не менѣе думаемъ, что мысль о какомъ-то чистомъ, отрѣшенномъ искусствѣ, живущемъ

въ своей собственной сферѣ, не имѣющемъ ничего общаго съ другими сторонами жизни, есть мысль отвлеченная, мечтательная. Такого искусства никогда и нигдѣ не бывало. Безъ всякаго сомнѣнія, жизнь раздѣляется и подраздѣляется на множество сторонъ, имѣющихъ свою самостоятельность; но эти стороны сливаются одна съ другою живымъ образомъ, и нѣтъ между ними рѣзкой, раздѣляющей ихъ черты. Какъ ни дробите жизнь, она всегда едина и цѣльна» [1]). Прочитавъ этотъ отрывокъ, мы поймемъ, почему и критики-эстетики, и критики-публицисты съ одинаковымъ правомъ могли признавать Бѣлинскаго своимъ вождемъ.

Понятно и преклоненіе передъ Бѣлинскимъ представителя «органической критики». Оба критика, и Бѣлинскій, и Аполлонъ Григорьевъ, придавали одинаково важное значеніе началу народности въ литературѣ и въ жизни. Припомнимъ приведенныя выше слова Бѣлинскаго: «Безъ непосредственнаго элемента все гнило, абстрактно и безжизненно, такъ же, какъ при одной непосредственности все дико и нелѣпо». Аполлонъ Григорьевъ называлъ этотъ «непосредственный элементъ» «стихійными началами». Органическая критика ставила себѣ задачей уловить и опредѣлить эти «стихійныя начала» и ихъ отраженіе въ литературномъ творчествѣ.

Указанныя выше попытки Бѣлинскаго выяснить историческое движеніе новой русской литературы даетъ право и тѣмъ,

---

1) Сочиненія, XI, 356—359. «Говорятъ, продолжаетъ Бѣлинскій, для науки нуженъ умъ и разсудокъ, для творчества фантазія, и думаютъ, что этимъ порѣшено дѣло начисто, такъ что хоть сдавай его въ архивъ. А для искусства не нужно ума и разсудка? А ученый можетъ обойтись безъ фантазіи? Неправда! Истина въ томъ, что въ искусствѣ фантазія играетъ самую дѣятельную и первенствующую роль, а въ наукѣ умъ и разсудокъ. Бываютъ, конечно, произведенія поэзіи, въ которыхъ ничего не видно, кромѣ сильной, блестящей фантазіи, но это вовсе не общее правило для художественныхъ произведеній... Есть роды учености, которые не только не требуютъ фантазіи, въ которыхъ эта способность могла бы только вредить, но никакъ этого нельзя сказать объ учености вообще». Эту мысль объ относительномъ значеніи ума и фантазіи въ наукѣ и поэзіи Бѣлинскій высказывалъ не разъ: II, 375; XI, 380.

кто изучаетъ исторію русской литературы, считать знаменитаго критика однимъ изъ своихъ хорэговъ.

Тургеневъ назвалъ Бѣлинскаго центральною натурою: «Онъ всѣмъ существомъ своимъ стоялъ близко къ сердцевинѣ своего народа, воплощалъ его вполнѣ и съ хорошихъ, и съ дурныхъ сторонъ». Это названіе центральной натуры можно примѣнить къ Бѣлинскому и въ другомъ значеніи. Въ его разностороннемъ умѣ, въ его широко понимаемой литературной критикѣ мирились и объединялись такія направленія русской мысли, которыя позже обособились до рѣзкой противоположности...

Вернется ли это былое единство? Можетъ ли оно вернуться? Не знаю, но вспоминать объ этомъ единствѣ, вспоминать о «центральной натурѣ» и отрадно и, безспорно, полезно...

ПУШКИНЪ О ПЕТРѢ ВЕЛИКОМЪ.

«При имени Пушкина тотчасъ осѣняетъ мысль о русскомъ національномъ поэтѣ. Въ самомъ дѣлѣ, никто изъ поэтовъ нашихъ не выше его и не можетъ болѣе назваться національнымъ; это право рѣшительно принадлежитъ ему. Въ немъ, какъ будто въ лексиконѣ, заключилось все богатство, сила и гибкость нашего языка. Онъ болѣе всѣхъ, онъ далѣе раздвинулъ ему границы и болѣе показалъ все его пространство. Пушкинъ есть явленіе чрезвычайное и, можетъ быть, единственное явленіе русскаго духа: это русскій человѣкъ въ конечномъ его развитіи, въ какомъ онъ, можетъ быть, явится чрезъ двѣсти лѣтъ. Въ немъ русская природа, русская душа, русскій языкъ, русскій характеръ отразились въ такой же чистотѣ, въ такой очищенной красотѣ, въ какой отражается ландшафтъ на выпуклой поверхности оптическаго стекла».

Такъ говоритъ о Пушкинѣ Гоголь. Къ этой характеристикѣ Пушкина, какъ національнаго поэта, едва ли можно что-нибудь прибавить. Но можно провѣрить общую характеристику на частныхъ примѣрахъ, можно попытаться отыскать въ произведеніяхъ Пушкина слѣды его національныхъ интересовъ и симпатій.

«Съ нѣкотораго времени—писалъ Пушкинъ въ 1825 году—у насъ вошло въ обыкновеніе говорить о народности, жаловаться на отсутствіе народности; но никто не думалъ опредѣлить, что

разумѣетъ онъ подъ словомъ народность. Одинъ изъ нашихъ критиковъ, кажется, полагаетъ, что народность состоитъ въ выборѣ предметовъ изъ отечественной исторіи. Другіе видятъ народность въ словахъ, оборотахъ, выраженіяхъ, т. е. радуются тому, что, изъясняясь по русски, употребляютъ русскія выраженія. Народность въ писателѣ есть достоинство, которое вполнѣ можетъ быть оцѣнено одними соотечественниками: для другихъ оно или не существуетъ или даже можетъ показаться порокомъ. Ученый нѣмецъ негодуетъ на учтивость героевъ Расина; французъ смѣется, видя въ Кальдеронѣ—Коріона, вызывающаго на дуэль своего противника, и проч. Все это однакожъ носитъ печать народности. Есть образъ мыслей и чувствованій, есть тьма обычаевъ, повѣрій и привычекъ, принадлежащихъ исключительно какому-нибудь народу. Климатъ, образъ жизни, вѣра даютъ каждому народу особенную физіономію, которая болѣе или менѣе отражается и въ ихъ поэзіи».

Замѣчаніе о народности писателя, какъ объ извѣстномъ «образѣ мыслей и чувствованій», отражающемся въ поэзіи, неоспоримо справедливо, но не лишено значенія и мнѣніе того критика, который указывалъ на «выборъ предметовъ изъ отечественной исторіи», какъ на одно изъ проявленій народности поэта. Правда, поэтъ можетъ быть народнымъ и при изображеніи явленій чужого быта, чужой природы, чужихъ преданій; поэтому выборъ предметовъ изъ отечественной исторіи самъ по себѣ, независимо отъ другихъ признаковъ, еще не опредѣляетъ народности писателя. Но едва ли можно отрицать, что живой интересъ, проявляемый поэтомъ къ исторіи своего народа, желанье и умѣнье понять и художественно воспроизвести родную старину, ея были и преданья, ея «обычаи, повѣрья и привычки», ея «особенную физіономію», можетъ служить вѣрнымъ показателемъ народности писателя. Справедливость этого соображенія подтверждается литературной дѣятельностью самого Пушкина. Предметы изъ русской исторіи занимали въ творчествѣ нашего великаго поэта важное и видное мѣсто. Съ этими предметами мы

встрѣчаемся на протяженіи всей литературной дѣятельности Пушкина, отъ раннихъ проявленій его поэтическаго дарованія до позднѣйшихъ произведеній.

Первое крупное произведеніе Пушкина — поэма «Русланъ и Людмила». Въ этой поэмѣ мы напрасно, конечно, будемъ искать слѣдовъ проникновенія поэта въ тайники народно-историческихъ преданій, но нельзя все-таки не обратить вниманія на несомнѣнное желаніе молодого писателя связать свой разсказъ съ данными русскаго былевого эпоса. Въ поэмѣ, какъ въ былинахъ, рѣчь идетъ о русскомъ «могучемъ богатырѣ», поэма, какъ и богатырскія былины, начинается съ упоминанія о пирѣ князя Владиміра «въ гридницѣ высокой».

Путешествіе по Кавказу пробудило въ душѣ поэта цѣлую вереницу Историческихъ воспоминаній.

Богиня пѣсенъ и разсказа
Воспоминанія полна,
Быть можетъ, повторитъ она
Преданья грознаго Кавказа,
Разскажетъ повѣсть дальнихъ странъ,
Мстислава древній поединокъ,
Измѣны, гибель россіянъ
На лонѣ мстительныхъ грузинокъ.
И воспою тотъ славный часъ,
Когда, почуя бой кровавый,
На негодующій Кавказъ
Поднялся нашъ орелъ двуглавый;
Когда, на Терекѣ сѣдомъ
Впервые грянулъ битвы громъ
И грохотъ русскихъ барабановъ,
И въ сѣчѣ, съ дерзостнымъ челомъ,
Явился пылкій Ціціановъ.

Ко времени пребыванія Пушкина на югѣ Россіи относятся «историческія замѣчанія», сохранившія намъ слѣды думъ поэта

о событіяхъ русской исторіи XVIII вѣка. Въ это же время Пушкинъ задумываетъ нѣсколько поэмъ изъ русской исторіи. Планы эти, впрочемъ, не осуществились. До насъ дошли отрывки одной только поэмы «Вадимъ», относящіеся къ 1822 году. Въ томъ же 1822 году написана «Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ»,—превосходный образецъ поэтическаго воспроизведенія народнаго преданія, записаннаго въ лѣтописи. Живя въ Михайловскомъ, поэтъ продолжаетъ изучать старо-русскую лѣтописную литературу, собираетъ народныя пѣсни и сказки, намѣчаетъ цѣлый рядъ поэтическихъ темъ изъ русской исторіи. «Я жду отъ васъ эпической поэмы, писалъ Пушкинъ Гнѣдичу въ 1825 году. Тѣнь Святослава скитается не воспѣтая, писали вы мнѣ когда-то. А Владиміръ? А Мстиславъ? А Донской? А Ермакъ? А Пожарскій? *Исторія народа принадлежитъ поэту*».

Разнообразіе этихъ темъ, надъ которыми задумывался поэтъ, не мѣшало сосредоточенности и серьезности его историческихъ изученій. Въ родной исторіи Пушкинъ отмежевалъ себѣ три эпохи, которыя остановили на себѣ его преимущественное вниманіе. Эти эпохи: смутное время, время Петра Великаго, Пугачевщина. Плодомъ изученія первой изъ этихъ эпохъ явился «Борисъ Годуновъ»; изученіе Пугачевщины отразилось въ «Капитанской Дочкѣ» и въ «Исторіи Пугачевскаго бунта». Величавый образъ Петра тревожилъ мысль и воображеніе поэта въ теченіе многихъ лѣтъ до конца жизни. Припомнимъ факты. Въ 1822 году Пушкинъ набрасываетъ «Историческія замѣчанія»; въ началѣ этихъ замѣчаній находимъ характеристику «сѣвернаго исполина», дѣятельность котораго открываетъ новый періодъ русской исторіи. Въ 1826 году появляется стихотвореніе «Стансы», проникнутое глубокимъ благоговѣніемъ къ памяти того, кто

всеобъемлющей душой
На тронѣ вѣчный былъ работникъ.

Къ 1827 году относится неоконченная повѣсть «Арапъ

Петра Великаго». Въ 1828 году написана «Полтава». Спустя три года Пушкинъ рѣшается заняться составленіемъ исторіи Петра Великаго. Поэту разрѣшено было «отыскивать въ архивахъ матеріалы» для задуманнаго труда. Изъ писемъ Пушкина къ женѣ и къ М. П. Погодину узнаемъ, что эти историческія изученія не были кратковременнымъ увлеченіемъ впечатлительнаго художника. «Къ Петру приступаю со страхомъ и трепетомъ, какъ вы къ исторической каѳедрѣ», писалъ Пушкинъ Погодину въ 1834 году. Въ этомъ же году онъ надѣялся закончить и издать первый томъ своей исторіи. Предположеніе это, однако, не осуществилось. Пушкинъ собралъ массу матеріаловъ для исторіи, но приступить къ окончательной обработкѣ этихъ матеріаловъ онъ не успѣлъ. Внимательное изученіе великой эпохи не осталось, впрочемъ, безплоднымъ. Въ 1833 году написаны: «Мѣдный Всадникъ», «Родословная моего героя». Въ 1835 году появилось еще небольшое стихотвореніе: «Пиръ Петра Великаго».

Великій императоръ и его современники задавали мыслящему художнику рядъ интересныхъ психологическихъ и историческихъ задачъ, рѣшеніе которыхъ связывалось, конечно, съ общимъ строемъ этическихъ и политическихъ воззрѣній великаго писателя. Пушкина интересовала и личность Петра, и то великое государственное дѣло, которое было имъ совершено. Эта двойственность художественной задачи, — задачи психологической и исторической, отразилась и на двухъ важнѣйшихъ литературныхъ работахъ Пушкина, касающихся эпохи преобразованій, — на поэмахъ: «Полтава» и «Мѣдный Всадникъ».

Полтавская битва, разрѣшившая сложныя, долго запутывавшіяся отношенія русскаго царя, малороссійскаго гетмана и шведскаго короля, одинаково интересовала и историковъ, и поэтовъ, и беллетристовъ. Задолго до «Полтавы» Пушкина стали появляться поэмы и повѣсти, авторы которыхъ пытались изобразить отношенія и характеры Петра и Мазепы. Такъ, еще въ прошломъ столѣтіи (въ 1784 году) издана была повѣсть «Прекрасная Россіянка», представляющая слабую, неудачную попытку

литературнаго воспроизведенія нѣкоторыхъ обстоятельствъ изъ жизни Мазепы; главное содержаніе повѣсти — вымышленныя приключенія вдовы знаменитаго гетмана. Въ 1803 году польскій писатель Мусницкій написалъ поэму «Pultawa». Одновременно съ Мусницкимъ работалъ надъ поэмой «Полтавская побѣда» русскій писатель М. Н. Муравьевъ. Появлялись эпическія поэмы и «лирическія пѣснопѣнія», представляющія обозрѣніе всей дѣятельности Великаго Петра. Въ такихъ поэмахъ и пѣснопѣніяхъ находилось, конечно, мѣсто и для разсказа о Полтавской битвѣ. Но всѣ эти и имъ подобныя болѣе или менѣе неудачныя попытки литературнаго изображенія Петровскаго времени давно и основательно забыты.

Первое по времени художественно-цѣнное изображеніе судьбы гетмана Мазепы явилось за предѣлами русской литературы. Я имѣю при этомъ въ виду извѣстную поэму Байрона: «Мазепа» (1818 г.). Наши критики, разсматривавшіе «Полтаву» Пушкина, припоминали, обыкновенно, поэму великаго англійскаго писателя, сравнивали «Полтаву» съ «Мазепой» и на основаніи этого сравненія оцѣнивали произведеніе нашего поэта. Самъ Пушкинъ находилъ, однако, такой способъ оцѣнки лишеннымъ основаній. «Кстати о Полтавѣ. Критики упомянули о Байроновомъ Мазепѣ. Но какъ они понимали его (или, справедливѣе, какъ не понимали!). Байронъ зналъ Мазепу только по Вольтеровой исторіи Карла XII. Онъ пораженъ былъ только картиной человѣка, привязаннаго къ дикой лошади и несущагося по степямъ. Картина, конечно, поэтическая, и зато посмотрите, что онъ изъ нея сдѣлалъ! Но не ищите тутъ ни Мазепы, ни Карла, ни сего мрачнаго, ненавистнаго, мучительнаго лица, которое проявляется во всѣхъ почти произведеніяхъ Байрона, но котораго, на бѣду одному изъ монхъ критиковъ, какъ нарочно, въ Мазепѣ и нѣтъ. Байронъ и не думалъ о немъ: онъ выставилъ рядъ картинъ, одна другой разительнѣе — вотъ и все; но какое пламенное созданіе, какая широкая, быстрая кисть! Если жъ бы ему подъ перо его попалась исторія обольщенной дочери и казненнаго отца, то вѣ-

роятно никто бы не осмѣлился послѣ него коснуться сего ужаснаго предмета».

Этотъ-то именно «ужасный предметъ» и заинтересовалъ Пушкина. Ближайшую причину, вызвавшую появленіе «Полтавы», указываетъ самъ поэтъ. «Прочитавъ въ первый разъ стихи:

Жену страдальца Кочубея
И обольщенную имъ дочь...

я изумился, какъ могъ поэтъ пройти мимо столь страшнаго обстоятельства. Обременять вымышленными ужасами историческіе характеры—и не мудрено, и не великодушно. Клевета и въ поэмахъ всегда казалась мнѣ непохвальною. Но въ описаніи Мазепы пропустить столь разительную черту было непростительно».

Приведенный Пушкинымъ отрывокъ, упоминающій о женѣ и дочери Кочубея, взятъ изъ поэмы Рылѣева: «Войнаровскій». Въ 1824 году въ «Полярной Звѣздѣ» напечатанъ былъ отрывокъ изъ поэмы Рылѣева. По поводу этого отрывка Пушкинъ писалъ: «Съ Рылѣевымъ мирюсь: *Войнаровскій* полонъ жизни»; «Рылѣева *Войнаровскій* несравненно лучше всѣхъ его «Думъ». Поэтъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ появленія поэмы въ полномъ видѣ: «Жду Полярной Звѣзды съ нетерпѣніемъ; знаешь для чего? для *Войнаровскаго*. Эта поэма нужна была для нашей словесности». Такъ писалъ Пушкинъ и въ письмѣ къ Бестужеву: «Жду съ нетерпѣніемъ *Войнаровскаго* и перешлю ему (Рылѣеву) всѣ мои замѣчанія. Ради Христа, чтобы онъ писалъ, да болѣе, болѣе!» Въ началѣ 1825 года поэма Рылѣева была напечатана. Узнавъ объ этомъ, Пушкинъ писалъ: «*Войнаровскій* мнѣ очень нравится. Мнѣ даже скучно, что его здѣсь нѣтъ у меня». Въ началѣ апрѣля 1825 года поэтъ получилъ наконецъ «Войнаровскаго». Ознакомившись съ полнымъ текстомъ поэмы, онъ, повидимому, нѣсколько измѣнилъ свой взглядъ на произведеніе Рылѣева. Одновременно съ «Войнаровскимъ» появилась въ свѣтъ поэма Козлова: «Чернецъ». Сравнивая двѣ поэмы, Пушкинъ находилъ, что «поэма (Козлова) полна чувства и умнѣе Войнаровскаго, но въ Рылѣевѣ

есть болѣе замашки или размашки въ слогѣ». Въ этомъ отзывѣ вмѣстѣ съ одобреніемъ слышится какое-то недовольство. На это же недовольство указываютъ и тѣ «замѣчанія на Войнаровскаго», которыя набросаны были Пушкинымъ и пересланы къ Рылѣеву.

Замѣтка о «Полтавѣ» объясняетъ намъ причину недовольства, раскрываетъ намъ тотъ недочетъ, который находилъ Пушкинъ въ поэмѣ Рылѣева. Авторъ «Войнаровскаго» пропустилъ въ описаніи «Мазепы» такую «разительную черту», какъ отношенія стараго гетмана къ дочери Кочубея. Въ поэмѣ Рылѣева Пушкина не удовлетворяло изображеніе Мазепы, какъ «историческаго характера».

Это послѣднее замѣчаніе объясняетъ намъ и тотъ живой интересъ, съ какимъ ожидалъ Пушкинъ окончанія «Войнаровскаго», и ту быстроту, съ какой написана «Полтава». По словамъ поэта, «Полтава» написана имъ въ «нѣсколько дней». Очевидно, что судьба Мазепы, его образъ, покрытый «глубокой трагической тѣнью», настойчиво тревожили воображеніе великаго поэта; очевидно также, что въ то время, когда Пушкинъ съ такимъ нетерпѣніемъ ожидалъ «Войнаровскаго», онъ уже работалъ надъ изученіемъ интересовавшаго его «историческаго характера». Появленіе поэмы Рылѣева дало только послѣдній толчокъ къ окончательной обработкѣ, къ художественному воплощенію того образа, который сложился въ сознаніи поэта, какъ плодъ историческихъ изученій и поэтической мысли. Этотъ Пушкинскій Мазепа, тотъ Мазепа, котораго поэтъ не нашелъ въ разсказѣ Рылѣева, выступаетъ передъ нами въ «Полтавѣ» ярко освѣщенный творческой мыслью великаго таланта.

Я не люблю сердецъ холодныхъ:
Они враги родной странѣ.
Враги священной старинѣ,
Ничто имъ бремя бѣдъ народныхъ;
Имъ чувствъ высокихъ не дано,

Въ нихъ нѣтъ огня душевной силы;
Отъ колыбели до могилы
Имъ пресмыкаться суждено.
Ты не таковъ — я это вижу;
Но чувствъ твоихъ я не унижу,
Сказавъ, что родину мою
Я болѣе, чѣмъ ты, люблю.
Какъ должно юному герою,
Любя страну своихъ отцовъ,
Женой, дѣтями и собою
Ты ей пожертвовать готовъ...
Но я, но я пылая местью,
Ее спасая отъ оковъ,
Я жертвовать готовъ ей — честью.

Такъ говоритъ въ поэмѣ Рылѣева Мазепа, обращаясь къ Войнаровскому. Сопоставимъ съ этой рѣчью гетмана воспоминанія о немъ Войнаровскаго.

Онъ приковалъ къ себѣ сердца:
Мы въ немъ главу народа чтили,
Мы обожали въ немъ отца,
Мы въ немъ отечество любили.
Не знаю я, хотѣлъ ли онъ
Спасти отъ бѣдъ народъ Украйны,
Иль въ ней себѣ воздвигнуть тронъ, —
Мнѣ гетманъ не открылъ сей тайны.
Ко нраву хитраго вождя
Успѣлъ я въ десять лѣтъ привыкнуть;
Но никогда не въ силахъ я
Былъ замысловъ его проникнуть.
Онъ скрытенъ былъ отъ юныхъ дней,
И странникъ, повторю: не знаю,
Что въ глубинѣ души своей

Готовилъ онъ родному краю.
Но знаю то, что, затая
Любовь, родство и гласъ природы,
Его сразилъ бы первый я,
Когда бъ онъ сталъ врагомъ свободы.

Итакъ, Мазепа — «хитрый вождь»; онъ «скрытенъ былъ отъ юныхъ дней». Что же скрывалъ Мазепа? Былъ ли онъ искренній патріотъ, или только хитрый и ловкій честолюбецъ? Войнаровскій не рѣшается дать отвѣта на этотъ вопросъ. Не даетъ отвѣта и авторъ поэмы. Образъ стараго гетмана остается такимъ образомъ неопредѣленнымъ, неяснымъ.

У Пушкина неопредѣленности нѣтъ. Характеръ Мазепы обрисованъ съ поразительной ясностью. «Какой отвратительный предметъ! — говоритъ поэтъ въ замѣткѣ о своей «Полтавѣ». Ни одного добраго, благосклоннаго чувства! Ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость». Въ поэмѣ эти черты Мазепы выясняются еще опредѣленнѣе. Гетманъ скрытенъ и коваренъ.

Кто снидетъ въ глубину морскую,
Покрытую недвижно льдомъ?
Кто испытующимъ умомъ
Проникнетъ бездну роковую
Души коварной? Думы въ ней,
Плоды подавленныхъ страстей,
Лежатъ погружены глубоко.
И замыселъ давнишнихъ дней,
Быть можетъ, зрѣетъ одиноко.
Какъ знать? Но чѣмъ Мазепа злѣй,
Чѣмъ сердце въ немъ хитрѣй и ложнѣй,
Тѣмъ съ виду онъ неосторожнѣй
И въ обхожденіи простѣй.

Эта двойственность образа Мазепы, эта рѣзкая противопо-

ложность затаеннаго зла и кажущейся привлекательности придаетъ коварству стараго гетмана какой-то демоническій колоритъ. Мазепа золъ, какъ темный геній, но онъ умѣетъ очаровывать, умѣетъ соблазнять, какъ демонъ-искуситель.

Какъ онъ умѣетъ самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужія тайны разрѣшать!
Съ какой довѣрчивостью лживой,
Какъ добродушно на пирахъ
Со старцами старикъ болтливый
Жалѣетъ онъ о прошлыхъ дняхъ,
Свободу славитъ съ своевольнымъ,
Поноситъ власти съ недовольнымъ,
Съ ожесточеннымъ слезы льетъ,
Съ глупцомъ разумну рѣчь ведетъ!

Всѣ, имѣвшіе случай сблизиться съ Мазепой, испытывали на себѣ его неотразимое вліяніе. Такъ было съ Кочубеемъ:

Предъ Кочубеемъ гетманъ скрытный
Души мятежной, ненасытной
Отчасти бездну открывалъ
И о грядущихъ измѣненьяхъ,
Переговорахъ, возмущеньяхъ
Въ рѣчахъ неясныхъ намекалъ.
Такъ было сердце Кочубея
Въ то время предано ему...

Еще сильнѣе почувствовала на себѣ эту силу соблазна несчастная дочь Кочубея. Припомнимъ трогательное обращеніе поэта къ «красѣ черкасскихъ дочерей».

Какой же властью непонятной
Къ душѣ свирѣпой и развратной
Такъ сильно ты привлечена?
Кому ты въ жертву отдана?
Его кудрявыя сѣдины,
Его глубокія морщины,
Его блестящій, впалый взоръ,
Его лукавый разговоръ
Тебѣ всего, всего дороже:
Ты мать забыть для нихъ могла,
Соблазномъ постланное ложе
Ты отчей сѣни предпочла!
Своими чудными очами
Тебя старикъ заворожилъ,
Своими чудными рѣчами
Въ тебѣ онъ совѣсть усыпилъ;
Ты на него съ благоговѣньемъ
Возводишь ослѣпленный взоръ,
Его лелѣешь съ умиленьемъ;
Тебѣ пріятенъ твой позоръ,
Ты имъ въ безумномъ упоеньи
Какъ цѣломудріемъ горда;
Ты прелесть нѣжную стыда
Въ своемъ утратила паденьи...

Не избѣжали чаръ Мазепы даже геніальный Петръ и его умные сотрудники:

Ему,
Врагу Россіи, самому
Вельможи русскіе послали
Въ Полтавѣ писанный доносъ
И вмѣсто праведныхъ угрозъ,
Какъ жертвѣ, ласки расточали;
И озабоченный войной,

Гнушаясь мнимой клеветой,
Доносъ оставя безъ вниманья,
Самъ царь Іуду утѣшалъ
И злобу шумомъ наказанья
Смирить надолго обѣщалъ!

Кочубей и Искра казнены по приказанію царя.

Кто такъ осторожно и искусно добивается исполненія своихъ желаній, кто такъ спокойно и обдуманно пользуется своей чарующей силой, тотъ, очевидно, склоненъ смотрѣть на людей, какъ на орудія своей воли, какъ на средства для достиженія своихъ стремленій. Для него дорого, значительно и цѣнно только то, что такъ или иначе связано съ его неограниченнымъ самолюбіемъ, съ его властолюбивыми замыслами. Все, что не отвѣчаетъ интересамъ Мазепы, все что ему мѣшаетъ, должно быть устранено, должно быть принесено въ жертву ему, его самодовлѣющему эгоизму. Надъ этими жертвами, надъ ихъ страданіями Мазепа не задумывается.

Не многимъ, можетъ быть, извѣстно,
Что духъ его неукротимъ,
Что радъ и честно и безчестно
Вредить онъ недругамъ своимъ,
Что ни единой онъ обиды
Съ тѣхъ поръ, какъ живъ, не забывалъ,
Что далеко преступны виды
Старикъ надменный простиралъ.
Что онъ не вѣдаетъ святыни,
Что онъ не помнитъ благостыни,
Что онъ не любитъ ничего,
Что кровь готовъ онъ лить, какъ воду,
Что презираетъ онъ свободу,
Что нѣтъ отчизны для него.
«Умретъ безумный Кочубей;
Спасти нельзя его. Чѣмъ ближе

Цѣль гетмана, тѣмъ тверже онъ
Быть долженъ властью облеченъ;
Тѣмъ передъ нимъ склоняться ниже
Должна вражда. Спасенья нѣтъ:
Доносчикъ и его клевретъ
Умрутъ».

Отчизна для Мазепы—такое же средство для удовлетворенія властолюбивыхъ вожделѣній, какъ и отдѣльные люди.

Не ужасаемый ничѣмъ,
Мазепа козни продолжаетъ,
Съ нимъ полномощный езуитъ
Мятежъ народный учреждаетъ
И шаткій тронъ ему сулитъ.

О тронѣ говоритъ и самъ Мазепа, открывая свои думы преданной Маріи:

Борьбы великой близокъ часъ.
Безъ милой вольности и славы
Склоняли долго мы главы
Подъ покровительствомъ Варшавы,
Подъ самовластіемъ Москвы.
Но независимой державой
Украйнѣ быть уже пора —
И знамя вольности кровавой
Я подымаю на Петра.
Готово все: въ переговорахъ
Со мною оба короля
И скоро въ смутахъ, въ бранныхъ спорахъ,
Быть можетъ, тронъ воздвигну я.

Влюбленная Марія съ восторгомъ раздѣляетъ эту мечту Мазепы:

О, милый мой,
Ты будешь царь земли родной!
Твоимъ сѣдинамъ какъ пристанетъ
Корона царская!

Но тѣхъ, кто шелъ за Мазепой, какъ за народнымъ вождемъ, не порадовала бы, конечно, эта мечта о тронѣ и коронѣ. Они не пошли бы за мнимымъ вождемъ, если бы знали его тайныя властолюбивыя думы.

Мазепа Пушкина—великая психическая сила, но сила, замкнувшаяся въ какомъ-то несчастномъ самообожаніи, не различающая, не умѣющая или не желающая различать добра и зла, сила подчиняющая высшія нравственныя отношенія интересамъ личнаго блага,—сила, проявляющая свою энергію внѣ предѣловъ, очерчиваемыхъ требованіямъ этическаго сознанія.

Пушкинъ, по его словамъ, написалъ «Полтаву» «въ нѣсколько дней». Эта быстрота работы, это одушевленіе, съ которымъ начата и окончена была поэма, ясно указываютъ на то, что поэтъ работалъ надъ хорошо ему знакомымъ матеріаломъ, рѣшалъ интересную задачу, надъ которой уже останавливалась его мысль.

Вдумываясь въ развитіе творческой мысли нашего великаго поэта, останавливаясь на тѣхъ образахъ, въ которыхъ воплощалась эта мысль, мы можемъ, кажется, угадать причину того одушевленія, съ какимъ написана «Полтава». Выслушаемъ исповѣдь самого поэта:

Въ тѣ дни, когда мнѣ были новы
Всѣ впечатлѣнья бытія —
И взоры дѣвъ, и шумъ дубровы,
И ночью пѣнье соловья;
Когда возвышенныя чувства,
Свобода, слава и любовь,
И вдохновенныя искусства
Такъ сильно волновали кровь:
Часы надеждъ и наслажденій

Тоской внезапной осѣня,
Тогда какой-то злобный геній
Сталъ тайно навѣщать меня.
Печальны были наши встрѣчи.
Его улыбка, чудный взглядъ,
Его язвительныя рѣчи
Вливали въ душу хладный ядъ.
Неистощимой клеветою
Онъ провидѣнье искушалъ;
Онъ звалъ прекрасное мечтою,
Онъ вдохновенье презиралъ;
Не вѣрилъ онъ любви, свободѣ,
На жизнь насмѣшливо глядѣлъ —
И ничего во всей природѣ
Благословить онъ не хотѣлъ.
Я видѣлъ міръ его глазами.
Онъ обѣщалъ...
Истолковать мнѣ все творенье
И разгадать добро и зло.
Непостижимое волненье
Меня къ лукавому влекло...

Пушкинъ долго и настойчиво боролся съ этимъ хитрымъ и злымъ искусителемъ, боролся и побѣдилъ—побѣдилъ, по крайней мѣрѣ, въ поэтическомъ сознаніи. Слѣды этой борьбы и этой побѣды, слѣды этого торжества надъ врагомъ легко отыскиваются въ цѣломъ рядѣ произведеній нашего поэта. Такая именно побѣдная пѣснь надъ злобнымъ геніемъ звучитъ въ словахъ стараго цыгана, обращенныхъ къ Алеко:

«Оставь насъ, гордый человѣкъ!
Мы дики, нѣтъ у насъ законовъ!
Мы не терзаемъ, не казнимъ,
Не нужно крови намъ и стоновъ,
Но жить съ убійцей не хотимъ.

Ты не рожденъ для дикой доли,
Ты для себя лишь хочешь воли;
Ужасенъ намъ твой будетъ гласъ:
Мы робки, и добры душою,
Ты золъ и смѣлъ — оставь же насъ;
Прости! да будетъ миръ съ тобою».

Отголоски той же борьбы слышатся въ рядѣ замѣтокъ, разсѣянныхъ въ «Онѣгинѣ». Припомнимъ XIV строфу второй главы этого романа:

Всѣ предразсудки истребя,
Мы почитаемъ всѣхъ нулями,
А единицами себя:
Мы всѣ глядимъ въ Наполеоны;
Двуногихъ тварей милліоны
Для насъ орудіе одно;
Намъ чувство дико и смѣшно.

Онѣгинъ еще лучше другихъ: онъ правда «презиралъ людей».

Но правилъ нѣтъ безъ исключеній:
Иныхъ онъ отличалъ
И вчужѣ чувство уважалъ.
Не посвящалъ друзей въ шпіоны,
Не думалъ, что добро, законы,
Любовь къ отечеству, права
(Лишь только) звучныя слова.

Онѣгинъ

Издавна чтенье разлюбилъ;
Однакожъ нѣсколько твореній
Онъ изъ опалы исключилъ:
Пѣвца Гяура и Жуана,
Да съ нимъ еще два-три романа,

Въ которыхъ отразился вѣкъ
И современный человѣкъ
Изображенъ довольно вѣрно
Съ его безнравственной душой,
Себялюбивой и сухой,
Мечтанью преданной безмѣрно,
Съ его озлобленнымъ умомъ,
Кипящимъ въ дѣйствіи пустомъ.

Въ произведеніяхъ пѣвца Гяура и Жуана «современный человѣкъ» отразился съ такими же чертами, какъ и въ этихъ романахъ:

Лордъ Байронъ прихотью удачной
Облекъ въ унылый романтизмъ
И безнадежный эгоизмъ.

Припомнимъ еще проникнутое глубокой ироніей обращеніе поэта къ читателю въ XXII строфѣ четвертой главы «Онѣгина»:

Кого жъ любить? Кому же вѣрить?
Кто не измѣнитъ намъ одинъ?
Кто всѣ дѣла, всѣ рѣчи мѣритъ
Услужливо на нашъ аршинъ?
Кто клеветы про насъ не сѣетъ?
Кто насъ заботливо лелѣетъ?
Кому порокъ нашъ не бѣда?
Кто не наскучитъ никогда?
Призрака суетный искатель,
Трудовъ напрасно не губя,
Любите самого себя,
Достопочтенный мой читатель!
Предметъ достойный: ничего
Любезнѣй вѣрно нѣтъ его.

Къ 1831 году относится отрывокъ повѣсти изъ петербург-

ской жизни, оставшейся неоконченною. Главное дѣйствующее лицо этой повѣсти Минскій — такой именно «современный человѣкъ», какимъ его изображаетъ Пушкинъ въ «Онѣгинѣ». «Въ первой молодости Минскій порочнымъ своимъ поведеніемъ заслужилъ порицаніе свѣта, который наказалъ его клеветою. Минскій оставилъ его, притворясь равнодушнымъ. Страсти на время заглушили въ его сердцѣ угрызенія самолюбія; но, усмиренный опытами, явился онъ вновь на сцену общества и принесъ ему уже не пылкость неосторожной своей юности, но снисходительность и благопристойность эгоизма. Онъ не любилъ свѣта, но не презиралъ, ибо зналъ необходимость его одобренія. Со всѣмъ тѣмъ, уважая вообще, онъ не щадилъ его въ особенности, и каждаго члена его готовъ былъ принести въ жертву своему злопамятному самолюбію». Минскій узнаетъ, что онъ любимъ. «Самолюбіе его было тронуто; не полагая, чтобъ легкомысліе могло быть соединено съ сильными страстями, онъ предвидѣлъ связь безъ всякихъ важныхъ послѣдствій, лишнюю женщину въ спискѣ вѣтренныхъ своихъ любовницъ, и хладнокровно обдумывалъ свою побѣду. Вѣроятно, еслибъ онъ могъ вообразить бури, его ожидающія, то отказался бы отъ своего торжества, ибо свѣтскій человѣкъ легко жертвуетъ своими наслажденіями и даже тщеславіемъ — лѣни и благоприличію».

Родня Минскому и несчастный Германнъ, появляющійся въ повѣсти «Пиковая дама». Одинъ изъ пріятелей Германна полу-шутя, полу-серьезно отзывается о немъ такъ: «лицо истинно романическое: у него профиль Наполеона, а душа Мефистофеля. Я думаю, что на его совѣсти по крайней мѣрѣ три злодѣйства».

Но вѣдь холодный, безнадежный эгоизмъ — совсѣмъ не новость, не открытіе XIX вѣка. При своихъ историческихъ изученіяхъ нашъ поэтъ встрѣтился съ такимъ типически-безнадежнымъ эгоистомъ, съ такой «безнравственной душой, себялюбивой и сухой», какой не отказался бы позавидовать и «современный человѣкъ». Эгоисты стараго времени были даже сильнѣе своихъ потомковъ; имъ была чужда та разочарованность, та внутренняя

разорванность, которыя убивали энергію людей, умъ которыхъ кипѣлъ лишь въ дѣйствіи пустомъ. Размахъ этихъ сильныхъ людей минувшей поры былъ шире, ихъ энергія не знала устали. Таковъ именно Мазепа:

Въ немъ не слабѣетъ воля злая,
Неутомимъ преступный жаръ.

На широкомъ фонѣ крупныхъ историческихъ событій поэтъ нашелъ полный просторъ для свободнаго и яркаго изображенія хорошо знакомаго ему психологическаго типа. И нужно сказать, что Пушкинъ высказался здѣсь полно, безъ недомолвокъ и сомнѣній. Рисуя портретъ Мазепы, поэтъ не берегъ черной краски. «Мазепа не вѣдаетъ святыни», «не помнитъ благостыни», «не любитъ ничего», «готовъ лить кровь, какъ воду», онъ «презираетъ свободу» для него «нѣтъ отчизны». Душа Мазепы — душа «свирѣпая и развратная». Въ этой душѣ

проходятъ думы
Одна другой мрачнѣй, мрачнѣй...

Поэтъ не могъ, повидимому, говорить спокойно о Мазепѣ: «Какой отвратительный предметъ! Ни одного добраго, благосклоннаго чувства! Ни одной утѣшительной черты! Соблазнъ, вражда, измѣна, лукавство, малодушіе, свирѣпость... Сильные характеры и глубокая трагическая тѣнь, набросанная на всѣ эти ужасы—вотъ что́ увлекло меня. Полтаву написалъ я въ нѣсколько дней, далѣе не могъ бы ею заниматься и бросилъ бы все». Это раздраженіе, это волненіе чувства при поэтическомъ воспроизведеніи характера Мазепы остались бы для насъ не вполнѣ понятными, если бы мы не припомнили «искушеніе» поэта, его борьбу съ злымъ геніемъ. Въ характерѣ и дѣйствіяхъ Мазепы Пушкинъ нашелъ что-то напоминавшее «язвительныя рѣчи» его демона, нашелъ знакомое настроеніе мысли и чувства. Это настроеніе было пережито и отвергнуто поэтомъ, но онъ продолжалъ бороться съ нимъ, какъ съ болѣзнью вѣка.

Петръ Великій, какъ его изображаетъ Пушкинъ въ «Полтавѣ» и въ другихъ произведеніяхъ—нравственная антитеза Мазепы.

И Мазепа и Петръ—своего рода чародѣи. Гетманъ

умѣетъ самовластно
Сердца привлечь и разгадать,
Умами править безопасно,
Чужія тайны разрѣшать.

Секретъ этихъ чаръ—ловкій, хитрый обманъ. Обманъ однако раскрывается. Расходится по воздуху дымъ выстрѣловъ Полтавской битвы, разсѣиваются вмѣстѣ съ нимъ и замыслы гордаго хитреца. Онъ бѣжитъ отъ преслѣдованій грознаго противника, покидаетъ родину, умираетъ на чужбинѣ.

И тщетно тамъ пришлецъ унылый
Искалъ бы гетманской могилы:
Забытъ Мазепа съ давнихъ поръ.

Не такова судьба другого чародѣя. Основа его волшебства иная: не обманъ, а *правда:*

Начало славныхъ дней Петра
Мрачили мятежи и казни,
Но правдой онъ привлекъ сердца.

Въ чемъ же выражалась эта привлекательная правда? Мазепа «ни единой обиды съ тѣхъ поръ, какъ живъ, не забывалъ». Не таковъ Петръ. Онъ «памятью незлобенъ», онъ

прощенье торжествуетъ,
Какъ побѣду надъ врагомъ.

Для Мазепы «нѣтъ отчизны». Онъ примыкаетъ къ народному движенію, но примыкаетъ лишь потому, что съ этимъ движеніемъ

связывались его себялюбивые расчеты, его властолюбивые замыслы. Если-бъ не было этихъ расчетовъ и этихъ замысловъ, Мазепа остался бы, конечно, совершенно равнодушнымъ къ затѣямъ «друзей кровавой старины». Не такіе замыслы и не такія чувства находимъ у Петра. Онъ

Не презиралъ страны родной:
Онъ зналъ ея предназначенье.

Въ «Полтавѣ» поэтъ гораздо больше говоритъ о Мазепѣ чѣмъ объ его великомъ противникѣ, который появляется передъ нами лишь въ послѣдней главѣ поэмы. Мы выслушиваемъ разговоры Мазепы съ Орликомъ, съ Маріей; Петръ произноситъ въ поэмѣ только четыре слова: «За дѣло съ Богомъ»! Но для пониманія Пушкинскаго Петра намъ и не нужно обстоятельныхъ разъясненій и продолжительныхъ бесѣдъ. Мазепа и дѣло, въ которомъ онъ принимаетъ участіе, не связаны союзомъ нравственной необходимости. Петръ — весь въ своемъ дѣлѣ. Его интересовъ нельзя отдѣлить отъ его заботъ объ общемъ благѣ, отъ всего того, что признаетъ нужнымъ и полезнымъ для родной земли этотъ «вѣчный работникъ съ всеобъемлющей душой». Изобразить дѣло, которымъ занятъ такой работникъ, значитъ изобразить его самого. Пушкинъ такъ и сдѣлалъ. Петръ появляется лишь въ концѣ поэмы, но его присутствіе, его центральное положеніе въ величаво развертывающейся исторической картинѣ чувствуется въ продолженіе всей поэмы. Мазепа хитритъ и строитъ козни, сѣетъ смуту, вступаетъ въ сношенія съ врагами Руси. Зачѣмъ? Цѣль всѣхъ этихъ сложныхъ затѣй — Петръ, борьба съ Петромъ.

Давно рѣшилась непреложно
Моя судьба. Давно горю
Стѣсненной злобой. Подъ Азовомъ
Однажды я съ царемъ суровымъ
Во ставкѣ ночью пировалъ.

Полны виномъ кипѣли чаши,
Кипѣли съ ними рѣчи наши.
Я слово смѣлое сказалъ.
Смутились гости молодые.
Царь, вспыхнувъ, чашу уронилъ
И за усы мои сѣдые
Меня съ угрозой ухватилъ.
Тогда, смирясь въ безсильномъ гнѣвѣ,
Отмстить себѣ я клятву далъ;
Носилъ ее — какъ мать во чревѣ
Младенца носитъ. Срокъ насталъ.
Такъ, обо мнѣ воспоминанье
Хранить онъ будетъ до конца.
Петру я посланъ въ наказанье;
Я тернъ въ листахъ его вѣнца.
Онъ далъ бы грады родовые
И жизни лучшіе часы,
Чтобъ снова, какъ во дни былые,
Держать Мазепу за усы.

Петръ долго не замѣчалъ притворства Мазепы. Онъ продолжалъ довѣрять гетману даже послѣ доноса Кочубея. Въ этой довѣрчивости, не допускающей мысли объ обманѣ и интригѣ, въ отсутствіи подозрительности обнаруживается та черта великаго человѣка, которую Пушкинъ называлъ простодушіемъ генія. «Тонкость не доказываетъ еще ума. Глупцы и даже сумасшедшіе бываютъ удивительно тонки. Прибавить можно, что тонкость рѣдко соединяется съ геніемъ, обыкновенно простодушнымъ, и съ великимъ характеромъ, всегда откровеннымъ».

Пушкину нравилось отыскивать у великихъ людей эту простодушную откровенность. Онъ находилъ ее даже у Наполеона. Въ отрывкѣ повѣсти, связанной по содержанію съ «Египетскими ночами», передается анекдотъ о встрѣчѣ Наполеона съ г-жей Сталь. «Баронъ Д.», на дурномъ французскомъ языкѣ, очень

дурно разсказывалъ извѣстный анекдотъ—вопросъ ея Бонапарту: «кого почитаетъ онъ первою женщиною въ свѣтѣ», и забавный его отвѣтъ: «ту, которая народила болѣе дѣтей — celle, qui a fait le plus d'enfants».

— Какая славная эпиграмма!—замѣтилъ одинъ изъ гостей.

— И по дѣломъ ей,—сказала одна дама.—Какъ можно такъ неловко напрашиваться на комплименты.

— А мнѣ такъ кажется — сказалъ Сорохтинъ, дремавшій въ гамбсовыхъ креслахъ, — мнѣ такъ кажется, что ни m-me de Staël не думала о мадригалѣ, ни Наполеонъ объ эпиграммѣ. Одна сдѣлала вопросъ изъ единаго любопытства, очень понятнаго, а Наполеонъ буквально выразилъ настоящее свое мнѣніе. Но вы не вѣрите простодушію геніевъ».

Съ особенной яркостью эта черта простодушія проявляется въ характерѣ геніальнаго композитора, изображеннаго Пушкинымъ въ сценахъ: «Моцартъ и Сальери». Моцартъ весело смѣется, когда слѣпой скрипачъ уродливо передаетъ его пьесу; съ полной искренностью онъ высказываетъ Сальери свое завѣтное убѣжденіе: «геній и злодѣйство — двѣ вещи несовмѣстныя». Онъ и не подозрѣваетъ, какую муку вызовутъ въ душѣ Сальери эти простыя слова:

...ужель онъ правъ
И я не геній? Геній и злодѣйство—
Двѣ вещи несовмѣстныя. Неправда:
А Бонаротти?.. Или это сказка
Тупой безсмысленной толпы — и не былъ
Убійцею создатель Ватикана?

Сальери не лишенъ таланта, но онъ не геній, у него нѣтъ и простодушія генія. Имъ овладѣваетъ зависть, глубокая, мучительная зависть:

Кто скажетъ, чтобъ Сальери гордый былъ
Когда-нибудь завистникомъ презрѣннымъ,

Змѣей, людьми растоптанною, вживѣ
Песокъ и пыль грызущею безсильно?
Никто!.. А нынѣ—самъ скажу—я нынѣ
Завистникъ! Я завидую: глубоко,
Мучительно завидую.—О небо!
Гдѣ жъ правота, когда священный даръ,
Когда безсмертный геній не въ награду
Любви горящей, самоотверженья,
Трудовъ усердія, моленій посланъ,
А озаряетъ голову безумца,
Гуляки празднаго?.. О Моцартъ, Моцартъ!

Сальери старается убѣдить себя, что Моцартъ — врагъ искусства, врагъ и его, жреца искусства:

Нѣтъ! не могу противиться я долѣ
Судьбѣ моей: я избранъ, чтобъ его
Остановить, не то мы всѣ погибли.
Мы всѣ, жрецы, служители музыки,
Не я одинъ съ моей глухою славой...
Что пользы, если Моцартъ будетъ живъ
И новой высоты еще достигнетъ?
Подыметъ ли онъ тѣмъ искусство? Нѣтъ!
Оно падетъ опять, какъ онъ исчезнетъ!
Наслѣдника намъ не оставитъ онъ.
Что пользы въ немъ? Какъ нѣкій херувимъ,
Онъ нѣсколько занесъ намъ пѣсенъ райскихъ,
Чтобъ, возмутивъ безкрылое желанье
Въ насъ, чадахъ праха, послѣ улетѣть!
Такъ улетай же! чѣмъ скорѣй, тѣмъ лучше!

Mutatis mutandis, во взаимныхъ отношеніяхъ Моцарта и Сальери есть нѣкоторое сходство съ отношеніями Петра и Мазепы, но развязка этихъ отношеній иная: въ «Полтавѣ» гибнетъ хитрый злодѣй, въ «Моцартѣ и Сальери»—простодушный геній.

Моцартъ, уже выпившій отравленное вино, садится къ фортепіано и знакомитъ Сальери со своимъ послѣднимъ музыкальнымъ созданіемъ:

Онъ самъ играетъ свой Requiem.

Слушай же Сальери,
Мой Requiem.
[Играетъ]
Ты плачешь?

САЛЬЕРИ.

Эти слезы
Впервые лью: и больно и пріятно,
Какъ будто тяжкій совершилъ я долгъ,
Какъ будто ножъ цѣлебный мнѣ отсѣкъ
Страдавшій членъ! Другъ Моцартъ, эти слезы..
Не замѣчай ихъ. Продолжай, спѣши
Еще наполнить звуками мнѣ душу...

Въ «Полтавѣ» торжествуютъ правда и геній, но и эта поэма заключается грустной думой:

Прошло сто лѣтъ—и что жъ осталось
Отъ сильныхъ, гордыхъ сихъ мужей,
Столь полныхъ волею страстей?
Ихъ поколѣнье миновалось
И съ нимъ исчезъ кровавый слѣдъ
Насилій, бѣдствій и побѣдъ.

Спустя пять лѣтъ послѣ того, какъ написаны были эти строки, мысль поэта снова обратилась къ воспоминаніямъ о Петрѣ. Кто не знаетъ этихъ воспоминаній?

На берегу пустынныхъ волнъ
Стоялъ Онъ, думъ великихъ полнъ,
И вдаль глядѣлъ...

Воспоминанія переходятъ въ описаніе «Петрова града» и заканчиваются строками, которыя звучатъ какъ своего рода Requiem, посвященный памяти основателя сѣверной столицы:

Вражду и плѣнъ старинный свой
Пусть волны Финскія забудутъ
И тщетной злобою не будутъ
Тревожить вѣчный сонъ Петра!

Повѣсть «Мѣдный Всадникъ», изъ которой взяты эти строки, дошла до насъ не въ томъ видѣ, въ какомъ первоначально была задумана авторомъ. Доказательствомъ служитъ «Родословная моего героя», названная поэтомъ «отрывкомъ изъ сатирической поэмы». По первоначальному замыслу этотъ отрывокъ составлялъ лишь часть «Петербургской повѣсти» о несчастномъ чиновникѣ, потерявшемъ свою невѣсту. Такое раздвоеніе поэтическаго замысла придаетъ изображенію «Мѣднаго Всадника» нѣкоторую неопредѣленность, заставляетъ предполагать, что въ поэмѣ есть что-то недосказанное, какія-то недомолвки и пропуски...

Въ той же черновой тетради, въ которой находится набросокъ «Мѣднаго Всадника», выписано Пушкинымъ стихотвореніе Мицкевича: Pomnik Piotra Wielkiego. Мицкевичъ разсказываетъ въ этомъ стихотвореніи о бесѣдѣ двухъ молодыхъ людей: одинъ изъ нихъ—пилигримъ, выходецъ съ Запада, другой—вѣщій пѣвецъ русскаго народа, т. е. одинъ—самъ Мицкевичъ, другой — Пушкинъ. Польскій поэтъ передаетъ мысли, высказанныя будто бы Пушкинымъ по поводу памятника Петра. «Царь Петръ отпустилъ бразды лошади. Видно, летѣлъ онъ, топча все на пути. Сразу вскочилъ онъ на самый край скалы. Бѣшеный конь уже приподнялъ копыта, царемъ не удерживаемый, конь скрежещетъ, кусая удила. Чувствуешь, что онъ полетитъ и разобьется вдребезги». Поэтъ сравниваетъ положеніе «Мѣднаго Всадника» съ замерзшимъ горнымъ потокомъ, который растаетъ и рухнетъ, когда проглянетъ солнце, подуетъ теплый вѣтеръ. Стихотвореніе

Мицкевича, извѣстное Пушкину, передававшее замѣчанія, будто бы высказанныя русскимъ поэтомъ, давало поводъ къ предположенію, что въ этихъ именно замѣчаніяхъ и слѣдуетъ искать основной мысли первоначальнаго замысла «Мѣднаго Всадника». Предположеніе безспорно невѣроятное. Глубокій знатокъ польской литературы вообще и поэзіи Мицкевича въ особенности, В. Д. Спасовичъ вполнѣ, конечно, основательно утверждаетъ, что въ замѣчаніяхъ, приписанныхъ Мицкевичемъ Пушкину, слѣдуетъ видѣть выраженіе мысли не русскаго, а польскаго поэта. «Бѣшеный конь, кусающій удила, застывшій водопадъ, повисшій надъ пропастью— это вѣдь сама Россія. Не могъ допустить русскій патріотъ, что этотъ конь разлетится вдребезги; что весь каскадъ растаетъ; что весь періодъ реформъ Петра долженъ быть признанъ недѣйствительнымъ, не бывшимъ, долженъ быть вычеркнутъ изъ исторіи; что вся реформа была, такъ сказать, навыворотъ; что, начиная съ бороды и платья, она нисколько не вліяла на улучшеніе нравственности человѣка; что отъ нея останутся однѣ лишь развалины. Такимъ образомъ, слова будто бы пушкинскія, въ произведеніи Мицкевича, суть только выраженіе собственныхъ убѣжденій Мицкевича, и только вслѣдствіе licentia poëtica вложены въ уста Пушкину». Другого рода догадку о первоначальномъ замыслѣ «Мѣднаго Всадника» вызываютъ воспоминанія кн. П. П. Вяземскаго. «Изъ сочиненій Пушкина—говоритъ кн. Вяземскій — неизгладимое впечатлѣніе произвела прочитанная имъ самимъ: «Капитанская дочка» и ненапечатанный монологъ обезумѣвшаго чиновника передъ «Мѣднымъ Всадникомъ». Монологъ этотъ, содержащій около тридцати стиховъ, произвелъ при чтеніи потрясающее впечатлѣніе, и не вѣрится, чтобы онъ не сохранился въ цѣлости. Въ бумагахъ отца моего сохранились многія подлинныя стихотворенія Пушкина и копіи, но монолога не сохранилось, весьма можетъ быть потому, что въ монологѣ слишкомъ энергически звучала ненависть къ европейской цивилизаціи. Мнѣ все кажется, что великолѣпный монологъ таится вслѣдствіе какихъ-либо тенденціозныхъ соображеній, ибо трудно допустить,

чтобы изо всѣхъ людей, слышавшихъ проклятье, никто не попросилъ Пушкина дать списать эти тридцать — сорокъ стиховъ. Я думалъ объ этомъ и не смѣлъ просить, вполнѣ сознавая, что мое юношество не внушаетъ довѣрія. Я помню впечатлѣніе, произведенное на одного изъ слушателей, Арк. О. Россети, и мнѣ какъ будто помнится, онъ увѣрилъ меня, что сниметъ копію для будущаго времени». Нельзя, конечно, отрицать факта, передаваемаго кн. Вяземскимъ, но можно усомниться въ точности его воспоминаній, относящихся къ порѣ ранней молодости почтеннаго писателя. Еще съ бо̀льшимъ правомъ можемъ мы отвергнуть предположеніе, будто бы въ этихъ, не дошедшихъ до насъ стихахъ «Мѣднаго Всадника» выражалась основная мысль поэмы. Если мы остановимся на свидѣтельствахъ Мицкевича и кн. Вяземскаго, если мы попытаемся на основаніи этихъ свидѣтельствъ угадать мысль нашего поэта, то придемъ къ странному, безысходному противорѣчію. По свидѣтельству Мицкевича, взоръ Пушкина обращенъ къ будущему, къ той порѣ, когда взойдетъ солнце, когда подуетъ *западный* вѣтеръ (viatr zachodni ogrzeje te panstwa). По словамъ кн. Вяземскаго, Пушкинъ написалъ длинный монологъ, въ которомъ «энергически звучала ненависть къ европейской цивилизаціи». Мы имѣемъ, кажется, одинаково мало права искать выраженія мысли нашего великаго поэта какъ въ стихотвореніи Мицкевича, такъ и въ не дошедшемъ до насъ монологѣ помѣшаннаго чиновника.

Оставляя въ сторонѣ эти противорѣчивыя предположенія, попытаемся поискать объясненія загадочной поэмы въ замѣткахъ и намекахъ, разбросанныхъ въ сочиненіяхъ самого автора поэмы. Къ сожалѣнію, и здѣсь мы наталкиваемся на такія противорѣчія, которыя на первый взглядъ могутъ показаться непримиримыми. «Мѣдный Всадникъ» связанъ по содержанію съ «Родословной моего героя», а «Родословная» связана въ свою очередь съ соображеніями и замѣтками Пушкина о значеніи сословной родовитости, о Петровской реформѣ, объ общемъ направленіи новѣйшей русской исторіи. Сопоставляя всѣ эти соображенія и за-

мѣтки, убѣждаемся въ поразительномъ колебаніи геніальной мысли.

Въ «Родословной моего героя» читаемъ:

каюсь: новый Ходаковскій,
Люблю отъ бабушки московской
Я толки слушать о роднѣ,
Объ отдаленной старинѣ.
Мнѣ жаль, что нашей славы звуки
Уже намъ чужды; что спроста
Изъ баръ мы лѣземъ въ tiers-état;
Что намъ не въ прокъ пошли науки
И что спасибо намъ за то
Не скажетъ, кажется, никто.

Нельзя не сопоставить съ этимъ отрывкомъ замѣчаній Пушкина о русскомъ среднемъ сословіи. «На кого журналисты наши нападаютъ? Вѣдь не на новое дворянство, получившее свое начало при императорѣ Петрѣ I и императрицахъ и по большей части составляющее нашу знать, истинную, богатую, могущественную аристократію. Pas si bête! Наши журналисты передъ этимъ дворянствомъ вѣжливы до крайности; они нападаютъ именно на старинное дворянство, которое нынѣ, по причинѣ раздробленныхъ имѣній, составляетъ у насъ родъ средняго состоянія, состоянія почтеннаго, трудолюбиваго и просвѣщеннаго; состоянія, къ которому принадлежитъ и большая часть нашихъ литераторовъ».

Эта мысль о среднемъ состояніи очень нравилась нашему поэту. Онъ повторяетъ ее въ «Разговорѣ на раутѣ». «Древнее русское дворянство у насъ въ неизвѣстности и составило родъ третьяго сословія. Благородная чернь, къ которой и я принадлежу, считаетъ между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая наша аристократія съ трудомъ можетъ назвать и своего дѣда. Древніе роды ихъ восходятъ до Петра и

Елисаветы. Денщики, пѣвчіе, хохлы—вотъ ихъ родоначальники, будь сказано не въ укоръ ихъ достоинствамъ». Къ этой аристократической буржуазіи Пушкинъ причислялъ и себя. «Въ одной газетѣ, офиціальной, сказано было, что я — мѣщанинъ во дворянствѣ. Справедливѣе было бы сказать: дворянинъ во мѣщанствѣ. Родъ мой одинъ изъ самыхъ старинныхъ дворянскихъ. Нынѣ огромныя имѣнія Пушкиныхъ раздробились и пришли въ упадокъ; послѣднее родовое имѣніе скоро исчезнетъ; имя ихъ останется честнымъ, единственнымъ достояніемъ темныхъ потомковъ нѣкогда знатнаго боярскаго рода».

Такимъ образомъ оказывается, что Пушкинъ не только самъ «лѣзъ изъ баръ въ tiers-état», но и записывалъ въ это почтенное сословіе всѣхъ потомковъ старо-русскаго барства.

Поэтъ различаетъ два вида русской аристократіи: старое барство и новую знать. Сочувствіе поэта обращено, повидимому, къ старинѣ. Къ новой русской аристократіи Пушкинъ относится съ нескрываемой ироніей:

Понятна мнѣ временъ превратность,
Не прекословлю, право, ей:
У насъ нова рожденьемъ знатность —
И чѣмъ новѣе, тѣмъ знатнѣй.
Родовъ униженныхъ обломокъ,
И, слава Богу, не одинъ,
Бояръ старинныхъ я потомокъ.
Я мѣщанинъ, я мѣщанинъ!
Не торговалъ мой дѣдъ блинами,
Въ князья не прыгалъ изъ хохловъ.
Не пѣлъ на крылосѣ съ дьячками,
Не ваксилъ царскихъ сапоговъ
И не былъ бѣглымъ онъ солдатомъ
Нѣмецкихъ пудреныхъ дружинъ;
Куда жъ мнѣ быть аристократомъ?
Я, слава Богу, мѣщанинъ.

. . . . . .

Подъ гербовой моей печатью
Я свитокъ грамотъ схоронилъ
И, не якшаясь съ новой знатью,
Я, крови спѣсь угомонилъ.

Что такое новая знать? Потомки лицъ, выдвинувшихся не раньше XVIII столѣтія: «древность рода ихъ восходитъ до Петра и до Елисаветы». Родовитый поэтъ не желаетъ «якшаться» съ этой молодой аристократіей. Но такое рѣшительное заявленіе не мѣшало Пушкину съ сочувствіемъ и гордостью говорить о своемъ предкѣ по матери, типичнѣйшемъ представителѣ «новой знати». Припомнимъ Postscriptum къ «Родословной»:

Видокъ Фиглярinъ, сидя дома,
Рѣшилъ, что дѣдъ мой Ганнибалъ
Былъ купленъ за бутылку рома
И въ руки шкиперу попалъ.
Сей шкиперъ былъ тотъ шкиперъ славный,
Кѣмъ наша двинулась земля,
Кто придалъ мощно бѣгъ державный
Кормѣ родного корабля;
Сей шкиперъ дѣду былъ доступенъ,
И сходно купленный арапъ
Возросъ усерденъ, неподкупенъ,
Царю наперсникъ, а не рабъ.
И былъ отецъ онъ Ганнибала,
Предъ кѣмъ, средь гибельныхъ пучинъ,
Громада кораблей всплывала
И палъ впервые Наваринъ.

Пушкинъ пишетъ повѣсть «Арапъ Петра Великаго», собираетъ свѣдѣнія о своей цвѣтной роднѣ, вздыхаетъ *о своей* Африкѣ. Поэтъ, какъ видимъ, не только якшался съ Ганнибалами, но и интересовался ими, гордился родствомъ съ Наваринскимъ ге-

роемъ. Въ 1831 году Пушкинъ начинаетъ романъ въ письмахъ. Герой романа—молодой человѣкъ изъ новой знати, «внукъ бородатаго милліонщика». И что же? Авторъ не изображаетъ этого молодого аристократа чертами отрицательными; напротивъ, онъ окружаетъ его своей симпатіей, дѣлаетъ его выразителемъ своихъ мыслей.

Замѣчается колебаніе и въ сужденіяхъ Пушкина о Петрѣ Великомъ. Въ «Полтавѣ» образъ Петра несомнѣнно идеализованъ. Подобную же идеализацію находимъ и въ такихъ стихотвореніяхъ, какъ «Стансы», «Пиръ Петра Великаго». Но рядомъ съ преклоненіемъ передъ великимъ человѣкомъ, рядомъ съ идеализаціей его нравственнаго характера рано начинаютъ появляться у Пушкина и слѣды иного отношенія къ дѣятельности «Полтавскаго героя». Въ «Историческихъ Замѣчаніяхъ (1822)» читаемъ: «Петръ I не страшился народной свободы, неминуемаго слѣдствія просвѣщенія, ибо довѣрялъ своему могуществу и презиралъ человѣчество, можетъ быть болѣе, чѣмъ Наполеонъ». Мы должны допустить, что это презрѣніе къ человѣчеству уживалось въ душѣ Петра съ любовью къ родной странѣ, потому что онъ, мы знаемъ,

Не презиралъ страны родной,
Онъ зналъ ея предназначенье.

Чувство правды подавляло въ душѣ Петра порывъ оскорбленнаго самолюбія:

И былъ отъ буйнаго стрѣльца
Предъ нимъ отличенъ Долгорукой.

Но случай съ Долгорукимъ не можетъ быть возведенъ въ общее правило:

Съ Петромъ мой пращуръ не поладилъ
И былъ за то повѣшенъ имъ.
Его примѣръ будь намъ наукой:
Не любитъ споровъ властелинъ;

Не всякъ князь Яковъ Долгорукой;
Счастливъ покорный мѣщанинъ.

Изучая эпоху преобразованій, собирая матеріалы для исторіи Петра, Пушкинъ сталъ открывать значительные недочеты въ дѣятельности великаго реформатора. Въ одной изъ историческихъ замѣтокъ, которую поэтъ предполагалъ «внести въ исторію Петра, обдумавъ», читаемъ: «Достойна удивленія разность между государственными учрежденіями Петра Великаго и временными его указами. Первыя суть плоды ума обширнаго, исполненнаго доброжелательства и мудрости; вторые — нерѣдко жестокіе, своенравны и, кажется, писаны кнутомъ. Первыя были для вѣчности или, по крайней мѣрѣ, для будущаго, вторые—вырвались у нетерпѣливаго, самовластнаго помѣщика». Само собою разумѣется, что къ числу недочетовъ преобразовательной эпохи относится и униженіе старыхъ родовъ, возвышеніе новой знати. «Вотъ уже 150 лѣтъ «табель о рангахъ» сметаетъ дворянство въ одну кучу». Смѣшеніе боярства и дворянства казалось Пушкину своего рода революціей. «Въ междуцарствіе могущество аристократіи возросло у насъ до высочайшей степени. Она была наслѣдственная—отселѣ мѣстничество, на которое до сихъ поръ привыкли смотрѣть самымъ дѣтскимъ образомъ. Не Ѳеодоръ, а Языковъ и меньшое дворянство уничтожили мѣстничество и боярство. Съ Ѳеодора и Петра начинается революція въ Россіи, которая продолжается и до сего дня». Пушкинъ привѣтствовалъ законодательный проектъ, въ которомъ, по его мнѣнію, открывалась «контръ-революція революціи Петра» (письмо къ князю Вяземскому отъ 16-го марта 1830 года).

Но для всѣхъ этихъ ясно и опредѣленно высказанныхъ сужденій можно отыскать столь же опредѣленныя и ясныя антитезы. «Если бы гордые замыслы Долгорукихъ совершились — читаемъ въ «Историческихъ замѣчаніяхъ 1822 г.»— то владѣльцы душъ, сильные своими правами, всѣми силами затруднили бъ или даже вовсе уничтожили способы освобожденія людей крѣпостного

состоянія, *ограничили бъ число дворянъ и заградили бъ для прочихъ сословій путь къ достиженію должностей и почестей государственныхъ*». Эта возможность достиженія государственныхъ почестей для лицъ всѣхъ сословій представляется явленіемъ вполнѣ нормальнымъ, не требующимъ какихъ-либо поправокъ. «У насъ въ Россіи государственныя званія находятся въ такомъ равновѣсіи, которое предупреждаетъ всякую ревнивость между ними. Дворянское достоинство въ особенности, кажется, ни въ комъ не можетъ возбуждать непріязненнаго чувства, ибо доступно каждому. Военная и статская служба, чины университетскіе легко выводятъ въ оное людей прочихъ званій. Ежели негодующій на преимущества дворянскія неспособенъ ни къ какой службѣ, ежели онъ не довольно знающъ, чтобы выдержать университетскіе экзамены, жаловаться ему не на что». Замѣчаніе о новой знати въ «Разговорѣ на раутѣ» сопровождается такой оговоркой: «Достоинство — всегда достоинство, и государственная польза требуетъ его возвышенія». Это личное достоинство цѣннѣе, по словамъ поэта, всѣхъ родословныхъ. «Конечно, есть достоинства выше знатности рода — именно достоинства личныя. Имена Минина и Ломоносова вдвоемъ перевѣсятъ всѣ наши старинныя родословныя». Это замѣчаніе *два раза* встрѣчается въ сочиненіяхъ Пушкина: въ «Отрывкахъ изъ романа въ письмахъ» и въ одной изъ критическихъ замѣтокъ («Самъ съѣшь»).

Находимъ у Пушкина еще одно противорѣчіе. Рѣшительный сторонникъ общественнаго прогресса, авторъ злыхъ эпиграммъ, направленныхъ противъ враговъ просвѣтительнаго движенія, Пушкинъ какъ будто измѣняется въ послѣдніе годы своей жизни. Онъ примиряется съ окружающей дѣйствительностью, настраиваетъ свою лиру на хвалебный ладъ. Съ именемъ великаго поэта стали соединять обидное опредѣленіе: «Льстецъ». Поэтъ вынужденъ былъ оправдываться, объяснять истинный смыслъ своей кажущейся лести:

Я льстецъ? Нѣтъ, братья, льстецъ лукавъ:

Онъ горе на царя накличетъ,
Онъ изъ его державныхъ правъ
Одну лишь милость ограничитъ.
Онъ скажетъ: презирай народъ,
Гнети природы голосъ нѣжный!
Онъ скажетъ: просвѣщенья плодъ —
Развратъ и нѣкій духъ мятежный!

Лесть была, дѣйствительно, только кажущаяся. «Я далеко не всѣмъ восторгаюсь, что̀ вижу вокругъ — писалъ Пушкинъ Чаадаеву въ 1836 году; какъ писатель, я раздраженъ, какъ человѣкъ съ предразсудками, я оскорбленъ». Въ концѣ «Отрывковъ изъ романа въ письмахъ» находимъ замѣчательное противопоставленіе той поры, когда написаны отрывки (1831 г.) съ предшествующимъ временемъ: «Выговоры твои совершенно несправедливы. Не я, а ты отсталъ отъ своего вѣка — и цѣлымъ десятилѣтіемъ. Твои умозрительныя и важныя разсужденія принадлежатъ къ 1818 году. Въ то время строгость правилъ и политическая экономія были въ модѣ. Мы являлись на балы, не снимая шпагъ: намъ неприлично было танцовать и некогда заниматься дамами. Честь имѣю донести тебѣ, что это все перемѣнилось. Французская кадриль замѣнила Адама Смита. Всякій волочится какъ умѣетъ. Я слѣдую духу времени, но ты неподвиженъ, ты ci-devant un homme стереотипъ. Охота тебѣ Лафайэтомъ сидѣть одному на оппозиціонной скамеечкѣ и глазѣть по сторонамъ. Надѣюсь, что X* обратитъ тебя на истинный путь: поручаю тебя ея ватиканскому кокетству».

Мысль великаго поэта, насколько она касалась движенія русской исторической жизни XVIII—XIX столѣтій, не успѣла очевидно остановиться на окончательныхъ рѣшеніяхъ, не успѣла найти себѣ точнаго и яснаго выраженія. Къ счастію, поэтъ далъ намъ нѣкоторыя указанія, открывающія возможность угадать тотъ путь, который могъ привести его къ выходу изъ тяжелыхъ и мучительныхъ противорѣчій.

Если мы замѣчаемъ рѣзкія колебанія сильнаго ума, переходъ отъ одного мнѣнія къ другому, ему противоположному, ясно, что ни одно изъ этихъ мнѣній не могло дать полнаго отвѣта на вопросы пытливой мысли; ясно также и то, что въ каждомъ изъ противорѣчивыхъ сужденій были отдѣльные моменты, которые привлекали къ себѣ не установившуюся мысль. Чтобы угадать тотъ путь, который намѣчала эта мысль, искавшая выхода изъ противорѣчій, нужно, очевидно, опредѣлить, какія именно частности, какіе отдѣльные моменты были цѣнны для творческаго ума, что именно привлекало этотъ умъ къ тому или другому направленію мысли.

Остановимся прежде всего на отношеніи Пушкина къ памяти великаго Петра. Мы видѣли величавый и прекрасный образъ героя «Полтавы». Тотъ же прекрасный и величавый образъ героя узнаемъ мы и въ «Мѣдномъ Всадникѣ». Эту «петербургскую повѣсть» можно назвать повѣстью о двухъ мертвецахъ. Одинъ изъ нихъ умираетъ на нашихъ глазахъ, потрясенный крушеніемъ личнаго счастья; другой умеръ еще за сто лѣтъ до той поры, которая изображена въ поэмѣ: онъ появляется лишь въ символическомъ образѣ Мѣднаго Всадника, появляется какъ воспоминаніе, оживающее подъ вліяніемъ встревоженнаго воображенія.

О первомъ изъ своихъ героевъ «молодомъ Евгеніи» поэтъ сообщаетъ такія свѣдѣнія:

Прозванья намъ его не нужно, —
Хотя въ минувши времена
Оно, быть можетъ, и блистало
И подъ перомъ Карамзина
Въ родныхъ преданьяхъ прозвучало,
Но нынѣ свѣтомъ и молвой
Оно забыто. Нашъ герой
Живетъ въ Коломнѣ, гдѣ-то служитъ,
Дичится знатныхъ и не тужитъ
Ни о покойницѣ роднѣ,
Ни о забытой старинѣ.

Евгеній любитъ бѣдную дѣвушку Парашу, мечтаетъ о семейномъ счастьѣ.

Тутъ онъ разнѣжился сердечно
И размечтался, какъ поэтъ.
«Жениться? Что жъ? Зачѣмъ же нѣтъ
И въ самомъ дѣлѣ? Я устрою
Себѣ смиренный уголокъ
И въ немъ Парашу успокою.
Кровать, два стула, щей горшокъ,
Да самъ большой... чего мнѣ болѣ?
Не будемъ прихотей мы знать:
По воскресеньямъ лѣтомъ въ полѣ
Съ Парашей буду я гулять;
Мѣстечко выпрошу; Парашѣ
Препоручу хозяйство наше
И воспитаніе ребятъ...
И станемъ жить, и такъ до гроба
Рука съ рукой дойдемъ мы оба,
И внуки насъ похоронятъ».
Такъ онъ мечталъ...

Мечта не сбылась. Бушующая рѣка унесла домикъ, гдѣ жила Параша, унесла вмѣстѣ съ нимъ и счастье бѣдняка. Кромѣ любимой дѣвушки, кромѣ мечты о семейномъ счастьѣ у Евгенія не оказалось ничего, что̀ могло бы привязать его къ жизни, что придавало бы цѣнность и значеніе его скромному существованію. Онъ погибаетъ.

Островъ малый
На взморьѣ виденъ. Иногда
Причалитъ съ неводомъ туда
Рыбакъ, на ловлѣ запоздалый,
И бѣдный ужинъ свой варитъ,
Или чиновникъ посѣтитъ,

Гуляя въ лодкѣ въ воскресенье,
Пустынный островъ. Не взросло
Тамъ ни былинки. Наводненье
Туда, играя, занесло
Домишко ветхій. Надъ водою
Остался онъ, какъ черный кустъ.
Его прошедшею весною
Свезли на баркѣ. Былъ онъ пустъ
И весь разрушенъ. У порога
Нашли безумца моего...
И тутъ же хладный трупъ его
Похоронили, ради Бога.

Мы знаемъ, что личное счастье не выпало на долю и другого героя «петербургской повѣсти»; знаемъ объ испытаніяхъ, пережитыхъ имъ, какъ семьяниномъ. Но эти испытанія не могли сломить «мощнаго исполина судьбы»: они не сломили его, потому что вопросъ о счастьѣ не былъ для него вопросомъ о жизни и смерти. Его думы, его жизненныя задачи выступали далеко за предѣлы, очерчиваемые ограниченной эгоистической мечтой.

И думалъ Онъ:
«Отсель грозить мы будемъ шведу;
Здѣсь будетъ городъ заложенъ,
На зло надменному сосѣду;
Природой здѣсь намъ суждено
Въ Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при морѣ;
Сюда, по новымъ имъ волнамъ,
Всѣ флаги въ гости будутъ къ намъ —
И запируемъ на просторѣ».

Ни хитру, ни горазду суда Божія не минути. Смерть овладѣваетъ и властелиномъ судьбы, но онъ продолжаетъ жить въ своемъ дѣлѣ, въ томъ великомъ историческомъ движеніи, начало

котораго связывается съ его именемъ. Въ поэмѣ Петръ выступаетъ, какъ дѣйствующее лицо, въ образѣ оживающаго Мѣднаго Всадника. Онъ появляется передъ несчастнымъ бѣднякомъ, какъ великій упрекъ за исключительную привязанность къ тому, что невѣрно и хрупко, какъ олицетворенное напоминаніе о высшихъ задачахъ и цѣляхъ человѣческой жизни.

Видимъ, что всѣ колебанія Пушкина въ его сужденіяхъ о Петрѣ не могли разрушить того привлекательнаго и величественнаго образа, который сложился въ умѣ поэта. Да и не могло быть иначе. Пушкину не нравилась «новая знать», «новое дворянство, получившее свое начало при императорѣ Петрѣ»; поэтъ съ горечью вспоминалъ о революціи, смѣшавшей боярство и дворянство. Но вѣдь не могъ же онъ вѣрить въ воскресеніе историческихъ мертвецовъ, не могъ вѣрить въ возможность контръ-революціи, которая возстановила бы мѣстническіе споры, выдвинула бы захудалые знатные роды и отдѣлила бы ихъ отъ рядового дворянства. Поэтъ самъ называлъ подобнаго рода вожделѣнія несбыточной мечтой:

Петра не́ стало. Государство
Шатнулось, будто подъ грозой,
И усмиренное боярство
Его могущею рукой
Мятежной предалось надеждѣ:
«Пусть будетъ вновь, что было прежде!
Долой кафтанъ кургузый! Нѣтъ!
Примѣромъ намъ не будетъ шведъ!»
Не тутъ-то было! Тѣнь Петрова
Стояла грозно средь вельможъ:
Что было, не возстало снова;
Россія двинулась впередъ, —
Вѣтрила тѣ жъ средь тѣхъ же водъ.

Пушкинъ съ любовью останавливался на тѣхъ потомкахъ захудалыхъ родовъ, которые дорожили своими родословными воспо-

миваніями. Но любопытно, что среди попытокъ литературнаго изображенія такихъ именно продставителей стараго боярства встрѣчается набросокъ, не лишенный юмористической окраски: «Пріятель мой происходитъ отъ одного изъ древнѣйшихъ дворянскихъ нашихъ родовъ, чѣмъ и тщеславился со всевозможнымъ добродушіемъ. Онъ столько же дорожилъ тремя строчками лѣтописца, въ коихъ упомянуто было о предкѣ его, какъ модный камеръ-юнкеръ тремя звѣздами двоюроднаго своего дяди. Будучи бѣденъ, какъ почти и все наше старинное дворянство, онъ, подымая носъ, увѣрялъ, что никогда не женится, или возьметъ за себя княжну, именно одну изъ княженъ Елецкихъ, коихъ отцы и братья, какъ извѣстно, нынѣ пашутъ сами и, встрѣчаясь другъ съ другомъ на своихъ бороздахъ, стряхаютъ сохи и говорятъ: «Богъ помощь, князь Антипъ! сколько твое княжеское здоровье напахало?» — Спасибо, князь Ерема Авдеевичъ. — Кромѣ этой маленькой слабости, которую, впрочемъ, относимъ мы къ желанію подражать лорду Байрону, продававшему также очень хорошо свои стихотворенія, пріятель мой былъ человѣкъ круглый, un homme tout rond, какъ говорятъ французы, homo quadratus, человѣкъ четыреугольный, по выраженію латинскому, — по-нашему очень хорошій человѣкъ».

Въ одномъ изъ писемъ къ кн. Вяземскому Пушкинъ съ сочувствіемъ останавливается на заинтересовавшемъ его «проектѣ новой организаціи», который, по мнѣнію поэта, можетъ быть названъ проектомъ «контръ-революціи революціи Петра». «Вотъ тебѣ случай написать политическій памфлетъ и даже его напечатать, ибо правительство дѣйствуетъ или намѣрено дѣйствовать въ смыслѣ европейскаго просвѣщенія». Но поэтъ зналъ, что рядомъ съ той контръ-революціей, о которой онъ писалъ Вяземскому, замѣчались въ то же время признаки другой контръ-революціи, направленной противъ петровскихъ традицій. Въ 1831 году Пушкинъ читалъ въ рукописи «философическія письма» своего уважаемаго друга Чаадаева. Спустя пять лѣтъ, одно изъ этихъ писемъ было напечатано въ «Телескопѣ» Надеждина и вы-

звало суровыя мѣры противъ автора письма и противъ редактора журнала. Въ этихъ мѣрахъ Чаадаевъ видѣлъ проявленіе какой-то своего рода контръ-революціи, направленной противъ завѣтовъ Петра. «Является новая школа. Не хотятъ больше Запада, хотятъ разрушить дѣло Петра Великаго, хотятъ снова въ пустыню. Забывая то, что̀ Западъ сдѣлалъ для насъ, и неблагодарные къ великому человѣку, который насъ цивилизовалъ, къ Европѣ, которая насъ научила, эти люди отвергаютъ и Европу и великаго человѣка, въ своемъ поспѣшномъ жарѣ этотъ новѣйшій патріотизмъ провозглашаетъ насъ любимыми дѣтьми Востока... Вы понимаете теперь—продолжаетъ Чаадаевъ—откуда пришла буря, которая недавно разразилась надо мной, и вы видите, что среди насъ въ національной мысли совершается настоящая революція, страшная реакція противъ просвѣщенія, противъ идей Запада,—противъ того просвѣщенія, противъ тѣхъ идей, которыя сдѣлали насъ тѣмъ, что мы есть, которыхъ плодъ есть сама та реакція, то движеніе, которыя теперь толкаютъ насъ противъ нихъ». Пушкинъ еще раньше Чаадаева подмѣтилъ слѣды этой своеобразной революціи, открывавшейся въ русскомъ обществѣ. Въ черновыхъ тетрадяхъ поэта сохранилось нѣсколько неотдѣланныхъ строфъ изъ «Путешествія Онѣгина». Въ одной изъ этихъ строфъ, написанной въ 1829 году, изображается замѣчательное превращеніе Онѣгина. Наскучивъ щеголять въ европейской маскѣ,

Проснулся разъ онъ патріотомъ
Въ Hôtel des Londres, что на Морской.
Россія!.. Русь!.. . . . мгновенно
Ему понравилась отмѣнно,
И рѣшено — ужъ онъ влюбленъ!
Россіей только бредитъ онъ!
Ужъ онъ Европу ненавидитъ
Съ ея логической (сухой),
Съ ея разумной суетой.
Онѣгинъ ѣдетъ онъ увидитъ

Святую Русь, ея поля,
Селенья, грады и моря.
(Дубравы, степи) и моря.

По тону этой строфы легко догадаться, могъ ли Пушкинъ присоединиться къ сторонникамъ той контръ-революціи, о которой говоритъ Чаадаевъ. Такая контръ-революція могла только усилить благоговѣніе поэта къ памяти великаго реформатора, съ именемъ котораго неразрывно связывалась мысль объ европейскомъ просвѣщеніи, объ его развитіи на русской почвѣ. Говоря о великомъ императорѣ, поэтъ любилъ выставлять на видъ его заслуги, какъ просвѣтителя родной земли. Петръ «смѣло сѣялъ просвѣщеніе» — говоритъ поэтъ въ извѣстныхъ «Стансахъ». Въ стихотвореніи «Пиръ Петра Великаго» рисуется празднество въ честь науки:

Иль въ отъятый край у шведа
Прибылъ Брантовъ утлый ботъ,
И пошелъ на встрѣчу дѣда
Всей семьей нашъ юный флотъ.
И воинственные внуки
Стали въ строй предъ старикомъ,
И раздался въ честь *науки*
Пѣсенъ хоръ и пушекъ громъ?

Въ статьѣ «Мысли на дорогѣ», написанной въ послѣдній періодъ литературной дѣятельности (1834 г.), читаемъ: «Россія вошла въ Европу какъ спущенный корабль, при стукѣ топора и при громѣ пушекъ. Предпринятыя Петромъ войны были благодѣтельны и плодотворны какъ для Россіи, такъ и для человѣчества. Успѣхъ петровскаго преобразованія былъ слѣдствіемъ Полтавской битвы, и европейское просвѣщеніе причалило къ берегамъ завоеванной Невы. Петръ не успѣлъ довершить многое начатое имъ. Онъ умеръ въ порѣ мужества, во всей силѣ творческой своей дѣятельности, еще только въ полъ-ножны вложивъ побѣдительный свой мечъ... Но сѣмена просвѣщенія были посѣяны». Реакція

противъ реформы, сѣявшей просвѣщеніе, могла вызвать въ душѣ поэта только своего рода контръ-реакцію. Поэтому не можетъ подлежать сомнѣнію, что тѣ, неизвѣстныя теперь строки «Мѣднаго Всадника», о которыхъ говоритъ князь Вяземскій,—строки, въ которыхъ «энергически звучала ненависть къ европейской цивилизаціи», не могли, конечно, выражать взглядовъ и убѣжденій самого поэта. Все, что писалъ Пушкинъ о Петрѣ, убѣждаетъ насъ въ томъ, что въ «Мѣдномъ Всадникѣ» и въ введеніи къ этой «повѣсти» нѣтъ слѣдовъ неискренности, слѣдовъ какой-то затаенной мысли. Чаадаевъ отождествлялъ своихъ враговъ съ противниками Петровскихъ традицій, а Пушкинъ самого Чаадаева упрекалъ за неполную оцѣнку дѣятельности великаго царя. «Петръ Великій одинъ — цѣлая всемірная исторія«—писалъ Пушкинъ Чаадаеву въ октябрѣ 1836 года. Поэтъ могъ замѣчать темныя пятна и въ образѣ Петра, но онъ забывалъ объ этихъ пятнахъ, вспоминая о «вѣчномъ работникѣ», о сѣятелѣ просвѣщенія.

Возвратимся къ противорѣчивымъ сужденіямъ Пушкина о значеніи сословныхъ преданій, о значеніи родовитости. Высшее русское общество Пушкинскаго времени составлялось изъ «новой знати» и потомковъ старокняжескихъ и старобоярскихъ родовъ. Но нашъ поэтъ не задерживалъ своего вниманія на этомъ смѣшанномъ составѣ русской аристократіи. Онъ нерѣдко и охотно противопоставлялъ нашей наличной знати только *обѣднѣвшихъ* потомковъ стараго боярства. «Древнее русское дворянство—писалъ Пушкинъ — у насъ въ неизвѣстности и составило родъ третьяго сословія. Благородная чернь, къ которой и я принадлежу, считаетъ между своими родоначальниками Рюрика и Мономаха, но настоящая наша аристократія съ трудомъ можетъ назвать и своего дѣда. Древность рода ихъ восходитъ до Петра и Елисаветы. Денщики, пѣвчіе, хохлы — вотъ ихъ родоначальники, будь сказано не въ укоръ ихъ достоинствамъ. Достоинство—всегда достоинство, и государственная польза требуетъ его возвышенія. Смѣшно только видѣть въ ничтожныхъ внукахъ спѣсь какого-нибудь Монморанси, перваго христіанскаго барона».

Но если смѣшна спѣсь этихъ представителей молодой знати, то вѣдь не меньше, конечно, забавна была бы барская спѣсь Езерскаго, который

жалованьемъ жилъ
И регистраторомъ служилъ.

Поэтому герой «Мѣднаго Всадника» благоразумно дѣлаетъ, если

Дичится знатныхъ и не тужитъ
Ни о покойницѣ роднѣ,
Ни о забытой старинѣ.

Припомнимъ при этомъ приведенное выше добродушно-юмористическое изображеніе родовитаго бѣдняка, который непремѣнно желаетъ жениться на княжнѣ, дочери земледѣльца. Пушкинъ подсмѣивается и надъ спѣсью новой знати, и надъ археологическими претензіями униженныхъ родовъ. Ясно, что родовитость сама по себѣ не представляла для Пушкина какой-то самостоятельно важной цѣнности. Можно ли, въ самомъ дѣлѣ, причислить къ пламеннымъ защитникамъ родословныхъ привилегій такого писателя, который представителями родовитости выбираетъ бѣдваго канцелярскаго чиновника и такого же бѣднаго литератора, мечтающаго о женитьбѣ на дочери титулованнаго хлѣбопашца? Если великій писатель противопоставлялъ новоявленнымъ аристократамъ родовитыхъ бѣдняковъ, то въ такомъ противопоставленіи для него важенъ былъ очевидно прежде всего отрицательный, обличительный моментъ. Чванству и высокомѣрію молодой аристократіи, ея малосодержательному существованію поэтъ противополагаетъ скромную, дѣятельную жизнь тѣхъ бѣдныхъ потомковъ стараго барства, которые, по выраженію поэта, составляютъ «у насъ родъ средняго состоянія, состоянія почтеннаго, трудолюбиваго и просвѣщеннаго».

Но на такомъ противопоставленіи трудолюбивой бѣдности и обезпеченной праздности мысль Пушкина не могла, конечно,

успокоиться. Пушкинъ не могъ довольствоваться ролью писателя-обличителя. Въ его многочисленныхъ замѣткахъ о первомъ сословіи, о старой и новой знати кроется опредѣленная, содержательная тенденція. «Я русскій дворянинъ — писалъ Пушкинъ — и я зналъ своихъ предковъ прежде, чѣмъ узналъ Байрона. Если быть старинным дворяниномъ значитъ подражать англійскому поэту, то сіе подражаніе весьма невольное. Но что есть общаго между привязанностію лорда къ своимъ феодальнымъ преимуществамъ и безкорыстнымъ уваженіемъ къ мертвымъ прадѣдамъ, коихъ минувшая знаменитость не можетъ доставить намъ ни чиновъ, ни покровительства»? Пушкинъ отрекается отъ привязанности къ феодальнымъ преимуществамъ, но то, что онъ противополагаетъ этой привязанности, это «безкорыстное уваженіе къ прадѣдамъ», не вполнѣ выражаетъ его собственную мысль. Мы знаемъ, что привязанности къ сословнымъ привилегіямъ онъ противополагалъ сознаніе обязанностей земледѣльческаго класса, интересъ къ тому живому дѣлу, которое такъ часто забывалось нашимъ дворянствомъ.

Съ представленіемъ о новой знати у Пушкина связывалась мысль о служебной карьерѣ, объ отчужденіи отъ исполненія долга, налагаемаго помѣщичьей жизнью. «Что съ тобой сдѣлалось, Валерьянъ? — спрашиваютъ одного изъ представителей свѣтской аристократіи. — Ты сегодня сердитъ.

— Сердитъ! — отвѣчалъ онъ, не поднимая глазъ съ своей книги.

— На кого?

— На князя Горецкаго. У него сегодня балъ, а я не званъ.

— А тебѣ очень хотѣлось быть на его балѣ?

— Нимало. Чортъ его побери съ его баломъ. Но если зоветъ онъ весь городъ, то долженъ звать и меня.

— Который это Горецкій? Не князь ли Яковъ?

— Совсѣмъ нѣтъ. Князь Яковъ давно умеръ. Это братъ его, князь Григорій.

— На комъ онъ женатъ?

— На дочери того пѣвчаго... какъ бишь его?

— Я такъ давно не выѣзжала, что совсѣмъ раззнакомилась съ вашимъ обществомъ... Такъ ты очень дорожишь вниманіемъ князя Григорія и благосклонностію жены его, дочери пѣвчаго?

— И конечно, — съ жаромъ отвѣчалъ молодой человѣкъ, бросая книгу на столъ.—Я человѣкъ свѣтскій и не хочу быть въ пренебреженіи у свѣтскихъ аристократовъ. Мнѣ дѣла нѣтъ ни до ихъ родословной, ни до ихъ нравственности.

— Кого ты называешь аристократами?

— Тѣхъ, которые протягиваютъ руку графинѣ Фуфлыгиной.

— И пренебреженіе людей, которыхъ ты не любишь—сказала дама послѣ нѣкотораго молчанія,—можетъ до такой степени тебя оскорблять?»

Этотъ Валеріанъ принадлежалъ, очевидно, къ числу тѣхъ людей, о которыхъ Пушкинъ писалъ: «Мы гордимся не славою предковъ, но чиномъ какого-нибудь дяди-дурака или баломъ двоюродной сестры. Мы на колѣняхъ предъ настоящимъ случаемъ, успѣхомъ, но очарованіе древности, благодарность къ прошедшему и уваженіе къ нравственнымъ качествамъ у насъ (не извѣстны)».

Быту свѣтской аристократіи, вращенію въ кругу интересовъ столичныхъ гостиныхъ Пушкинъ противополагалъ жизнь въ деревнѣ, работу на пользу сельскаго люда. «Не любить деревни простительно монастыркѣ, только что выпущенной изъ клѣтки, да двадцатилѣтнему камеръ-юнкеру. Петербургъ—прихожая, Москва—дѣвичья, деревня же нашъ кабинетъ. Порядочный человѣкъ, по необходимости, проходитъ черезъ переднюю, рѣдко заглядываетъ въ дѣвичью, а сидитъ у себя въ кабинетѣ. Тѣмъ и я кончу — выйду въ отставку, женюсь и уѣду въ деревню. Званіе помѣщика есть та же служба».

Замѣчательно, что эти слова говоритъ у Пушкина «внукъ бородатаго милліонщика». Поэтъ какъ будто подчеркиваетъ этимъ свою мысль объ обязанностяхъ землевладѣльца: цѣнны не родо-

витость, «не феодальныя преимущества», а сознаніе долга, интересъ къ тому великому земскому дѣлу, въ которомъ долженъ принимать участіе всякій «порядочный человѣкъ».

Нашъ великій поэтъ во всю свою жизнь былъ убѣжденнымъ приверженцемъ крестьянской свободы, противникомъ крѣпостныхъ отношеній. Въ 1819 году написано Пушкинымъ извѣстное стихотвореніе «Деревня», негодующій протестъ противъ проявленій «дикаго барства»:

О, если бъ голосъ мой умѣлъ сердца тревожить!
Почто въ груди моей горитъ безплодный жаръ
И не данъ мнѣ въ удѣлъ витійства грозный даръ?
Увижу ль я, друзья, народъ неугнетенный
И рабство, падшее по манію царя,
И надъ отечествомъ свободы просвѣщенной
Взойдетъ ли, наконецъ, прекрасная заря?

«Если бы гордые замыслы Долгорукихъ и проч. — писалъ Пушкинъ въ 1822 году — совершились, то владѣльцы душъ, сильные своими правами, всѣми силами затруднили бы или даже вовсе уничтожили способы освобожденія людей отъ крѣпостного состоянія... Одно только страшное потрясеніе могло бы уничтожить въ Россіи закоренѣлое рабство; нынче же политическая наша свобода неразлучна съ освобожденіемъ крестьянъ; желаніе лучшаго соединяетъ всѣ состоянія противу общаго зла, и твердое, мирное единодушіе можетъ скоро поставить насъ на ряду съ просвѣщенными народами Европы». Въ 1830 году написано стихотвореніе «Шалость», напоминающее по содержанію «Деревню». Къ 1831 году относится «Отрывокъ изъ романа въ письмахъ». Въ романѣ есть такая замѣтка о мелкопомѣстныхъ дворянахъ: «Эти господа не служатъ и сами занимаются управленіемъ своихъ деревушекъ, но, признаюсь, дай Богъ имъ промотаться, какъ нашему брату!.. Какая дикость! Для нихъ еще не прошли времена Фонъ-Визина, между ними процвѣтаютъ Простаковы и Скотинины». Въ 1834 году написаны «Мысли

на дорогѣ». Несмотря на сдержанность и осторожность автора, несмотря на разныя оговорки и уступки, отрицательное отношеніе къ крѣпостному праву просвѣчиваетъ въ «Мысляхъ» съ достаточной ясностью. «Судьба крестьянина улучшается со дня на день, по мѣрѣ распространенія просвѣщенія. *Избави меня, Боже, быть поборникомъ и проповѣдникомъ рабства*, я говорю только, что благосостояніе крестьянъ тѣсно связано съ благосостояніемъ помѣщиковъ; это очевидно для всякаго. Конечно, *должны еще произойти великія перемѣны; но не должно торопить времени, и безъ того уже довольно дѣятельнаго*». Послѣднее замѣчаніе намекаетъ, конечно, на тѣ предположенія относительно ограниченія крѣпостного права, которыя озабочивали въ это время правительственныя сферы. Пушкинъ зналъ безъ сомнѣнія о рескриптахъ государя (отъ 19-го іюня и 6-го сентября 1826 г.) на имя министра внутреннихъ дѣлъ, рескриптахъ, напоминавшихъ помѣщикамъ объ ихъ обязанностяхъ по отношенію къ крестьянамъ, зналъ также о дѣятельности секретнаго комитета 6-го декабря 1826 года и о запискѣ одного изъ членовъ комитета М. М. Сперанскаго. Въ этой запискѣ сопоставлялось прежнее, до-петровское крѣпостное право съ той его формой, которую оно получило въ позднѣйшее время. Главная черта отличія этихъ двухъ видовъ крѣпостныхъ отношеній такая: по прежнему крѣпостному праву «крестьяне суть принадлежность вотчины и отъ нея не могутъ быть отдѣлены ни продажею, ни залогомъ»; по новому праву «крестьяне, равно какъ и земля, на коей они живутъ, принадлежатъ помѣщику; земля составляетъ недвижимое его имущество, а крестьяне суть имущество его движимое (во всѣхъ указахъ крестьяне именно признаны движимымъ имуществомъ). И хотя сіе движимое имущество по ревизіи приписывается къ недвижимому, къ деревнѣ и къ землѣ, но какъ земля безъ крестьянъ, такъ и крестьяне безъ земли могутъ быть проданы, заложены, переселены, во дворъ взяты, и даже въ ссылку по волѣ помѣщика, за проступки ихъ, безъ суда могутъ быть сосланы». «При сравненіи сихъ двухъ системъ — за-

мѣчаетъ Сперанскій, — нельзя не признать, что послѣдняя изъ нихъ тягостнѣе и ближе къ неволѣ, нежели первая». Въ запискѣ знаменитаго государственнаго человѣка указывается рядъ законодательныхъ мѣръ, которыя «обратятъ крѣпостное право на крестьянъ въ прежнее его законное положеніе, т. е. содѣлаютъ ихъ крѣпкими владѣльцу по землѣ, а не по лицу; прекратятъ личную продажу ихъ въ видѣ собственности или движимаго имущества; уничтожатъ то унизительное понятіе, какое внутри и внѣ Россіи имѣютъ о рабствѣ крестьянъ». Замышлялась своего рода контръ-революція революціи Петра. Такой контръ-революціи Пушкинъ не могъ не сочувствовать, какъ первому шагу къ паденію рабства. Но онъ шелъ дальше: онъ хотѣлъ, чтобы дворянство не только соединилось съ правительствомъ въ заботахъ о крестьянствѣ, но сумѣло проявить самостоятельный починъ въ дѣлѣ, которое должно быть дорого для всякаго «порядочнаго человѣка», въ томъ великомъ дѣлѣ, съ которымъ поэтъ связывалъ завѣтную мечту о «просвѣщенной свободѣ».

Кромѣ этого великаго земскаго дѣла, Пушкинъ имѣлъ въ виду еще одну область общественной дѣятельности, въ которой, по его мнѣнію, воспоминанія о старинѣ, традиціи знатности могли имѣть значеніе, могли быть въ нѣкоторомъ отношеніи полезны. Эта область общественной дѣятельности — литература.

По существу своему литературная дѣятельность не связана, конечно, съ сословными отношеніями. «Никто болѣе нашего — писалъ Пушкинъ — не уважаетъ истиннаго, родового дворянства, коего существованіе столь важно въ смыслѣ государственномъ; но въ мирной республикѣ наукъ — какое намъ дѣло до гербовъ и пыльныхъ грамотъ? Потомокъ Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессоръ, честный аудиторъ и странствующій купецъ равны предъ законами критики. Князь Вяземскій уже далъ однажды замѣтить неприличность сихъ аристократическихъ выходокъ; но не худо повторять полезныя истины». Великій писатель съ чувствомъ гордости вспоминалъ о томъ, какъ онъ едва ли не первый заступился за Полевого, купеческое происхожде-

ніе котораго давало поводъ къ журнальнымъ насмѣшкамъ. «Сѣверная Пчела» помнитъ — писалъ поэтъ — кто упрекалъ поминутно г-на Полевого тѣмъ, что онъ купецъ, кто заступился за него, кто осмѣлился посмѣяться надъ феодальной нетерпимостію нѣкоторыхъ «чиновныхъ журналистовъ». Пушкинъ намекаетъ здѣсь на статьи «Литературной газеты», которыя «заставили чиновныхъ литераторовъ уважать собратіевъ-мѣщанъ».

Высказываясь противъ литературно-аристократическихъ притязаній, Пушкинъ обращалъ однако вниманіе на то, что большая часть нашихъ писателей принадлежали въ его время къ сословію дворянъ. Это обстоятельство, по мнѣнію поэта, давало представителямъ публичнаго слова нѣкоторое независимое положеніе, обезпечивало въ извѣстной мѣрѣ самостоятельность мысли.

Припоминая русскихъ и иностранныхъ писателей, Пушкинъ замѣчаетъ:

Въ Россіи же мы всѣ дворяне,
Всѣ, кромѣ двухъ иль трехъ.

Поэтъ не забывалъ при этомъ своей любимой мысли о превращеніи нашего стариннаго дворянства въ «родъ средняго состоянія, состоянія почтеннаго, трудолюбиваго и просвѣщеннаго; состоянія, къ которому принадлежитъ и большая часть нашихъ литераторовъ». «Замѣтимъ — говоритъ Пушкинъ въ одной изъ своихъ полемическихъ статей — что если большая часть нашихъ писателей дворяне, то сіе доказываетъ только, что дворянство наше (не въ примѣръ прочимъ) грамотное: этому смѣяться нечего». По мнѣнію нашего великаго писателя, этому не только нечего смѣяться, но можно даже радоваться. Припомнимъ вступленіе къ «Египетскимъ ночамъ». «Я много слыхалъ о вашемъ удивительномъ талантѣ — говоритъ итальянецъ; я увѣренъ, что здѣшніе господа ставятъ за честь оказывать всевозможное покровительство такому превосходному поэту — отвѣчалъ итальянецъ: и потому я осмѣлился къ вамъ явиться...

— Вы ошибаетесь, signor — прервалъ его Чарскій.— Зва-

ніе поэтовъ у насъ не существуетъ. Наши поэты не пользуются покровительствомъ господъ; наши поэты сами господа, и если наши меценаты (чортъ ихъ побери!) этого не знаютъ, тѣмъ хуже для нихъ. У насъ нѣтъ оборванныхъ аббатовъ, которыхъ музыкантъ бралъ бы съ улицы для сочиненія libretto. У насъ поэты не ходятъ пѣшкомъ изъ дому въ домъ, выпрашивая себѣ вспоможенія». «Такъ! мы можемъ праведно гордиться—писалъ Пушкинъ А. А. Бестужеву—наша словесность, уступая другимъ въ роскоши талантовъ, тѣмъ передъ ними отличается, что не носитъ на себѣ печати рабскаго униженія.—Наши таланты благородны, независимы. Съ Державинымъ умолкнулъ голосъ лести, а какъ онъ льстилъ?

«О, вспомни! какъ въ томъ восхищеньи
Пророча, я тебя хвалилъ.
Смотри, я рекъ, тріумфъ — минуту,
А добродѣтель вѣкъ живетъ».

Прочти посланіе къ Александру Жуковскаго (1815 года)... Пересмотри наши журналы, все текущее въ литературѣ... О нашей лирѣ можно сказать, что Мирабо сказалъ о Сіесѣ: Son silence est une calamité publique. Иностранцы намъ изумляются; они отдаютъ намъ полную справедливость, не понимая, какъ это сдѣлалось. Причина ясна. У насъ писатели взяты изъ высшаго класса общества. Аристократическая гордость сливается у нихъ съ авторскимъ самолюбіемъ; мы не хотимъ быть покровительствуемы равными — вотъ чего Воронцовъ не понимаетъ. Онъ воображаетъ, что русскій поэтъ явится въ его передней съ посвященіемъ или съ одою, а тотъ является съ требованіемъ на уваженіе, какъ шестисотлѣтній дворянинъ. Дьявольская разница...!»

Но это гордое сознаніе независимости русской литературы, эта радость по поводу отсутствія въ ней «рабскаго униженія» соединялись въ душѣ поэта съ мыслью о высокомъ общественномъ значеніи литературы. Право свободной литературной кри-

тики Пушкинъ признавалъ, конечно, не подлежащимъ спору. Припомнимъ приведенныя выше слова поэта. «Потомокъ Трувора или Гостомысла, трудолюбивый профессоръ, честный аудиторъ и странствующій купецъ равны предъ законами критики». Этого мало. Пушкинъ допускалъ, признавалъ не безполезною даже задорную и рѣзкую журнальную полемику. «Нѣкоторые писатели — читаемъ въ «Критическихъ Запискахъ» 1830—1831 г. — ввели обыкновеніе, весьма вредное литературѣ: не отвѣчать на критики. Рѣдко кто изъ нихъ отзовется и подастъ голосъ, и то не за себя. Развѣ и впрямь они гнушаются своимъ братомъ-литераторомъ?.. Если они принадлежатъ хорошему обществу, какъ благовоспитанные и порядочные люди, то это статья особая и литературы не касается... Одинъ писатель извинялся тѣмъ, что-де съ нѣкоторыми людьми неприлично связываться человѣку, уважающему себя и общее мнѣніе, что разница-де между споромъ и дракой, что наконецъ никто-де не въ правѣ требовать, чтобъ человѣкъ разговаривалъ съ кѣмъ не хочетъ разговаривать. Все это не отговорка. Если ужъ ты пришелъ на *сходку*, то не прогнѣвайся — какова компанія, таковъ и разговоръ; если шалунъ швырнетъ въ тебя грязью, то смѣшно вызывать его биться на шпагахъ, а не поколотить его просто; а если будешь молчать съ человѣкомъ, который съ тобой разговариваетъ, то это съ твоей стороны обида и недостойная гордость».

Этой литературной борьбѣ, этимъ нападеніямъ на писателя и его отвѣтамъ Пушкинъ придавалъ значеніе особаго рода. «Иной говоритъ: какое дѣло критику и читателю, хорошъ ли я собою или дуренъ, старинный дворянинъ или изъ разночинцевъ, добръ ли или золъ, ползаю ли въ ногахъ сильныхъ или даже съ ними не кланяюсь, играю ли я въ карты и т. п.? Будущій мой біографъ, если Богъ пошлетъ мнѣ біографа, объ этомъ будетъ заботиться. А критику и читателю дѣло только до моихъ книгъ. Сужденіе, кажется, поверхностное. Нападенія на писателя и оправданія, къ коимъ подаютъ они поводъ, суть важный шагъ

въ гласности преній о дѣйствіяхъ такъ называемыхъ общественныхъ лицъ (hommes publics), — къ одному изъ главнѣйшихъ условій высокообразованныхъ обществъ; въ семъ отношеніи и писатели, справедливо заслуживающіе презрѣніе наше, ругатели и клеветники приносятъ истинную пользу. Такимъ образомъ, дружина ученыхъ и писателей стоитъ всегда впереди во всѣхъ набѣгахъ просвѣщенія, на всѣхъ приступахъ образованности. Не должно имъ малодушно негодовать, что вѣчно имъ опредѣлено выносить первые выстрѣлы и всѣ невзгоды, всѣ опасности ремесла. Такимъ образомъ и возрастаетъ могущество общаго мнѣнія, на которомъ въ просвѣщенномъ народѣ основана чистота нравовъ. Мало-по-малу образуется и уваженіе къ личной чести гражданина».

Всѣ, имѣющіе счастіе принадлежать къ «дружинѣ ученыхъ и писателей», помнятъ эти слова, хранятъ ихъ въ своемъ сердцѣ, какъ дорогой завѣтъ великаго писателя и благороднаго гражданина.

„РУСАЛКА“ ПУШКИНА И „DAS DONAUWEIBCHEN“ ГЕНСЛЕРА.

Ахъ, умолчу-ль о мамушкѣ моей,
О прелести таинственныхъ ночей,
Когда въ чепцѣ, въ старинномъ одѣяньѣ
Она, духовъ молитвой уклоня,
Съ усердіемъ перекреститъ меня
И шопотомъ разсказывать мнѣ станетъ
О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы...
Отъ ужаса не шелохнусь, бывало,
Едва дыша, прижмусь подъ одѣяло,
Не чувствуя ни ногъ, ни головы.
Подъ образомъ простой ночникъ изъ глины
Чуть освѣщалъ глубокія морщины,
Драгой антикъ, прабабушкинъ чепецъ,
И длинный ротъ, гдѣ зуба два стучало.
Все въ душу страхъ невольный поселяло;
Я трепеталъ, и тихо наконецъ
Томленье сна на очи упадало.
Тогда толпой съ лазурной высоты
На ложе розъ крылатыя мечты,
Волшебники, волшебницы слетали,
Обманами мой сонъ обворожали;
Терялся я въ порывѣ сладкихъ думъ
Въ глуши лѣсной, средь Муромскихъ пустыней,
Встрѣчалъ лихихъ Полкановъ и Добрыней,
И въ вымыслахъ носился юный умъ...

Такъ писалъ въ 1816 году семнадцатилѣтній лицеистъ А. Пушкинъ, вспоминая о своемъ дѣтствѣ. Пушкинъ поступилъ въ

Лицей съ прекраснымъ знаніемъ французскаго языка и съ нѣкоторой начитанностью въ произведеніяхъ французской литературы. Французскіе писатели съ особенной силой привлекали Пушкина и въ лицейскіе годы. Этими слѣдами французскаго образованія, полученнаго Пушкинымъ въ дѣтствѣ, объясняется шуточное прозвище «французъ», которое дали будущему великому русскому поэту его школьные товарищи. Но товарищи не умѣли, повидимому, угадать, что у этого мнимаго француза была русская душа, полная живыхъ симпатій къ родной странѣ и къ родному народу, полная тѣхъ завѣтныхъ дѣтскихъ воспоминаній, о которыхъ говоритъ поэтъ въ приведенномъ выше отрывкѣ изъ стихотворенія «Сонъ».

Какъ одно изъ важнѣйшихъ проявленій этого рано пробудившагося теплаго національнаго чувства нашего поэта, можно указать на его постоянный и живой интересъ къ русской народной поэзіи, къ тѣмъ пѣснямъ и сказкамъ, съ образцами которыхъ онъ познакомился впервые по разсказамъ «мамушки». Эти разсказы, какъ видно, оставили глубокій слѣдъ въ душѣ поэта.

Еще въ Лицеѣ Пушкинъ началъ знакомиться съ сборниками народныхъ пѣсенъ и сказокъ. Позже это знакомство расширялось все болѣе и болѣе. Но такое книжное ознакомленіе съ народнымъ творчествомъ не удовлетворяло чуткаго поэта. Онъ обращался, когда только могъ, къ живымъ источникамъ народной памяти. Живя въ Михайловскомъ, поэтъ вспомнилъ о «прелести таинственныхъ ночей». — «Знаешь ли мои занятія? — писалъ Пушкинъ брату въ октябрѣ 1824-го года—до обѣда пишу записки, обѣдаю поздно; послѣ обѣда ѣзжу верхомъ, вечеромъ слушаю сказки и вознаграждаю тѣмъ недостатки проклятаго своего воспитанія. Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма». Нѣкоторыя сказки, повидимому, особенно заинтересовали поэта: онъ записалъ эти сказки частью вполнѣ, частью въ отрывкахъ, или въ видѣ конспекта, передающаго общее содержаніе сказки, порядокъ отдѣльныхъ подробностей. Съ такимъ же живымъ интересомъ прислушивался Пушкинъ и къ народ-

нымъ пѣснямъ, «которыя, по словамъ поэта, заключаютъ въ себѣ... много истинной поэзіи». По свидѣтельству извѣстнаго собирателя русскихъ народныхъ пѣсенъ П. В. Кирѣевскаго, Пушкинъ передалъ ему цѣлую тетрадь пѣсенъ, записанныхъ имъ въ Псковской губерніи. Нѣкоторыя изъ этихъ пѣсенъ найдены недавно въ Московскомъ Румянцевскомъ музеѣ и напечатаны В. Ѳ. Миллеромъ въ журналѣ «Этнографическое Обозрѣніе». Пѣсни относятся къ кругу свадебныхъ [1]). Раньше въ числѣ пѣсенъ, собранныхъ Кирѣевскимъ, напечатаны были двѣ бытовыя пѣсни, записанныя Пушкинымъ. Кромѣ этихъ записей, доставленныхъ Кирѣевскому, извѣстно еще нѣсколько народныхъ пѣсенъ, записанныхъ нашимъ поэтомъ: о Стенькѣ Разинѣ, о девяти братьяхъ-разбойникахъ и др.

Съ изученіемъ произведеній народной поэзіи, съ собираніемъ и записываніемъ народныхъ пѣсенъ и сказокъ связанъ цѣлый рядъ литературныхъ работъ Пушкина, цѣлый рядъ его опытовъ введенія элементовъ народной поэзіи въ область художественнаго творчества. Такое соединеніе основъ безыскусственно-народнаго и литературно-художественнаго творчества оправдывалось въ сознаніи поэта глубокой національно-психологической связью, соединяющей народную пѣсню съ движеніемъ новой русской литературы, оправдывалось единствомъ душевнаго склада, отражающагося и въ «пѣснѣ ямщика» и въ произведеніи «перваго поэта». Припомнимъ XXIX строфу «Домика въ Коломнѣ»:

Фигурно иль буквально: всей семьей,
Отъ ямщика до перваго поэта,
Мы всѣ поемъ уныло. Грустный вой
Пѣснь русская. — Извѣстная примѣта!

1) Пѣсни изданы въ приложеніи къ статьѣ проф. Миллера: «Пушкинъ, какъ поэтъ-этнографъ». Эта статья представляетъ обстоятельный сводъ данныхъ по вопросу объ изученіи Пушкинымъ произведеній русскаго народнаго творчества (Этнографическое Обозрѣніе 1899 г. кн. XL—XLI, № 1—2).

Начавъ за здравіе, за упокой
Сведемъ какъ разъ. Печалію согрѣта
Гармонія и нашихъ музъ, и дѣвъ,
Но нравится ихъ жалобный напѣвъ!

Но «первый поэтъ» зналъ, что грустнымъ, элегическимъ чувствомъ не исчерпывается содержаніе народной пѣсни, зналъ, что душевное настроеніе, отражающееся въ этой пѣснѣ, — настроеніе сложное, смѣсь свѣта и мрака, безысходной тоски и беззавѣтнаго веселья. Поэтъ находилъ, что въ этой смѣси, въ этой спутанности душевнаго строя чувствуется что-то близкое, знакомое, родное...

По дорогѣ зимней, скучной
Тройка борзая бѣжитъ,
Колокольчикъ однозвучный
Утомительно гремитъ.
Что-то слышится родное
Въ долгихъ пѣсняхъ ямщика:
То разгулье удалое,
То сердечная тоска.

Всѣ произведенія Пушкина, написанныя подъ бо́льшимъ или меньшимъ вліяніемъ народной поэзіи, можно раздѣлить на двѣ группы. Къ первой группѣ относятся сказки: о царѣ Салтанѣ, о попѣ и работникѣ его Балдѣ, о рыбакѣ и рыбкѣ, о мертвой царевнѣ и о семи богатыряхъ, о золотомъ пѣтушкѣ. Всѣ эти произведенія представляютъ близкую, точную передачу народныхъ сказокъ. Пушкинскія сказки — народныя по содержанію; поэтъ отыскалъ для нихъ лишь новую форму, вложилъ ихъ въ новую поэтическую оболочку [1]). Другую группу могутъ соста-

1) Народные варіанты Пушкинскихъ сказокъ указаны проф. Сумцовымъ («Этюды объ А. С. Пушкинѣ, вып. V) и Ю. А. Яворскимъ («Къ исторіи Пушкинскихъ сказокъ» въ Львовскомъ журналѣ «Живое Слово» 1899 г.).

вить тѣ произведенія Пушкина, въ которыхъ на ряду съ народно-поэтическими элементами открываются слѣды иныхъ литературныхъ вліяній. Въ Лицеѣ молодой поэтъ начинаетъ поэму «Бова». Имя этого сказочнаго героя неразрывно связывалось у Пушкина съ воспоминаніемъ объ его старой мамкѣ:

И шопотомъ разсказывать мнѣ станетъ
О мертвецахъ, о подвигахъ Бовы...

Но кромѣ реминисценцій изъ разсказовъ няни, въ поэму о Бовѣ входили литературные элементы иного происхожденія. На это указываетъ самъ поэтъ:

Не бывалъ я грѣховодникомъ,
Но вчера, въ архивахъ роясь,
Отыскалъ я книжку славную,
Золотую, незабвенную,
Катехизисъ остроумія,
Словомъ — «Жанну Орлеанскую»,
Прочиталъ и въ восхищеніи
Про Бову пою царевича.

Такимъ образомъ, неоконченная поэма о Бовѣ должна была представлять своеобразное соединеніе старой захожей повѣсти, ставшей народной сказкой, съ подробностями, подсказываемыми поэмой Вольтера. Такая же двойственность литературныхъ элементовъ обнаруживается и въ «Русланѣ и Людмилѣ». Нельзя отрицать, что въ «Русланѣ» есть подробности, навѣянныя народными сказками и пѣснями, но еще замѣтнѣе въ этой поэмѣ вліяніе произведеній литературныхъ. Изслѣдователи Пушкинской поэзіи указали уже нѣсколько такихъ произведеній, вліяніе которыхъ отразилось на «Русланѣ»: «Богатырскія повѣсти въ стихахъ» объ Алешѣ Поповичѣ и Чурилѣ Пленковичѣ Н. А. Радищева, указанная выше поэма Вольтера «Pucelle d'Orléans» и

др. [1]). Вслѣдъ за «Бовой» и «Русланомъ» приходится назвать «Русалку». Эта неоконченная драма принадлежитъ порѣ полной зрѣлости Пушкинскаго таланта. Поэтому, по художественности обработки основного сюжета, по мастерской обрисовкѣ дѣйствующихъ лицъ и ихъ душевныхъ настроеній, «Русалку» нельзя, конечно, ставить рядомъ не только съ дѣтскимъ «Бовой», но и съ болѣе позднимъ «Русланомъ». Но и въ «Русалкѣ» есть та же характеристическая черта двойственности литературныхъ вліяній, которая замѣчается въ «Бовѣ» и «Русланѣ».

Рядомъ съ подробностями, несомнѣнно навѣянными народной поэзіей, мы находимъ въ «Русалкѣ» матеріалъ литературный, взятый изъ произведенія, не имѣющаго притязанія на большую поэтическую цѣнность. Изученіе такого именно матеріала, наблюденіе надъ способомъ обработки этого матеріала великимъ художникомъ представляетъ значительный интересъ. Сопоставленіе малоцѣннаго матеріала съ художественной его обработкой можетъ служить показателемъ силы и гибкости литературнаго таланта. Тяжело наблюдать, когда

Художникъ-варваръ кистью сонной
Картину генія чернитъ
И свой рисунокъ беззаконный
Надъ ней безсмысленно чертитъ.

Противоположное наблюденіе вызываетъ и противоположное чувство. Отрадно присматриваться, когда кисть истиннаго художника превращаетъ «беззаконный рисунокъ» въ геніальную картину.

I.

Во второй половинѣ XVIII столѣтія въ вѣнскомъ обществѣ, интересовавшемся театромъ, шла оживленная борьба сторонни-

1) Владиміровъ, Происхожденіе «Руслана и Людмилы» А. С. Пушкина (Кіевскія Университетскія Извѣстія 1895 г., № 6-й); Кирпичниковъ, Мелкія замѣтки объ А. С. Пушкинѣ и его произведеніяхъ (Русская Старина 1899 г., № 2, стр. 439—440).

ковъ мѣстныхъ драматическихъ традицій съ защитниками новыхъ литературныхъ вѣяній. Съ давнихъ поръ на вѣнской сценѣ давались съ неизмѣннымъ успѣхомъ шуточныя пьесы (Posse), въ которыхъ выступалъ постоянный любимецъ зрителей шутъ-импровизаторъ, мѣнявшій имя, но сохранявшій всегда основную черту своего типа—грубоватый народный юморъ. Въ половинѣ столѣтія проникаютъ въ Вѣну «правильныя» пьесы, написанныя по французскимъ образцамъ, съ соблюденіемъ строгихъ правилъ классическаго литературнаго кодекса. Классиковъ смѣняютъ представители новаго литературнаго направленія: Лессингъ, Шредеръ и др. Старая народная Posse должна была уступить первое мѣсто новымъ пьесамъ, но она не замолкла, не утратила своей жизненности, не была забыта.

Въ 1780 году Карлъ фонъ-Маринелли основалъ Леопольдштадтскій театръ. На сценѣ этого театра пьесы старо-вѣнскаго типа встрѣтили радушный пріемъ. Директоръ театра нашелъ себѣ дѣятельнаго сотрудника въ лицѣ молодого поэта Карла Фридриха Генслера. Уроженецъ Вюртенберга (род. 1759 г.), Генслеръ провелъ свои студенческіе годы въ Геттингенѣ, былъ затѣмъ нѣсколько лѣтъ домашнимъ учителемъ въ Эльзасѣ, а въ 1784 г. переселился въ Австрію, гдѣ и познакомился съ Маринелли. Послѣ смерти Маринелли Генслеръ занялъ мѣсто директора Леопольдштадтскаго театра, а позже принималъ участіе въ управленіи другими театрами. Умеръ Генслеръ въ 1825 году.

К. Ф. Генслеръ былъ однимъ изъ плодовитѣйшихъ и популярнѣйшихъ писателей своего времени. Онъ сумѣлъ придать новую жизнь старо-нѣмецкому фарсу, соединивъ его традиціонную шутливость съ иными литературными элементами. Въ произведеніяхъ Генслера сцены, напоминавшія шуточныя пьесы, соединялись съ исторической и бытовой драмой, съ фантастической пьесой, сюжетъ которой заимствованъ изъ волшебныхъ сказокъ, съ комической оперой, родственной нерѣдко по содержанію съ тѣми же сказочно-фантастическими пьесами.

Изъ всѣхъ произведеній Генслера наибольшую извѣстность получила его опера «Das Donauweibchen». Первая часть этой пьесы появилась въ 1792 году; въ 1798 году издана была вторая часть. Позже Генслеръ задумалъ написать продолженіе своей «Дунайской женщины», но не окончилъ этого труда. Въ 1803 году издана была лишь первая часть этого продолженія, подъ заглавіемъ: «Die Nymphe der Donau» [1]).

Литературная критика давала неблагосклонные отзывы [2]) о драмѣ Генслера, но это не помѣшало ея успѣху. «Das Donauweibchen» обошла всѣ нѣмецкія сцены и давалась съ постояннымъ успѣхомъ въ теченіе ряда десятилѣтій. Извѣстность Генслеровой пьесы перешла и за предѣлы германскихъ земель. Въ 1803 году поставлена была на петербургской сценѣ русская передѣлка первой части нѣмецкой оперы, подъ заглавіемъ: «Русалка, опера комическая въ трехъ дѣйствіяхъ»; въ слѣдующемъ году появилась на нашей сценѣ и вторая часть оперы, подъ заглавіемъ: «Днѣпровская русалка, опера комическая въ трехъ дѣйствіяхъ». Авторъ передѣлки—Н. С. Краснопольскій, не безызвѣстный въ свое время переводчикъ произведеній нѣмецкихъ писателей: Коцебу, Шписа и др. [3]). Въ печати первая часть «Русалки» появилась въ 1804 году, вторая — въ 1805 г. Въ томъ же 1805 году дано было на петербургской сценѣ продолженіе оперы Генслера (Die Nymphe der Donau) въ передѣлкѣ

---

1) Текстъ пьесы Генслера «Das Donauweibchen» (ч. 1 и 2) перепечатанъ въ изданіи Kürschner'a: «Deutsche National-Litteratur» B. 136 (Das Drama der klassischen Periode, 1-er Theil, hrsg. v. A. Hauffen). Изданію текста предпослана статья редактора, сообщающая біографическія свѣдѣнія о Генслерѣ и библіографію его произведеній.—Ср. Biographisches Lexicon des Kaiserthums Oesterreich v. Wurzbach, Th. VIII, 312—315; Goedeke, Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung, 2 Aufl., 5 B., I Abth., 327—330.

2) Нѣкоторые изъ этихъ отзывовъ указаны въ статьѣ Hauffen'a (ср. предшествующее примѣчаніе).

3) Списокъ трудовъ Краснопольскаго (къ сожалѣнію, не полный) помѣщенъ въ извѣстной книгѣ Геннади: Справочный словарь о русскихъ писателяхъ и ученыхъ т. I, стр. 175 и 410.

того же Краснопольскаго. Это продолженіе издано было въ 1807 г., подъ заглавіемъ: «Днѣпровская Русалка, часть третья, опера комическая въ трехъ дѣйствіяхъ» [1]).

«Русалка» Краснопольскаго давалась у насъ съ такимъ же успѣхомъ, какъ ея оригиналъ, «Das Donauweibchen» Генслера, у нѣмцевъ. «Пьеса эта, разсказываетъ лѣтописецъ русскаго театра, была представлена въ первый разъ 26 октября (1803 г.) на Большомъ театрѣ, съ великолѣпнымъ спектаклемъ и обставлена лучшими артистами... Опера «Русалка», несмотря на всю нелѣпость своего содержанія, произвела фуроръ, и въ Петербургѣ только что и говорили о ней и пѣли повсюду изъ нея аріи и куплеты: «Прійди въ чертогъ ко мнѣ златой!» «Мужчины на свѣтѣ, какъ мухи, къ намъ льнутъ»... и «Вы къ намъ вѣрность никогда не хотите сохранить»; эти аріи были въ большой модѣ, и повторялось представленіе «Русалки» черезъ день»; 5 ноября она была дана въ пользу переводчика; театръ былъ полонъ.... Въ 1804 году часто повторялась «Русалка», въ которой К. С. Семенова играла Милославу... 5 мая (1804 г.) было первое представленіе второй части «Русалки»... Обѣ части давали попеременно, обѣ равно нравились, и переводчикъ Краснопольскій получилъ бенефисъ... 25 октября (1805 г.) давали третью часть «Русалки»... Въ концѣ 1805 года пріѣхали погостить изъ Москвы Сандуновы, мужъ и жена. Елизавета Семеновна составила себѣ большую извѣстность въ Москвѣ ролью Лесты; 28 декабря она дебютировала въ 1-й части оперы «Русалка» и принята была петербургской публикой съ восторженностью» [2]). По словамъ историка русской оперы, «постановка этой оперы («Ру-

1) Въ 1807 году издана была четвертая часть «Русалки». Авторъ ея, извѣстный въ свое время драматургъ, князь Шаховской, желалъ, очевидно, восполнить своимъ трудомъ не написанное Генслеромъ окончаніе «Дунайской Нимфы». Въ 1806 году появился пересказъ «Русалки» въ повѣствовательной формѣ: «Леста или Днѣпровская Русалка. Романическая новость, вольный переводъ съ нѣмецкаго», ч. I—IV.

2) Араповъ. Лѣтопись русскаго театра, стр. 163—164, 166, 172, 182.

салка») была блестящая, успѣхъ колоссальный. Въ Петербургѣ превосходно выполняла роль Лесты молодая, очень интересная пѣвица Болина; въ Москвѣ сводила всѣхъ съ ума Сандунова. Ея пѣсня «По метлы» и арія «Вы къ намъ вѣрность никогда не хотите сохранить» повторялись во всѣхъ гостиныхъ. У барынь и барышенъ изъ мелкаго чиновничьяго быта не сходила съ клавикордъ арія Лесты: «Мужчины на свѣтѣ, какъ мухи, къ намъ льнутъ» [1]). Аріи и хоры изъ «Русалки» переходили въ пѣсенники. Такъ въ 1809 году изданъ былъ «Новѣйшій россійскій пѣсенникъ, или собраніе самыхъ отборныхъ донынѣ извѣстныхъ, употребительныхъ и новѣйшихъ всякаго рода пѣсенъ; также... арій и хоровъ изъ всѣхъ четырехъ частей Русалки» и пр. Отрывки изъ «Русалки» находимъ и въ другихъ пѣсенникахъ (1817, 1819 г, и др.).

Общее содержаніе оперы Генслера такое: рыцарь Альбрехтъ von Waldsee женится на красавицѣ Бертѣ, дочери графа Гартвига von Burgau. Во время сватовства и свадьбы Альбрехту и Бертѣ нѣсколько разъ является въ разныхъ превращеніяхъ Гульда (Hulda), дунайская никса... Альбрехтъ любилъ нѣкогда эту Гульду, которая являлась ему въ ту пору въ видѣ крестьянской дѣвушки. Теперь во время свиданій съ никсой рыцарь узнаетъ, что онъ—отецъ: Гульда показываетъ ему ихъ дитя, дѣвочку Лилли; она требуетъ, чтобы и послѣ женитьбы Альбрехтъ не забывалъ своей прежней любви: онъ можетъ жениться, но онъ долженъ три дня въ году проводить въ подводномъ замкѣ Гульды. Свиданія съ Гульдой, ея рѣчи вносятъ смуту въ сердце Альбрехта. Онъ колеблется между привязанностью къ женѣ и воспоминаніями о прежней любви. Тревожится и Берта, предчувствуя что-то недоброе. Вся эта смута и тревога завершается волшебнымъ перенесеніемъ Альбрехта въ подводный гротъ никсы. Картиной, представляющей Альбрехта въ гротѣ Гульды, заканчивается первая часть оперы. Вторая часть открывается той же

1) Морковъ. Историческій очеркъ русской оперы, стр. 59.

картиной: Альбрехтъ въ подводномъ царствѣ. Картина эта скоро, однако, смѣняется другой: по волѣ Гульды рыцарь возвращается къ своей женѣ. Слѣдуетъ затѣмъ рядъ новыхъ явленій и превращеній Гульды. Она отдала свою дочь на воспитаніе женѣ Альбрехта, который долженъ былъ поклясться, что никогда и никому не откроетъ тайны рожденія маленькой Лилли. Онъ долженъ былъ молчать о своей прежней любви. Это требованіе не было выполнено. Альбрехтъ не сдержалъ даннаго слова. Въ наказаніе за это онъ лишается жены: Берта умираетъ, пораженная молніей. Является Гульда и перемѣняетъ гнѣвъ на милость. Берта возвращена къ жизни. Пьеса заканчивается хоромъ Гульды и другихъ никсъ:

Seid glücklich, lebt in süssen Frieden и т. д.

Генслеръ задумалъ, какъ было уже замѣчено, написать продолженіе «Дунайской женщины», но написалъ только первую часть этого продолженія. Въ концѣ этой первой части «Дунайской нимфы» (въ русской передачѣ названной третьей частью «Русалки») мы находимъ Альбрехта и Берту снова разлученными. Альбрехтъ охладѣлъ къ женѣ; въ его душѣ съ новой силой поднялись воспоминанія о былой любви. Чтобы образумить его, Гульда переноситъ Берту въ свое подводное царство. Она должна оставаться здѣсь до тѣхъ поръ, пока Альбрехтъ не докажетъ своего раскаянія, пока въ его сердцѣ не проснется снова любовь къ женѣ. Сцены, изображающія радости и страданія любви, сцены, въ которыхъ появляются передъ нами Альбрехтъ, Берта, Гульда, чередуются въ пьесѣ Генслера съ сценами комическаго характера. Дѣйствующими лицами въ этихъ послѣднихъ сценахъ выступаютъ: молодящаяся старуха Salome, воспитательница Берты; одинъ изъ слугъ Альбрехта—забавный болтунъ Kaspar Larifari, называемый чаще уменьшаемымъ именемъ Käsperle; мейстерзингеръ — Minnevart, пѣвецъ любви и вина, охотно иллюстрирующій дѣйствіями содержаніе своихъ пѣ-

сенъ. Генслеръ, какъ видимъ, остался вѣренъ традиціямъ старонѣмецкихъ шуточныхъ пьесъ.

Въ русской передѣлкѣ вмѣсто нѣмецкаго рыцаря выступаетъ Видостанъ, князь полоцкій; его жена — Милослава, дочь князя черниговскаго Славомысла; дунайскую никсу замѣняетъ днѣпровская русалка — Леста, ея дочь названа Лидой; комическія фигуры: Ратима, мамка Милославы, Тарабаръ, конюшій Видостана, Кифаръ, кравчій Славомысла.

Несложное содержаніе «Днѣпровской Русалки» изложено чрезвычайно растянуто. Въ первой части оперы 53 явленія (въ нѣм. оригиналѣ 55), во второй части 55 явленій (въ нѣм. 62), всего 108 явленій (въ нѣм. 117). Въ третьей части «Русалки», соотвѣтствующей первой части «Дунайской нимфы», 47 явленій. Значительная часть этихъ явленій занята разнообразными превращеніями Лесты; въ первой части пьесы она появляется: въ видѣ старухи, барыни (verschleierte Dame), прародительницы Славомысла (Ahnfrau des Hartwigischen Geschlechtes), садовницы, молодого витязя, мельничихи (Müllermädchen), пустынницы, крестьянской дѣвушки, путешественницы, молдаванки (schwäbische Zitherschlägerin), царицы русалокъ (Nixenkönigin); во второй части: въ видѣ нищей, волшебницы, чудовища, пустынника, мельничихи, рыбачки, шинкарки, пастушки, крестьянскаго мальчика, путешественницы, царицы русалокъ. Подобныя же превращенія продолжаются и въ третьей части. Подвергаются превращеніямъ и другія дѣйствующія лица: Тарабаръ превращается въ медвѣдя (3 и 4 явл. 3 дѣйствія первой части), старуха Ратима превращается въ молодую дѣвушку (20 явл. 3 дѣйствія 2-ой части). Встрѣчаются превращенія еще болѣе причудливыя: первое дѣйствіе первой части заканчивается такъ: «Лежавшіе у мельницы мѣшки начинаютъ подниматься и приближаются къ Тарабару, который боязливо отступаетъ. Мѣшки окружаютъ его и, танцуя около Тарабара, тормошатъ его; наконецъ онъ убѣгаетъ отъ нихъ, скрывается за стоящее у берега дерево, которое превращается въ вѣтряную мельницу, на

крыльяхъ которой растянутый Тарабаръ вертится въ воздухѣ и кричитъ изо всей силы». Въ концѣ второго дѣйствія второй части «Тарабаръ, убѣгая отъ страшилищъ, прячется за пригорокъ, который превращается въ крылатаго змѣя, изрыгающаго пламя, и уноситъ въ когтяхъ своихъ Тарабара на воздухъ; выбѣжавшій медвѣдь уноситъ Кифара». Растянутость изложенія объясняется множествомъ такого рода превращеній, а сверхъ того обиліемъ вставленныхъ въ пьесу комическихъ сценъ, не имѣющихъ близкой связи съ основнымъ содержаніемъ драмы.

За всѣми этими сценами, напоминающими то феерію, то фарсъ, за этой внѣшней пестротой содержанія скрывается чрезвычайно скудное драматическое дѣйствіе. Пьеса открывается сценой княжеской охоты. Видостанъ на берегу Днѣпра. Появляются русалки; слышенъ голосъ Лесты. Этотъ знакомый голосъ напоминаетъ князю былое. Онъ убѣждается, что чары прежней любви еще сохраняютъ надъ нимъ свою силу: онъ не въ силахъ забыть минувшаго счастья, онъ хотѣлъ бы его вернуть. Эта сцена охоты, сопровождающаяся появленіемъ Лесты и тоскливымъ раздумьемъ князя, повторяется въ первой части пьесы нѣсколько разъ: въ 20 явленіи 1-го дѣйствія, въ 17 явленіи 2-го дѣйствія. Видостанъ борется съ чувствомъ привязанности къ былому, онъ желаетъ разорвать союзъ съ русалкой (см. 5 явл. 3 дѣйств. 1 части; 17 и 19 явл. 3 дѣйств. 2 части), но «память сердца» оказывается слишкомъ сильной. Въ началѣ третьей части мы снова находимъ князя на берегу Днѣпра. Онъ радъ, что можетъ «предаться восхитительнымъ воспоминаніямъ о величественномъ Днѣпрѣ», въ которомъ обитаетъ прелестная Леста».—«О, еслибъ могъ я, говоритъ онъ, увидѣть ее еще однажды, еслибъ могъ я услышать пріятный ея голосъ»!.. Неизвѣстно, чѣмъ бы разрѣшилась эта упорная душевная болѣзнь князя, еслибы въ дѣло не вмѣшалась русалка. Она разрушила семейное счастье Видостана, она же берется создать заново это счастье. Милослава переносится въ подводное царство. Эта разлука съ женой должна образумить Видостана.

II.

Пушкинъ зналъ «Днѣпровскую Русалку». Припомнимъ описаніе деревенскаго помѣщичьяго быта въ XII строфѣ второй главы «Евгенія Онѣгина»:

Богатъ, хорошъ собою Ленскій,
Вездѣ былъ принятъ, какъ женихъ;
Таковъ обычай деревенскій:
Всѣ дочекъ прочили своихъ
За полу-русскаго сосѣда.
Войдетъ ли онъ, тотчасъ бесѣда
Заводитъ слово стороной
О скукѣ жизни холостой.
Зовутъ сосѣда къ самовару,
А Дуня разливаетъ чай;
Ей шепчутъ: «Дуня примѣчай!»
Потомъ приносятъ и гитару,
И запищитъ она (Богъ мой!):
«Приди въ чертогъ ко мнѣ златой».

Ленскій вынужденъ прослушать въ пискливомъ исполненіи Дуни нѣсню Лесты въ 4-мъ явленіи 1-го дѣйствія первой части «Русалки» [1]). Вотъ эта любимая въ старину пѣсня въ русскомъ переводѣ и въ нѣмецкомъ оригиналѣ:

Приди въ чертогъ ко мнѣ златой,
Приди, о князь ты мой драгой!
Тамъ все пріятство соберешь,
Невѣсту милую найдешь.

1) Это шутливое упоминаніе о пѣснѣ Лесты не прошло безслѣдно. Любопытное свидѣтельство объ этомъ находимъ въ книгѣ Н. Маркевича: «Украинскія мелодіи» (М. 1831 г.): «Днѣпровская Русалка, говоритъ Маркевичъ, которая столько лѣтъ или десятковъ лѣтъ увеселяла нашу публику, приняла бытіе свое отъ Днѣпра; если устарѣла опера, то воспоминаніе удовольствій, которыя она намъ когда-то доставляла, придаетъ ей большую цѣну; только недавно, *благодаря А. С. Пушкину, перестали петь наши красавицы аріи изъ Днѣпровской Русалки*» (стр. 129).

In meinem Schlosse ist's gar fein,
Komm, Ritter, kehre bei mir ein.
Mein Schlösslein ist gar schön gebaut,
Du findest eine reiche Braut.

Познай, сколь я тебя люблю
И нѣжнымъ чувствіемъ горю.
Хоть ищутъ всѣ любви моей,
Но тщетенъ будетъ трудъ ихъ сей.

Du weisst es nicht, wie gut ich bin,
Mein Herz hegt sanften Liebessinn.
Viel Freier buhlen nah und fern
Und möchten mich zum Weibchen gern.

Я страсть ихъ буду презирать
И только лишь къ тебѣ пылать.
Хочу твоею только быть
И одного тебя любить.

Was helfen alle Freier mir,
Mein Liebessinn steht nur nach dir.
Nur deine Braut wünscht'ich zu sein
Komm, lieber Ritter, komm herein!

Другимъ доказательствомъ знакомства нашего великаго поэта съ переводной «Русалкой» можетъ служить произведеніе самого Пушкина съ такимъ же заглавіемъ.

Сходство общаго содержанія двухъ «Русалокъ» очевидно. Въ томъ и другомъ произведеніи главныя дѣйствующія лица одни и тѣ же: князь, его бывшая подруга—русалка, маленькая дочь этой русалки и жена князя. Завязка драмы и въ «Русалкѣ» Краснопольскаго и въ «Русалкѣ» Пушкина связана съ женитьбой князя. Свадьба сыграна. Но и послѣ женитьбы князь въ пушкинской «Русалкѣ», какъ и Видостанъ въ переводной пьесѣ, возвращается мыслью и сердцемъ къ воспоминаніямъ о прежней

любви. Жена князя страдаетъ, замѣчая охлажденіе мужа; страдаетъ Милослава, замѣчая охлажденіе Видостана. Тяжелое положеніе осложняется существованіемъ ребенка, дочери князя и русалки. Значительную роль играетъ въ переводной «Русалкѣ» маленькая Лида, дочь Лесты и Видостана. Эта близость по содержанію «Русалки» Пушкина и «Русалки» Краснопольскаго откроется еще съ большей ясностью, если обратимъ вниманіе на сходство подробностей. Вотъ нѣсколько примѣровъ такого именно частичнаго, въ нѣкоторыхъ случаяхъ очень интереснаго сходства.

Мѣстомъ дѣйствія пушкинской «Русалки» представляется берегъ Днѣпра (сцены 1, 4, 6), княжескій теремъ (сц. 2, 4) и теремъ русалки на днѣ Днѣпра (сц. 5). Тотъ же берегъ Днѣпра (вмѣсто берега Дуная нѣмецкаго оригинала) и тотъ же подводный дворецъ находимъ и въ переводной «Русалкѣ». И Леста и пушкинская русалка—*русалки днѣпровскія*. На берегу Днѣпра застаемъ мы Видостана и пушкинскаго князя. Въ концѣ первой части переводной оперы «театръ представляетъ хрустальные чертоги русалки на днѣ Днѣпра». Русалки поютъ: «Благоденствуй, *царица* драгая» и т. д. При той же декораціонной обстановкѣ начинается 1 дѣйствіе второй части. Въ пятой сценѣ «Русалки» Пушкина мѣсто дѣйствія опредѣляется такъ: «Днѣпровское дно. Теремъ русалокъ. Русалки прядутъ около своей *царицы*». Есть въ переводной пьесѣ и мельница на берегу Днѣпра. Въ 19 явленіи 1 дѣйствія 1 части «театръ представляетъ *берегъ Днѣпра;* съ одной стороны *мельница*, близъ которой лежатъ нѣсколько мѣшковъ съ мукою; съ другой стороны на берегу *большое дерево* (ср. у Пушкина «дубъ завѣтный» въ 4 сценѣ). Подобная же картина повторяется въ 16 явленіи 2 дѣйствія третьей части: «театръ представляетъ пріятное мѣстоположеніе; вдали рѣка Днѣпръ, на берегу которой видна мельница».

Пушкинская русалка — дочь мельника. Въ видѣ мельничихи (Müllermädchen) появляется и Hulda-Леста въ нѣкоторыхъ сценахъ переводной оперы. Такъ, въ 15 явленіи 2 дѣйствія 1 части

выступаютъ въ нѣмецкой пьесѣ пѣвецъ Minnewart и Hulda als Müllermädchen; въ русскомъ переводѣ: Тарабаръ и Леста въ видѣ *мельничихи*. На вопросъ Тарабара: «Кто ты такова? Кого тебѣ надобно?» Леста отвѣчаетъ: «*Я дочь здѣшняго мельника* и послана къ пріѣзжему князю, который называется Видостаномъ». Тотъ же видъ принимаетъ Леста въ 1 и 2 явленіяхъ 2 части. Маленькая Лида взята Милославой. Леста появляется въ видѣ дочери мельника; она желаетъ занять мѣсто няни у княжеской воспитанницы. Видостанъ: «Княгиня! Кто такова эта дѣвушка?» Милослава: «*Это дочь здѣшняго мельника*. Я взяла ее для маленькой нашей Лиды».

Между первой и второй сценами Пушкинской «Русалки» проходитъ пять лѣтъ.

Княгиня:

Я слыхала,
Что будто бы до свадьбы онъ любилъ
Какую-то красавицу, простую
Дочь мельника.

Мамка:

Да, такъ и я слыхала,
Тому давно, *годовъ ужъ пять* и больше;
Но дѣвушка, какъ слышно, утопилась.

То же число лѣтъ указывается и въ переводной «Русалкѣ». Въ 5 явленіи 3 дѣйствія 1 части Видостанъ, вспоминая былое, обращается къ своему конюшему съ вопросомъ: «Помнишь ли ты эту крестьянскую дѣвушку, которая приняла насъ въ свою хижину въ то время, какъ гроза застигла насъ въ этомъ лѣсу?» Конюшій отвѣчаетъ: «Какъ не помнить! Хотя и прошло тому *лѣтъ пять*, но я помню и то, что она была пригожая дѣвушка, и хотя укрыла насъ въ хижинѣ отъ грозы, но зато голубыми своими очами сильно изранила твое сердце». Въ 5 явленіи 3 дѣйствія 1 части Леста, принявшая видъ «пустынницы», говоритъ

Видостану: «Князь! неужели ты забылъ ту крестьянку, которая *пять лѣтъ* тому назадъ приняла тебя столь ласково въ свою хижину?» Любопытно, что русскій переводчикъ отступилъ здѣсь отъ оригинала, указывающаго не пять, а четыре года: «Erinnerst du dich nicht mehr jenes Köhlermädchens das dich vor *vier Jahren* so liebevoll in ihre Hütte aufnahm?»

Веселье гостей, пирующихъ на княжеской свадьбѣ, смущено голосомъ невѣдомой пѣвицы, которая поетъ не свадебную пѣсню.

Князь догадывается, что пѣла дочь мельника. Онъ «встаетъ изъ-за стола и говоритъ тихо конюшему»:

Вѣдь *мельничиха* здѣсь,
Скорѣе выведи ее. Да свѣдай,
Кто смѣлъ ее впустить.

По первоначальной редакціи «Русалки» пѣвица была замѣчена, но не узнана. «Дѣвушка подъ покрываломъ переходитъ черезъ комнату». Ее видѣли дружки и сваха. И на свадебномъ пиру князя Видостана появляется русалка Леста въ видѣ странствующей молдаванской пѣвицы (въ нѣм. оригиналѣ «als schwäbische Zitherschlägerin»). Она играетъ на бандурѣ и поетъ пѣсню. «По окончаніи аріи... Леста глядитъ пристально на Видостана». Этотъ взглядъ обращаетъ общее вниманіе. Одинъ изъ слугъ князя готовъ прогнать пѣвицу: «Этакихъ гостей знаешь ли какъ провожаютъ!» — говоритъ «кравчій», обращаясь къ Лестѣ. Она требуетъ, чтобы князь угостилъ ее «кубкомъ меду сладкаго». Видостанъ *подаетъ ей кубокъ трепеща*.

Припомнимъ 3 сцену пушкинской «Русалки»: князь, отправившійся на охоту, остается одинъ на берегу Днѣпра: охотники возвращаются домой; княгиня спрашиваетъ ловчаго:

Что князь? Гдѣ онъ?

Ловчій:

Князь приказалъ домой
Отъѣхать намъ.

Княгиня:

А гдѣ жъ онъ самъ?

Ловчій:

Остался
Одинъ въ лѣсу, на берегу Днѣпра.

Княгиня:

И князя вы осмѣлились оставить
Тамъ одного? Усердные вы слуги! . . . .
Сейчасъ назадъ, сейчасъ къ нему скачите!
Сказать ему, что я прислала васъ.
Ахъ, Боже мой! Въ лѣсу ночной порою
И дикій звѣрь, и лютый человѣкъ,
И лѣшій бродитъ,—долго-ль до бѣды!

Сходную сцену находимъ въ третьей части «Днѣпровской Русалки». Кн. Видостанъ отправляется на охоту и долго не возвращается домой. Его не привлекаетъ родной домъ. «Останусь здѣсь и отдохну,—говоритъ онъ.—Я очень усталъ, ходя по лѣсу, но не могу и не желаю возвратиться домой. Что мнѣ тамъ дѣлать? Развѣ слышать скучные упреки отъ Милославы?» Охотники ищутъ князя, но не находятъ его. Милослава въ тревогѣ. Къ ней является одинъ изъ слугъ—Вирсанъ.

Милослава:

Такъ ты не могъ найти Видостана?

Вирсанъ:

Нѣтъ, княгиня!

Милослава:

Не случилось ли съ нимъ какого несчастія?

ВИРСАНЪ:

Не опасайся ничего. Ты знаешь, что онъ бываетъ нынѣ на охотѣ по нѣскольку сутокъ, и т. д.

Въ 4 сценѣ пушкинской «Русалки» мы находимъ князя на берегу Днѣпра. Князь вспоминаетъ былое:

Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ
Меня влечетъ невѣдомая сила...
Знакомыя печальныя мѣста!
Я узнаю окрестные предметы
. . . . . .
Ахъ, вотъ и дубъ завѣтный! Здѣсь она,
Обнявъ меня, поникла и умолкла...
Возможно ли? (идетъ къ деревьямъ; *листья сыплются*)
Что это значитъ? Листья,
Поблекнувъ вдругъ, свернулися и съ шумомъ,
Какъ дождь, посыпалися на меня!
Передо мной стоитъ онъ голъ и черенъ,
Какъ дерево проклятое.

Сходныя подробности находимъ въ 4 явленіи 1 дѣйствія 1 части переводной «Русалки».

«Видостанъ (садится подъ дерево). Я какъ будто приколдованъ къ этому мѣсту и не могу забыть того, что со мною приключилось (*Листья съ дерева на него сыплются.* Вскочивъ): *Что это значитъ?* Какое невидимое существо окружаетъ меня?» Является Леста [1]). Грустное раздумье Видостана, изображенное

1) Въ нѣмецкомъ оригиналѣ иныя подробности: «Albrecht (allein, setzt sich auf einen Rasen): Ist mir doch, als wenn ich an diesen Ort hingezaubert wäre. Wie sehnlichst wünschte ich über das Geschehene Auflösung zu erfahren (*ein Wirbelwind rauscht vorüber*, er springt auf). Was ist das? Welch ein unsichtbares Wesen umschwebt mich?»—Любопытно, что образъ, введенный Краснопольскимъ (опаданіе листьевъ), встрѣчается въ области народно-пѣсенной символики. Припомнимъ выраженіе Слова о Полку Игоревѣ: «Древо не бологомъ листвіе сронии». Въ народной пѣснѣ: «Ой пійду я у садочок, аж лист опадае; бідна же моя головонька: жених покидае».

въ этой сценѣ, повторяется, какъ было уже замѣчено нѣсколько разъ. Такъ, въ 20 сценѣ 1 дѣйствія 1 части мы снова находимъ Видостана на берегу Днѣпра. «Напрасно, говоритъ онъ, хожу я по берегу быстраго Днѣпра. Напрасно ожидаю съ нетерпѣніемъ ненастижимаго привидѣнія; очаровательное пѣніе, которое восхищало меня сегодня, безпрестанно раздается въ душѣ моей и *влечетъ меня сюда* подобно магниту [1]).

И у Пушкина въ 6 сценѣ «Русалки» повторяются тѣ же печальныя размышленія князя, которыя уже намъ извѣстны по 4 сценѣ.

Князь опять на берегу Днѣпра. Онъ говоритъ:

Невольно къ этимъ грустнымъ берегамъ
Меня влечетъ невѣдомая сила!
Все здѣсь напоминаетъ мнѣ былое
И вольной, красной юности моей
Любимую, хоть горестную повѣсть.

Первыя двѣ строки почти дословно сходны съ приведеннымъ выше отрывкомъ изъ 4-ой сцены.

Сопоставленіе «Русалки» Пушкина съ «Русалкой» Краснопольскаго убѣждаетъ насъ въ несомнѣнномъ родственномъ сходствѣ этихъ двухъ произведеній. Но это же сопоставленіе двухъ «Русалокъ» открываетъ намъ и глубокую разницу «беззаконнаго рисунка» и геніальной картины. Пушкинъ зналъ переводную «Русалку», онъ перенесъ изъ нея въ свое произведеніе нѣкоторые литературные мотивы, но въ передѣлкѣ великаго поэта и основной сюжетъ драмы и ея частности получили не только новую, болѣе блестящую оболочку, но и новый, болѣе глубокій смыслъ. Передѣлка коснулась и построенія драмы и изложенія отдѣльныхъ подробностей.

1) Въ нѣмецкомъ оригиналѣ: «Nun wandle ich hin und her an dem Ufer der spiegelhellen Donau, warte so sehnlich auf die rätselhafte Erscheinung und nur die zauberischen Töne, die mein Ohr heute früh schon entzückten, zieben mich mit magnetischer Kraft hierher.

Все, напоминающее театральную феерію и фарсъ, всѣ превращенія и шутовскія сцены исчезли, конечно, въ «Русалкѣ» Пушкина. Въ первой редакціи второй сцены русалка появляется на свадебномъ пиру въ образѣ «дѣвушки подъ покрываломъ»; позже Пушкинъ выбросилъ и этотъ слабый намекъ на превращенія Лесты. Въ той же сценѣ выступаетъ сватъ, образъ котораго обрисовывается въ пѣснѣ дѣвушекъ («Сватушка, сватушка! безтолковый сватушка!») чертами нѣсколько комическими. Но эти комическія черты не имѣютъ, какъ увидимъ, ничего общаго съ шутовскими сценами «Днѣпровской Русалки». Вмѣстѣ съ исчезновеніемъ шутовства должны были удалиться и нѣкоторыя дѣйствующія лица, такія, какъ Кифаръ или Тарабаръ. Мамка княгини удержана, но она потеряла смѣшныя черты влюбчивой старухи Ратимы, мамки Милославы. Кромѣ комическихъ лицъ, Пушкинъ нашелъ также лишнею роль отца княгини (Славомысла въ переводной оперѣ). И въ переводной «Русалкѣ», и въ пьесѣ Пушкина находимъ въ числѣ дѣйствующихъ лицъ: князя, княгиню, русалку, ея дочь, охотниковъ и слугъ князя, русалокъ, но въ старой оперѣ мы не найдемъ, конечно, отца русалки—мельника, не найдемъ также дѣйствующихъ лицъ старо-русскаго свадебнаго чина: свата, свахи, дружка.

Въ переводной «Русалкѣ» изложеніе драматическаго сюжета растянуто на сотню явленій. «Русалка» Пушкина обрывается на шестой сценѣ, но въ этихъ немногихъ сценахъ великій поэтъ успѣлъ развернуть передъ нами такую потрясающую психологическую картину, о какой и не думали Генслеръ и Краснопольскій.

Леста—русалка. Она, правда, способна полюбить человѣка, даже стать матерью, но все это не измѣняетъ ея нечеловѣческой природы. Леста какъ будто играетъ съ Видостаномъ: возбуждаетъ его страсть, разбиваетъ его семейное счастье, доводитъ до отчаянія, а потомъ, какъ покровительница рода Милославы [1]),

1) Въ 5 явленіи 2 дѣйствія 1 части Леста является «въ видѣ прародительницы Милославиной». Милослава узнаетъ, что четыреста лѣтъ тому назадъ

беретъ ее подъ свою защиту, пытается образумить князя, вернуть его къ семейному очагу. Видостанъ знакомится съ русалкой, принявшей видъ крестьянской дѣвушки. Князь въ произведеніи Пушкина сближается съ дочерью мельника, которая лишь позже дѣлается русалкой. Эта замѣна русалки дѣвушкой, дочерью мельника, сразу переноситъ насъ изъ области волшебной сказки въ кругъ реальныхъ человѣческихъ отношеній. Молодому человѣку приглянулась дочь мельника. Старикъ-отецъ снисходительно смотритъ на сближеніе молодыхъ людей. Онъ напоминаетъ дочери, чтобы она не забыла извлечь изъ этого сближенія побольше барыша: нужно молодого человѣка «заманивать то строгостью, то лаской», заговаривать о свадьбѣ,

А коли нѣтъ на свадьбу ужъ надежды,
То все-таки, по крайней мѣрѣ, можно
Какой-нибудь барышъ себѣ иль пользу
Роднымъ да выгадать; подумать надо:
«Не вѣчно жъ будетъ онъ меня любить
И баловать меня».

Князь любитъ дѣвушку, но его любовь — чувство не глубокое, поверхностное. Молодому человѣку сосватали подходящую «по расчетамъ иныхъ людей» невѣсту, и онъ готовъ жениться, а отъ своей прежней привязанности надѣется отдѣлаться дорогимъ подаркомъ [1]). Прощаясь съ дочерью мельника, онъ говоритъ:

Не забывай меня! Возьми на память
Повязку, дай, тебѣ я самъ надѣну.

Леста обитала въ томъ теремѣ, гдѣ живетъ теперь Милослава. Леста любила одного изъ предковъ черниговскаго князя. Милослава—единственная правнука Лесты.

1) Есть упоминаніе о подаркахъ и въ переводной «Русалкѣ». Въ пятомъ явленіи третьяго дѣйствія первой части Леста и Лида появляются въ видѣ крестьянскихъ дѣвушекъ. Леста напоминаетъ Видостану о прежней любви, говоритъ, что ребенокъ, ее сопровождающій — дочь ея и князя. Видостанъ желаетъ отдѣлаться отъ объясненій. «Я васъ не оставлю, говоритъ онъ. Завтра возвращусь я къ вамъ и награжу васъ золотомъ и дорогими каменьями».

Еще привезъ съ собою ожерелье,
Возьми его. Да вотъ еще: отцу
Я это посулилъ, отдай ему.
(Даетъ ей въ руки мѣшокъ съ золотомъ)
Прощай!

За этой рѣчью князя и этимъ «прощай» слѣдуетъ поразительное по силѣ драматическаго выраженія признаніе дѣвушки:

Она.

Постой, тебѣ сказать должна я—
Не помню что.

Князь.

Припомни.

Она.

Для тебя
Я все готова... Нѣтъ, не то... Постой...
Нельзя, чтобы навѣки, въ самомъ дѣлѣ,
Меня ты могъ покинуть... Все не то...
Да, вспомнила: сегодня у меня
Ребенокъ твой подъ сердцемъ шевельнулся.

Но и это съ такой болью вырвавшееся признаніе не трогаетъ князя, не вызываетъ движенія чувства. Онъ даетъ дѣвушкѣ благоразумныя наставленія о необходимости беречь себя для ожидаемаго ребенка и радъ въ душѣ, что легко отдѣлался отъ непріятнаго объясненія:

Ухъ, кончено! Душѣ какъ будто легче.
Я бури ждалъ, но дѣло обошлось
Довольно тихо.

Сердце дѣвушки полно безысходной тоски и непосильныхъ страданій. Она покинута, забыта для другой; этого мало: она оскорблена.

И могъ онъ,
Какъ добрый человѣкъ, со мной прощаться,
И мнѣ давать подарки. Каково?
И деньги... Выкупить себя онъ думалъ!
Онъ мнѣ хотѣлъ языкъ засеребрить!
Чтобъ не прошла о немъ худая слава
И не дошла до молодой жены!

Дѣвушка сбрасываетъ позорные подарки, повязку и ожерелье.

Вотъ вѣнецъ мой,
Вѣнецъ позорный! Вотъ чѣмъ насъ вѣнчалъ
Лукавый врагъ, когда я отреклась
Ото всего, чѣмъ прежде дорожила!
Мы развѣнчались. Сгинь ты, мой вѣнецъ!
(Бросаетъ повязку въ Днѣпръ)
Теперь все кончено... (Бросается въ рѣку)

Въ слѣдующихъ сценахъ мы встрѣчаемся уже не съ дочерью мельника, а съ русалкой. Послѣ того, съ чѣмъ познакомилъ насъ поэтъ въ первой сценѣ, этотъ фантастическій образъ водяной дѣвы получаетъ живое, психологически-реальное значеніе. Эта русалка-мать поднимается изъ воды точно олицетворенный упрекъ, олицетворенное воспоминаніе о невозвратномъ и неисправимомъ быломъ,—своего рода демонъ, губящій и старика-мельника и молодого князя. Помѣшавшійся старикъ живетъ былымъ. Воспоминанія и дѣйствительность путаются въ его больной головѣ. Встрѣчая князя, мельникъ говоритъ:

Зачѣмъ вечоръ ты не пріѣхалъ къ намъ?
У насъ былъ пиръ, тебя мы долго ждали.

Князь.

Кто ждалъ меня?

Старикъ.
Кто ждалъ? Вѣстимо, дочь.
Ты знаешь, я на все гляжу сквозь пальцы
И волю вамъ даю: сиди она
Съ тобою хоть всю ночь, до пѣтуховъ—
Ни слова не скажу я.

Къ этому веселому отрывку изъ воспоминаній о прошедшемъ примѣшивается другой, страшный отрывокъ. Князь приглашаетъ старика перебраться въ его теремъ. Мельникъ отвѣчаетъ:

Въ твой теремъ? Нѣтъ, спасибо!
Заманишь, а потомъ меня, пожалуй,
Удавишь ожерельемъ...

Роковая сила былого овладѣваетъ и княземъ. Онъ чувствуетъ эту «невѣдомую силу», которая влечетъ его къ берегамъ Днѣпра. Размышленія князя о прошломъ счастьѣ прерываются появленіемъ русалочки:

Что я вижу?
Откуда ты, прелестное дитя?

На этихъ словахъ обрывается, какъ извѣстно, текстъ пушкинской «Русалки», извѣстный по посмертному изданію въ VI томѣ «Современника» 1837 года. Но мы знаемъ, зачѣмъ явилась русалочка. Посылая свою дочь, русалка говоритъ:

Ступай же. Съ той поры,
Какъ бросилась безъ памяти я въ воду
Отчаянной и презрѣнной дѣвчонкой
И въ глубинѣ Днѣпра-рѣки очнулась
Русалкою холодной и могучей,
Прошло ужъ восемь долгихъ лѣтъ;
Я каждый день о мщеньѣ помышляю,
И нынѣ, кажется, мой часъ насталъ...

Это часъ, когда князь долженъ расплатиться за свое послѣднее холодное «прощай». Онъ не знаетъ, и не узнаетъ о затаенномъ мщеньѣ. Онъ не слышалъ тѣхъ страшныхъ словъ, которыми отвѣтила дочь мельника на его «прощай»: «Мы развѣнчались! Сгинь ты, мой вѣнецъ!» Въ памяти князя живъ милый образъ покинутой, но любящей женщины. Онъ ждетъ теперь не расплаты, а прощенья, не мести, а отвѣта на свой безумный порывъ къ тому, что прошло. Онъ не въ силахъ задуматься надъ тѣмъ, куда влечетъ его «невѣдомая сила». Его должны обмануть слова любви, — слова, которыя прозвучатъ, какъ отголосокъ его собственныхъ думъ о дорогомъ быломъ:

И если спроситъ онъ,
Забыла ль я его иль нѣтъ, скажи,
Что все его я помню и люблю,
И жду къ себѣ...

Трагизмъ положенія увеличивается еще тѣмъ, что все та же «невѣдомая сила» втягиваетъ въ кругъ своего губящаго вліянія еще одно человѣческое существованіе... То, что приходится испытывать постылой женѣ князя, ея сомнѣнія и муки, мы узнаемъ изъ разговора княгини съ мамкой:

Ахъ, мамушка! Какъ былъ онъ женихомъ,
Онъ отъ меня на шагъ не отлучался,
Съ меня очей, бывало, не сводилъ;
Женился онъ, и все пошло не такъ!
Теперь меня ранехонько разбудитъ
И ужъ велитъ себѣ коня сѣдлать,
Да до ночи, Богъ вѣдаетъ, гдѣ ѣздитъ...

И теперь князя нѣтъ дома. Мы знаемъ, что онъ на берегу Днѣпра бесѣдуетъ съ русалочкой. По программѣ, сохранившейся въ бумагахъ Пушкина, за сценой встрѣчи князя съ русалкой должна была слѣдовать сцена, въ которой выступали княжескіе охотники:

«Князь, старикъ и русалочка. Охотники». Роль этихъ охотниковъ будетъ вполнѣ ясна, если припомнить слова княгини въ концѣ третьей сцены:

Сейчасъ назадъ, сейчасъ къ нему скачите!
Сказать ему, что я прислала васъ.

Охотники должны отыскать князя, должны вернуться вмѣстѣ съ нимъ или, по крайней мѣрѣ, принести княгинѣ вѣсть объ ея мужѣ. Какой же вѣсти можетъ ожидать княгиня? Слова русалки о наступившемъ часѣ мщенья, рѣчь князя о невѣдомой силѣ, которая владѣетъ его волей, даетъ предчувствовать, что вѣсть будетъ недобрая... Княгиня узнаетъ, вѣроятно, о двойной потерѣ въ одномъ лицѣ: тотъ, кого она любила, ей измѣнилъ; мужъ ея погибъ въ Днѣпрѣ...

Въ русской до-пушкинской литературѣ былъ разсказъ съ содержаніемъ, напоминающимъ «Русалку». Я припоминаю «Бѣдную Лизу» Карамзина. Молодой человѣкъ Эрастъ, «довольно богатый дворянинъ», любитъ бѣдную крестьянскую дѣвушку, Лизу. Разсчетъ заставляетъ его жениться на другой. «Онъ... былъ въ арміи, но вмѣсто того, чтобы сражаться съ непріятелемъ, игралъ въ карты и проигралъ почти все свое имѣніе... Ему оставался одинъ способъ поправить свои обстоятельства—жениться на пожилой богатой вдовѣ, которая давно была влюблена въ него». Эрастъ женится и разстается съ Лизой. Прощаясь, онъ даритъ ей деньги. Лиза оскорблена. Она не можетъ перенести разлуки и обиды и разстается съ жизнью, бросаясь въ воду. Повѣсть Карамзина отвѣчаетъ по содержанію первой сценѣ пушкинской «Русалки», но у Карамзина нѣтъ той страшной драмы, которая раскрывается въ дальнѣйшихъ сценахъ «Русалки»; нѣтъ граціозно-трагическаго образа русалки, нѣтъ намека на материнство покинутой дѣвушки, нѣтъ и грустно-прелестнаго образа, соотвѣтствующаго Пушкинской княгинѣ. Присутствіе «невѣдомой силы» не обнаруживается въ самой повѣсти. На эту силу указы-

ваетъ лишь заключительная авторская замѣтка: «Лизина мать услышала о страшной смерти дочери своей, и кровь ея отъ ужаса охладѣла, глаза на вѣкъ закрылись... Эрастъ былъ до конца жизни своей несчастливъ. Узнавъ о судьбѣ Лизы, онъ не могъ уже утѣшиться и почиталъ себя убійцею».

III.

Генслеръ назвалъ свою пьесу «романтически-комической *народной сказкой*» (Ein romantisch-komisches Volksmärchen). Такимъ образомъ, по указанію самого автора, мы должны предполагать народно-поэтическую основу переводной «Русалки». Достовѣрность этого указанія можетъ быть провѣрена. Мы не знаемъ, правда, какую именно сказку имѣлъ въ виду Генслеръ, но намъ извѣстно нѣсколько народныхъ разсказовъ съ содержаніемъ, сходнымъ съ основой генслеровой пьесы. Вотъ нѣсколько примѣровъ изъ области нѣмецкихъ и славянскихъ преданій.

Въ Тюрингіи записанъ разсказъ о феѣ (Nixe) озера, полюбившей и погубившей молодого человѣка. Фея вышла изъ озера въ видѣ молодой, стройной дѣвушки. Она танцовала съ приглянувшимся ей юношей, ласкала и цѣловала его. Прощаясь съ своимъ любимцемъ, фея заплакала. Она сказала, что ушла изъ озера противъ воли отца, а потому ей грозитъ опасность поплатиться жизнью за недолгое наслажденіе. Пусть молодой человѣкъ придетъ на другой день къ озеру: если вода окажется чистой и прозрачной, онъ можетъ быть увѣренъ, что фея жива, мутная вода будетъ знакомъ ея смерти. Молодой человѣкъ исполнилъ то, что было ему сказано: пришелъ къ озеру, посмотрѣлъ на воду; вода оказалась мутной. Влюбленный бросается въ озеро [1]).

Другого рода преданіе о никсѣ пріурочено къ городу Шлейзингену. Городъ этотъ основанъ былъ графомъ von der Brunn-

1) Der Sagenschatz und die Sagenkreise des Thüringerlandes, herausg. v. L. Bechstein. 3-ter Theil, № 72, S. 236—237.

stätt при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Графъ во время охоты долго и безуспѣшно гнался за бѣлой ланью. Утомившись, онъ прилегъ отдохнуть на берегу небольшого озера. Является водяная фея и открываетъ охотнику, что бѣлая лань — ея дочь, превращенная въ животное злымъ колдуномъ. Колдунъ убитъ. Лань принимаетъ видъ дѣвушки необыкновенной красоты. Графъ женится на ней; въ память необыкновеннаго происшествія онъ основываетъ названный выше городъ [1]). Ближе къ сюжету «Русалки» сказаніе о рыцарѣ Штауффенбергѣ и морской феѣ, извѣстное въ пѣсенной передачѣ. Рыцарь Петръ возвращается домой изъ чужой страны. На пути онъ встрѣчаетъ морскую фею въ образѣ женщины чарующей красоты. Увлеченный этой красотой, пылкій рыцарь спѣшитъ объясниться въ любви. Красавица не отвѣчаетъ отказомъ, но требуетъ, чтобы ея избранникъ остался ей вѣрнымъ навсегда:

Ich bin die deine, ewig dein,
Doch musst du auch der Meine sein.
Nie darfst du nehmen ein ander Weib,
Dir eigen ist mein schöner Leib
In jeder Nacht, wo du begehrst,
Und Macht, und Reichthum dir beschert,
Ein ewig endeloses Leben
Will ich durch meine Kraft dir geben.

Если Петръ измѣнитъ обѣту вѣрности, если онъ женится на другой, онъ будетъ наказанъ смертью. Шло время. Взаимная любовь Петра и феи оставалась неизмѣнной. Случилось рыцарю отправиться изъ своего замка ко двору императора на праздникъ коронаціи. На этомъ праздникѣ замѣтилъ рыцаря король и предложилъ ему жениться на своей родственницѣ. Рыцарь не можетъ отказаться отъ этого брака. Во время свадебнаго пира ему является образъ дитяти:

1) Ibid. № 74, S. 242—243.

Er sah in dem kristallnen Pokale
Ein Kind, das schlief beim lauten Mahle,
Es schlief vom Weine überdeckt,
Ein Füsschen hat es vorgestreckt;
Doch wie der Wein getrunken aus,
So schwand das Kindlein auch hinaus.

Рыцарь предчувствуетъ бѣду. Предчувствіе не обмануло. Спустя нѣсколько дней онъ умеръ [1]).

Нѣмецкіе поэты не разъ обращались къ этимъ народнымъ преданіямъ о водяныхъ феяхъ, вводили эти преданія въ область художественнаго творчества. Припомнимъ балладу Гете: «Рыбакъ» и повѣсть Ламмотъ-Фуке «Ундина». То и другое произведеніе перенесено было въ нашу литературу Жуковскимъ: «Рыбакъ» переведенъ въ 1818 году, «Ундина» въ 1833—1836 годахъ.

Нѣсколько преданій о водяныхъ женщинахъ записано въ Чехіи. Вотъ два примѣра. Рыбакъ Смиль, занимаясь своимъ промысломъ, не разъ слышалъ чудную мелодію, которую пѣлъ какой-то женскій голосъ. Долго рыбакъ не могъ узнать, кто эта необыкновенная пѣвица. Но разъ ему удалось увидѣть близъ воды русалку. Она-то и пѣла пѣсню. Смиль знакомится съ водяной женщиной и влюбляется въ нее. Русалка отвѣчаетъ взаимностью, соглашается стать женой рыбака. Отъ этого брака родилась дочь, которую родители назвали Кветной. Когда дѣвочка подросла, мать простилась съ нею и исчезла. Смиль не въ силахъ былъ пережить своей потери и бросился въ воду [2]). Другое пре-

1) Des Knaben Wunderhorn, Alte deutsche Lieder, ges. v. *L. A.* v. Arnim und Clemens Brentano, 1-ter Band (=L. A. v. Arnim Sämmtliche Werke, XIII-ter Band) S. 412—438. Помѣщено два варіанта: a) Ritter Peter von Stauffenberg und die Meerfeie (Bearbeitet nach: Erneuerte Beschreibung der wahrhaften Geschichte von Herrn Peter von Stauffenberg genannt Diemringer. Zu Strassburg bey B. Jobins Erben. 1599); b) Der Ritter von Stauffenberg (Bearbeitet nach: der Ritter von Stauffenberg, ein altdeutsches Gedicht, herausg. von C. M. Engelhardt. Strassburg. 1823). Ср. Goedeke. Grundriss zur Geschichte der deutschen Dichtung, 2 Aufl., 1-ter B., 259.

2) Sagen aus Böhmen ges. v. S. V. Grohmann. S. 138—139.

данiе разсказываетъ о молодомъ человѣкѣ, который увлеченъ былъ русалкой въ озеро и жилъ нѣкоторое время въ подводномъ замкѣ. Юношѣ, который тяготится необычной жизнью, удается выбраться изъ озера. Онъ возвращается на родину и женится. Измѣна не остается безъ мщенiя: во время охоты бывшiй любимецъ русалки падаетъ въ колодецъ, въ которомъ жилъ родственникъ водяной женщины. Измѣнникъ убитъ; трупъ его переданъ русалкѣ [1]). Одно изъ подобныхъ же преданiй было пересказано Пушкинымъ въ пѣснѣ: «Янышъ-королевичъ». Преданiе оказывается связаннымъ съ именемъ знаменитой королевы Любуши [2]).

Поэтическая проницательность, воспитанная изученiемъ народнаго быта и народной поэзiи, помогла Пушкину открыть народно-эпическую основу переводной «Русалки». Этой эпической основѣ должна была отвѣчать и литературная обработка. Пушкинъ удержалъ, какъ мы видѣли, основу и кое-какiя подробности переводной пьесы, но онъ сумѣлъ слить эти подробности съ поэтическимъ матерiаломъ другого рода, — съ повѣрьями и обрядами, завѣщанными русской стариной.

Остановимся на второй сценѣ «Русалки». Вся эта сцена представляетъ художественное воспроизведенiе старо-русскаго свадебнаго чина. «Молодыхъ кормятъ жаренымъ пѣтухомъ, осыпаютъ хмелемъ». Дружко долженъ разъѣзжать ночью подъ окнами молодыхъ. Хоръ дѣвушекъ поетъ пѣсни; одна изъ этихъ пѣсенъ подшучиваетъ надъ сватомъ. Для всѣхъ этихъ подроб-

---

1) Ibid. 147—148.

2) Въ концѣ прошлаго и въ началѣ истекающаго столѣтiя имя чешской королевы Любуши, преданiя о ней не разъ привлекали къ себѣ вниманiе европейскихъ писателей. Въ 1779 г. Гердеръ издалъ сборникъ народныхъ пѣсенъ; въ ряду пѣсенъ помѣщено стихотвореніе о Любушѣ: «Die Fürstentafel. Eine böhmische Geschichte». Въ 1784 г. I. A. Musäus издалъ сборникъ сказокъ (Volksmärchen der Deutschen); одна изъ сказокъ (Libussa) представляетъ передѣлку преданiй о Любушѣ. Въ 1815 г. появилась драма Кл. Брентано: «Die Gründung Prags» (Главныя дѣйствующiя лица драмы — дочери Крока: Libussa, Tetka, Kascha). Съ 1819 г. дѣлается извѣстнымъ знаменитый «Судъ Любушинъ» (Зеленогорская рукопись). Позже написана Грильпарцеромъ драма: «Libussa».

ностей можно безъ труда отыскать параллели въ описаніяхъ русскихъ свадебныхъ обрядовъ. Ограничусь двумя-тремя примѣрами.

Указанія на осыпаніе молодыхъ хмелемъ и на кормленіе ихъ пѣтухомъ находимъ въ описаніяхъ чина русскихъ княжескихъ свадебъ. «Да какъ великому князю и княжнѣ голову исчешутъ—читаемъ въ описаніи свадьбы вел. князя Василія Ивановича—и на княжну кику положатъ и покровъ навѣсятъ и тысяцкаго жена учнетъ осыпать *великаго князя и великую княгиню* да послѣ осыпанія собольми опахивать. А осыпалу быти на мисѣ на золотой, а на мису перво хмелю всыпати на три угла въ трехъ мѣстахъ, да тринжь мѣста положить тридевять соболей, на мѣсто по девяти соболей, да тридевять платковъ бархатныхъ, и камчатныхъ, и атласныхъ съ золотомъ или безъ золота въ одинъ цвѣтъ безъ разныхъ толковъ». Это осыпаніе предшествуетъ вѣнчанію. Послѣ вѣнчанія осыпаніе повторяется: «И какъ придутъ къ постелѣ и тысяцкаго жена положитъ на себя двѣ шубы собольи, одну положитъ по обычаю, а другую шубу положитъ на верхъ на изворотъ, шерстью вверхъ, да *осыпаетъ великаго князя и великую княгиню* у дверей у сѣнника; и *курятемъ кормить* великаго князя и великую княгиню свахѣ большіе да дружкамъ». Въ томъ же свадебномъ чинѣ упоминается о конюшемъ, который долженъ разъѣзжать около помѣщенія молодыхъ: «А князь великій, какъ самъ пріѣдетъ и съ коня сойдетъ, да тотчасъ велитъ на конь сѣсть конюшему, да *ѣдетъ*... весь столъ и *вся ночь кругъ подклѣта съ саблею голою и съ мечемъ*» [1]).

Сватъ въ Пушкинской «Русалкѣ» представляетъ фигуру нѣсколько комическую. Дѣвушки требуютъ отъ него подарковъ и при этомъ обращаются съ нимъ безъ церемоній. Сватъ говоритъ:

Что жь, красныя дѣвицы, вы примолкли?
Что жъ, бѣлыя лебедушки, притихли?

1) Древняя россійская вивліоѳика, ч. VII, стр. 6, 11, 12 («Свадьба вел. кн. Василья Ивановича, какъ понялъ княжну Елену Глинскую»).

Али всѣ пѣсенки вы перепѣли?
Аль горлышки отъ пѣсенъ пересохли?

Дѣвушки отвѣчаютъ шаловливой пѣснью:

Сватушка, сватушка,
Безтолковый сватушка!
По невѣсту ѣхали,
Въ огородъ заѣхали и т. д.

Въ народныхъ обрядовыхъ пѣсняхъ свату приходится выслушивать еще болѣе рѣзкія выраженія. Невѣста обращается къ отцу съ такой просьбой:

Государь ты, мой батюшка,
Ты возьми свата за воротъ,
Поведи свата за двери,
Повали его на дровни,
Да повези его на поле.
Ты подай свату борону,
Чтобъ расчесалъ буйну голову и т. д.

Въ Вологодской губерніи свату, при пѣніи особыхъ ругательныхъ пѣсенъ, подносятъ на лопатѣ платокъ изъ сахарной бумаги, убранный лоскутками и хохломъ шерсти; на другой лопатѣ подносятъ пирогъ съ начинкой изъ рябины, утыканный угольемъ и кирпичемъ, и стаканъ мутной воды съ плавающими угольями. Чтобы отдѣлаться отъ дѣвичьихъ насмѣшекъ, сватъ долженъ не скупиться на подарки:

Сватушка, догадайся,
За мошоночку принимайся:
Въ мошнѣ денежка шевелится,
Краснымъ дѣвушкамъ поровится.

Народная пѣсня указываетъ такое же средство избавиться отъ укоровъ:

Подари насъ, умненькой,
Подари, хорошенькой,
Не рублемъ, не полтиною,
А простою насъ гривною!
Буде станешь дарить,
То дари поскорѣе;
А не станешь дарить,
То мы станемъ корить
И въ глаза говорить:
У Агапа кудри
У Данилыча черны,
На четыре грани
Черти его драли,
Маленьки чертенята
Туда же волочили.

Агафонъ-господинъ не скупися, не скупися!
Съ золотой гривной разступися, разступися!
Тебѣ тѣмъ казны не скопити, не скопити!
Василисѣ башмаковъ не купити, не купити!
Къ обѣднѣ пойдетъ въ нихъ, замараетъ, замараетъ,
Отъ обѣдни пойдетъ въ нихъ, растеряетъ, растеряетъ [1]).

Остановимся на изображеніи русалокъ въ произведеніяхъ Пушкина. Еще въ 1819 году написана была нашимъ поэтомъ игривая баллада о старомъ анахоретѣ, увлеченномъ въ воду русалкой, обитавшей въ озерѣ, на берегахъ котораго «спасался нѣкогда монахъ». Русалка появляется изъ воды послѣ заката солнца.

---

1) Терещенко. Бытъ русскаго народа, ч. II, стр. 235; Миллеръ. Опытъ ист. обозр. русской словесности, стр. 112—113; Сахаровъ. Сказанія русскаго народа, т. I, кн. 3, стр. 155.

завидя которыхъ манятъ къ себѣ ласковымъ голосомъ .. Чаще всего это случается на Троицкую недѣлю, и малоруссы боятся иногда запаздывать въ лѣсу и откликаться на чужое ауканье; въ Харьковской губерніи русалку называютъ лоскоталкою... Подобно лѣшимъ, русалки носятся по рощамъ и бьютъ въ ладоши или, свернувшись клубкомъ, съ громкимъ хохотомъ катаются по травѣ и дорогамъ, и хохотъ ихъ далеко раздается въ глубинѣ лѣсной чащи; волоса у нихъ обыкновенно зеленые, или увѣнчанные зелеными вѣнками.... Лицо русалки исполнено несказанной, плѣнительной красоты, всегда распущенныя русыя, черныя или зеленыя косы ниспадаютъ по спинѣ и плечамъ ниже колѣнъ, станъ стройный, глаза голубые или черные, съ длинными пушистыми рѣсницами; но вмѣстѣ съ этимъ, какъ въ существѣ стихійномъ, во всемъ ея тѣлѣ замѣчается что-то воздушно-прозрачное, безкровное, блѣдное. Сходно съ эльфами, русалки большею частью представляются семилѣтними дѣвочками; есть между ними и взрослыя дѣвы.... но это несчастныя утопленницы, осужденныя по смерти быть русалками.... Русскіе поселяне убѣждены, что русалки суть души младенцевъ, умершихъ некрещенными, а также утопленицъ, удавленицъ и вообще женщинъ и дѣвицъ, самопроизвольно лишившихъ себя жизни... Та же судьба ожидаетъ и тѣхъ несчастныхъ младенцевъ, которыхъ проклинаютъ матери еще въ утробѣ или до совершенія надъ ними таинства крещенія; они исчезаютъ изъ дому и становятся русалками. Эта порода русалокъ-дѣтей представляется народной фантазіей въ видѣ дѣвочекъ-семилѣтокъ съ русыми кудрявыми волосами, въ бѣлыхъ сорочкахъ безъ пояса. Въ Малороссіи и Галиціи называютъ ихъ мавками» [1]).

Пушкинъ могъ познакомиться съ этими повѣрьями о русалкахъ путемъ прямого общенія съ деревенскимъ людомъ, такъ же какъ знакомился онъ съ народными пѣснями и сказками. Что

---

1) Аѳанасьевъ. Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу. т. III, стр. 122—126, 240—241.

касается нашихъ старыхъ миѳографовъ, то труды ихъ (если только Пушкинъ ихъ зналъ) могли дать лишь немногія отрывочныя свѣдѣнія изъ области народно-демонологическихъ представленій. Вотъ для примѣра статья о русалкахъ, помѣщенная въ «Описаніи древняго славянскаго языческаго баснословія» М. Попова (1768 г.): «Русалка — славянская нимфа. Ихъ почитали богинями водъ и лѣсовъ; можетъ быть находился ихъ не одинъ родъ, такъ какъ у грековъ. Славяне поклонялись имъ и приносили жертвы. Въ простонародіи и понынѣ носится объ нихъ такая басня, что будто видятъ ихъ иногда при берегахъ озеръ и рѣкъ моющихся и чешущихъ зеленые свои волосы, а иныхъ качающихся на деревьяхъ. Какъ видно, это древнихъ предразсужденій еще зараза» (стр. 32). Подобныя же отрывочныя замѣтки о русалкахъ находимъ въ сочиненіяхъ Чулкова, Гр. Глинки, А. Кайсарова [1]). Краткія же, но болѣе точныя свѣдѣнія о народныхъ повѣрьяхъ, касающихся русалокъ можно отыскать въ статьяхъ этнографическаго содержанія, помѣщенныхъ въ періодическихъ изданіяхъ первыхъ десятилѣтій XIX столѣтія. Укажемъ нѣкоторыя изъ этихъ статей: «Остатки славянскаго баснословія въ Бѣлоруссіи» (Вѣстникъ Европы 1818 г. № 22), «Троицынъ день и русальная недѣля» (Украинскій Журналъ 1824 г., № 11), «О народныхъ праздникахъ» (Московскій Вѣстникъ 1827 г. ч. VI), «Русальная недѣля» Ив. Снегирева (Вѣстникъ Европы 1827 г., № 8). Въ 1827 г. М. А. Максимовичъ издалъ сборникъ малорусскихъ пѣсенъ съ объяснительными примѣчаніями; въ одномъ изъ примѣчаній данъ сжатый сводъ южно-русскихъ повѣрій о русалкахъ.

Наши писатели не разъ дѣлали попытки воспользоваться этими народными повѣрьями о русалкахъ, какъ матеріаломъ для литературнаго творчества. Въ 1817 году Батюшковъ задумалъ

---

1) Чулковъ. «Абевега русскихъ суевѣрій» (1786 г.), стр. 283; Гр. Глинка «Древняя религія славянъ» (1804 г.), стр. 124; Кайсаровъ. «Славянская и россійская миѳологія» (1810), стр. 164.

написать поэму «Русалка». Къ сожалѣнію, это предположеніе не было осуществлено—сохранилась лишь программа поэмы [1]).

Въ томъ же году, когда появились «Малорусскія пѣсни» Максимовича и статья Снегирева о «Русальной недѣлѣ», изданъ былъ сборникъ стихотвореній А. Н. Муравьева: «Таврида» (М. 1827). Одно изъ этихъ стихотвореній («Русалки») представляетъ опытъ поэтическаго воспроизведенія народныхъ представленій о демоническихъ обитательницахъ водъ. Вотъ это давно забытое и малоизвѣстное стихотвореніе:

Волнуется Днѣпръ, боевая рѣка,
Во мракѣ глухой полуночи:
Ужъ выставилъ мѣсяцъ изъ тучи рога,
И неба зардѣлися очи;
Широкія—идутъ волна за волной
И съ шумомъ о берегъ біются;
Но въ хладномъ руслѣ подъ ревущей водой,
И хохотъ, и смѣхъ раздаются,
Русалки играютъ во мракѣ ночей,
Неопытныхъ юношей манятъ.

Какъ проглядываютъ ясныя
Звѣзды въ синихъ небесахъ,
Другъ за другомъ дѣвы красныя
Выплываютъ на волнахъ;
Полнымъ цвѣтомъ нѣжной младости
Привлекателенъ ихъ хоръ;
Обѣщаетъ много радости
Нѣгою томящій взоръ.

---

1) Сочиненія К. Н. Батюшкова съ примѣч. Л. Н. Майкова и В. И. Сантова, т. III, стр. 453—454. Содержаніе поэмы должно было сосредоточиваться вокругъ Озара, сына Добрыни и днѣпровской русалки Лады. Озаръ увлеченъ русалками въ подводное царство Лады. «Кристальные чертоги ея. Описаніе жизни русалокъ. Веселость. Ихъ ночныя празднества и жертвы Лады. Любовь Лады. Озаръ счастливъ». Поэма должна была заканчиваться возвращеніемъ Озара изъ владѣній Лады: «Озаръ скрывается изъ рукъ Лады. Ея отчаяніе».

Бѣгите, о юноши, томныхъ очей —
Мечтами коварныя манятъ!
Черны косы, разсыпаяся,
Съ обнаженныхъ плечъ бѣгутъ,
По волнамъ перегибаяся,
Вслѣдъ за дѣвами плывутъ.
Грудь высокая колышется
Сладострастно между водъ,
Передъ ней волна утишится
И задумчиво пройдетъ;
Надъ волнами руки бѣлыя
Подымаются, падутъ:
То стыдливыя, несмѣлыя
Дѣвы медленно плывутъ,
То въ восторгѣ юной радости
Будятъ пѣснями брега
Иль съ безпечнымъ смѣхомъ младости
Ловятъ мѣсяца рога
На пучинѣ серебристыя,
Или блескомъ быстрыхъ рукъ
Брызжутъ радуги огнистыя,
Рѣзвятся въ волнахъ, и вдругъ
Утопаютъ, погружаются
Въ свой невидимый чертогъ,
И видѣнія теряются,
Какъ луны воздушный рогъ.
Не вѣрьте, о юноши, мраку ночей —
Мечтами коварныя манятъ (стр. 85—87).

Спустя два года послѣ изданія «Тавриды», въ альманахѣ «Подснѣжникъ» (1829 г.) [1]) напечатанъ былъ разсказъ Порфирія Байскаго (псевдон. Ореста Сомона), подъ заглавіемъ: «Русалка,

1) Въ этой же книжкѣ «Подснѣжника» помѣщены два стихотворенія Пушкина: «Примѣты» и «Литературное извѣстіе».

Малороссійское преданіе» (стр. 59—84). Разсказъ любопытенъ тѣмъ. что въ немъ какъ и въ пьесѣ Пушкина, рѣчь идетъ о дѣвушкѣ, покинутой любимымъ человѣкомъ, бросившейся въ рѣку и ставшей русалкой. «Давнымъ-давно, когда еще златоглавый нашъ Кіевъ былъ во власти поляковъ, жила-была тамъ одна старушка, вдова лѣсничаго». У старушки была дочь Горпина, шестнадцатилѣтняя красавица: «бѣла, румяна и свѣжа, какъ молодой цвѣтокъ на утренней зарѣ, она росла на бѣду сердцамъ молодецкимъ и на зависть своимъ подружкамъ». Съ кіевской красавицей познакомился «въ одну изъ охотничьихъ своихъ прогулокъ» молодой знатный полякъ Казимиръ Чепка. Горпина ему понравилась, и онъ сумѣлъ очаровать ее. «Слово за слово онъ сталъ ей напѣвать, что она красавица, что между городскими дѣвушками онъ не зналъ ни одной, которая могла бы поспорить съ нею въ пригожествѣ... Горпина повѣрила словамъ Казимира; случайно или умышленно они стали часто встрѣчаться въ лѣсу, и отъ того теперь милая дѣвушка стала томна и задумчива». Горпина называла Казимира своимъ женихомъ, была увѣрена, что онъ женится на ней. Мать предостерегала дочь, совѣтовала не полагаться на слова жениха: «Берегись, говорила ей старушка, сомнительно покачивая головою, берегись лиходѣя: онъ насмѣется надъ тобой, да тебя и покинетъ». Такъ и случилось. Казимиръ пересталъ являться на свиданія. «Прошелъ годъ, о немъ ни слуху, ни духу. Горпинка почти не видѣла свѣта Божьяго». «Услужливая старушка» посовѣтовала Горпинѣ сходить къ колдуну: «онъ-де скажетъ тебѣ всю правду и наставитъ на путь, на дѣло!» Дѣвушка пошла и не вернулась. Монастырскій рыбакъ видѣлъ ее на берегу Днѣпра, но побоялся подплыть къ ней: она казалась ему «бѣсноватой». Мать Горпины «выплакала глаза свои. Чуть свѣтъ вставала она и бродила далеко-далеко по обоимъ берегамъ Днѣпра разспрашивала у всѣхъ встрѣчныхъ о своей дочери, искала тѣла по песку прибрежному и каждый день съ грустью и горькими слезами возвращалась домой одна одинешенька: не было ни слуху, ни вѣсточки о милой ея Горпинкѣ». По совѣту сосѣ-

докъ, она идетъ къ колдуну и узнаетъ отъ него, что дочь ея стала русалкой. Колдунъ далъ наставленіе, какъ можно подстеречь русалку и увести ее домой. Мать исполняетъ совѣтъ колдуна. Захваченная русалка проситъ отпустить ее. «Мать, говорила она, отпусти меня погулять по лѣсу... и снова погрузиться въ подводныя наши селенія... Знаю, что ты тоскуешь, ты плачешь обо мнѣ: кто же тебѣ мѣшаетъ быть со мною неразлучно? Брось напрасный страхъ и опустись къ намъ на дно Днѣпра. Тамъ весело! Тамъ легко! Тамъ всѣ молодѣютъ и становятся такъ же рѣзвы, какъ струйки водяныя, такъ же игривы и беззаботны, какъ молодыя рыбки. У насъ и солнышко сіяетъ ярче, у насъ и утренній вѣтерокъ дышитъ привольнѣе. Что въ вашей землѣ? Здѣсь во всемъ нужды: то голодъ, то холодъ; тамъ мы не знаемъ никакихъ нуждъ, всѣмъ довольны, плещемся водой, играемъ радугой, ищемъ по дну драгоцѣнностей и ими утѣшаемся. Зимою тамъ тепло подъ льдомъ, какъ подъ шубой, а лѣтомъ въ ясныя ночи мы выходимъ грѣться на лучахъ мѣсяца, рѣзвимся, веселимся и для забавы часто шутимъ надъ живыми. Что въ томъ бѣды, если мы подчасъ щекочемъ ихъ или уносимъ на дно рѣки? развѣ имъ отъ того хуже? Они становятся такъ же легки и свободны, какъ и мы сами. Мать, отпусти меня: мнѣ тяжко, мнѣ душно будетъ съ живыми! Отпусти меня, мать, когда любишь!» Старуха не обращаетъ вниманія на эти просьбы и приводитъ дочь въ хату. Не радость принесла съ собою русалка Горпина. Она точно замерзла: сидѣла молча, неподвижно. «Проходятъ дни, недѣли, мѣсяцы, все такъ же неподвижно сидитъ она, опершись головой на руки, все такъ же открыты и тусклы глаза ея, безсмѣнно глядящіе въ печь, все такъ же мокры волоса». Настала зеленая недѣля. «На первый день, около полуденнаго часа, старуха, отворя дверь хаты, что-то стряпала. Вдругъ раздались гиканье и ауканье и скорый шорохъ шаговъ». Горпина ожила. «Она вскочила, трижды хлопнула въ ладоши и, прокричавъ: наши, наши, наши! пустилась, какъ молнія, за шумною толпою.. и слѣдъ ея пропалъ». На другой день послѣ бѣгства

Горпины найденъ былъ въ лѣсу трупъ Казимира Чепки. «Никакой раны, никакого знака насильственной смерти не замѣтно было на тѣлѣ, но лицо было сине, и всѣ жилы въ страшномъ напряженіи... Врачи толковали то и другое, но народъ объяснялъ дѣло гораздо проще: онъ говорилъ, что «покойника русалки защекотали».

Двумя годами позже появленія «Русалки» Байскаго, Н. Маркевичъ издалъ сборникъ своихъ стихотвореній надъ заглавіемъ: «Украинскія мелодіи» (М. 1831). Въ этомъ сборникѣ находимъ два интересныхъ для насъ стихотворенія: «Солнце утопленниковъ» и «Русалки». Тема того и другого стихотворенія — изображеніе подводнаго міра по народнымъ воззрѣніямъ. Вотъ небольшой отрывокъ изъ стихотворенія «Русалки»:

Послушайте пѣсню: кто мертвымъ рожденъ,
Кто умеръ младенцемъ и не былъ крещенъ,
Русалки того и манятъ, и лобзаютъ,
И въ рожь, и въ траву, и въ листы наряжаютъ;
И вмѣсто густыхъ, темнорусыхъ кудрей
У нихъ волоса изъ травы, изъ вѣтвей.
. . . . . .
. . . . . .
Маня проходящихъ, въ травѣ укрываясь,
Въ листахъ по вѣтвямъ шаловливо качаясь,
На Тройцынъ русалки сбѣгаются день.
Онѣ покидаютъ дубовую тѣнь,
Купаются, плещутъ, изъ рѣкъ выплываютъ,
По тонкимъ колосьямъ плясать начинаютъ,
И, выпрямясь, колосъ стоитъ молодой,
Не гнется подъ легкой русалки ногой.
Растянутся цѣпью, толкутся, хохочутъ,
Кидаются, ловятъ и въ смерть защекочутъ

(стр. 75—76).

Въ томъ же 1831 году, когда напечатано было это стихотвореніе Маркевича, выступилъ въ нашей литературѣ знаменитый пасичникъ Рудый Панько съ первой книжкой своихъ «Вечеровъ на хуторѣ близъ Диканьки». Въ одной изъ повѣстей Панько («Майская ночь или утопленница») нашлось мѣсто и для пересказа преданій о русалкахъ. Любопытной особенностью пересказа Гоголя представляется изображеніе вѣдьмы, превратившейся въ русалку. Дочь сотника, преслѣдуемая мачехой, бросается въ воду. «Старухи выдумали, что съ той поры всѣ утопленницы выходили въ лунную ночь въ панскій садъ грѣться на мѣсяцѣ, и сотникова дочь сдѣлалась надъ ними главною. Въ одну ночь увидѣла она мачеху свою возлѣ пруда, напала на нее и съ крикомъ утащила въ воду. Но вѣдьма и тутъ нашлась: обратилась подъ водою въ одну изъ утопленницъ и черезъ то ушла отъ плети изъ зеленаго тростника, которою хотѣли ее бить утопленницы. Вѣрь бабамъ! Разсказываютъ еще, что панночка собираетъ всякую ночь утопленницъ и заглядываетъ по одиночкѣ каждой въ лицо, стараясь узнать, которая изъ нихъ вѣдьма, но до сихъ поръ не узнала». Левко помогаетъ отыскать вѣдьму. Утопленницы затѣваютъ игру въ *ворона*. «Кто же будетъ ворономъ?... Я буду ворономъ, вызвалась одна изъ середины. Левко сталъ пристально вглядываться въ лицо ей. Скоро и смѣло гналась она за вереницею и кидалась во всѣ стороны, чтобы изловить свою жертву. Тутъ Левко сталъ замѣчать, что тѣло ея не такъ свѣтилось, какъ у прочихъ: внутри его видѣлось что-то черное. Вдругъ раздался крикъ: воронъ бросился на одну изъ вереницы, схватилъ ее и Левку почудилось, будто у ней выпустились когти и на лицѣ сверкнула злобная радость. «Вѣдьма», сказалъ онъ, вдругъ указавъ на нее пальцемъ и оборотившись къ дому. Панночка засмѣялась и дѣвушки съ крикомъ увели за собою представлявшую ворона».

Первая книжка «Вечеровъ на хуторѣ» вышла въ свѣтъ во второй половинѣ сентября 1831 года.—12-го апрѣля 1832 года окончена Пушкинымъ первая сцена «Русалки».

Народныя повѣрья и подробности старо-русскихъ свадебныхъ обрядовъ, внесенныя Пушкинымъ въ «Русалку», придали этому произведенію яркій національный колоритъ: драма, въ основу которой положена переводная пьеса, превратилась при помощи волшебнаго искусства великаго поэта въ живую картину старо-русскаго быта и старо-русскихъ повѣрій. Но говоря о «Русалкѣ» Пушкина, какъ о произведеніи національнаго поэта, нельзя еще не остановиться на способѣ изложенія набросанныхъ Пушкинымъ сценъ, на ихъ стилѣ. Діалоги и монологи дѣйствующихъ лицъ, пѣсни дѣвушекъ и русалокъ въ пьесѣ Пушкина представляютъ рѣдкій образецъ художественнаго пересозданія народной рѣчи или, говоря точнѣе, воспроизведенія народной рѣчи въ литературно-обработанной, художественной формѣ. Припомнимъ для примѣра разговоръ княгини съ мамкой: княгиня горюетъ, жалуется на холодность мужа, мамка ее утѣшаетъ. Есть подобный же діалогъ и въ переводной «Русалкѣ». Но стоитъ только сравнить безцвѣтное изложеніе Краснопольскаго съ колоритнымъ стилемъ Пушкина, чтобы убѣдиться еще разъ въ могущественной силѣ творческаго таланта, превращающей грубый рисунокъ въ художественно-цѣнную картину. Въ шестомъ явленіи третьяго дѣйствія первой части «Днѣпровской русалки», выступаютъ передъ зрителями княжна Милослава и слуга Славомысла Вирсанъ.

Милослава.

Какъ прелестно было начало любви моей! Я надѣялась, что путь жизни моей усыпанъ будетъ цвѣтами, но колючіе терны начинаютъ уже появляться. О Видостанъ! Зачѣмъ я тебя увидѣла!

Вирсанъ (входитъ).

Всѣ возвратились уже съ охоты, только нѣтъ одного князя Видостана. Ловчіе сказываютъ, что онъ отсталъ отъ нихъ въ лѣсу, и они думали найти его здѣсь.

. . . . . .

. . . . . .

Милослава.

Скажи мнѣ, не примѣтилъ ли ты, что князь любилъ кого-нибудь прежде меня и не имѣлъ ли какихъ прежнихъ обязанностей?

Вирсанъ.

Княжна, я удивляюсь, какъ тебѣ пришло это въ голову.

Милослава.

Видостанъ, который долженъ мнѣ сегодня клясться въ вѣчной вѣрности, обманываетъ меня. Онъ любитъ другую; это доказываетъ портретъ, который носитъ онъ при себѣ и который увидѣла я у него нечаянно.

Вирсанъ.

Этому быть нельзя, княжна!

Милослава.

А притомъ, что ты думаешь о Днѣпровской русалкѣ, которая насъ столько безпокоитъ съ тѣхъ поръ, какъ пріѣхалъ сюда Видостанъ?

Вирсанъ.

Неужели лукавый прельстилъ его на такую беззаконную любовь?

Милослава.

. . . . . .

Постарайся узнать обо всемъ, но не говори ничего батюшкѣ, онъ, услыша такія вѣсти, будетъ тревожиться. (Уходитъ)

Вирсанъ.

Я непремѣнно буду стараться обо всемъ провѣдать.

У Пушкина бесѣдуетъ княгиня и ея мамка. — Княгиня въ тревогѣ:

Чу! кажется, трубятъ. Нѣтъ, онъ не ѣдетъ.
Ахъ, мамушка! какъ былъ онъ женихомъ,

Онъ отъ меня на шагъ не отлучался,
Съ меня очей, бывало не сводилъ:
Женился онъ, и все пошло не такъ и т. д.

Мамка пытается успокоить княгиню:

Княгинюшка! Мужчина — что пѣтухъ:
Кури-куку! Махъ-махъ крыломъ, и — прочь!
А женщина — что бѣдная насѣдка:
Сиди себѣ, да выводи цыплятъ и пр.

Княгиня подозрѣваетъ, что у князя есть «тайная зазноба».

Мамка.

Полно, не грѣши;
Да на кого тебя онъ промѣняетъ!
Ты всѣмъ взяла: умомъ, красою ненаглядной,
Обычаемъ и разумомъ. Подумай,
Родимая: ну, въ комъ ему найти,
Какъ не въ тебѣ, сокровище такое?

Далѣе въ первоначальной редакціи слѣдовало выброшенное позже поэтомъ упоминаніе о дочери мельника.

Княгиня.

Я слыхала,
Что будто бы до свадьбы онъ любилъ
Какую-то красавицу, простую
Дочь мельника.

Мамка.

Да, такъ и я слыхала,
Тому давно, годовъ ужъ пять и больше;
Но дѣвушка, какъ слышно, утопилась.
Такъ нечего объ ней и поминать.

Княгиня.

Коль ужъ одну любилъ онъ и покинулъ,
Такъ и меня покинуть можетъ.

Въ заключеніе еще одинъ примѣръ сходства и разницы двухъ «Русалокъ». И въ переводной пьесѣ и въ сценахъ Пушкина находимъ пѣсни русалокъ. Сопоставленіе этихъ пѣсенъ можетъ служить прекраснымъ показателемъ силы народно-художественнаго творчества нашего поэта, насколько это творчество проявлялось въ словесной формѣ, въ стилѣ пушкинскихъ произведеній. Въ концѣ второго дѣйствія первой части (сц. 20) переводной «Русалки» передъ зрителями открывается такая картина: «на поверхности Днѣпра появляются плавающіе огоньки. Два бѣлые лебедя плывутъ посреди воды, слѣдуя за огоньками и везутъ колесницу, сдѣланную изъ раковины, въ коей сидятъ Лида и Леста, увѣнчанная короною; около колесницы плывутъ русалки. При играніи музыки выходятъ всѣ изъ рѣки. На театрѣ является прозрачный дубъ. Русалки во время пѣнія хора танцуютъ, составя кругъ около священнаго дуба».

Хоръ русалокъ.

Подруги, въ празднествѣ такомъ
Увѣнчанныя тростникомъ,
Оставимъ дно глубокихъ водъ,
Составимъ пляски, хороводъ;
Царицѣ въ томъ чтобъ угодить,
Нашъ долгъ послушными ей быть.
Ея чертогъ какъ невредимъ,
Такъ мы союзъ свой сохранимъ [1]).

1) Въ нѣмецкомъ оригиналѣ — Nixenchor:

Zum Nixentanz, zum Nixentanz!
Es bebt im Haar der grüne Kranz.
Hier treten wir das Trudenkraut
Und tanzen für die schöne Braut,
Wohl hin und her, ihr Schwestern fein!
Das ist der Nixen Ringelreihn!
Das Donauschloss steht fest im Grund
Und fest ist unser Schwesternbund.

Подобную же картину находимъ и въ первомъ явленіи второго дѣйствія третьей части. «Театръ представляетъ остатки древнихъ развалинъ, освѣщенныхъ луною; за сими развалинами протекаетъ рѣка Днѣпръ, а вдали видно усѣянное звѣздами небо.

Хоръ русалокъ.

Наступилъ часъ тихой нощи
Станемъ плавать по волнамъ,
Свѣтитъ мѣсяцъ изъ-за рощи
И мелькаетъ по водамъ.

(Слышна гармонія духовыхъ инструментовъ. Русалки выходятъ на берегъ. Леста появляется въ рѣкѣ на лебедѣ).

Хоръ русалокъ.

Пріятны звуки раздалися.
Царица шествуетъ сюда,
На встрѣчу къ ней мы собралися,
Нашъ долгъ служить ей завсегда.

Леста говоритъ о своей тоскѣ. Хоръ русалокъ совѣтуетъ ей призвать Видостана. Слышатся охотничьи рога.

Леста.

Это Видостанъ! Съ этой минуты начнется испытаніе, чтобъ примирить съ судьбою несчастнаго супруга. Исчезни ночь, и путь твой да позлатится солнечными лучами. (Леста машетъ рукою, солнце показывается, русалки отходятъ въ рѣку.)

Хоръ русалокъ.

Солнце въ путь теперь вступаетъ,
Мрачна ночь здѣсь исчезаетъ,
Горъ верхи позлащены.

Прочь отсюда удалимся,
Въ быстры воды погрузимся,
Скроемся на дно рѣки.
(Исчезаютъ въ рѣкѣ).

Припомнимъ хоры въ четвертой сценѣ Пушкинской «Русалки».

Русалки.

Веселой толпою
Съ глубокаго дна
Мы ночью всплываемъ,
Насъ грѣетъ луна.
Любо намъ порой ночною
Дно морское покидать,
Любо вольной головою
Высь рѣчную разрѣзать,
Подавать другъ дружкѣ голосъ,
Воздухъ звонкій раздражать
И зеленый влажный волосъ
Въ немъ сушить и отряхать.

Замѣтивъ, что кто-то приближается къ Днѣпру, русалки прячутся въ водѣ. Появляется князь, затѣмъ ловчій, посланный княгиней. Князь уходитъ. Русалки снова появляются надъ водой.

Русалки.

Что, сестрицы, въ полѣ чистомъ
Не догнать ли ихъ скорѣй?
Плескомъ, хохотомъ и свистомъ
Не пугнуть ли ихъ коней?
Поздно. Волны охладѣли.
Пѣтухи вдали пропѣли,
Высь небесная темна,
Закатилася луна.

Одна.

Подождемъ еще, сестрица.

Другая.

Нѣтъ, пора, пора, пора!
Ожидаетъ насъ царица,
Наша строгая сестрица
(Скрываются).

«Русалка», писалъ Бѣлинскій, въ особенности обнаруживаетъ необыкновенную зрѣлость таланта Пушкина: великій талантъ только въ эпоху полнаго своего развитія можетъ въ фантастической сказкѣ высказать столько общечеловѣческаго, дѣйствительнаго, реальнаго, что, читая ее, думаешь читать совсѣмъ не сказку, а высокую трагедію». Сопоставленіе «Русалки» Пушкина съ «Русалкой» Генслера и Краснопольскаго можетъ служить подтвержденіемъ этого глубоко-вѣрнаго сужденія знаменитаго критика.

[РѢЧЬ КЪ СТУДЕНТАМЪ ИСТОРИКО-ФИЛОЛОГИЧЕСКАГО ФАКУЛЬТЕТА СВ. ВЛАДИМІРА ОБЪ А. А. КОТЛЯРЕВСКОМЪ.]

Мм. Гг. Горестнымъ событіемъ начинается въ нынѣшнемъ году наша обычная университетская жизнь. Вамъ придется зачеркнуть въ расписаніи лекцій нѣсколько строкъ, но.... какой огромный пробѣлъ останется послѣ этихъ немногихъ вычеркнутыхъ строкъ! Сколько высокихъ умственныхъ наслажденій, сколько новыхъ знаній и свѣтлыхъ мыслей сулили вамъ эти строки!.... Не сбудутся эти ожиданія. Онъ умолкъ, краснорѣчивый учитель.

Я не могу теперь предложить вамъ полной, подробной характеристики покойнаго А. А. Котляревскаго, какъ человѣка и ученаго. Да и нѣтъ нужды въ подробностяхъ. Образъ покойнаго — не изъ тѣхъ, которые тускнѣютъ въ памяти быстро и легко, это образъ, врѣзывающійся въ душу глубокими и рѣзкими чертами. Какъ живой, стоитъ онъ передъ нами. Мнѣ остается только обратить ваше вниманіе на нѣкоторыя важнѣйшія черты этого привлекательнаго образа.

Научный цензъ покойнаго былъ чрезвычайно высокъ. Достаточно указать только на его изслѣдованіе о погребальныхъ обычаяхъ славянъ,— трудъ, какихъ не много не только въ русской, но и въ европейской литературѣ. Вотъ отзывъ объ этомъ трудѣ не-русскаго ученаго. «Это сочиненіе превосходно, и я не знаю, можно ли указать въ любой литературѣ другое сочиненіе,

которое могло быть поставлено на ряду съ сочиненіемъ г. Котляревскаго. Знакомство со всею литературою, касающеюся того же предмета, проявляется на каждой страницѣ книги, такъ что русскіе могутъ ею гордиться и стать во главѣ этой отрасли археологической науки». Мы, знакомые съ покойнымъ не по однимъ только печатнымъ его трудамъ, знаемъ, что этимъ словамъ Гануша можно дать болѣе широкое, болѣе общее значеніе. Мы знаемъ, какая высокая умственная энергія, какая солидная ученая сила сказывалась во всѣхъ сужденіяхъ А. А. Котляревскаго по вопросамъ научнымъ. Если онъ не сдѣлалъ всего, что могъ и хотѣлъ сдѣлать, если его упрекали иногда за то, что онъ «зная такъ много, пишетъ сравнительно мало», то виной этого былъ тотъ долгій и упорный недугъ, который отнималъ у него много времени и много силъ, который и сразилъ его наконецъ. Покойный съ полнымъ правомъ могъ бы сказать о себѣ словами славянскаго первоучителя: «я кончилъ свой день и падаю на лехѣ». Да, онъ палъ на лехѣ: смерть сразила его среди работы, онъ умеръ, не окончивъ своего послѣдняго, важнаго и многообѣщавшаго, труда.

Ученыхъ спеціалистовъ, особенно филологовъ и археологовъ, нерѣдко упрекаютъ въ томъ, что называется буквоѣдствомъ, — когда за всякими мелочами исчезаетъ живой смыслъ изучаемыхъ явленій. Согласимся, что эти упреки бываютъ иногда и не лишены правды. Но.... часто incidit in Scyllam, qui vult evitare Charybdin. Избѣгая упрека въ мелочности и сухости изысканій, легко впасть въ другую, болѣе вредную крайность. Можно забыть, что плохо обоснованныя догадки и скороспѣлыя обобщенія, не отвѣчающія степени разработки даннаго научнаго матеріала, представляютъ не шагъ впередъ въ исторіи науки, а только лишнюю помѣху ея движенію, отвлекающую ученое вниманіе отъ прямого дѣла,—только балластъ, лишенный всякой цѣны, но на удаленіе котораго нужны время и силы. Благо тому изслѣдователю, который сумѣетъ стать выше двухъ этихъ одинаково опасныхъ крайностей, который сумѣетъ отыскать единственно вѣр-

ный путь, опредѣляемый требованіями науки въ данной стадіи ея развитія. А. А. Котляревскій былъ именно такой счастливецъ, умѣвшій найти истинную научную дорогу.

Его ученые труды представляютъ рядъ самыхъ мелочныхъ, самыхъ кропотливыхъ и притомъ всегда точныхъ разысканій. Въ изслѣдованіи о погребальныхъ обычаяхъ славянъ онъ подбираетъ рядъ фактовъ, указывающихъ на разные способы удаленія труповъ у славянъ; въ работѣ о балтійскихъ славянахъ онъ даетъ подобный же кропотливый подборъ свидѣтельствъ о бытѣ и правовыхъ древностяхъ угасшаго славянскаго племени; въ своемъ послѣднемъ трудѣ: «Объ изученіи древней русской письменности» онъ предлагаетъ тщательно составленный библіографическій указатель по отдѣлу исторіи русскаго языка и словесности. Но въ этомъ громадномъ накопленіи ученаго матеріала вездѣ проходитъ ясная мысль, вездѣ сказывается сознаніе живого научнаго интереса.

Въ предисловіи къ книгѣ о древностяхъ права балтійскихъ славянъ нашъ изслѣдователь самъ открываетъ намъ цѣли и пріемы своей работы. «Сравнительный пріемъ изслѣдованія, говоритъ онъ, послужитъ для насъ объяснительнымъ средствомъ единственно по отношенію къ юридическимъ древностямъ балтійскихъ славянъ. Послѣднія образуютъ не только средоточіе, но и границы нашихъ разысканій; потому мы оставляемъ вовсе нетронутыми тѣ явленія, о которыхъ нѣтъ воспоминанія или замѣтокъ въ источникахъ славянъ балтійскихъ и существованіе которыхъ у нихъ не представляется неизбѣжно необходимымъ. Сознаемся, что не безъ раздумья и колебаній мы рѣшились на подобное ограниченіе круга изслѣдованій. Мы понимаемъ хорошо всю важность и завлекательность всесторонняго сравненія фактовъ юридическаго быта всѣхъ славянскихъ племенъ, но намъ казалось, что для такой работы еще не наступилъ урочный часъ, еще не готовы данные матеріалы. Вотъ почему, желая разрѣшить частную задачу, мы сочли благоразумнымъ воздержаться отъ широкаго пути сравненій и предпочли дорогу узкую, откры-

вающую гораздо менѣе заманчиваго разнообразія и интереса, но зато гораздо болѣе прочную и надежную»... Авторъ сознательно ограничиваетъ, суживаетъ свою задачу, воздерживаясь отъ обманчивой широты наблюденій и выводовъ, но этимъ онъ вовсе не отказывается отъ права быть мыслящимъ изслѣдователемъ, отъ права вносить разумъ и свѣтъ въ темныя копи археологическаго матеріала. «Право, говоритъ онъ, есть такой же историческій памятникъ, какъ и всякое другое проявленіе народной жизни и образованности, какъ языкъ, религія, поэзія, литература, нравы и обычаи... На этомъ основаніи — не юридическіе институты сами по себѣ, не систематическая догматика ихъ, а жизнь народа въ нихъ открывающаяся, его внутренняя исторія и образованность составляютъ главный предметъ нашего вниманія и поисковъ». (стр. 3—4). Относительно сочиненія Александра Александровича о погребальныхъ обычаяхъ И. И. Срезневскій писалъ: «въ его книгѣ мы имѣемъ полный сводъ данныхъ о древнихъ славянскихъ погребальныхъ понятіяхъ и обрядахъ... Этотъ сводъ оживленъ силою мысли, но не мысли ищущей себѣ поддержки въ данныхъ, а мысли, вызываемой самими данными». Такимъ же мыслящимъ изслѣдователемъ является онъ и въ своемъ послѣднемъ библіографическомъ трудѣ. Въ подтвержденіе мнѣ стоитъ только привести заглавія нѣкоторыхъ параграфовъ этого труда: «Значеніе историческаго метода въ изученіи произведеній древней русской письменности»; «Общія замѣчанія о томъ, что сдѣлано и что остается сдѣлать по изслѣдованію древнеславянскаго языка»; «Нетронутые и нерѣшенные вопросы исторіи русскаго языка».

А. А. Котляревскій представлялъ рѣдкое, счастливое соединеніе природной даровитости съ тѣмъ, что можно назвать дисциплиной ума. Если онъ умѣлъ внести свѣтъ въ самые темные отдѣлы науки, если онъ умѣлъ придать жизнь и интересъ сухому библіографическому труду, то этимъ онъ обязанъ былъ силѣ своихъ прекрасныхъ дарованій. Но если онъ, при всей живости ума, находилъ интересъ въ самой усидчивой и кропотливой ра-

ботѣ, если онъ, по его выраженію, предпочиталъ иногда узкую, но болѣе надежную дорогу, то этимъ онъ обязанъ былъ той высшей и трудной научной школѣ, которую онъ прошелъ. Первыя прочныя основанія своего научнаго образованія А. А. Котляревскій получилъ въ московскомъ университетѣ подъ руководствомъ Буслаева, Бодянскаго и др. Но онъ не остановился на этомъ. Онъ пошелъ дальше, и долгимъ и упорнымъ трудомъ достигъ глубокаго и многосторонняго знакомства съ европейской, преимущественно германской филологической наукой. Эта наука и была его высшей школой. Наибольшее вліяніе имѣли на него труды великаго германскаго ученаго, автора Нѣмецкой миѳологіи, Нѣмецкой грамматики, Нѣмецкихъ правовыхъ древностей. Портреты бр. Гриммъ висѣли въ его кабинетѣ, сочиненія Я. Гримма были его настольными книгами. Онъ охотно называлъ себя ученикомъ, послѣдователемъ Гримма. «Мы стремились обработать, говоритъ онъ въ сочиненіи о балтійскихъ славянахъ, тѣсный участокъ славянскаго юридическаго поля въ томъ смыслѣ, въ какомъ — si liceat parva componere magnis — геніальный Яковъ Гриммъ создалъ свое зданіе нѣмецкой юридической древности».

Богатство свѣдѣній А. А. Котляревскаго, его широкая образованность, его многосторонняя любознательность были истинно примѣчательны. Но тутъ-то и сказывалось вліяніе пройденной имъ высшей научной школы. Его отличала именно многосторонность, а не разбросанность научныхъ интересовъ. Недавно знаменитый Либрехтъ издалъ сборникъ своихъ изслѣдованій о литературной и бытовой старинѣ. Сборникъ носитъ заглавіе: Zur Volkskunde. Вотъ это нѣсколько неопредѣленное названіе Volkskunde всего лучше, кажется, можетъ обозначить тотъ обширный отдѣлъ изученій, которому съ особенной любовью отдавался А. А. Котляревскій. У него было, впрочемъ, свое названіе для такого рода изученій: «труды по старинѣ и народности». Сюда, въ эту широкую область старины и народности, входили и исторія литературы, и археологія, и наука о языкѣ, и этнографія. Всѣ эти разнообразныя отрасли знаній сводились къ высшему науч-

ному единству въ понятіи «народовѣдѣнія», онѣ охватывались въ одно цѣлое общностью одного и того же историческаго метода. Какъ понималъ онъ этотъ историческій методъ? «Историческій методъ изученія произведеній словесности, говоритъ онъ, имѣетъ своей задачею раскрыть въ нихъ начала исторической и духовной жизни извѣстнаго народа, его бытъ, образованность, нравы, образъ жизни, мысли и нравственныя стремленія, — словомъ весь сложный комплексъ его «нравственнаго бытія и дѣятельности», какъ они выражаются въ произведеніяхъ слова и насколько они возникаютъ подъ вліяніемъ послѣднихъ» (Объ изученіи др. р. письменности, стр. 87). Тѣ же задачи ставились имъ, какъ мы видѣли, и при изученіи юридическихъ древностей. «Не юридическіе институты сами по себѣ, не систематическая догматика ихъ, а жизнь народа, въ нихъ открывающаяся, его внутренняя исторія и образованность составляютъ главный предметъ нашего вниманія и поисковъ».

Въ этой области народовѣдѣнія, изученія «старины и народности» А. А. Котляревскій былъ мастеръ и хозяинъ. Онъ зналъ, что въ этой области нужно и можно сдѣлать въ настоящую пору. Въ трудѣ объ изученіи древней русской письменности онъ ставитъ особые параграфы: «Что сдѣлано и что остается сдѣлать по изслѣдованію древне-славянскаго языка», «Нетронутые и нерѣшенные вопросы исторіи русскаго языка». Что давало ему право составлять такія программы для будущаго? Знаніе прошедшаго и настоящаго науки. Припомнимъ его слова, приведенныя выше: «Мы понимаемъ хорошо всю важность и завлекательность всесторонняго сравненія фактовъ юридическаго быта всѣхъ славянскихъ племенъ, но намъ казалось, что *для такой работы еще не наступилъ урочный часъ*, еще не готовы должные матеріалы». Такъ можетъ говорить только человѣкъ, которому ясна исторія науки. И въ самомъ дѣлѣ, все, что изучалъ этотъ человѣкъ, изучалъ исторически. Онъ любилъ полно, до подробностей знакомиться съ историческимъ ходомъ тѣхъ отдѣловъ знанія, которымъ посвящалъ онъ свои труды. Отсюда его любовь къ библіо-

графіи, которая въ его обработкѣ получала высшій интересъ, дѣлалась «исторіей изученія» того или другого отдѣла научнаго матеріала; отсюда же его страстное библіофильство, отсюда же вкусъ къ печатанію рецензій. Въ литературномъ наслѣдствѣ, оставленномъ намъ А. А. Котляревскимъ, рецензіи занимаютъ видное мѣсто. Онъ написалъ ихъ не мало на своемъ вѣку. И это понятно: кто любитъ изучать исторію науки, тотъ охотно слѣдитъ за ея новыми успѣхами, за ея современнымъ движеніемъ.

Но тутъ, въ этихъ рецензіяхъ, выразилась, впрочемъ, еще одна характеристическая черта А. А. Котляревскаго. У него была безспорно критическая жилка. Хорошо извѣстно его остроуміе, которое било ключемъ при каждомъ разговорѣ. Въ этомъ остроуміи выказывалась бездна наблюдательности и юмора, какая-то игривость и ясность духа, которыя такъ странно противорѣчили съ тревожнымъ состояніемъ его здоровья. Не могъ такой человѣкъ оставаться спокойнымъ, холоднымъ наблюдателемъ и среди любимыхъ имъ явленій научной литературы. Въ книгахъ онъ также быстро подмѣчалъ слабыя стороны, какъ и въ людяхъ. Бойкая рецензія ему также нравилась, какъ и веселая шутка.

Не всѣмъ нравилась эта шутливость его и въ разговорѣ и въ статьяхъ. Но почему? Его остроты были иногда рѣзки, но были ли онѣ злы? Не думаю, чтобы кто-нибудь сказалъ: да. Совсѣмъ ужъ не былъ онъ похожъ на человѣка злого. Веселость и ясность духа не мирятся съ злобой и ненавистью къ людямъ. Напротивъ, вмѣстѣ съ живымъ умомъ природа надѣлила его добрымъ, отзывчивымъ и благороднымъ сердцемъ. Какъ охотно дѣлился онъ съ другими своими знаніями! Какъ щедро давалъ онъ совѣты, указанія, книги!

Ученая и учебная жизнь университета была предметомъ постоянной и искренней заботливости покойнаго. Онъ много хлопоталъ о томъ, какъ бы поставить дѣло факультетскаго преподаванія насколько возможно лучше какъ бы возбуждать и поддерживать самостоятельныя занятія слушателей. И эти благо-

родныя усилія не пропадали даромъ... Но тутъ я долженъ остановиться. О глубокомъ и благотворномъ вліяніи достойнаго наставника вы можете сказать и больше и лучше меня. Я укажу только на работы, выполненныя подъ руководствомъ покойнаго.

Et tumulis honor.

Это выраженіе А. А. Котляревскій выбралъ какъ motto для своего сочиненія о погребальныхъ обычаяхъ славянъ. Мы примѣнимъ это выраженіе къ его могилѣ. Дорога и незабвенна будетъ для насъ эта могила....

Вѣчная память почившему!

О ТРУДАХЪ А. Н. ВЕСЕЛОВСКАГО [1]).

Одна изъ главнѣйшихъ задачъ этнографіи—изученіе народнаго эпоса, народныхъ преданій, пѣсенъ и сказокъ.

Эти памятники устной словесности представляютъ незамѣнимое пособіе для ознакомленія съ духовной культурой народа, съ запасомъ его повѣрій, историческихъ воспоминаній, поэтическихъ образовъ, накоплявшихся въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ.

Культура ново-европейскихъ народовъ, въ частности народа русскаго, развивалась подъ разнообразными вліяніями, складывалась изъ разновидныхъ элементовъ. Отзвуки отдаленной общеарійской эпохи, особенности племенныхъ группъ, воздѣйствіе греко-римской образованности, культурныя теченія, приходившія съ Востока, все это, переплетаясь, входило въ жизнь европейскихъ народовъ и образовало ту пеструю смѣсь, остатки которой дошли до насъ въ видѣ энтографическаго матеріала, отыскиваемаго въ большемъ или меньшемъ обиліи во всѣхъ странахъ нашего культурнаго міра. Чтобы разобраться въ этомъ сложномъ матеріалѣ, чтобы опредѣлить значеніе его составныхъ частей, чтобы опредѣлить слои, накоплявшіеся въ области народнаго вѣрованія

1) На основаніи этого отзыва, написаннаго по просьбѣ и порученію медальной Комиссіи, А. Н. Веселовскому присуждена Отдѣленіемъ Этнографіи Имп. Рус. Географ. Общества Константиновская медаль.

и народной поэзіи, нужны обширныя разысканія, основанныя на началахъ строгой исторической и филологической критики. Этнографія соприкасается въ этихъ разысканіяхъ съ исторіей литературы.

Въ нашей ученой литературѣ есть рядъ трудовъ, въ которыхъ памятники народно-поэтическаго преданія разсматриваются въ исключительно историко-критическомъ направленіи. Лучшіе и наиболѣе цѣнные изъ этихъ трудовъ принадлежатъ, безспорно, профессору С.-Петербургскаго университета Александру Николаевичу Веселовскому.

Лѣтопись учено-литературной дѣятельности почтеннаго профессора охватываетъ уже 35 лѣтъ.

Въ I томѣ «Лѣтописей русской литературы и древности», появившемся въ 1859 году, помѣщена была небольшая статья по поводу одного изъ выпусковъ Гауптова журнала: Zeitschrift für deutsches Alterthum (XI Bandes 2 Heft). Подъ статьей подписано было имя молодого автора, впервые выступавшаго въ ученой литературѣ: «А. Веселовскій». Въ упомянутой книжкѣ нѣмецкаго журнала помѣщены были: статья Ригера о Тацитовыхъ Ингевонахъ, Истевонахъ и Герминонахъ, статья В. Гримма объ испанскихъ сказкахъ и др.

Въ разборѣ этихъ статей рецензентъ обнаруживалъ такое обширное знакомство съ литературой миѳологическихъ преданій и народныхъ сказокъ и такое умѣніе работать надъ народно-поэтическимъ матеріаломъ, которыя давали основаніе утверждать, что въ лицѣ г. Веселовскаго наша наука пріобрѣтала сильнаго дѣятеля, отъ котораго можно ожидать много цѣнныхъ и важныхъ работъ.

Эти ожиданія сбылись въ полной мѣрѣ. Доказательствомъ служитъ длинный списокъ учено-литературныхъ трудовъ Александра Николаевича. Пересматривая этотъ списокъ, поражаешься прежде всего разнообразіемъ и обширностью его научно-литературной дѣятельности. Начиная съ 1866 года, не проходило ни одного года, въ теченіе котораго не появилось бы нѣсколько

работъ г. Веселовскаго. Такая ученая плодовитость представляется тѣмъ болѣе примѣчательной, что въ числѣ этихъ быстро слѣдовавшихъ одинъ за другимъ трудовъ есть нѣсколько такихъ, изъ которыхъ каждый въ отдѣльности могъ бы доставить автору почетную извѣстность: «Вилла Альберта», «Сказанія о Соломонѣ и Морольфѣ», «Кіевскія былины», «Разысканія въ области русскаго духовнаго стиха», «Изъ исторіи романа и повѣсти» и др.

Проф. Буслаевъ, разбирая одну изъ названныхъ работъ, именно книгу о Соломонѣ и Морольфѣ, называетъ ее «капитальнымъ пріобрѣтеніемъ нашей ученой литературы». «Всматриваясь въ работы г. Веселовскаго, писалъ въ 1877 г. покойный академикъ И. И. Срезневскій,—видимъ обширное знакомство съ первичными источниками, частію неизданными или же провѣренными имъ по рукописямъ, разнообразіе сравнительныхъ припоминаній, уясняющихъ сравниваемое, отчетливыя объясненія подробностей данными изъ словесности и языка и научную требовательность изслѣдователя, старающагося сдѣлать выводы, имъ достигаемые, достойными довѣрія самыхъ взыскательныхъ скептиковъ.—И не только въ особыхъ изслѣдованіяхъ, но и въ статьяхъ, написанныхъ по поводу появленія на свѣтъ разныхъ изданій, русскихъ и иностранныхъ, г. Веселовскій постоянно не только затрогивалъ, но и уяснялъ нѣкоторыя изъ задачъ средневѣковой и народной устной словесности». Срезневскій заканчиваетъ оцѣнку трудовъ А. Н. Веселовскаго словами: «Въ русской научной литературѣ они незамѣнимы» (Сборникъ Отд. Русскаго языка и словесности Имп. Академіи Наукъ Т. XVIII, стр. LXIX—LXX).

Приведу еще одинъ отзывъ о трудахъ г. Веселовскаго, отзывъ историка нашей этнографіи. Подробно разсмотрѣвъ дѣятельность нашего уважаемаго академика, А. Н. Пыпинъ приходитъ къ такому общему выводу.

«Чрезвычайно цѣннымъ качествомъ изслѣдованій г. Веселовскаго является вообще старанье разъяснить историческій генезисъ преданія съ тѣхъ его формъ, какія только возможно услѣдить или предположить въ древнѣйшую пору, и съ тѣхъ сложныхъ и за-

путанныхъ развитій, какія испытало оно на пространствѣ стольких̀ъ вѣковъ, подъ вліяніемъ стольких̀ъ новыхъ условій народной жизни и народной мысли. Очевидно, что только въ этомъ видѣ и можетъ быть понято соотношеніе древняго преданія и его новѣйших̀ъ отголосковъ. Объ этомъ догадывались прежніе изслѣдователи, но рѣдко проводили мысль историческаго развитія въ самомъ анализѣ преданія: всего чаще, увлекаемые примѣромъ Гримма, а также не владѣвшіе на первое время достаточнымъ запасомъ сравнительнаго матеріала, они слишкомъ легко переходили отъ очень древняго къ очень новому и, вообще говоря, видали въ современномъ народномъ міровоззрѣніи гораздо больше остатковъ первобытнаго язычества, чѣмъ было ихъ на самомъ дѣлѣ. Въ разысканіяхъ г. Веселовскаго, напротивъ, едва ли не гораздо сильнѣе и вліятельнѣе въ этомъ смыслѣ является эпоха «двоевѣрія», когда въ старое народное преданіе влился цѣлый потокъ новаго христіанскаго, и особливо популярно-христіанскаго и «отреченнаго» миѳа, который чѣмъ дальше, тѣмъ больше овладѣвалъ и народной вѣрой и фантазіей. Трудамъ г. Веселовскаго въ особенности принадлежитъ заслуга разъясненія этой критической поры въ развитіи народнаго преданія: не только указано было въ нихъ обширное вліяніе популярныхъ христіанскихъ элементовъ на народное міровоззрѣніе; не только раскрыта была тѣсная связь послѣдняго съ средневѣковымъ двоевѣріемъ вообще, но, что было въ особенности любопытно и исторически важно, сдѣланы намеки на такіе примѣры международнаго культурнаго взаимодѣйствія, о которыхъ не знаетъ писанная исторія, и которые заставляютъ угадывать цѣлую давнюю эпоху народной культурной жизни во времена почти до-историческія» (Исторія Рус. Этнографіи, Т. II, стр. 281—282).

Наша Академія Наукъ давно оцѣнила ученыя заслуги проф. Веселовскаго. Въ 1877 году онъ избранъ былъ членомъ Отдѣленія Русскаго Языка и Словесности. Въ настоящее время г. Веселовскій имѣетъ званіе ординарнаго академика.

Богатство литературныхъ данныхъ, собранныхъ въ трудахъ

нашего ученаго, талантливая и строго-научная разработка этихъ данныхъ, доставили ему широкую извѣстность и въ западномъ ученомъ мірѣ. Болонскій университетъ почтилъ его докторскимъ дипломомъ. Вѣнская Академія Наукъ избрала его своимъ членомъ-корреспондентомъ. Въ недавнее время русскій академикъ избранъ членомъ-корреспондентомъ Мюнхенской Академіи Наукъ. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что знакомство западныхъ ученыхъ съ трудами нашего академика облегчалось тѣмъ, что нѣкоторыя его изслѣдованія печатались въ изданіяхъ французскихъ, нѣмецкихъ, итальянскихъ (Romania, Archiv fur Slavische Philologie, Russische Revue и др.). Раннія работы г. Веселовскаго написаны были по-итальянски (Novella della figlia del re di Dacia, 1866; Il Paradiso degli Alberti. Четыре тома. 1867—1869 г.).

Авторитетную оцѣнку, сдѣланную нѣсколькими учеными учрежденіями, я могу дополнить лишь бѣглымъ обзоромъ литературной дѣятельсости А. Н. Веселовскаго.

Труды А. Н. Веселовскаго можно раздѣлить на три отдѣла.

I) Работы по исторіи западно-европейскихъ литературъ.

Таковы упомянутыя уже изданія, появившіяся на итальянскомъ языкѣ. За ними идетъ рядъ изслѣдованій, принадлежащихъ русской ученой литературѣ: Данте и символическая поэзія католичества; Вилла Альберти. Новые матеріалы для характеристики литературнаго и общественнаго перелома въ итальянской жизни XIV—XV столѣтій; Джордано Бруно; наблюденія надъ исторіей нѣкоторыхъ романическихъ сюжетовъ средневѣковой литературы; Рабле и его романъ; Робертъ Гринъ и его послѣдователи и др. Въ недавнее время г. Веселовскій обогатилъ нашу литературу переводомъ одного изъ замѣчательнѣйшихъ памятниковъ всемірной литературы, Декамерона Боккачіо. Переводъ исполненъ съ рѣдкимъ искусствомъ. Дополненіемъ къ переводу служитъ обширное изслѣдованіе о жизни и литературной дѣятельности

знаменитаго автора всемірно извѣстныхъ новеллъ: «Боккачіо, его среда и сверстники». Одновременно съ Декамерономъ, г. Веселовскій напечаталъ другую переводную работу, переносящую насъ изъ Италіи XIV вѣка на другой край европейскаго міра, — въ Исландію XII вѣка. Работа эта: «Вѣщаніе Вёльвы (Völuspa) и новѣйшая экзегеза». Здѣсь помѣщенъ русскій переводъ Волюспы, съ обширными примѣчаніями, которымъ придавъ видъ разбора книги Г. Мейера: «Völuspa».

Едва ли нужно говорить, что для исполненія всѣхъ этихъ работъ требовалось глубокое знаніе языковъ и литературъ романскихъ и германскихъ народовъ. Для тѣхъ, кто интересуется преимущественно этнографическими вопросами, важно обратить вниманіе на связь этихъ историко-литературныхъ работъ г. Веселовскаго съ разысканіями въ области народно-поэтическихъ преданій. Такъ, названное уже «Вѣщаніе Вёльвы» переноситъ насъ въ самую глубь «двоевѣрія» или полувѣрія, представляя яркій примѣръ сліянія христіанскихъ преданій съ незабытыми еще образами миѳологическаго эпоса. Поэма Данте, о которой г. Веселовскій говорилъ въ одной изъ своихъ раннихъ статей, коренится, какъ извѣстно, на почвѣ христіанско-легендарныхъ представленій о загробной жизни, — представленій, накоплявшихся въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ. Разсмотрѣнію этихъ представленій посвящено нѣсколько работъ нашего ученаго: «Безразличные и обоюдные въ житіи Василія Новаго и народной эсхатологіи», «Видѣніе Григорія о послѣднихъ дняхъ», «Эпизоды о раѣ и адѣ въ писаніи Новгородскаго архіепископа Василія» и др.

II) Изданія и изслѣдованія памятниковъ старо-русской письменности.

«Новыя отношенія Муромской легенды о Петрѣ и Февроніи и сага о Рагнарѣ Лодброкѣ»; «Славянскія сказанія о Соломонѣ и Китоврасѣ и западныя легенды о Морольфѣ и Мерлинѣ»; «От-

рывки Византійскаго эпоса въ Русскомъ»; «Повѣсть о Дигенисѣ»; «Повѣсть о Вавилонскомъ царствѣ»; «Italieniche Mysterien in einem russischen Reisebericht des XV Jahrjunderts»; «Слово о двѣнадцати снахъ Шахайши»; «Изъ исторіи романа и повѣсти» (два тома); очеркъ литературной исторіи старо-русскихъ повѣстей» (въ «Исторіи русской словесности» Галахова, изд. 2). Не имѣя возможности говорить о всѣхъ этихъ трудахъ, остановлюсь лишь на двухъ изъ нихъ. Книгѣ о Соломонѣ г. Веселовскій далъ еще другое, болѣе общее заглавіе: «Изъ исторіи литературнаго общенія Востока и Запада». Это заглавіе даетъ указаніе на ту историко-литературную задачу, которую поставилъ себѣ авторъ. «Фактъ вліянія восточныхъ представленій на европейскую мысль, говоритъ нашъ ученый, является общепризнаннымъ. Но для историка онъ остается все еще вопросомъ, пока не раскрыты точнѣе обстоятельства, при которыхъ совершилось это вліяніе, и не одна только возможность, но и пути перехода. На послѣднее требованіе отвѣчали различно: говорили о старыхъ торговыхъ связяхъ, о паломникахъ къ святымъ мѣстамъ Востока, приносившихъ къ намъ заморскія легенды и сказки; о столкновеніи Европы и Азіи въ пору Крестовыхъ походовъ; объ испанскихъ арабахъ, вторгшихся клиномъ въ европейскую цивилизацію; наконецъ, о посредствѣ монголовъ... Вопросъ о вліяніи восточныхъ сказаній на повѣствовательную литературу Запада остается попрежнему въ такомъ положеніи: мы признаемъ, что общеніе между Востокомъ и Западомъ было, на это есть историческія данныя; намъ стали извѣстны ряды сказокъ, легендъ и эпическихъ мотивовъ, общихъ той и другой области и мы заключаемъ, что они — результатъ того же историческаго общенія. Когда и гдѣ оно совершилось—это и есть искомое, которое все еще необходимо опредѣлить... Занятія въ области такъ называемыхъ странствующихъ повѣстей, должны привести къ убѣжденію, что прочные результаты могутъ быть получены здѣсь лишь въ томъ случаѣ, когда изученіе ограничится на первый разъ группой сказаній, гдѣ найдется такая посредствующая форма, облегчающая

подлинность историческаго перехода, т.-е. группой литературныхъ фактовъ. Литературное вліяніе Востока на Западъ, насколько оно засвидѣтельствовано памятниками, представляется мнѣ единственно существеннымъ — потому что оно и можетъ быть доказано, и должно было быть устойчивѣе. Разсказы паломниковъ и монголовъ-номадовъ мы должны принять на вѣру, тогда какъ не нужно особаго усилія мысли, чтобы понять, почему повѣсти изъ Панчатантры и Семи Мудрецовъ, такъ долго удержались въ народномъ сознаніи Запада. Мы знаемъ, хотя и въ общихъ чертахъ, литературную исторію этихъ сборниковъ, знаемъ, когда европейцы открыли ихъ впервые, какіе съ нихъ сдѣланы были переводы, познакомившіе западное общество съ сюжетами, которые до тѣхъ поръ были ему неизвѣстны. Эта точка зрѣнія на предметъ опредѣлила и выборъ моей темы: «Европейскія повѣсти о Соломонѣ».

Обширная ученость нашего автора дала ему возможность прослѣдить литературную исторію Соломоновой саги отъ ея древнѣйшихъ восточныхъ образцовъ до позднѣйшихъ европейскихъ переработокъ. Общій выводъ, къ которому приходитъ изслѣдователь, таковъ: «Основа этихъ неканоническихъ повѣстей обличаетъ происхожденіе съ дальняго Востока: буддійскаго и иранскаго; но въ Европу онѣ проникли уже съ именемъ Соломона, что указываетъ на посредство среды, оставившей на нихъ это библейское имя. Такимъ образомъ, одна посредствующая форма перехода достаточно выяснилась. На этой первой степени стоитъ талмудическая сага о Соломонѣ, перешедшая впослѣдствіи и къ мусульманамъ, и, можетъ быть, другое своеобразное видоизмѣненіе той же саги, которое я гадательно отнесъ на счетъ дуалистическихъ сектъ, проводившихъ въ средневѣковое христіанство религіозныя воззрѣнія и легенды арійскаго Востока. Въ той и другой редакціи, Соломоновская легенда проникла въ христіанскую Европу, вмѣстѣ съ другими статьями такого же двоевѣрнаго характера, и заняла здѣсь мѣсто въ ряду отреченныхъ книгъ. Это—третья ступень перехода. У насъ есть извѣстіе, что

въ концѣ V вѣка, апокрифъ о Соломонѣ былъ знакомъ на Западѣ, и что противъ него тогда уже возставала римская церковь. Къ южнымъ славянамъ онъ принесенъ былъ, безъ сомнѣнія, изъ Византіи. Другія западныя свидѣтельства отъ X вѣка позволяютъ заключить, что уже въ эту пору западная рецензія отличалась особымъ характеромъ, напр. собственныхъ именъ, который потомъ упрочился за ней и составилъ ея отличіе отъ восточной, т.-е. византійско-славянской. Съ X вѣка или, вѣрнѣе, съ XI мы наблюдаемъ новое явленіе: апокрифическая повѣсть переходитъ въ народъ и народнѣетъ; она даетъ содержаніе повѣстямъ, романамъ и фабльо и доходитъ до анекдота и прибаутки. Такъ было на Западѣ, но и въ восточной группѣ происходитъ подобное броженіе, хотя мы и не знаемъ, когда оно началось: отреченная статья разбилась на книжную повѣсть, русскую былину, на сербскія и русскія сказки. Это уже послѣдній періодъ развитія, въ которомъ мы довольно ясно продолжаемъ отличать двѣ группы: западную—латинскую и византійскую—славянскую. Обѣ онѣ развиваются своеобразно, иногда далеко расходясь въ своихъ результатахъ, при чемъ преимущество вымысла и поэзіи безспорно принадлежитъ Западу; иной разъ онѣ смѣшиваются: западныя повѣсти о Соломонѣ, въ своихъ народныхъ переработкахъ, проникли, можетъ быть, въ XVI и XVII вв. и въ Россію, такъ что позднѣйшія русскія сказанія могли отразить на себѣ слѣды двухъ разновременныхъ вліяній; надъ старой византійской легендой въ нихъ надслоились западные разсказы, юморъ которыхъ заслонилъ серьезное содержаніе ихъ далекаго отреченнаго подлинника» (стр. III—VI).

Трудъ свой по исторіи романа и повѣсти г. Веселовскій называетъ: «Матеріалы и изслѣдованія». Это заглавіе вполнѣ соотвѣтствуетъ содержанію книги. Здѣсь дѣйствительно находимъ цѣлый рядъ литературныхъ текстовъ, ранѣе не изданныхъ: Διήγησις καὶ γέννησις καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἀλεξάνρου (по рукописи Вѣнской библіотеки), разсказъ о Таврѣ и Менiи въ древне-славянскомъ житіи св. Панкратія (по рукописи XIII—XIV вв.), извле-

ченіе изъ греческаго житія того же святого (по рукописи синодальной библіотеки), извлеченіе изъ греческаго же житія Ксантипы, Поликсены и Ревекки (по рукописи синодальной библіотеки), Троянская притча (по рукописи Софійской библіотеки), Повѣсти о Тристанѣ, Бовѣ и Аттилѣ (по рукописи Познанской публичной библіотеки). Изученіе этихъ текстовъ дало возможность изслѣдователю освѣтить многіе темные отдѣлы литературной исторіи нашей старой повѣсти, вліяніе которой отразилось и на народной сказкѣ. Укажу для примѣра на повѣсть о Бовѣ, которая переработалась въ сказку, широко распространенную на Руси. Изслѣдованія г. Веселовскаго показали, что въ старорусской письменности извѣстны были двѣ редакціи этой повѣсти. Одна изъ этихъ редакцій сохранилась въ бѣлорусскомъ сборникѣ XVI вѣка, принадлежащемъ Познанской библіотекѣ; другая версія извѣстна по нѣсколькимъ великорусскимъ рукописямъ XVII—XVIII вв. Первая редакція не пользовалась, повидимому, большой распространенностью; вторая редакція пошла, напротивъ, «гулять по лицу русской земли», она живетъ и до сихъ поръ въ формѣ народной сказки. Общій источникъ и той и другой редакціи—сербская письменность, куда повѣсть о Бовѣ проникла изъ итальянской литературы. «Если бѣлорусско-сербскій Бова часто дословно переведенъ съ итальянскаго, извѣстнаго намъ текста, то великорусскій Бова Королевичъ, также перешедшій къ намъ черезъ сербскія руки, представляетъ отличія, не находящіяся ни въ одной итальянской версіи и, вмѣстѣ съ тѣмъ не принадлежащія русской народной передѣлкѣ. Вѣроятно, не только переводили, но и усвояли, передѣлывая: на почвѣ этого сербскаго усвоенія и выросла наша русская сказка о Бовѣ» (стр. 100).

III) Изслѣдованія народныхъ преданій, повѣрій и пѣсенъ.

Исходнымъ пунктомъ этихъ изслѣдованій служатъ обыкновенно данныя, отыскиваемыя въ русской литературѣ, но въ объясненіи этихъ данныхъ развертывается такое богатство со-

поставленій, которое свидѣтельствуетъ о томъ, что изслѣдователь одинаково хорошо знакомъ съ нашей народной словесностью и съ народной поэзіей другихъ славянскихъ народовъ, съ средневѣковой литературой Запада и съ византійской письменностью; ему не осталась невѣдомой даже такая малоизвѣстная литература, какъ румынская.

Труды Александра Николаевича по народной словесности можно распредѣлить на три группы.

А) Изслѣдованіе памятниковъ русскаго былевого эпоса.

Сюда относятся:

аа) Собраніе статей, подъ заглавіемъ: «Кіевскія былины»,— обширный трудъ, въ которомъ разсмотрѣнъ цѣлый рядъ былевыхъ пѣсенъ. Укажу для примѣра на статью объ «Иванѣ гостиномъ сынѣ». Сдѣланное здѣсь сопоставленіе пѣсенъ объ этомъ Иванѣ съ греческой повѣстью о мудромъ старцѣ и съ старофранцузскимъ романомъ объ Иракліи (Eracles) имѣетъ рѣшающее значеніе при опредѣленіи состава нашей былины. Указаніе г. Веселовскаго на связь этой былины съ греческой повѣстью, занесено Крумбахеромъ въ его Geschichte der byzantinischen Litteratur, какъ опредѣленно установленный литературный фактъ (стр. 402).

бб) Статьи объ отдѣльныхъ былинахъ: «Былина о Садкѣ», «Красавица въ теремѣ и русская былина о подсолнечномъ царствѣ», «Объ одномъ эпизодѣ въ былинѣ о Святогорѣ» и др. Въ первой изъ этихъ статей находимъ драгоцѣнное указаніе на родственное нашей былинѣ сказаніе о Садкѣ (Sadoc), занесенное въ старо-французскій романъ о Тристанѣ (Tristan le Léonois). Статья о «Подсолнечномъ царствѣ» даетъ полное разъясненіе состава этой пѣсни, пріуроченной къ имени царя Ивана Васильевича. Умѣстно здѣсь же упомянуть, что преданія о царѣ Иванѣ Грозномъ служатъ предметомъ отдѣльной статьи г. Веселовскаго.

вв) «Мелкія замѣтки къ былинамъ», рядъ небольшихъ статей, помѣщенныхъ въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія». Эти мелкія замѣтки имѣютъ однако крупное значеніе. Не перечисляя всѣхъ этихъ замѣтокъ, укажу лишь такія статьи, какъ «Финскіе варіанты былинъ объ Ильѣ Муромцѣ»; «Кто такой Бравлинъ въ житіи св. Стефана Сурожскаго»; «Былины о Ставрѣ Годиновичѣ и пѣсни о дѣвушкѣ воинѣ». Въ этихъ статьяхъ читатель найдетъ и новые литературные факты, и новыя догадки, открывающія просвѣты въ трудно доступные тайники нашего былевого эпоса.

Б) Разысканія, касающіяся народныхъ легендъ и духовныхъ стиховъ.

Таковы «Опыты по исторіи развитія христіанской легенды», «Разысканія въ области русскаго духовнаго стиха». Въ «Опытахъ» раскрывается литературная исторія такихъ распространенныхъ у насъ произведеній, какъ сказаніе о 12 пятницахъ, сонъ Богородицы, епистолія о недѣлѣ. Изъ ряда разысканій о духовныхъ стихахъ укажу лишь нѣкоторыя, наиболѣе крупныя работы: «Св. Георгій въ легендѣ, пѣснѣ и обрядѣ», «Румынскія, славянскія и греческія колядыи», и Генварскія русаліи и готскія игры въ Византіи», «Большой стихъ о Георгіи и сказка объ Ильѣ и Змѣѣ». Помимо цѣлаго содержанія, даже нѣкоторые отдѣлы этихъ разысканій имѣютъ самостоятельное и важное значеніе. Такъ въ статьѣ о Колядахъ находимъ обширное изслѣдованіе о скоморохахъ, разъясняющее исторію старо-русскаго скоморошества въ связи съ подобными же явленіями на Западѣ и въ Византіи.

В) Статьи о народныхъ вѣрованіяхъ и преданіяхъ.

Остановлюсь для примѣра на двухъ статьяхъ: «Дуалистическія повѣрья о мірозданіи» и «Судьба — Доля въ народныхъ

представленіяхъ славянъ». Важенъ обширный фактическій матеріалъ, собранный въ этихъ изслѣдованіяхъ; еще важнѣе нѣкоторыя общія соображенія и замѣчанія, касающіяся самаго метода изслѣдованія народно-поэтическаго матеріала. Въ первой изъ указанныхъ работъ авторъ касается важнаго и труднѣйшаго методологическаго вопроса,—вопроса о значеніи такъ называемыхъ «общихъ основъ» и «заимствованій» въ произведеніяхъ народнаго эпоса. «Разборъ легендъ о мірозданіи, говоритъ г. Веселовскій, важенъ мнѣ не только по своимъ результатамъ, если бы они оказались заслуживающими вниманія, но и по отношенію къ нѣкоторымъ общимъ вопросамъ. Объясняя сходство миѳовъ, сказокъ, эпическихъ сюжетовъ у разныхъ народовъ, изслѣдователи расходятся обыкновенно по двумъ противоположнымъ направленіямъ: сходство либо объясняется изъ общихъ основъ, къ которымъ предположительно возводятся сходныя сказанія, либо гипотезой, что одно изъ нихъ заимствовало свое содержаніе изъ другого. Въ сущности, ни одна изъ этихъ теорій въ отдѣльности не приложима, да онѣ и мыслимы лишь совмѣстно, ибо заимствованіе предполагаетъ въ воспринимающемъ не пустое мѣсто, а встрѣчныя теченія, сходное направленіе мышленія, аналогическіе образы фантазій. Теорія «заимствованія» вызываетъ такимъ образомъ, теорію «основъ», и обратно; анализъ каждаго факта изъ области folklore'a долженъ одинаково обращаться на ту и другую сторону вопроса, въ виду возможности, что взаимное передвиженіе миѳа, сказки, пѣсни могло повторяться не однажды и всякій разъ при новыхъ условіяхъ, какъ усвояющей среды, такъ и усваиваемаго матеріала. Германскіе эпическіе мотивы легли въ основу французскихъ Chansons de geste и снова перешли черезъ Рейнъ — поэмами феодальнаго и рыцарскаго пошиба. Вмѣсто этой окраски я предполагаю христіанско-богомильскую въ тѣхъ легендахъ, которыя, направясь съ сѣвера на югъ, снова обратились на сѣверъ, совершивъ одно изъ тѣхъ круговращеній, которыхъ путь трудно услѣдить, но которыя изслѣдователь всегда обязанъ имѣть въ виду, какъ возможныя» (стр. 115—116).

Теоріи общихъ основъ и заимствованій не представляются, такимъ образомъ, исключающими одна другую; отыскивается нѣкоторая высшая точка зрѣнія съ болѣе широкимъ кругозоромъ, примиряющая крайности односторонняхъ воззрѣній. Въ статьѣ о Долѣ изслѣдователь «пытается внести въ разнообразную смѣсь суевѣрій, выражающихъ понятіе судьбы, идею историческаго генезиса». Эта идея генезиса даетъ новое освѣщеніе группѣ народно-поэтическихъ представленій, надъ которой работали ранѣе такіе изслѣдовали, какъ Аѳанасьевъ, Потебня, Краусъ.

Коснувшись методологическихъ замѣчаній нашего академика, отмѣчу кстати еще нѣсколько его работъ, интересныхъ по такимъ именно общимъ соображеніямъ и указаніямъ: «О методѣ и задачахъ исторіи литературы, какъ науки», «Сравнительная миѳологія и ея методъ», критическій отчетъ о «Трудахъ этнографическо-статистической экспедиціи въ западно-русскій край», вступительныя главы сочиненія «Изъ исторіи романа и повѣсти».

Присужденіемъ академику Веселовскому высшей награды, медали имени Великаго Князя Константина Николаевича, Императорское Русское Географическое Общество выразитъ справедливую признательность къ многолѣтней, плодотворной дѣятельности ученаго изслѣдователя, труды котораго давно названы «незамѣнимыми». Труды эти навсегда останутся образцами строго-критическихъ разысканій въ области народовѣдѣнія и исторіи литературы. Русская наука можетъ гордиться богатымъ вкладомъ, который внесенъ уважаемымъ академикомъ въ сокровищницу не только русскаго, но и обще-европейскаго знанія.

О ТРУДАХЪ Ѳ. И. БУСЛАЕВА ПО ИСТОРІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ.

Среди русскихъ филологовъ едва ли можно указать имя, которое получило бы такую широкую извѣстность внѣ круга спеціалистовъ, какъ имя Ѳ. Ив. Буслаева. Такая извѣстность объясняется конечно совокупностью всѣхъ трудовъ покойнаго профессора: въ числѣ этихъ трудовъ находимъ работы по исторіи русскаго языка и словесности, по исторіи искусства, опыты изученія памятниковъ западно-европейскихъ литературъ, сочиненія и изданія педагогическаго характера. Едва ли однако можетъ подлежать сомнѣнію, что изъ всѣхъ трудовъ Буслаева наибольшей популярностью пользовались и пользуются его работы по изученію древне-русской письменности и русской народной поэзіи. На этихъ именно работахъ я и рѣшаюсь остановить вниманіе благосклоннаго читателя.

Въ 1842 году въ журналѣ «Москвитянинъ» напечатана была небольшая литературная замѣтка подъ заглавіемъ: «Сербская сказка о царѣ Троянѣ». Авторъ замѣтки сопоставляетъ «баснословнаго, поэтическаго» Трояна, упоминаемаго въ сербской сказкѣ, съ тѣмъ Трояномъ, на котораго намекаютъ нѣкоторыя выраженія въ словѣ о Полку Игоревѣ (земля Трояня, тропа Трояня). Эта замѣтка о Троянѣ — первый опытъ Буслаева въ области литературно-историческихъ изученій. Спустя три года въ томъ же «Москвитянинѣ» появилась критическая статья Буслаева по по-

воду труда Дубенскаго: «Слово о полку Игоревѣ, объясненное по древнимъ письменнымъ памятникамъ». Эта критическая статья показала, какого именно размѣра и значенія силу пріобрѣтала наша ученая литература въ лицѣ молодого московскаго ученаго. Буслаевъ выступилъ въ своей статьѣ съ новыми научными запросами, съ новыми воззрѣніями, съ новымъ методомъ изслѣдованія литературной старины. Въ изданіи Дубенскаго, а также въ трудахъ другихъ русскихъ ученыхъ, изучавшихъ Слово о Полку Игоревѣ, Буслаевъ открываетъ существенный пробѣлъ. «Они, говоритъ онъ, обращали вниманіе только на объясненіе отдѣльныхъ выраженій Слова и на доказательства подлинности, не касаясь внутренняго содержанія. Мѣста изъ древнихъ памятниковъ собраны; отношеніе слова къ народной поэзіи и повѣрьямъ взялъ въ соображеніе Максимовичъ. О томъ же, какъ понимали это произведеніе наши предки, никто изъ комментаторовъ не подумалъ. Изданіе Дубенскаго есть результатъ и сборникъ предыдущаго. Существенный недостатокъ изданія его и его предшественниковъ тотъ, что мало было обращено вниманія на отношеніе Слова къ нашей древней миѳологіи и повѣрьямъ. Вслѣдствіе этого доселѣ остается неопредѣленнымъ поэтическое значеніе этого памятника. Слово о Полку Игоревѣ носитъ еще на себѣ всѣ признаки язычества, народная миѳологія въ немъ не риторическое украшеніе, а вѣрованіе. Между тѣмъ комментаторы чего не понимали въ немъ исторически, старались объяснить тропами; оттого Слово получило видъ напыщенный. Слово сообщаетъ преданіе о Боянѣ и передаетъ его изреченія. Замѣчательно, что всѣ мѣста, которыя можно бы приписать вліянію Бояна, отзываются темнотою историческаго смысла и исполнены миѳологическихъ намековъ. Эти-то намеки и есть замышленіе Бояна, или старыя словеса. Если историческіе факты дали содержаніе Слову, то поэтическія преданія были для сочинителя вдохновеніемъ; миѳологическія повѣрья составляютъ душу этого произведенія, потому что вѣщее предзнаменованіе, оправданное гибелью дружины Игоревой, есть идея всего Слова, такъ что всѣ

части его вытекаютъ изъ одной: и сонъ Ярослава, и обращеніе къ князьямъ и плачъ Ярославны». Впослѣдствіи Буслаевъ снова остановился на вопросѣ о Боянѣ и о миѳологіи Слова. Я имѣю при этомъ въ виду статью: «Русская поэзія XI и начала XII вѣка». Въ началѣ статьи авторъ дѣлаетъ нѣсколько замѣчаній о трудѣ Шевырева: «Исторія русской словесности». Во 2-мъ выпускѣ этой Исторіи помѣщена лекція о Словѣ о Полку Игоревѣ. «Отдавая полную справедливость почтенному автору въ объясненіи исторической части Слова,—говоритъ Буслаевъ,—не можемъ признать столько же удовлетворительнымъ то, что говоритъ онъ о части собственно поэтической. Миѳологія, на которой зиждется весь древнѣйшій періодъ народной поэзіи и слѣды которой такъ явственны въ Словѣ, вовсе не объяснена нашимъ историкомъ и не приведена въ органическую связь съ поэтическимъ міромъ старыхъ словесъ и замышленій Бояна. Вслѣдствіе того наша древняя историческая поэзія представилась оторванною отъ ея героической и миѳологической основы, между тѣмъ какъ самое Слово почти на каждой страницѣ напоминаетъ о живой родственной связи съ этой древнѣйшей основой. По той же причинѣ нарушена органическая связь между содержаніемъ и художественной формой, которая своими эпическими выраженіями не только составляетъ внѣшнее украшеніе рѣчи, но и по преимуществу мелкими подробностями восполняетъ и завершаетъ поэтическое представленіе, воспроизводимое содержаніемъ. Изучавшимъ изслѣдованія Я. Гримма вполнѣ понятно, сколько глубины мысли и вѣрованія, сколько жизненности народнаго быта заключается иногда въ краткомъ сравненіи, даже въ одномъ эпитетѣ, которыми народный пѣвецъ опредѣляетъ предметъ рѣчи. Въ нашей литературѣ нѣтъ ни одного памятника, къ которому можно бы было съ такою пользою примѣнить эту плодотворную Гриммовскую методу, какъ наше драгоцѣнное Слово».

Это замѣчаніе чрезвычайно любопытно и важно. Оно показываетъ, на что обращалъ вниманіе Буслаевъ при изученіи памятниковъ нашей словесности и къ какому именно теченію евро-

пейской научной мысли онъ примкнулъ. Буслаевъ говоритъ объ Яковѣ Гриммѣ, объ его «плодотворной методѣ». Въ одномъ изъ своихъ послѣднихъ трудовъ московскій ученый открыто и прямо называетъ себя послѣдователемъ «такъ называемой Гриммовской школы», онъ «проводилъ въ своихъ изслѣдованіяхъ ученіе этой школы о самобытности народныхъ основъ миѳологіи, обычаевъ и сказаній». При такомъ воззрѣніи на основы эпическаго творчества задача изслѣдователя «словесныхъ произведеній народа» сводилась къ уясненію неразрывной связи этихъ произведеній «съ вѣрованіемъ, закономъ, нравственнымъ поученіемъ, съ обрядомъ и обычаемъ».

На первыхъ порахъ Буслаевъ примѣнилъ этотъ методъ изслѣдованія къ объясненію Слова о Полку Игоревѣ. Можно, конечно, замѣтить, что при изученіи такихъ памятниковъ, какъ Слово о Полку Игоревѣ, задача, рѣшаемая Буслаевымъ, представлялась сама собой, подсказывалась самимъ содержаніемъ памятника. Максимовичъ раньше Буслаева указывалъ на живую связь «Слова» съ народными пѣснями. Для того, чтобы оцѣнить то новое, что внесли въ русскую науку работы Буслаева, нужно обратить вниманіе на то, что свою основную точку зрѣнія, свой методъ литературныхъ изслѣдованій покойный ученый примѣнилъ къ цѣлому ряду такихъ произведеній нашей письменности, въ которыхъ «замышленіе Бояне» не только не бросалось въ глаза, но даже не предполагалось. Припомнимъ такія статьи Буслаева, какъ «Пѣсни древней Эдды о Зигурдѣ и Муромская легенда», «О народной поэзіи въ древней русской литературѣ». Въ первой статьѣ ученый останавливается на одномъ изъ памятниковъ нашей агіографической литературы, а именно на Житіи Петра и Февроніи Муромскихъ. Оказывается, что это житіе представляетъ близкое сходство съ пѣснями древней Эдды. Получается неожиданное и цѣнное научное наблюденіе: подъ формой поучительно-агіографическаго произведенія открывается одно изъ древне-эпическихъ народныхъ сказаній. Въ статьѣ о народной поэзіи въ древней русской литературѣ Буслаевъ сопоста-

вляетъ пѣсню о Волхѣ Всеславичѣ и книжное сказаніе о Волхѣ сынѣ Словена, былину о Садкѣ и житіе св. Исидора Твердислова, Голубиную Книгу и Бесѣду трехъ святителей, отыскиваетъ поэтическій матеріалъ въ такихъ памятникахъ старой письменности, какъ азбуковники, иконописные подлинники, лѣчебники. Такія изслѣдованія не могли не производить въ свое время впечатлѣнія чего-то неожиданнаго и поразительнаго: въ области нашей старой письменности открывались новыя перспективы, черты поэтическаго творчества открывались тамъ, гдѣ, повидимому, нельзя было и предполагать чего-либо, напоминающаго поэзію. Казалось, что методъ, приложенный Буслаевымъ къ изученію русской словесности освѣтитъ всѣ самые потайные уголки нашей литературной старины и нашей народной поэзіи.

Богатство содержанія, которое находили читатели въ трудахъ Буслаева, поддерживало эти ожиданія. Разысканія покойнаго ученаго охватывали чуть ли не всю широкую область народнаго творчества. Въ трудахъ Буслаева находимъ разысканія и замѣтки о сказкахъ и о богатырскихъ былинахъ, объ историческихъ пѣсняхъ и о духовныхъ стихахъ, о пословицахъ и заговорахъ, о миѳическихъ преданіяхъ и объ эпическомъ стилѣ. Все это разнообразіе изслѣдуемаго матеріала сплачивалось, однако, въ одно цѣлое единствомъ метода и единствомъ взгляда на эпическое творчество. «Не въ однѣхъ только поэмахъ и сказкахъ, писалъ Буслаевъ, народъ сохраняетъ свои эпическія преданія, но и въ отдѣльныхъ изреченіяхъ, краткихъ заговорахъ, пословицахъ, поговоркахъ, клятвахъ, загадкахъ, въ примѣтахъ и вообще въ суевѣріяхъ, хоть и не въ мѣрной рѣчи выражающихся. Всѣ эти разрозненные члены одного общаго и сказочнаго преданія, взятые въ совокупности, составляютъ то цѣлое, которое хотя и не высказалось во всей полнотѣ и нераздѣльности ни въ одной народной поэмѣ, однако всѣми чувствовалось и сознавалось, какъ родное достояніе предковъ. Ни одинъ изъ разрозненныхъ членовъ баснословнаго преданія не живетъ въ народѣ отдѣльно, самъ по себѣ: всѣ они взаимно переходятъ другъ въ друга, связываются

крѣпкими узами повѣрья, сцѣпляются и перемѣшиваются, подчиняясь игривой фантазіи народа, изобразительной и художественной. Мы увидимъ, какъ загадка переходитъ въ цѣлую поэму, и поэма сокращается въ загадку; пословица рождается изъ сказанія и становится необходимою частью поэмы, хотя и ходитъ въ устахъ народа отдѣльно; клятва и заговоръ, составляя оторванный членъ преданія, развиваются въ цѣлое сказаніе или составляютъ обычный пріемъ въ эпическомъ разсказѣ; даже примѣта, обыкновенно подразумѣваемая, а не высказываемая, иногда является обильнымъ источникомъ эпическому вымыслу». Буслаевъ сравнивалъ народный эпосъ съ языкомъ. «Никогда не видя передъ собою цѣлаго эпическаго зданія (которое и живетъ только въ эпизодахъ), между тѣмъ всякій, и поющій и слушающій, сообщается съ нимъ на каждомъ отдѣльномъ эпизодѣ: подобно тому, какъ говорящій проникается всею полнотою и силою своего роднаго языка, хотя бы сказалъ только нѣсколько фразъ; или,—чтобъ вполнѣ восчувствовать всѣ оттѣнки грамматическаго состава хотя бы самой короткой рѣчи,—надобно усвоить себѣ весь внутренній строй языка».

Оставаясь вѣрнымъ школѣ Гримма, Буслаевъ не ограничивается однако отыскиваніемъ «миѳологической основы» народнаго творчества. Крайности миѳологической экзегезы не нравились нашему ученому. Разсматривая одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ въ свое время трудовъ по народному эпосу, Буслаевъ замѣчаетъ: «Въ глубинѣ эпическаго преданія, безъ сомнѣнія, стоитъ миѳъ; но какъ лѣтописныя сказки, такъ и точное свидѣтельство Слова о полку Игоревѣ, говорятъ намъ ясно, что эпическія личности состоятъ уже во внучатномъ отношеніи къ миѳическимъ существамъ. Богатыри только наслѣдуютъ часть своей силы отъ своихъ божественныхъ предковъ. Въ богатырскихъ типахъ не возводятся до апотеозы историческія личности (какъ учила старинная теорія), а исторія и бытъ народный поэтизируются, съ точки зрѣнія эпической, то-есть, озаряются ореоломъ миѳическихъ вѣрованій. Какъ Илья Муромецъ, по былинамъ, подстрѣ-

лилъ дивовище Соловья-Разбойника, такъ и Всеславъ Полоцкій, по Слову о полку Игоревѣ,—хотя и лицо историческое,—«людямъ судяше, княземъ грады рядяше», но вмѣстѣ съ тѣмъ «а самъ въ ночь вълкомъ рыскаше, великому Хръсови влъкомъ путь прерыскаше». По мнѣнію Буслаева, «надобно прикрѣпить русскій эпосъ къ родной старинѣ и къ его родной землѣ». Придавая такимъ образомъ важное значеніе опредѣленію тѣхъ историко-культурныхъ отношеній, которыя отразились въ томъ или другомъ памятникѣ литературнаго творчества, Буслаевъ далъ прекрасные образцы такого именно историческаго комментированія литературныхъ произведеній. Можно при этомъ назвать его статьи: «Русская поэзія XVII вѣка», «Повѣсть о Горѣ-Злосчастіи», «Смоленская легенда о св. Меркуріи и Ростовская о Петрѣ царевичѣ Ордынскомъ». Буслаевъ слѣдилъ за движеніемъ науки, не замыкался въ волшебномъ кругѣ разъ навсегда усвоенныхъ воззрѣній и привычныхъ пріемовъ работы. Когда выводы, основанные на предположеніяхъ Гримма, подвергались критическому пересмотру, когда въ области изученія народной словесности явились новые запросы и задачи, Буслаевъ откровенно сознался, что въ его работахъ многое требуетъ измѣненія и поправокъ. «Такъ называемая Гриммовская школа, говоритъ Буслаевъ, съ ея ученіемъ о самобытности народныхъ основъ, миѳологіи, обычаевъ и сказаній, которое я проводилъ въ своихъ изслѣдованіяхъ, должна была уступить мѣсто теоріи взаимнаго между народами общенія въ устныхъ и письменныхъ преданіяхъ. Многое, что признавалось тогда за наслѣдственную собственность того или другого народа, оказалось теперь случайнымъ заимствованіемъ, взятымъ извнѣ вслѣдствіе разныхъ обстоятельствъ, болѣе или менѣе объясняемыхъ историческими путями, по которымъ направлялись эти культурныя вліянія».

Кромѣ этой широты научныхъ воззрѣній, нужно указать еще одну черту литературной дѣятельности Буслаева,—черту, придававшую его трудамъ живую и теплую окраску. Буслаевъ не только изучалъ народную поэзію, онъ ее любилъ, онъ сжился съ

ея образами, и съ искренностью энтузіаста желалъ передать другимъ то, что представлялось ему особенно цѣннымъ въ остаткахъ старой поэзіи. Цѣннымъ, по мнѣнію нашего ученаго, представлялось не только историческое, но и эстетическое значеніе народнаго творчества. «Поэзія народная—разумѣется, чисто народная, а не испорченная фабричными или лакейскими передѣлками—во всѣхъ отношеніяхъ хороша, потому что она естественна; потому что, будучи выраженіемъ творческаго духа всего народа, свободно выливалась она изъ устъ цѣлыхъ поколѣній. Къ ней не прикоснулось никакое личное соображеніе. Красота ея есть такое же независимое отъ личной искусственности, отъ случайной прикрасы явленіе, какъ и красота самой природы. И какъ произведенія природы потому только прекрасны, что это качество согласно съ ихъ внутреннимъ организмомъ, со всѣмъ существомъ ихъ: такъ и изящество народной поэзіи есть необходимое выраженіе самого содержанія, самого миѳа или преданія, и кроющейся въ нихъ мысли, или основного нравственнаго чувства, потому что безыскусственная поэзія всѣхъ народовъ и всѣхъ временъ высоко нравственна, точно такъ же, какъ въ природѣ физической здоровье—необходимое условіе красоты».

Буслаевъ, очевидно, желалъ привлечь къ народному творчеству общее вниманіе, желалъ вызвать въ обществѣ интересъ къ ознакомленію съ древне-русскимъ эпосомъ. Чтобы достигнуть этой цѣли, ученый долженъ былъ придавать своимъ изслѣдованіямъ общедоступный, популярный характеръ, и Буслаевъ умѣлъ быть популярнымъ, не ослабляя этой популярностью научной серьезности своихъ работъ. Прекрасный стилистъ, онъ придавалъ своимъ изслѣдованіямъ такую общедоступную, нерѣдко даже изящную форму, которая дѣлала возможнымъ помѣщеніе его работъ, иногда довольно спеціальныхъ по содержанію, на страницахъ общелитературныхъ журналовъ. Статьи Буслаева печатались въ «Отечественныхъ запискахъ», «Современникѣ», «Русскомъ Вѣстникѣ», «Русской Рѣчи» и пр.

Новая русская литература сравнительно мало интересовала

Буслаева. Причины понятны. Ученому, искавшему самобытныхъ основъ литературнаго творчества, не нравилась подражательность нашей литературы XVIII, отчасти и XIX столѣтія. «На Руси совершалось то, писалъ Буслаевъ, чего не было ни въ одной изъ цивилизованныхъ европейскихъ странъ: явилась свѣтская литература, созданная изъ случайныхъ, кое-какъ и отовсюду нахватанныхъ, чуждыхъ намъ элементовъ. Русская народность стала не основою для этой, колонизованной на Руси литературы, а мишенью, въ которую отъ времени до времени она направляла свои сатирическіе выстрѣлы, какъ въ дикое невѣжество, которое надобно искоренить въ конецъ. Было бы крайнею несправедливостью обвинять нашихъ писателей послѣднихъ ста лѣтъ въ ихъ анти-національномъ направленіи: они сознательно и честно поддерживали его, будучи поставлены насильственною реформою въ ложное и одностороннее отношеніе къ своей народности. И такъ, несмотря на видимое присутствіе цивилизованныхъ европейскихъ элементовъ въ нашей новой литературѣ, она представляетъ собой явленіе чудовищное, въ цивилизованныхъ странахъ небывалое, потому что состоитъ не въ симпатическихъ, а во враждебныхъ отношеніяхъ къ народности, какъ пришлый завоеватель, который силою покоряетъ себѣ туземныя массы, какъ эгоистическій плантаторъ, который игнорируетъ нравы и убѣжденія своихъ невольниковъ, позолачиваетъ ихъ цѣпи лоскомъ европейскаго комфорта». «Оторванная отъ народныхъ массъ Петровская литература не могла однако стать въ уровень и съ обществомъ въ высшихъ его слояхъ, которые, составившись изъ иностранныхъ элементовъ, немедленно усвоили себѣ иностранный языкъ и иностранные нравы, такъ что можно признать за историческій уже фактъ, что въ то время, какъ высшее общество на Руси находило себѣ соотвѣтственное выраженіе на западѣ и интересовалось только западомъ, русская литература, сжавшись въ малыхъ кружкахъ грамотнаго чиновничества, находилась въ унизительномъ подначальномъ состояніи, будучи заправляема, педагогически руководима, поощряема бла-

говоленіемъ и исправляема разными внушеніями, и потому естественно вращалась въ своемъ тѣсномъ кругу между заученною фразою и грубымъ словцомъ, между уклончивою лестью и задорною сатирою, между обдуманнымъ доносомъ и необдуманнымъ обличеніемъ. Не находя внутри себя самодовольнаго спокойствія, необходимаго для всякаго художественнаго творчества, могла ли такая литература безпристрастно и съ ясностью взгляда относиться къ дѣйствительности? Какъ межеумокъ, оторванный и отъ высшихъ и отъ низшихъ слоевъ русскаго населенія, наша искусственная литература или презирала все то, надъ чѣмъ думала господствовать, и все народное называла подлымъ, или благоговѣла и боялась того, что было недоступно для ея скромной сферы, и усердно расточала свои напыщенныя, бездушныя фразы на похвальныя и разныя торжественныя оды, а если и принимала иногда на себя токъ благороднаго негодованія, то развѣ на столько, насколько ей дозволялось, и тогда она въ своихъ сатирахъ и комедіяхъ, съ радости позлословить, забывала народную пословицу, что лежачаго не бьютъ».

Въ то время, когда писалъ Буслаевъ свои лучшія статьи, въ нашей литературѣ боролись два направленія: славянофильство и западничество. Буслаевъ не примкнулъ ни къ тому ни къ другому направленію. Онъ одинаково подсмѣивался и надъ славянофильствомъ и надъ западничествомъ, какъ надъ забавными и безплодными увлеченіями. «Русскій народъ—не призракъ-ли это, спрашивалъ Буслаевъ, составившійся въ разстроенномъ воображеніи чиновнаго барства, которое, то славянофильствуя, поклоняется ему въ образѣ золотого кумира, украшеннаго ореоломъ святости и всѣхъ добродѣтелей, то, западничая, цѣлыя сто лѣтъ собирается его обучать по Домострою, какъ въ людяхъ умѣть вѣжливо откашливаться, плевать и сморкаться, но до сихъ поръ, боясь приступиться къ русскому медвѣдю, оставляетъ его въ рукахъ доморощенныхъ поводильщиковъ... Попытки и славянофиловъ и западниковъ постигнуть русскій народъ были одной дѣтскою игрою, забавою досужаго воображенія». И у западни-

ковъ и у славянофиловъ Буслаевъ находилъ готовыя теоріи, касавшіяся русской народной жизни, но не видѣлъ достаточнаго знакомства съ этой жизнью. Всѣ говорили о народности и русскомъ народѣ, немногіе только интересовались изученіемъ народа, немногіе рѣшались приблизиться къ народу, узнать и понять его вѣрованія и поэтическія мечты, его обычаи и бытъ.

Отношенія нашего образованнаго общества къ народнымъ массамъ казались Буслаеву или барски-снисходительными или барски-пренебрежительными. Буслаевъ требовалъ иныхъ, братскихъ отношеній, требовалъ внимательнаго осторожнаго отношенія ко всему тому, что дорого для народа. «Не отказывая инымъ просвѣтителямъ полуязыческаго простонародія въ совершенно безкорыстныхъ, честныхъ стремленіяхъ, говоритъ Буслаевъ, все же для характеристики вопроса о народномъ направленіи образованныхъ умовъ на Руси не подлежитъ сомнѣнію, что они на первыхъ же порахъ относятся къ своей простонародной братіи вовсе не по-братски, а свысока, и не хотятъ къ ней снизойти и чѣмъ-нибудь отъ нея позаимствоваться, въ полной увѣренности, что всѣ народныя преданія и обычаи, вся застарѣлая народность—хламъ, который слѣдуетъ выбросить за окно. Но если просвѣтителямъ такъ противна русская народность, то могутъ ли они симпатично предлагать свои цивилизованныя услуги тѣмъ, кто въ теченіе вѣковъ и доселѣ свято хранитъ въ себѣ весь этотъ ненужный и противный хламъ, полагая въ немъ всю свою нравственную характеристику»?

Этотъ отрывокъ очень важенъ для характеристики Буслаева, его задушевныхъ убѣжденій. Ученый выступаетъ передъ нами какъ своеобразный народникъ, народникъ-археологъ. Онъ однако ставилъ свое ученое народничество въ живую связь съ другими проявленіями русской общественной жизни своего времени. «Мы живемъ и дѣйствуемъ, писалъ Буслаевъ въ 1862 году, въ эпоху, когда уваженіе къ человѣческому достоинству вообще, независимо отъ сословныхъ и іерархическихъ преданій, даетъ новое направленіе и политикѣ, и философіи, и легкой литературѣ, напра-

вленіе, опредѣляемое національными и вообще этнографическими условіями страны. Филантропическія, коммунистическія и всякія другія утопіи наконецъ потеряли для основательно-мыслящихъ умовъ всякое реальное значеніе въ виду высокихъ, истинно человѣколюбивыхъ цѣлей, направленныхъ къ умственному и матеріальному благоденствію народныхъ массъ. Для однихъ дѣятелей, это—необъятное поприще теоретическихъ изслѣдованій по народности въ самомъ обширномъ ея значеніи, начиная отъ миѳологіи и религіи до мельчайшихъ условій быта семейнаго и домашняго; для другихъ—такое же широкое поприще практическихъ начинаній на пользу всѣмъ и каждому. Какъ бы различны ни казались съ перваго взгляда эти стремленія теоретиковъ и практиковъ, но въ существѣ своемъ они идутъ по одному направленію и ведутъ къ одной и той же цѣли,—къ подчиненію эгоистической личности насущнымъ интересамъ народа, не только матеріальнымъ, но и особенно духовнымъ. Заботливое собираніе и теоретическое изученіе народныхъ преданій, пѣсенъ, пословицъ, легендъ не есть явленіе, изолированное отъ разнообразныхъ идей политическихъ и вообще практическихъ нашего времени: это одинъ изъ моментовъ той же дружной дѣятельности, которая освобождаетъ рабовъ отъ крѣпостного ярма, отнимаетъ права у монополіи обогащаться на счетъ бѣдствующихъ массъ, ниспровергаетъ застарѣлыя касты и, распространяя повсемѣстно грамотность, отбираетъ у нихъ вѣковыя привилегіи на исключительную образованность, ведущую свое начало чуть ли не отъ миѳическихъ жрецовъ, хранившихъ подъ спудомъ свою таинственную премудрость для острастки профановъ». Извѣстно, что въ концѣ жизни Буслаевъ заинтересовался изученіемъ литературной дѣятельности Тургенева. Быть можетъ, въ авторѣ «Записокъ охотника», въ его поэтической симпатіи къ русскому народу Буслаеву чувствовалось что-то родное и близкое сердцу.

Подводя итогъ всему сказанному о трудахъ Буслаева по исторіи русской словесности, замѣтимъ, что главный, основной интересъ представляютъ работы покойнаго академика по вопро-

самъ, касающимся соприкосновенія народной поэзіи и древнерусской письменности. Школа Гримма, къ которой принадлежалъ Буслаевъ, утратила теперь былое господствующее положеніе въ области филологическихъ наукъ. Поэтому и общія воззрѣнія Буслаева не могутъ быть признаваемы научно обязательными. Но труды Буслаева и теперь сохраняютъ важное значеніе по множеству литературныхъ фактовъ, въ нихъ собранныхъ, по цѣлому ряду счастливыхъ соображеній и комбинацій, наконецъ, по ихъ живому и задушевному изложенію. Для тѣхъ, кто начинаетъ знакомиться съ русской народной поэзіей, сочиненія Буслаева могутъ оказать незамѣнимую помощь. Буслаевъ не только пробудитъ интересъ къ народной поэзіи, онъ заставитъ ее полюбить.

УЧЕНО-ЛИТЕРАТУРНАЯ ДѢЯТЕЛЬНОСТЬ Л. Н. МАЙКОВА [1]).

Учено-литературная дѣятельность Л. Н. Майкова продолжалась болѣе сорока лѣтъ (1857—1900 г.). Первыя его работы относятся къ той порѣ, когда будущій вице-президентъ Академіи Наукъ былъ еще студентомъ Петербургскаго университета. Послѣдніе труды Леонида Николаевича — труды, за которыми застала его смерть.

Замѣчательно, что и начало и конецъ ученой дѣятельности Л. Н. Майкова связаны съ именемъ А. С. Пушкина. Въ студенческомъ сборникѣ 1857 года помѣщена была небольшая замѣтка студента Майкова: «Ненапечатанные стихи Пушкина». Послѣдняя, прерванная смертью работа покойнаго академика—изданіе полнаго собранія сочиненій великаго русскаго поэта. Заинтересовавшись поэзіей Пушкина еще въ юные годы, Л. Н. Майковъ продолжалъ изучать своего любимаго писателя въ теченіе всей своей жизни. Поэтому-то такими зрѣлыми, такими полноцѣнными явились недавнія работы Леонида Николаевича, посвященныя изученію біографіи и литературнаго творчества Пушкина. Въ этихъ работахъ,—въ сборникѣ статей о Пушкинѣ и въ изданіи лицейскихъ стихотвореній поэта,—ярко отразился общій характеръ научной дѣятельности покойнаго академика. Пересматривая эти

1) Изъ рѣчи, читанной въ общемъ собраніи Императорской Академіи Наукъ 13-го мая 1900 года.

работы Л. Н. Майкова, нельзя не удивляться разнообразію и богатству его знаній, его ученой точности, той акрибіи, которую такъ цѣнятъ филологи, наконецъ, его литературному таланту, который успѣвалъ проявляться даже въ сухихъ и дробныхъ изысканіяхъ.

То, что не трудно замѣтить въ послѣднихъ работахъ покойнаго ученаго, еще яснѣе обнаруживается при общемъ взглядѣ на его научно-литературную дѣятельность.

Разнообразіе знаній и научныхъ интересовъ Л. Н. Майкова откроется съ достаточной полнотой, если обратимъ вниманіе на тѣ отдѣлы знаній, къ которымъ относятся труды покойнаго академика. Исторія русской литературы была главнымъ, любимымъ предметомъ занятій Л. Н. Майкова. Но рядомъ съ трудами историко-литературными мы находимъ въ спискѣ его сочиненій и изданій работы по этнографіи, статистикѣ, исторической географіи, по политической и культурной исторіи Россіи. Вотъ для примѣра нѣсколько припоминаній. Въ 1863 году появилась книга Л. Н. Майкова: «О былинахъ Владимірова цикла»; въ слѣдующемъ году онъ печатаетъ рядъ статей въ «Географическо-статистическомъ словарѣ Россійской имперіи». Въ 1867 году онъ пишетъ біографію одного изъ русскихъ писателей XVIII в. (В. Ив. Майкова) и въ это же время подготовляетъ къ изданію списокъ населенныхъ мѣстъ Херсонской губерніи. Въ 1880 году онъ печатаетъ статьи: «Прощаніе Дидро съ Императрицей Екатериной II-й», «О старинныхъ рукописныхъ сборникахъ народныхъ пѣсенъ и былинъ», «Дневныя записки Протасова о воспитаніи великаго князя Александра Николаевича»; въ этомъ же году выходятъ въ свѣтъ изданія, въ редактированіи которыхъ Л. Н. Майковъ принималъ живое участіе: «Статистика поземельной собственности и населенныхъ мѣстъ Европейской Россіи» (вып. 1), «Волости и важнѣйшія селенія Европейской Россіи» (вып. 1), «Отчетъ о предварительныхъ изслѣдованіяхъ каменнаго вѣка въ Крыму». Въ 1894 г. Л. Н. Майковъ издаетъ четырнадцатый томъ «Русской исторической библіотеки», содержащій акты

Холмогорской и Устюжской епархій; въ этомъ же году онъ печатаетъ съ своими примѣчаніями письма С. Т., К. С. и Ив. С. Аксаковыхъ къ И. С. Тургеневу и письма И. С. Тургенева къ П. В. Анненкову, дополняетъ трудъ Тихонравова «Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Д. Ив. Фонвизина», пишетъ статью: «Пушкинъ о Батюшковѣ».

Тщательность и точность изданій и изслѣдованій Л. Н. Майкова свидѣтельствуютъ о строгой филологической школѣ, которую прошелъ онъ въ Петербургскомъ университетѣ. Неудивительно поэтому, что стремленіе къ точности обнаружилось уже въ первыхъ работахъ Леонида Николаевича. Въ студенческомъ сборникѣ онъ печатаетъ «Поправки къ Смирдинскому изданію сочиненій Д. Ив. Давыдова». Въ 1863 году появилась магистерская диссертація Л. Н. Майкова: «О былинахъ Владимірова цикла». Авторъ диссертаціи приходитъ къ предположительному выводу, что «былины, какъ особый родъ эпоса, существовали въ нашей народной поэзіи уже въ XII вѣкѣ, и что содержаніе ихъ заимствовалось изъ современности». Для подтвержденія этого предположенія изслѣдователь тщательно выбираетъ изъ былевыхъ пѣсенъ всѣ данныя, касающіяся народнаго быта и понятій, и такъ же старательно собираетъ лѣтописныя извѣстія о герояхъ нашего былевого эпоса. Щепетильной точностью отличаются, конечно, всѣ статистическіе труды покойнаго академика. Но съ особенной полнотой и зрѣлостью эта заботливость о научной точности обнаруживается въ великолѣпномъ изданіи сочиненій Батюшкова, вышедшемъ подъ редакціей Л. Н. Майкова. Припоминаю при этомъ прекрасную характеристику этого труда, сдѣланную покойнымъ профессоромъ Буличемъ. «Изданіе сочиненій Батюшкова, говоритъ Буличъ, въ примѣчаніяхъ ко всѣмъ тремъ томамъ его, даетъ такой обширный комментарій къ нимъ, что нельзя не поздравить читателя этой книги.... Со стороны комментатора требовалось глубокое увлеченіе авторомъ, полное углубленіе въ его мысли, желаніе непремѣнно объяснить то, что хотѣлъ онъ сказать. Иногда этотъ комментарій походитъ на тон-

кую работу ювелира.... Невольно представляется намъ въ лицѣ Л. Н. Майкова идеальный комментаторъ эпохи возрожденія, какъ изображенъ онъ въ извѣстномъ портретѣ Эразма Роттердамскаго, сдѣланномъ кистью Гольбейна, съ тонко сжатыми губами, съ проницательнымъ взоромъ, устремленнымъ въ книгу, съ перомъ въ длинныхъ изящныхъ пальцахъ».

Упоминаніе рецензента о «тонкой работѣ ювелира» напоминаетъ мнѣ автохарактеристику одного изъ нашихъ поэтовъ. «Стиховъ мнѣ дайте», писалъ этотъ поэтъ, «нетлѣнныхъ образовъ и вѣчныхъ,

Чтобъ взволновавъ мнѣ дали миръ,
Чтобъ я и плакалъ, и смѣялся,
И вмѣстѣ—старый ювелиръ—
Ихъ обработкой любовался.....

Кто этотъ «старый ювелиръ»? Аполлонъ Николаевичъ Майковъ. Невольно приходитъ на мысль, что и въ ювелирной работѣ нашего покойнаго сочлена сказалась родственная, семейная черта. Выросшій въ образованной, художественно-настроенной семьѣ, Леонидъ Николаевичъ также склоненъ былъ любоваться обработкой литературныхъ произведеній, какъ и его старшій братъ. Въ своихъ воспоминаніяхъ о В. Г. Васильевскомъ онъ обратилъ особенное вниманіе на «художественное чутье» знаменитаго византиниста, «которое воспитало въ немъ, на ряду съ крупнымъ талантомъ ученаго критика и изслѣдователя, и чисто литературныя способности..... Въ его трудахъ, говоритъ Л. Н. Майковъ, такъ много новаго, самостоятельно имъ выясненнаго, и все это такъ полно разработано и такъ прекрасно изложено, что всякій болѣе или менѣе образованный человѣкъ, который за нихъ возьмется, найдетъ въ ихъ чтеніи и интересъ и поученіе». То, что Л. Н. Майковъ цѣнилъ въ трудахъ другихъ, онъ старался, конечно, осуществить и въ своихъ сочиненіяхъ. Эти старанія были безспорно успѣшны. Леонидъ Николаевичъ былъ прекраснымъ стилистомъ. Его труды свидѣтельствуютъ и о литератур-

номъ талантѣ ученаго автора, и объ его старательной, «ювелирной» работѣ. Для примѣра можно указать на біографію К. Н. Батюшкова, написанную Л. Н. Майковымъ.

«Въ ней, по замѣчанію профессора Булича, въ изящномъ изложеніи разсказана весьма подробно несчастная судьба русскаго поэта, все его внутреннее развитіе, его отношенія къ событіямъ и людямъ эпохи и опредѣляется въ заключеніе мѣсто и значеніе Батюшкова въ исторіи нашего литературнаго развитія». Это замѣчаніе объ изящномъ изложеніи нельзя не повторить, припоминая и другія работы покойнаго академика. Строгій и точный изслѣдователь, внимательный издатель и комментаторъ литературныхъ текстовъ, онъ не пренебрегалъ и формой популярнаго, стилистически обработаннаго этюда. Къ числу такихъ именно этюдовъ принадлежатъ его статьи: «Поэзія Жуковскаго», «Характеристика Батюшкова, какъ поэта», «Памяти Плетнева», «Аѳ. Аѳ. Фетъ» и др.

О СОЧИНЕНІЯХЪ А. С. АРХАНГЕЛЬСКАГО.

1) Къ изученію древне-русской литературы. Творенія отцовъ церкви въ древне-русской письменности (Обозрѣніе рукописнаго матеріала). Спб. 1888 г., 146 стр. 2) Творенія отцовъ церкви въ древне-русской письменности. Извлеченія изъ рукописей и опыты историко-литературныхъ изученій. I—II. Казань, 1889. III. Казань, 1890. IV. Казань, 1890. 203+118+228 стр.

(Рецензія).

«Переводами поученій отцевъ греческой церкви наша библіотека преизобилуетъ», замѣчаютъ Калайдовичъ и Строевъ въ предисловіи къ «Описанію славяно-россійскихъ рукописей гр. Ѳ. А. Толстова». Замѣчаніе это можно примѣнить не только ко всѣмъ болѣе или менѣе значительнымъ собраніямъ старо-русскихъ рукописей, но и къ древне-русской письменности вообще. Наша письменность стараго времени дѣйствительно преизобилуетъ переводами поученій отцовъ греческой церкви.

Это богатство переводно-патристической литературы, обиліе списковъ, въ которыхъ сохранились сочиненія такихъ церковныхъ учителей, какъ Іоаннъ Златоустъ, Ефремъ Сиринъ, Іоаннъ Дамаскинъ, ясно указываютъ на историческую важность этого церковно-учительнаго отдѣла нашей древней письменности. Литературные памятники, которые переписывались и перечитывались въ теченіе цѣлаго ряда вѣковъ, не могли не оставить глубокаго

слѣда на мысли и словѣ русскаго народа. Наша древняя литература, складъ религіозныхъ и нравственныхъ воззрѣній древнерусскаго человѣка останутся не вполнѣ ясными, пока не будетъ изучено и оцѣнено то отдѣленіе библіотеки нашихъ предковъ, которое занято было переводами свято-отеческихъ твореній.

Изученіе переводной литературы слагается изъ двухъ задачъ, Первая задача касается исторіи самаго перевода тѣхъ или другихъ произведеній. Нужно знать, когда и гдѣ появился изучаемый переводъ, каково отношеніе этого перевода къ оригинальному тексту, каково взаимное отношеніе списковъ перевода: представляютъ ли эти списки только матеріалъ разночтеній или разницу редакцій и т. п. Рѣшеніе этихъ вопросовъ—дѣло филологической критики. Вторая задача—задача историко-литературная. Нужно выяснить судьбу заноснаго литературнаго творчества въ той новой культурной средѣ, которой принадлежатъ изучаемые переводы. При этомъ, если только переводы не остаются мертвымъ капиталомъ, если ихъ идейное содержаніе и ихъ литературная форма возбуждаютъ интересъ читателей, наблюдаются обыкновенно двоякаго рода явленія, подражанія и передѣлки. Въ области переводно-патристической литературы оба явленія выступаютъ съ полной наглядностью. Творенія греческихъ церковныхъ писателей служили образцами, воздѣйствіе которыхъ въ большей или меньшей степени, съ большей или меньшей ясностью обнаруживается во всѣхъ поучительныхъ произведеніяхъ древней Руси. Будемъ ли мы изучать писателей древнѣйшей, домонгольской эпохи, какъ Ѳеодосій Печерскій или Кириллъ Туровскій, остановимся ли на литературныхъ дѣятеляхъ болѣе поздняго времени, какъ Іосифъ Волоцкій или митрополитъ Даніилъ,—и въ томъ и въ другомъ случаѣ мы встрѣтимся съ одними и тѣми же литературными вліяніями, которыя оставались неизмѣнными въ теченіе ряда вѣковъ. Но если несомнѣнно, что греческая церковная литература имѣла величайшее, опредѣляющее вліяніе на извѣстные отдѣлы древне-русской словесности, то также вѣрно и то, что памятники греческой письменности, пере-

несенные путемъ перевода на новую для нихъ почву, не оставались и не могли оставаться неизмѣнными. Захожимъ писателямъ, попадавшимъ на чужбину, приходилось приладиваться къ умственному кругозору, къ требованіямъ жизни, не похожимъ на тѣ бытовыя и культурныя условія, среди которыхъ они работали на родной землѣ. Особенно любопытна въ этомъ отношеніи судьба сочиненій Іоанна Златоуста. Имя Златоуста окружено было у насъ величайшимъ почтеніемъ и живою любовью. Но литературные труды знаменитаго оратора, смѣлаго обличителя пороковъ цареградскаго общества времени Аркадія и Евдоксіи, въ цѣломъ своемъ составѣ не могли быть доступны большинству читателей стараго времени, были ли то Болгаре, Русскіе или Сербы. Являлась поэтому потребность въ извлеченіяхъ изъ Златоуста, въ собираніи такихъ отрывковъ изъ его произведеній, которые были бы особенно интересны и полезны для людей самаго скромнаго образованія. Въ такихъ извлеченіяхъ и отрывкахъ недостатка не было. Припомнимъ рядъ поученій съ именемъ Златоуста въ нашихъ старыхъ сборникахъ, припомнимъ цѣлые сборники такихъ поученій, украшенные именемъ великаго проповѣдника. Но работа книжныхъ людей, знакомившихъ нашихъ предковъ съ Златоустомъ, не ограничивалась лишь извлеченіемъ и переписываніемъ отрывковъ; отрывки нерѣдко передѣлывались и дополнялись съ цѣлію придать изложенію бо́льшую ясность и вразумительность. Бывало при этомъ, что подъ именемъ Златоуста распространялись и такія поученія, которыя не имѣли никакой связи съ произведеніями константинопольскаго архіепископа. Если бы соединить въ одномъ сборникѣ всѣ «слова» и «поученія», надписываемыя въ нашихъ рукописяхъ именемъ Златоуста, то передъ нами появился бы писатель, имѣющій лишь нѣкоторое сходство съ знаменитымъ греческимъ Хризостомомъ IV вѣка.

Встрѣчное изученіе тѣхъ реминисценцій изъ патристической литературы, которыя встрѣчаются у нашихъ старыхъ писателей, и тѣхъ передѣлокъ, которымъ подвергались у насъ творенія греческихъ церковныхъ писателей, дастъ обильный и важный мате-

ріалъ для рѣшенія общаго вопроса о религіозно-нравственномъ умонастроеніи русскаго человѣка, насколько образованіе этого умонастроенія опредѣлялось вліяніемъ церковной письменности. Выяснится при этомъ, какіе именно отдѣлы патристической литературы встрѣтили у насъ воспріимчивую среду и имѣли поэтому наиболѣе сильное вліяніе.

Разсмотрѣніе славянскихъ переводовъ свято-отеческихъ твореній—тема не новая въ ученой литературѣ. Еще въ 1729 году появилась книга петербургскаго академика Kohl-я: Introductio in historiam et rem literariam Slavorum imprimis sacram, sive historia critica versionum Slavonicarum maxime insignium, nimirum codicis sacri et Ephremi Syri, duobus libris absoluta. Во второмъ отдѣлѣ этого труда разсматривается составъ славянскаго сборника поученій Ефрема Сирина по изданію 6210 (1701) года [1]). Въ приложеніи напечатаны duo sermones Ephremi Syri nondum editi, de sacra coena: «Наказаніе о святыхъ и пречестныхъ и животворящихъ Христовыхъ тайнахъ» и «Наказаніе о приношеніи святаго причащенія». Книжка Коля, плохо знавшаго по-славянски, и въ свое время не имѣла, конечно, большого значенія, а позже, когда началось научное ознакомленіе съ юго-славянскими и русскими рукописями древней поры, трудъ нѣмецкаго ученаго остался внѣ круга тѣхъ пособій, къ которымъ приходится обращаться изучающему памятники славяно-русской письменности. Главное, основное пособіе при изученіи древнихъ переводовъ свято-отеческихъ сочиненій—описанія славянскихъ рукописей. Въ такихъ, наприм., трудахъ, какъ Описаніе рукописей Румянцевскаго музея или Описаніе рукописей Московской синодальной библіотеки, можно найти не только богатыя указанія, но иногда даже цѣлыя изслѣдованія, касающіяся памятниковъ па-

---

1) Описаніе этого изданія см. въ соч. Пекарскаго: Наука и литература въ Россіи при Петрѣ Великомъ, т. II, стр. 46—51.

тристической литературы въ славянскихъ переложеніяхъ и передѣлкахъ. Ограничиваюсь упоминаніемъ о трудахъ Востокова, Горскаго и Невоструева; продолжать указанія на описанія рукописей значило бы представить ихъ списокъ, потому что всѣ такія описанія имѣютъ большее или меньшее значеніе при изученіи того отдѣла древней письменности, обозрѣнію котораго посвящена книга г. Архангельскаго. Кромѣ описаній рукописей, слѣдуетъ еще припомнить труды Калайдовича (Іоаннъ, экзархъ Болгарскій), Строева (Библіологическій словарь), Ундольскаго (Библіографическія разысканія), арх. Филарета Гумилевскаго (Исторія русской церкви и Обзоръ русской духовной литературы [1]), Срезневскаго (Древніе памятники русскаго письма и языка; Свѣдѣнія и замѣтки о малоизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ памятникахъ и др.), Невоструева (Слово св. Ипполита объ антихристѣ въ славянскомъ переводѣ), митр. Макарія Булгакова (Исторія русской церкви [2]), Сухомлинова (О псевдонимахъ въ древне-русской литературѣ и предисловіе къ сочиненіямъ Кирилла Туровскаго), Ягича (Исторія сербо-хорватской литературы и изданія памятниковъ), Голубинскаго (Исторія русской церкви [3]), еп. Амфилохія Сергіевскаго (О пандектѣ Антіоха), Будиловича (XIII словъ Григорія Богослова), Малинина (Изслѣдованіе Златоструя), еп. Антонія Вадковскаго (Константинъ, еп. Болгарскій), А. Попова (Библіографическіе матеріалы) и др. Во всѣхъ этихъ трудахъ собраны драгоцѣнныя данныя для исторіи старо-славянскихъ и русскихъ переводовъ сочиненій учителей церкви. Была попытка, къ сожалѣнію, не совсѣмъ удачная, и общаго обозрѣнія нашей переводно-патристической литературы. Разумѣю статьи, помѣщенныя въ «Православномъ Собесѣдникѣ» 1859 года (ч. III):

1) Ч. I. стр. 65—74 (по 5 изданію): Сношенія съ Греціею; Собраніе книгъ и переводы; ч. II, стр. 57—67; ч. IV, стр. 165—166.

2) Т. III, стр. 218—220 (2 изд.); т. V, стр. 243—252 (1 изд.).

3) Т. I, стр. 602—613: Переводная и вообще заимствованная письменность. Приложенія, стр. 715—757: Библіографическій обзоръ существовавшей у насъ въ періодъ до-монгольскій переводной и вообще заимствованной письменности.

«Свѣдѣнія о древнихъ переводахъ твореній св. отцовъ на славяно-русскій языкъ».

Сочиненіе г. Архангельскаго имѣетъ общее заглавіе: «Творенія отцовъ церкви въ древне-русской письменности», но мы не въ правѣ, конечно, ожидать, что авторъ этого сочиненія дастъ намъ рѣшеніе всѣхъ упомянутыхъ выше вопросовъ, которые представляются при изученіи славяно-русскихъ переводовъ святоотеческихъ твореній. Для такого рѣшенія нужны соединенныя усилія многихъ работниковъ. Мы будемъ довольны, если найдемъ у г. Архангельскаго какія-либо болѣе или менѣе значительныя дополненія къ трудамъ названныхъ нами изслѣдователей древней письменности, если новый трудъ хоть отчасти поможетъ намъ яснѣе и точнѣе опредѣлить мѣсто, занимаемое въ исторіи русской образованности переводно-патристической литературой.

Давъ своему труду общее заглавіе: «Творенія отцовъ церкви въ древне-русской письменности», г. Архангельскій не могъ однако не ограничить столь широкой задачи:

А) Онъ разсматриваетъ не всѣхъ тѣхъ церковныхъ писателей, произведенія которыхъ извѣстны по славянскимъ переводамъ, а лишь нѣкоторыхъ, «болѣе распространенныхъ».—«Нѣтъ возможности, говоритъ нашъ изслѣдователь, въ небольшомъ очеркѣ обслѣдовать подробно всѣ произведенія церковныхъ авторовъ, которыя были извѣстны и обращались въ нашей древней письменности... Въ настоящемъ случаѣ мы имѣемъ въ виду сдѣлать лишь общее обозрѣніе рукописнаго матеріала, съ нѣкоторыми историко-литературными и библіографическими замѣчаніями, и остановимся при этомъ лишь на писателяхъ, бывшихъ наиболѣе распространенными» (стр. 6). Къ числу такихъ распространенныхъ писателей, судя по содержанію книги казанскаго ученаго, нужно отнести Аѳанасія Александрійскаго, Кирилла Іерусалимскаго, Василія Великаго, Григорія Богослова, Ефрема Сирина, Іоанна Златоуста, Кирилла Александрійскаго, Ѳеодорита Кирскаго, Іоанна Лѣствичника, Антіоха инока, Анастасія Синаита, Іоанна Дамаскина, папу Римскаго Льва Великаго, Нила

Синайскаго, Геннадія Константинопольскаго, Андрея Кесарійскаго, папу Ипполита, Исаака Сирина, Симеона новаго Богослова, Григорія Синаита и Никона Черногорца.

Б) Нѣкоторыя изъ произведеній древне-церковныхъ учителей исключены г. Архангельскимъ изъ круга разсматриваемыхъ имъ памятниковъ. Таковы именно произведенія религіозной поэзіи, молитвы и пѣсни. При обозрѣніи сочиненій Іоанна Дамаскина его каноны и октоихъ совсѣмъ не упоминаются. Въ перечнѣ сочиненій Ефрема Сирина указаны только «Молитвы, собранныя отъ божественнаго писанія, множайше же отъ св. Ефрема»,—трудъ Аѳонскаго монаха Ѳикары (стр. 53).

В) Говоря о «древне-русской письменности», г. Архангельскій останавливается, какъ на ея позднѣйшемъ предѣлѣ,—на XVI вѣкѣ. О переводахъ XVII столѣтія попадаются въ трудѣ казанскаго изслѣдователя лишь отрывочныя, мимоходныя упоминанія.

Г) Трудъ г. Архангельскаго—плодъ его знакомства,—частію при помощи «Описаній», частію же путемъ автопсіи,—съ московскими рукописными собраніями, а также съ библіотекой казанской духовной академіи (Соловецкія рукописи). Изъ другихъ рукописныхъ собраній чаще всего встрѣчаются указанія на рукописи Царскаго (теперь гр. Уварова). Въ петербургскихъ библіотекахъ г. Архангельскій, повидимому, не работалъ. Онъ лишь изрѣдка упоминаетъ о рукописяхъ петербургской публичной библіотеки, ссылаясь при этомъ или на описаніе рукописей гр. Толстого или на сообщенія Ив. Аѳ. Бычкова.

Собранные г. Архангельскимъ литературные факты раздѣлены имъ на два отдѣла. Отдѣлъ первый («Къ изученію древне-русской литературы) представляетъ общее обозрѣніе рукописнаго матеріала въ тѣхъ предѣлахъ, которые только что указаны. Второй отдѣлъ («Извлеченія изъ рукописей и опыты историко-литературныхъ изученій») состоитъ изъ четырехъ главъ: I. Житіе Антонія Великаго, св. Аѳанасія, II. Вопросы и отвѣты Аѳанасія къ кн. Антіоху, III. Паренесисъ Ефрема Сирина,

IV. Творенія Іоанна Златоустаго въ древне-русскихъ измарагдахъ.

Познакомившись съ объемомъ и раздѣленіемъ труда г. Архангельскаго, обратимся къ разсмотрѣнію его содержанія.

Свѣдѣнія, сообщаемыя г. Архангельскимъ о св. отцахъ и ихъ сочиненіяхъ, различны и по полнотѣ и по степени самостоятельнаго труда, приложеннаго нашимъ авторомъ къ изученію того или другого писателя. Въ этомъ отношеніи всѣ данныя, собранныя г. Архангельскимъ изъ области переводно-патристической литературы, могутъ быть распредѣлены на три группы.

I. О нѣкоторыхъ писателяхъ г. Архангельскій даетъ лишь краткія замѣтки, не имѣющія, очевидно, цѣлію исчерпать даже тотъ матеріалъ, который извѣстенъ по трудамъ ученыхъ предшественниковъ казанскаго изслѣдователя. Таковы замѣтки о сочиненіяхъ инока Антіоха, Геннадія, патр. Константинопольскаго, Андрея Кесарійскаго, Ипполита Римскаго. Вотъ что сообщаетъ г. Архангельскій о св. Ипполитѣ: «Къ толкованіямъ на Апокалипсисъ Андрея Кесарійскаго въ нашихъ рукописяхъ нерѣдко присоединялись отрывки изъ слова Ипполита, епископа Римскаго († полов. III в.) о антихристѣ. Слово это, какъ извѣстно, подложное, но вліянія его нельзя не видѣть иногда и на самыхъ толкованіяхъ Андрея Кесарійскаго. Послѣдній не рѣдко приводитъ изъ него отдѣльныя мысли, говоря, напримѣръ, о второмъ пришествіи и о антихристѣ, иногда дѣлаетъ и буквальныя выписки» (стр. 136). Г. Архангельскій не воспользовался данными, собранными въ извѣстныхъ ему (ср. стр. 49) трудахъ Невоструева и Срезневскаго. Первый изъ названныхъ ученыхъ указалъ, что съ именемъ Ипполита встрѣчаются въ славянскихъ рукописяхъ два слова, извѣстныя и въ греческихъ текстахъ: Сказаніе о Христосѣ и о антихристѣ (Ἀπόδειξις περὶ Χριστοῦ καὶ ἀντιχρίστου) и слово о скончаніи міра и о антихристѣ и о второмъ пришествіи Господа нашего Іисуса Христа (Λόγος περὶ τῆς συντε-

λείας τοῦ κόσμου καὶ περὶ τοῦ ἀντιχρίστου καὶ εἰς τὴν δευτέραν παρουσίαν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ). Второе слово—подложное. Почему же г. Архангельскій находитъ нужнымъ упомянуть о подложномъ «словѣ», опуская «сказаніе», признаваемое подлиннымъ? Объ этомъ-то сказаніи и говоритъ Невоструевъ: «Андрей Кесарійскій въ толкованіи своемъ на Апокалипсисъ, пользуясь сочиненіемъ Ипполита объ Антихристѣ, нерѣдко приводитъ его мысли и говоритъ его словами» (слово св. Ипполита объ Антихристѣ, стр. 20). Кромѣ слова объ антихристѣ, извѣстно было въ славянскомъ переводѣ Толкованіе Ипполита на книгу пророка Даніила. Это толкованіе, сравнительно съ остатками греческаго оригинала, разсмотрѣно было Изм. Ив. Срезневскимъ. «Сличеніе славянскаго перевода, писалъ покойный академикъ, полнаго толкованія книги Даніила съ тѣмъ греческимъ изводомъ, который одинъ доселѣ найденъ, и то въ одной Кизіанской рукописи, мнѣ кажется, каждаго должно убѣдить, что въ славянскомъ переводѣ сохранился полный подлинникъ безъ сокращеній и перемѣнъ; а въ греческомъ Кизіанскомъ спискѣ сохранилось сокращеніе этого полнаго толкованія съ отклоненіями отъ него въ тѣхъ случаяхъ, когда сократителю казалось болѣе удобнымъ пользоваться какимъ-нибудь другимъ источникомъ. Если же это такъ, то Ипполитовское толкованіе книги Даніила должно быть изучаемо не по греческому Кизіановскому изводу, а по славянскому переводу» (Сказанія объ антихристѣ въ славянскихъ переводахъ, стр. 54).

Замѣтка о Пандектѣ монаха Антіоха (стр. 42—43) составлена по статьѣ пр. Амфилохія (Извѣстія втораго отд. Академіи Наукъ, III) и по указаніямъ Горскаго и Невоструева [1]) въ Опи-

1) О самомъ переводѣ Пандекта г. Архангельскій говоритъ: «При всей своей древности, переводъ чрезвычайно ясный и точный. Ясность и чистота языка въ переводѣ могла много зависѣть и отъ самаго содержанія, чрезвычайно простого и общедоступнаго» (93). Слѣдовало бы оговорить, что это сужденіе повторяетъ соотвѣтствующее мѣсто въ Описаніи синод. рукописей: «Переводъ вообще очень хорошъ по ясности и чистотѣ языка, чему, конечно, много способствовала простота самаго содержанія» (II, 2, стр. 265).

саніи синод. рукописей (II, 2, № 153). Забыты болѣе позднія изданія пр. Амфилохія: «Изслѣдованіе о пандектѣ Антіоха XI в., находящемся въ Воскресенской новоіерусалимской библіотекѣ», и «Словарь изъ Пандекта Антіоха» (М. 1880).

О Геннадіи, патріархѣ константинопольскомъ, г. Архангельскій сообщаетъ слѣдующее: «Изъ сочиненій Геннадія, патріарха константинопольскаго († 471), у насъ были извѣстны: «Стословецъ» и «Окрестное посланіе». Стословецъ находится уже въ сборникѣ XII вѣка Троицко-Сергіевой Лавры, № 12 (лл. 53—56) и во множествѣ списковъ болѣе позднихъ, XIV—XVII вв. Это была, повидимому, одна изъ наиболѣе любимыхъ книгъ чтенія въ древней Руси — нравилась простотой своего изложенія; отношеніе къ ней древне-русскихъ читателей видно изъ такихъ названій: «Златоструй», «Стихи душеполезные» и т. п., съ которыми она нерѣдко встрѣчается въ нашихъ рукописяхъ, — иногда подъ причудливымъ заглавіемъ исчезаетъ самое имя автора: въ сборникѣ XVI вѣка Москов. синод. библіотеки № 325 «Стословецъ» Геннадія озаглавленъ: «Книга наричаемая Измарагдъ (sic), въ нихъ же вся книжная ухищренія божественныхъ писаній святыми отци истолкованна. Поученіе и наказаніе свв. отецъ ко всѣмъ хрестьяномъ» (л. 86 sqq.) и пр. Иногда Стословецъ помѣщался въ нашихъ рукописяхъ лишь въ извлеченіяхъ, списывались не всѣ главы, но съ извѣстнымъ выборомъ. Иногда въ немъ дѣлались вставки, самымъ характеромъ своимъ указывающія на свое происхожденіе,—текстъ подвергался русскимъ передѣлкамъ и интерполяціямъ»... (Слѣдуетъ выписка изъ Стословца по рукописи синод. библіотеки № 230; выписка взята изъ описанія Горскаго и Невоструева). «Окружное посланіе, написанное противъ симоніи и одобренное на соборѣ 459 года, довольно часто встрѣчается въ нашихъ Кормчихъ». Въ примѣчаніи указаны еще слѣдующіе списки Стословца: Троицко-Сергіевой Лавры № II (XIV в.); Румянц. муз. № 361 (XVI) и 367 (XVII); Соловец. библіотеки № 286 (XVI в.), 357 (XVII—XVIII в.), 359 (XV—XVI); Синод. библ. № 331 (XVI—XVII); библ. Царскаго № 361 (XIV), 221 (XVII).

Писатель, сочиненіе котораго было «одной изъ наиболѣе любимыхъ книгъ чтенія въ древней Руси», заслуживалъ бы бо́льшаго вниманія со стороны изслѣдователя, разсматривающаго «Творенія отцовъ церкви въ древне-русской письменности». Нельзя не обратить вниманія на слѣдующее:

а) Указывая списки «Стословца» [1]), г. Архангельскій не упоминаетъ о древнѣйшемъ спискѣ этого памятника, находящемся въ изборникѣ 1076 года (Шимановскій, Къ исторіи древне-русскихъ говоровъ, Прилож., стр. 12—25), хотя списокъ этотъ и извѣстенъ нашему изслѣдователю (Извлеченія... IV, стр. 70). Что касается указаннаго г. Архангельскимъ сборника XII вѣка Троицко-Сергіевой лавры, то рукопись эта была подробно обслѣдована И. И. Срезневскимъ, при чемъ отрывокъ Геннадіева

1) Греческій оригиналъ Стослова не извѣстенъ, но предположеніе такого оригинала не можетъ, конечно, подлежать сомнѣнію. Безспорно также, что и имя Геннадія дано было греческимъ текстомъ, потому что, помимо Стослова, имя Геннадія не пользовалось у насъ большой извѣстностью, а слѣдовательно и не могло явиться, какъ псевдо-эпиграфъ. Любопытно обратить вниманіе на заглавіе Геннадіева сочиненія въ нѣкоторыхъ рукописяхъ: «*Стихи*, нарицаемые Стословецъ». Подобное же заглавіе встрѣчается въ Діоптрѣ Филиппа Пустынника, оригиналъ которой написанъ стихами, наприм. «Списателеви *стиси* отвѣщателнѣ явѣ яко сопротивляющимся (τοῦ συγγραφέως στίχοι ἀπολογητικοὶ δῆθεν πρὸς τοὺς ἀντιδιατιθεμένους). См. Опис. синод. рукоп. II, 2, стр. 450. Не слѣдуетъ ли предположить, что и оригиналъ нашего Стослова изложенъ былъ мѣрною рѣчью? Что Геннадій извѣстенъ былъ какъ стихотворецъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ приписываемое ему четверостишіе объ употребленіи вина: Οἶνον πίνων συμμέτρως οὐκ εἰς χόρον и т. д. (Напеч. въ 85 томѣ греческой патрологіи Минья). Что касается раздѣленія Геннадіева труда на сто главъ, то нельзя не обратить вниманія на то, что такое дѣленіе было одной изъ любимыхъ литературныхъ формъ греческихъ христіанскихъ писателей. Кромѣ Геннадіева, можно указать еще слѣдующіе стословы или стоглавы: а) Діадоха, епископа Фотикійскаго, 100 главъ подвижническихъ, б) Каллиста II, патріарха Константинопольскаго, 100 главъ о монашеской жизни, в) Ѳеодора Едесскаго 100 главъ дѣятельныхъ, г) Христіанская передѣлка Энхиридіона Эпиктета: «100 главизнъ Епиктита философа» (Указатель греч. рукоп. М. синод. библіот., стр. 68 и 91; Описаніе слав. рукоп. м. синод. библіот. II, 2, стр. 284, 285, 619—620), д) Нравоучительное стихотвореніе, раздѣленное на 100 главъ, приписываемое Константину Манассіи (Annuaire de l'association pour l'encouragement des études grecques en France, 1875, 23—75), е) Нравоучительное стихотвореніе, состоящее также изъ 100 главъ, неизвѣстнаго автора (ibid).

Стословца изданъ былъ вполнѣ (Малоизв. и неизв. пам. LII, 199, 204—207). У Срезневскаго есть только маленькая неточность. Въ описаніи рукописи читаемъ: «л. 53. Наставленія о вѣрѣ; окончаніе, начинающееся словами: Рожьшюю же кго мтрь бцю нарицяи.—Л. 53. Поученик любовьно (такъ оно названо въ одномъ сборникѣ XV вѣка): страхъ бжии имѣи въ срдци» (стр. 199). То, что Срезневскій называетъ окончаніемъ наставленія о вѣрѣ—часть того же Стословца, отрывокъ котораго и начинается въ рукописи приведенными словами: «Рожьшюю же кго мтрь». Отмѣченная г. Архангельскимъ рукопись XIV вѣка Троицкой лавры (№ 11)—извѣстная Златая Цѣпь; отрывки изъ Стословца по этой рукописи изданы были Буслаевымъ (Историч. Христом., стр. 490—493). Не упомянутъ г. Архангельскимъ одинъ изъ старѣйшихъ списковъ Стословца, находящійся въ пергаменной рукописи XIII в. изъ собранія Ундольскаго (Викторовъ, Очеркъ собр. рукоп. Ундольскаго, стр. 9, № 963). Для сужденія о степени распространенности Геннадіева сочиненія было бы полезно собрать возможно большее число указаній на списки Стослова. Разнообразіе списковъ (и по полнотѣ, и по порядку изложенія) замѣтно и въ изданныхъ текстахъ.

б) «Славянскій текстъ Стословца, говоритъ г. Архангельскій, былъ напечатанъ въ приложеніяхъ къ изданію: «Собраніе краткой науки о артикулахъ вѣры» (М. 1649). Въ русскомъ переводѣ въ *Приб. къ Твореніямъ свв. отцовъ*, т. III, 1845, стр. 1—16». Почему именно указано изданіе 1649 года? Стословецъ печатался и раньше. Такъ, мы находимъ его въ приложеніи къ Тестаменту Василія, царя греческаго, изд. 1638 года (Каратаевъ, Описаніе славяно-русскихъ книгъ, т. I, стр. 464, № 470). Позже Стословецъ печатался при букваряхъ, какъ матеріалъ для первоначальнаго чтенія и ученія (Пекарскій, Наука и литература при Петрѣ В., т. II, стр. 49, 92). Русскій переводъ издавался и отдѣльной брошюрой (у меня есть кіевское изданіе 1860 года).

в) Стословецъ Геннадія, какъ всѣ переводныя произведенія, привлекавшія особенное вниманіе книжныхъ людей стараго вре-

мени, не оставался неизмѣннымъ. Г. Архангельскій указалъ, какъ мы видѣли, примѣры и сокращенія и дополненія Стословца. Въ изслѣдованіи объ Измарагдѣ почтенный ученый сообщаетъ еще нѣсколько данныхъ для исторіи Стослова. «Главную, основную часть сборника (Измарагда) составляютъ многочисленныя «слова» на тему како жити крестьяномъ. Въ ряду этого отдѣла статей первое мѣсто занимаетъ Стоглавъ патр. Геннадія, помѣщавшійся въ измарагдахъ [1]) и въ полномъ видѣ, но чаще въ различныхъ извлеченіяхъ и подражаніяхъ»; приводится три образца такого рода подражаній (Извлеченія... IV стр. 11—14). Г. Архангельскій, вѣроятно, безъ труда могъ бы увеличить число подобныхъ указаній, важныхъ для исторіи Геннадіева поученія. (Ср. Описаніе Солов. рукоп. 1,578, 589).

г) О популярности у насъ Стослова, кромѣ обилія его списковъ и передѣлокъ, свидѣтельствуютъ также выдержки изъ Геннадіевыхъ наставленій, встрѣчающіяся въ произведеніяхъ русскихъ писателей. Такія выдержки отмѣчены въ Моленіи Даніила Заточника (Буслаевъ, Русская христом., стр. 140, примѣч. 18) и въ Домостроѣ (Некрасовъ, О Домостроѣ, стр. 104—106) [2]).

д) Кромѣ Стослова, г. Архангельскій упоминаетъ только объ окружномъ посланіи Геннадія противъ симоніи, которое извѣстно и въ греческомъ оригиналѣ (Migne, Patrolog. c. c. s. gr. t. 85, 1613—1618). Но этими двумя произведеніями не исчерпывается литературный матеріалъ, пріурочиваемый въ нашихъ рукописяхъ къ имени Геннадія. Отмѣтимъ: 1) отрывки изъ сочиненій Ген-

1) Замѣчено еще сходство съ Стословомъ одного изъ отдѣловъ извѣстнаго Ѳеодоритова слова о знаменіи крестномъ (Виноградовъ, О Ѳеодоритовомъ словѣ, стр. 24). Въ сборникѣ духовныхъ стиховъ, изданномъ г. Безсоновымъ, помѣщенъ стихъ: «Сего ради нищь есмь, села не имѣю». Любопытно, что въ рукописи, изъ которой взятъ этотъ стихъ, онъ озаглавленъ: «Пѣснь *Геннадія патріарха*». (Калѣки Перехожіе, I, стр. 25).

2) Стословецъ могъ переписываться изъ Измарагда, какъ отдѣльная статья. Такимъ именно происхожденіемъ нѣкоторыхъ списковъ Стослова и объясняется, вѣроятно, перенесеніе слова «Измарагдъ» въ заглавіе Геннадіева поученія.

надія константинопольскаго, внесенные въ труды позднѣйшихъ писателей, каковы: Діоптра Филиппа Пустынника (ср. Migne, Partol. l. cit. 1620), Пандекты Никона Черногорца (Срезневскій, Малоизв. и неизв. пам. LV, стр. 249), Толковый апостолъ, въ которомъ встрѣчаются отрывки изъ комментарія Геннадія къ посланіямъ ап. Павла (Опис. синод. рукоп. II, I, № 95, стр. 150); 2) отдѣльныя поученія, надписываемыя именемъ Геннадія. Таково, напр., «Слово Генадья патриарха о чтущихъ книгы», приведенное г. Архангельскимъ въ IV главѣ (стр. 9—10) «Извлеченій», по списку Измарагда XIV вѣка. Слово это помѣщается въ прологѣ подъ 19 февраля (Бычковъ, Опис. Сборн. Публ. библіот., стр. 378). Встрѣчаются въ нашихъ рукописяхъ и другія статьи съ именемъ Геннадія [1]). Въ изборникѣ 1076 г. читаемъ между прочимъ краткое наставленіе о молитвѣ (вѣроятно, отрывокъ), надписанное именемъ «св. Генадия».

Если бы критически разобрать и затѣмъ соединить въ одномъ сборникѣ произведенія, усвояемыя въ нашихъ сборникахъ Геннадію, патр. Константинопольскому, то получилось бы, вѣроятно, не маловажное supplementum къ небольшому числу тѣхъ отрывковъ изъ сочиненій Геннадія, которы извѣстны по греческимъ рукописямъ [2]).

Замѣчанія г. Архангельскаго о сочиненіяхъ Исаака Сирина

---

1) При этомъ нужно еще имѣть въ виду, что подъ заглавіемъ Слова «Геннадія патріарха» могутъ встрѣтиться въ *позднихъ* рукописяхъ произведенія другого константинопольскаго патріарха (XV в.), носившаго имя Геннадія (Георгія Схолариса). Сочиненія, принадлежащія и приписываемыя Схолариусу, несомнѣнно были у насъ извѣстны (Калайдовичъ и Строевъ, Опис. рукоп. гр. Толстова, стр. 412; Викторовъ, Описи рукоп. собраній сѣв. Руси, стр. 58; Каратаевъ, Опис. слав. р. книгъ, I, стр. 228—232; Горскій и Невоструевъ, Опис. синод. рукоп. II, 2, стр. 566, 567; Опис. солов. рукоп. I, стр. 491, 492, 559; Востоковъ, Опис. рук. Рум. Музея, стр. 550; Бычковъ, Опис. сборн. Публ. библіот. 10, 117).

2) Въ 85 томѣ Патрологіи Миньи, гдѣ собраны сочиненія Геннадія, помѣщены: а) окружное посланіе (ἐγκύκλιος ἐπιστολή), б) нѣсколько отрывковъ догматическаго и нравственнаго содержанія и в) отрывки изъ толкованія Геннадія на книгу Бытія, Исходъ, на Псалмы, на посланія апост. Павла къ Римлянамъ Коринеянамъ, Галатамъ и Евреямъ.

(138—139), Симеона Новаго Богослова (139—141), Григорія Синаита (141—142) представляютъ повтореніе соотвѣтствующихъ страницъ другого сочиненія казанскаго ученаго: «Преп. Нилъ Сорскій» (стр. 166—169, 170—174, 174—176). Въ такомъ повтореніи едва-ли была надобность. Мы не забыли первой диссертаціи г. Архангельскаго.

Обстоятельныя свѣдѣнія о Пандектахъ и Тактиконѣ Никона Черногорца можно найти въ «Обозрѣніи рукописей преп. Кирилла Бѣлозерскаго» арх. Варлаама (стр. 45—65), въ Описаніи синод. рукописей (II, 3, стр. 1—52, №№ 217—229), въ Свѣдѣніяхъ и Замѣткахъ о малоизвѣстныхъ и неизвѣстныхъ памятникахъ Срезневскаго (гл. LV, стр. 217—296). Г. Архангельскій (стр. 143—146) сообщаетъ кое-что изъ этихъ свѣдѣній, собранныхъ его предшественниками. Знакомя насъ съ содержаніемъ Пандектъ, г. Архангельскій говоритъ: «Пандекты представляютъ собою собраніе или «съчетаніе» отчасти обширныхъ, отчасти краткихъ извлеченій изъ твореній отцовъ и учителей церкви, а также изъ нѣкоторыхъ другихъ духовно-нравственныхъ сочиненій,—по различнымъ вопросамъ христіанской нравственности, не только спеціально монашеской, но и вообще христіанской, съ небольшими замѣчаніями составителя; составитель имѣетъ цѣлью, какъ указываетъ и въ заглавіи,—вообще «наставлять и поспѣшествовать подвизающихся на всякое дѣло духовное». Слѣдуетъ затѣмъ рядъ выписокъ, передающихъ заглавія нѣкоторыхъ главъ Никонова сборника (2, 9, 15, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 40, 41, 43, 45, 47, 58). Вѣроятно, эти заглавія показались г. Архангельскому болѣе интересными, чѣмъ остальныя. О составѣ Тактикона свѣдѣній не сообщается. Въ примѣчаніи указываются нѣкоторые списки Пандектъ и Тактикона, но о печатныхъ изданіяхъ сочиненій Никона умалчивается [1]).

1) Книга Никона Черныя горы издана была въ 1640 и въ 1795 гг. Послѣднее изданіе появилось въ Почаевѣ; относительно перваго въ «Описаніи слав.-русскихъ книгъ» Каратаева замѣчено: «Библіографы полагаютъ, что эта книга напечатана въ Острогѣ 1640 года. Изданія Острожской типографіи прекра-

II. Значительно полнѣе только что разсмотрѣнныхъ замѣтокъ тѣ свѣдѣнія, которыя сообщаетъ г. Архангельскій о Кириллѣ Іерусалимскомъ (20—22), Василіи Великомъ (22—37), Григоріи Богословѣ (37—41), Кириллѣ Александрійскомъ (83—86), Ѳеодоритѣ Кирскомъ (87—88), Іоаннѣ Лѣствичникѣ (88—92), Анастасіи и Нилѣ синайскихъ (93—95, 126—132). Говоря объ упомянутыхъ учителяхъ церкви, г. Архангельскій передаетъ краткія извѣстія объ ихъ жизни и сочиненіяхъ [1]), даетъ общую характеристику нѣкоторыхъ писателей (Григорія Богослова) и нѣкоторыхъ произведеній (Шестоднева Василія В.), затѣмъ перечисляетъ славянскіе переводы сочиненій названныхъ писателей.

На біографическихъ свѣдѣніяхъ и характеристикахъ намъ не зачѣмъ останавливаться: эти краткія, бѣглыя замѣтки не имѣютъ, конечно, притязаній ни на полноту ни на самостоятельность. Что касается перечисленія славянскихъ переводовъ, то въ предѣлахъ печатнаго и того рукописнаго матеріала, съ которымъ ознакомился г. Архангельскій, библіографія переводовъ составлена вообще внимательно, съ значительной обстоятельностью. Къ сожалѣнію, впрочемъ, и въ этомъ отдѣлѣ своего труда почтенный ученый оставляетъ иногда читателя неудовлетвореннымъ. Укажу для примѣра на тѣ страницы, гдѣ рѣчь идетъ объ Анастасіи Синаитѣ.

Говоря объ Анастасіи, г. Архангельскій останавливается прежде всего на его Вопросахъ и Отвѣтахъ, переводъ которыхъ

щаются 1612 годомъ. Поэтому или оно было напечатано до 1612 года, или при надлежитъ къ другой типографіи» (стр. 480). Припоминается при этомъ такое извѣстіе: м. Стефанъ Яворскій, по желанію арх. Питирима, просилъ кіевскаго митрополита Іоасафа Кроковскаго прислать нѣсколько книгъ, въ числѣ ихъ Никона Черныя горы, *печать въ Сербіи въ 1640 г.* (Пекарскій. Наука и литерат. при Петрѣ В. II, стр. 508—509). Въ недавнее время сочиненія Никона снова изданы единовѣрческой типографіей въ Москвѣ.

1) Въ перечняхъ сочиненій встрѣчаются нѣкоторыя неточности. Такъ, въ спискѣ сочиненій Ефрема Сирина (стр. 42) сказано: «15 пѣсенъ на Епифанія» (hymni XV de Epiphania).

принадлежитъ къ древнѣйшимъ памятникамъ славянской письменности (Изборникъ 1073 г.). Но всѣ свѣдѣнія, сообщаемыя нашимъ ученымъ объ Анастасіевыхъ вопросо-отвѣтахъ, ограничиваются слѣдующей замѣткой: «Въ древне-русскую письменность «Вопросы и отвѣты» перешли очень рано. «Вопросы и отвѣты» составляютъ главное содержаніе знаменитаго Святославова Изборника 1073 г. (лл. 27—217) и въ очень многихъ другихъ древнихъ рукописяхъ. Славянскій переводъ ихъ представляетъ значительныя отступленія и разности, сравнительно съ греческимъ подлинникомъ. Прежде всего переводъ не полонъ: «вопросы» и «отвѣты» въ славянскомъ переводѣ помѣщены не всѣ, но избранные; порядокъ ихъ въ переводѣ также другой, чѣмъ въ какомъ они слѣдуютъ въ оригиналѣ; наконецъ, самое изложеніе «вопросовъ» и «отвѣтовъ» въ славянскомъ переводѣ читается въ нѣсколько иной редакціи, чѣмъ какъ по-гречески; сдѣланныя въ славянскомъ переводѣ, во многихъ мѣстахъ, значительныя дополненія и вставки—нѣкоторыя встрѣчаются и по греческимъ рукописямъ, но большая часть ихъ въ греческихъ рукописяхъ не извѣстна» (стр. 94). Въ примѣчаніи: «Подробное сличеніе славянскаго перевода Вопросовъ и Отвѣтовъ, помѣщеннаго въ Святославовомъ Изборникѣ 1073 г., съ греческимъ подлинникомъ—въ Опис. рук. Моск. синод. библ., отд. II, 2, стр. 370—385». Изъ рукописей, кромѣ изборника 1073 года, указаны только: Румянц. музея № 6 и Солов. библіот. № 399 (Румянцевская рукопись—одинъ изъ противней того же сборника, который сохранился въ рукописи 1073 года; такихъ противней извѣстно нѣсколько). Въ другой части своего труда, при разсмотрѣніи вопросовъ и отвѣтовъ Аѳанасія и Антіоха, г. Архангельскій находитъ поводъ возвратиться и къ вопросо-отвѣтамъ Анастасія. Изучая «Аѳанасиєви отвѣти», помѣщенные въ Изборникѣ 1076 года, почтенный ученый нашелъ, что отвѣты эти смѣшаннаго состава. «Большая часть вопросовъ и отвѣтовъ взята изъ «Вопросовъ и отвѣтовъ Аѳанасія Александрійскаго къ кн. Антіоху»; *другіе представляютъ извлеченія изъ «Вопросовъ и*

отвѣтовъ» Анастасія Синаита (*VII в.*); третьи, очевидно, взяты составителемъ разсматриваемаго собранія изъ какихъ-то другихъ произведеній переводной славянской письменности» (Извлеченія... I—II, стр. 38). Замѣчаніе о смѣшеніи вопросо-отвѣтовъ Аѳанасія и Анастасія подтверждается затѣмъ рядомъ сопоставленій (стр. 39—48). Подобное же смѣшеніе указываетъ г. Архангельскій и въ нѣкоторыхъ статьяхъ Измарагда (стр. 62, примѣч. [1]). Но всѣ эти замѣчанія о вопросахъ и отвѣтахъ синайскаго подвижника не сведены къ какимъ-нибудь общимъ положеніямъ. «О текстѣ отрывковъ изъ *Вопр.* и *Отв.* Анастасія Синаита скажемъ въ другомъ мѣстѣ», заявляетъ г. Архангельскій (стр. 61).

Кромѣ вопросовъ и отвѣтовъ, г. Архангельскій указываетъ еще слѣдующія произведенія Анастасія: Бесѣда о шестомъ псалмѣ, Слово на Преображеніе Господне и три слова (о глаголющихъ въ церкви, о еже не имѣти гнѣва ни на кого, о осужденіи), представляющія извлеченіе изъ сочиненія Анастасія: Λόγος περὶ τῆς ἁγίας συνάξεως. Вслѣдъ за перечнемъ этихъ словъ читаемъ: Кромѣ того, въ нашихъ рукописяхъ, *съ именемъ Анастасія Синаита встрѣчаются*: а) «О сущемъ еже по образу и подобію», б) «О еже что есть въ человѣцѣ по образу Божію и по подобію», в) «Похвала о отшедшихъ отцѣхъ» или «Слово о усопшихъ», г) «Слово, да не оклеветаемъ, ни осуждаемъ іерея и простыхъ, о причастіи». Что значитъ выраженіе: «встрѣчаются съ именемъ Анастасія Синаита»? Представляютъ ли эти статьи переложеніе поученій, извѣстныхъ и въ греческихъ текстахъ съ именемъ Анастасія, или эти слова псевдо-эпиграфы, усвояемые Анастасію только въ славянскихъ рукописяхъ? «Слово о усопшихъ» (Что се днесь, о возлюбленніи, со тщаніемъ и достойно собрахомся...)—переводъ Анастасіева поученія (Τί τοῦτο σήμερον, ἀγαπητοί, σπουδαίως ὁμοῦ τε καὶ ἀξίως συνήχθεμεν... см. Migne

1) Вопросо-отвѣты Анастасія, въ видѣ отдѣльныхъ поученій, встрѣчаются также въ Златоустѣ (Опис. синод. рукоп. II, 3, стр. 86, 95, 112) и въ Прологѣ (Петровъ, О составѣ Пролога, стр. 241).

Partol. ser. gr., t. 89, p. 1194). Статьи объ образѣ и подобіи Божіемъ также должны быть причислены къ переводамъ Анастасіевыхъ сочиненій (см. Филарета, Историч. ученіе объ отцахъ церкви, т. III, стр. 237, примѣч. 21).

Не останавливаясь подробно на сообщеніяхъ г. Архангельскаго о Кириллѣ Іерусалимскомъ, Василіи Великомъ, Григоріи Богословѣ, Ѳеодоритѣ Кирскомъ, считаю однако не безполезнымъ сдѣлать нѣсколько отдѣльныхъ замѣчаній о нѣкоторыхъ сочиненіяхъ упомянутыхъ церковныхъ учителей.

Поученіе Василія Великаго въ память сорока мучениковъ, извѣстное по Супрасльской рукописи (Миклошичъ, Monum linguae palaeoslov. ex cod. suprasl., стр. 61—62), издано было въ «Рус. Филологическомъ Вѣстникѣ» 1886 года (№ 2) «по сербскому списку XV вѣка». Въ примѣчаніи къ изданному тексту замѣчено: «Переводъ поученія, вполнѣ оригинальный по отношенію къ тексту Супрасльской минеи, представляетъ обильныя данныя для стилистическаго и филологическаго сравненія обоихъ переводовъ» [1]).

Дополненіе къ указаніямъ г. Архангельскаго (стр. 20—21), касающимся славянскаго перевода словъ Кирилла Іерусалимскаго, можно найти въ книгѣ Гезена: Исторія славянскаго перевода символовъ вѣры (стр. 3—15). Судьба «Сказанія на осмый вѣкъ» (*Арх.* 22) разсмотрѣна въ книгѣ Лилова: О такъ называемой Кирилловой книгѣ (Казань, 1858).

При обозрѣніи сочиненій Ѳеодорита Кирскаго г. Архангельскій упоминаетъ Слово о крестномъ знаменіи (стр. 88), но при этомъ не даетъ никакихъ указаній объ отношеніи этого псевдо-Ѳеодоритова слова къ подлиннымъ сочиненіямъ Кирскаго епископа. Имя Ѳеодорита въ надписаніи упомянутаго слова съ вѣроятностью объясняется тѣмъ, что основой слова послужилъ раз-

1) Послѣ появленія труда г. Архангельскаго напечатана еще, по сербской рукописи XV вѣка, Бесѣда на Рождество Христово, приписываемая Василію Великому (Правосл. Собесѣдникъ, 1889, декабрь, стр. 590—630).

сказъ о Мелетіи, архіепископѣ антіохійскомъ, сообщаемый Ѳеодоритомъ въ его церковной исторіи (См. І. Виноградова, О Ѳеодоритовомъ словѣ. Опытъ библіографическаго изслѣдованія).

Перечень произведеній Кирилла Александрійскаго, извѣстныхъ въ славянскомъ переводѣ, можно было бы пополнить статьями, помѣщавшимися въ Кормчихъ (Срезневскій, Малоизв. и неизв. памятн., гл. XLIV, стр. 76, гл. XLVII, стр. 158; Петровъ, Книгохранилище Чудова монастыря,—ст. въ Памятн. древн. письменности, 1879, вып. IV,—стр. 158).

Ш. Наибольшую цѣнность имѣютъ тѣ отдѣлы труда г. Архангельскаго, въ которыхъ, кромѣ общаго обозрѣнія сочиненій того или другого писателя, находимъ еще «Извлеченія изъ рукописей и опыты историко-литературныхъ изученій». Таковы именно замѣчанія и разысканія г. Архангельскаго о сочиненіяхъ Іоанна Дамаскина, Аѳанасія Александрійскаго, Ефрема Сирина и Іоанна Златоуста.

Говоря объ *Іоаннѣ Дамаскинѣ*, г. Архангельскій перечисляетъ его произведенія, извѣстныя по славянскимъ рукописямъ (стр. 97—108), а затѣмъ сообщаетъ болѣе подробныя свѣдѣнія о переводѣ сочиненій Дамаскина, принадлежащемъ извѣстному кн. Курбскому (стр. 109—124). По поводу перечня можно замѣтить слѣдующее:

Слово на Благовѣщеніе издано было (по рукоп. Моск. синод. библіот. № 213—306) Обществомъ любителей древней письменности.

Обозрѣніе рукописей грамматики, приписываемой Дамаскину, и соображенія объ ея происхожденіи можно найти въ статьѣ В. Н. Малинина: Грамматика Іоанна, экзарха Болгарскаго (Сборникъ статей по случаю юбилея В. И. Ламанскаго, Спб. 1883).

Въ нашихъ рукописяхъ встрѣчается съ именемъ Іоанна Дамаскина руководство къ опредѣленію дней Пасхи (см., наприм., Опис. рукоп. гр. Толстова, отд. II, № 144). Находимъ пасхалію

(τὸ πασχάλιον) и между греческими сочиненіями Дамаскина (Patrol. cursus compl., t. 95, p. 237—238 [1]).

Сообщеніе г. Архангельскаго о переводахъ Курбскаго представляетъ любопытное и важное дополненіе къ замѣткамъ Востокова (Опис. рукоп. Рум. музея, стр. 555—558), кн. Оболенскаго (О переводѣ кн. Курбскаго сочиненій І. Дамаскина,—ст. въ «Библіогр. Запискахъ» 1858 г., № 12), М. П—скаго (Кн. А. М. Курбскій, ст. въ Ученыхъ Запискахъ Каз. Унив. 1873 г. № IV), Попова (Опис. рукоп. Хлудова, 115—117).—«Въ другомъ мѣстѣ, говоритъ г. Архангельскій, мы будемъ подробно говорить о переводахъ Курбскаго, о ихъ отношеніяхъ къ болѣе древнимъ, существовавшимъ до него, а равно и къ редакціямъ подлинника; здѣсь остановимся на одной лишь особенности переводовъ Курбскаго, на многочисленныхъ примѣчаніяхъ или «сказахъ», дѣлаемыхъ имъ къ тексту, на многочисленныхъ поясненіяхъ отдѣльныхъ словъ и выраженій, которыя онъ считаетъ необходимымъ «лѣпшаго ради выразумѣнія» постоянно присоединять къ своему переводу». Слѣдуетъ рядъ выписокъ, знакомящихъ со сказами и словотолкованіями Курбскаго (стр. 113—124).

Въ приложеніи къ другому труду г. Архангельскаго (Борьба съ католичествомъ и западно-русская литература конца XVI и первой половины XVII вѣка) помѣщены: Примѣчанія кн. Курбскаго къ переводу твореній Іоанна Дамаскина, т.-е. всѣ «сказы» и поясненія отдѣльныхъ словъ (по рукоп. Румянц. муз. XVII в., № 193), а также заглавія и начальныя слова главъ Діалектики Іоанна Дамаскина въ переводѣ Курбскаго (по рукоп. Рум. муз. № 193, съ варіантами по рукоп. Пискарева XVII в., № 189). Упомянутая статья г. Архангельскаго помѣщена въ Чтеніяхъ Общества Исторіи и Древн. Россійскихъ 1888 г., кн. 1 (См. стр. 88—154 и 155—166).

1) Припомнимъ еще, что І. Дамаскину приписывались также повѣсть о Варлаамѣ и Іоасафѣ и Стефанитъ и Ихнилатъ (Пыпинъ, О повѣстяхъ и сказкахъ, стр. 125—129, 158—159).

Свѣдѣнія, сообщаемыя г. Архангельскимъ объ Аѳанасіи Великомъ, Ефремѣ Сиринѣ и Іоаннѣ Златоустѣ, распадаются на два отдѣла. Въ книгѣ: «Къ изученію древне-русской литературы» данъ общій перечень тѣхъ сочиненій названныхъ писателей, которыя сохранились въ старо-славянскомъ переводѣ; въ «Извлеченіяхъ изъ рукописей» разсматриваются: 1) Житіе Антонія Великаго св. Аѳанасія, 2) Вопросы и отвѣты Аѳанасія къ кн. Антіоху, 3) Паренесисъ Ефрема Сирина и 4) Творенія Іоанна Златоуста въ древне-русскихъ Измарагдахъ.

Въ первой главѣ «Извлеченій», очень небольшой (стр. 1—8), находимъ рядъ выписокъ изъ старѣйшихъ списковъ житія Антонія (рукоп. Хлудова XIV в., № 195 и рукоп. Тр.-Сергіевой лавры XV в., № 763); параллельно съ этими выдержками напечатаны соотвѣтствующія мѣста по рукоп. Соловецкой библіот. XVI—XVII в. (№ 209).

Вторая глава «Извлеченій» (стр. 9—203) представляетъ обширное и любопытное изслѣдованіе, въ которомъ разсматриваются не только Вопросы и Отвѣты Аѳанасія къ Антіоху, но и нѣкоторыя другія произведенія, изложенныя въ той же литературной формѣ. Текстъ вопросовъ и отвѣтовъ, надписываемыхъ въ славянскихъ рукописяхъ именемъ Аѳанасія, не одинаковъ. Изученіе рукописнаго матеріала привело г. Архангельскаго къ различенію трехъ изводовъ псевдо-аѳанасіевыхъ вопросо-отвѣтовъ: а) редакція, которую нашъ ученый опредѣляетъ (стр. 37), какъ «болѣе точную, буквальную, слѣпо (?) воспроизводящую греческій оригиналъ» (рукоп. Тр.-Серг. лавры, № 190; Солов. библіот. № 259 [1]); печатный текстъ Скрижали); б) редакція, опредѣляемая (стр. 37), какъ «передающая греческій текстъ не

1) Рукопись Соловецкой библіотеки № 259 любопытна тѣмъ, что въ ней «къ тексту перевода вопросовъ и отвѣтовъ на поляхъ рукописи приведена... изъ различныхъ твореній отцовъ церкви масса цитатъ въ подтвержденіе тѣхъ или другихъ мнѣній, высказываемыхъ въ отвѣтахъ. Цитатъ этихъ нѣтъ въ греческихъ рукописяхъ и повидимому онѣ—плодъ учености какого то русскаго книжника второй половины XVII в.» Эти цитаты рукописи напечатаны г. Архангельскимъ сполна (стр. 78—88).

столь буквально, болѣе простымъ и иногда даже значительно отступающимъ отъ греческаго оригинала языкомъ» (Тр.-Серг. Лавры рук. № 12); в) особая редакція, представляющая смѣшеніе Аѳанасіевыхъ Вопросовъ съ Вопросами Анастасія Синаита и иными, взятыми изъ неизвѣстнаго источника (стр. 48—49). Кромѣ этихъ трехъ редакцій отмѣчены: 1) Отрывки Аѳанасіевыхъ вопросовъ въ Измарагдахъ: «Только иногда редакція текста въ Измарагдахъ остается тою же, какъ и въ греческомъ подлинникѣ или въ славянскихъ рукописяхъ полнаго перевода «Вопросовъ и Отвѣтовъ»; большею же частію она значительно отступаетъ отъ него, представляя сравнительно съ нимъ бо́льшія или меньшія или добавленія или сокращенія, чаще послѣднія,— иногда же и болѣе значительную разность» (стр. 62—63); 2) Отрывки Аѳанасіевыхъ вопросо-отвѣтовъ, помѣщавшіеся въ древне-русскихъ Кормчихъ (стр. 74—77).

Вслѣдъ за разборомъ псевдо-аѳанасіевыхъ Вопросовъ и Отвѣтовъ находимъ въ книгѣ казанскаго ученаго (стр. 89 и далѣе) особое изслѣдованіе, предметомъ котораго служитъ Бесѣда трехъ святителей и сходные съ нею анонимные вопросо-отвѣты [1]). Г. Архангельскій отмѣчаетъ три отдѣльныхъ памятника, сходное заглавіе которыхъ можетъ дать поводъ къ смѣшенію, къ предположенію ближайшаго родства, котораго на самомъ дѣлѣ нѣтъ.

А) Вопросы и отвѣты Григорія Богослова и Василія (древнѣйшій списокъ въ Изборникѣ 1073 года); греческій оригиналъ этого діалога указанъ былъ еще Востоковымъ (Опис. рукоп. Румянц. музея, стр. 503).

Б) Вопрошанія и отвѣты евангельскихъ словесъ, сказана Василіемъ и Ѳеологомъ Григоріемъ (Румянц. муз. № VI). По указанію г. Архангельскаго, «статья своимъ содержаніемъ представляетъ почти буквальныя извлеченія изъ одного сочиненія, приписываемаго Аѳанасію Александрійскому: Ῥήσεις καὶ ἑρμηνεῖαι

1) Объ этомъ отдѣлѣ книги г. Архангельскаго я имѣлъ уже случай говорить въ статьѣ: «Бесѣда трехъ святителей и Joca monachorum» (Журн. Минист. Нар. Просв. 1892, январь).

παραβολῶν τοῦ ἁγίου εὐαγγελίου, напечатаннаго у Migne'я, Patrol. Cursus compl. s. gr., t. XXVIII, col. 711—774. Статья впрочемъ... нѣсколько измѣнена; встрѣчаются добавленія, распространенія, мѣстами придается форма вопросовъ и отвѣтовъ, мѣстами изложеніе переходитъ въ Бесѣду Василія и Θеолога Григорія (стр. 117). Г. Архангельскій напечаталъ сполна эту «статью параллельно съ соотвѣтствующими мѣстами названнаго греческаго сочиненія» (стр. 117—128). При такомъ сопоставленіи греческаго и славянскаго текстовъ авторъ иногда увлекается, давая неточныя параллели. Такъ, съ славянскимъ текстомъ, передающимъ притчу о плевелахъ (Ев. Матѳея, XIII, 24—30), сопоставляется въ греческомъ—притча о сѣменахъ, упавшихъ на неодинаковую почву (Мѳ. XIII, 3—23); съ притчей о неводѣ (Мѳ. XIII, 47—48)—разсказъ о пойманной Петромъ рыбѣ, внутри которой найдена была монета (Мѳ. XVII, 24—27).

В) Бесѣда трехъ святителей.—Крайнее разнообразіе списковъ Бесѣды заставило г. Архангельскаго отказаться отъ установленія какихъ-либо редакцій этого памятника (стр. 189) [1]).

1) Г. Мочульскій въ сочиненіи о Голубиной книгѣ дѣлитъ всѣ списки Бесѣды на три разряда или редакціи. Изученіе рукописнаго матеріала убѣдило г. Архангельскаго въ несостоятельности такого дѣленія. Но отвергнувъ невѣрное дѣленіе, г. Архангельскій не нашелъ, къ сожалѣнію, возможнымъ внести хоть какой-нибудь распорядокъ въ разнообразіе списковъ. При этомъ ему помѣшало отчасти и то, что далеко не всѣ списки Бесѣды приведены въ извѣстность. Г. Архангельскому приходилось иногда довольствоваться лишь небольшими выписками изъ того или другого списка, помѣщенными въ описаніяхъ рукописей. Такъ онъ говоритъ о спискахъ Вопросовъ и Отвѣтовъ, находящихся въ рукописяхъ Публичной библіотеки (стр. 130—134), по отрывкамъ, приведеннымъ въ «Описаніи рукоп. сборн. публ. библіотеки» А. Ѳ. Бычкова. Не мѣшало бы сдѣлать сводъ извѣстныхъ уже списковъ бесѣды и вопросо-отвѣтовъ. Такой сводъ облегчилъ бы знакомство со списками, неизвѣстными или почти неизвѣстными. При существованіи свода, вмѣсто случайныхъ выписокъ и ненужнаго повторенія однихъ и тѣхъ же вопросовъ, можно было бы отмѣчать лишь общій порядокъ вопросовъ, входящихъ въ составъ того или другого списка; при этомъ пришлось бы указывать числа, которыми опредѣляется мѣсто извѣстныхъ вопросо-отвѣтовъ въ сводѣ. Такія краткія, но ясныя опредѣленія состава списковъ облегчили бы и распредѣленіе ихъ на разряды. Само собою разумѣется, что списки, важные по особенностямъ содержанія и языка, или по времени написанія рукописи, требуютъ отдѣльнаго изданія.

По мнѣнію нашего ученаго, можно лишь отмѣтить связь Бесѣды съ другими произведеніями славяно-русской письменности. Съ этою цѣлію онъ приводитъ рядъ любопытныхъ, хотя и не одинаково убѣдительныхъ и важныхъ, сближеній нашихъ вопросо-отвѣтовъ съ цѣлымъ рядомъ памятниковъ (Вопросы Іоанна Богослова Господу на горѣ Ѳаворской, Вопросы Іоанна Богослова Аврааму на Елеонской горѣ, Варѳоломеевы вопросы Богородицѣ, Преніе Панагіота съ Азимитомъ, Палея, Луцидаріусъ и др.). При этомъ г. Архангельскій попутно знакомитъ насъ съ нѣкоторыми произведеніями, остававшимися до сихъ поръ неизвѣстными или малоизвѣстными. Таковы: Начертаніе отъ различныхъ богословесныхъ книгъ, сирѣчь снискательно отъ глубочайшаго сокровеннаго разума богомудрыми отцы (стр. 141—142)[1]), Поученіе церковное о святѣй вѣрѣ святыхъ отецъ (стр. 142), Толкъ священническаго чина (стр. 143), Бесѣда Златоуста съ Господомъ (144—146), Слово откровенія св. отца Григорія Богослова о святѣй службѣ (146)[2]), Григорія Ѳеолога избранная, яже суть толковая (стр. 147—156), Книга, нарицаемая Кааѳъ, сирѣчь съборникъ (стр. 156—160)[3]).

Въ приложеніи изданъ одинъ изъ старѣйшихъ списковъ Бесѣды: «Оустроеніе словесъ Василіа и Григоріа Ѳеолога Іоанна» (по рукоп. XV в. Румянц. музея № VI).

Изъ сочиненій *Ефрема Сирина* г. Архангельскій съ особеннымъ вниманіемъ останавливается на поученіяхъ, входящихъ

1) Ср. Описаніе рукоп. гр. Толстова, отд. II, № 276, л. 231: «Снискательно отъ глубочайшаго сокровеннаго разума премудрыхъ богословныхъ книгъ». Въ заключеніи сей статьи сказано: «Сія вопрошенія и толкъ, ко игумену Іакову, неключимаго инока Паѳнотія во Акіанѣ обители отрока Соловецкаго» (стр. 435) То, что писалъ объ этомъ Паѳнутіи еп. Филаретъ (Обзоръ р. дух. литературы, гл. 150), требуетъ провѣрки.

2) «Св. Григорія Богослова откровенье о святѣй службѣ» напечатано въ ст. Красносельцева: «Толковая служба» (Правосл. Собесѣдникъ, 1878, май).

3) Въ «Филологическомъ Вѣстникѣ» (1890, 2, стр. 306) указано было на сходство «Кааѳа» съ сборникомъ XIII в. Публичной библіотеки (Толст. II, № 6) Описаніе этого сборника составлено было Н. А. Лавровскимъ (Чтенія въ Общ. Ист. и древн. Рос. 1858 г. 4).

въ составъ такъ называемаго Паренесиса. Нѣкоторые списки этого сборника были уже подробно описаны Срезневскимъ (Свѣд. и зам. о малоизв. и неизв. памятникахъ, гл. V, VI, IX). Г. Архангельскій а) «дѣлаетъ обозрѣніе словъ Паренесиса по древнѣйшему и не обслѣдованному списку его—XIII вѣка библіотеки Тр.-Сергіевой Лавры, № 7» (стр. 1—32); б) сопоставляя составъ Паренесиса по нѣсколькимъ спискамъ, пытается опредѣлить первоначальный видъ сборника и отмѣтить его позднѣйшія измѣненія, при чемъ распредѣляетъ списки Паренесиса на нѣсколько группъ (стр. 33—37); в) знакомитъ насъ съ содержаніемъ Паренесиса, для чего дѣлаетъ обширныя выписки изъ упомянутой рукописи XIII вѣка (стр. 37—76); г) сравниваетъ составъ нашего Паренесиса съ составомъ греческихъ рукописей, описанныхъ у Ассемани (Ephraemi Syri Opera omnia, t. I), при чемъ приходитъ къ выводу, что «въ длинномъ ряду этихъ (греческихъ) кодексовъ нѣтъ ни одного, который могъ бы быть прототипомъ нашего славянскаго кодекса», и что, «во всякомъ случаѣ, въ своихъ теперешнихъ существующихъ спискахъ онъ (Паренесисъ) носитъ очевидные признаки славянской редакціи» (стр. 77—88); д) разсматриваетъ слова Паренесиса, повторяющіяся хотя и не безъ измѣненій, въ спискахъ Измарагда (стр. 88—118). По поводу этого изслѣдованія г. Архангельскаго появилась въ кіевскихъ «Университетскихъ Извѣстіяхъ» (1891 г. ноябрь) любопытная статья *проф. Владимірова*. Рецензентъ указываетъ нѣкоторые недочеты въ трудѣ г. Архангельскаго: авторъ не обратилъ вниманія на нѣкоторые важные списки Паренесиса (рукоп. моск. типогр. библ. № 1173; сербская рукоп. изъ собранія Севастьянова № 37; списокъ, внесенный въ январскую книгу Макаріевыхъ Четій-Миней); не совсѣмъ удачно распредѣлилъ списки сборника, основываясь лишь на количествѣ словъ, тогда какъ «нѣкоторые списки могутъ представлять неполноту по чисто случайнымъ причинамъ» (стр. 95); не точно опредѣляетъ отношеніе нашего Паренесиса къ греческимъ кодексамъ Ефремовыхъ сочиненій, ибо «порядокъ словъ славянскаго перевода, по отдѣльнымъ

группамъ, слѣдуетъ порядку словъ нѣкоторыхъ греческихъ сборниковъ (стр. 85—86; 98); въ выпискахъ изъ Троицкой рукописи допускаетъ нѣкоторыя неточности (98—99). Въ заключеніе своей рецензіи г. Владиміровъ говоритъ: «считаемъ, однако, не лишнимъ отмѣтить и положительную сторону изслѣдованія А. С. Архангельскаго. Авторъ впервые представилъ обстоятельное описаніе замѣчательной рукописи «Паренесиса» XIII вѣка, сличивъ ея составъ съ описаніями другихъ славяно-русскихъ списковъ «Паренесиса» и съ описаніями греческихъ кодексовъ словъ Ефрема Сирина по изданію Ассемани. Далѣе, авторъ указалъ отношеніе нѣкоторыхъ словъ «Паренесиса» къ передѣлкамъ ихъ въ другихъ сборникахъ, преимущественно въ Измарагдахъ» (100). Вполнѣ присоединяясь къ этому сужденію о положительной сторонѣ работы казанскаго ученаго, позволяю лишь высказать сожалѣніе, что г. Архангельскій не обратилъ достаточнаго вниманія на самый текстъ перевода Паренесиса. Разсмотрѣніе этого сборника привело Срезневскаго къ такому заключенію: «Что касается до самаго текста перевода, то хотя онъ вообще и одинъ во всѣхъ спискахъ, тѣмъ не менѣе *по мѣстамъ представляется въ разныхъ спискахъ не дословно одинаковымъ*». Подобное же замѣчаніе находимъ у Ундольскаго. Описывая извѣстную г. Архангельскому рукопись XVI вѣка (№ 179), Ундольскій замѣчаетъ: «*въ переводѣ есть отличія*» (Катал. рук. Унд., ст. 160). Эти указанія стоило бы провѣрить.

Четвертая глава «Извлеченій изъ рукописей» имѣетъ заглавіе: «Творенія І. Златоустаго въ древне-русскихъ Измарагдахъ». Прежде всего г. Архангельскій даетъ обозрѣніе списковъ «Измарагда»: «Дошедшіе до насъ списки древне-русскихъ Измарагдовъ начинаются съ XIV вѣка; древнѣйшій списокъ — XIV вѣка библіотеки Моск. публ. Румянц. музея, № 186. Слѣдующіе, по древности, списки относятся къ пол. XV, кон. XV — нач. XVI, и XVII вв.». Въ примѣчаніи перечислены извѣстные по описаніямъ списки Измарагда (всего 28 №№). «По своему составу, продолжаетъ г. Архангельскій, списки Измарагдовъ представляютъ

значительное разнообразіе, хотя въ болѣе позднихъ спискахъ основной составъ собранія довольно одинаковъ. Не имѣя возможности сдѣлать здѣсь подробнаго сличенія всѣхъ дошедшихъ до насъ списковъ, остановимся лишь на нѣкоторыхъ». Эти «нѣкоторые» списки распредѣляются (стр. 2—6) на восемь редакцій, большая часть которыхъ представлена лишь одной рукописью; только редакція, называемая г. Архангельскимъ «господствующей», опредѣлена по 10 рукописямъ, да для «наиболѣе древней» (ср. стр. 74) редакціи, представляемой Измарагдомъ XIV вѣка Румянц. муз. (№ 186), отыскался противень въ рукописи XVI в. Тр.-Сергіевой лавры (№ 204). Послѣ обозрѣнія списковъ Измарагда изслѣдователь «обращается къ содержанію древне-русскихъ Измарагдовъ». Съ общимъ содержаніемъ Измарагда познакомили насъ Горскій и Невоструевъ при описаніи списка Измарагда Московской синод. библіотеки (№ 230): «Слова собраны изъ церковныхъ поученій и другихъ читаемыхъ въ церкви книгъ, но не видно въ этомъ приспособленія къ церковному порядку чтенія. Въ расположеніи словъ болѣе можно примѣчать порядокъ матерій, хотя весьма не строгій. Главное назначеніе этого собранія словъ, кажется, было для домашняго чтенія, и именно мірянамъ. Потому въ началѣ и на концѣ книги нѣсколько наставленій о томъ, какъ читать съ пользою для души. Имѣя въ виду людей, живущихъ въ міру, собиратель, кромѣ общихъ наставленій объ обязанностяхъ православнаго христіанина, помѣстилъ въ своей книгѣ много словъ, относящихся до семейной жизни и разныхъ житейскихъ обстоятельствъ» (II, 3, стр. 82). Изложеніе г. Архангельскаго представляетъ иллюстрацію этого общаго замѣчанія о составѣ Измарагда: приводятся обширныя выписки изъ поученій о чтеніи книгъ, о взаимныхъ отношеніяхъ дѣтей и родителей, о челяди, о трудолюбіи, о молитвѣ и т. п. (стр. 6—69). Выписки сдѣланы изъ рукописей Рум. музея (№ 186, XIV в.), Соловецкой библіотеки (№ 359, XV—XVI в.), Троицко-Сергіевой лавры (№ 203 и 204, XVI в.). По поводу этихъ «Извлеченій изъ рукописей» припомню, что не мало выписокъ изъ Измарагда (по рукоп. Публ.

библіотеки XVI в.) помѣщено было въ «Отчетѣ о занятіяхъ въ столичныхъ библіотекахъ» П. Лукьянова (Протоколы засѣданій совѣта Харьковскаго университета, 1867 г., стр. 558 и сл.). Этотъ отчетъ, повидимому, не извѣстенъ г. Архангельскому. «Въ заключеніе нашего обзора литературнаго состава и содержанія древне-русскихъ Измарагдовъ,—говоритъ г. Архангельскій,—не можемъ не замѣтить, что едва ли не древнѣйшимъ, исходнымъ прототипомъ ихъ не былъ извѣстный Изборникъ 1076 года. По крайней мѣрѣ, и въ общемъ характерѣ содержанія и въ подборѣ самыхъ статей—нельзя не видѣть между первыми и послѣднимъ довольно замѣтной близости. Во всякомъ случаѣ Изборникъ 1076 года былъ однимъ изъ ближайшихъ источниковъ Измарагдовъ,—такъ какъ нѣкоторыя изъ статей оказываются не только одинаковыми, но и общими» (стр. 69—70). Замѣчаніе любопытное и важное, которое, впрочемъ, изъ области предположеній можетъ перейти въ кругъ достовѣрныхъ наблюденій только тогда, когда будутъ болѣе подробно изучены не только разныя редакціи Измарагда, но и другіе сборники сходнаго содержанія, въ родѣ «Златой Цѣпи» [1]). Отыщутся, быть можетъ, и византійскіе прототипы подобнаго рода славяно-русскихъ сборниковъ, измѣнявшіеся, конечно, подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій и требованій.

При изученіи Измарагда г. Архангельскаго особенно интересовали тѣ статьи, которыя въ разныхъ спискахъ этого сборника надписываются именемъ Іоанна Златоуста. Нашъ изслѣдователь приводитъ списокъ такихъ статей, составленный по 11 рукописямъ (стр. 73—93), а затѣмъ, «для ознакомленія съ литературными источниками древне-русскихъ Измарагдовъ, останавливается подробно на нѣкоторыхъ изъ перечисленныхъ словъ и поученій съ именемъ Іоанна Златоустаго» (стр. 94—228). Чтобы видѣть,

1) Описаніе старѣйшаго списка «Златой Цѣпи» (Тр.-Серг. лавры, № 11, XIV в.) см. въ «Чтеніяхъ Общ. Ист. и древн. Рос.» 1846 г. кн. 2, и въ Опис. рукоп. Тр.-Серг. лавры.—О другихъ спискахъ «Зл. Цѣпи» см. соч. Пѣтухова, Серапіонъ Владимірскій, русскій проповѣдникъ XIII вѣка, гл. IX, стр. 193 и слѣд.

какъ г. Архангельскій ведетъ свою работу, выписываю его замѣчанія о первыхъ трехъ поученіяхъ.

«I. *Слово Павла апостола, истолковано Іоанномъ Златоустымъ и Василіемъ Кесарійскимъ*». Приводимъ слово сполна: Пріидемъ, братіе, да слышимъ слово ползы духовныя исполнено и т. д. (Помѣщенъ полный текстъ слова по рукоп. Солов. библіотеки, № 359, съ варіантами по рукоп. той же библіот. № 361). Слово Измарагда представляетъ собою, съ незначительными измѣненіями, первую часть поученія, приписываемаго по нѣкоторымъ рукописямъ «Кириллу» (Того ж Кюрила наказанье) и считающагося произведеніемъ Кирилла Туровскаго. Источникомъ для того и другого служило слѣдующее мѣсто одной изъ бесѣдъ Іоанна Златоустаго къ антіохійскому народу, помѣщавшихся въ древне-русскихъ Маргаритахъ,—приводимъ текстъ названнаго мѣста бесѣды по списку Маргарита Четь-Миней митр. Макарія, параллельно съ начальной частью наказанія Кирилла Туровскаго, (слѣдуютъ тексты, помѣщенные en regard). Изъ сопоставленія приведенныхъ текстовъ нельзя не видѣть, что текстъ *Наказанія* ближе къ подлинному тексту бесѣды Златоуста, чѣмъ текстъ читаемаго въ Измарагдахъ слова, и первое едва ли не служило посредствующимъ источникомъ послѣдняго. Источникомъ второй, дальнѣйшей части *Наказанія* служили слѣдующія дальнѣйшія мѣста той же бесѣды Златоустаго,—приводимъ отрывки бесѣды по тому же списку Маргарита, параллельно съ соотвѣтствующей частью Наказанія. . . (Тексты). Послѣдняя, заключительная часть *Наказанія* заимствована изъ какого-то новаго источника; здѣсь между прочимъ сообщается, что Самсонъ погибъ отъ пьянства. Замѣтимъ, что двѣ послѣдніе части *Наказанія* въ нѣкоторыхъ спискахъ древне-русскихъ Златоустовъ читаются также въ видѣ особаго, отдѣльнаго слова (Указанъ Златоустъ XVII в. Моск. синод. библіот. № 231). Мысли о важности чтенія книгъ не рѣдко встрѣчаются и въ Златоструѣ. . . (Выписки изъ Златоструя XVI в. Солов. библіот. № 182).

II. *Слово Іоанна Златоустаго о лѣчащихся въ болѣзни*

волхвованіемъ и наузы. — Слово главнымъ образомъ заимствовано изъ 6-го слова Іоанна Златоустаго на іудеевъ, читаемаго въ числѣ другихъ и въ Маргаритѣ; но авторъ измарагдовскаго поученія, повидимому, пользовался не подлиннымъ словомъ, но отрывками, приводимыми изъ него въ 47 словѣ Пандектъ Никона Черногорца. Послѣдніе во всякомъ случаѣ были у него подъ руками—на что указываютъ ссылки его на правила «седьмого собора»: соотвѣтствующія выписки изъ соборныхъ и градскихъ законовъ приведены въ томъ же словѣ Пандектъ. Впрочемъ, едва ли авторъ измарагдовскаго слова не пользовался также находящимся въ Златоструѣ—словомъ о болѣзнехъ оутѣшно и о врачехъ. Приводимъ измарагдовское поученіе сполна, параллельно съ указанными источниками. . . (Слѣдуютъ: слово Измарагда и выписки изъ 47-го слова Пандектъ, изъ Маргарита и Златоструя).

III. *Слово Іоанна Златоустаго о исходѣ души.* — Въ словѣ говорится о тѣхъ испытаніяхъ, мытарствахъ, которымъ подвергается душа по выходѣ ея изъ тѣла. Въ нѣкоторыхъ спискахъ Измарагдовъ слово носитъ болѣе правильное, соотвѣтствующее источнику заглавіе: Слово Іоанна Милостиваго о исходѣ души. Слово дѣйствительно заимствовано изъ житія Іоанна Милостиваго, — представляетъ собою именно тотъ отрывокъ житія, который читается въ 32-мъ словѣ Пандектъ Никона Черногорца. Послѣдніе, конечно, и были непосредственнымъ источникомъ измарагдовскаго поученія, которое почти буквально воспроизводитъ отрывокъ, съ незначительными лишь измѣненіями въ началѣ и концѣ. Приводимъ начало слова, параллельно съ началомъ названнаго отрывка Пандектъ. . . (Тексты).

Всего разсмотрѣно такимъ образомъ г. Архангельскимъ *тридцать* поученій Измарагда [1]). Замѣчанія почтеннаго изслѣдо-

1) Опредѣляя источники поученій, помѣщавшихся въ Измарагдѣ, г. Архангельскій останавливается лишь на ближайшихъ фактахъ, представляемыхъ переводной славянской письменностью. Отношеніе этихъ переводовъ къ первичнымъ греческимъ текстамъ не входило въ задачу г. Архангельскаго. Что касается выписокъ изъ рукописей, то въ передачѣ древняго текста г. Архан-

вателя представляютъ несомнѣнно шагъ впередъ въ изученіи славяно-русскаго Златоуста, т. е. совокупности тѣхъ произведеній, которыя, правильно или ошибочно, надписываются въ нашихъ рукописяхъ именемъ знаменитаго проповѣдника. Пособіемъ при опредѣленіи источниковъ нѣкоторыхъ словъ, помѣщенныхъ въ Измарагдѣ, могли служить г. Архангельскому замѣтки, сдѣланныя Горскимъ и Невоструевымъ при обозрѣніи рукописей Измарагда и Златоуста Моск. синодальной библіотеки [1]). Жаль, что г. Архангельскій не исчерпалъ и не провѣрилъ всѣхъ такого рода указаній Горскаго и Невоструева. Укажу для примѣра нѣсколько поученій, которыя отмѣчены г. Архангельскимъ въ общемъ перечнѣ статей, усвояемыхъ Златоусту, но источникъ которыхъ не провѣренъ, несмотря на замѣтки «Описанія синод. рукописей».

1) Архангельскій, стр. 75: Слово Іоанна Златоустаго о чистотѣ душевнѣй. Нач. «Мы убо да навыкнемъ, что убо человѣка сквернитъ» (Измарагдъ Тр.-Сергіевой лавры № 204, л. 111).— Въ Описаніи синодальныхъ рукописей (II, 3, стр. 85): «Поученіе Иѡанна Златоустаго ѡ чистотѣ душевънѣи. Нач. Навыкнемъ оубо, что есть еже не сквернитъ человѣка... Взято изъ Златоустаго 51 бесѣды на Ев. Матѳ. (Opp. T. VII, p. 526).

2) Архангельскій, стр. 75: Слово Іоанна Златоустаго, въ немъ же притчю сказаетъ, чему подобно есть житіе се настоящее наше и како въ немъ льстимся. Нач. «Вся убо, възлюбленіи, свѣта сего вскорѣ преминуется, того ради добро есть преже смерти кому же готовитися (Измарагдъ Солов. библіот., № 359, л. 273 об.). Въ Опис. синод. рукописей (II, 3, стр. 77): «Слово Іѡа Златоустаг , въ немъ же притчу сказуетъ, чему подобно есть

гельскій не всегда, повидимому, держался одного и того же пріема: есть наприм. мѣста, выписанныя съ сохраненіемъ сокращеній, въ другихъ случаяхъ титла, очевидно, раскрыты.

1) Такъ источники слова о исходѣ души (Арх. 111) и Поученія, како подобаетъ крестьяномъ жити (Арх. 117) указаны именно въ Описаніи синод. рукоп. (II, 3, 55, 56). Это не уменьшаетъ, однако, ученой заслуги г. Архангельскаго, показавшаго на рядѣ примѣровъ связь поученій Измарагда съ Златоструемъ, Пандектами Никона Черногорца и др. пам.

житіе се настоящее и како въ нем̾ льстимся. Нач. Вся оубо възлюблении свѣта сег̾ въскорѣ преминуются. Притча довольно пространная, взята изъ слова Христофора, патр. Александрійскаго, изд. у Фабриція, Bibl. Graec Ed. Wet. T. XII, p. 660 [1]).

3) Арх., стр. 78; Слово Іоанна Златоустаго о суетнемъ житьи и о ползѣ и о умиленіи. Нач. Возлюбленніи, оставльше суетная дѣла погибающая житья сего, блюдете (Измар. Спасо-Евѳиміева монастыря, л. 148).—Въ Описаніи (II, 3, 90): Поученіе Іѡанна Златаоустого ѡ суетно̄ се̄ житіи и ѡ ползѣ дшевнѣй. Нач. Возлюбленніи, оставивше суетная дѣла. Opp. S. Chrysost. spuria. T. IX, p. 819; но въ рукописи только половина слова. Оно извѣстно въ древнемъ переводѣ по ркп. Лаврской библіотеки (XIII в.).

4) Арх. 92: Слово Іоанна Златоустаго о алчьбѣ и молитвѣ и о милости. Нач. Придите нынѣ, церковная чада, да обычное поученіе сотворю (Солов. библіот. № 360, л. 127). Описаніе: Поученіе Іѡанна Златооустаго... Нач. «Приидѣте нн̄ѣ цр̄ковная чада да ѡбычное сотворю вамъ поученіе». Сочинитель пользуется словомъ Василія Вел. о постѣ первымъ; поученіе находится въ Златой Цѣпи, л. 115 об. (II, 3, 92).

5) Арх. 78: Слово Іоанна Златоустаго о алканьи и о милостыни... Нач. «Днесь, возлюбленніи, врачеви поклонимся» (Измарагдъ Сп.-Евѳ. мон., л. 148). Описаніе: Слово с̄таго Іоанна Златооустаго ѡ алъканіи. Нач. Днесь возлюбленніи врачю д̄шевъному поклонимъся. Opp. Chrys. T. IX, p. 799 (II, 3, 107).

6) Арх. 87: (Іоанна Златоустаго) слово о десяти дѣвахъ, и о милостыни, и о казни, и о молитвѣ... Нач. «Вѣсте ли убо, откуду намъ рѣчь начася прьвое, или гдѣ уставися». (Рукоп. б. Царскаго, № 142, л. 24). Описаніе: С̄лво Иѡанна Златаустаго ѡ десят̾и д̄вах̾ і ѡ м̄тне і ѡ покаяни̾. Нач. «Вѣсте ли оубо, ѡ̄куду намъ рѣчь начася испрьва, или гдѣ ставися». Opp. Chrys. Ed. Montfauc. T. II, p. 294 (II, 3, 128).

1) Объ этой притчѣ см. въ моей книгѣ: «Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи», стр. 33—36, примѣч.

Въ общемъ обозрѣніи сочиненій Златоуста, извѣстныхъ въ славянскихъ переводахъ (Къ изученію древне-р. литературы, стр. 56—83), г. Архангельскій указываетъ а) сборники поученій Златоуста (Златоструй, Андріантисъ, Маргаритъ [1]), Златоустъ и др.) б) его экзегетическіе труды (бесѣды на кн. Бытія, на Псалмы, на Ев. Матѳея и Іоанна, на Дѣянія и Посланія апостольскія), в) отдѣльныя «слова», принадлежащія или приписываемыя Златоусту. Представляю нѣсколько замѣтокъ по поводу этого отдѣла труда г. Архангельскаго.

О бесѣдахъ Златоуста къ Антіохійскому народу (Ανδριαντης) г. Архангельскій говоритъ: «Славянскій переводъ этого собранія дошелъ до насъ въ позднѣйшихъ спискахъ XVII в., но появленіемъ своимъ относился, повидимому, къ несравненно болѣе раннему времени. Основаніе къ такому предположенію даетъ одинъ изъ списковъ сборника, именно рукопись Московской синод. библіот. № 125, представляющая переводъ поученій въ редакціи мон. Евѳимія. Рукопись—собственно палимпсестъ: переводъ свой Евѳимій производилъ по редакціи перевода, принадлежавшаго ко времени гораздо болѣе раннему, писалъ на текстѣ древней рукописи, и эта болѣе ранняя редакція перевода проглядываетъ въ рукописи еще довольно ясно, несмотря на всѣ помарки и подскобки, сдѣланныя Евѳиміемъ. Переводъ, попавшійся въ руки Евѳимія, носилъ на себѣ слѣды отдаленной древности. Первоначальное появленіе нѣкоторыми относится уже къ XI — XII вв. болгарской письменности. Выраженіе: «рукопись—собственно *палим-*

1) Г. Архангельскій съ особеннымъ вниманіемъ останавливается на Новомъ Маргаритѣ, въ переводѣ кн. Курбскаго. Этотъ переводъ сохранился въ двухъ спискахъ: одинъ принадлежитъ Рум. музею (Унд. № 187), другой—Вольфенбюттельской библіотекѣ. «Въ виду совершенной неизвѣстности рукописи» Ундольскаго г. Архангельскій останавливается на ней съ нѣкоторой подробностью: печатаетъ «сказаніе главамъ» и нѣкоторые «сказы» (объяснительныя примѣчанія) и словотолкованія Курбскаго (стр. 68—80). Болѣе полное описаніе этой же рукописи помѣщено г. Архангельскимъ въ «Чтеніяхъ Общ. Ист. и древн. Росс.» 1888 г., кн. 1 (въ приложеніи къ статьѣ: Борьба съ католичествомъ и западно-русская литература конца XVI и первой полов. XVII вѣка).

псесть», конечно, не точно. Въ Описаніи синод. рукоп. объ упомянутомъ спискѣ замѣчено: «Рукопись, къ сожалѣнію, много потерпѣла отъ исправителя, потому что онъ не только зачеркивалъ, но часто и выскабливалъ слова или буквы, которыя считалъ нужнымъ замѣнить другими. Первоначальный переводъ бесѣдъ, несмотря на то, что представляется въ позднемъ спискѣ, по своей древности заслуживаетъ особеннаго вниманія. Въ правописаніи и въ грамматическихъ формахъ языка всего скорѣе могли сгладиться признаки древности, но въ словахъ и оборотахъ рѣчи уцѣлѣло много несомнительныхъ доказательствъ древняго происхожденія сего перевода» (II, 2, стр. 113). Такимъ образомъ нельзя сказать, что болѣе ранняя редакція «довольно ясно проглядываетъ» въ синодальномъ спискѣ; древній переводъ сохранился съ достаточной полнотой «въ словахъ и оборотахъ рѣчи». Для изученія древняго перевода Андріантиса было бы очень важно сличить исправленную синодальную рукопись съ отрывками изъ того же сборника, встрѣчающимися въ древнихъ рукописяхъ. Такъ напримѣръ, въ сборникѣ XII в. Тр.-Сергіевой лавры помѣщенъ отрывокъ «ѿ Анъ-дриѧтъ» [1]) (Срезневскій, Малоизв. и неизв. пам. гл. LII, стр. 202).

При изложеніи свѣдѣній о «Златоустѣ» г. Архангельскій пользовался извѣстной статьей Горскаго: «Слова на св. четыредесятницу». Цѣнныя дополненія къ этой статьѣ сдѣланы были г. Пѣтуховымъ въ его работѣ: Древнія поученія на воскресные дни великаго поста (Сборникъ 2-го отдѣл. Акад. Наукъ, т. 40). Трудъ г. Пѣтухова явился нѣсколько ранѣе (1886) сочиненія г. Архангельскаго (1888).

Въ замѣткѣ о «Маргаритѣ» слѣдовало бы припомнить извѣстіе о Діонисіи Терновскомъ (XIV в.), которому принадлежитъ переводъ «оть еллинскаго писанія на бльгарьскыи езыкъ» сборника поученій съ упомянутымъ выше заглавіемъ (Starine, I, 52).

---

1) Въ отдѣлѣ «Извлеченій» г. Архангельскій указалъ, что нѣкоторыя поученія Измарагда стоятъ въ связи съ Андріатисомъ (IV, 214, 204).

Въ перечнѣ отдѣльныхъ словъ Златоуста есть, конечно, неизбѣжные пропуски. Укажу напр. на Похвальное слово ап. Петру и Павлу («Небесе и земля реть виждоу»...). Слово это, извѣстное и въ греческомъ подлинникѣ (Οὐρανοῦ καὶ γῆς ἄμιλλαν), помѣщалось въ Прологѣ подъ 29 іюня (Бычковъ, Опис. рукоп. сборн. публ. библ., стр. 442; Ундольскій, Библіогр. разысканія, стр. 174).

Данныя, собранныя г. Архангельскимъ въ книгѣ: «Къ изученію древне-русской литературы», расположены по смѣшанному плану. Всѣ писатели, о которыхъ говоритъ г. Архангельскій, распредѣлены имъ на три группы. Къ первой группѣ отнесены церковные учители, нѣкоторыя произведенія которыхъ извѣстны по древне-славянскимъ переводамъ. «Главнымъ источникомъ переводовъ твореній отцовъ церкви и вообще древнихъ церковныхъ писателей для нашей письменности служила Болгарія. Девятый и десятый вѣка были цвѣтущими вѣками болгарской литературы, а равно временемъ «расцвѣта» и всей вообще древнѣйшей славянской письменности. Въ сравнительно непродолжительный періодъ времени болгарская письменность обогатилась массой самыхъ разнообразныхъ переводовъ съ греческаго—церковнаго, богословскаго и риторическаго содержанія. . . Переводы твореній отцовъ церкви въ этой древнѣйшей славянской письменности занимали господствующее мѣсто. Еще къ періоду этого «расцвѣта» должны быть отнесены переводы на славянскій языкъ многихъ изъ твореній Аѳанасія Александрійскаго, Кирилла Іерусалимскаго, Василія Великаго, Григорія Назіанзина или Богослова, Ефрема Сирина, Іоанна Златоустаго, Ѳеодорита Кирскаго, Іоанна Лѣствичника, Антіоха Черногорца, Анастасія Синаита, Іоанна Дамаскина» (стр. 6—7). Говоря затѣмъ о сочиненіяхъ этихъ церковныхъ писателей, г. Архангельскій не останавливается однако лишь на древнѣйшихъ переводахъ, а разсматриваетъ всѣ переводы сочиненій того или другого писателя, и древніе, и болѣе поздніе, и болгарскіе, и не болгарскіе. Вторую группу составляютъ (вѣрнѣе

должны бы составлять) писатели, переводы которыхъ явились на Руси. Изъ такихъ русскихъ переводовъ г. Архангельскій указываетъ только Епистолію блаженнаго папы Леонта, переведенную по желанію князя Святослава—Панкратія Давидовича (XII в.). О другихъ переводахъ этого отдѣла г. Архангельскій говоритъ лишь гадательно. «Едва ли не были переведены первоначально въ Россіи же и нѣкоторыя изъ твореній пр. Нила Синайскаго († 450), Геннадія, патріарха Константинопольскаго († 471), Андрея Кесарійскаго († 565), Андрея Критскаго († 712). Многія изъ твореній этихъ отцовъ церкви становятся извѣстными очень рано, и въ чисто русскихъ редакціяхъ; впрочемъ, нельзя не замѣтить, что нѣкоторыя данныя указываютъ и на прежній, первоначальный источникъ славянскихъ переводовъ — древнѣйшую Болгарію» (стр. 126). Въ этомъ же «русскомъ» отдѣлѣ помѣщена почему-то и замѣтка о сочиненіяхъ Ипполита, еп. Римскаго. Къ третьей группѣ относятся переводы сербско-аѳонскіе. «Въ XIII, XIV и отчасти XV вв. источникомъ переводовъ твореній отцовъ церкви была для древней Руси Сербія, или точнѣе,—гора Аѳонъ, съ XII вѣка находившаяся въ особыхъ тѣсныхъ сношеніяхъ съ Сербіей, и гдѣ преимущественно жили сербскіе иноки» (стр. 136). Разсматриваются въ этомъ отдѣлѣ сочиненія Исаака Сирина, Симеона Новаго Богослова, Григорія Синаита и Никона Черногорца.

Такой смѣшанный планъ—распредѣленіе переводныхъ сочиненій частію по авторамъ, частію по мѣсту и времени перевода—представляетъ, быть можетъ, свое удобство, но есть въ этой двойственной группировкѣ переводовъ и важный недостатокъ, невыгодно отразившійся на нѣкоторыхъ страницахъ сочиненія г. Архангельскаго. Остановимся на русскихъ переводахъ. Вотъ какую замѣтку предпосылаетъ г. Архангельскій тому отдѣлу своего труда, гдѣ рѣчь идетъ объ этихъ переводахъ: «Помимо древней Болгаріи, переводы твореній отцовъ церкви уже съ древнѣйшихъ временъ дѣлались иногда и въ Россіи. Прямыхъ, положительныхъ извѣстій объ этомъ до насъ сохранилось, правда, крайне мало, и въ этомъ случаѣ большею частью приходится говорить предполо-

жительно; но все же, судя по лѣтописнымъ извѣстіямъ, у насъ были, повидимому, попытки и самостоятельныхъ переводовъ. Извѣстны, напримѣръ, слова лѣтописей о заботахъ въ этомъ отношеніи великаго князя Ярослава († 1054)». Приводится затѣмъ извѣстное мѣсто лѣтописи о «писцахъ» Ярослава («прекладаша отъ грькъ на словеньское письмо»). «Татищевъ, продолжаетъ г. Архангельскій, сообщаетъ извѣстіе о князѣ Смоленскомъ Романѣ Ростиславичѣ († 1180), что онъ былъ «вельми ученъ всякихъ наукъ» и что «къ ученію многихъ людей понуждалъ, устроя на то училища, и учителей, грековъ и латинистовъ, своею казною содержалъ»; также о князѣ волынскомъ (?!) Константинѣ Всеволодовичѣ († 1218 г.), что князь этотъ «великій былъ охотникъ къ читанію книгъ и наученъ былъ многимъ наукамъ; того ради имѣлъ при себѣ и людей ученыхъ, многія древнія книги греческія цѣною высокою купилъ и *велѣлъ переводить* на русскій языкъ. . . . . онъ имѣлъ однихъ греческихъ книгъ болѣе 1000, которыя частію покупалъ, частію патріархи, вѣдая его любомудріе, въ даръ присылали». Извѣстно также, что знаніе иностранныхъ языковъ на первыхъ порахъ у насъ было довольно распространенно; князь Всеволодъ Ярославичъ (1078—1093) «зналъ пять языковъ», а внукъ Владиміра Мономаха, князь Михаилъ Юрьевичъ, «съ греки и латины говорилъ ихъ языкомъ» (стр. 124—125). Эта замѣтка оставляетъ насъ въ нѣкоторомъ недоумѣніи. Кромѣ лѣтописнаго извѣстія о писцахъ Ярослава, г. Архангельскій нашелъ одно только указаніе на русскіе переводы греческихъ книгъ,— замѣтку татищевскаго свода о Константинѣ Всеволодовичѣ! (Извѣстія о Романѣ Ростиславичѣ, содержавшемъ учителей грековъ и латинистовъ, о Всеволодѣ Ярославичѣ, знавшемъ пять языковъ, о Михаилѣ Юрьевичѣ, разговаривавшемъ съ греки и латины, не имѣютъ прямого отношенія къ вопросу о переводахъ). Считаю умѣстнымъ припомнить здѣсь нѣсколько наблюденій и замѣчаній, которыя имѣютъ, конечно, не одинаковую цѣнность и значеніе, но которыхъ нельзя миновать, когда заходитъ рѣчь о старо-русскихъ переводахъ съ языка греческаго.

Вмѣстѣ съ утвержденіемъ христіанства распространяются у насъ книги св. Писанія въ славянскомъ переводѣ. Но этотъ славянскій переводъ не оставался неизмѣннымъ. Онъ съ древнѣйшаго времени подвергался пересмотру и исправленію, основанному на сличеніи съ греческимъ текстомъ. Особенно любопытна въ этомъ отношеніи судьба «Апостола», раскрытая г. Воскресенскимъ. Древне-славянскій переводъ Апостола очень рано (съ XIII в., а по нѣкоторымъ указаніямъ даже ранѣе) дѣлается у насъ извѣстнымъ въ особой, исправленной редакціи. Вотъ, что сообщаетъ объ этой редакціи изслѣдователь славянскаго перевода Апостола: «Кто былъ виновникомъ этого новаго перевода или новой редакціи Апостола, не знаемъ. Во всякомъ случаѣ, это—вполнѣ *русская* редакція Апостола, при образованіи которой имѣлись въ виду двѣ главныя цѣли; вопервыхъ, сдѣлать славянскій переводъ Апостола сколь возможно вразумительнымъ и понятнымъ для русскаго читателя и, вовторыхъ, привести славянскій переводъ Апостола въ возможно большее согласіе съ греческими списками, бывшими въ то время въ употребленіи въ церкви Константинопольской. Для достиженія первой цѣли, болгарскія или вообще южно-славянскія слова, ставшія непонятными для русскихъ, замѣняются въ самыхъ широкихъ размѣрахъ другими, русскими словами или же образуются на русскій ладъ; *греческія и вообще чужія слова*, оставленныя въ южно-славянскихъ спискахъ Апостола безъ перевода, *здѣсь передаются соотвѣтствующими славянскими*. Для достиженія второй цѣли, *переводчикомъ принимаются въ соображеніе греческіе списки* такъ называемой Константинопольской рецензіи, имѣющіеся отъ IX и слѣдующихъ вѣковъ, нерѣдко также греческія чтенія, встрѣчающіяся у Экуменія (X в.) и Ѳеофилакта Болгарскаго» (XI в.). Нѣсколько позже сдѣлано было у насъ новое исправленіе Апостола. Преданіе приписываетъ это исправленіе св. митрополиту Алексѣю. «Отличительною чертою сего перевода должна быть названа его *дословная вѣрность и близость греческому тексту*. Переводчикъ, видимо, стоялъ подъ сильнымъ вліяніемъ текста греческаго. Такъ именно мы объяс-

няемъ себѣ и то обстоятельство, что въ разсматриваемомъ спискѣ оставлены безъ перевода такія греческія слова, которыя давнымъ давно были уже переведены въ славянскихъ спискахъ Апостола. Иногда непереведенныя греческія слова удерживаютъ и греческія окончанія, напр.... лукіос, тертіос, гаіос» и т. д. (Воскресенскій, Др. славянскій переводъ Апостола, стр. 33, 35—36).

По описанію рукописей Румянцевскаго музея давно извѣстенъ любопытный списокъ Пролога (№ CCCXIX), принадлежащій XIII в. Прологъ этотъ, какъ показалъ Востоковъ, представляетъ сербскую копію болгарской рукописи; болгарская же рукопись списана была съ русской. Присутствіе русскаго труда въ составѣ означеннаго Пролога доказывается не столько житіями русскихъ святыхъ (такія житія могли быть внесены въ Прологъ и въ Болгарію), сколько слѣдами русской рѣчи въ переводныхъ статьяхъ. Подъ 14 января въ Прологѣ помѣщена «Память св. отець нашихъ избиѥнныхъ отъ *глазатыхъ* при Диоклитианѣ царѣ». «Извѣстно, говоритъ Востоковъ, что здѣсь рѣчь идетъ о *Блемміяхъ*, Аравійскомъ народѣ (см. Acta sanct. Bolland). Переводчикъ, производя сіе названіе отъ βλέμμα взоръ, взглядъ, выразилъ оное на своемъ языкѣ Глазатые, отъ глазъ, но сего слова нѣтъ ни въ какомъ другомъ Словенскомъ діалектѣ, кромѣ Русскаго» (стр. 454). Позже стали извѣстны еще два списка этого Пролога: одинъ въ собраніи Норова, другой—въ библіотекѣ Бѣлградскаго общества сербской словесности. Послѣдній списокъ былъ подробно обслѣдованъ Срезневскимъ, который на основаніи приписи, находящейся въ бѣлградской рукописи, далъ означенному Прологу болѣе опредѣленное заглавіе: «Минологій Константина, митрополита Мокійскаго». Соображеніе Востокова о слѣдахъ русской рѣчи повторено и Срезневскимъ. «Только русскій и могъ замѣнить имя Блемміевъ именемъ Глазатыхъ (слово это употреблено въ такомъ же значеніи и въ другомъ памятникѣ того же рода). *Употребленіе такихъ русскихъ словъ въ статьяхъ переведенныхъ изобличаетъ участіе русское въ самомъ переводѣ*, не только въ Русскихъ сказаніяхъ» (Свѣд. и зам. о малоизв. и неизв. памятн., гл. III). Не

одна, конечно, глава Минологія Константина переведена была русскимъ. Мы въ правѣ, поэтому, причислить переводъ этого минологія къ памятникамъ русской письменности. Древность перевода доказывается спискомъ XIII вѣка, представляющимъ вторичную копію.

Къ XII—XIII вв. относятся древнѣйшіе списки перевода Пандектовъ Никона Черногорца. Разсмотрѣніе языка этихъ древнѣйшихъ списковъ привело Изм. Ив. Срезневскаго къ предположенію объ участіи русскаго человѣка въ переводѣ Пандектовъ. Въ книгѣ находимъ слова «такія, какихъ напрасно было бы искать въ не-русскомъ обликѣ или по крайней мѣрѣ въ не-русскомъ смыслѣ (хорошь, хорошавъ, хорошаниѥ); находимъ вмѣстѣ съ тѣмъ слова, обозначающія особенности Русскаго быта» (опредѣленіе цѣнностей гривнами, рѣзанами, вѣкшами, веверицами; сопоставленіе словъ посадьникъ и судья). «Примѣровъ этихъ достаточно, чтобы позволить себѣ догадку, что *древній переводъ Пандектовъ Никона Черногорца, какъ и переводъ хроники Георгія Амартола, Космографіи Космы Индикоплова и пр., сдѣланъ при участіи русскаго человѣка*» (Свѣд. и зам. о малоизв. и неизв. памятн., гл. LV, стр. 291—293). О переводѣ хроники Амартола тотъ же ученый замѣчаетъ: «Нѣкоторые рѣшались называть этотъ переводъ болгарскимъ; но это дѣлалось только для отличія отъ другой, болѣе поздней передѣлки перевода, сербской, на основаніи простодушнаго предположенія, что всѣ древнія произведенія славянской письменности суть произведенія Болгарскія». Особенности языка привели покойнаго академика къ убѣжденію, «что разсматриваемая редакція древняго перевода хроники Георгія Амартола есть созданіе русское». «Не заключаю еще, говоритъ осторожный ученый, что и первоначальный переводъ хроники былъ сдѣланъ Русскимъ; но считаю не позволеннымъ и заключать, что онъ непремѣнно сдѣланъ въ Болгаріи. . . ни для того, ни для другого вывода нѣтъ еще достаточныхъ доказательствъ». (Op. cit., гл. IV, стр. 20—21, 25—26). Что касается книги Козмы Индикоплова, то отрывки славянскаго перевода этого со-

чиненія отысканы въ рукописи XIV вѣка; полные списки относятся къ болѣе поздней порѣ (Op. cit., гл. XI).

Въ 1839 году появилось изданіе Копытаря, драгоцѣнное для исторіи русской образованности: Hesychii Glossographi discipulus et Ἐπιγλωσσιστὴς Russus in ipsa Constantinopoli sec. XII—XIII. Изъ предисловія къ изданію узнаемъ, что въ 1554—1562 Augerius de Busbecke пріобрѣлъ въ Константинополѣ нѣсколько греческихъ рукописей, которыя поступили потомъ въ Вѣнскую Императорскую библіотеку. Къ числу этихъ рукописей принадлежитъ и та, часть которой издана Копытаремъ. Рукопись содержитъ толковый словарь греческаго языка съ русскими глоссами на нѣкоторыхъ листахъ. Приведу нѣсколько примѣровъ, не оставляющихъ никакого сомнѣнія, что глоссы писаны дѣйствительно русскимъ: волотъ (γιγαντιαῖος), первороженое (πρωτότοκον), несторожливо (ἀπαρατηρήτως), солови(й) (ἀηδῶν), невѣжа (ἄγριος), городъ (πόλις), молоди (νεανίσκοι) морская ворона (ἐναλία κορώνη) Копытарь относилъ эти глоссы къ XII—XIII в., основываясь на начертаніи буквы ъı (а не ы). Извѣстно однако, что начертаніе ъı употреблялось въ нашихъ рукописяхъ и позже, въ XIV вѣкѣ [1]), почему и появленіе вѣнскихъ глоссъ можетъ быть отодвинуто къ этому времени. Ponamus, говоритъ Копытарь, Russica scripsisse sive monachum Russum petentem Terram sanctam, sive graeci cujusdam metropolitae in Russiam destinati psotosyncellum russum, sive Russiae denique Ducem aliquem Constantinopoli exulantem (p. XXIV). Въ дополненіи: Quid si ἐπιγλοσσιστὴς noster fuerit e. g. aliquis Ducum Polotensium, quorum quinque cum familiis A. 1128 leviro suo Constantinopolin custodiendos misit Monomachi filius? (p. 72). Не имѣя надобности останавливаться лишь на XII или XIII столѣтіи, можемъ припомнить из-

1) См. Ученыя записки 2 отд. Академіи Наукъ, кн. II, вып. 2, стр. 9—10 (Пыпинъ: Матеріалы для славянской палеографіи изъ «Описанія Румянцевскаго музея»). Къ изданію Копытаря приложенъ и снимокъ, но на этотъ снимокъ положиться трудно. Желательно новое, фототипное изданіе Вѣнскихъ глоссъ.

вѣстія о русскихъ людяхъ, живших въ Цареградѣ въ XIV вѣкѣ. Такія извѣстія находимъ у дьякона Игнатія и у Стефана Новгородца [1]).

Съ XIV вѣка извѣстны списки славянскаго перевода Діоптры Филиппа пустынника. «Переводъ книги на славянскій языкъ, по нѣкоторымъ показаніямъ, принадлежитъ русскому иноку». Въ послѣсловіи переводчикъ говоритъ, что онъ предлагаетъ своимъ читателямъ «книгу, глаголемую еллиньскою рѣчью Диоптру, нашею же *русскою рѣчію* зерцало»(Опис. синод. рукоп. II, 2, стр. 456).

Въ томъ же XIV вѣкѣ или въ самомъ началѣ XV «преложена отъ греческаго языка на русскыя книгы» Поученія на воскресные дни и другіе праздники, выбранныя изъ сочиненій разныхъ отцовъ, трудъ Константинопольскаго патріарха Филоѳея (Опис. синод. рук. II, 2. стр. 658, 667).

Не упоминаю о переводѣ поэмы Георгія Писидійскаго и постническаго слова св. Максима, такъ какъ принадлежность этихъ переводовъ къ кругу собственно русской письменности вызываетъ сомнѣнія [2]).

Возвращаюсь къ замѣткѣ г. Архангельскаго о русскихъ переводахъ патристическихъ произведеній: «Едва ли не были переведены первоначально въ Россіи же нѣкоторыя изъ твореній преп.

---

1) Сводъ извѣстій о русскихъ людяхъ, бывавшихъ въ Цареградѣ, см. въ соч. Терновскаго, Изученіе византійской исторіи, вып. II, стр. 1—28. См. также статью акад. Сухомлинова: О языкознаніи въ древней Руси (Уч. зап. 2 отд. Ак. Н., кн. 1). Позже появленія труда г. Архангельскаго издано Ив. В. Помяловскимъ «Житіе св. Савы освященнаго, составленное св. Кирилломъ Скиѳопольскомъ, *въ древне-русскомъ переводѣ*» (СПБ. 1890 г.). Старѣйшая рукопись переводнаго житія принадлежитъ XIII вѣку, но сличеніе текста этой рукописи съ другими списками того же перевода привело ученаго издателя къ предположенію болѣе древняго архетипа, не одинаково измѣнявшагося въ позднѣйшихъ спискахъ.

2) См. ст. И. А. Шляпкина: Георгій Писидійскій и его поэма о міротвореніи въ славяно-русскомъ переводѣ 1385 года. (Журн. Министерства Народ. Просв. 1890, іюнь). Г. Шляпкинъ склоненъ, повидимому, вычеркнуть изъ списка русскихъ переводовъ и Діоптру и Поученія на воскресные и праздничные дни (Учительное Евангеліе), но достаточныхъ основаній для такого вычеркиванія пока не представляется. Впрочемъ, и вопросъ о Писидѣ нельзя еще считать окончательно рѣшеннымъ.

Нила Синайскаго, Геннадія, патріарха Константинопольскаго, Андрея Кесарійскаго, Андрея Критскаго... [1]). Впрочемъ, нельзя не замѣтить, нѣкоторыя данныя указываютъ и на прежній, первоначальный источникъ славянскихъ переводовъ—древнѣйшую Болгарію» (стр. 126). Эту противорѣчивую замѣтку слѣдовало бы совсѣмъ выбросить. Какое, въ самомъ дѣлѣ, значеніе можетъ имѣть догадка, что то или другое произведеніе переведено едва-ли не въ Россіи или едва-ли не въ Болгаріи? Вмѣсто этой незначительной замѣтки мы желали бы найти хотя бы самый краткій перечень дѣйствительно русскихъ переводовъ —тѣхъ переводовъ, свѣдѣнія о которыхъ разбросаны г. Архангельскимъ на разныхъ страницахъ его труда и которымъ удѣлено иногда слишкомъ мало вниманія. Вотъ примѣръ. На стр. 80—81 г. Архангельскій говоритъ о переводѣ бесѣдъ Іоанна Златоуста на Ев. Матѳея и Іоанна, на Дѣянія и Посланія апостольскія. О послѣднихъ замѣчено: «Новыя извлеченія изъ толкованій Іоанна Златоуста на Дѣянія и Посланія апостольскія сдѣланы были Максимомъ Грекомъ. Нужно замѣтить, во всѣхъ рукописяхъ, древнѣе XVI вѣка, въ славянскомъ текстѣ названныхъ древнихъ толкованій находятся пропуски въ однихъ и тѣхъ же мѣстахъ, именно начиная съ 13 главы: пропуски эти и были восполнены трудами Максима Грека, который, вмѣстѣ съ толмачемъ Власіемъ, перевелъ всѣ недостававшія мѣста». Если г. Архангельскій нашелъ нужнымъ упомянуть о трудахъ Максима и Власія, переводившихъ толкованіе Дѣяній и Посланій апостольскихъ, то отчего же не напомнилъ онъ читателю, что и бесѣды на Ев. Матѳея и Іоанна переведены также однимъ изъ сотрудниковъ Максима? Переводчикъ этихъ бесѣдъ, монахъ Сильванъ, писалъ: «молим вы и насъ не забывайте, пишущихъ сія, и его же трудомъ и потомъ сія преведеся, многогрѣшнаго инока Селивана» (Опис. синод. рукоп. II, 1, стр. 118—124). Нужно было вспомнить Селивана [2]). Но г. Архангельскій,

1) Сочиненія Андрея Критскаго не разсматриваются г. Архангельскимъ.

2) О толкованіи Іоанна Златоуста на Ев. Матѳея, переведенномъ Сильваномъ, есть замѣтка Гильфердинга въ Извѣстіяхъ 2-го отдѣл. Академіи Наукъ (т. VIII).

говоря о толкованіяхъ Златоуста, не упоминаетъ даже о писателѣ, на которомъ охотно останавливается въ другихъ случаяхъ — о кн. Курбскомъ (ср. Опис. рук. Рум. муз. стр. 251).

Требуетъ поясненія и замѣтка о сербскихъ переводахъ. «Въ XIII, XIV и отчасти XV вв., говоритъ г. Архангельскій, источникомъ переводовъ твореній отцовъ церкви была для древней Россіи Сербія». Въ этой замѣткѣ цифра XIII появилась едва ли не по ошибкѣ. Трудно, въ самомъ дѣлѣ, указать какіе либо сербскіе переводы, переходившіе въ XIII вѣкѣ въ русскую письменность. Дѣятельность сербскихъ книжниковъ XIV—XV вв. слѣдовало бы поставить въ связь съ болѣе раннимъ болгарскимъ литературнымъ движеніемъ (Діонисій, Евѳимій Терновскій и др.).

Въ заключеніе остается еще коснуться вопроса о вліяніи на нашу словесность той патристической литературы, знакомство съ которой распространялось путемъ переводовъ.

Разсмотрѣніе этого вопроса не входило, конечно, въ предѣлы той задачи, которую поставилъ себѣ г. Архангельскій, но иногда онъ отмѣчаетъ однако вліяніе того или другого церковнаго писателя на нашу литературу. Говоря о Житіи Антонія Великаго, г. Архангельскій замѣчаетъ; «Въ нашей литературѣ Житіе Антонія Великаго, повидимому, имѣло особенное вліяніе въ отдѣлѣ житій святыхъ. По крайней мѣрѣ, нельзя не видѣть этого вліянія на (Несторовомъ) житіи Ѳеодосія» (стр. 13). Сообщая свѣдѣнія о сочиненіяхъ Златоуста, г. Архангельскій говоритъ: «Сочиненія Кирилла Туровскаго, а отчасти и другого, болѣе ранняго нашего писателя, Ѳеодосія Печерскаго, самымъ краснорѣчивымъ образомъ свидѣтельствуютъ о той силѣ вліянія, которое производили творенія Златоуста на нашу юную, только что возникавшую литературу» (стр. 57). Разсмотрѣніе Слова на Преображеніе Господне Анастасія Синаита даетъ поводъ припомнить, что «слово это служило главнымъ ис-

точникомъ для Григорія Цамблака, въ его «Словѣ на Божественное Преображеніе», — источникомъ, которымъ русскій (?) писатель въ иныхъ мѣстахъ пользуется буквально» (стр. 95). Посланіе Нила Синайскаго къ пр. Хариклію имѣло у насъ, по словамъ г. Архангельскаго, особенное значеніе во время извѣстныхъ споровъ Іосифа Волоколамскаго съ новгородскими еретиками, а также ученикомъ Нила Сорскаго — Вассіаномъ Патрикѣевымъ. Послѣдній ссылался между прочимъ на это посланіе въ своемъ «собраніи» на Іосифа Волоцкаго, и идеи, въ немъ выраженныя, принадлежали всему литературному движенію во главѣ котораго стоялъ Нилъ Сорскій» (стр. 131). Подобное же вліяніе имѣли Пандекты Никона Черногорца (стр. 146). При разборѣ поученій, вошедшихъ въ Измарагдъ, г. Архангельскій припоминаетъ нѣкоторые памятники нашей письменности: моленіе Даніила Заточника [1]) (Извлеченія. . . IV, стр. 191), поученіе Луки Жидяты (207), посланіе Ѳеодосія Печерскаго (214); вопросы Бесѣды трехъ святителей нашъ ученый сближаетъ съ народными загадками (Извлеченія, I—II, стр. 102—110).

По поводу этихъ сближеній и припоминаній можно высказать лишь сожалѣніе, что ихъ слишкомъ мало. Г. Архангельскій старается, повидимому, воздерживаться отъ накопленія литературныхъ сопоставленій; поэтому онъ не указываетъ на сходство изслѣдуемыхъ имъ памятниковъ съ произведеніями русской письменности даже въ такихъ случаяхъ, гдѣ это сходство невольно бросается въ глаза.

Остановимся для примѣра на поученіяхъ Измарагда, обширныя извлеченія изъ котораго занимаютъ не мало страницъ въ трудѣ казанскаго ученаго. Такая книга, какъ Измарагдъ, — сборникъ общедоступныхъ наставленій религіозно-нравственнаго содержанія, книга, назначенная для чтенія мірскихъ людей, не могла не оставить слѣда въ русской литературѣ. Давно указана близость нѣкоторыхъ главъ Домостроя съ поученіями Измараг-

1) Даніила Заточника можно бы припомнить также на стр. 27 и 210.

да [1]). Списки Измарагда восходятъ къ XIV вѣку; предполагаютъ, что и составленіе сборника должно быть отнесено къ этому столѣтію. Но самыя поученія, вошедшія въ составъ Измарагда, извѣстны были значительно ранѣе XIV вѣка. Нельзя не обратить вниманія на замѣчательное сходство нѣкоторыхъ изъ этихъ поученій съ русскимъ Домостроемъ XI—XII в., — съ Поученіемъ Владиміра Мономаха.

Въ поученіи Мономаха читаемъ: «Паче всего гордости не имѣйте в сердци и въ умѣ, но рцѣмъ: смертни есмы, днесь живи, а заутра в гробѣ; се все, что ны еси вдалъ, не наше, но твое, *поручилъ ны еси на мало дний*; *и в земли не хороните*, то ны есть великъ грѣхъ (Лѣтоп. по Лавр. сп., стр. 237).

Въ Измарагдѣ: «*Имѣния не скрывай*, еже ти далъ Вышній; а не родилося с тобою, но Богомъ *поручено ти есть на мала дни*, то яко ключарь порученое тебѣ раздавай, аможе поручивый ти велить».

Въ сходномъ поученіи, помѣщенномъ въ Изборникѣ 1076 г.: «Не рьци имѣнію своємоу моє єсть, нъ ръци: пороучено ми єсть на мало днии» и пр. Въ Златоструѣ: «Не с тобою ся родило имѣніе, *почто земли предаеши съкровище?*» (Извлеченія... IV, стр. 207, 209.

У Мономаха: «Не грѣшите ни одіну же ночь, аще можете, поклонитися до земли; а ли вы ся начнеть не мочи, а трижды; а того не забывайте, не лѣнитеся, тѣмь бо ночнымъ поклономъ и пѣньемъ человѣкъ побѣжаеть дьявола, и что въ день согрѣшить а тѣмъ человѣкъ избываеть» (стр. 236).

Въ Измарагдѣ находимъ особое «Слово Іоанна Златоустаго, како подобаеть в нощь вставати и молитися». Въ словѣ изображается благочестивый домохозяинъ, совершающій ночную молитву вмѣстѣ съ своими дѣтьми: «Аще ли и дѣти у тебе суть, то възбуди я и въстави и да будуть присно храмъ вашъ, акы церкви в нощь; аще ли зѣло млади суть и не могуть стерпѣти сна, то

1) Ив. Некрасовъ, Опытъ изслѣдованія о происхожденіи Домостроя, стр. 107—114.

поне до единоя молитвы или до двою, то таче покой я, но точью встави я и научи я тако творити». «Источникомъ слова, говоритъ г. Архангельскій, какъ было уже указано [1]), служило 41-е слово Златоструя» (Извлеченія. . . IV, 136—142).

У Мономаха: «Всего же паче убогыхъ не забывайте, но елико могуще по силѣ кормите, и придавайте сиротѣ, и вдовицю оправдите сами, а не вдавайте сильнымъ погубити человѣкы» (стр. 236).

Въ Измарагдѣ есть особое «слово... еже не обидити вдовъ и сиротъ»,—слово, обращенное къ властодержцамъ (Извлеченія.., IV, 40).

Замѣчу кстати, что при ближайшемъ изслѣдованіи Мономахова поученія въ немъ откроется, безъ сомнѣнія, гораздо больше литературныхъ реминисценцій, чѣмъ сколько удалось подмѣтить до сихъ поръ. Припомнимъ размышленіе Мономаха о разнообразіи человѣческихъ лицъ: «И сему чюду дивуемъся, како отъ персти создавъ человѣка, како образи разноличнии въ человѣчьскыхъ лицѣхъ, аще и весь миръ совокупить, не вси въ одинъ образъ, но кыйже своимъ лица образомъ, по Божии мудрости» (стр. 235—236). R. Köhler въ особой замѣткѣ (*Germania*, VIII, 3, 304) указалъ цѣлый рядъ примѣровъ, доказывающихъ, какъ распространена была въ средневѣковой литературѣ запада тема мономахова размышленія: разнообразіе человѣческихъ лицъ — выраженіе мудрости Творца. Нѣтъ сомнѣнія, что подобные же примѣры могутъ быть отысканы и въ старо-славянской письменности.

Изученіе такихъ литературныхъ реминисценцій важно не только для сужденія о начитанности нашихъ древнихъ писателей, но и для опредѣленія состава тѣхъ религіозныхъ и нравственныхъ возрѣній, которыя раскрываются въ такихъ важныхъ и замѣчательныхъ памятникахъ нашей письменности, какъ поученіе Владиміра Мономаха.

Объ Ефремѣ Сиринѣ г. Архангельскій говоритъ: «У древне-

---

1) Авторъ цитуетъ при этомъ Прав. Соб. 1858, II, стр. 605—607. Ср. Буславъ, Очерки нар. слов. и искусства, т. II, стр. 127—129.

русскихъ читателей творенія Ефрема Сирина очень рано стали пользоваться особенною любовью. Въ житіи Авраамія Смоленскаго сообщается, что онъ «изо всѣхъ любя часто почитати ученія преподобнаго Ефрема и великаго вселенскаго учителя Іоанна Златоустаго...». На сочиненія Ефрема Сирина есть ссылка и въ посланіи Симона къ Поликарпу. Списки его поученій уже отъ XIII—XIV вв. довольно многочисленны, что также не можетъ не указывать на ихъ распространенность» (стр. 47). Самымъ яркимъ и самымъ важнымъ свидѣтельствомъ о распространенности Ефремовыхъ сочиненій служатъ нѣкоторые памятники народной словесности: Стихи объ Іосифѣ прекрасномъ, объ исходѣ души, о концѣ міра [1]). Вліяніе сочиненій Ефрема распространялось также на область притчъ, поучительныхъ изреченій [2]). Въ нашихъ рукописяхъ встрѣчается, напримѣръ, такой рядъ изреченій; «Блаженъ бо есть тои градъ, иже отъ древнихъ и благочестивыхъ царей царьствуемъ, и корабль отъ искусныхъ кормникъ окормляемъ, и монастырь отъ воздержанныхъ инокъ строимъ» и т. д. (Пыпинъ, Очеркъ лит. ист. пов. и сказокъ, стр. 168). Изреченія эти взяты у Ефрема; Μακάρια πόλις ὑπὸ εὐσεβῶν βασιλευομένη и т. д. (Ephr. Opp. I, 217). Но говоря о судьбѣ сочиненій Ефрема, объ ихъ распространенности, не должно оставлять безъ вниманія и свидѣтельствъ отрицательнаго характера. Такъ называемые жидовствующіе отвергали сочиненія Ефрема. Въ Просвѣтителѣ Іосифа Волоцкаго есть особая глава (10-я); «На ересь новоградскихъ еретиковъ, хулящихъ писанія святаго Ефрема и глаголющихъ, яко ложна суть писанія его». Да и не одни жидовствующіе чуждались Ефрема. Курбскій жаловался на читателей своего времени: «Аще и лучится отъ... священныхъ словесъ прочитаемымъ коимъ

1) См. Порфирьевъ, Апокр. сказанія о ветхо-зав. лицахъ и событіяхъ стр. 108; Батюшковъ, Споръ души съ тѣломъ въ памятн. средневн. литературы, стр. 20—21, 131—132, 138—145.

2) Любопытно, что въ Wander's Deutsches Sprichwörter-Lexicon сочиненія Ефрема Сирина внесены въ перечень источниковъ (Quellenverzeichniss).

быти, и мы смѣющеся межю собою, а не глаголю ругающеся, глаголемъ: Ефремовы, рече, словеса подобны горестію хрѣну обрѣтаются. И противу иныхъ божественныхъ книгъ извѣты иныя лукавыя умышляемъ». Видимъ такимъ образомъ, что произведенія великаго Сирійца не только были извѣстны въ нашей древней письменности, но и продолжали жить на русской почвѣ, вызывая съ одной стороны увлеченіе и подражаніе, съ другой— рѣзкую критику и «лукавые извѣты».

Разставаясь съ сочиненіемъ г. Архангельскаго, я не имѣю надобности заявлять, что не «умышлялъ извѣтовъ» противъ почтеннаго труда. Прочитавшій мои замѣтки легко убѣдится, что онѣ могли явиться только какъ плодъ живого интереса, вызваннаго знакомствомъ съ обширными и полезными разысканіями казанскаго ученаго. Въ первомъ отдѣлѣ своего труда г. Архангельскій даетъ сводъ извѣстій о славянскихъ переводахъ сочиненій двадцати церковныхъ писателей. Во второмъ отдѣлѣ находимъ «Извлеченія изъ рукописей и опыты историко-литературныхъ изученій». Извлеченія даютъ обильный матеріалъ для знакомства съ нѣкоторыми памятниками переводной письменности. Опыты историко-литературныхъ изученій представляютъ рядъ цѣнныхъ наблюденій и указаній, помогающихъ разобраться въ такомъ обширномъ и сложномъ литературномъ матеріалѣ, какъ разнообразные Вопросы и Отвѣты или Поученія, надписываемыя именемъ Іоанна Златоуста.

Нахожу возможнымъ предполагать, что Академія Наукъ не откажетъ г. Архангельскому въ поощрительной преміи.

В. А. ЯКОВЛЕВЪ. УЧЕБНЫЙ КУРСЪ ТЕОРІИ СЛОВЕСНОСТИ. (Изданіе третье, исправленное и дополненное Спб. 1895).

П. СМИРНОВСКІЙ. ТЕОРІЯ СЛОВЕСНОСТИ ДЛЯ СРЕДНИХЪ УЧЕБНЫХЪ ЗАВЕДЕНІЙ. (Изданіе восьмое Спб. 1895).

(Отзывъ).

Въ ряду учебниковъ по теоріи словесности трудъ г. Яковлева занимаетъ безспорно почетное мѣсто. «Учебный курсъ теоріи словесности»—плодъ серьезной и вдумчивой работы, разнообразной и обширной начитанности. Для примѣра можно указать на статью о драмѣ, занимающую четверть книги г. Яковлева (стр. 141—194). Нашъ авторъ съ видимой любовью занялся вопросомъ о драмѣ. Для выясненія этого вопроса онъ изучалъ трагедію и комедію древнихъ, драмы Шекспира, Гете, Шиллера, Лессинга и др.; изъ русскихъ авторовъ онъ останавливается на Грибоѣдовѣ, Гоголѣ, Островскомъ, гр. Толстомъ; въ основу теоретическихъ разсужденій о драмѣ положена Поэтика Аристотеля, но положенія древняго мыслителя дополняются и провѣряются трудами теоретиковъ новаго времени, цитируются Лессингъ, Каррьеръ, Фрейтагъ и др. Конечно, трактатъ г. Яковлева о драмѣ не чуждъ пробѣловъ и недосмотровъ, но никто не откажетъ этому трактату въ серьезности замысла и изложенія.—Говоря о русскомъ народномъ эпосѣ, г. Яковлевъ выказываетъ желаніе познакомить своихъ юныхъ читателей съ результатами новѣйшихъ изслѣдованій. Онъ пользуется при этомъ трудами А. Н. Веселовскаго, А. И. Кир-

пичникова, В. Ѳ. Миллера. Не могу не привѣтствовать добраго почина, вспоминая ту рутину, которая до сихъ поръ удерживается въ нашихъ учебникахъ по словесности.

Но при всѣхъ своихъ важныхъ и крупныхъ достоинствахъ, трудъ г. Яковлева не лишенъ, къ сожалѣнію, и нѣкоторыхъ значительныхъ недостатковъ.

А) Г. Яковлевъ соединяетъ въ своемъ трудѣ изложеніе теоріи словесности съ краткимъ курсомъ логики, при чемъ страницы, посвященныя логическимъ опредѣленіямъ, чередуются съ страницами, занятыми изложеніемъ свѣдѣній по теоріи слога и литературнаго творчества. Такое соединеніе логики и теоріи словесности имѣетъ, быть можетъ, нѣкоторое основаніе, но съ точки зрѣнія дидактической оно едва ли можетъ быть одобрено. При такомъ соединеніи нарушается основное требованіе дидактики,—требованіе отъ перехода болѣе понятнаго и доступнаго къ болѣе трудному. По системѣ г. Яковлева, ознакомленіе со словесностью должно начаться съ выясненія такихъ нелегкихъ для учащихся вопросовъ, какъ образованіе понятій, различіе содержанія и объема понятій, процессъ отвлеченія. Слѣдующій далѣе стилистическій разборъ литературнаго матеріала представляется, конечно, болѣе доступнымъ для юнаго ума, чѣмъ опредѣленія формальной логики. При изложеніи свѣдѣній по какому либо отдѣлу знаній особенно важно достигнуть цѣльнаго и ясно опредѣленнаго представленія объ изучаемомъ предметѣ. Такое представленіе едва ли можетъ быть достигнуто при смѣшанномъ, чередующемся изложеніи свѣдѣній по логикѣ и теоріи словесности. При смѣшанномъ изложеніи неизбѣжны повторенія, натянутыя сближенія и тому подобные недостатки изложенія. Примѣры этого можно найти и въ книгѣ г. Яковлева. Такъ, о логическомъ опредѣленіи онъ говоритъ три раза: а) на стр. 7—8 (при объясненіи содержанія понятія), б) на стр. 72—73 (при изложеніи теоріи «разсужденія») и на стр. 212 (въ параграфѣ, озаглавленномъ: «Изложеніе познаній»). Такое отрывочное изложеніе едва ли дастъ въ результатѣ цѣльное и отчетливое пониманіе логическаго опредѣленія. Говоря

объ основныхъ формахъ словесныхъ произведеній, г. Яковлевъ пытается сблизить эти формы съ видами сужденія, при чемъ для полноты аналогіи ему приходится ввести такую словесную форму, которая, по его же словамъ, не существуетъ. «Всякое словесное произведеніе, замѣчаетъ г. Яковлевъ, есть не что иное, какъ сочетаніе сужденій; слѣдовательно, въ содержаніи самого сужденія и надо искать причины различія между основными видами произведеній слова. Сужденіемъ можетъ выражаться, во 1-хъ, сосуществованіе фактовъ, во 2-хъ, послѣдовательность, въ 3-хъ, причинная связь, въ 4-хъ, сходство или различіе... Итакъ, мы видимъ, что по отношенію къ содержанію *слѣдовало бы отличать четыре основныхъ категоріи* словесныхъ произведеній:

во 1-хъ) Описаніе (или выраженіе сосуществованій),

во 2-хъ) Повѣствованіе (или выраженіе послѣдовательностей),

въ 3-хъ) Разсужденіе (или выраженіе причинной связи),

въ 4-хъ) Сравненіе (или выраженіе сходства и различія).

Но такъ какъ сравненіе всегда соединяется съ описаніемъ, повѣствованіемъ или разсужденіемъ, то мы этими тремя категоріями и ограничимся» (стр. 64—65). Неудобство смѣшенія логики и теоріи словесности открывается здѣсь съ полной очевидностью.

Б) Изложеніе г. Яковлева страдаетъ мѣстами недостаточной ясностью и опредѣленностью. Причины этой неясности неодинаковы.

аа) Есть въ книгѣ г. Яковлева положенія недосказанныя, изложенныя слишкомъ отрывочно, безъ достаточной обстоятельности. Въ § 3 г. Яковлевъ говоритъ о связи между внѣшнею и внутреннею стороною слова. «Между сочетаніемъ звуковъ и понятіемъ (или представленіемъ), которое ими выражается, конечно, должна быть причинная связь,—замѣчаетъ нашъ авторъ.... До извѣстной степени эту связь можно выяснить путемъ сравнительнаго изученія родственныхъ языковъ. Возьмемъ, напримѣръ, слово «небо». По звуковому составу оно родственно греческому νέφος и латинскому nubes. И то и другое означаетъ облако, от-

сюда можно заключить, что и наше небо первоначально имѣло то же значеніе и только впослѣдствіи получило иной смыслъ» (стр. 9). Но, вѣдь, если неясно, почему небо называется этимъ именемъ, то такъ же неясно, почему облако называется νέφος или nubes. Вѣроятно, г. Яковлевъ хотѣлъ остановиться на вопросѣ о значеніи корней, но, къ сожалѣнію, вопросъ этотъ остался необъясненнымъ. Въ § 7 объясняется значеніе синонимовъ. «Въ видахъ точности рѣчи, замѣчаетъ г. Яковлевъ, необходимо обращать вниманіе на строгій выборъ среди подобозначащихъ реченій; напр., въ одномъ случаѣ умѣстнѣе употребить слово «тоска», въ другомъ «скука», въ третьемъ «унынiе» и т. п. (стр. 16). Какая же разница между этими синонимами? Г. Яковлевъ этого не объясняетъ. Въ § 13 перечисляются виды сложнаго періода: соединительный, противительный, раздѣлительный, сравнительный, винословный. За этимъ перечнемъ слѣдуетъ рядъ примѣровъ (стр. 23—25). Нѣтъ ни одного слова, объясняющаго разницу перечисленныхъ періодовъ и значеніе приведенныхъ примѣровъ. Въ § 27 рѣчь идетъ объ евфоническомъ благозвучіи. «Евфоническое благозвучіе, по словамъ г. Яковлева, прежде всего зависитъ отъ самой природы звуковъ: не всѣ они одинаково удобны для произношенія, слѣдовательно, и не всѣ одинаково благозвучны. Въ этомъ отношеніи на первомъ мѣстѣ стоятъ гласные, за ними согласные длительные и наконецъ согласные мгновенные (г, д, п, т, к), всего болѣе затруднительные для органовъ нашего голоса. И независимо отъ удобства произношенія гласные звуки должны быть *для слуха пріятнѣе* согласныхъ, какъ чистые музыкальные тоны, а *между согласными тѣ, которые всего болѣе приближаются къ гласнымъ, т.-е. звуки длительные*» (стр. 51). Зачѣмъ все это сказано? Ужели слова, въ которыхъ есть звуки г, д, п, т, к, менѣе благозвучны, чѣмъ слова, въ которыхъ этихъ звуковъ нѣтъ? Ужели изъ двухъ словъ: «погодите, не визжите» первое можно назвать неблагозвучнымъ, а второе — благозвучнымъ? — Въ § 57 объясняется «дѣленіе поэтическихъ произведеній.»—«Поэзію,—говоритъ нашъ авторъ —, какъ совокупность словесныхъ произведеній, можно

дѣлить: во 1-хъ) на основаніи *происхожденія*, во 2-хъ) на основаніи *содержанія*» (стр. 99). Основаніе дѣленія, однако, не выдерживается, ибо, говоря о содержаніи поэтическихъ произведеній, г. Яковлевъ останавливается именно на ихъ «происхожденіи», на ихъ генезисѣ: эпосъ, лирика, драма объясняются, какъ послѣдовательно возникающія литературныя явленія. Въ эпосѣ «главнымъ предметомъ изображенія служитъ *внѣшній* (по отношенію къ поэту или къ тому лицу, отъ имени котораго поэтъ говоритъ) *міръ*,—изображеніе предметовъ и явленій жизни въ томъ видѣ, какъ они представляются глазамъ спокойнаго наблюдателя». Позже «наступаетъ такой моментъ, когда выраженіе внутренняго міра, душевныхъ настроеній (чувствъ, мыслей и желаній) явно выступаетъ на первый планъ, заслоняя собою тѣ предметы и явленія внѣшняго міра, которые послужили причиною или поводомъ ихъ возбужденія. Съ этого момента начинается *лирика*. . . . Такимъ образомъ эпосъ постепенно переходитъ въ лирику; явленія внѣшняго міра претворяются въ явленія міра внутренняго» (стр. 101). Можно подумать, что въ періодѣ господства эпоса лирика и не существуетъ. Но, конечно, г. Яковлевъ этого не утверждаетъ. На слѣдующей страницѣ онъ говоритъ: «Поэтическое творчество народа начинается съ такихъ произведеній, въ которыхъ безразлично смѣшаны всѣ три способа представленія» (т.-е. эпическій, лирическій и драматическій)... «Нѣчто подобное представляютъ народныя обрядовыя пѣсни, остатки языческихъ молитвословій, въ которыхъ и до сихъ поръ сохраняется и эпическій разсказъ, и лирическое выраженіе чувства, и драматическое дѣйствіе» (стр. 102). Но если это такъ, то не могла ли лирика и драма выдѣлиться не изъ эпоса, какъ «изображенія внѣшняго міра», а изъ того народнаго творчества, въ которомъ «безразлично смѣшаны всѣ три способа представленія»? Такъ, повидимому, и слѣдуетъ думать. Излагая свѣдѣнія о трагедіи, г. Яковлевъ замѣчаетъ: «Зародыши драматической формы греки издавна уже имѣли въ дифирамбахъ, пѣсняхъ въ честь Діониса, которыя исполнялись хоромъ, сопровождаясь соотвѣтственными жестами и

плясками» (стр. 141). Эти пѣсни въ честь Діониса, эти зародыши, изъ которыхъ развилась драма, были, очевидно, такими именно народными обрядовыми пѣснями, въ которыхъ, по словамъ г. Яковлева, смѣшиваются «всѣ три способа представленія». — Нѣкоторая путаница изложенія объясняется въ этомъ случаѣ тѣмъ, что г. Яковлевъ не выяснилъ различнаго употребленія слова «эпосъ». Этимъ именемъ называется а) вся совокупность произведеній первобытной народной поэзіи, т.-е. то именно «безразличное смѣшеніе всѣхъ трехъ способовъ представленія», о которомъ говоритъ г. Яковлевъ, и б) вся совокупность произведеній повѣствовательнаго характера. Лирика и драма развиваются изъ эпоса въ первомъ значеніи.

бб) Въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ «Учебнаго курса теоріи словесности» недостаточно ясной, неопредѣленной представляется самая мысль автора. Такъ, говоря объ идеѣ художественныхъ произведеній, г. Яковлевъ настаиваетъ на различіи идеи художественной отъ идеи философской или научной. «Нерѣдко, замѣчаетъ нашъ авторъ, въ связи съ художественной идеей, въ немъ (въ произведеніи поэтическомъ) можно различать идею религіозную, или нравственно-поучительную, или философскую, или научную, или политическую, или житейскую и т. д. Но такого рода идеи не въ каждомъ произведеніи ясно различаются, и *во всякомъ случаѣ ихъ не надо смѣшивать съ идеей художественной*» (стр. 89). Но непосредственно передъ этимъ замѣчаніемъ читаемъ:

«Вѣра въ предопредѣленіе, въ судьбу послужила зерномъ, изъ котораго развились художественныя идеи Пушкина («Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ»), Шиллера («Поликратовъ перстень»); но то же самое явленіе можетъ стать предметомъ научнаго изслѣдованія и породить такого рода идеи, которыя для своего внѣшняго выраженія примутъ форму ученаго трактата о фатализмѣ» (стр. 88). Но самая «вѣра въ предопредѣленіе», мысль о судьбѣ не относятся ли къ кругу идей? Можно такимъ образомъ допустить, что одна и та же идея можетъ быть основой и художественнаго произведенія, и научнаго труда. Повидимому, подъ художественной

идеей г. Яковлевъ разумѣетъ концепцію художественнаго произведенія,—то, что нѣкоторые теоретики называютъ «внутренней формой» поэтическаго или вообще художественнаго произведенія. Такъ можно думать на основаніи примѣра, приведеннаго г. Яковлевымъ. По его словамъ, «въ баснѣ «Оселъ и Соловей» развивается идея житейско-поучительнаго характера (избѣгай суда самоувѣренныхъ глупцовъ)»; но кромѣ этой идеи въ баснѣ нужно искать еще другую, художественную идею. «Если бы потребовалось послѣднюю выразить въ простой, отвлеченной формѣ, замѣчаетъ нашъ авторъ,—то мы повторили бы самую сущность стихотворенія, приблизительно въ слѣдующихъ словахъ: «глупый, но самоувѣренный оселъ, послушавъ пѣніе соловья, даетъ ему совѣтъ поучиться у пѣтуха» (стр. 88). Ясно, что въ этой такъ называемой «художественной идеѣ» мы имѣемъ дѣло съ поэтическимъ образомъ, съ художественной концепціей, подобно тому какъ въ статуѣ, изображающей правосудіе въ образѣ Ѳемиды, самый образъ женщины съ завязанными глазами мы не назовемъ идеей, а концепціей, воплощающей идею.—Едва ли могутъ быть вразумительны для учениковъ и замѣчанія г. Яковлева объ эстетическомъ удовольствіи (стр. 96—98). По словамъ автора «Учебнаго курса теоріи словесности», при эстетическомъ удовольствіи «человѣкъ приходитъ какъ бы въ состояніе экстаза, вкушаетъ такое наслажденіе, *котораго не можетъ понять тотъ, кто его не испыталъ*» (стр. 97). Можно ли требовать, чтобы кадеты VI класса испытали «состояніе экстаза»?...

Не чужда неопредѣленности и заимствованная г. Яковлевымъ изъ Бэна «классификація наукъ» (стр. 214—215). Науки, по этой классификаціи, дѣлятся на теоретическія и практическія. Логика упоминается и въ томъ и другомъ отдѣлѣ, при чемъ «логика теоретическая» опредѣляется «какъ ученіе объ общихъ началахъ логическихъ правилъ». Но вѣдь если рѣчь идетъ о «правилахъ», то въ самомъ понятіи правила уже заключается мысль о практическомъ примѣненіи научныхъ положеній. Въ отдѣлѣ наукъ «практическихъ» упоминаются эстетика и грамматика.

Но если можно говорить о логикѣ теоретической и практической, то отчего же не допустить также теоретической и практической эстетики, теоретической и практической грамматики?

вв) Нѣкоторые параграфы книги г. Яковлева могутъ быть недостаточно ясны для воспитанниковъ кадетскихъ корпусовъ, потому что предполагаютъ такія свѣдѣнія, которыхъ учащіеся еще не пріобрѣли. На первой страницѣ учебника читаемъ: «Звуки человѣческаго голоса раздѣляются на гласные и согласные. Гласный звукъ есть музыкальный тонъ, обязанный своимъ происхожденіемъ голосовымъ связкамъ, т.-е. двумъ перепонкамъ, которыя натянуты въ верхней части гортани въ видѣ полупокрышекъ.... Вибрація голосовыхъ связокъ производитъ колебаніе воздуха, которое и называется *гласнымъ* звукомъ. Гласный звукъ усиливается и артикулируется (т.-е. получаетъ своеобразный характеръ, отличающій его отъ прочихъ гласныхъ) полостью рта, которая дѣйствуетъ какъ резонаторъ, и въ то же время измѣненіемъ своей формы измѣняетъ качество звука» (стр. 5—6). Для объясненія выраженія «музыкальный тонъ» замѣчено: «Музыкальный тонъ получается отъ періодически правильныхъ колебаній воздуха, числомъ не менѣе 32 въ секунду. Неправильныя колебанія образуютъ шумъ». Въ § 28 г. Яковлевъ объясняетъ евритмическое благозвучіе: «Ритмъ звуковой есть правильное чередованіе во времени звуковъ, различающихся по силѣ, при чемъ измѣненіе въ силѣ можетъ сопровождаться измѣненіемъ высоты и продолжительности». «Высота звука, читаемъ въ примѣчаніи, зависитъ отъ количества колебаній; сила звуковъ—отъ размѣровъ звуковой волны: чѣмъ больше количество колебаній, тѣмъ звукъ выше; чѣмъ шире волна, тѣмъ звукъ громче» (стр. 52). Какъ ни элементарны эти свѣдѣнія, они все таки предполагаютъ нѣкоторое знакомство съ ученіемъ о звукѣ. По программѣ кадетскихъ корпусовъ ученіе о звукѣ отнесено къ тому отдѣлу курса физики, который излагается въ VII классѣ; первый же отдѣлъ курса теоріи словесности проходится въ VI классѣ.—Въ § 42, объясняя «расчлененіе повѣствованія», г. Яковлевъ замѣчаетъ: «Такъ, напр., въ

исторіи 30-лѣтней войны различаютъ періоды: датскій, шведскій и французскій» (стр. 67). По учебному плану кадетскихъ корпусовъ тридцатилѣтняя война отнесена къ концу того курса новой исторіи, который проходится въ VI классѣ.

гг) Для точнаго и яснаго пониманія стилистики и теоріи литературнаго творчества очень важенъ умѣлый подборъ примѣровъ, на которыхъ объясняются научныя положенія. Въ книгѣ г. Яковлева примѣры подобраны, къ сожалѣнію, не всегда удачно. Такъ объясняя различіе прозы и поэзіи, г. Яковлевъ сопоставляетъ лѣтописный разсказъ о смерти Олега и «Пѣснь о вѣщемъ Олегѣ» Пушкина. Слѣдуетъ замѣтить, что такое сопоставленіе можетъ только спутать представленіе о прозѣ и поэзіи, а не объяснить ихъ различіе. Лѣтописный разсказъ передаетъ народно-эпическое преданіе объ Олегѣ и слѣдовательно долженъ быть отнесенъ къ тому же отдѣлу поэтическихъ, а не прозаическихъ произведеній, какъ и пѣснь о вѣщемъ Олегѣ. Сказка не перестаетъ быть сказкой, въ какой бы формѣ ни была она передана. На стр. 54, говоря о благозвучіи рѣчи, г. Яковлевъ совѣтуетъ избѣгать «сопоставленія многихъ словъ, изъ которыхъ каждое носитъ на себѣ логическое удареніе». Примѣръ такого сопоставленія: «Хочешь ли видѣть поле сраженія: пыль, дымъ, огонь, громъ, щитъ въ щитъ, мечъ въ мечъ». Но нельзя ли въ этомъ примѣрѣ видѣть такъ называемую «градацію?» При градаціи, по словамъ г. Яковлева, слова располагаются «въ порядкѣ возрастающей важности» (стр. 48—49), а при такомъ расположеніи словъ накопленіе логическихъ удареній неизбѣжно. На стр. 49 приводится примѣръ «параллелизма:»

Не серна подъ утесъ уходитъ,
Орла послыша тяжкій летъ;
Одна въ сѣняхъ невѣста бродитъ,
Трепещетъ и рѣшенья ждетъ.

Если въ этомъ отрицательномъ сравненіи замѣчается параллелизмъ, то вѣдь и всякое отрицательное сравненіе можетъ быть

разсматриваемо какъ образецъ стилистическаго параллелизма. На стр. 74 объясняя «смѣшанныя формы словесныхъ произведеній», въ которыхъ соединяются описаніе, повѣствованіе и разсужденіе, г. Яковлевъ останавливается для примѣра на баснѣ: «Оселъ и Соловей.» Но гдѣ же здѣсь разсужденіе? «Разсужденіемъ, замѣчаетъ нашъ авторъ, можно назвать слѣдующія строки:

«А жаль, что незнакомъ
Ты съ нашимъ пѣтухомъ:
Еще бы болѣ навострился,
Когда бы у него немного поучился».

Едва ли можно отыскать болѣе странный примѣръ «разсужденія!»

В) Стилистическія замѣчанія г. Яковлевъ излагаетъ обыкновенно въ видѣ общихъ правилъ, точность которыхъ представляется иногда сомнительной. «При выборѣ словъ, говоритъ г. Яковлевъ, надо руководиться слѣдующимъ правиломъ: каждое употребляемое нами слово должно быть по возможности *понятно*, точно и опредѣленно.... Болѣе или менѣе непонятными могутъ быть во 1-хъ малоупотребительные варваризмы, провинціализмы, архаизмы и неологизмы... во 2-хъ *названія понятій отвлеченныхъ*» (стр. 33). Итакъ слѣдуетъ избѣгать словъ, означающихъ отвлеченныя понятія? Ясно, что подобное положеніе могло быть высказано только съ ограниченіемъ, съ оговоркой, съ указаніемъ на его примѣнимость лишь къ произведеніямъ, назначеннымъ для популярнаго чтенія. Если же придать этому положенію значеніе общаго правила, то весь «учебный курсъ» г. Яковлева нужно будетъ признать сплошной стилистической ошибкой.—Въ § 21 излагаются свѣдѣнія о словорасположеніи, при чемъ замѣчено: «Изъ нѣсколькихъ дополнительныхъ, означенныхъ различными падежами, дательный отношенія къ лицу обыкновенно ставится тотчасъ послѣ глагола и потомъ уже падежъ, зависящій отъ глагола напр. «дай мнѣ книгу» (стр. 35). Слѣдовательно неправильно выраженіе: «передай это письмо своему дядѣ», нужно

сказать: «передай своему дядѣ это письмо?» На стр. 22 говорится о плавности періодической рѣчи: «Такъ напр. періодъ «Когда волнуется»...., несмотря на значительный объемъ, читается весьма легко и свободно, потому что при чтеніи тонъ голоса можетъ измѣняться съ совершенною правильностью, безъ всякихъ скачковъ, постепенно возвышаясь до самаго конца первой части, а во второй—съ такою же правильностью постепенно понижаясь. Напротивъ въ рѣчи, состоящей изъ предложеній неразвитыхъ и незакругленныхъ, высота тона должна измѣняться очень часто и притомъ безъ постепенности и равномѣрности». Ужели рѣчь не періодическая совершенно лишена плавности? Составители руководствъ для «выразительнаго чтенія» поспорятъ, я думаю, объ этомъ съ г. Яковлевымъ.—Требуютъ оговорки и нѣкоторыя историко-литературныя замѣчанія, внесенныя въ «Учебный курсъ теоріи словесности». Таково напр. замѣчаніе о такъ называемыхъ старшихъ и младшихъ богатыряхъ: «за старшими богатырями идетъ поколѣніе младшихъ съ Ильею Муромцемъ во главѣ» (стр. 104). Такого распредѣленія богатырей нельзя выдавать за научное наблюденіе..

Г) Можно отмѣтить въ книгѣ г. Яковлева нѣсколько замѣчаній, требующихъ исправленія по неточности передаваемыхъ свѣдѣній, или по нѣкоторой неловкости выраженія. Примѣры: стр. 120: «Французскій дружинный эпосъ обнималъ собою обширный кругъ сказаній о Карлѣ Великомъ и его паладинахъ. Изъ этого цикла сохранилась до позднѣйшаго времени *только* пѣснь о Роландѣ». Стр. 141: «Развитіе драмы возможно въ эпоху сравнительно позднѣйшую, когда эпосъ и даже *лирика отжили свое цвѣтущее время*. Стр. 148: «Не было бы большой ошибкой полагать, что событія и *люди* уже *обработанные родственнымъ искусствомъ* (напр. романомъ), всего лучше годятся для драмы». Стр. 189: «Встрѣчаются трагедіи, въ которыхъ поэтъ старается вызвать жалость и потрясеніе не столько свободными и мотивированными дѣйствіями героевъ, сколько трогательными и страшными положеніями. Такого рода трагедіи, вообще малоцѣнныя съ художествен-

ной точки зрѣнія, отступающія отъ принципа истиннаго драматизма, принято называть *мелодрамами*». На стр. 194 мелодрама, сообразно съ прямымъ смысломъ этого слова, опредѣляется какъ видъ оперы.

Указывая нѣкоторые недочеты, отыскиваемые въ книгѣ г. Яковлева, я не забываю серьезныхъ и важныхъ достоинствъ «Учебнаго курса теоріи словесности». Повторяю сказанное въ началѣ рецензіи: въ ряду учебниковъ по теоріи словесности трудъ г. Яковлева занимаетъ безспорно почетное мѣсто.

«*Теорія словесности для среднихъ учебныхъ заведеній*» г. *Смирновскаго* и по содержанію и по его обработкѣ менѣе серьезна, чѣмъ разсмотрѣнный выше трудъ г. Яковлева. Но въ книгѣ г. Смирновскаго есть свое неоспоримое достоинство, — общедоступность и ясность изложенія. Правда, это достоинство изложенія объясняется въ нѣкоторой мѣрѣ тѣмъ, что г. Смирновскій обходитъ молча тѣ трудные эстетическіе вопросы, на которыхъ останавливается г. Яковлевъ, но какъ бы то ни было, съ дидактической точки зрѣнія, ясность изложенія, его примѣнимость къ пониманію учащихся даютъ книгѣ г. Смирновскаго извѣстное преимущество сравнительно съ труднымъ для кадетъ учебникомъ г. Яковлева. Справедливость требуетъ однако замѣтить, что ясность изложенія не всегда, къ сожалѣнію, соединяется въ книгѣ г. Смирновскаго съ точностью выраженія и съ убѣдительностью соображеній.

А) Нѣкоторыя опредѣленія и замѣчанія г. Смирновскаго представляются спорными, или, по крайней мѣрѣ, требуютъ ихъ поясненія. На стр. 8 нашъ авторъ говоритъ о «различныхъ способахъ выраженія мыслей». Указываются три основанія, по которымъ можно различать способы выраженія мыслей: по выбору словъ, по построенію предложеній и по соединенію предложеній. «*По построенію предложеній*, замѣчаетъ г. Смирновскій, различаемъ рѣчь мѣрную (стихи) и немѣрную (проза)». Далѣе на стр. 20—21 повторяется это замѣчаніе: «Разсматривая рѣчь со стороны *построенія предложеній*, мы замѣчаемъ, что она или

можетъ подчиняться опредѣленному музыкальному размѣру, или же можетъ оставаться свободною». Ужели въ самомъ дѣлѣ, стихи отличаются отъ прозы «построеніемъ предложеній?» Зачѣмъ введенъ здѣсь этотъ синтаксическій терминъ? Развѣ предложенія, построенныя совершенно одинаково, не могутъ быть выражены прозой или стихами?

Какъ молодой повѣса ждетъ свиданья
Съ какой нибудь развратницей лукавой,
Иль дурой, имъ обманутой, такъ я
Весь день минуты ждалъ, когда сойду
Въ подвалъ мой тайный, къ вѣрнымъ сундукамъ.

Ужели эти стихи отличаются отъ прозы «построеніемъ предложеній?» На стр. 13 г. Смирновскій такъ объясняетъ олицетвореніе: «Человѣкъ не только отыскиваетъ сходство между предметами, но онъ любитъ отыскивать въ бездушной природѣ сходство и съ самимъ собою: онъ подмѣчаетъ дѣйствія природы и сравниваетъ ихъ съ дѣйствіями человѣка. Эти найденныя сходства дѣйствій, положеній и состояній позволяютъ человѣку смотрѣть на природу, какъ на живое существо и представлять ее въ живомъ образѣ, въ живомъ лицѣ, такъ сказать, олицетворять ее». Но развѣ олицетворяются только предметы и явленія «бездушной природы?» Развѣ не олицетворяются и «дѣйствія человѣка», его мысли и чувства: слава, надежда, любовь, горе и т. д.? Слѣдовало бы различить эти два вида олицетворенія.—Въ § 28, говоря объ «общихъ условіяхъ слога», г. Смирновскій такъ опредѣляетъ ясность слога: «Ясность состоитъ въ томъ, чтобы рѣчь можно было понимать легко, свободно, безъ усилія ума» (стр. 45). Выраженіе «усиліе ума»—очень неопредѣленно и потому не объясняетъ дѣла. Усиліе ума зависитъ не столько отъ изложенія, сколько отъ содержанія сочиненія отъ степени развитія и образованности читателя и пр. — Изящество слога опредѣляется такъ: «Изящество слога заключается въ его стройности, плавности, благозвучіи». Это—игра словъ, а не опредѣленіе. Можно поэтому

переставить опредѣляемые и опредѣляющіе термины: «Стройность слога заключается въ его изяществѣ, плавности и благозвучіи», или: «плавность слога заключается въ его стройности, изяществѣ и благозвучіи».—Говоря объ «элементахъ, изъ которыхъ слагается содержаніе сочиненій», г. Смирновскій различаетъ четыре такихъ элемента: 1) лирическій элементъ, 2) описаніе, 3) повѣствованіе, 4) разсужденіе (стр. 47). Противъ такого внесенія лиризма въ рядъ обще-литературныхъ элементовъ ничего нельзя было бы сказать, если бы не представлялась при этомъ опасность, что двоякое опредѣленіе лирики можетъ оставить нѣкоторую путаницу въ пониманіи учащихся. Въ § 42 г. Смирновскій, оставаясь вѣрнымъ принятому имъ перечню литературныхъ элементовъ, замѣчаетъ: «*Сочиненія, смотря по тому, какой элементъ въ нихъ преобладаетъ, бываютъ: лирическія, описательныя, повѣствовательныя и разсужденія*» (стр. 56); но далѣе, въ § 44, нашъ авторъ отступаетъ отъ этого дѣленія: «Прозаическія сочиненія, смотря по преобладающему въ нихъ элементу, относятся или къ описательнымъ, или къ повѣствовательнымъ, или къ разсужденіямъ» (стр. 61). Отчего же исчезъ въ этомъ перечнѣ лирическій элементъ? Оттого, конечно, что лирическія сочиненія принадлежатъ къ числу поэтическихъ, а г. Смирновскій въ § 44 говоритъ лишь о сочиненіяхъ прозаическихъ. Но въ такомъ случаѣ зачѣмъ же нашъ авторъ говоритъ о лирическихъ сочиненіяхъ въ § 31, ранѣе объясненія различія прозы и поэзіи? «Сочиненія, въ которыхъ лирическій элементъ является главнымъ, называются лирическими», читаемъ мы на стр. 49, а разница прозы и поэзіи объясняется лишь на стр. 56.—Далѣе въ § 55 лирическія сочиненія вводятся, какъ и слѣдуетъ, въ перечень поэтическихъ произведеній: «*поэтическія сочиненія бываютъ трѣхъ родовъ: эпическія, лирическія, драматическія*» (стр. 69). Такое представленіе лирики то какъ обще-литературнаго элемента, то какъ вида поэтическаго творчества не оставитъ ли на пониманіи учащихся отпечатка нѣкоторой неопредѣленности?—Объясняя различіе прозаическихъ и поэтическихъ произведеній, г. Смирновскій

говоритъ: «въ однихъ сочиненіяхъ мы видимъ работу спокойно размышляющаго, обдумывающаго *ума*; въ другихъ видимъ *творчество*, т. е. созданіе живыхъ образовъ, картинъ» (стр. 56). Можно возразить противъ такого противопоставленія ума творчеству. Развѣ «размышляющій, обдумывающій умъ» не можетъ быть творческой силой? Развѣ научная гипотеза или философская система не представляютъ продуктовъ человѣческаго «творчества»? Можно ли поэтому ограничивать творчество лишь созданіемъ «живыхъ образовъ, картинъ?» — На стр. 130, останавливаясь на «Горѣ отъ ума», г. Смирновскій замѣчаетъ: «Роль Чацкаго не главная, а служебная». Объ этомъ, конечно, можно поспорить съ г. Смирновскимъ.

Б) Вызываютъ замѣчанія и нѣкоторые примѣры, приведенные въ книгѣ г. Смирновскаго. На стр. 16 приводится, какъ примѣръ аллегоріи, то мѣсто изъ Слова о полку Игоревѣ, гдѣ говорится, что Боянъ пускалъ десять соколовъ на стадо лебедей и т. д. Правильнѣе было бы привести этотъ отрывокъ изъ Слова, какъ образецъ положительно-отрицательнаго сравненія.— Примѣромъ силлабическихъ стиховъ служитъ начало первой сатиры Кантемира (по второй редакціи).

Уме недозрѣлый, плодъ недолгой науки!
Покойся, не понуждай къ перу мои руки (стр. 22).

Это не чисто силлабическіе, а силлабическо-тоническіе стихи, написанные по тѣмъ правиламъ, которыя изложены были Кантемиромъ въ «Письмѣ Харитона Макситина».—Говоря о сравненіи г. Смирновскій приводитъ довольно много примѣровъ (стр. 12), но замѣчательно, что въ ряду приведенныхъ отрывковъ нѣтъ ни одного примѣра сравненія, выраженнаго творительнымъ падежомъ. А вѣдь этого рода сравненія такъ употребительны, такъ часты и въ народно-поэтической и въ литературной рѣчи. Умалчиваетъ также г. Смирновскій о сравненіяхъ положительно-отрицательныхъ и о народно-поэтическомъ параллелизмѣ.

В) Есть въ книгѣ г. Смирновскаго выраженія не совсѣмъ удачныя, требующія измѣненія.

Стр. 6: *Такъ какъ писать ни о чемъ нельзя, а можно писать лишь о чемъ-нибудь*, то, слѣдовательно, принимаясь за сочиненіе, прежде всего надо остановиться на какомъ нибудь опредѣленномъ предметѣ». Зачѣмъ этотъ плеоназмъ, это повтореніе одной и той же мысли сначала въ отрицательной, а потомъ въ положительной формѣ.

Стр. 53—54: «Внутреннюю сторону опредѣленія не надо смѣшивать съ словесной формой его выраженія: опредѣляя понятіе, авторъ не обязанъ непремѣнно ставить прежде всего опредѣляемое понятіе, затѣмъ говорить слово «есть» или «называется», и наконецъ указывать ближайшій родъ и видовые признаки; такую форму можно назвать строго-логической, но не обязательной: авторъ можетъ разставлять слова и предложенія, какъ угодно, лишь бы только даваемое имъ опредѣленіе удовлетворяло внутреннимъ требованіямъ, т. е. чтобы читатель могъ видѣть къ какому ближайшему роду относится опредѣляемое понятіе и какіе его видовые признаки». Какое многословіе! И что значитъ выраженіе: «авторъ можетъ разставлять слова и предложенія, *какъ угодно?*»

Стр. 98: «Всякое народное лирическое произведеніе.... всегда поется *на одинъ голосъ или хоромъ*». Пѣсни народныя поются обыкновенно на одинъ голосъ, хотя бы исполнялись хоромъ. Хору слѣдовало противопоставить не «одинъ голосъ», а одно лицо.

Стр. 103: «Въ вѣкъ Людовика XIV французскій ученый и поэтъ Буало въ своемъ сочиненіи L'art poétique изложилъ правила, которыхъ, по его мнѣнію, слѣдовало держаться при составленіи одъ по классическимъ образцамъ». Можно подумать, что главное содержаніе сочиненія Буало—изложеніе правилъ составленія торжественныхъ одъ.

Стр. 103—104: «Лирическій безпорядокъ у Пиндара... является вполнѣ естественнымъ. У ложноклассиковъ же онъ является *заказнымъ*».

Стр. 129: Корнель, Расинъ, Сумароковъ для насъ уже скучны,

а Мольеръ и Фонвизинъ и теперь еще читаются съ удовольствіемъ». Сопоставленіе именъ Расина, Фонвизина и Сумарокова представляется нѣсколько рискованнымъ....

Г) Въ концѣ книги г. Смирновскаго помѣщены «Элементарныя свѣдѣнія изъ психологіи (стр. 145—146). На двухъ неполныхъ страницахъ нельзя, конечно, изложить даже самыхъ элементарныхъ свѣдѣній изъ психологіи. Поэтому слѣдовало бы или расширить этотъ отдѣлъ учебника, или совсѣмъ его опустить.

Сводя къ общему заключенію сдѣланныя выше замѣчанія, позволяю себѣ высказать такое мнѣніе: книга г. Яковлева съ большой пользой можетъ служить *пособіемъ* при преподаваніи теоріи словесности; книга г. Смирновскаго болѣе пригодна какъ классный *учебникъ*. Слѣдуетъ впрочемъ добавить, что, кромѣ книги г. Смирновскаго, въ нашей учебной литературѣ найдется, конечно, нѣсколько другихъ руководствъ по теоріи словесности, столько же пригодныхъ для цѣлей преподаванія, какъ и учебникъ г. Смирновскаго. Мнѣ припоминается при этомъ почтенный трудъ г. Филонова («Учебникъ по словесности»), талантливо написанная книжка покойнаго Стоюнина («Руководство для теоретическаго изученія литературы»). Нѣтъ сомнѣнія, что люди, болѣе меня свѣдущіе въ учебной литературѣ, могутъ указать еще другія заслуживающія вниманія работы по теоріи словесности въ ея примѣненіи къ задачамъ преподаванія въ такихъ среднеучебныхъ заведеніяхъ, какъ кадетскіе корпуса.—

КЪ ИСТОРІИ РУССКАГО СТИХОСЛОЖЕНІЯ.

(По поводу книги В. Н. Перетца: «Изъ исторіи русской пѣсни». Ч. I и II. Спб. 1900 г.).

1.

Въ 1755 году въ «Ежемѣсячныхъ сочиненіяхъ», издававшихся Г. Ф. Миллеромъ, появилось разсужденіе В. К. Тредьяковскаго: «О древнемъ, среднемъ и новомъ стихотвореніи Россійскомъ».

Остатки *древняго* россійскаго стихотворства сохранились, по мнѣнію ученаго XVIII вѣка, въ произведеніяхъ народной поэзіи. «Многодѣльное первое наше христіанство, говоритъ Тредьяковскій, хотя искоренило всѣ многобожныя служенія и пѣсненныя прославленія мнимымъ богамъ и богинямъ, однако съ пренебреженія, или за упражненіями не коснулось къ простонароднымъ обыкновеніямъ: оставило ему забаву общихъ увеселительныхъ пѣсенъ и съ ними способъ сложенія стиховъ. Сіе точно и есть первородное и природное наше съ самыя отдаленныя древности стихосложеніе, пребывающее и доднесь въ простонародныхъ, молодецкихъ и другихъ содержаній пѣсняхъ живо и цѣло». Какое же именно было это первородное и природное наше стихотворство, слѣды котораго сохранились въ народныхъ пѣсняхъ? «Количе-

ство его слоговъ было тоническое или, что тоже, въ одномъ ударенiи силами слоговъ состоящее».—Названіемъ «*средняго* россійскаго стихотворенія» охватывается вся совокупность литературныхъ произведеній, написанныхъ по правиламъ силлабической версификаціи, занесенной изъ Польши въ Малую Россію. «Какъ скоро завелось сіе тамъ стихотвореніе, преподалось въ училищахъ и показалось обществу примѣрами церковными и гражданскими, такъ тотчасъ всѣ употребили оное и мірскіи стихотворцы: всѣ свѣтскія ихъ пѣсни сей имѣютъ способъ въ стихахъ». Изъ Малороссіи силлабическое стихотворство перешло въ Москву. «*Новое* россійское стихотвореніе» возвращается къ системѣ тонизма, свойственнаго древней поэзіи. «Всеобщій и повсюдный грунтъ системы сея стиховъ есть тоническое количество: почитается ею тотъ слогъ долгимъ въ реченіи, который ударяется силою, а тѣ всѣ въ немъ короткими, сколько бы ихъ ни было, на коихъ нѣтъ просодіи».

Относительно русскаго народно-пѣсеннаго стихосложенія появилось въ послѣдующее время нѣсколько цѣнныхъ и интересныхъ изслѣдованій, хотя законы нашего народнаго стиха и до сихъ поръ еще не разъяснены съ полною точностью. Что же касается нашего литературнаго стихосложенія, то замѣчанія Тредьяковскаго о среднемъ и новомъ россійскомъ стихотвореніи до сихъ поръ сохраняютъ свое значеніе и повторяются во всѣхъ сочиненіяхъ, касающихся исторіи русской версификаціи.

Книга г. Перетца даетъ новый литературный матеріалъ для изученія нашего «средняго стихотворенія». Авторъ изслѣдованія о «началѣ искуственной поэзіи въ Россіи» извлекъ изъ рукописей цѣлый рядъ неизвѣстныхъ или малоизвѣстныхъ виршъ; для объясненія строя этихъ виршъ изслѣдователь изучаетъ теоріи версификаціи, изложенныя въ грамматикахъ и піитикахъ стараго времени. Результатъ этихъ изученій формулированъ такъ: «Съ первыхъ же опытовъ въ юго-западной русской литературѣ появляются два вида стиховъ: одни неправильные съ произвольнымъ числомъ слоговъ и отличающіеся отъ прозы только риѳмою;

другіе — плавные, построенные по польской силлабической системѣ съ преобладаніемъ тринадцати-, двѣнадцати- и одиннадцатисложныхъ размѣровъ». Но это польско-русское стихосложеніе утвердилось не сразу. «Исторія его *борьбы* и лишь постепеннаго завоеванія своего мѣста открывается изъ обзора *старинныхъ руководствъ къ стихосложенію* и стоитъ въ связи съ постепеннымъ проникновеніемъ польскаго вліянія въ училища Западной Руси, гдѣ первоначально преобладаютъ *славяно-эллинскіе элементы*, позже берутъ перевѣсъ *новыя вѣянія* и школы перестраиваются по типу католическихъ *съ господствующимъ латинскимъ и польскимъ литературнымъ языкомъ*, учебниками и пріемами обученія» (стр. 1—2). Въ школьныхъ пінтикахъ излагается теорія силлабическаго стихосложенія; въ болѣе раннихъ руководствахъ къ стихосложенію (грамматика Л. Зизанія и М. Смотрицкаго) примѣняется къ русскому языку система древне-классической версификаціи. Опредѣляются такимъ образомъ противники, борьба которыхъ закончилась побѣдой силлабизма.

Эта картина борьбы двухъ литературныхъ направленій была бы не лишена поучительности и интереса, если бы не вызывала нѣкоторыхъ сомнѣній. Гдѣ памятники этой литературной борьбы? Была ли въ дѣйствительности эта борьба? Изложивъ систему М. Смотрицкаго, г. Перетцъ спрашиваетъ: «Имѣла ли она послѣдователей? Отвѣтить на такой вопросъ, замѣчаетъ нашъ изслѣдователь, въ настоящее время кажется нѣсколько затруднительнымъ, но сомнительно, чтобы правила, предложенныя эллинославянствующими грамматиками, начиная съ Ἀδελφότης'α, кончая Смотрицкимъ, были доступны и удобны для сложенія славянскихъ и русскихъ стиховъ [1]). Интересно отмѣтить, что не только

1) Еще Тредьяковскій обратилъ вниманіе на непримѣнимость къ русскому стиху теоріи Смотрицкаго. «Коль ни достохвальное сіе тщаніе Смотрицкаго, писалъ Тредьяковскій, однако ученыи наши Духовныи люди не приняли сего состава его стиховъ; остается онъ только въ его грамматикѣ на показаніе потомкамъ примѣра, а тѣ утверждались отчасу болѣе въ риемическихъ стихахъ средняго состава, приводя ихъ въ нѣкоторую исправность съ образца польскихъ стиховъ. Можетъ быть, что трудность долгихъ, краткихъ и общихъ литеръ при-

стихотворцы, но и сами составители правилъ стихосложенія пользуются данными правилами чрезвычайно рѣдко, большею частію лишь для составленія примѣровъ на правила, очень немногочисленныхъ. Большинство же, да и сами теоретики—какъ видимъ напримѣръ въ грамматикѣ Л. Зизанія—пользуются либо силлабической системой, либо просто пишутъ риемованной прозой» (стр. 20). Если трудно отыскать послѣдователей греко-славянской системы, если сами установители этой системы писали силлабическіе стихи, то можно ли говорить о какой-то борьбѣ двухъ литературныхъ направленій, выразившейся въ неодинаковыхъ формахъ стихосложенія, о какомъ-то «протестѣ противъ наплыва все усиливавшейся и окончательно взявшей перевѣсъ въ концѣ XVII в. волны западнаго вліянія»? Причислимъ ли къ представителямъ протеста противъ западнаго вліянія такого писателя, какъ Мелетій Смотрицкій?..

2.

Отрицая историко-литературное значеніе теоріи Смотрицкаго и др., мы не въ правѣ однако распространять это отрицаніе на ту классическую метрику, которую неудачно переводили на русскій языкъ наши старинныя грамматики; мы не можемъ утверждать, что эта метрика не играла никакой роли въ исторіи нашего стихосложенія. Напротивъ, мы имѣемъ основаніе догадываться, что классическая метрика имѣла немаловажное значеніе въ исторіи и новаго и средняго россійскаго стихотворенія.

«Всѣ разсужденія о долготѣ и краткости слоговъ, замѣчаетъ г. Перетцъ, повторялись въ теченіе долгаго времени, пока перепечатывалась грамматика Смотрицкаго, но и позднѣйшія попытки создать стихосложеніе по образцу греческихъ и латинскихъ

родѣ, также измѣняемыхъ, обояющихъ, таемыхъ, сугубыхъ, сугубствующихъ и странныхъ, сверхъ того и познаваемыхъ слоговъ положеніемъ, наращеніемъ и окончаніемъ, а всего сего чуждаго и намъ во вѣки вѣковъ дикаго, и отвратила нашихъ люботщателей отъ стихотворнаго сего состава».

метровъ слѣдуетъ признать неудавшимися — имѣемъ въ виду опыты Востокова и переводы нѣкоторыхъ одъ Горація Фета, хотя эти послѣдніе опыты и построены по иной теоріи долготы и краткости и въ нихъ за долгій принятъ слогъ ударяемый, а не имѣющій то или другое графическое условное изображеніе» (стр. 23). Не будемъ спорить съ г. Перетцомъ о достоинствахъ и недостаткахъ переводовъ Фета и опытовъ Востокова; насъ интересуетъ другой вопросъ: когда, въ какомъ періодѣ исторіи русской поэзіи появляются первые опыты стихотвореній, построенныхъ на основаніи того метрическаго принципа, который находимъ у Востокова и Фета? На этотъ вопросъ можно отвѣчать безъ колебаній: въ періодъ «средняго россійскаго стихотворенія», въ пору общепризнаннаго господства силлабической версификаціи.

«Съ XVIII вѣка, — замѣчаетъ г. Петровъ въ изслѣдованіи «о словесныхъ наукахъ и литературныхъ занятіяхъ въ Кіевской академіи», — являются въ Кіевской академіи частыя указанія на образцы классической элегіи и переводы ихъ на русскій языкъ». Для примѣра указывается впрочемъ не элегія, а ода, а именно переводъ, или говоря точнѣе, передѣлка одной изъ одъ Горація, помѣщенная въ сочиненіи Лаврентія Горки: Idea artis poëseos (1707 г.). Сличеніе передѣлки съ оригиналомъ указываетъ на несомнѣнное усиліе русскаго стихотворца выдержать размѣръ подлинника (Strophа sapphica):

Частѣе кедра зиблетъ вѣтръ суровый,	Saepius ventis agitatus ingens
Тяжчае падутъ возвышенни крови	Pinus et celsae graviore casu
Обично біютъ на холми високи	Decidunt turres feriuntque summas
Громы жестоки и т. д. [1]).	Fulgura montes (Od. lib. 11, X).

1) Труды Кіевской дух. академіи. 1867, январь, стр. 101.

Этотъ отрывокъ—не первый и не единственный опытъ примѣненія классической строфы къ русскому стиху. Въ 1633 году издана была «Εὐφωνία веселобрячая» — панегирикъ въ стихахъ, посвященный Петру Могилѣ. Вотъ образцы стиховъ этой «Эвфоніи»:

Пречъ з Роксолянскихъ смутки уступуйте
Границъ, ляменты сердца не турбуйте:
Южъ есть веселье, ахъ досытъ стогнаня,
Пречъ нареканя.
Естъ по бурливыхъ южъ Еврахъ погода:
Мысли похмурной естъ южъ охолода;
По слезныхъ рѣкахъ, по бѣдахъ окрутныхъ
По плачахъ смутныхъ.
Тріумфу зачни Евфрозіно смѣле
Гимнъ выкрикати, почни волать миле.
Што то за радость въ Россійскомъ Сіонѣ,
Въ Кіевской зонѣ и т. д. [1]).

Въ области Московской школьной литературы начала XVIII вѣка встрѣчается любопытный образецъ двойного латино-русскаго стихотворенія. Въ 1721 году напечатана въ Москвѣ «Пѣснь привѣтственная въ славномъ торжественномъ вхожденіи побѣдителя и миротворца Петра Великаго». Размѣръ пѣсни — тотъ же, какъ и въ приведенномъ выше отрывкѣ перевода Гораціевой оды. Вотъ для примѣра нѣсколько строфъ Московской пѣсни:

Quis venit lauro redimitus hospes	Кто идетъ съ войскомъ лаврами вѣнчаный
Milite instructus, celeber trophaeis,	Съ знаменми побѣдъ гость къ намъ чрезвычайный,
Fulgidis cinctus neque jam timendus	Свѣтлымъ оружьемъ предивно украшенъ,
Victor in armis?	Однакъ не страшенъ?

1) Записки наукового товариства імени Шевченка, 1895, кн. 4, стр. 9.

2.

Martius vultus sine Martis ira	Марсово лице, но весма не ратно,
Totus illius placido renidens	Все осклабленно, всѣмъ благопріятно,
Suaviter risu, veluti micat post	Яко Фебъ, егда по дождѣ сіяетъ,
Nubila Phaebus.	Любимъ бываетъ.

3.

Quae videt rident, renovatur omne,	На что посмотритъ, то отнюдь не плачетъ,
Induit laetam faciem decoris	Но премѣнено отъ радости скачетъ.
Ornat Autumnum Ver amoenitate,	Весна цвѣтами осень украшаетъ
Cuncta virescunt.	И утѣшаетъ [1]).

Среди упражненій, приложенныхъ къ піитикѣ Георгія Конисскаго, помѣщено стихотвореніе, въ которомъ, по словамъ г. Петрова, «довольно ясно высказывается простонародный характеръ кантовъ»:

Засіяетъ тамъ не единъ въ порфирѣ,
Иже не имѣлъ и рубища въ мірѣ,
Пріиметъ на главу вѣнецъ многоцѣнній
Вмѣсто повстини.
За ризи остри, за власи велбужи
Безсмертной слави свѣтъ всего окружитъ,
За вервъ подастся, за поясъ усмянній
Весь златотканній и проч. [2]).

1) Пекарскій издалъ 11—15 строфы этой пѣсни по экземпляру, сохранившемуся среди бумагъ, входящихъ въ составъ «Кабинета Петра Великаго» (Наука и литер. въ Россіи при Петрѣ В., т. II, стр. 530—531). Приведенныя нами 1—3 строфы пѣсни взяты изъ копіи, сдѣланной съ того же экземпляра, который указанъ Пекарскимъ.

2) Труды Кіевской духовной акад. 1867, январь, стр. 98.

Въ этомъ народномъ по характеру кантѣ наблюдается тотъ же размѣръ, который мы встрѣчаемъ въ другихъ приведенныхъ выше отрывкахъ [1]).

Историкъ русскаго стихосложенія не можетъ оставить безъ надлежащей оцѣнки этихъ и имъ подобныхъ примѣровъ примѣненія къ русскому стиху формъ классической метрики. Присматриваясь къ такимъ примѣрамъ, мы убѣждаемся, что задолго до появленія хореевъ и дактилей Тредьяковскаго и Ломоносова въ нашихъ школахъ уже слагались стихотворенія по существу тоническія, но прикрывавшіяся терминами греко-римской версификаціи. Быть можетъ, и установители нашего стихосложенія писали такіе именно тонико-метрическіе стихи, когда были воспитанниками Московской школы. Эти упражненія могли облегчить Тредьяковскому и Ломоносову переходъ къ чисто-тоническому стиху. Припомнимъ, что Тредьяковскій удерживаетъ терминологію классической метрики: онъ говоритъ о хореяхъ, ямбахъ, пиррихіяхъ, дактиляхъ, анапестахъ, о гекзаметрахъ, пентаметрахъ, тетраметрахъ, о строфахъ сапфической, гораціанской и проч.

3.

Кромѣ латинскихъ стихотвореній, слагавшихся по классическимъ образцамъ, съ давнихъ поръ извѣстны другого рода ла-

1) Примѣненіе сапфической строфы къ русскому стиху въ періодъ господства силлабизма отмѣчено еще Тредьяковскимъ: «строфъ, кромѣ сапфической, никакихъ въ немъ нѣтъ».—«Изъ приведенныхъ въ перечисленіи у М. Смотрицкаго размѣровъ, замѣчаетъ г. Перетцъ, болѣе посчастливилось въ южнорусской, а позже и въ сѣверно-русской только двумъ: сапфическому и фалейскому стиху, и то потому, что первый совпалъ съ силлабическимъ, а второй—съ популярнѣйшимъ одинадцати-сложнымъ размѣромъ» (стр. 20). Посчастливилось, кажется, не размѣрамъ Смотрицкаго, а тѣмъ тоническимъ стихамъ, которые слагались въ школахъ въ подражаніе формамъ классической метрики. Можно-ли, въ самомъ дѣлѣ, объяснить правилами Мелетіевой грамматики всѣ приведенные выше отрывки и другіе, подобные имъ, примѣры употребленія сапфической строфы? Силлабическая строфа, о которой упоминаетъ Тредьяковскій, представляетъ блѣдное отраженіе того же классическаго размѣра, который изучался въ школахъ по образцамъ древне-римской поэзіи.

тинскіе стихи — стихи, построенные по правиламъ такъ называемой ритмической системы, основывавшейся на числѣ слоговъ и чередованіи ударенiй. Образцы такого рода стихотворенiй отмѣчены еще въ древне-римской литературѣ, но полный расцвѣтъ ритмической метрики относится къ позднѣйшей порѣ, когда латинскій языкъ, утративъ значеніе живого народнаго языка, продолжалъ однако жить, какъ языкъ церкви и школы. Новая система оставила свой слѣдъ во множествѣ религіозныхъ гимновъ и въ рядѣ произведенiй свѣтской школьной поэзіи [1]).

Вмѣстѣ съ утвержденіемъ западнаго вліянія на наши школы распространяется у насъ и знакомство съ ново-латинской ритмической поэзіей. Наши школьные стихотворцы охотно переводили произведенія западной церковной и школьной лирики. Въ этихъ переводахъ рядомъ съ стихотвореніями quasi-классическаго типа появляются и произведенія ритмическія. Вотъ примѣръ, не особенно правда удачный, такъ какъ русскій переводъ латинскаго стихотворенія («Пѣснь Богоматери надъ колыбелью Христа») изданъ по записямъ не вполнѣ удовлетворительнымъ:

Здравствуй, Іисусе сладчайшій,	Salve, Jesu dulcissime,
Здравствуй, сыне мой дражайшій!	Salve, fili pulcherrime.
Люлю, люлю, люлю,	Lili, lili, lili,
О любезный Сыне!	O dilecte fili!
Владѣющъ небомъ, о Боже,	Tu in caelis regnans Deus,
Въ яслехъ возлегъ, какъ на ложѣ,	Nunc es factus natus meus.
Ти вся звѣзды похваляютъ,	Quem alta laudant sidera
Земсти роди ублажаютъ	Nunc lactant mea ubera.
И вамъ, Ангели со неба,	Vos, o Angeli de caelo,
Миръ воспѣти нынѣ треба.	Somnum vocate puello.

1) Свѣдѣнія о формахъ ритмической поэзіи изложены въ статьѣ *Wilh. Meyer*: Ueber die lateinischen Rythmen (Sitzungsberichte der philos.-hist. Classe der k. b. Akademie d. W. zu München 1882. I, 41—192).

Вси же пойте велегласно, Cantate modulamina.
Въ пѣснехъ вспойте ему ясно, Jesu dulcia carmina.
и т. д. [1]).

Легкость и несложность нѣкоторыхъ формъ ритмической версификаціи дѣлала ихъ примѣнимыми даже къ польскому стиху, не смотря на однообразіе и устойчивость польскаго ударенія. Г. Перетцъ напечаталъ любопытную польскую псальму, переписанную кириллицей и принятую слѣдовательно въ репертуаръ русскихъ пѣвцовъ. Въ этой псальмѣ нельзя не замѣтить нѣкоторой правильности въ чередованіи удареній.

Весолый намъ есть дзѣнь насталъ,
Которего з нас кожди жондалъ,
Тего дня Христусъ з мартвыхъ всталъ.
Аллилуйя!
Кроль небески к нам завиталъ,
Яко сличный квятъ росквитніолъ и проч. (стр. 89) [2]).

Другой примѣръ:

Есть прелесть въ свѣтѣ,
Якъ въ полномъ цвѣтѣ,
Ты ту остави.
Возлюбленная
Душе грѣшная,
Отъ злобъ воспряни!
Преходитъ время,
А уѣхавъ бремя
Тя угнетаетъ.
Демонъ же смѣлы
На тебе стрѣлы
Ядъ свой пущаетъ и проч. (стр. 132).

1) «Калѣки перехожіе», Безсонова, вып. 4, № 305, стр. 96—97. Тредьяковскій указываетъ на эту пѣсню, какъ на образецъ «Римскихъ христіанскихъ стиховъ».

2) Ср. «Калѣки перехожіе», вып. 5, № 415, стр. 19.

Въ русской литературѣ, при просодической гибкости нашего языка, стихотворенія ритмическія (=тоническія) могли, конечно, появляться чаще и легче, чѣмъ въ поэзіи польской. Въ книгѣ г. Перетца, въ главѣ: «Малорусскія пѣсни въ великорусскихъ записяхъ *начала XVIII вѣка*», помѣщена пѣсня, въ которой трудно не замѣтить слѣдовъ ритмическаго склада. Это—пѣсня о прекрасной Діанѣ:

Во печали во великой
всегда пребываю,
По тебе, милое сердце,
тяжко воздыхаю.
Нельзя мнѣ забыти тебе,
презлична Діанна:
Ты у мене, мое сердце,
паче всѣхъ избранна.
Ты мене словами, сердце,
къ себѣ прилучила,
А теперь ты, мое сердце,
прочь мя отрѣшила.
А коли же любишь, сердце,
люби же нелестно,
А колижъ ты ненавидишь,
учини мнѣ вѣстно.
Богъ тому велми не терпитъ,
кто неправду дѣетъ,
Тотъ презлѣйшій на семъ свѣтѣ,
свою душу губитъ (стр. 226).

Подобные же слѣды ритмическаго склада замѣтны въ нѣкоторыхъ стихотвореніяхъ Ѳеофана Прокоповича. Припомнимъ хоръ Прелести въ трагедокомедіи: Владиміръ, Плачъ пастушка, стихотвореніе: «Кающійся запорожецъ»:

Познай, любезне,
Кто зоветъ слезне,

Кого любиши?
Камо бѣжиши?
Въ кія идешь страны?
Откуду гнѣвъ на ны?
Плачъ тя не утолитъ,
Гласъ мой не умолитъ.
Тако еси твердій,
Тако жестосердій и проч.

(Хоръ въ «Владимірѣ»).

Что мнѣ дѣлать, я не знаю,
А безвѣстно погибаю;
Забрелъ въ лѣсы непроходны,
Въ страны гладны и безводны.
Атаманы и гетманы,
Попалъ я въ ваши обманы.
Пропадить вы за пороги,
Лишь бы не сбиться съ дороги,
Не впасть бы мнѣ въ сильны руки,
Не принять бы страшной муки и т. д.

(«Запорожецъ»).

Пѣсню о Діанѣ г. Перетцъ опредѣляетъ такъ: «Элегія обычнаго въ малорусской *искусственной и народной* поэзіи размѣра $[(4+4)+6]^3$». Видимъ, что слѣды такого же ритмизма, какой находимъ въ книжныхъ виршахъ, встрѣчаются и въ произведеніяхъ народной поэзіи. Мы подходимъ къ грани, у которой сходились элементы школьнаго и безыскусственнаго творчества. Гдѣ проходила эта грань? Въ какой средѣ школьное стихотворство дружилось съ народной пѣснью? Это — среда «школьныхъ молодиковъ», «мандрованыхъ дьяковъ» и бакаляровъ, — среда близкая къ народу, но не чуждая знакомства и съ книжной мудростью.

4.

Г. Житецкій въ книгѣ: «Мысли о малорусскихъ думахъ» далъ чрезвычайно живое описаніе быта «странствующихъ школьниковъ въ старинной Малороссіи». — Блужданія этихъ школьниковъ, ихъ тревожное житье-бытье, въ которомъ чередовались голоданье и разгулъ, живо напоминаютъ бытъ западныхъ вагантовъ и голіардовъ, такихъ же странствующихъ пѣвцовъ и пѣснотворцевъ, какъ и наши молодики. Наши «мандрованые дьяки»—родные братья западныхъ странствующихъ клириковъ (clericus vagus) [1]).

Сходство быта отражалось и въ сходствѣ литературнаго творчества. Отъ вагантовъ остался большой запасъ пѣсенъ, представляющихъ такую же странную смѣсь серьезныхъ и шутливыхъ, благочестивыхъ и скабрезныхъ мотивовъ, какъ и вирши малороссійскихъ дьяковъ стараго времени. Разница замѣчается лишь въ томъ, что наши школьные стихотворцы слагали свои пѣсни обыкновенно на родномъ языкѣ, въ пѣсняхъ же западныхъ вагантовъ преобладаетъ латынь. Но эта разница языка не можетъ закрыть сходства содержанія. Для примѣра можно указать на два стихотворенія, взятыя изъ области нашей виршевой поэзіи.

Г. Перетцъ издалъ по рукописи XVIII вѣка шуточное стихотвореніе, названное имъ «скоморошьими виршами». Стихотвореніе начинается описаніемъ весны.

Во правду весна красна уже наступила,
Что не толко до радости насъ, но и птицъ возбудила.

---

1) Въ Чехіи лица, соотвѣтствующія западнымъ вагантамъ, извѣстны были подъ именемъ, одинаковымъ съ нашимъ: дьякъ,—žak (см. *Feifalik*: Die altböhmischen Gedichte vom Streite zwischen Seele und Leib. Nebst Beiträgen zur Geschichte der Vaganten-Poesie in Böhmen, въ Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe der k. Akademie zu Wien, 1861, B. 36, 119 fg.). Въ Польшѣ извѣстны были странствующіе пѣвцы—rybalty (*Wiszniewski*, Historya liter. polskiej, т. VII, стр. 9—11).

Нынѣ убо всякія разныя птицы
Вмѣстѣ торжествуютъ со человѣцы;
Какъ то соловейки раненько воспѣваютъ,
Веселенько, хорошенько по садочкамъ спѣваютъ,
А маленькіе жавороночки дознаваютъ,
Со веселіемъ поюще въ гору летаютъ и т. д.

По поводу этого стихотворенія г. Перетцъ замѣчаетъ: «Если мы прослѣдимъ составъ этихъ виршъ съ самаго начала, то найдемъ не мало параллелей и въ серьезной виршевой литературѣ» (стр. 268). Примѣръ:

Весна ясна наступаетъ,
Земля травой обрастаетъ,
Веселитесь, человѣцы!
Нынѣ радость
Всѣмъ намъ сладость:
Поютъ дѣвы велегласно,
Поютъ птицы громогласно и пр. [1]).

Такимъ образомъ картина весны — поэтическій мотивъ одинаково свойственный и серьезнымъ и шуточнымъ виршамъ.

Описаніе весны — одна изъ любимѣйшихъ темъ западныхъ голіардовъ. Carmina burana представляютъ не мало образцовъ такихъ именно школьно-латинскихъ веснянокъ. Примѣры:

Tempus adest floridum,
Surgunt namque flores,
Vernales mox in omnibus
Iam mutantur mores.
Hoc, quod frigus laeserat,
Reparant calores,
Cernimus hoc fieri

1) Ежегодникъ Импер. театровъ 1896—1897 г. Изъ исторіи русской пѣсни, I, 267—268.

Per multos colores.
Stant prata plena floribus,
In quibus nos ludamus.
Virgines cum clericis
Simul procedamus,
Per amorem Veneris
Ludum faciamus,
Ceteris virginibus
Ut hoc referamus etc.
Tempus transit gelidum.
Mundus renovatur,
Verque redit floridum,
Forma rebus datur,
Avis modulatur,
Modulans laetatur.
Lucidior
Et lenior
Aer jam serenatur,
Jam florea,
Jam frondea
Silva coma densatur.
Ludunt super gramina
Virgines decorae,
Quarum nova carmina
Dulci sonant ore etc.

Virent prata
Hiemata
Tersa rabie,
Florum data
Mundo grata
Rident facie.
Solis radio

Nitent, albent, rubent, candent,
Veris ritus jura pandent
Ortu vario.
Aves dulci
Melodia
Sonant garrulae.
Omni via
Voce pia
Volant sedulae
Et in memore
Frondes, flores et odores
Sunt, ardescunt juniores
Hoc in tempore ect [1]).

Въ книгѣ г. Перетца (стр. 279—281) напечатано, по рукописи половины XVIII вѣка, пѣсня объ опасностяхъ преступной любви.

1.

Добрѣ чюжую жонку любити,
Що въ любви секретъ можетъ хранити.
Сердце свободно, к любви угодно
Безъ перемѣны.
Мысли спокойны, кохать свободны
Безъ отмѣны.

Строфа 5 открываетъ иную сторону дѣла.

Ахъ, бѣда жъ мнѣ съ чюжею женою,
Що мужикъ гонитъ за мною,
Охъ, з дубиною суковатою,
По плечамъ мѣритъ;

1) Carmina burana (= Bibliothek des liter. Vereins in Stuttgart, B. XVI, 1847), p. 183, 191, 189. Cf. p. 117, 118, 131, 137, 146, 171, 177, 178, 179, 180, 181 182, 184, 186, 187, 188, 193, 227.

Я присегаю, въ ноги кланѣюсь,
Онъ не вѣритъ.

6.

А щожь мнѣ бѣдному уже дѣлати,
Що чюжей жонки нелзя кохати!
Лѣпше отстати, свою сыскати
Думати стану,
На чюжомъ гумнѣ нѣтъ мнѣ пожитку,
Перестану.

Тема этой пѣсни повторяется и во многихъ новеллахъ, и въ школьно-латинскихъ пѣсняхъ. Вотъ для примѣра Cantio de una muliere.

Fuit una domina,
Valde pulchra femina;
Dum vir ejus laborat,
Clericum sibi advocat.

Клерикъ — въ гостяхъ у женщины. Возвращается мужъ.

Venit hospes ad domum,
Pulsat ad hostium;
Clericus perterritus
Bracas fuit oblitus.
Miserere mei, Deus,
Miserere mei, Deus!
Iste lectus non est meus,
Venit cujus est proprius [1]).

Я упомянулъ о сходствѣ быта западныхъ клериковъ и русскихъ дьяковъ, — сходствѣ, отражавшемся и въ поэзіи школьныхъ стихотворцевъ. Но, кромѣ сходства быта, нельзя не обра-

1) Sitzungsberichte der phil.-hist. Classe d. Wiener Akademie, B. 36, s. 166—167 (въ приложеніи къ названной выше статьѣ Фейфалика).

тить вниманія и на сходство образованія. Припомнимъ господствующее положеніе латыни въ Кіевской, а позже и въ Московской школахъ, припомнимъ упражненія на латинскомъ языкѣ, которыя входили въ составъ школьнаго ученія въ западныхъ и нашихъ школахъ. Это сходство образованія, знакомство съ западными школами, съ ихъ наукой и поэзіей не могло остаться безъ вліянія на литературное творчество нашихъ стихотворцевъ. Поэтому сопоставляя наши вирши и школьно-латинскія carmina, мы въ правѣ искать въ нихъ двоякаго рода сходства: сходства, объясняемаго одинаковыми условіями быта и сходства, основаннаго на литературномъ общеніи [1]).

Въ этомъ общеніи польская литература могла быть обычнымъ передаточнымъ пунктомъ, — обычнымъ, но не неизбѣжнымъ. При знакомствѣ съ латынью, распространенномъ въ нашей школьной средѣ, этотъ послѣдній передаточный пунктъ можно было въ нѣкоторыхъ случаяхъ и миновать.

1) Припомнимъ еще извѣстія о русскихъ людяхъ, получившихъ образованіе за предѣлами Руси и Польши. Фр. Скорина получилъ степень доктора въ Падуѣ. Мелетій Смотрицкій посѣтилъ университеты лейпцигскій, бреславскій и др. Кн. Мих. Глинскій учился въ Германіи. Въ западныхъ католическихъ коллегіяхъ были стипендіи для русскихъ юношей (*Харламповичъ*, Западно-русскія правосл. школы XVI—XVII в., стр. 197, 391, 509; *Карамзинъ*, Ист. г. р. VII, 11).

Къ вопросу о западномъ вліяніи на славянскую и русскую поэзію.

Изслѣдованіе И. Созоновича, профессора Императорскаго Варшавскаго Университета. Варшава. 1898.

Рецензія.

Книга профессора Созоновича дѣлится на двѣ части. Въ первой части разсматривается «поэтическій мотивъ о женихѣ-мертвецѣ и обратѣ = мертвецѣ»; тема изслѣдованія, помѣщеннаго во второй части: «поэтическій мотивъ о внезапномъ возвращеніи мужа ко времени свадьбы своей жены, собиравшейся выйти замужъ за другого». Мысль, объединяющая эти два отдѣльныя изслѣдованія, указана въ заглавіи сочиненія. На основаніи изученія поэтическихъ мотивовъ о мертвомъ женихѣ и о возвращающемся мужѣ авторъ старается выяснить «западное вліяніе на славянскую и русскую поэзію». Первый отдѣлъ книги заканчивается такимъ выводомъ: «подводя итогъ всѣмъ сдѣланнымъ наблюденіямъ, мы не можемъ не замѣтить, что всѣ собранные варіанты пѣсни и сказки о женихѣ-мертвецѣ располагаются по характеру своей обработки на двѣ большія группы сказаній: на группу германскую, къ которой примыкаютъ также романскіе варіанты, и славянскую. Все разнообразіе варіантовъ обѣихъ этихъ группъ должно быть возведено на основаніи чертъ литературной обработки къ какому-то неизвѣстному намъ средневѣковому, повидимому, нѣмецкому поэтическому ис-

точнику, находившемуся въ свою очередь въ тѣсной генетической преемственности съ сѣверными балладами. . . . Эти послѣднія со своей стороны связываются по замыслу и отчасти по исполненію со скандинавской сагой про Гельги и Сигруну, переработавшей, какъ можно думать. . . . . своеобразно одну изъ классическихъ версій о возвращеніи Протезилая изъ царства тѣней къ тоскующей своей молодой женѣ Лаодаміи», (стр. 200—201). Въ концѣ второй части г. Созоновичъ останавливается на русскихъ былинахъ о Добрынѣ и Алешѣ, о возвращеніи Добрыни ко времени свадьбы его жены. Эти былины разсматриваются въ связи съ цѣлымъ рядомъ родственныхъ имъ повѣствованій. По мнѣнію г. Созоновича, «русскія былины примыкаютъ къ западно-европейскимъ обработкамъ даннаго сказанія чрезъ посредство собственно сербскихъ пѣсенъ». Западно-европейскія обработки восходятъ въ свою очередь къ древнѣйшему источнику,—къ сказанію о возвращеніи Одиссея. «Возникнувъ. . . . на основѣ классическаго разсказа о возвращеніи Одиссея къ Пенелопѣ, сказаніе это подвергалось неоднократнымъ воспроизведеніямъ, переходя изъ одной литературы въ другую, всюду получая свою мѣстную обработку, облекаясь всякій разъ въ формы національнаго литературнаго творчества данной народности, получая прикрѣпленіе къ цѣлому ряду или дѣйствительно историческихъ лицъ, или такихъ, о которыхъ имѣлись уже болѣе древнія сказанія или упоминанія въ письменныхъ источникахъ».

Книга г. Созоновича свидѣтельствуетъ объ обширной и разнообразной начитанности автора. Изслѣдуя распространеніе и измѣненіе сказанія о мертвецѣ-женихѣ, г. Созоновичъ останавливается прежде всего на «древне-классической версіи» этого сказанія, затѣмъ разсматриваетъ варіанты древне-скандинавскій, шведскій, датскій, нѣсколько варіантовъ англійскихъ, далѣе варіанты голландскіе, нѣмецкіе, юго-славянскіе, польскіе, русскіе. Еще большее число пересказовъ отмѣчено во второмъ отдѣлѣ книги, при разсмотрѣніи «поэтическаго мотива о внезапномъ возвращеніи мужа ко времени свадьбы своей жены». Конечно,

при этомъ собираніи варіантовъ г. Созоновичу оказали существенную помощь труды его предшественниковъ, но онъ не только провѣрилъ, но и дополнилъ указанія, найденныя имъ въ ученой литературѣ. Такая дополняющая провѣрка потребовала, конечно, большого и серьезнаго труда. Съ этой работой собиранія и анализированія варіантовъ г. Созоновичъ соединяетъ попытку обобщающихъ литературно-историческихъ построеній, попытку набросать картину постепеннаго передвиженія и постепенной переработки поэтическихъ сказаній. Основная мысль г. Созоновича уже указана выше: онъ ставитъ себѣ задачей прослѣдить передвиженіе двухъ «поэтическихъ мотивовъ»: о мертвомъ женихѣ и возвращающемся мужѣ; исходный пунктъ этого литературнаго движенія изслѣдователь отыскиваетъ въ древне-греческой литературѣ; конечнымъ пунктомъ представляются русскія народныя пѣсни и сказки; посредствующей средой служили западно-европейскія литературы.

Обиліе литературнаго матеріала, общая мысль, связывающая этотъ матеріалъ въ послѣдовательно раскрывающуюся картину, представляютъ неоспоримыя достоинства труда почтеннаго Варшавскаго профессора. Но при этихъ важныхъ и цѣнныхъ достоинствахъ книга г. Созоновича не чужда и нѣкоторыхъ немаловажныхъ недостатковъ.

I. Желая основать свои соображенія на возможно большемъ числѣ литературныхъ фактовъ, г. Созоновичъ заботливо собиралъ варіанты изучаемыхъ имъ сказаній. Эта заботливость о полнотѣ варіантовъ побуждала г. Созоновича останавливаться даже на такихъ разсказахъ, которые лишь нѣкоторыми подробностями соприкасаются съ кругомъ сказаній о мертвомъ женихѣ и о возвращающемся мужѣ. Въ первомъ отдѣлѣ книги въ числѣ варіантовъ «поэтическаго мотива о мертвомъ женихѣ» находимъ «варіантъ венгерско-армянскій», предлагающій, по замѣчанію г. Созоновича, «совсѣмъ своеобразную переработку нашего сюжета» (стр. 158). Переработка, дѣйствительно своеобразна: въ разсказѣ идетъ рѣчь не о мертвомъ женихѣ, а о мертвой возлюбленной. Во

второмъ отдѣлѣ своего труда г. Созоновичъ останавливается на англійскихъ балладахъ о Reichan'ѣ. «Эти баллады, по словамъ г. Созоновича, представляютъ особенный интересъ въ виду того обстоятельства, что, *«возникнувъ на основѣ иного сказанія*, чѣмъ изучаемый нами поэтическій сюжетъ, онѣ разрабатываются съ тѣми же самыми эпическими пріемами, съ которыми мы имѣли дѣло при изученіи обширнаго цикла сказаній о Горнѣ. . ., съ тою лишь разницею, что *дѣйствующія лица въ послѣднихъ мѣняются ролями:* мужская роль приписывается женщинѣ, а женская достается на долю героя» (стр. 394). Далѣе, въ 18-ой главѣ второй части, г. Созоновичъ обстоятельно разсматриваетъ сказанія: а) «о похищеніи жены героя и объ освобожденіи ея послѣднимъ и б) о преслѣдуемой въ отсутствіи мужа невѣсткѣ» (стр. 474 и слѣд.). Такія отступленія отъ основной темы свидѣтельствуютъ безспорно о замѣчательной старательности изслѣдователя и объ его хорошемъ знакомствѣ съ произведеніями литературнаго творчества европейскихъ народовъ; къ сожалѣнію, старательность и начитанность не всегда соединяются въ трудѣ г. Созоновича съ критической осмотрительностью. Примѣромъ неосмотрительности можетъ служить вторая глава второй части труда г. Созоновича: въ этой главѣ разсматривается разсказъ о возвращеніи изъ плѣна Раймунда du Bousquet. Варшавскій ученый называетъ этотъ разсказъ «провансальскимъ памятникомъ начала XI вѣка». Откуда же взяты г. Созоновичемъ свѣдѣнія объ этомъ памятникѣ? «Форіель, говоритъ нашъ изслѣдователь, называетъ его романомъ и передаетъ, что онъ былъ записанъ руководителемъ епископальной школы въ Анжерѣ, священникомъ Бернардомъ изъ устъ какого-то слѣпого жонглера». Г. Созоновичъ излагаетъ содержаніе этого «романа» по Форіелю. Кромѣ сомнительнаго, мало достовѣрнаго свидѣтельства Форіеля, нѣтъ никакихъ данныхъ для сужденія объ этомъ памятникѣ, будто-бы принадлежащемъ XI вѣку.

II. Какъ ни старательно собиралъ г. Созоновичъ варіанты изучаемыхъ имъ литературныхъ мотивовъ, въ собранномъ имъ

матеріалѣ все-таки оказались пропуски и недосмотры. Изъ числа этихъ пропущенныхъ варіантовъ особенно важны варіанты восточные, безъ изученія которыхъ основная гипотеза г. Созоновича представляется не вполнѣ выясненной и доказанной. Варшавскій ученый настаиваетъ на западномъ происхожденіи сказанія о возвращающемся мужѣ. Отыскавъ основу этого сказанія въ Одиссеѣ, нашъ изслѣдователь внимательно слѣдитъ за распространеніемъ и измѣненіемъ основного мотива въ литературахъ европейскихъ народовъ. Правда, г. Созоновичъ упоминаетъ и о восточныхъ параллеляхъ, но эти параллели его мало интересуютъ; онъ говоритъ о нихъ нѣсколько словъ лишь въ послѣдней главѣ своего труда, послѣ заключительныхъ выводовъ о филіаціи европейскихъ варіантовъ.

Восточныя параллели, на которыхъ останавливается г. Созоновичъ, слѣдующія: монгольское сказаніе о Гэсэръ-ханѣ, сирійскій разсказъ о мужѣ, отыскивающемъ похищенную жену, кавказская сказка объ Ашикъ-Керибѣ. Другихъ «восточныхъ параллелей» г. Созоновичъ не припоминаетъ, хотя такого рода параллели давно отмѣчены въ ученой литературѣ. М. Ландау въ изслѣдованіи объ источникахъ Декамерона («Die Quellen des Dekameron») обстоятельно разсмотрѣлъ «источники» и варіанты той новеллы Боккачіо («возвращеніе Торелло изъ плѣна у султана Саладина»), на которой останавливается и г. Созоновичъ, какъ на одномъ изъ итальянскихъ варіантовъ сказанія о возвращающемся мужѣ. Ландау указалъ нѣсколько восточныхъ варіантовъ новеллы: разсказъ Магабгараты о Налѣ и Дамаянти, одна изъ сказокъ въ сборникѣ «Тысяча и одинъ день», подобная же сказка въ арабской редакціи «Семи визирей», одинъ изъ разсказовъ Сомадевы. На этихъ же восточныхъ разсказахъ останавливается Роде въ изслѣдованіи о греческомъ романѣ («Der griechische Roman und seine Vorläufer»). Восточные разсказы Роде признаетъ литературными первообразами сродныхъ съ ними европейскихъ повѣствованій: «Vor allem aber befindet sich hier das orientalische Urbild für die im Occident weit verbreitete namentlich an Heinrich den Ló-

wen geknùpfte Sage von dem Traumgesicht des in der Ferne Weilenden von bevorstehender Wiederverheirathung seiner Frau, seiner zauberhaften Rùckkehr, seiner Ankunft im entscheidenden Augenblicke». Это замѣчаніе Роде повторено Либрехтомъ въ рецензіи на собраніе англійскихъ и шотландскихъ балладъ Чайльда [1]). Въ португальской повѣсти о королѣ Рамиро, отыскивающемъ свою похищенную жену, встрѣчается подробность, напоминающая разсказы о возвращающемся мужѣ. Рамиро опускаетъ въ кубокъ «половину камня, который подѣлилъ съ женою». Подобная же подробность въ одной изъ поэмъ Moallakat; это наблюденіе даетъ основаніе приписать португальской повѣсти арабское происхожденіе (А. Н. Веселовскій, Разысканія въ области р. дух. стиха, V, 79—80). Г. Созоновичъ признаетъ независимость западныхъ пересказовъ отъ восточныхъ. Чтобы придать убѣдительность своимъ соображеніямъ, онъ долженъ былъ свести счеты съ защитниками иной гипотезы: долженъ былъ разсмотрѣть восточные разсказы, указанные Ландау, Либрехтомъ, Роде и опредѣлить отношеніе этихъ разсказовъ къ западнымъ варіантамъ. Г. Созоновичъ этого не сдѣлалъ.

III. Занятый собираніемъ и сопоставленіемъ варіантовъ, г. Созоновичъ не всегда строго слѣдитъ за ходомъ своихъ соображеній. Разсмотрѣвъ сказаніе Эдды о Гельги и Сигрунѣ, г. Созоновичъ замѣчаетъ: «какъ бы ни былъ сжатъ и затемненъ древнегреческій миѳъ о Протезилаѣ и Лаодаміи, онъ невольно напоминаетъ собою только что изложенный сюжетъ скандинавской саги про Гельги и Сигруну, такъ что нѣтъ возможности отрицать единство ихъ не только демопсихологической, но и литературной основы, хотя *возстановить ихъ генетическую связь* съ полной точностью и опредѣленностью пока *не представляется возможнымъ за отсутствіемъ посредствующихъ звеньевъ*» (стр. 108). Далѣе, пересказавъ содержаніе шведской пѣсни о мертвомъ женихѣ «Macht des Kummers») и датской баллады подобнаго же содер-

1) Literaturblatt für germanische und romanische Philologie, 1885, № 1, S. 18.

жанія («Der Ritter Aage und Jungfrau Else»), нашъ ученый указываетъ на сходство этихъ пѣсенъ съ древне-скандинавской сагой, но затрудняется установить прямую связь сказаній о Гельги и Сигрунѣ съ произведеніями датской и шведской поэзіи. «Датская баллада, говоритъ г. Созоновичъ, при всей своей запутанности и неполнотѣ, подобно.... шведской пѣснѣ, нѣкоторыми подробностями.... напоминаетъ древнюю сагу про Гельги и Сигруну, но общимъ своимъ складомъ примыкаетъ къ позднѣйшимъ сказаніямъ о женщинѣ-мертвецѣ, возникшимъ, подобно классическому разсказу и скандинавской сагѣ, на вѣрованіи въ возможность возвращенія умершаго подъ вліяніемъ проливаемыхъ по немъ горькихъ слезъ. Если *шведская и датская пѣсни*, благодаря отсутствію посредствующихъ звеньевъ, *и не могутъ быть поставлены въ непосредственную связь со скандинавской сагой про Гельги*, то во всякомъ случаѣ онѣ отражаютъ одинаковое съ нею міровоззрѣніе и въ своей передачѣ сохраняютъ нѣкоторыя подробности обработки древняго скандинавскаго сказанія» (стр. 114). Въ концѣ изслѣдованія, подводя итогъ разысканіямъ, г. Созоновичъ превращаетъ эти нерѣшительныя догадки и предположенія въ положительный выводъ. По мнѣнію г. Созоновича, все разнообразіе народныхъ пѣсенъ и сказокъ о женихѣ-мертвецѣ «должно быть возведено на основаніи чертъ литературной обработки къ какому-то неизвѣстному намъ средневѣковому, повидимому, нѣмецкому поэтическому источнику, находившемуся въ свою очередь въ тѣсной генетической преемственности съ сѣверными балладами въ родѣ датской «Der Ritter Aage und Jungfrau Else» и шведской «Macht des Kummers». *Эти послѣднія со своей стороны связываются по замыслу и отчасти по исполненію со скандинавской сагой про Гельги и Сигруну*, переработавшей, какъ можно думать.... одну изъ классическихъ версій о возвращеніи Протезилая изъ царства тѣней къ тоскующей своей молодой женѣ Лаодаміи» (стр. 200—201). Въ двадцатой главѣ второй части своего труда г. Созоновичъ говоритъ о сходствѣ нашей былины о Добрынѣ съ польской пѣснею о панѣ Домбровѣ. По мнѣнію Варшавскаго

ученаго, это сходство «въ связи съ близостью именъ Домбровы и Добрыни придаетъ нѣкоторую вѣроятность предположенію, что русскія былины про Добрыню и Алешу сложились не безъ извѣстнаго вліянія польскихъ версій даннаго сказанія. Очень можетъ быть, что, благодаря такому вліянію, русскій обработыватель нашей темы прикрѣпилъ ее къ имени Добрыни, съ которымъ она и передается до нашихъ дней въ устно-поэтической традиціи» (стр. 518). Въ подтвержденіе этого предположенія г. Созоновичъ указываетъ на литературный фактъ, представляющій, по мнѣнію нашего изслѣдователя, нѣкоторое сходство съ отношеніями Добрыни и Домбровы. Рѣчь идетъ о Чурилѣ Пленковичѣ. «Чурило Пленковичъ,—говоритъ г. Созоновичъ,—повидимому, носитъ имя, сложившееся подъ польскимъ вліяніемъ и во всякомъ случаѣ принадлежащее извѣстному южно-русскому боярскому и въ то же время польскому шляхетскому роду... Родъ этотъ ведетъ начало, какъ говоритъ Несѣцкій, отъ Андрея Кирилло, котораго простой народъ переименовалъ на русскій ладъ Чурило отъ латинско-польской формы Cyryl. Въ XVI столѣтіи пользовался извѣстностью Андрей Чурило, бывшій сперва подкоморнымъ, а затѣмъ въ 1518 году каштеляномъ перемышльскимъ» и т. д. (стр. 519—520). Въ польскихъ литературныхъ памятникахъ также упоминается имя Чурилы. Если же имя Чурило, упоминаемое въ польскихъ памятникахъ, дѣйствительно представляетъ передѣлку «на русскій ладъ» формы Cyryl, то очевидно, это имя перешло въ польскія преданія изъ русскихъ. Поэтому и аналогія Чурилы и Добрыни (если только эта аналогія вѣрна) можетъ привести насъ къ выводу, противоположному соображеніямъ г. Созоновича: какъ польскій Чурило заимствованъ изъ русскихъ преданій, такъ и Домброва, упоминаемый въ польскихъ пѣсняхъ, представляетъ передѣлку русскаго Добрыни.

IV. Въ передачѣ историко-литературныхъ фактовъ, упоминаемыхъ въ книгѣ г. Созоновича, встрѣчаются неточности и обмолвки. Въ началѣ сочиненія г. Созоновичъ говоритъ о русскихъ переводахъ и передѣлкахъ Бюргеровой «Леноры», а именно о

«Людмилѣ» и «Ленорѣ» Жуковскаго, «Ольгѣ» Катенина. «Въ журналѣ *Сынъ Отечества* за 1816 годъ (ч. 30) и въ то же самое время въ *Вѣстникѣ Европы* Катенинъ помѣстилъ свое стихотвореніе «Ольга»—вольный переводъ изъ Бюргера... Въ слѣдующей части *Сына Отечества* (ч. 31) появилась рѣзкая рецензія на стихотвореніе Катенина, при чемъ критикъ не сочувственно отозвался какъ о формѣ, такъ и о самомъ содержаніи «Ольги», говоря: «однѣ красоты поэзіи могли до сихъ поръ извинить въ семъ родѣ сочиненій странный выборъ предметовъ». Рецензія *Сына Отечества* представляется принадлежащей неизвѣстному автору. Г. Созоновичъ не нашелъ почему-то нужнымъ упомянуть, что эта рецензія принадлежитъ Гнѣдичу. Батюшковъ находилъ статью Гнѣдича «прекрасной». Пушкинъ указываетъ, напротивъ, на «несправедливость» этой статьи. На 269-й страницѣ книги г. Созоновича читаемъ: «Въ V и VI столѣтіяхъ можно еще указать прекрасныхъ знатоковъ греческаго языка, какъ Павлинъ изъ Пеллы, читавшій въ подлинникѣ Гомера, какъ Боэцій, переводившій греческихъ философовъ и ученыхъ, какъ Кассіодоръ, дѣлавшій по нимъ конспекты, какъ Павелъ Діаконъ, привлекавшій всеобщее вниманіе при дворѣ Карла Великаго обширностью своихъ познаній, простиравшихся и на греческій языкъ» (стр. 269) Павелъ Дьяконъ († 801 г.), современникъ Карла В., по недосмотру, конечно, упомянутъ въ числѣ писателей V—VI в.

Всѣ эти недочеты и неточности, отыскивающіеся въ книгѣ г. Созоновича, вызываютъ чувство невольной досады. Очень непріятно находить недостатки въ трудѣ, имѣющемъ несомнѣнныя достоинства. Вспоминая объ этихъ достоинствахъ, о которыхъ я говорилъ въ началѣ рецензіи, рѣшаюсь предполагать, что Академія не откажетъ признать сочиненіе г. Созоновича заслуживающимъ почетнаго отзыва.

В. В. СИПОВСКІЙ. Н. М. КАРАМЗИНЪ, АВТОРЪ ПИСЕМЪ РУССКАГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА. СПБ. 1899.

(Рецензія).

Въ «Письмахъ русскаго путешественника», замѣчаетъ г. Сиповскій въ предисловіи къ своему труду, «ясно отражается личность Карамзина; они, кромѣ того, интересны, какъ произведеніе, съ которымъ органически связывается развитіе всей новѣйшей русской литературы—и, наконецъ, историку культуры они даютъ показанія, очень цѣнныя для пониманія русскаго общества конца XVIII вѣка»... — Изученію Путешествія Карамзина съ этихъ трехъ точекъ зрѣнія посвящена третья, послѣдняя глава сочиненія г. Сиповскаго. Въ этой главѣ Письма русскаго путешественника разсматриваются: а) съ біографической стороны, б) съ историко-литературной стороны и в) съ историко-культурной стороны. Въ двухъ предшествующихъ главахъ находимъ: а) біографическія свѣдѣнія о Карамзинѣ до времени путешествія и б) свѣдѣнія о литературной исторіи Писемъ русскаго путешественника (происхожденіе «Писемъ»; исторія текста «Писемъ»; слѣды литературныхъ вліяній въ «Письмахъ»; литературный жанръ «Писемъ»). Въ приложеніяхъ къ книгѣ помѣщены статьи: «Новиковъ, Шварцъ и московское масонство» и «Матеріалы для полнаго собранія сочиненій Карамзина».

Достоинство такихъ научныхъ трудовъ, какъ трудъ г. Сипов-

скаго,— трудовъ, въ которыхъ вниманіе изслѣдователя сосредоточивается на изученіи одного литературнаго произведенія, — опредѣляется тщательностью и законченностью разработки избранной темы, полнотой собранныхъ фактовъ, новизной и основательностью соображеній и выводовъ.

Изслѣдованіе г. Сиповскаго вполнѣ удовлетворяетъ всѣмъ этимъ требованіямъ.

Для сужденія о степени тщательности работы г. Сиповскаго можно указать на тотъ отдѣлъ его сочиненія, гдѣ указываются слѣды литературныхъ вліяній въ «Письмахъ русскаго путешественника». Разсмотрѣвъ внимательно «рядъ произведеній описательнаго характера (путешествія, описанія городовъ), указанія на которыя мы находимъ въ «Письмахъ русскаго путешественника», г. Сиповскій замѣчаетъ: «кромѣ этихъ сочиненій, есть цѣлый рядъ справочныхъ изданій и путешествій», на которыя въ «Письмахъ русскаго путешественника» нѣтъ никакихъ ссылокъ, хотя они были знакомы Карамзину и для «Писемъ» его дали нѣкоторый матеріалъ. Нѣсколько такихъ сочиненій найдены нами случайно при *послѣдовательномъ чтеніи* находящихся въ Императорской Публичной библіотекѣ сочиненій, по содержанію и по времени изданія близкихъ къ «Письмамъ русскаго путешественника» (стр. 314). Внимательность и старательность, которыя обнаруживаются въ этомъ «послѣдовательномъ чтеніи» справочныхъ сочиненій и путешествій, открываются также на тѣхъ страницахъ книги г. Сиповскаго, которыя заняты сравненіемъ текста двухъ первыхъ изданій «Писемъ русскаго путешественника» (стр. 170 и слѣд.).

Рядомъ съ тщательнымъ, кропотливымъ подборомъ фактовъ находимъ у г. Сиповскаго новыя сопоставленія фактовъ, счастливыя соображенія и догадки. Для примѣра укажемъ замѣчанія г. Сиповскаго о разницѣ между первыми и послѣдними «Письмами русскаго путешественника». «Нельзя, наконецъ, не сказать,—пишетъ г. Сиповскій,—что «Письма русскаго путешественника» оказались настолько чуткими къ субъективнымъ воздѣй-

ствіямъ ихъ автора, что десять лѣтъ промежутка между появленіемъ въ свѣтъ первой половины ихъ и второй замѣтно отразились на нихъ: «Письма» состарились вмѣстѣ съ ихъ творцомъ... Во второй половинѣ «Писемъ» преобладаетъ уже жизнь «разумомъ», сантиментализмъ же еле замѣтенъ... Карамзинъ холоднѣе смотритъ на все и пользуется своимъ «произведеніемъ» уже для проведенія въ публику своихъ позднѣйшихъ взглядовъ, чувствъ и интересовъ... Такимъ образомъ, хотя «Письма» дѣйствительно могутъ быть названы «зеркаломъ» души Карамзина, но изслѣдователь долженъ очень осмотрительно относиться къ этому зеркалу, чтобы не смѣшать взглядовъ Карамзина, относящихся къ разнымъ періодамъ его жизни» (стр. 448—449). Разсматривая «Письма русскаго путешественника» съ историко-культурной стороны, г. Сиповскій приводитъ любопытныя данныя изъ исторіи цензуры въ екатерининское и павловское время; эти данныя извлечены изъ бумагъ архивовъ сенатскаго и Государственнаго Совѣта (стр. 551). Помѣщенная въ приложеніяхъ статья: «Новиковъ, Шварцъ и московское масонство» очень интересна по новымъ соображеніямъ о русскомъ масонствѣ.

Конечно, не со всѣми догадками и выводами г. Сиповскаго можно согласиться; можно указать въ его трудѣ кое-что лишнее, кое-что недостающее, но эти маленькіе недочеты не понижаютъ высокой цѣнности сочиненія, написаннаго даровитымъ и трудолюбивымъ изслѣдователемъ.

Не колеблясь, признаю сочиненіе г. Сиповскаго заслуживающимъ поощрительной преміи.

16 марта 1901 г.

ПРИЛОЖЕНІЯ.

О черновой рукописи III части изслѣдованія о „Валтасарѣ“ [1]).

Въ изслѣдованіи „Повѣсть о царевичѣ Валтасарѣ и былины о Святогорѣ“ И. Н. Ждановъ возвращается къ темѣ, затронутой имъ въ его магистерской диссертаціи „Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи“, а именно къ былинамъ о Самсонѣ и Святогорѣ и болѣе спеціально къ эпизоду о Святогоровой женѣ.

Напечатанная при жизни Ивана Николаевича часть изслѣдованія обнимаетъ собою кромѣ общаго введенія о вліяніи повѣствовательной литературы на былевую нашу поэзію, полу-изданіе, полупересказъ повѣсти о Валтасарѣ и изложеніе трехъ варіантовъ повѣсти: А) арабскаго въ 1001 ночи, Б) итальянскаго, у Серкамби, В) итальянскаго-же, у Аріосто, въ XXVIII главѣ „Неистоваго Роланда“. Затѣмъ слѣдуетъ указаніе о восточномъ происхожденіи повѣсти, зашедшей однако къ намъ, въ русскую литературу, уже съ запада. Послѣ того приводятся еще три варіанта, но уже изъ народной словесности: русская сказка изъ Смоленской губерніи и нѣсколько отличныя сказки — венгерская и ингушская.

Далѣе, по плану Ивана Николаевича, долженъ былъ разбираться вопросъ о составѣ и литературныхъ отношеніяхъ повѣсти, начало чему только отчасти сдѣлано во второмъ отдѣлѣ напечатанной части изслѣдованія. Въ третьемъ отдѣлѣ, сохранившемся въ рукописи [2]),

1) См. т. I стр. 842—869.

2) Рукопись написана карандашемъ, очень бѣгло и съ сокращеніями; отдѣльныя слова остались неразобранными, несмотря на тщательнѣйшую провѣрку текста А. А. Чебышевымъ, отлично знающимъ почеркъ покойнаго. Въ

прежде всего разбираются отдѣльные разсказы, входящіе въ составъ повѣсти:

При этомъ Иванъ Николаевичъ останавливается на двухъ темахъ: а) о любви женщины къ уроду и б) о женщинѣ, скрываемой въ ящикѣ (мѣшкѣ, кольцѣ). Давъ рядъ варіантовъ изъ литературъ восточныхъ и западныхъ, авторъ переходитъ къ былиннымъ разсказамъ о Святогорѣ, отчасти повторяя уже сказанное имъ по этому предмету въ первой (указанной выше) работѣ. Изъ новаго матеріала онъ привлекаетъ неизданную, сохранившуюся въ отрывкѣ, старо-русскую повѣсть о царевичѣ Фиргисѣ (по Погодинской рук. № 2004) и средневѣковыя преданія объ основаніи Константинополя. Перейдя отъ эпизода женитьбы Святогора къ эпизоду о смерти богатыря, Иванъ Николаевичъ опять пополняетъ литературныя параллели, приведенныя въ первой работѣ, новыми параллелями.

Къ сожалѣнію конецъ рукописи представляетъ большія трудности при чтеніи и заставляетъ быть особенно осторожнымъ по отношенію къ лишь мѣстами вполнѣ понятному тексту.

Необходимость не откладывать на слишкомъ долгій срокъ выходъ второго тома сочиненій Ивана Николаевича заставляетъ насъ пока отказаться отъ мысли дать полное изложеніе III-ей части статьи о „Валтасарѣ“, такъ какъ для успѣха подобнаго изложенія необходимо было бы свѣрить всѣ источники, на которые ссылается авторъ; безъ этой работы легко не понять того, что имѣлъ въ виду сдѣлать Иванъ Николаевичъ. Мы не теряемъ однако надежды вернуться современемъ къ этой работѣ.

Сергѣй Ольденбургъ.

рукописи 59 листовъ въ четвертку и 1 въ осьмушку; рукопись вложена въ синюю обертку ученической тетради съ надписью «Валтас.». На первой страницѣ поставлено въ заголовкѣ III; этимъ обозначено продолженіе печатнаго текста. На приложенныхъ къ рукописи отдѣльныхъ листкахъ разныхъ форматовъ ссылки на литературу.

И. Н. Ждановъ

(Біографическій очеркъ).

I.

Иванъ Николаевичъ Ждановъ родился въ г. Шенкурскѣ Архангельской губ. 22 іюня 1846 г. [1]) Его отецъ Николай Григорьевичъ, сынъ священника Вологодской епархіи, по окончаніи курса сначала Вологодской семинаріи, а затѣмъ и Московской Духовной Академіи, со степенью кандидата и съ правомъ, по выслугѣ двухъ лѣтъ, на степень магистра, былъ назначенъ въ 1826 г. «къ профессорской должности въ Архангельскую Духовную Семинарію по церковной исторіи и греческому языку» [2]). Въ 1831 г. Николай Григорьевичъ женился на Аннѣ Ивановнѣ Леваковской (дочери протоіерея) и переселился въ уѣздный городъ Шенкурскъ, гдѣ занялъ мѣсто смотрителя приходского училища и настоятеля собора. По открытіи въ Шенкурскѣ духовнаго уѣзднаго училища въ 1848 г. Николай Гри-

1) Составитель очерка считаетъ своимъ долгомъ выразить глубокую признательность: А. Н. Арсеньевой, протоіерею Н. И. Варѳоломееву, В. О. Ждановой, В. И. Жданову, А. Л. Иконниковой, профессору В. С. Иконникову, А. Н. Колмакову, проф. И. А. Линниченку, А. А. Майковой, Б. Л. Модзалевскому, Смотрителю Александро-Невскаго Духовнаго Училища, архимандриту Никодиму, акад. С. Ѳ. Ольденбургу, М. В. Прокопьеву, А. Н. Протопоповой, В. И. Саитову, І. М. Сибирцеву, Ѳ. А. Уберскому, акад. Ѳ. И. Успенскому и др., оказавшимъ ему содѣйствіе въ работѣ и снабдившимъ его необходимымъ матеріаломъ.

2) Формулярный списокъ Н. Г. Жданова; Арх. Спб. Дух. Акад. дѣло отъ 30-го іюня 1828 г. № 50. См. также «Очеркъ жизни протоіерея Н. Г. Жданова» (подписано буквами А. Л. И.) въ «Арх. Губ. Вѣд.» 1872 г. № 52.

горьевичъ былъ опредѣленъ ректоромъ вновь открытаго уѣзднаго и уже существовавшаго приходского училища [1]).

Первоначальное образованіе Иванъ Николаевичъ получилъ подъ непосредственнымъ руководствомъ своего отца. Въ 1853 г. онъ поступилъ во 2-й классъ Шенкурскаго духовнаго училища, которымъ завѣдывалъ его отецъ и въ которомъ уже обучался старшій его братъ Евгеній Николаевичъ. Впрочемъ, по свидѣтельству товарища Ивана Николаевича по Архангельской семинаріи, протоіерея Н. И. Варѳоломеева, [2]) отецъ продолжалъ «слѣдить за занятіями своихъ дѣтей и отчасти руководить ими» и впослѣдствіи, когда старшіе его сыновья, Евгеній и Иванъ, перешли въ Архангельскую семинарію, а младшій, Сергѣй, въ Архангельскую гимназію. И. Н. Ждановъ въ своемъ развитіи, говоритъ Н. И. Варѳоломеевъ, «не столько обязанъ школѣ, сколько своей семьѣ». «Семью соборнаго протоіерея», читаемъ мы въ рукописныхъ воспоминаніяхъ другого товарища Ивана Николаевича по Архангельской семинаріи, М. В. Прокопьева, «знали въ Архангельскѣ съ самой хорошей стороны, какъ семью интеллигентную и нравственно воспитанную». «Всѣ», замѣчаетъ онъ, «кто зналъ о. Николая, особенно изъ его прихожанъ, относились къ нему съ должнымъ уваженіемъ, какъ къ образованному пастырю церкви.». С. Н. Ждановъ, въ письмѣ къ сыну Ивана Николаевича, написанномъ незадолго передъ своею смертью (1903 г.), также характеризуетъ своихъ родителей, какъ «людей глубоко религіозныхъ и строго нравственныхъ». «Самъ Иванъ Николаевичъ», читаемъ мы въ томъ же письмѣ, «будучи въ семинаріи, былъ очень религіозенъ и одно время мечталъ о монашествѣ». Впрочемъ, эта мечта была мимолетнымъ юношескимъ увлеченіемъ, которому не суждено было осуществиться. Другіе интересы вытѣснили эту мечту, направили Ивана Николаевича на совсѣмъ иной путь. Но, какъ можно предположить, эта мечта въ юные годы глубоко его захватила, оставивъ по себѣ нѣкоторый слѣдъ въ его душѣ. И въ зрѣлые годы онъ иногда называлъ себя, правда шутя, «монахомъ», «чернецомъ», очевидно намекая на свой замкнутый образъ жизни ученаго затворника, на столь любимыя имъ «хожденія» по монастырскимъ обителямъ, которыя онъ не переставалъ посѣщать, въ свободное отъ своихъ педагогическихъ занятій время, въ теченіе

1) Архивъ Спб. Дух. Акад., дѣло 1852 г. № 109.

2) Рукописныя воспоминанія объ И. Н. Ждановѣ.

всей своей жизни. Посѣщалъ онъ монастыри не только съ научною цѣлью, какъ хранилища цѣнныхъ для его изслѣдованій рукописей, но еще и потому, что съ монастырями соединялись у него воспоминанія о дняхъ его юности, о своемъ родномъ Архангельскомъ краѣ, гдѣ съ давнихъ поръ установилось самое тѣсное и живое общеніе между народомъ и монастырями.

Вліяніе Николая Григорьевича на своихъ дѣтей вообще и въ частности на Ивана Николаевича не ограничивалось, однако, одною нравственною, религіозною областью. Онъ старался не только воспитать въ своихъ дѣтяхъ религіозное чувство и внѣдрить въ нихъ принципы нравственности, но въ равной мѣрѣ заботился и о пробужденіи и развитіи ихъ умственныхъ интересовъ. И въ самомъ дѣлѣ, Н. Г. Ждановъ принадлежалъ къ числу далеко не заурядныхъ пастырей церкви. Лица, близко знавшія Николая Григорьевича, говорятъ объ его обширномъ умѣ, объ его образованіи. Въ теченіе своей жизни онъ занимался педагогической дѣятельностью, преподавалъ не только церковную исторію и другія богословскія, но и философскія науки, греческій и русскій языки [1]). По словамъ С. Н. Жданова, его отецъ «былъ строгій логикъ и стилистъ»; «въ молодости онъ былъ», замѣчаетъ Сергѣй Николаевичъ «надо полагать, любителемъ русской поэзіи,—я видѣлъ тетрадь старинной синей бумаги, гдѣ были написаны тщательно его рукою избранныя стихотворенія начала XIX в., преимущественно Жуковскаго». По свидѣтельству протоіерея Варѳоломеева, «все свободное время между уроками Иванъ Николаевичъ (въ бытность въ семинаріи) употреблялъ на чтеніе книгъ, подъ наблюденіемъ и руководствомъ своего отца. И чего, чего онъ не перечиталъ. Кромѣ отечественной литературы, духовной и свѣтской, онъ прочиталъ и сочиненія многихъ иностранныхъ писателей, какъ-то Маколея и др. Въ послѣднее время пребыванія въ семинаріи Иванъ Николаевичъ преимущественно занимался богословіемъ и философіей, въ особенности послѣдней, читалъ много философскихъ сочиненій».

Заботы Николая Григорьевича объ умственномъ развитіи своихъ

1) Нѣкоторое время Н. Г. исправлялъ должность профессора философскихъ наукъ въ Арханг. семинаріи (Архивъ Спб. Дух. Акад. дѣло № 109. (1852 г.). Русскій языкъ онъ преподавалъ въ Шенкурскомъ народн. уѣзд. учил. (Мин. Нар. Просв.) гдѣ состоялъ и законоучителемъ. Съ 1858 по 1861 г. онъ преподавалъ законъ Божій въ Арханг. губ. гимназіи. Въ 1863 г. Н. Г. былъ назначенъ попечителемъ Архангельскаго епархіальнаго женскаго училища.

дѣтей оказались не безплодными. Изъ трехъ его сыновей, окончивших курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, двое средній и младшій [1], посвятили себя научно-педагогической дѣятельности и своими трудами завоевали себѣ, каждый во своей спеціальности, почетную извѣстность. Младшая изъ его дочерей избрала себѣ медицинскую карьеру.

Мы сказали выше, что Иванъ Николаевичъ въ 1853 г. поступилъ во 2-й классъ Шенкурскаго духовнаго училища, въ которомъ, по словамъ Н. И. Варфоломеева, онъ «съ перваго урока занялъ первое мѣсто» и удержалъ его за собою до перехода въ Архангельское духовное училище, въ 1856 г., по случаю назначенія его отца настоятелемъ каѳедральнаго собора въ Архангельскѣ и членомъ мѣстной духовной консисторіи. Изъ «похвальнаго листа», выданнаго 11-го іюля 1857 г. «ученику средняго отдѣленія Арханг. духовн. уѣздн. училища Ивану Жданову», можно заключить, что и въ этомъ училищѣ, его занятія шли не менѣе успѣшно, чѣмъ въ Шенкурскѣ.

Въ 1859 г. Иванъ Николаевичъ поступилъ въ Архангельскую духовную семинарію въ «низшее отдѣленіе» или въ «риторику», по выраженію семинаристовъ того времени, ибо въ этомъ отдѣленіи (всѣхъ отдѣленій въ семинаріи тогда было три: низшее, среднее и высшее, при двухгодичномъ курсѣ въ каждомъ отдѣленіи) основнымъ предметомъ была риторика или словесность. Учебная жизнь Архангельской семинаріи въ началѣ 60-хъ годовъ XIX в. нормировалась уставомъ 1840 г., смѣнившимъ прежде дѣйствовавшій уставъ 1808 г. и въ тѣ годы, въ свою очередь, доживавшимъ свой вѣкъ, въ ожиданіи коренного преобразованія всѣхъ духовно-учебныхъ заведеній, совершившагося въ 1869 г. Учебная программа этой семинаріи въ тѣ годы, когда въ ней обучался Иванъ Николаевичъ, отличалась тою же многопредметностью, которая составляла характерную особенность всѣхъ вообще семинарскихъ программъ, основанныхъ на уставѣ 1840 г. Кромѣ богословскихъ наукъ, въ ней преподавались и логика, психологія, словесность, алгебра, геометрія, физика, естественная исторія, сельское хозяйство, народная медицина, латинскій и греческій языки. Что касается до новыхъ языковъ, то по уставу 1840 г. они были причислены къ предметамъ необязательнымъ и преподавались только «желающимъ, по ихъ выбору». Иванъ

---

1) С. Н. Ждановъ, докторъ греческой словесности, занималъ въ теченіе 22 лѣтъ каѳедру греческаго языка въ Нѣжинскомъ Истор.-филол. Инст.

Николаевичъ пожелалъ заниматься нѣмецкимъ языкомъ, который онъ и изучалъ подъ руководствомъ Ѳ. Г. Орлова, «замѣчательнаго лингвиста и одного изъ даровитѣйшихъ преподавателей семинаріи», по словамъ Н. И. Варѳоломеева. Судя по даннымъ, сохранившимся въ Архивѣ Архангельской семинаріи [1]), учебное дѣло было поставлено въ ней, несмотря на ея территоріальную отдаленность, не хуже, чѣмъ въ другихъ семинаріяхъ этого времени; во всякомъ случаѣ всѣ вообще предметы, въ особенности же словесность, проходились довольно систематично и обширно. Семинарскіе товарищи Ивана Николаевича сохранили благодарныя воспоминанія о лицахъ, стоявшихъ во главѣ воспитавшаго ихъ учебнаго заведенія, какъ, напримѣръ, о ректорѣ архим. Веніаминѣ и инспекторѣ архим. Донатѣ; воспоминанія отмѣчаютъ педагогическій тактъ этихъ руководителей, ихъ внимательное отношеніе къ семинаристамъ, умѣнье возбуждать учениковъ къ самодѣятельности и т. д. Во все время пребыванія въ семинаріи Иванъ Николаевичъ «шелъ первымъ ученикомъ», обращая на себя вниманіе своими выдающимися умственными способностями и замѣчательнымъ трудолюбіемъ. Н. И. Варѳоломеевъ называетъ его въ своихъ воспоминаніяхъ «красою и славою своего курса». По словамъ другого товарища, Иванъ Николаевичъ учился по всѣмъ предметамъ прекрасно. «Одно пѣніе его смущало. Онъ никогда не пѣлъ и пѣть не умѣлъ». Во внѣклассное время Ждановъ (И. Н. былъ экстерномъ и проживалъ въ родительскомъ домѣ) усиленно предавался чтенію, знакомясь съ произведеніями не только русскихъ, но и иностранныхъ писателей, въ особенности же усердно занимался чтеніемъ философскихъ сочиненій, быть можетъ, тѣмъ пополняя пробѣлы семинарской программы, въ которой философія, какъ самостоятельный предметъ отсутствовала. [2])

Въ одной критической замѣткѣ, помѣщенной недавно въ «Историческомъ Вѣстникѣ», по поводу выхода въ свѣтъ I тома собранія сочиненій Жданова указывалось, между прочимъ, на то, что Иванъ Николаевичъ и «въ строго научныхъ изслѣдованіяхъ обнаруживалъ стремленіе къ внѣшней красотѣ». «Видно», замѣчаетъ авторъ этой замѣтки, семинарская закваска отразилась на немъ въ положительномъ смыслѣ» [3]). Это замѣчаніе не лишено основанія. Семинарское

1) Свѣдѣнія эти были любезно доставлены І. М. Сибирцевымъ.

2) Философія, занимавшая видное мѣсто въ Уставѣ 1808 г., устраняется изъ семинарскихъ программъ, основанныхъ на Уставѣ 1840 г.

3) Ст. подпис. А. Я. «Истор. Вѣстн.» Отд. крит. и библіогр. январь 1905 г., стр. 308—310.

начальство, руководствуясь уставомъ 1840 г., придавало большое значеніе письменнымъ упражненіямъ. Но, думается намъ, что на ряду съ вліяніемъ семинаріи на развитіе стремленія Ивана Николаевича къ красотѣ формы, не слѣдуетъ забывать и вліянія отца, который, самъ «строгій логикъ и стилистъ», слѣдя за занятіями своихъ дѣтей, пріучалъ ихъ къ логическому выраженію своихъ мыслей и уваженію къ стилю. И въ самомъ дѣлѣ, еще въ низшемъ отдѣленіи письменныя работы Ивана Николаевича обращаютъ на себя вниманіе преподавателей: послѣдніе находили его работы «отличными по мысли и по языку». Въ сочиненіяхъ, писанныхъ въ высшемъ отдѣленіи, преподаватели отмѣчаютъ «обширность и глубину взглядовъ, логическое и ясное изложеніе мысли». На одномъ изъ нихъ, относящемся къ 1864 г. и озаглавленномъ «Чѣмъ объяснить замѣчаемое въ простонародіи Архангельскомъ равнодушіе къ церкви», имѣется слѣдующая надпись ректора: «Сочиненіе это имѣетъ живой интересъ. Произнесть его въ собраніи учениковъ Архангельской семинаріи». Эта письменая работа представляется довольно любопытной для характеристики общественныхъ взглядовъ юнаго Ивана Николаевича. Онъ затрогиваетъ въ ней вопросъ, не потерявшій своего смысла и значенія и понынѣ, и не только для Архангельскаго края, но и для всей русской земли. Въ числѣ причинъ, объясняющихъ нерадѣніе къ церкви Архангельскаго простонародія и уклоненіе его въ расколъ, Иванъ Николаевичъ указываетъ на отсутствіе той «живой и внутренней связи между священниками и народомъ, которая издавна существуетъ между послѣднимъ и монастырями», на формальное исполненіе священниками своего пастырскаго долга, въ силу чего въ народѣ «издавна развился и окрѣпъ пагубный взглядъ на священниковъ, какъ на чиновниковъ, на ихъ дѣло, какъ на необходимую оффицію извѣстнаго сословія». Вотъ въ какихъ выраженіяхъ описываетъ онъ «страшную и грустную катастрофу», разразившуюся во второй половинѣ XVII ст. «Народъ услышалъ, что старцы соловецкіе въ спорѣ съ духовными властями; старцы бунтуютъ; архимандритъ Никаноръ провозглашаетъ, что де въ нынѣшнія послѣднія времена можно и безъ поповъ быть, ибо церкви всѣ осквернены Никоніанствомъ. Быстро, перекатнымъ эхомъ, разнесся этотъ голосъ изъ отока Соловецкаго по всему Поморью». Народъ не остался глухъ къ этому голосу. «Священники прибѣгли къ несчастной, жалкой мѣрѣ: пригласили на помощь въ дѣлѣ привлеченія народа къ церкви свѣтскую власть; вмѣсто силы нравственнаго вліянія, пошла въ ходъ внѣшняя, матеріальная сила». «Легко понять, замѣчаетъ Архан-

гельскій семинаристъ, къ чему привела подобная мѣра: человѣкъ всегда и вообще слишкомъ дорожитъ своими лучшими чувствами, чтобы подчинять ихъ кнуту или «указу» [2]). Отрицательное отношеніе къ совмѣщенію въ лицѣ священника пастырскаго служенія съ функціями правительственнаго чиновника съ одной стороны, а съ другой къ грубому насилію чинимому надъ свободою совѣсти ясно обнаруживается въ этомъ школьномъ сочиненіи, на которомъ несомнѣнно отразились гуманныя вѣянія шестидесятыхъ годовъ.

Изъ воспоминаній товарищей И. Н. Жданова мы узнаемъ, что въ началѣ 60-хъ гг., подъ вліяніемъ всеобщаго подъема духа, въ семинарской средѣ оживляется интересъ къ литературнымъ занятіямъ. Учебное начальство, въ видахъ развитія самодѣятельности учениковъ, устраиваетъ въ свободное отъ уроковъ время, въ стѣнахъ самой семинаріи, литературныя бесѣды, на которыхъ обсуждаются рефераты, составленные учениками по поводу какой-либо прочитанной книги или статьи. Мы узнаемъ также, что ученики семинаріи издавали журналы, какъ, напр., «Другъ дѣтей», «Семинаристъ». Иванъ Николаевичъ принималъ живое участіе какъ въ «бесѣдахъ», такъ и въ журналахъ.

Въ семинаріи Ждановъ, будучи въ послѣднемъ классѣ, положилъ начало своей педагогической дѣятельности. По словамъ М. В. Прокопьева, онъ самъ и его товарищи живо интересовались педагогическими вопросами. «Мы», замѣчаетъ онъ, «хорошо знали Ушинскаго и другихъ выдающихся педагоговъ того времени». Идя на встрѣчу этимъ пробудившимся педагогическимъ интересамъ, семинарское начальство предложило ученикамъ старшаго класса, въ томъ числѣ и Ивану Николаевичу, заняться первоначальнымъ обученіемъ малолѣтнихъ дѣтей-сиротъ, находившагося въ недалекомъ разстояніи отъ семинаріи, Пріюта св. Петра. Лѣтомъ 1866 г. Иванъ Николаевичъ, уже студентъ Духовной Академіи, пріѣхалъ на побывку къ своимъ родителямъ въ Архангельскъ и однажды посѣтилъ пріютъ. «Нужно было видѣть», говоритъ М. В. Прокопьевъ, «съ какимъ искреннимъ чувствомъ радости встрѣтили дѣти своего бывшаго учителя». Тотъ же семинарскій товарищъ разсказываетъ, какъ однажды И. Н. Ждановъ, находясь въ послѣднемъ классѣ, выступилъ, въ качествѣ оратора, передъ довольно многолюднымъ собра-

1) Съ этимъ сочиненіемъ мы познакомились, благодаря любезной присылкѣ Н. И. Варѳоломеева.

ніемъ. На него палъ выборъ сказать слово у гроба умершаго въ Архангельскѣ настоятеля Соловецкаго монастыря, архимандрита Порфирія. «Отпѣваніе было со всѣмъ подобающимъ почетомъ: гробъ былъ принесенъ въ соборъ, собралось много народа; богослуженіе совершалъ епископъ Наѳанаилъ съ многочисленнымъ духовенствомъ. Вотъ, видимъ, подходитъ къ гробу семинаристъ высокаго роста въ стихарѣ, вынимаетъ тетрадь и начинаетъ не читать, а говорить рѣчь — ровно, спокойно, плавно, изрѣдка обращаясь къ своей тетради, когда нужно было прочитать подлинныя слова. Нужно замѣтить, что покойный архимандритъ былъ образованный человѣкъ и принималъ участіе въ духовной литературѣ. Иванъ Николаевичъ собралъ, насколько было возможно, все написанное послѣднимъ, сдѣлалъ удачныя выдержки изъ его сочиненій. Его прекрасная рѣчь произвела на слушателей весьма благопріятное впечатлѣніе».

II.

По блестящемъ окончаніи курса Архангельской семинаріи въ 1865 г., Иванъ Николаевичъ, какъ лучшій воспитанникъ, былъ отправленъ въ Петербургъ для поступленія на казенный счетъ въ Духовную Академію, въ которой онъ пробылъ не долго, всего два года, и такимъ образомъ успѣлъ пройти только Низшее Отдѣленіе, гдѣ преподавались предметы общеобразовательные; спеціальнымъ же, богословскимъ наукамъ, было отведено мѣсто въ академической программѣ Высшаго Отдѣленія [1]). 10 сентября 1867 г. И. Н. Ждановъ подалъ въ Правленіе Духовной Академіи прошеніе, въ которомъ заявилъ о своемъ намѣреніи перейти въ СПБ. Университетъ, и мотивировалъ это намѣреніе «желаніемъ заняться изученіемъ историческихъ наукъ».

Историко-филологическій факультетъ СПБ. Университета во время студенчества Ивана Николаевича представлялъ собою весьма благопріятныя условія для развитія вкуса къ серьезнымъ занятіямъ вообще и къ историческимъ въ особенности. Въ числѣ профессоровъ,

---

1) Въ Академіи того времени было всего два Отдѣленія при 2-хъ годичномъ курсѣ въ каждомъ. И. Чистовичъ СПБ. Дух. Акад. за послѣднія 30 лѣтъ (1858—1888) СПБ. 1889 г. стр. 116.

слушателемъ которыхъ онъ былъ, находились такія лица, какъ К. Н. Бестужевъ-Рюминъ, В. Г. Васильевскій, И. И. Срезневскій, В. И. Ламанскій, М. И. Сухомлиновъ, О. Ѳ. Миллеръ, А. Н. Веселовскій, начавшій въ 1870 г. свою профессорскую дѣятельность въ качествѣ приватъ-доцента.

Для уясненія того, что далъ именно Университетъ И. Н. Жданову, считаемъ не лишнимъ нѣсколько ближе познакомиться съ съ тѣми изъ профессоровъ, которые сыграли наиболѣе видную роль въ его духовномъ развитіи и оказали наиболѣе сильное вліяніе на его дальнѣйшую дѣятельность. Остановимся прежде всего на К. Н. Бестужевѣ-Рюминѣ, профессорѣ русской исторіи, которая, на ряду съ исторіей русской литературы, была излюбленнымъ предметомъ Ивана Николаевича. Константинъ Николаевичъ, по отзыву его слушателя въ СПБ. Университетѣ въ 1865—1868 гг. проф. Фойницкаго, имѣлъ огромное вліяніе на свою аудиторію, несмотря на то что «его лекціи были всегда чужды» той «злобы жизни», которая «въ эту пору политическихъ увлеченій» имѣла для университетской молодежи «первенствующее значеніе» [1]). Высота его нравственныхъ убѣжденій, глубокая мысль, всегда лежащая въ основѣ его лекцій, живая, одушевленная рѣчь, всегда содержательная и простая, но изящная и остроумная, объясняетъ намъ тайну этого успѣха и той «притягательной силы», которою обладалъ Константинъ Николаевичъ и о которой, кромѣ проф. Фойницкаго, говорятъ и другіе его слушатели. «Мнѣ думается», замѣчаетъ біографъ Бестужева, проф. Шмурло, характеризуя педагогическую дѣятельность Константина Николаевича, «никто другой изъ нашихъ ученыхъ такъ ярко не выражалъ и не проводилъ столь глубоко въ сознаніе идею необходимости всесторонняго изученія явленій прошлаго, какъ онъ,—необходимости привлечь на помощь исторіи всѣ отрасли гуманитарнаго знанія» [2]). Еще въ своей вступительной лекціи, читанной въ СПБ. Университетѣ 2 сентября 1865 г., Константинъ Николаевичъ настаивалъ на томъ, что «жизнь народная слагается изъ взаимодѣйствія всѣхъ сторонъ: и церковной, и литературной, и правовой и многихъ иныхъ» [3]). Бестужевъ-Рюминъ даже отказывалъ въ самостоятельномъ значеніи такимъ дисциплинамъ, какъ исторія литера-

1) Е. Шмурло. «Очеркъ жизни и научной дѣятельности К. Н. Бестужева-Рюмина», стр. 139—140.

2) Ibidem. 161.

3) Ibidem. 151.

туры, исторія церкви или исторія права, видя въ нихъ не болѣе какъ «частные побѣги развѣтвленія одной основной дисциплины — собственно исторіи»... Всего больше однако изъ этихъ «развѣтвленій» интересовался Бестужевъ литературой [1]). Въ своихъ лекціяхъ онъ удѣлялъ особенное вниманіе народной поэзіи. Основная задача русской исторіи заключалась для него, по словамъ проф. Шмурло, «въ уясненіи нашего народнаго быта и нашего народнаго характера. Вслѣдствіе этого на первый планъ выступаетъ изученіе повѣрій, преданій и поэтическихъ произведеній народныхъ, вообще всего того, въ чемъ выражаются воззрѣнія народа на природу, человѣка и силы, управляющія природою и человѣкомъ». «Народная поэзія», говорилъ онъ, «должна лечь во главѣ угла, при изученіи исторіи народа, ибо въ ней хранится ключъ къ пониманію всѣхъ событій и всѣхъ переворотовъ этой исторіи» [2]).

Отсюда ясно, что благодаря именно самому характеру преподавательской дѣятельности Бестужева, а также широтѣ постановки вопросовъ изученія историческихъ явленій, въ силу которыхъ онъ съ такимъ вниманіемъ останавливался на литературной сторонѣ русской исторіи и придавалъ такое значеніе русской народной поэзіи, лекціи такого профессора не могли не возбудить самаго живого интереса въ томъ изъ его слушателей, которому суждено было впослѣдствіи занять одно изъ наиболѣе видныхъ мѣстъ въ ряду изслѣдователей русской литературной старины вообще и народной словесности въ частности. Намъ кажется, что эта широта постановки изученія русской исторіи, наблюдаемая въ лекціяхъ Бестужева, не прошла безслѣдно для его слушателя въ его позднѣйшей профессорской дѣятельности. Лекціи Ивана Николаевича отличались именно широтою постановки вопросовъ изученія литературныхъ явленій, которыя неизмѣнно разсматриваются въ самой тѣсной связи съ теченіями общественной мысли, въ ихъ культурно-исторической обстановкѣ. Быть можетъ, вліяніе Бестужева сказалось и въ выборѣ Иваномъ Николаевичемъ темы для сочиненія о Царѣ Иванѣ Васильевичѣ, какъ о писателѣ, которымъ онъ долгое время занимался по окончаніи Университета. Константинъ Николаевичъ, по словамъ его біографа, удѣлялъ особенное вниманіе въ своихъ лекціяхъ фигурѣ Грознаго. «Эта личность», замѣчаетъ проф. Шмурло, «едва ли не сильнѣе всѣхъ остальныхъ влекла его къ себѣ, манила на трудную задачу

1) Ibidem. 269.
2) Шмурло. 119—120.

разгадать ея сложный характеръ, заглянуть въ ея душу и оцѣнить государственную дѣятельность» [1]). Замѣтимъ, что въ книгѣ проф. Шмурло о Бестужевѣ находится указаніе и на то, что Константинъ Николаевичъ придавалъ большое значеніе и писательской дѣятельности грознаго царя.

Каѳедра исторіи русской литературы въ СПБ. Университетѣ во время студенчества И. Н. Жданова имѣла своими представителями М. И. Сухомлинова и О. Ѳ. Миллера.

Авторъ многочисленныхъ изслѣдованій, особенно цѣнныхъ по привлеченному къ нимъ свѣжему, еще нетронутому матеріалу, а также и благодаря строго научному методу, М. И. Сухомлиновъ въ своей профессорской дѣятельности стремился создать школу самостоятельныхъ работниковъ въ области отечественной литературы, стараясь пріучить своихъ слушателей къ внимательному и тщательному изученію текстовъ, къ осторожности въ выводахъ, знакомя ихъ съ тѣми научными пріемами, которые онъ самъ примѣнялъ въ своихъ трудахъ. «Въ 60-хъ годахъ это направленіе, по словамъ проф. Бороздина, представлялось иногда не соотвѣтствующимъ насущнымъ потребностямъ..... Пылкимъ юнымъ умамъ казались, порою, скучными и безполезными тѣ работы, которыя требовалъ профессоръ» [2]). «Въ лекціяхъ Сухомлинова не было того увлекающаго молодежь паѳоса, коимъ отличалась задушевная рѣчь другого нашего учителя, Миллера..... Лекціи его были суховаты», замѣчаетъ одинъ изъ бывшихъ слушателей Михаила Ивановича [3]). Но эта сухость изложенія съ лихвою вознаграждалась, по словамъ того же слушателя, содержательностью его лекцій и оправдывалась тою цѣлью, которою руководствовался Сухомлиновъ въ своей педагогической дѣятельности. Обладая огромной начитанностью какъ въ научной, такъ и въ изящной литературѣ, онъ «всегда настаивалъ на необходимости для каждой работы, предпринятой студентами, захватить какъ можно больше разнообразныхъ пособій, чтобы не только во всей подробности ознакомиться съ предметомъ изслѣдованія, но и попутно узнать о многомъ другомъ, прямо къ данной цѣли не относящемся» [4]).

1) Ibidem. 183—184, 212.

2) «Утраты науки», статья, посвященная памяти академиковъ М. И. Сухомлинова и И. Н. Жданова. («Россія», 18 (31) іюля 1901 г., № 799).

3) «Памяти М. И. Сухомлинова» (подпис. «старый студентъ») «Новости» 11 (24) іюля 1901 г., № 188.

4) ibidem.

Слѣды вліянія Сухомлинова довольно ясно обнаруживаются въ трудахъ Ивана Николаевича. Тщательное и вдумчивое отношеніе къ фактамъ, обиліе матеріала, привлекаемаго для разрѣшенія того или другого вопроса, крайняя осторожность выводовъ,— всѣ эти характерныя особенности научныхъ работъ Жданова заставляютъ вспомнить о томъ, что съ такою настойчивостью проповѣдовалъ на своихъ лекціяхъ и его профессоръ исторіи русской литературы. И за порогомъ Университета Иванъ Николаевичъ не прервалъ сношеній съ Сухомлиновымъ, которыя продолжались до самой смерти обоихъ ученыхъ, положившей предѣлъ ихъ дѣятельности, не только въ одинъ годъ, но даже въ одинъ мѣсяцъ: 9-го іюля 1901 г. скончался Михаилъ Ивановичъ, а два дня спустя послѣдовалъ за нимъ въ могилу его ученикъ.

Въ то время, какъ Сухомлиновъ преимущественно интересовался новой русской литературой, другой представитель этой каѳедры въ бытность Ивана Николаевича въ Университетѣ—О. Ѳ. Миллеръ направлялъ свое вниманіе почти исключительно на народную словесность. Съ 1865 г. до 1868 г. онъ на своихъ лекціяхъ разсматривалъ «древнѣйшій періодъ русской литературы (до татаръ) со стороны взаимныхъ отношеній между нею и народною словесностью», а въ 1868 г. и 1869 г. онъ читалъ два курса: общій—«введеніе въ изученіе народной словесности» и спеціальный—«о русскомъ былевомъ эпосѣ сравнительно съ германскимъ» [1]). «Если мы припомнимъ», замѣчаетъ А. К. Бороздинъ, что въ концѣ 60-хъ годовъ, рядомъ съ Сухомлиновымъ, въ нашемъ университетѣ пріобрѣтаетъ по той же каѳедрѣ выдающееся положеніе человѣкъ, память котораго дорога всѣмъ петербургскимъ студентамъ, О. Ѳ. Миллеръ, то мы поймемъ, какъ важно было для слушателей соединеніе двухъ преподавателей. Одинъ своею пламенною рѣчью будилъ въ юношахъ общественно-нравственные запросы, готовилъ будущихъ гражданъ, другой указывалъ путь объективнаго изученія. Гармонія между этими двумя направленіями не могла не быть благопріятной и для будущихъ учителей и для научныхъ работниковъ». Огневая рѣчь профессора-гражданина, завлекающій пафосъ его не могли, разумѣется, не произвести сильнаго впечатлѣнія на студента Жданова; высоко-нравственная личность Ореста Ѳедоровича, котораго Бестужевъ называлъ «хрустальной душой», его пламенная любовь къ тому

1) Б. В. Глинскій. О. Ѳ. Миллеръ. Біографическій очеркъ. СПБ. 1896 г., стр. 43—44.

предмету, который онъ преподавалъ, то теплое чувство народности, которымъ проникнуты были всѣ его труды и лекціи, не могли не привлечь къ нему симпатіи Ивана Николаевича. По свидѣтельству академика Ѳ. И. Успенскаго, университетскаго товарища Жданова, Миллеръ «долго плѣнялъ Ивана Николаевича». Эта симпатія и уваженіе къ своему профессору остались у Жданова неизмѣнными въ теченіе всей его жизни. Свою рѣчь передъ докторскимъ диспутомъ, произнесенную въ СПБ. Университетѣ 23 апр. 1895 г., Иванъ Николаевичъ открываетъ воспоминаніями о своемъ, тогда уже покойномъ профессорѣ. Онъ припоминаетъ, что «четверть вѣка тому назадъ на этой каѳедрѣ выступалъ незабвенный, безвременно погибшій труженикъ науки, выступалъ съ диссертаціею: «сравнительно-критическія наблюденія надъ слоевымъ составомъ народнаго русскаго эпоса». Но искреннее уваженіе къ своему профессору не помѣшало его слушателю замѣтить въ самомъ методѣ его нѣкоторые недочеты. Въ то время, когда Иванъ Николаевичъ былъ въ университетѣ, въ изученіи народной словесности господствовала такъ называемая «миѳологическая теорія». Эта теорія, основанная Я. Гриммомъ и развитая затѣмъ до крайнихъ предѣловъ его послѣдователями, въ основѣ которой лежало «предположеніе (признанное за аксіому)», «что видимое и безконечно повторяющееся сходство преданій у разныхъ народовъ проистекаетъ изъ ихъ доисторическаго родства» [1]), была воспринята и русскими учеными изучавшими памятники народной словесности, въ томъ числѣ и О. Ѳ. Миллеромъ, однимъ изъ наиболѣе убѣжденныхъ сторонниковъ этого ученія. «Это направленіе», по словамъ И. Н. Жданова, «скоро принялось, росло и дало плоды, плоды эти, безспорно, чрезвычайно важны..... Но и въ этомъ способѣ изученія памятниковъ словесности оказалась слабая сторона. Собирая вездѣ остатки народно-поэтической старины, отыскивая обломки миѳологическаго и героическаго эпоса, изслѣдователи разсматриваемаго направленія какъ то мало обращали вниманія на смѣшанный характеръ памятниковъ, съ которыми имъ приходилось имѣть дѣло, слишкомъ мало давали цѣны тѣмъ постепеннымъ перемѣнамъ, которымъ долженъ былъ подвергаться народный эпосъ, тѣмъ разнообразнымъ вліяніямъ и наносамъ, которые должны были имѣть мѣсто въ исторіи народной поэзіи. То, что было только передачей, изчужа занесеннаго поэтическаго

1) А. Н. Пыпинъ. Исторія русской этнографіи СПБ. 1891 г., т. II, стр. 255.

матеріала, считалось часто своимъ историческимъ добромъ, благопріобрѣтенное выдавалось за родовое. Опять почувствовалась потребность установить иные, болѣе точные пріемы изученія старинной словесности. Стали появляться труды, въ которыхъ критически разсматривается составъ народно-поэтическаго матеріала, опредѣляется литературная исторія памятниковъ народной поэзіи. Рѣшительный толчекъ къ изслѣдованіямъ литературно-историческимъ данъ былъ трудами Бенфея» [1]), который, въ противоположность «ученію о самобытности народныхъ основъ миѳологіи, обычаевъ и сказаній, выдвинулъ «теорію позднѣйшаго заимствованія путемъ международныхъ сношеній».

Этотъ переворотъ въ изученіи нашей народной словесности тѣсно связанъ съ именемъ А. Н. Веселовскаго, который послѣ ряда работъ въ области западно-европейской средневѣковой литературы выступилъ въ началѣ 70-хъ гг. съ своими замѣчательными изслѣдованіями славяно-русскихъ литературныхъ явленій, причисленными не безъ основанія къ Бенфеевскому направленію, хотя, какъ извѣстно, русскій ученый отнесся къ воспринятымъ воззрѣніямъ творца буддійской гипотезы весьма самостоятельно. Изслѣдованія Веселовскаго, «давшія, по выраженію Ивана Николаевича, новую жизнь изученію нашей народной словесности», имѣли рѣшающее значеніе въ выработкѣ научныхъ взглядовъ послѣдняго. Серія ихъ открывается его извѣстной диссертаціей о Соломонѣ и Китоврасѣ, защита которой происходила въ СПБ. Университетѣ 14-го мая 1872 г. Съ этими трудами Александра Николаевича Ждановъ могъ познакомиться только по окончаніи Университета, но съ самимъ авторомъ ихъ онъ познакомился раньше, еще находясь на университетской скамьѣ. «Въ 1870 г. я поступилъ въ Университетъ доцентомъ», говорилъ покойный Александръ Николаевичъ въ своей рѣчи, произнесенной въ сентябрѣ 1901 г. въ Общемъ Собраніи Академіи Наукъ, «и видѣлъ на своихъ лекціяхъ высокаго, матерого студента, съ нависшей на лобъ прядью волосъ, которую онъ постоянно отмахивалъ. И. Н. Жданова, тогда студента 4-го курса, нельзя было не замѣтить, но на первыхъ порахъ мы не успѣли познакомиться: я начиналъ свою дѣятельность въ университетѣ, онъ выходилъ изъ него; мы не встрѣтились и на экзаменѣ, ибо у меня его въ тотъ

1) «Литература Слова о полку Игоревѣ». Сочиненія И. Н. Жданова, т. I, стр. 399—400 (впервые появилась въ печати въ 1860 г.).

годъ не было. Когда затѣмъ я обратился къ изученію нашихъ повѣстей, апокрифовъ и былинъ по отношенію къ ихъ литературнымъ источникамъ, одинъ изъ товарищей покойнаго, нынѣ профессоръ, сказалъ мнѣ, что И. Н. Ждановъ работаетъ въ томъ же направленіи. Дѣло шло объ Ильѣ Муромцѣ. Его въ своихъ изслѣдованіяхъ онъ коснулся мало, но объ его диссертаціи, о которыхъ мнѣ пришлось съ нимъ спорить въ качествѣ оппонента, посвящены были вопросу о былинахъ; къ нему онъ возвращался не разъ; наши разногласія всегда касались частностей, въ вопросахъ метода мы шли объ руку».

Итакъ, еще въ 70-хъ гг. Иванъ Николаевичъ обнаруживаетъ интересъ къ изученію былевой поэзіи. Изъ письма М. И. Сухомлинова къ И. П. Хрущеву отъ 22 февраля 1878 г. мы узнаемъ, что въ то время онъ уже работалъ надъ изслѣдованіемъ, которое, подъ заглавіемъ: «Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи», появилось въ печати отдѣльною книгою въ концѣ 1881 г., но печатаніе котораго на страницахъ «Кіевскихъ Университетскихъ Извѣстій» началось еще въ декабрѣ 1879 г. («Скоро должна появиться», писалъ Михаилъ Ивановичъ, «его статья объ источникахъ и литературной исторіи нѣсколькихъ памятниковъ русской эпической поэзіи»). Весьма возможно, что интересъ Ивана Николаевича къ Ильѣ Муромцу, о которомъ упоминаетъ А. Н. Веселовскій въ своей рѣчи, былъ возбужденъ извѣстною диссертаціею О. Ѳ. Миллера, а также и его лекціями (въ 1868 и 69 гг. Орестъ Ѳедоровичъ читалъ въ Университетѣ курсъ аналогичный по содержанію съ его диссертаціей). Но приступивъ къ изученію народной словесности, Ждановъ пошелъ не той прямой и широкой дорогой, на которую звалъ своихъ слушателей Миллеръ. Иванъ Николаевичъ двинулся въ иномъ направленіи, по узкой, извилистой, въ то время едва еще намѣчавшейся и мало извѣданной тропинкѣ, на которую незадолго передъ тѣмъ вступилъ его молодой профессоръ А. Н. Веселовскій, увы, нынѣ тоже уже сошедшій въ могилу. Съ этихъ поръ они «шли объ руку», расчищая путь для дальнѣйшаго движенія по тропинкѣ, которой суждено было замѣнить старую, большую миѳологическую дорогу.

Изъ остальныхъ профессоровъ Иванъ Николаевичъ не мало былъ обязанъ еще и И. И. Срезневскому, В. Г. Васильевскому и В. И. Ламанскому. По словамъ Ѳ. И. Успенскаго, «хорошо вліялъ на нихъ», т.-е. на группу студентовъ, къ которой принадлежалъ и Ждановъ, и Люгебиль (проф. греческаго языка).

Въ сентябрѣ 1871 г. Ждановъ выдержалъ испытаніе на степень кандидата, въ которой, однако, онъ былъ утвержденъ лишь годъ спустя, по представленіи, такъ называемой, кандидатской диссертаціи. Одновременно онъ былъ оставленъ при Университетѣ для приготовленія къ профессорскому званію. Предметомъ только что упомянутой диссертаціи послужилъ одинъ изъ древнѣйшихъ памятниковъ нашей литературы, весьма важный для изученія времени Ярослава, а именно, приписываемое Иларіону, первому Кіевскому митрополиту изъ русскихъ, «Слово о законѣ и благодати и похвала Кагану Владимиру». Работа Ивана Николаевича появилась въ печати только послѣ его смерти и нашла себѣ мѣсто въ I томѣ Академическаго изданія собранія его сочиненій. Вѣроятно, авторъ не считалъ произведеніе своего юношескаго пера достойнымъ появленія въ свѣтъ. Однако, незаурядныя, выдающіяся качества студенческой работы Ивана Николаевича не укрылись отъ вниманія его профессора Сухомлинова, который, въ составленной имъ въ 1899 г., по поводу избранія его ученика въ ординарные академики, запискѣ объ ученыхъ трудахъ послѣдняго далъ о ней слѣдующій отзывъ: «Этотъ драгоцѣнный памятникъ изученъ чрезвычайно тщательно И. Н. Ждановымъ, работа котораго, несмотря на то, что она была однимъ изъ первыхъ его трудовъ на ученомъ поприщѣ, отличается такими достоинствами, которыя сдѣлали бы честь и гораздо болѣе опытному изслѣдователю». Дѣйствительно, эта кандидатская диссертація обнаруживала несомнѣнное умѣнье молодого автора пользоваться литературнымъ матеріаломъ, основательное знакомство съ произведеніями древней русской литературы, наконецъ, серьезную попытку самостоятельнаго разрѣшенія нѣкоторыхъ сложныхъ и спорныхъ вопросовъ, вызываемыхъ изученіемъ памятника.

III.

Годы, проведенные Ждановымъ въ Петербургѣ со времени поступленія въ Университетъ и до переѣзда его въ Кіевъ, были, въ матеріальномъ отношеніи, самымъ тяжелымъ періодомъ его жизни. Проживая въ Архангельскѣ, подъ родительскимъ кровомъ (Иванъ

Николаевичъ, какъ уже замѣчено, былъ въ семинаріи экстерномъ), а также и первые два года въ Петербургѣ, на казенномъ содержаніи, въ Духовной Академіи, онъ не зналъ еще заботъ о завтрашнемъ днѣ. Эта забота выдвигается на первый планъ при переходѣ его изъ Академіи въ Университетъ. Приходилось зарабатывать деньги частными уроками, перепискою. Матеріальныя условія не измѣнились къ лучшему и по окончаніи Университета. Правда, съ сентября 1872 г. по январь 1875 г. онъ получалъ университетскую субсидію, но, не говоря уже о томъ, что эта субсидія не могла вполнѣ обезпечить его существованія, онъ началъ получать ее только черезъ годъ послѣ выхода изъ Университета. Разсчитывать на денежную поддержку изъ дома не представлялось возможнымъ. Въ 1872 г. скончался его отецъ, оставивъ семью въ довольно стѣсненныхъ обстоятельствахъ. Въ февралѣ 1872 г. Иванъ Николаевичъ получилъ мѣсто преподавателя латинскаго языка въ СПБ. Александро-Невскомъ Духовномъ училищѣ, но очевидно самый предметъ преподаванія былъ слишкомъ далекъ отъ его главныхъ научныхъ интересовъ, и уже въ началѣ 1873 г. онъ подалъ прошеніе объ увольненіи отъ занимаемой имъ должности. Въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ основнымъ источникомъ средствъ къ существованію были частные уроки. Къ этому времени, вѣроятно, слѣдуетъ отнести и его преподавательскую дѣятельность по исторіи и русской словесности въ частномъ пансіонѣ г-жи Гебергъ. На ряду съ уроками приходилось заниматься, какъ и въ пору студенчества, перепискою. Такъ, напримѣръ, онъ занимался перепискою писемъ, указовъ и др. бумагъ Петра Великаго въ Архивѣ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ. Наконецъ, въ сентябрѣ 1877 г. открылась возможность занять мѣсто учителя русскаго языка въ IV классѣ Коммерческаго училища. Неблагопріятная матеріальная обстановка, среди которой протекала жизнь Ивана Николаевича, по оставленіи имъ Университета, была одною изъ главнѣйшихъ причинъ сравнительно поздняго появленія въ свѣтъ его литературныхъ трудовъ, какъ на то справедливо указалъ уже проф. А. С. Архангельскій [1]). Нужда въ заработкѣ поглощала много энергіи и времени, не давала возможности всецѣло отдаться любимымъ научнымъ занятіямъ. Въ первый годъ по окончаніи Университета онъ былъ занятъ, какъ мы уже знаемъ, своею кандидатскою диссертаціею,

1) И. Н. Ждановъ (некрологъ). Журн. Министр. Народн. Просвѣщ. ч. 337 (1901; № 9), отд. 4, стр. 34.

которую онъ представилъ въ концѣ 1872 г. Затѣмъ онъ обращается къ изученію литературной дѣятельности царя Ивана Васильевича. Въ цитированномъ выше письмѣ Сухомлинова къ Хрущову отъ 22-го февраля 1878 г. имѣется указаніе на то, что Иванъ Николаевичъ въ то время «работалъ надъ магистерской диссертаціей подъ названіемъ «Иванъ Грозный, какъ писатель». Работа эта, однако, осталась неоконченной. Намѣреніе воспользоваться ею для полученія ученой степени не осуществилось. Интересъ къ народной словесности отвлекъ его вниманіе отъ эпохи Грознаго. «Статья объ источникахъ и литературной исторіи нѣсколькихъ памятниковъ русской эпической поэзіи», которою, по свидѣтельству проф. Сухомлинова, Иванъ Николаевичъ былъ занятъ одновременно съ изслѣдованіемъ о царѣ Иванѣ, выдвинулась на первый планъ съ переѣздомъ въ Кіевъ, расширилась и развилась въ магистерскую диссертацію. Въ посмертномъ изданіи Собранія сочиненій Жданова напечатаны только отчеты по работѣ о писательской дѣятельности Грознаго, которые онъ, въ качествѣ оставленнаго при университетѣ, представлялъ историко-филологическому факультету въ 1872—1875 гг. и въ которыхъ онъ, не подводя еще окончательнаго итога, давалъ краткій обзоръ своихъ изысканій и указывалъ на тѣ вопросы и пункты, которые онъ считалъ наиболѣе важными при изученіи сочиненій Ивана Грознаго. Но и въ томъ видѣ, въ какомъ дошла до насъ эта работа, она не лишена извѣстнаго значенія и интереса. Въ этихъ отчетахъ разсѣяно не мало любопытныхъ и цѣнныхъ соображеній о литературныхъ вліяніяхъ, подъ какими воспитался талантъ «Грознаго», о тѣхъ условіяхъ, среди которыхъ сложился характеръ Ивана IV, объ отраженіи характера царя и многихъ чертъ умственной и общественной жизни его времени въ его произведеніяхъ. Въ 1876 г. Иванъ Николаевичъ напечаталъ въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» статью, скромно озаглавленную «Матеріалы для исторіи Стоглаваго Собора». Это въ высшей степени документальное изслѣдованіе, первый трудъ Ивана Николаевича, появившійся въ печати, имѣетъ ближайшее отношеніе къ неоконченной работѣ о Грозномъ. Въ немъ молодой изслѣдователь далъ яркое и полное освѣщеніе дѣятельности Собора 1551 г., при чемъ обратилъ вниманіе на то, что эта дѣятельность касалась не только церковныхъ, но и земскихъ «нестроеній», что этотъ Соборъ былъ не только церковнымъ, но и земскимъ. Путемъ въ высокой степени тщательнаго и вдумчиваго

анализа самаго «Стоглава» и ряда необслѣдованныхъ до того рукописныхъ источниковъ, Ивану Николаевичу удалось установить происхожденіе тѣхъ первоначальныхъ матеріаловъ, которыми располагалъ редакторъ Стоглава, имѣвшій въ виду собрать только церковныя постановленія Собора и сдѣлать лишь извлеченія изъ «соборныхъ дѣяній». Вмѣстѣ съ тѣмъ авторъ знакомитъ съ самою эпохою, ея требованіями и стремленіями, съ самими дѣятелями Собора. На ряду съ блестящей характеристикой царя, дается живая обрисовка нѣкоторыхъ «достопочтенныхъ» отцовъ, собравшихся 23-го февраля 1551 г. въ «царскихъ палатѣхъ», а также и того «тѣсно сплоченнаго кружка людей», той «избранной рады», по выраженію Курбскаго, отъ которыхъ «вниде въ слухъ царя» извѣстія о церковныхъ нестроеніяхъ и которые и «были главными и первыми собирателями матеріала, давшаго содержаніе царскимъ вопросамъ».

Къ той же темѣ о Стоглавомъ Соборѣ Иванъ Николаевичъ вернулся въ 1880 г. въ небольшой статьѣ, помѣщенной въ «Историческомъ Вѣстникѣ» подъ названіемъ «Церковно-земскій Соборъ 1551 г.», въ которой онъ особенно подчеркнулъ государственное значеніе этого Собора, оттѣнилъ его земскую сторону, нѣсколько заслоненную церковной его стороною, и остановился на вопросѣ о генезисѣ земскихъ Соборовъ.

Статьи Ивана Николаевича о Соборѣ 1551 г. не утратили своего значенія и понынѣ. Съ его мнѣніями приходится считаться и новѣйшимъ изслѣдователямъ Московскихъ Земскихъ Соборовъ. Такъ, М. Діаконовъ въ своемъ отзывѣ о диссертаціи В. М. Латкина: «Земскіе Соборы древней Руси сравнительно съ западно-европейскими представительными учрежденіями», между прочимъ, упрекаетъ автора этого изслѣдованія въ томъ, что онъ не остановился на дѣятельности Стоглаваго Собора и «почему-то не обратилъ вниманія на мнѣніе г. Жданова, что этотъ соборъ былъ не только церковнымъ, но и Земскимъ» [1]). Въ недавно появившейся работѣ о Московскихъ Земскихъ Соборахъ проф. Платоновъ [2]) удѣляетъ особенное вниманіе указаннымъ выше «талантливымъ статьямъ покойнаго профессора Жданова».

---

1) «По поводу новаго историко-юридическаго изслѣдованія». Сѣверн. Вѣсти. 1885 г. № 8, стр. 173—183.

2) «Къ исторіи Московскихъ Земскихъ Соборовъ». «Журналъ для всѣхъ» 1905 г. № 2, стр. 95—96.

Статья Ивана Николаевича о «Церковно-Земскомъ Соборѣ 1551 г.» появилась въ свѣтъ, какъ мы уже отмѣтили, въ 1880 г., т. е., когда авторъ ея былъ уже доцентомъ университета св. Владиміра.

Въ началѣ 1878 г. доцентъ этого университета по русской словесности И. П. Хрущовъ заявилъ историко-филологическому факультету о своемъ намѣреніи оставить занимаемую имъ каѳедру и рекомендовалъ на свое мѣсто кандидата Спб. университета Жданова. Въ исполненіе желанія факультета узнать нѣкоторыя данныя относительно трудовъ Ивана Николаевича отъ профессоровъ Спб. университета Хрущовъ, прежде всего обратился къ М. И. Сухомлинову. Въ отвѣтномъ письмѣ (отъ 22 февраля 1878 г.) Михаилъ Ивановичъ писалъ: «съ особеннымъ удовольствіемъ исполняю желаніе моихъ товарищей по Кіевскому университету и считаю обязанностью засвидѣтельствовать передъ факультетомъ, что г. Ждановъ принадлежитъ къ числу самыхъ даровитыхъ и трудолюбивыхъ изслѣдователей нашей литературы. Онъ именно *изслѣдователь* [1]). Такой характеръ имѣютъ всѣ труды этого молодого ученаго». Вскорѣ послѣ этого письма историко-филологическій факультетъ Кіевскаго университета получилъ слѣдующій отзывъ объ Иванѣ Николаевичѣ, подписанный профессорами И. И. Срезневскимъ, М. И. Сухомлиновымъ, А. Н. Веселовскимъ и К. Н. Бестужевымъ-Рюминымъ: «кандидатъ ист.-фил. факультета И. Н. Ждановъ, по своимъ познаніямъ и по своей научной дѣятельности, имѣетъ неоспоримое право на мѣсто преподавателя русской словесности—въ университетѣ. Труды г. Жданова какъ представленные въ рукописи, такъ и появившіеся въ печати, матеріалы для исторіи Стоглаваго Собора, приносятъ большую честь автору и составляютъ цѣнный вкладъ въ нашу ученую литературу. Г. Ждановъ обладаетъ несомнѣннымъ талантомъ и подготовкою къ ученымъ изслѣдованіямъ. Университетъ, принявъ г. Жданова въ свою среду, пріобрѣлъ бы вполнѣ достойнаго представителя каѳедры русской словесности».

«Мы бы сами охотно удержали Жданова при факультетѣ», писалъ, съ своей стороны, А. Н. Веселовскій проф. Кіевскаго университета А. А. Котляревскому, «если бы средства дозволили предложить ему званіе преподавателя. У васъ эти средства найдутся, вы

1) Подчеркнуто самимъ М. И. Сухомлиновымъ.

богаче насъ, и отъ васъ будетъ зависѣть привлечь къ себѣ хорошую научную силу» [1]).

На основаніи этихъ рекомендательныхъ писемъ профессоровъ СПБ. университета, историко-филологическій факультетъ вступилъ въ сношеніе съ Иваномъ Николаевичемъ и предложилъ ему перейти въ Кіевскій университетъ, въ качествѣ преподавателя, съ содержаніемъ штатнаго доцента.

26-го ноября 1878 г. Ждановъ въ публичномъ засѣданіи историко-филологическаго факультета СПБ. университета защитилъ свое сочиненіе «Матеріалы для исторіи Стоглаваго Собора», представленное имъ pro venia legendi (оппонентами на этомъ диспутѣ были М. И. Сухомлиновъ и К. Н. Бестужевъ-Рюминъ), и три дня спустя прочелъ двѣ пробныя лекціи: 1) Обозрѣніе русской поэзіи домонгольскаго періода и 2) О словѣ Даніила Заточника. Первая изъ этихъ лекцій въ обработанномъ видѣ появилась въ печати въ «Кіевскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ» 1879 г.

Относительно второй есть основанія предполагать, что отыскавшаяся въ бумагахъ Ивана Николаевича, послѣ его смерти, и напечатанная впервые въ I томѣ академическаго изданія работа о «Словѣ Даніила Заточника», представляетъ именно эту пробную лекцію [2]).

IV.

Въ началѣ 1879 г. Иванъ Николаевичъ переселяется въ Кіевъ и открываетъ свою дѣятельность въ университетѣ Св. Владиміра вступительною лекціею на тему, прочитанной уже пробной лекціи въ Спб. университетѣ, «О русской поэзіи въ до-монгольскую эпоху».

Почти одновременно онъ начинаетъ читать русскую словесность и на только что народившихся тогда въ Кіевѣ Высшихъ Женскихъ Курсахъ (откр. 4-го окт. 1878 г.). Во время своего четырехлѣтняго пребыванія въ Кіевѣ онъ былъ единственнымъ представителемъ каѳедры русской словесности какъ въ университетѣ, такъ и на курсахъ,

---

1) Эти письма хранятся въ архивѣ университета св. Владиміра и были представлены намъ для ознакомленія, благодаря любезному содѣйствію академика С. Ѳ. Ольденбурга.

2) См. I т. Собр. соч. Н. И. Жданова, стр. III, пр. 1.

на немъ одномъ лежало преподаваніе всего предмета. Въ этихъ учебныхъ заведеніяхъ онъ велъ обыкновенно слѣдующіе курсы: 1) Исторію древней литературы (устная словесность и древняя письменность) и 2) Исторію новой русской литературы (начиная съ Петра Вел. и кончая дѣятельностью Жуковскаго). Кромѣ того, онъ читалъ еще спеціальные курсы о Карамзинѣ и его времени и о Жуковскомъ. По свидѣтельству одного изъ его слушателей по Кіевскому университету, находившемуся, однако, не на словесномъ, а на историческомъ отдѣленіи, лекціи Жданова усердно посѣщались и «историками», которыхъ особенно привлекали его бесѣды «о лѣтописи Нестора, ея составѣ и критикѣ». «Иванъ Николаевичъ», замѣчаетъ въ своихъ воспоминаніяхъ его слушательница А. Л. Иконникова, (жена извѣстнаго историка и проф. Кіевскаго университета В. С. Иконникова) «давалъ на своихъ лекціяхъ обширную литературу каждаго памятника и каждаго спорнаго вопроса, указывалъ богатый матеріалъ для изученія каждаго періода. Онъ умѣло и тонко оттѣнялъ иностранное вліяніе на русскую литературу XV и XVI вв.» Изъ тѣхъ же воспоминаній мы узнаемъ, что лекціи Ивана Николаевича пользовались на курсахъ большимъ успѣхомъ и что самъ профессоръ своею деликатностью, простотою въ обращеніи сразу завоевалъ себѣ расположеніе и симпатію слушательницъ. Нѣкоторыя изъ нихъ относились къ своему профессору положительно съ благоговѣніемъ. Мы позволяемъ себѣ привести небольшую выписку изъ воспоминаній одной изъ слушательницъ Ивана Николаевича М. И. О. — описаніе первой встрѣчи ея съ Иваномъ Николаевичемъ въ домѣ проф. А. «Войдя въ столовую я увидѣла незнакомое мнѣ лицо, высокаго роста, блондина, съ угловатыми манерами. . . . . Меня удивили его безконечно добрые глаза и въ высшей степени добродушная улыбка. Послѣ его ухода я поинтересовалась узнать, кто былъ этотъ «бѣлый медвѣдь», на что А. отвѣтилъ мнѣ: Вы угадали, что онъ изъ страны бѣлыхъ медвѣдей—Архангельской губ.».... Ждановъ у насъ бывалъ не очень часто, но каждый разъ я находила въ немъ что нибудь новое, привлекательное. Мнѣ нравилась даже его неповоротливость — больше же всего меня привлекала его простая, всегда понятная для меня, рѣчь, его необыкновенное добродушіе, а иногда и ироническая улыбка. Мнѣ казалось, что этотъ человѣкъ не можетъ никогда никому сдѣлать зла».

Кромѣ университета и Высшихъ женскихъ курсовъ Иванъ Николаевичъ преподавалъ въ Кіевѣ русскую словесность въ теченіе

двухъ лѣтъ еще въ Коллегіи Павла Галагана и нѣкоторое время въ одной изъ женскихъ гимназій.

Вскорѣ послѣ пріѣзда въ Кіевъ Ждановъ женился на Аннѣ Павловнѣ Макаревской, но прожилъ съ нею недолго. Его жена, женщина слабаго здоровья, часто прихварывавшая, жестоко простудилась зимою 1882 г. и въ маѣ того же года скончалась отъ скоротечной чахотки, оставивъ на его попеченіе маленькаго сына.

7-го октября 1882 г. Иванъ Николаевичъ былъ избранъ въ экстраординарные профессора Историко-Филологическаго Института въ Петербургѣ, куда онъ и переселился въ концѣ декабря этого года.

Есть основаніе предполагать, что Ждановъ подумывалъ о переѣздѣ въ Петербургъ въ самомъ началѣ 1881 г. По крайней мѣрѣ, объ этомъ можно судить по его словамъ, въ письмѣ къ Л. Н. Майкову, написанномъ въ январѣ этого года: «лѣтомъ мечтаю побывать на берегахъ Невы, гдѣ нѣкогда гулялъ и я. Что-то дастъ мнѣ эта поѣздка?» Мечта о поѣздкѣ въ столицу въ лѣтнюю пору 1881 г. не осуществилась. Въ письмѣ къ тому же лицу, относящемуся къ декабрю того же года, Ждановъ снова говоритъ о своемъ намѣреніи побывать въ Петербургѣ, но на этотъ разъ главною цѣлью этого путешествія является желаніе поработать въ рукописныхъ собраніяхъ, каковыя въ Кіевѣ, повидимому, его не удовлетворяли. «Когда я могу двинуться въ Петербургъ», писалъ онъ, «еще и самъ не знаю. Было бы хорошо, если бы удалось пробыть въ Петербургѣ хоть ту часть года, когда изъ него бѣгутъ всѣ добрые люди. Сильно хочется поработать, есть кое-что задуманное. Авось лѣтняя пора не помѣшаетъ мнѣ проникнуть въ разныя древле-хранилища. — Кіевъ въ этомъ отношеніи городъ бѣдный. Тутъ есть одно только правильно устроенное рукописное собраніе: музей при Духовной Академіи. Собраніе не богатое. Есть кое что и въ монастыряхъ (Печерскомъ и Михайловскомъ), но туда ведетъ путь узкій и тернистый».

Ивану Николаевичу удалось привести въ исполненіе свое намѣреніе—посѣтить Петербургъ—только лѣтомъ 1882 г. Вскорѣ послѣ этого состоялось его назначеніе въ Историко-филологическій Институтъ.

Къ кіевской порѣ жизни Жданова относится рядъ цѣнныхъ изслѣдованій. Въ первый годъ его пребыванія въ Кіевѣ въ іюньской книжкѣ «Университетскихъ Извѣстій» была напечатана его статья «Русская поэзія въ до-монгольску эпоху».

Эта вступительная лекція, прочитанная въ университетѣ Св. Вла-

диміра, представляющая весьма удачную группировку «отрывочныхъ напоминаній и намековъ на поэтическіе памятники въ предѣлахъ древнѣйшей, до-монгольской эпохи русской исторіи» и заключавшая въ себѣ любопытныя замѣчанія о Словѣ о полку Игоревѣ, разсматриваемомъ здѣсь преимущественно, какъ источникъ свѣдѣній о древнихъ былевыхъ пѣсняхъ, была написана, вѣроятно, еще въ Петербургѣ. Въ томъ же 1879 г. Ждановъ прочиталъ въ засѣданіи Историческаго Общества Нестора Лѣтописца сообщеніе: «Къ объясненію древне-русской повѣсти о Вавилонскомъ царствѣ». [1]) Къ затронутымъ въ этомъ рефератѣ вопросамъ Иванъ Николаевичъ вернулся въ 1891 г., въ помѣщенномъ въ «Журналѣ Мин. Народн. Просв.» изслѣдованіи: «Повѣсти о Вавилонѣ и сказаніе о князехъ Владимірскихъ» и вошедшемъ въ составъ его докторской диссертаціи. Въ 1880-мъ году появились въ свѣтъ еще три работы Ивана Николаевича 1) извѣстная уже намъ статья о Церковно-Земскомъ соборѣ 1551 г., 2) «Нѣсколько словъ о драматическихъ произведеніяхъ Пушкина»—рѣчь, прочитанная 5-го іюня того же года въ Кіевскомъ драматическомъ Обществѣ и напечатанная затѣмъ въ двухъ фельетонахъ «Кіевлянина» (1880 г. №№ 132 и 133). Эта рѣчь, которою онъ откликнулся на происходившія въ то время Пушкинскія празднества, по случаю постановки въ Москвѣ памятника великому поэту, не вошла въ посмертное изданіе его сочиненій. Составленная на скорую руку и разсчитанная на вкусъ большой публики, она не носитъ строго научнаго характера. Впрочемъ, въ этой работѣ онъ коснулся нѣсколькихъ важныхъ вопросовъ, которые развилъ въ своихъ позднѣйшихъ изслѣдованіяхъ, посвященныхъ Пушкину. 3) Литература Слова о полку Игоревѣ. Въ этой работѣ, рядомъ съ обстоятельнымъ критическимъ разсмотрѣніемъ библіографическихъ трудовъ Смирнова и Барсова о сочиненіяхъ, относящихся къ Слову и появившихся со времени открытія памятника до 1876 г. и обзоромъ литературы Слова съ 1876 по 1880 г., мы находимъ интересныя замѣчанія, «накопившіеся у автора при изученіи» Слова. Вслѣдъ за этой работой, помѣщенной въ «Кіевскихъ Университетскихъ Извѣстіяхъ», въ 1881 г., на страницахъ тѣхъ же «Извѣстій» появились его документальная статья о Палеѣ и Рѣчь, обращенная къ студентамъ историко-филологическаго факультета университета Св. Влади-

1) «Чтенія въ Историческомъ Обществѣ Нестора Лѣтописца» 1888 г., книга 2-я, отд. 1, стр. 8. Въ протоколѣ засѣданія 27 мая 1879 г. содержаніе этого сообщенія не изложено, но оно сохранилось въ бумагахъ покойнаго.

міра, по случаю кончины проф. А. А. Котляревскаго. Въ августѣ того же года въ томъ же журналѣ закончилось печатаніемъ его изслѣдованіе: «Къ литературной исторіи Русской былевой поэзіи».

Въ этой работѣ, начатой еще въ Петербургѣ (она печаталась въ «Университетскихъ Извѣстіяхъ» съ декабря 1879 г., а въ окт. 1881 г. и вышла отдѣльной книгой), Иванъ Николаевичъ останавливается на разсмотрѣніи слѣдующихъ памятниковъ: «Пренія Живота и Смерти», Духовнаго стиха объ Аникѣ-воинѣ и былинъ о Самсонѣ-Святогорѣ. «Первоначально разнородные» эти памятники сближаются и объединяются общностью эпизодовъ и подробностей.

Указавъ на нѣмецкій источникъ «Пренія», изслѣдователь задается цѣлью разрѣшить вопросъ объ источникѣ стиха объ Аникѣ и былинъ о Святогорѣ, а въ одномъ изъ приложеній ставитъ вопросъ объ источникѣ былинъ о Дюкѣ Степановичѣ. Въ этомъ изслѣдованіи Иванъ Николаевичъ является убѣжденнымъ сторонникомъ такъ называемой теоріи заимствованій. «Теперь все болѣе и болѣе», говоритъ онъ въ своемъ предисловіи, «накопляется фактовъ, съ очевидностью указывающихъ на то могущественное вліяніе, которое оказываетъ «книга» на «пѣсню», памятники письменности на устную словесность. Въ своемъ небольшомъ трудѣ я привожу нѣсколько такихъ именно фактовъ литературнаго общенія между книжнымъ и не книжнымъ людомъ. Проникаетъ въ народъ библейско-апокрифное сказаніе о Самсонѣ-Святогорѣ. Сказаніе нравится, появляется былевая пѣсня о могучемъ богатырѣ Самсонѣ-Святогорѣ. Другой примѣръ еще болѣе примѣчательный. Съ конца XV в. начинаются у насъ болѣе живыя, болѣе частыя сношенія съ Западомъ. Стали появляться въ русской письменности переводы съ латинскаго, съ нѣмецкаго. Такъ появляется, между прочимъ, переводъ одного нѣмецкаго поучительнаго діалога. Проходитъ немного времени, и этотъ переводный діалогъ передѣлывается въ народную повѣсть, становится однимъ изъ самыхъ любимыхъ, самыхъ популярныхъ на Руси памятниковъ. Мало этого. Переводный діалогъ оказываетъ вліяніе на одинъ изъ памятниковъ устной народной поэзіи»[1]).

Этотъ трудъ, доставившій автору степень магистра русской словесности (диспутъ состоялся въ СПБ. Университетѣ 2-го октября 1883 г.; офиціальными оппонентами на немъ выступили М. И. Сухомлиновъ, О. Ѳ. Миллеръ и А. Н. Веселовскій), представляетъ

1) Соч. И. Н. Жданова, т. I, стр. 490.

несомнѣнно одно изъ важнѣйшихъ явленій въ исторіи изученія нашей былевой поэзіи. Въ своей обширной критической статьѣ [1]) по поводу этого сочиненія Жданова нынѣ покойный академикъ Веселовскій, хотя и не нашелъ возможнымъ согласиться съ нѣкоторыми его выводами, оцѣнилъ, однако, самый методъ работы. «Мнѣ нерѣдко приходилось», писалъ Александръ Николаевичъ, «съ нимъ спорить, проводя иной взглядъ, противорѣча его построеніямъ — не его методу, точному и критическому, то-есть, такому, который особенно желателенъ въ разработкѣ нашего былиннаго вопроса, все еще запутаннаго и загадочнаго, несмотря на талантливыя попытки освѣтить его научно».

Сочиненіе Ивана Николаевича «Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи», а также и другія его работы, относящіяся къ Кіевской порѣ, привлекли вниманіе извѣстнаго слависта, филолога и историка литературы академика Ягича, который въ небольшой замѣткѣ помѣщенной въ издаваемомъ имъ «Archiv fur Slavische Philologie», привѣтствовалъ появленіе трудовъ этого «даровитаго и начитаннаго сторонника» направленія, принятаго А. Н. Веселовскимъ.

«Этими сочиненіями», замѣчаетъ почтенный ученый, «авторъ достойнымъ образомъ ввелъ себя въ все еще не очень длинный рядъ тѣхъ русскихъ ученыхъ, которые поставили себѣ задачею строго-научное изученіе русской литературы» [2]).

V.

Въ началѣ 1883 г., какъ уже было замѣчено, Ждановъ началъ педагогическую дѣятельность въ Историко-филологическомъ Инсти-

1) «Журн. Мин. Нар. Просв.» 1884 г. февр., стр. 359—396.

2) VI Bd. (1882 г.), p. 304—306. Изъ другихъ рецензій, вызванныхъ магистерскою диссертаціею Жданова, укажемъ на статью, помѣщенную въ № 40 журнала «Искусство» за 1883 г. Авторъ ея (рецензія подп. буквами: В. К.) относится отрицательно къ сочиненію Ивана Николаевича «Не раздѣляя мнѣнія академика Веселовскаго, отозвавшагося объ этомъ трудѣ г. Жданова, съ большой похвалой», рецензентъ, между прочимъ, замѣчаетъ: «Насколько цѣнно было первое сочиненіе г. Жданова о Стоглавомъ Соборѣ, защищенное года два-три тому назадъ въ Петербургскомъ Университетѣ pro venia legendi, настолько новое изслѣдованіе является, по нашему мнѣнію, неудовлетворительнымъ». Выводы «молодого ученаго» рецензентомъ-противникомъ теоріи заимствованій — признаются« не научными».

тутѣ. Ближайшимъ предшественникомъ его по каѳедрѣ русской словесности въ этомъ учебномъ заведеніи былъ извѣстный историкъ литературы А. Д. Галаховъ. Вотъ какъ вспоминаетъ одинъ изъ слушателей Ивана Николаевича за первые годы его профессорства въ Институтѣ «о томъ сильнѣйшемъ впечатлѣніи», которое произвелъ Ждановъ на свою аудиторію. «Въ годъ нашего поступленія въ Институтъ И. Н. Ждановъ», говоритъ г. Рудаковъ [1]),— «началъ первый полный академическій курсъ.... Немного быстрая его рѣчь не мѣшала однако улавливать и даже нѣкоторымъ записывать его лекціи, которыя онъ читалъ по краткимъ конспектамъ, подтверждая свои выводы выдержками изъ авторовъ. Каждая его лекція представляла нѣчто цѣлое, содержательное и почти всегда въ дебри древней словесности вносила что-либо новое, самостоятельное. Строгая систематизація и логичность въ прекрасномъ литературномъ изложеніи оставляли въ слушателяхъ глубокій слѣдъ... Хотя по программѣ институтской Иванъ Николаевичъ долженъ былъ ограничиться двумя общими курсами, но онъ сумѣлъ найти возможность читать затѣмъ и приватныя лекціи, посвящая ихъ обозрѣнію литературной дѣятельности Карамзина, Жуковскаго, Гоголя и др.[2]). Не будучи строгимъ спеціалистомъ въ этой области, онъ однако умѣлъ обозрѣть предметъ широко, воспользоваться множествомъ пособій и всему дать надлежащее освѣщеніе, нерѣдко поражающее своей оригинальностью и остроуміемъ».

На долю Историко-филологическаго Института выпало наибольшее число лѣтъ профессорской дѣятельности Ивана Николаевича, начатой въ 1883 г., и прерванной только его смертью въ 1901 г. Одновременно съ преподаваніемъ въ Институтѣ [3]), Ждановъ въ теченіе долгаго времени (съ 1884—1895 г.) занималъ каѳедру исторіи русской литературы въ Александровскомъ Лицеѣ, читалъ лекціи на СПБ. Высшихъ Женскихъ Курсахъ (1893—94 г.), а

---

1) «Памяти академиковъ М. И. Сухомлинова и И. Н. Жданова» («Истор. Вѣстн.», октябрь 1901 г., стр. 204).

2) Въ числѣ курсовъ, читанныхъ Иваномъ Николаевичемъ въ Институтѣ имѣются и курсы о Пушкинѣ, о предшественникахъ Пушкина, очеркъ умственной жизни Россіи въ XVI в., о духовныхъ стихахъ и пр.

3) Съ 1891 г. и до своей кончины И. Н. исполнялъ обязанности ученаго секретаря конференціи Истор.-фил. Института; въ 1895 г. былъ утвержденъ ординарнымъ профессоромъ.

съ 1895 г. въ СПБ. Университетѣ, сначала въ званіи приватъ-доцента а затѣмъ (въ 1896 г.) и ординарнаго профессора. «Ждановъ»,—по словамъ его младшаго товарища по каѳедрѣ, А. К. Бороздина,—«былъ цѣннымъ пріобрѣтеніемъ для нашего Университета». Его предшественникъ А. И. Незеленовъ, бывшій съ конца 80-хъ годовъ, послѣ ухода Ор. Ѳ. Миллера и Сухомлинова, главнымъ представителемъ каѳедры русской словесности, благодаря «подтачивавшему его здоровье злому недугу, принужденъ былъ цѣлыми мѣсяцами отказываться отъ чтенія курсовъ. Когда явился Ждановъ, значеніе каѳедры сразу поднялось. въ своихъ лекціяхъ онъ далъ слушателямъ результатъ и своихъ трудовъ и чужихъ изслѣдованій, онъ ввелъ ихъ въ самую лабораторію науки, показалъ имъ методы науки, и въ рядѣ курсовъ сообщилъ отличное освѣщеніе разнымъ эпохамъ нашей литературы. Важно было при этомъ, что Ждановъ не ограничивался какимъ-нибудь однимъ уголкомъ науки; его интересы были очень широки: на ряду съ своимъ излюбленнымъ отдѣломъ народной словесности, онъ занимался и древнѣйшимъ періодомъ нашей литературы до-Монгольскимъ, и Московской эпохой, и XVIII в., и временемъ Пушкина, Лермонтова, Гоголя и Бѣлинскаго [1]). Его лекціи призывали слушателей къ самостоятельной работѣ, въ которой онъ являлся отличнымъ помощникомъ и совѣтникомъ.» [2]). Съ особеннымъ вниманіемъ относился Иванъ Николаевичъ къ практическимъ занятіямъ студентовъ, къ ихъ рефератамъ, которые прочитывались въ аудиторіи и обсуждались подъ руководствомъ профессора [3]).

Дѣятельность Жданова въ СПБ. университетѣ была непродолжительна. Тяжелый недугъ принудилъ его прекратить чтеніе лекцій съ самаго начала 1901 г. «Но результатъ этой дѣятельности»,—замѣ-

1) Въ бумагахъ покойнаго отыскался конспектъ лекціи объ А. Н. Майковѣ, которая начиналась слѣдующими словами «8-го марта 1897 г. скончался маститый 76-лѣтній поэтъ А. Н. Майковъ, принадлежавшій къ нашей университетской семьѣ, какъ бывшій студентъ СПБ. Университета, а позднѣе его почетный членъ».....

2) «Утраты науки» («Россія» 18 іюля 1901 г. № 799).

3) Въ 1900 г. подъ редакціей И. Н. Жданова вышли въ свѣтъ два сборника: 1) «Литературный сборникъ, изданный студентами Имп. СПБ. Университета въ пользу раненыхъ буровъ» и 2) «Памяти А. С. Пушкина. Сборникъ статей преподавателей и слушателей Истор.-Филол. факультета Имп. СПБ. Университета». (Записки Истор.-Фил. факультета Имп. СПБ. Университета, часть LVII, и отд. СПБ. 1900).

чаетъ пр. Бороздинъ,—далеко не незначителенъ: если онъ не успѣлъ еще «создать школы» ученыхъ, то изъ его аудиторіи вышло не мало преподавателей, которые понесли въ среднюю школу новые научные взгляды, которые могутъ бороться противъ царившей въ ней архаической рутины».

Кромѣ перечисленныхъ выше учебныхъ заведеній, Ждановъ преподавалъ еще русскую словесность съ 1884 по 1888 г. Наслѣднику Цесаревичу, нынѣ царствующему Государю Императору, а въ послѣдніе годы своей жизни вел. кн. Михаилу Александровичу и вел. кн. Ольгѣ Александровнѣ.

Послѣ появленія въ свѣтъ магистерской диссертаціи Жданова, мы встрѣчаемъ въ печати его имя только въ 1887 г. Къ первымъ годамъ, проведеннымъ въ Петербургѣ послѣ переѣзда изъ Кіева, относятся двѣ рѣчи Ивана Николаевича, найденныя въ его бумагахъ и напечатанныя впервые въ посмертномъ изданіи сочиненій. Объ эти рѣчи были произнесены въ Историко-филологическомъ Институтѣ: 1) на актѣ 5-го іюня 1884 г. — о Н. И. Гнѣдичѣ, по случаю исполнившагося въ 1884 г. столѣтія со дня рожденія поэта и 2) 14-го февраля 1885 г. — по поводу тысячелѣтія со дня смерти св. Меѳодія.

И. Н. Ждановъ одно время живо интересовался Гнѣдичемъ, собиралъ матеріалы о знаменитомъ переводчикѣ Иліады (матеріалы эти сохранились въ его бумагахъ, и часть ихъ использована имъ въ указанной выше рѣчи). Рѣчь о Н. И. Гнѣдичѣ представляетъ несомнѣнный интересъ главнымъ образомъ благодаря имѣющимся въ ней обстоятельнымъ біографическимъ даннымъ и дополняетъ собою статью проф. Н. С. Тихонравова о Гнѣдичѣ, посвященную не столько біографіи поэта, сколько обзору его произведеній [1]).

---

1) Замѣтимъ кстати, что статья Тихонравова о Гнѣдичѣ (Собр. соч. т. III ч. 2, стр. 100—139) хотя и была написана раньше рѣчи Жданова, но появилась въ посмертномъ изданіи его сочиненій уже послѣ произнесенія Иваномъ Николаевичемъ рѣчи. Укажемъ также на одно маленькое разногласіе встрѣтившееся при сопоставленіи рѣчи Ивана Николаевича со статьею Тихонравова «О заимствованіяхъ русскихъ писателей», въ которой онъ касается дѣятельности Гнѣдича. Тихонравовъ категорически утверждаетъ, что приписываемый Гнѣдичу и появившійся въ 1802 г. подъ названіемъ «Плоды уединенія» небольшой Сборникъ переводовъ и оригинальныхъ статей, не могъ принадлежать Гнѣдичу, ибо «во 1) заглавія этой книги нѣтъ ни въ одномъ каталогѣ и 2) Гнѣдичъ былъ тогда еще молодъ и едва ли могъ издать цѣлый сборникъ сочиненій своихъ. «Собр. Соч. Н. С. Тихонравова, т. III, ч. 2-я, стр. 349). Ждановъ, напротивъ, начинаетъ обозрѣніе литературной дѣятель-

Въ 1887 г. Александровскій Лицей правилъ тризну по своемъ знаменитомъ питомцѣ. 29-го января этого года, въ ознаменованіе 50-й годовщины смерти Пушкина, въ Лицеѣ было устроено торжественное публичное засѣданіе, на которомъ были произнесены рѣчи двумя бывшими лицеистами, академикомъ Я. К. Гротомъ и В. П. Гаевскимъ, а также и Иваномъ Николаевичемъ. Эта рѣчь— «Нѣсколько словъ о значеніи Пушкина въ исторіи русской литературы», вмѣстѣ съ другими рѣчами была напечатана въ томъ же году въ книжкѣ «29-го января 1887 г. Въ память пятидесятилѣтія кончины А. С. Пушкина».

Въ 1892 г. въ томъ же Лицеѣ Ждановъ прочиталъ публичную лекцію, въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, на тему: о драмѣ Пушкина «Борисъ Годуновъ». Въ 1899 г. и 1900 г. появились въ свѣтъ еще двѣ работы Жданова, посвященныя Пушкину: «Пушкинъ о Петрѣ Великомъ» и «Русалка» Пушкина и «Das Donauweibchen» Генслера». Изъ этихъ статей Ивана Николаевича о великомъ поэтѣ наиболѣе замѣчательнымъ представляется его этюдъ о драмѣ «Борисъ Годуновъ», въ которомъ онъ опровергнулъ мнѣніе, имѣвшее въ литературѣ въ теченіе долгаго времени значеніе, именно мнѣніе Полевого и Бѣлинскаго о ближайшей зависимости драмы Пушкина отъ исторіи Карамзина. (Мнѣніе это какъ извѣстно, по странной случайности, совпало съ сужденіями объ этой пьесѣ чиновъ полицейскаго надзора, съ заключеніями, данными въ 1829 г. III Отдѣленіемъ Собственной Е. И. В. Канцеляріи, куда представлена была драма Пушкина). Рядомъ сопоставленій пьесы съ «Исторіей Государства Россійскаго» Ждановъ неопровержимо доказалъ, что поэтъ, относился свободно и самостоятельно къ разсказу Карамзина, что онъ былъ знакомъ съ такими извѣстіями о Борисѣ и Самозванцѣ, которыя не встрѣчаются у историка, что Пушкинъ «въ изображеніи судьбы царя Бориса шелъ своею дорогой, на которой Карамзинъ не былъ и не могъ быть путеводителемъ».

ности Гнѣдича съ этого именно сборника, и надо замѣтить, что въ данномъ случаѣ Иванъ Николаевичъ имѣлъ на то полное основаніе. Въ «Плодахъ уединенія», въ числѣ другихъ произведеній, находится небольшая повѣсть «Морицъ или жертва мщенія». Эта повѣсть въ томъ же 1802 г. появилась отдѣльно, съ посвященіемъ И. В. Лопухину. Подпись Н. Г—чъ, устраняетъ всякое сомнѣніе, кто былъ авторомъ этой повѣсти, а также и Сборника озаглавленнаго «Плоды Уединенія».

А. Ч.

Пушкинъ былъ любимымъ поэтомъ Жданова, и интереса къ изученію его поэзіи не могло заглушить увлеченіе памятниками народнаго творчества. Въ своихъ спеціальныхъ курсахъ онъ особенно охотно и часто останавливался на дѣятельности Пушкина, на его общественныхъ и литературныхъ взглядахъ. Увлеченіе геніемъ Пушкина не нуждается, конечно, въ какой-нибудь сложной мотивировкѣ, но, думается намъ, Ивана Николаевича особенно привлекала одна сторона дѣятельности поэта, по которой, какъ полагалъ Ждановъ всего яснѣе можно опредѣлить историко-литературное значеніе его поэзіи и которую онъ особенно подчеркнулъ въ рѣчи, прочитанной, въ Лицеѣ въ 1887 г.

«Пушкинъ — художникъ-миротворецъ», замѣчаетъ Ждановъ. «Въ его поэтическихъ работахъ находили отзвукъ и примиреніе самыя разнообразныя, даже противоположныя движенія общественныхъ и литературныхъ идей. Онъ зналъ какую-то волшебную тайну, которая давала ему средство самые рѣжущіе диссонансы разрѣшать въ своеобразную художественную гармонію..... Онъ объединилъ въ художественной синтезѣ разнообразныя теченія современной ему общественной и поэтической мысли и этой синтезой очистилъ путь для дальнѣйшаго движенія нашей литературы. Пушкинъ точно созданъ былъ для такой объединяющей роли. Всякая односторонность, всякая крайность и нетерпимость внушали отвращеніе его гармонически настроенной душѣ». Эта «высокая примиряющая, объединяющая роль» Пушкина, благодаря которой «и теперь передъ его образомъ мирно сойдутся люди самыхъ несходныхъ настроеній и самыхъ противоположныхъ стремленій», была особенно симпатична Жданову, ибо всякая крайность и нетерпимость были чужды его мягкой натурѣ, ибо разносторонность составляла, какъ намъ кажется, одну изъ его характернѣйшихъ особенностей.

Ту же объединяющую роль цѣнилъ Иванъ Николаевичъ и въ дѣятельности Бѣлинскаго. Припомнимъ заключительныя слова его реферата, читаннаго въ засѣданіи Неофилологическаго Общества 18-го декабря 1898 г. по случаю пятидесятилѣтія со дня смерти знаменитаго критика. «Тургеневъ, говорилъ Ждановъ, назвалъ Бѣлинскаго центральною натурою: «онъ всѣмъ существомъ своимъ стоялъ близко къ сердцевинѣ своего народа, воплощалъ его вполнѣ и съ хорошихъ и съ дурныхъ сторонъ». «Это названіе центральной натуры», замѣчаетъ Ждановъ, «можно примѣнить къ Бѣлинскому и въ другомъ значеніи. Въ его разностороннемъ умѣ, въ его широко

понимаемой литературной критикѣ, мирились и объединялись такія направленія русской мысли, которыя позже обособились до рѣзкой противоположности. Вернется ли это былое единство? Можетъ ли оно вернуться? Не знаю, но вспоминать объ этомъ единствѣ, вспоминать о «центральной натурѣ» и отрадно, и безспорно полезно»[1]). Въ этомъ рефератѣ Иванъ Николаевичъ ставилъ себѣ вопросъ: «пытался ли Бѣлинскій освѣтить движеніе русской литературы при помощи историческаго метода?» Изученіе его сочиненій привело изслѣдователя къ положительному отвѣту на этотъ вопросъ. Бѣлинскій, послѣ многихъ колебаній и сомнѣній, объясняющихся оживленной борьбой литературныхъ мнѣній, среди которыхъ развивалась дѣятельность критика, пришелъ къ признанію необходимости историческаго объясненія явленій русской литературы. «Указанныя выше попытки Бѣлинскаго выяснить историческое движеніе новой русской литературы, — говоритъ Ждановъ, — даютъ право и тѣмъ, кто изучаетъ исторію русской литературы, считать знаменитаго критика однимъ изъ своихъ *«хореговъ»*.

Самымъ крупнымъ и замѣчательнымъ трудомъ И. Н. Жданова этой поры была его докторская диссертація «Русскій Былевой Эпосъ» (1895 г.). Въ составъ этой книги вошло пять изслѣдованій, изъ которыхъ четыре: «Повѣсти о Вавилонѣ» и «Сказаніе о князьяхъ Владимирскихъ», «Повѣсть объ Александрѣ и Людовикѣ» и былина «Неразсказанный сонъ», «Василій Буслаевичъ и Волхъ Всеславьевичъ» и «Пѣсни о князѣ Романѣ» появились въ свѣтъ первоначально въ «Журналѣ Мин. Народ. Просв.» (1890—1894 гг.), а пятая: «Пѣсни о князѣ Михаилѣ» въ «Живой Старинѣ» (1890 г.). Въ объединившемъ эти статьи предисловіи авторъ выставилъ рядъ положеній, къ которымъ привело его изученіе разсмотрѣнныхъ въ книгѣ произведеній былевой поэзіи. Вотъ какъ опредѣляетъ Иванъ Николаевичъ основную задачу своего изслѣдованія: «отраженіе въ поэзіи историческихъ событій, характеризующее былевой эпосъ въ его основѣ, не объясняетъ, однако, всѣхъ явленій, всѣхъ разновидностей былевой пѣсни. Вліяніе историко-литературныхъ теченій могло значительно отклонить движеніе эпоса отъ его первоначальнаго направленія. Поэтому, рядомъ съ пѣснями, сложившимися на исторически-былевой основѣ и удерживающими эту основу и въ позднѣйшихъ пересказахъ, находимъ такія произведенія эпической поэзіи,

1) Соч. И. Н Жданова, т. II, стр. 267.

въ которыхъ историческія воспоминанія замѣняются инымъ литературнымъ матеріаломъ. Какой же именно матеріалъ вошелъ въ нашъ былевой эпосъ, измѣняя составъ и характеръ исторической пѣсни? Недостаточно указать, что это матеріалъ захожій, матеріалъ, непринадлежащій къ кругу нашихъ былей. Нужно опредѣлить тотъ отдѣлъ поэтической литературы, подъ вліяніемъ котораго опредѣлился составъ той или другой былины. При такомъ изученіи выяснится живая связь, соединяющая былевой эпосъ съ другими, параллельными ему теченіями народнаго творчества, исторія былины не останется уединенной, а войдетъ въ общую картину движенія старо-русской поэзіи» [1]).

Иванъ Николаевичъ защитилъ свою диссертацію въ СПб. Университетѣ 23-го апрѣля 1895 г. Въ своей блестящей рѣчи, произнесенной передъ диспутомъ, Ждановъ счелъ нужнымъ остановиться, между прочимъ, на одномъ упрекѣ, который приходится слышь и рядомъ слышать изслѣдователямъ народной словесности, примкнувшимъ къ новому направленію, на упрекѣ въ томъ, что придавая слишкомъ большое значеніе въ образованіи нашего эпоса литературнымъ заимствованіямъ, они «какъ будто забываютъ національное значеніе эпоса, забываютъ связь былины съ русскимъ историческимъ преданіемъ». «Эти упреки», замѣчаетъ Иванъ Николаевичъ, «имѣютъ видъ основательности, но вѣдь и заимствованія въ эпосѣ подтверждаются указаніями, не подлежащими сомнѣнію». «Толки о самобытности и подражательности въ эпосѣ», продолжаетъ онъ, «объ отношеніи родового и благопріобрѣтеннаго, напоминаютъ мнѣ споры нѣкоторыхъ географовъ о томъ, Ока ли впадаетъ въ Волгу или Волга въ Оку. Въ самомъ дѣлѣ, если опредѣлить ту массу воды, которую несетъ Волга въ нижнемъ своемъ теченіи, передъ впаденіемъ въ Каспій, то въ этой водѣ, конечно, лишь очень малая, ничтожная доля будетъ принадлежать той скромной рѣкѣ, которая, подъ именемъ Волги, течетъ около Твери и Углича. И однако, несмотря на то, что вода притоковъ значительно превосходитъ по объему воду рѣки — матери, права этой матери остаются неприкосновенными. Мы называемъ Волгу Волгой на всемъ ея теченіи, мы признаемъ ее единой, несмотря на обиліе и силу притоковъ, признаемъ ее единой, потому что она всей своей рѣчной системой связываетъ далекія окраины Руси съ ея центромъ, соединяетъ и сре-

1) И. Н. Ждановъ. Русскій былевой эпосъ. СПБ. 1895, стр. VII.

динныя части Руси живымъ путемъ. Подобную же объединяющую систему представляетъ и эпосъ съ его разнообразными притоками. Какъ бы ни были значительны эти притоки, какъ бы ни были велики заимствованія и примѣси въ эпосѣ, они не лишаютъ эпоса ни единства, ни національнаго значенія» [1]).

Диспутъ, на которомъ оффиціальными оппонентами были академики А. Н. Веселовскій и А. И. Соболевскій, закончился, по словамъ газетнаго отчета, шумною овацією, устроенною студентами, поднявшими Ивана Николаевича на руки [2]).

Диссертація Жданова вызвала рядъ рецензій. Академикъ А. И. Соболевскій въ своемъ разборѣ, помѣщенномъ въ «Журналѣ Министерства Народнаго Просвѣщенія» [3]) отмѣтилъ нѣкоторыя недочеты этого труда, отъ которыхъ не свободна, по его мнѣнію, и «самая цѣнная въ книгѣ» статья: «Повѣсти о Вавилонѣ и сказаніе о князехъ Владимирскихъ». Рецензентъ находитъ, что «разборъ памятниковъ произведенъ г. Ждановымъ слишкомъ неполно, чтобы можно было дѣлать какія-либо заключенія объ одной ихъ части». Наименѣе удачной представляется критику третья статья Сборника, озаглавленная «Василій Буслаевичъ и Волхъ Всеславьевичъ», въ которой изслѣдователь пытается установить сходство нашей былины о Васильѣ съ средневѣковыми западными сказаніями о Робертѣ-дьяволѣ. «Авторъ, при помощи своеобразнаго толкованія былинъ о Васильѣ и произвольнаго подбора варіантовъ изъ нихъ», замѣчаетъ А. И. Соболевскій, «представляетъ новгородскаго удальца какимъ-то извергомъ человѣческаго рода, рожденнымъ, если не отъ дьявола,

1) Соч. И. Н. Жданова, т. I, стр. 810, 811.

2) «*Новое Время*» 24-го апрѣля 1895 г.

3) Окт. 1895 г., стр. 354—363. Авторъ критической замѣтки, напечатанной въ «Педагогическомъ Сборникѣ» (окт. 1895 г.) и подписанной буквами «В. Я.» упрекаетъ Ивана Николаевича въ «увлеченіи», которое «всего яснѣе» «читатель чувствуетъ въ монографіи о Васильѣ Буслаевичѣ». Второй упрекъ рецензента относится «не лично къ г. Жданову, а вообще къ тому односторонему методу, которымъ пользуются при своихъ изслѣдованіяхъ современные фольклористы». «Не отрицая блестящихъ результатовъ, которыхъ достигли современные изслѣдователи», замѣчаетъ критикъ, «мы все-таки убѣждены, что не имъ суждено раскрыть тайны народнаго творчества. Односторонній методъ неизбѣжно ведетъ къ одностороннимъ выводамъ, къ натянутымъ сближеніямъ и объясненіямъ, которыя способны болѣе затемнить, чѣмъ осмыслить фактъ». Въ заключеніе своей статьи критикъ, однако, не могъ не замѣтить, что «книга г. Жданова во всякомъ случаѣ представляетъ собою одно изъ самыхъ крупныхъ явленій современной научной литературы».

то при помощи дьявола, образцомъ жестокости и безчеловѣчія».... «Само собою разумѣется, полное различіе типовъ симпатичнаго пѣвцамъ Василья, широкой русской натуры, и дьявольскаго отродья Роберта авторомъ игнорируется».

Въ высшей степени лестный отзывъ о книгѣ Ивана Николаевича былъ данъ академикомъ И. В. Ягичемъ. «Въ этомъ краткомъ отзывѣ», говоритъ онъ, «я не могу представить даже приблизительно полную характеристику всѣхъ очерковъ Жданова; достаточно если я обращу на нихъ вниманіе всѣхъ изслѣдователей въ области народнаго эпоса и фольклора на ряду съ извѣстными изслѣдованіями А. Веселовскаго, какъ на лучшее и на самое глубокомысленное, что въ этомъ отношеніи до сихъ поръ дали славянскія литературы. Только такіе труды, какъ настоящее сочиненіе Жданова, показываютъ въ надлежащемъ свѣтѣ важность изученія средневѣковой русской литературы. Точно по мановенію волшебника, маленькія, незначительныя, разбросанныя повѣствованія превращаются въ цѣнный матеріалъ, который въ своей наивной простотѣ зачастую передаетъ намъ то, что составляетъ основное содержаніе блестящихъ произведеній средневѣковой литературы европейскаго запада» [1]).

Трудъ Жданова былъ увѣнчанъ въ 1897 г. полною премією гр. Уварова [2]) на основаніи отзыва А. Н. Веселовскаго, который отмѣтилъ «большую начитанность автора въ области славянскаго и европейскаго фольклора», его «остроуміе» въ объясненіи нѣкоторыхъ сложныхъ вопросовъ нашей былевой эпики, «большой запасъ знаній». «Особенно удачно», по мнѣнію нынѣ покойнаго рецензента, «посчастливилось автору выяснить русское историческое происхожденіе былинъ и родственную имъ связь съ нашей письменностью въ этюдѣ: «Повѣсти о Вавилонѣ и Сказанія о князьяхъ Владимирскихъ».

Изъ другихъ работъ И. Н. Жданова, относящихся къ петербургскому періоду, укажемъ, произнесенную въ Александровскомъ Лицеѣ и напечатанную впервые въ посмертномъ изданіи его сочиненій, рѣчь по случаю 25-ти лѣтія со дня смерти Л. А. Мея (1887 г.), его документальный очеркъ о Фонвизинѣ, написанный въ 1897 г. для Русскаго Біографическаго Словаря, «Бесѣду трехъ святителей и

1) «Archiv für Slavische Philologie», Bd. XVII, 1895 г.

2) Въ 1898 г. Императорское Русское Географическое Общество присудило И. Н. Жданову большую золотую медаль «за совокупность трудовъ по этнографіи вообще, въ частности за сочиненіе «Русскій былевой эпосъ».

Joca Monachorum» — рефератъ, читанный въ 1891 г. въ засѣданіи Неофилологическаго Общества и съ нѣкоторыми дополненіями напечатанный въ слѣдующемъ году въ «Журналѣ Мин. Нар. Просв.», небольшую статью въ «Сборникѣ въ честь И. В. Помяловскаго», «Греческія стихотворенія въ славянскихъ переводахъ» (1894 г.), его прекрасную рѣчь о Ѳ. И. Буслаевѣ (1898 г.), нѣсколько рецензій, какъ, напр., обстоятельный разборъ трудовъ проф. Архангельскаго и др.

Въ 1894 г. въ Обществѣ Любителей Древней Письменности Иванъ Николаевичъ сдѣлалъ сообщеніе о двухъ византійскихъ повѣстяхъ въ старо-русской обработкѣ, о «Василіи извозчикѣ Московскомъ» и о «Цареградскомъ царѣ Михаилѣ», сказаніе о которомъ слилось съ повѣстью о вавилонскомъ царѣ Валтасарѣ. Этотъ рефератъ въ печати не появился. Въ бумагахъ покойнаго нашелся только весьма краткій конспектъ доклада и нѣсколько копій рукописныхъ повѣстей, легшихъ въ основу сообщенія. Но съ содержаніемъ реферата, а также и съ возраженіями, сдѣланными докладчику, насъ знакомитъ отчетъ о засѣданіи Общества Любителей Древней Письменности отъ 21 января 1894 г. [1]).

---

1) Отчетъ о засѣд. Импер. Общ. Любит. Древн. Письменности въ 1893—1894 гг. Памятники Древн. Письмен. 1894 г. С. II, 10—11. Считаемъ умѣстнымъ сообщить здѣсь замѣчанія Хр. М. Лопарева, вызванныя разсмотрѣніемъ оставшагося послѣ смерти И. Н. Жданова матеріала, собраннаго имъ для доклада и его конспекта. Повѣсти о Василіи извозчикѣ Московскомъ и о Цареградскомъ царѣ Михаилѣ «могутъ быть раздѣлены на 4 группы: 1) *Повѣсть о царѣ Михаилѣ и о золотомъ деревѣ*. («Повѣсть о царѣ Михаилѣ, какъ онъ во Цареградѣ царствовалъ». Имп. Публ. Библ. Q. XVII, № 194, XVIII в. л. 11—12, сообщ. Х. М. Лопаревымъ), 2) *Повѣсть о царѣ Валтасарѣ*. а) Толст. Отд. II, № 53 Публ. Библ. XVII, л. 23, сообщ. И. Н. Ждановымъ, и б) «Сказаніе о царе Левтасаре, какъ во Царе граде царствовалъ и какъ преставился».—Рукоп. Имп. Общ. Люб. Др. Письм. О. CXXXII, XVIII в., л. 1—8; сообщ. и изд. Хр. М. Лопаревымъ, Описаніе рукописей Имп. Общ. Люб. Древ. Письм. СПБ. 1899, III, 141 — 144, 3) *Повѣсть о царяхъ Михаилѣ и Валтасарѣ*. а) «Сказание о златомъ древе и о царе Левтасарѣ». Погод. № 1776 и б) «Слово о благочестивомъ царе Михаиле». Собр. Ундольск. № 943 л. 2—8, сообщ. И. Н. Ждановымъ и 4) Совершенно особая *Повѣсть о царѣ Михаилѣ и объ укрощеніи коня Василіемъ извозчикомъ Московскимъ*. Собр. Ундольск. № 942 л. 2—7, сообщ. И. Н. Ждановымъ). Прямого и непосредственнаго источника первой повѣсти доискаться трудно, но едва ли его не надо искать въ арабской литературѣ. Напр., хронистъ Сибт-ал-Джаузи, говоря о византійскомъ посольствѣ 916 г. ко двору Багдадскаго Халифа, Муктадира, разсказываетъ также, какъ о диковинѣ, о золотомъ деревѣ (*А. Васильевъ*. Византія и Арабы. СПБ. 1902, стр. 210 и прил. стр.

Послѣдняя работа Жданова, за которой его застала смерть — «Повѣсть о королевичѣ Валтасарѣ и былины о Самсонѣ Святогорѣ». Первая часть этой статьи, въ которой онъ вернулся къ вопросу своей магистерской диссертаціи объ источникахъ былинъ о Самсонѣ Святогорѣ, была напечатана въ майской книжкѣ «Журн. Мин. Нар. Просв.».

Научно-литературная дѣятельность Ивана Николаевича не прошла незамѣченной со стороны Академіи Наукъ. Въ 1893 г. онъ былъ избранъ въ члены—корреспонденты, а въ 1900 г. въ ординарные академики по отдѣленію русскаго языка и словесности. Академическая дѣятельность Жданова продолжалась однако не долго. «Среди насъ онъ прошелъ гостемъ», говорилъ въ своей рѣчи вскорѣ послѣ смерти Ивана Николаевича академикъ А. Н. Веселовскій, «мы разсчитывали на него, надѣялись на богатую жатву, но смерть скосила его самого.....». «Интересъ къ Пушкину» обѣщалъ намъ въ лицѣ Жданова хорошаго критическаго издателя произведеній нашего великаго поэта»..... Какъ извѣстно, академическое изданіе сочиненій Пушкина, осиротѣвшее послѣ смерти Л. Н. Майкова, подъ редакціею котораго вышелъ въ свѣтъ I томъ этого изданія, перешло въ руки Ивана Николаевича. По порученію Отдѣ-

---

127—128). Въ основу второй повѣсти положена 5-я глава пророчества Даніила (мы лично указывали И. Н. Жданову на этотъ источникъ и получили въ отвѣтъ: «это само собою разумѣется». Но думается, что покойный, зная этотъ разсказъ вообще, не читалъ библейскаго текста передъ своимъ сообщеніемъ въ Общ. Люб. Древн. Письм., ибо иначе онъ не сталъ бы искать параллель Валтасару ни въ имп. Ѳеофилѣ, «Новомъ Валтасарѣ», ни въ имп. Львѣ Хазарѣ: въ библейскомъ текстѣ, какъ извѣстно, говорится о Халдейскомъ (Вавилонскомъ) царѣ Валтасарѣ. Такимъ образомъ, источникомъ этой повѣсти былъ всецѣло библейскій текстъ). Третья повѣсть представляетъ собою соединеніе первой и второй. Наконецъ четвертая повѣсть ведетъ начало изъ византійскихъ хроникъ, изъ переводовъ ихъ и устныхъ разсказовъ. Изъ этихъ хроникъ укажемъ на Амартола и его продолжателя, на продолжателя Ѳеофана, Симеона Магистра, Кедрина, Глику и Манассію. Здѣсь мы найдемъ и о конѣ царя Михаила (Ср. Петреевъ разсказъ о чудномъ конѣ Владиміра Мономаха) и о пристрастіи его къ вину, и о разбитіи зеркала (Ср. разсказъ Массуди объ Александрѣ Великомъ, посланіе пресвитера Іоанна и разсказъ Лассоты о кіевскомъ зеркалѣ) и объ убіеніи Михаила (Ср. Ліутпрандовъ разсказъ объ имп. Львѣ, задержанномъ стражей, и разсказъ о смерти Ѳеодориха у *Köhler'a*— Eine Sage von Teodorichs Ende in dem «Libro....» (Germania, XVIII); ср. А. Н. Веселовскій. Sagenstodte aus dem Kandjur (Russische Revue, V), Разысканія въ области русскаго духовнаго стиха, V)».

Хр. Л.

ленія Русскаго языка и Словесности, Ждановъ сталъ во главѣ этого дѣла, энергично взялся за него, помышлялъ написать и обстоятельную біографію поэта для этого изданія, но тяжкая болѣзнь и послѣдовавшая за нею смерть положили предѣлъ его дѣятельности. Напряженная умственная работа исподволь и понемногу распатывала могучій, исполинскій организмъ Ивана Николаевича. Въ послѣдніе годы жизни онъ сталъ замѣтно прихварывать. Крайне утомленный отъ зимнихъ и весеннихъ работъ, онъ уѣхалъ въ началѣ лѣта 1900 г. въ Ессентуки. Плохо поправившимся вернулся онъ осенью въ Петербургъ, принялся за свою обычную работу, но силы были уже надорваны и надломлены. Мучительныя головныя боли предвѣщали надвигающійся смертельный недугъ. Въ самомъ началѣ 1901 г. болѣзнь проявилась въ бурной формѣ. Иванъ Николаевичъ слегъ въ постель. Врачи констатировали острое воспаленіе почекъ — нефритъ. Приходилось прервать не только педагогическую дѣятельность, но и всякую научную работу. Обнаружившаяся слабость зрѣнія, одинъ изъ грозныхъ признаковъ этой болѣзни, принуждала отказаться даже отъ чтенія, что причиняло ему особенно тяжкія нравственныя страданія. 23 апрѣля 1901 г. онъ, по совѣту врачей, покинулъ Петербургъ, уѣхавъ въ Алупку, въ сопровожденіи своей второй жены и дочери. Онъ взялъ съ собою черновыя наброски 2-й части статьи о Валтасарѣ, разсчитывая, что южное солнце нѣсколько возстановитъ его силы и дастъ возможность докончить работу. Но надежда эта не сбылась. Впрочемъ, на первыхъ порахъ въ Крыму Иванъ Николаевичъ чувствовалъ себя нѣсколько лучше, чѣмъ въ Петербургѣ, онъ могъ, хотя и дрожащимъ подчеркомъ, писать короткія письма. «На свои силы еще не надѣюсь, чувствую себя, впрочемъ, еще не совсѣмъ плохо», писалъ онъ 8-го Мая. «Говорить объ ухудшеніи болѣзни не могу», читаемъ мы въ другомъ письмѣ, написанномъ нѣсколько дней спустя, «но силъ мало, очень мало. Врачъ, впрочемъ, не пугаетъ, а ободряетъ. Будемъ надѣяться на лучшее». Однако болѣзнь не поддавалась ни дѣйствію климата, ни леченію и шла неуклонно къ роковому концу. Въ ночь на 11-е Іюля Ивана Николаевича не стало. Тѣло его было перевезено въ Петербургъ и предано землѣ на кладбищѣ Новодѣвичьяго монастыря.

VI.

Подводя итогъ научно-литературной дѣятельности Жданова, нельзя не замѣтить, что списокъ его трудовъ не особенно великъ. Въ своей рѣчи о проф. Котляревскомъ, обращенной къ студентамъ историко-филологическаго факультета университета Св. Владиміра, Иванъ Николаевичъ, между прочимъ, говоритъ, что покойнаго автора сочиненія «О погребальныхъ обычаяхъ языческихъ славянъ», иногда упрекали за то, что онъ, «зная такъ много, пишетъ сравнительно мало». Этотъ упрекъ можетъ быть примѣненъ и къ самому Жданову. Онъ также зналъ много, а писалъ, или вѣрнѣе сказать, печаталъ сравнительно мало. При объясненіи этого обстоятельства надо имѣть въ виду и нѣкоторую медлительность, присущую Ивану Николаевичу, и его крайнюю требовательность къ себѣ. Ждановъ долго вынашивалъ въ себѣ работу, прежде чѣмъ рѣшался представить ее на судъ читателей. Крайне осторожный изслѣдователь, онъ медленно подходилъ къ выводамъ, основаннымъ на глубокомъ, вдумчивомъ и всестороннемъ изученіи фактовъ, удѣляя не мало вниманія и внѣшней формѣ своихъ научныхъ изслѣдованій. Но, разумѣется, самой главной причиной, почему Иванъ Николаевичъ такъ сравнительно рѣдко выступалъ въ печати, была его обширная педагогическая дѣятельность, оставлявшая мало времени для собственно литературной работы и которой онъ отдавалъ свои лучшія силы. Всѣ его бывшіе слушатели знаютъ, съ какою рѣдкою добросовѣстностью онъ относился къ своимъ профессорскимъ обязанностямъ, какая тщательная, усердная подготовительная работа скрывалась за его лекціями, привлекавшими къ себѣ вниманіе его слушателей обиліемъ сообщаемыхъ въ нихъ историко-литературныхъ данныхъ, оригинальнымъ освѣщеніемъ вопросовъ, строго-научнымъ методомъ. Объ обширной начитанности Жданова во всѣхъ областяхъ русской литературы, какъ древней, такъ и новой, о солидномъ знакомствѣ съ иностранными литературами, въ особенности съ средневѣковой западно-европейской и византійской, свидѣтельствуютъ многочисленные конспекты, найденные въ его бумагахъ и которыми онъ пользовался при чтеніи своихъ лекцій. Тѣмъ досаднѣе, что его лекціи сохранились только въ литографированныхъ запискахъ его слушателей, отразившихъ въ себѣ въ довольно слабой степени живую рѣчь покойнаго профессора и въ которыхъ

мы находимъ не только стилистическія погрѣшности, неточности и противорѣчія, но порою и цѣлыя страницы, выхваченныя составителями изъ разныхъ учебниковъ и монографій. Приходится сожалѣть о томъ, что Иванъ Николаевичъ не подвергнулъ эти записки тщательному пересмотру и не издалъ ихъ подъ своею редакціею. Въ послѣдній годъ жизни Ждановъ задумалъ было заняться обширнымъ изданіемъ, которое должно было охватить всю исторію русской литературы и въ которой на ряду съ нимъ и подъ общимъ его руководствомъ должны были принять участіе многіе спеціалисты въ ея различныхъ отрасляхъ. Къ сожалѣнію, задуманный планъ не былъ приведенъ въ исполненіе. При объясненіи причины нѣкоторой малочисленности печатныхъ трудовъ Жданова, слѣдуетъ имѣть въ виду и то, что смерть сразила его въ расцвѣтѣ умственныхъ силъ, что онъ скончался въ такихъ годахъ, когда отъ него можно было ожидать еще не мало цѣнныхъ и важныхъ работъ. Найденный въ его бумагахъ матеріалъ позволяетъ заключить, что покойный ученый готовился къ новымъ изысканіямъ какъ по былевому эпосу, такъ и въ области новой литературы: намѣчается, напр., работа о Чурилѣ Пленковичѣ, нѣсколько новыхъ Пушкинскихъ этюдовъ. Но если общая сумма трудовъ Жданова и не была особенно велика, то каждое, или почти каждое, изъ слагаемыхъ этой суммы отличается такими выдающими достоинствами, которыя обезпечили ему право на одно изъ наиболѣе почетныхъ мѣстъ въ ряду изслѣдователей нашей литературной старины. Просматривая работы Ивана Николаевича, нельзя не замѣтить богатства его знаній, его рѣдкой научной добросовѣстности, критичности метода, щепетильной научной точности, широты умственнаго кругозора. Кропотливый и точный библіографъ, Ждановъ въ своихъ трудахъ всегда является «мыслящимъ изслѣдователемъ». «Ученыхъ спеціалистовъ, особенно филологовъ и археологовъ», говоритъ Иванъ Николаевичъ, характеризуя научную дѣятельность покойнаго профессора Котляревскаго, «нерѣдко упрекаютъ въ томъ, что называется буквоѣдствомъ, когда за всякими мелочами исчезаетъ живой смыслъ изучаемыхъ явленій. Согласимся, что эти упреки бываютъ иногда и не лишены правды. Но..... часто incidit in Scyllam qui vult evitare Charybdin. Избѣгая упрека въ мелочности и сухости изысканій, легко впасть въ другую, болѣе вредную крайность. Можно забыть, что плохо обоснованныя догадки и скороспѣлыя обобщенія, не отвѣчающія степени разработки даннаго научнаго матеріала, предста-

вляютъ не шагъ впередъ въ исторіи науки, а только лишнюю помѣху ея движенію, отвлекающую ученое вниманіе отъ прямого дѣла, — только балластъ, лишенный всякой цѣны, но на удаленіе котораго нужны время и силы. Благо тому изслѣдователю, который сумѣетъ стать выше двухъ этихъ одинаково опасныхъ крайностей, который сумѣетъ отыскать единственно вѣрный путь, опредѣляемый требованіями науки въ данной стадіи ея развитія»[1]). Иванъ Николаевичъ, безъ сомнѣнія, принадлежалъ къ числу именно тѣхъ «счастливцевъ», умѣвшихъ «стать выше» указанныхъ имъ «двухъ одинаково опасныхъ крайностей», умѣвшихъ найти истинную научную дорогу. На ряду съ отмѣченными уже характерными особенностями литературной дѣятельности Жданова, укажемъ еще на одну, — на разнообразіе его научныхъ интересовъ Съ особенной любовью и чаще всего останавливался онъ на изученіи древней русской литературы вообще и въ частности народной словесности. Въ этой послѣдней области онъ былъ въ полномъ смыслѣ слова хозяиномъ и мастеромъ своего дѣла. Нигдѣ съ такою полностью не открывается богатство его знаній, какъ въ его изслѣдованіяхъ по былевому творчеству. Убѣжденный сторонникъ такъ называемой «теоріи заимствованій», которую онъ одинъ изъ первыхъ приложилъ къ изученію нашего былиннаго вопроса, Иванъ Николаевичъ своими трудами не мало способствовалъ уясненію историческаго развитія русскаго эпоса, путемъ сближенія нѣкоторыхъ былинныхъ сюжетовъ съ аналогичными сказаніями другихъ народовъ, путемъ наблюденія надъ отраженіемъ въ эпической поэзіи историческихъ событій, и вмѣстѣ съ тѣмъ нанесъ рѣшительный ударъ «миѳологической теоріи». Многіе относились несочувственно къ разрушительной дѣятельности представителей «теоріи взаимнаго между народами общенія въ устныхъ и письменныхъ преданіяхъ», благодаря которой наша народная словесность превращалась въ хаотическую груду обломковъ. Такъ, еще въ 1889 году О. Ѳ. Миллеръ въ своемъ послѣднемъ трудѣ, посвященномъ Глѣбу Успенскому, съ горькимъ чувствомъ вспоминалъ объ этомъ разрушеніи по поводу былины о Святогорѣ. «Отъ этой чудной былины», «въ которой самъ народъ воспроизвелъ сущность земледѣльческаго труда», «какъ и отъ многихъ другихъ, ничего не осталось», говоритъ Миллеръ, «съ тѣхъ поръ какъ у насъ завелась ученая теорія о заимствова-

1) Соч. И. Н. Жданова, т. II, стр. 376—377.

ніяхъ, ведущая въ томъ видѣ, какъ она у насъ практикуется, къ вывѣтриванію изъ памятниковъ народной словесности живого слова, живой души»[1]). Эти строки, заключающія въ себѣ, быть можетъ, и намекъ на магистерскую диссертацію Ивана Николаевича, въ которой былина о Святогорѣ выясняется именно на основаніи теоріи заимствованій, дали поводъ А. Н. Пыпину сдѣлать слѣдующее справедливое замѣчаніе: «это сожалѣніе о разлагающей силѣ анализа очень характерно для идеалиста, какимъ былъ Ор. Миллеръ, но очевидно, что идеализація, желающая обойтись безъ помощи анализа, рискуетъ быть одной фантазіей». Мы имѣли случай привести выше блестящій отвѣтъ самого Жданова въ его рѣчи, произнесенной передъ его докторскимъ диспутомъ, на одинъ изъ упрековъ, который особенно часто приходится слышать сторонникамъ теоріи заимствованій. Этотъ отвѣтъ не оставляетъ сомнѣнія въ томъ, что «такъ называемыя заимствованія не только не нарушаютъ цѣльности эпоса, не лишаютъ его національнаго характера, а, напротивъ, придаютъ эпосу полноту, разносторонность и особенную историко-литературную цѣнность». Въ другомъ мѣстѣ покойный ученый останавливается на упрекѣ въ односторонности метода, которымъ онъ пользовался въ своихъ изысканіяхъ. Въ отзывѣ о трудахъ А. Н. Веселовскаго Ждановъ отнесся съ особеннымъ вниманіемъ къ одной изъ его статей, озаглавленной «Дуалистическія повѣрья о мірозданіи» и въ которой почтенный академикъ «касается важнаго и труднѣйшаго методологическаго вопроса, — вопроса о значеніи такъ называемыхъ «общихъ основъ» и заимствованій въ произведеніяхъ народнаго эпоса. Иванъ Николаевичъ приводитъ слова А. Н. Веселовскаго: «Объясняя сходство миѳовъ, сказокъ, эпическихъ сюжетовъ у разныхъ народовъ, изслѣдователи расходятся обыкновенно по двумъ противоположнымъ направленіямъ: сходство либо объясняется изъ общихъ основъ, къ которымъ предположительно возводятся сходныя сказанія, либо гипотезой, что одно изъ нихъ заимствовало свое содержаніе изъ другого. Въ сущности ни одна изъ этихъ теорій въ отдѣльности не приложима, да онѣ и мыслимы лишь совмѣстно, ибо заимствованіе предполагаетъ въ воспринимающемъ не пустое мѣсто, а встрѣчныя теченія, сходное направленіе мышленія, аналогическіе образы фан-

1) «Г. И. Успенскій». Опытъ объяснительнаго изложенія его сочиненій. СПБ. 1889 г., стр. 125.

тазіи. Теорія «заимствованія» вызываетъ такимъ образомъ теорію «основъ» и обратно; анализъ каждаго факта изъ области folklore'a долженъ одинаково обращаться на ту и другую сторону вопроса, въ виду возможности, что взаимное передвиженіе мива, сказки, пѣсни могло повторяться не однажды и всякій разъ при новыхъ условіяхъ какъ усвояющей среды, такъ и усваиваемаго матеріала». «Теорія общихъ основъ и заимствованій не представляется такимъ образомъ», замѣчаетъ Ждановъ, «исключающими одна другую; отыскивается нѣкоторая высшая точка зрѣнія, съ болѣе широкимъ кругозоромъ, примиряющая крайности односторонніхъ воззрѣній» [1]).

Изслѣдованія Ивана Николаевича по былевой поэзіи встрѣчали порою довольно сильныя возраженія. Критики, оцѣнивая по достоинству его обширную ученость, остроуміе его комбинацій, новизну его выводовъ, не всегда, однако, находили возможнымъ согласиться съ этими выводами. Но всѣ замѣчанія и упреки критиковъ не отнимаютъ, конечно, у трудовъ Жданова ихъ научнаго значенія, не колеблютъ самаго метода его изслѣдованія. По словамъ такого авторитетнаго судьи, какимъ несомнѣнно является А. Н. Веселовскій, «многіе результаты, полученные авторомъ, могутъ быть отмѣнены, не оказавшись на высотѣ новыхъ фактическихъ откровеній, но работа въ этой области будетъ идти по его пути и слѣдамъ его работы».

Пристрастіе къ «старинѣ» не препятствовало однако Ивану Николаевичу живо интересоваться явленіями новой русской литературы; его статьи и курсы лекцій по этой области заключаютъ въ себѣ не мало цѣнныхъ и оригинальныхъ воззрѣній. Укажемъ, напримѣръ, на его курсы о Пушкинѣ, о Гоголѣ, о Жуковскомъ. Въ этомъ послѣднемъ онъ, между прочимъ, впервые обратилъ вниманіе на неправильность ходячаго представленія о Жуковскомъ, какъ о первомъ нашемъ романтикѣ, тогда какъ онъ всецѣло принадлежалъ къ сентиментальному направленію. Сужденія Жданова получили блестящее подтвержденіе въ недавно появившемся превосходномъ и капитальномъ трудѣ А. Н. Веселовскаго о Жуковскомъ.

Отъ характеристики И. Н. Жданова, какъ ученаго, перейдемъ къ характеристикѣ его, какъ человѣка. Припомнимъ нѣкоторыя особенности душевнаго склада Ивана Николаевича, которыхъ намъ не пришлось еще коснуться въ предшествующемъ изложеніи, при

1) Соч. И. Н. Жданова, т. II, стр. 395, 396.

выясненіи его литературной и педагогической дѣятельности. При встрѣчѣ съ Ждановымъ, при самомъ даже поверхностномъ знакомствѣ съ нимъ нельзя было не замѣтить его рѣдкой скромности, даже застѣнчивости. Эта скромность соединялась у него съ нѣкоторою замкнутостью. Иванъ Николаевичъ туго сходился съ людьми, не любилъ говорить о себѣ, не любилъ и переписываться; онъ какъ будто стѣснялся привлекать вниманіе къ себѣ, къ своему скромному существованію. Любопытную автохарактеристику въ этомъ отношеніи мы находимъ въ одномъ изъ его писемъ (1881 г.). Въ отвѣтъ на упрекъ Л. Н. Майкова за продолжительное молчаніе, которое послѣдній объяснялъ себѣ «неподвижностью», Ждановъ, между прочимъ, замѣчаетъ: «Вы предполагаете «неподвижность». Быть можетъ, Вы и угадали, но не все. Неподвижность, повѣрьте, имѣла нѣкоторое основаніе болѣе интимнаго свойства. Я безъ зазрѣнія совѣсти могу сказать про себя словами Кантемира:

«Стыдливымъ, боязливымъ и всегда собою
«Недовольнымъ быть во мнѣ природы рукою
«Втиснѣно, или отческимъ совѣтомъ изъ дѣтства».

Занимать Ваше вниманіе чѣмъ-нибудь совсѣмъ мало значительнымъ я находилъ дѣломъ даже некрасивымъ. Присланная Вами «Повѣсть Петровскаго времени» разрушила эту стыдливую неподвижность». «Вы вспомнили обо мнѣ», читаемъ мы въ письмѣ къ другому лицу (1883 г.), «мнѣ остается къ запасу прежнихъ чувствъ прибавить еще одно: признательность за добрую память. Эта память даетъ мнѣ право говорить о себѣ». Замкнутость появилась у Ивана Николаевича рано. «Онъ былъ прекрасный товарищъ, его нельзя было не любить, но онъ не былъ экспансивенъ и никогда не раскрывалъ души», отзывается о немъ одинъ изъ прошедшихъ съ нимъ курсъ СПБ. Университета. Объ его молчаливости и сдержанности упоминаютъ также нѣкоторые изъ его товарищей по Семинаріи и Духовной Академіи. Впрочемъ, надо замѣтить, что эта замкнутость въ молодые годы не выступала особенно рѣзко. По крайней мѣрѣ, по свидѣтельству обѣихъ сестеръ покойнаго, онъ «въ юности былъ въ семьѣ всѣхъ общительнѣе и живѣе». Эта замкнутость создавала неблагопріятныя условія для ознакомленія съ духовнымъ міромъ Ивана Николаевича. Благодаря этой чертѣ, нѣкоторые судили о немъ превратно и не догадывались даже о существованіи многихъ сторонъ его богатаго духовнаго міра, ко-

торый былъ для нихъ закрытъ. Между прочимъ, многіе, знавшіе Ивана Николаевича только внѣшнимъ образомъ, склонны были упрекать его, напр., въ общественномъ индиферентизмѣ. И въ самомъ дѣлѣ, общественнымъ дѣятелемъ, въ прямомъ смыслѣ слова, Ждановъ никогда не былъ. Его спеціальные научные интересы лежали довольно далеко отъ острыхъ и жгучихъ вопросовъ злобы дня. Жизнь его протекала мирно среди любимыхъ научныхъ занятій въ рабочемъ кабинетѣ, который онъ только покидалъ для чтенія лекцій или посѣщенія библіотеки и засѣданій ученыхъ обществъ. Но этотъ человѣкъ, по мягкости своей природы, не созданный къ роли общественнаго борца, питалъ отвращеніе къ квіэтизму, къ эгоистическому принципу «моя хата съ краю». Онъ не принадлежалъ къ той категоріи мужей науки, которые, замкнувшись въ своей спеціальности, относятся безучастно ко всему тому, что происходитъ за стѣнами ихъ кабинета, что не имѣетъ ближайшаго соприкосновенія съ ихъ научными занятіями. Чтобы не быть голословными, мы позволимъ себѣ привести выдержку изъ одного письма Ивана Николаевича, относящагося къ 1874 г. Вотъ что онъ писалъ одному изъ своихъ университетскихъ товарищей, въ то время находившемуся за границей. «Если Вы изъ Шверина отправитесь дальше по Европѣ, не забывайте останавливаться въ старыхъ городахъ, хотя въ двухъ, трехъ. «Блуждайте по старымъ, заброшеннымъ кварталамъ, ищите развалинъ», — вотъ совѣтъ, который мнѣ хотѣлось бы дать всѣмъ туристамъ, которые путешествуютъ безъ какой-либо опредѣленной спеціальной цѣли. Изъ этого блужданія можно вывести многое, рядъ очень важныхъ впечатлѣній. Кто-то опредѣлялъ религію, какъ чувство рода или точнѣе родопродолженіе, чувство чего-то общаго во всемъ человѣчествѣ. Въ этомъ опредѣленіи много глубоко-вѣрнаго. Но нигдѣ и никогда не переживете и не поймете такъ глубоко этого чувства, какъ при блужданіи среди остатковъ прежней жизни. Пусть это будетъ жизнь совершенно чужая, пусть далѣе это будетъ жизнь, въ которой было мало свѣтлаго,— сила впечатлѣнія отъ этого не ослабляется. Въ развалинахъ, какъ въ смерти, есть что-то примиряющее. Говорятъ, что при видѣ гроба страсти людей затихаютъ, по крайней мѣрѣ не такъ рѣзко выходятъ наружу. То же и при видѣ развалинъ. Тѣ страсти и тѣ жгучія думы, которыя неизбѣжно возникаютъ у Васъ, какъ у всякаго современнаго человѣка, среди странствованія по роскошнымъ и блестящимъ кварталамъ новаго города, начинаютъ какъ-то сти-

хать, когда вы вступаете въ узкія и кривыя улицы стараго города и по нимъ добираетесь до какой-нибудь уединенной площади, на которой стоитъ старая церковь или какія-нибудь старыя палаты. У Васъ начинаютъ рождаться новыя думы, начинаетъ развиваться новое настроеніе. Это то чувство, которое выше я назвалъ чувствомъ рода, которое также можетъ быть названо чувствомъ историческимъ... Остается еще одинъ вопросъ. Чувство историческое есть чувство замиряющее, чувство покоя. Но не вредно ли питать такое чувство? Не приведетъ ли оно къ опасному, отвратительному квіэтизму? Я знаю, что многіе, пожалуй, отвѣтятъ на это утвердительно, но это совершенно невѣрно. Чувство историческое замиряетъ, но не мертвитъ. Оно способно освѣжить душу и дать ту бодрость, которая такъ необходима въ жизни, какъ борьбѣ. Въ немъ источникъ того свѣтлаго взгляда на будущее, впередъ, который, по моему, необходимъ для жизни, какъ воздухъ,—взгляда, который такъ славно выраженъ въ поэтомъ:

«И пусть у гробового входа
«Младая будетъ жизнь играть.

Неужели въ этихъ словахъ есть что-нибудь похожее на квіэтизмъ? Нѣтъ и нѣтъ. Это—хорошія стимулирующія слова!» [1]).

Приведенныя строки представляются весьма любопытными для объясненія пристрастія Ивана Николаевича къ старинѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ и его отношенія къ общественнымъ вопросамъ. Широкая образованность покойнаго ученаго, свойственная ему разносторонность охранили его отъ общественнаго индиферентизма. «Я не люблю односторонности», писалъ онъ однажды (въ 1895 г.) одному изъ его бывшихъ слушателей, остановившемуся въ нѣкоторой нерѣшительности передъ открывшимся ему новымъ путемъ дѣятельности. «Если Вашею дѣятельностью останется литературная научная работа, буду искренне радъ, но съ такимъ же искреннимъ чувствомъ буду привѣтствовать Васъ и какъ энергичнаго земскаго дѣятеля. Нужны на этой нивѣ добрые, честные работники, люди преданные родной землѣ и родному народу, люди чуждые мелочного и кастоваго эгоизма». Любитель народной словесности, глубокій знатокъ народнаго творчества и народной психологіи, Ждановъ внимательно прислушивался къ матеріальнымъ и духовнымъ запросамъ деревни.

1) Это письмо было доставлено намъ, нынѣ тоже покойнымъ, товарищемъ И. Н. Жданова по университету, А. С. Сергѣевымъ.

«Мнѣ думается», писалъ онъ въ 1897 г., «что отношенія большихъ и малыхъ землевладѣній могутъ оказаться правильными и отрадными только въ томъ случаѣ, если для той и другой стороны станетъ ясной, наглядной взаимность, связь интересовъ, а это возможно будетъ только тогда, когда крупныя хозяйства сдѣлаются хозяйственными школами, культурными центрами большей или меньшей окружности». Припомнимъ заключительныя слова блестящей лекціи Ивана Николаевича, прочитанной въ 1892 г. въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая, въ которыхъ онъ энергично призывалъ общество къ борьбѣ съ «врагомъ, прокравшимся нынѣ въ нашу отчизну». «Организмъ крѣпкій, полный жизненныхъ силъ», говорилъ онъ, «легко справляется съ болѣзнью, отъ которой гибнетъ хилое тѣло. Тяжелый недугъ поразилъ не малую часть нашей земли. Покажемъ, что для борьбы съ этимъ недугомъ въ русскомъ обществѣ есть довольно силъ, довольно жизненной энергіи!» [1]).

Вспомнимъ также заключительныя слова его рѣчи, произнесенной передъ докторскимъ диспутомъ, его глубокопрочувствованный призывъ откликнуться на этотъ разъ на духовный голодъ деревни. «Народъ уже начинаетъ забывать древнія пѣсни... Старина забывается. Она уже не удовлетворяетъ. Чувствуется, стало быть, потребность чего-то новаго. Это новое должно придти вмѣстѣ съ образованіемъ, вмѣстѣ съ книгою, вмѣстѣ съ школою. Мы въ долгу передъ деревней. Она сохранила намъ старыя пѣсни и сказки, она передала намъ безцѣнные остатки древней литературы. Отплатимъ этотъ долгъ нашей новой художественной литературой. На смѣну забываемымъ пѣснямъ и сказкамъ должны выступить произведенія Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Тургенева, Достоевскаго, Толстого. Пусть эти писатели станутъ такими же народными, такими же всенародными, какими были въ старое время сказители былинъ» [2]).

Тяжелое, гнетущее впечатлѣніе произвели на Жданова тревожные слухи, ходившіе въ обществѣ въ началѣ 1883 года объ

---

1) Соч. И. Н. Жданова, т. II, стр. 134. Для характеристики отзывчивости Ивана Николаевича къ общественнымъ явленіямъ отмѣтимъ, что его рефератъ о Бѣлинскомъ, изданный отдѣльною брошюрою, продавался въ пользу пострадавшихъ отъ неурожая (1898 г.), что, несмотря на обиліе занятій и болѣзненное состояніе, онъ принялъ на себя трудъ редактированія «Литературнаго сборника», изданнаго въ 1900 г. студентами СПБ. Университета въ пользу раненыхъ буровъ.

2) Соч. И. Н. Жданова, т. I, стр. 814, 815.

отмѣнѣ стараго университетскаго устава. «А наша Alma Mater!» писалъ онъ, «въ горѣ... Не было, какъ Вы знаете и публичнаго акта. И я не рѣшился сдѣлать себѣ праздника 8 февраля. Стоитъ ли въ самомъ дѣлѣ ликовать? Мы — старики привыкли любить университетъ такимъ, какимъ знали его смолоду. А этотъ дорогой образъ не moriturus ли теперь? Слышно, впрочемъ, что отпѣваніе отложено до сентября (намекъ на отмѣну устава 1862 г.)». Въ болѣе рѣзкихъ выраженіяхъ высказался Ждановъ по поводу новаго устава 1884 г. и вытекавшихъ изъ него послѣдствій въ письмѣ къ одному изъ своихъ университетскихъ товарищей, относящемся къ 1886 г. «Университетскія наши вѣсти печальны», говоритъ онъ, «и здѣсь тѣ же невеселыя картины. Грязныя копыта топчутся на нивѣ россійскаго просвѣщенія и никнутъ подъ ними прекрасные всходы. Но — великъ Богъ земли Русской! Будемъ вѣрить, что дорогіе намъ посѣвы—посѣвы озимые. Настанетъ же когда-нибудь весна, и снова зазеленѣетъ великая нива. Вы знаете, я неисправимый оптимистъ. Безъ вѣры въ будущее я не могъ бы жить! Да и кто же могъ бы жить? Развѣ прославленные герои «здраваго смысла», для которыхъ богъ—чрево, и смыслъ жизни — хищеніе изъ перваго попавшагося подъ руки кармана. Pereant! Вы читали, конечно, въ газетахъ, что В. И. Л. оставилъ должность декана, а В. Г. В. — должность секретаря факультета. По этому поводу устроенъ былъ товарищескій обѣдъ — истинный «пиръ во время чумы». И какія нужны дезинфекціонныя средства для уничтоженія этого омерзительнаго повѣтрія, не знаете ли?»

Въ послѣдніе годы жизни Ивану Николаевичу пришлось быть свидѣтелемъ прискорбныхъ событій, развернувшихся въ жизни нашихъ университетовъ. Какъ ученый, онъ не могъ сочувственно отнестись къ обструкціямъ, къ этому проявленію студенческаго протеста. Но, какъ чуткій и внимательный наблюдатель нашей общественности, онъ не могъ не усмотрѣть тѣсной связи, существовавшей между возникшимъ тогда университетскимъ движеніемъ и скрывавшимся въ самомъ обществѣ недовольствомъ режимомъ, давившимъ всякую свободу слова и мысли. Онъ глубоко скорбѣлъ за молодежь, такою дорогою цѣною расплачивавшуюся за свои горячіе порывы. Неисправимому оптимисту такъ и не довелось дожить до осуществленія его свѣтлыхъ упованій. Столь страстно ожидавшаяся имъ «весна» не наступала, не зеленѣла великая нива, и только въ «историческомъ чувствѣ», въ своихъ занятіяхъ стариною, почерпалъ

онъ свѣтлый взглядъ на будущее, который былъ ему «необходимъ, какъ воздухъ».

Въ своихъ трудахъ Жданову приходилось сравнительно рѣдко касаться общественныхъ темъ. Но и по тѣмъ немногимъ работамъ, въ которыхъ онъ задѣвалъ эти темы, можно составить себѣ довольно ясное представленіе объ его общественныхъ взглядахъ, общественныхъ симпатіяхъ и антипатіяхъ. Припомнимъ заключительныя слова его рѣчи о драматическихъ произведеніяхъ Пушкина, произнесенной имъ въ Кіевѣ въ 1880 г. «Борисъ, Фаустъ, Скупой Рыцарь»,—замѣчаетъ Ждановъ—«это все видоизмѣненія одного и того же типа. Это люди, условія жизни которыхъ сложились слишкомъ благопріятно для развитія ихъ мысли и слишкомъ неблагопріятно для развитія ихъ воли. Это люди, у которыхъ работа мысли и работа воли не отвѣчаютъ одна другой.... Они отвыкли отъ дѣла и жизни, потому что слишкомъ долго принуждены были ждать своего дѣла, своей жизни. Скажите: развѣ это не знакомый всѣмъ намъ, не родной нашъ типъ? Вы припоминаете при этомъ цѣлый рядъ позднѣйшихъ литературныхъ явленій, цѣлую галлерею неудачниковъ, лишнихъ людей, героевъ, ищущихъ дѣла и не находящихъ его. Вы припоминаете также попытки выставить представителей иного типа,—попытки, которыя, впрочемъ, такъ мало удавались. Я долженъ остановиться. Отъ разсмотрѣнія поэзіи Пушкина мы перешли уже къ болѣе широкому кругу явленій. Великій поэтъ поставилъ насъ лицомъ къ лицу съ важнымъ и труднымъ вопросомъ,—съ вопросомъ о тѣхъ общественно-историческихъ условіяхъ, при которыхъ воспитывались и воспитываются русскіе характеры. Я долженъ только прибавить, что на этотъ вопросъ Пушкинъ отвѣчалъ не однимъ только изображеніемъ такихъ характеровъ, о какихъ мы говорили выше. Поэтъ признавалъ, что въ быломъ русской земли существовали условія для развитія иныхъ людей, иныхъ характеровъ—болѣе возвышенныхъ и болѣе привлекательныхъ. Вспомнимъ, какъ онъ изображалъ Петра, великую эпоху реформъ. Вспомнимъ прекрасное стихотвореніе, которое внушилъ ему старый, славный Псковъ:

«Среди песчаныхъ скалъ, на берегахъ Великой,
«Гдѣ носитъ естество полночи образъ дикой,
«Согбенный Исполинъ, подъ тяжестью оковъ,
«Съ поникнутой главой стоитъ печальный Псковъ,

«Лишенный честныхъ благъ народнаго правленья,
«Сей градъ являетъ намъ видъ страшный разрушенья.
«Унылые рабы трепещущей пятой,
«Героевъ вольности тамъ топчутъ прахъ святой!...
«Все грустно, все молчитъ» [1]).

Объ этой былой порѣ, объ этой «давно угасшей жизни, жизни быть можетъ не безгрѣшной, не свободной отъ увлеченій, но полной великихъ подвиговъ и проявленія недюжинныхъ силъ,—жизни размашистой, не чуждой противорѣчій, но жизни полной движенія и простора, озаренной лучемъ общественной свободы», Иванъ Николаевичъ съ отраднымъ чувствомъ вспоминаетъ и въ своей рѣчи передъ докторскимъ диспутомъ, по поводу отраженія Новгородскаго быта въ былинѣ о Васильѣ Буслаевичѣ. Еще большій интересъ для характеристики общественныхъ взглядовъ Жданова представляетъ его статья: «Церковно-Земскій Соборъ 1551 г.». Ознакомленіе съ дѣятельностью этого Собора привело изслѣдователя къ заключенію, что «путь для рѣшенія земскихъ вопросовъ былъ найденъ вѣрный—обращеніе къ народному представительству, но чтобы разработывать этотъ путь шире и дальше, чтобы твердо вести по этому пути законодательное дѣло, государственнымъ людямъ времени царя Ивана не доставало либо умѣнія и силы, либо рѣшимости и доброй воли». Упомянувъ затѣмъ о Соборѣ 1566 г., значительно лучше организованномъ, чѣмъ Соборъ 1551 г., Ждановъ приводитъ слѣдующее замѣчаніе Карамзина: «Собраніе имѣло видъ торжественный, и народъ съ благоговѣніемъ видѣлъ Іоанна не среди опричниковъ ненавистныхъ, а въ истинномъ величіи государя, внимающаго гласу отечества изъ устъ россіянъ знаменитѣйшихъ: явленіе достойное лучшихъ временъ Іоаннова царствованія». «Замѣчаніе это, высказанное больше чѣмъ полвѣка назадъ», говоритъ Ждановъ,—часто, конечно, вспоминаетъ каждый, кто только рѣшается наблюдать судьбы нашего отечества. Среди ряда явленій печальныхъ и отвратительныхъ, жалкихъ и ужасныхъ, съ невольнымъ наслажденіемъ останавливаешься на этихъ, хотя неполныхъ, но здоровыхъ проявленіяхъ правильнаго государственнаго быта, на этихъ земскихъ соборахъ, гдѣ раздавался «гласъ отечества», голосъ представителей Русской земли» [2]). Припомнимъ, что эта статья появи-

1) «Кіевлянинъ» 1880 г., № 133.
2) Соч. И. Н. Жданова т. I, стр. 379—380.

лась въ свѣтѣ въ 1880 г. (въ февральской книжкѣ «Историческаго Вѣстника») и что, вѣроятно, была написана уже въ концѣ 1879 г., т.-е. вскорѣ послѣ окончанія освободительной войны, когда въ интеллигентныхъ слояхъ русскаго общества воскресла надежда на обновленіе нашего общественнаго строя, когда нѣкоторыя земства въ своихъ адресахъ ходатайствовали объ «увѣнчаніи зданія великихъ реформъ созывомъ Земскаго Собора».

Двѣнадцать лѣтъ спустя, Иванъ Николаевичъ снова вспоминаетъ о Земскомъ Соборѣ, а именно въ своей лекціи о Борисѣ Годуновѣ (1892 г.). Подводя итогъ своимъ соображеніямъ о причинахъ паденія царя Бориса, Ждановъ обращаетъ вниманіе на сходство условій, при которыхъ вступали на престолъ Борисъ Годуновъ и Михаилъ Ѳедоровичъ, «но», замѣчаетъ онъ, «правленіе одного подняло смуту, царствованіе другого обновило и укрѣпило русскую государственную мощь». «Эта разница» объясняется, по мнѣнію Ивана Николаевича, «причинами, достаточно ясно указанными великимъ поэтомъ». «Борисъ, по взгляду Пушкина, только казался народнымъ избранникомъ: между Борисомъ и русской землей, т. е. ея боярствомъ и ея народомъ, не было прочной объединяющей связи; Борисъ не былъ земскимъ царемъ. Не таковъ былъ царь Михаилъ, дѣйствительно излюбленный избранникъ русской земли. Михаилу приходилось рѣшать много важныхъ и трудныхъ государственныхъ вопросовъ, доставшихся ему отъ прежней поры, и онъ рѣшилъ ихъ, рѣшилъ, опираясь на народныя силы. Земскій Соборъ почти не расходился при Михаилѣ. Въ такомъ единеніи царя и земли возродился и окрѣпъ русскій государственный строй, расшатанный самозванщиной» [1]).

Замкнутый въ своемъ внутреннемъ мірѣ, покойный ученый отличался глубокою отзывчивостью въ своихъ отношеніяхъ къ людямъ, съ которыми ему приходилось встрѣчаться. Въ его душѣ не было мѣста узкому и сухому эгоизму. Въ одномъ изъ своихъ писемъ онъ говоритъ, между прочимъ, о необходимости «пріучить себя понимать радости и горе другихъ». «Нужно», писалъ онъ, «развивать въ себѣ любовь къ людямъ. Бѣда человѣку, замкнутому въ эгоизмѣ. Эгоистъ — человѣкъ умственно близорукій (ибо онъ не видитъ, «чѣмъ люди живы») и несчастный». Людское горе не оставляло его безучастнымъ и равнодушнымъ зрителемъ. Онъ старался, по мѣрѣ

1) Ibidem т. II, стр. 134.

силъ, придти на помощь человѣку въ борьбѣ съ печальными обстоятельствами жизни. Кое-какія данныя на этотъ счетъ сохранились въ его письмахъ и въ памяти лицъ, близко знавшихъ его. Особенною задушевностью отличались отношенія Ивана Николаевича къ его ученикамъ вообще и въ частности къ тѣмъ, въ которыхъ онъ замѣчалъ интересъ къ серьезнымъ занятіямъ. Онъ охотно дѣлился съ ними своими обширными познаніями, книгами; давалъ полезные совѣты и указанія, направлялъ ихъ работу, слѣдилъ за ходомъ ея. Принимая близко къ сердцу не только духовные, но и матеріальные интересы своихъ учениковъ, Иванъ Николаевичъ всегда былъ готовъ оказать имъ поддержку словомъ и дѣломъ въ тяжелыя минуты жизни. Прикованный тяжкимъ недугомъ къ постели, онъ не переставалъ думать и хлопотать о своихъ бывшихъ слушателяхъ, нуждавшихся въ денежной поддержкѣ отъ Академіи Наукъ. «Будьте совершенно спокойны», писалъ Жданову 18 января 1901 г. предсѣдательствовавшій въ Отдѣленіи русскаго языка и словесности покойный М. И. Сухомлиновъ, «болѣзнь Ваша нисколько не можетъ повредить молодымъ людямъ, рекомендуемымъ Вами».

«Это былъ другъ студентовъ, который часто принималъ учащихся у себя на дому, много бесѣдовалъ и спорилъ съ ними», говоритъ объ Иванѣ Николаевичѣ анонимный авторъ некролога, напечатаннаго въ «Новостяхъ» (№ 190—1901 г.). Многіе изъ студентовъ нерѣдко пользовались матеріальною помощью Ивана Николаевича, при чемъ это дѣлалось въ такой осторожной и мягкой формѣ, что даже самые щепетильные принимали эту помощь отъ Ивана Николаевича, какъ отъ друга — товарища».

Упомянемъ еще объ одной чертѣ характера И. Н. Жданова: За все время знакомства съ нимъ, мы никогда не слышали отъ него дурного отзыва о комъ-либо. Иванъ Николаевичъ всегда избѣгалъ рѣзкихъ сужденій о людяхъ. Если въ разговорѣ кто-нибудь изъ его собесѣдниковъ произносилъ надъ кѣмъ-либо слишкомъ уже суровый приговоръ, то Ждановъ обыкновенно выступалъ защитникомъ обвиняемаго, пытался хотя-бы нѣсколько смягчить этотъ приговоръ, а, за неимѣніемъ данныхъ къ защитѣ, старался по крайней мѣрѣ перевести разговоръ на другую тему. И въ дурномъ человѣкѣ онъ всегда хотѣлъ отыскать хотя-бы какую-нибудь положительную черту, которая могла бы нѣсколько примирить насъ съ другими сторонами его характера.

Требовательный и строгій къ себѣ, къ своимъ трудамъ, покой-

ный ученый относился съ замѣчательною снисходительностью къ работамъ другихъ. Въ рецензіяхъ, въ возраженіяхъ на диспутахъ онъ всегда старался облечь свои сужденія, основанныя на добросовѣстномъ и всестороннемъ изученіи предмета, въ возможно мягкую и безобидную форму для самолюбія автора разбираемой имъ книги. Съ особеннымъ вниманіемъ останавливался онъ на достоинствахъ труда, служившаго предметомъ его рецензіи. «Недочеты и неточности, отыскивавшіеся» въ книгѣ «вызывали» въ немъ «чувство невольной досады»; ему было «непріятно находить недостатки въ трудѣ, имѣющемъ несомнѣнныя достоинства».

Въ лицѣ И. Н. Жданова сошелъ въ могилу не только крупный ученый, широко образованный профессоръ, опытный руководитель учащейся молодежи, но и человѣкъ рѣдкихъ душевныхъ качествъ.

«Сокровища душевной красоты
«Совмѣщены въ немъ были благодатно».

Своими учеными трудами онъ оставилъ по себѣ прочный, неизгладимый слѣдъ въ исторіи культивированной имъ науки. Имя его, какъ одного изъ лучшихъ знатоковъ и талантливаго изслѣдователя нашей литературы, конечно, не будетъ позабыто. Но и своею добротою, отзывчивостью, замѣчательною душевною деликатностью Ждановъ оставилъ по себѣ также прочный слѣдъ въ сердцахъ всѣхъ знавшихъ его, въ особенности тѣхъ, которымъ выпало на долю счастье ближе познакомиться съ его внутреннимъ міромъ.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ПОВОДУ ЛЕКЦІЙ И. Н. ЖДАНОВА.

Пишущему эти строки приходится нерѣдко держать въ рукахъ лекціи своего незабвеннаго учителя, профессора и руководителя — покойнаго академика Ивана Николаевича Жданова. Дурная бумага уже пожелтѣла и листы Лекцій, во многихъ мѣстахъ, хранятъ едва замѣтные слѣды давно отлитографированныхъ строкъ. Впрочемъ, если бы время и пощадило отъ разрушенія эти памятники „чтеній“ Ивана Николаевича, то и тогда бы за ними нельзя было признать подлинной и точной записи живыхъ, содержательныхъ, строго-научныхъ лекцій покойнаго профессора. Сохранившіяся „Лекціи“ И. Н. Жданова— это вороха бумаги, со слѣдами дурной литографіи, бумаги, исписанной разными почерками; въ общей массѣ, это — пестрая смѣсь разныхъ стилей, отрывки изъ „чужихъ“ изслѣдованій, кое-какъ спаянные компилятивными набросками, между строкъ которыхъ, впрочемъ, нѣтъ-нѣтъ блеснетъ оригинальная, новая мысль, нерѣдко облеченная даже въ ту самую форму, въ какой она вышла изъ устъ самого профессора, словомъ,—отрывокъ живой рѣчи Ивана Николаевича съ каѳедры. Наталкиваешься на такіе отрывки, и тотчасъ вспоминаешь аудиторію Ивана Николаевича, полную фигуру профессора съ добродушнымъ лицомъ, съ доброй—я сказалъ бы—милой улыбкой, его манеры чтенія—простыя, благородныя, его мягкій голосъ, который доносилъ съ каѳедры рѣчь простую, не сверкавшую блескомъ изложенія, не пламенную, но богатую внутреннимъ истинно-научнымъ содержаніемъ, согрѣтую теплой любовью въ наукѣ и ея труженикамъ. Въ рѣ-

чахъ И. Н. Жданова не было смѣлыхъ гипотезъ, безпощадныхъ отверженій тѣхъ или иныхъ научныхъ теорій, жестокихъ приговоровъ надъ заблужденіями и ошибками предшествовавшихъ работниковъ: скромный и благородный въ общежитіи, въ обращеніи съ людьми, онъ, какъ подобаетъ истинно-гуманному ученому, и на поприщѣ науки—была ли то журнальная статья или лекція—оставался благороднымъ въ изложеніи чужихъ, хотя бы и противныхъ ему мнѣній, и чрезвычайно осторожнымъ, скромнымъ въ сообщеніи своихъ мнѣній и выводовъ. Использовать всѣ средства примиренія, прежде чѣмъ произнести свой судъ,—казалось, было его постояннымъ лозунгомъ... Всѣ его лекціи, если ихъ можно охарактеризовать въ двухъ строкахъ, обнаруживаютъ не столько желаніе непремѣнно сказать свое слово, сколько дать спокойный, безпристрастный и благожелательный разсказъ о томъ, что успѣла сдѣлать до его дней, въ буквальномъ смыслѣ—„до настоящаго момента“, „дружина ученыхъ и писателей“ на томъ поприщѣ, на которомъ однимъ изъ воиновъ выступалъ и онъ, изъ-за чего были „трудъ“ и „брань“, что осталось нерѣшеннымъ въ спорѣ, невыполненнымъ, и что могутъ и должны сдѣлать тѣ, кто внимаетъ его рѣчамъ и готовъ итти вмѣстѣ съ нимъ. Да, онъ звалъ на трудъ, въ каждой лекціи онъ не забывалъ указать, какъ много и славно потрудились до насъ, но какъ много труда остается еще впереди. „Съ любовью и гордостью смотримъ мы на родную словесность“—говорилъ когда-то И. Н. своимъ слушателямъ.—„Но пусть не ослѣпляетъ насъ эта гордость и любовь. Намъ еще многаго недостаетъ. Родное слово зоветъ насъ на трудъ, зоветъ всѣхъ, а особенно васъ, молодыя свѣжія силы, носителей грядущаго“. Но этимъ призывомъ на честный упорный трудъ, „на подвигъ червяка“ на нивѣ науки, казалось, ограничивались призывы И. Н. Жданова къ молодежи, порою, подъ вліяніемъ тѣхъ или иныхъ общественныхъ событій ронявшей изъ своихъ рукъ свѣтильники науки. Въ такіе моменты, насколько я припоминаю, молодежь не влекло къ осторожному профессору, не любившему вообще спѣшить передъ ней съ своими выводами и, какъ ей казалось, погруженному въ интересы, принадлежащіе только прошлому. Но кто старался дать себѣ отчетъ, почему профессоръ, напр., съ та-

кой любовью останавливался на дѣятельности гражданина Пушкина, реалиста Гоголя, Бѣлинскаго, кто читалъ его статьи о церковно-земскихъ соборахъ, статью „Пушкинъ о Петрѣ Великомъ“, слышалъ его рефератъ „Памяти Бѣлинскаго“ и т. д., тотъ (не говорю о лицахъ, стоявшихъ близко къ Жданову) зналъ, насколько Иванъ Николаевичъ прислушивался къ біенію окружавшей его жизни, гдѣ лежали общественныя симпатіи этого скромнаго ученаго. Какъ жаль, что въ „лекціяхъ“, изданныхъ учениками покойнаго профессора, отразились въ такой едва уловимой формѣ (а въ иныхъ „лекціяхъ“ и совсѣмъ не нашли отраженія) эти симпатичныя стороны его души, высоко-гуманныя черты ученаго, которыя сквозятъ такъ ясно въ изданныхъ имъ лично статьяхъ и изслѣдованіяхъ.

Чтобы пояснить тѣмъ, кто не былъ слушателемъ И. Н. Жданова, исторію появленія литографированныхъ „лекцій“ покойнаго, разскажу, въ двухъ словахъ, какъ эти лекціи „составлялись“ и „издавались“, по крайней мѣрѣ въ мое время, въ С.-Петербургскомъ Историко-Филологическомъ Институтѣ, гдѣ и пишущій эти строки иногда выступалъ въ качествѣ „издателя“ лекцій своего профессора. И. Н. Ждановъ какъ будто не дорожилъ тѣмъ, чтобы его лекціи (которыя издавались какъ пособіе при приготовленіяхъ къ экзамену) были точнымъ воспроизведеніемъ его „чтеній“; по крайней мѣрѣ, онъ не соглашался ни на редактированіе ихъ, ни на предварительный передъ отдачей въ литографію просмотръ записанныхъ лекцій, или на исправленіе; въ лучшемъ случаѣ, онъ снисходилъ на просьбу прослушать тѣ мѣста записи, которыя самому записывавшему казались сомнительными, и дѣлалъ устно кое-какія указанія; въ большинствѣ же случаевъ онъ подписывалъ предлагаемый листъ къ печати, не вчитываясь въ него, или даже ограничивался выдачей разрѣшенія на изданіе его лекцій „такому-то“. Самая запись лекцій велась обыкновенно не однимъ слушателемъ, а сплошь и рядомъ лекціи записывались нѣсколькими лицами—по очереди, и лишь въ очень рѣдкихъ случаяхъ запись вели одновременно двое, а то и трое. Затѣмъ эти записи переписывались далеко не тотчасъ по окончаніи лекціи, а спустя иной разъ довольно продолжительное время, по мѣрѣ накопленія матеріала

или по какимъ-нибудь инымъ обстоятельствамъ. Конечно, свѣжесть впечатлѣнія утрачивалась, и многое изъ слышаннаго, но дурно записаннаго приходилось возстановлять по памяти или по пособіямъ, рекомендованнымъ на лекціяхъ. Само собою разумѣется, что при подобныхъ условіяхъ нельзя было получить болѣе или менѣе точнаго воспроизведенія рѣчи профессора, особенно если „издатель", разбираясь въ чужихъ запискахъ, дѣлалъ попытки придать изложенію нѣкоторое „единообразіе"... Я позволилъ себѣ откровенно и подробно разсказать эту исторію, конечно, вовсе не съ цѣлью упрекнуть издателей, дѣлавшихъ что и какъ умѣли, но чтобы до нѣкоторой степени объяснить, почему, несмотря на извѣстность славныхъ лекцій Ивана Николаевича не только въ педагогической и учащейся средѣ, но и въ болѣе широкихъ кругахъ, лекціи Жданова не появлялись въ печати въ свое время [1]) и не нашли себѣ мѣста въ академическомъ изданіи сочиненій покойнаго профессора.

Несмотря на значительное количество оставшихся въ бумагахъ покойнаго конспектовъ его чтеній, „возстановить" курсы И. Н. Жданова въ болѣе или менѣе точномъ видѣ, на основаніи этихъ конспектовъ и при помощи отлитографированныхъ лекцій, не представляется возможнымъ; переиздавать же литографированные курсы, какъ произведенія Жданова, — нѣтъ достаточныхъ основаній уже по одному тому, что покойный профессоръ, насколько извѣстно, ихъ даже не редактировалъ. Кромѣ того, далеко не всѣ отлитографированные курсы исчерпываютъ въ полномъ объемѣ лекціи профессора, которыя онъ читалъ по тому или иному отдѣлу исторіи литературы, составлявшему курсъ даннаго акад. года: конспекты покойнаго даютъ возможность обнаружить не мало пробѣловъ въ изданныхъ лекціяхъ. Не менѣе непріятно дѣйствуетъ на читателя не всегда тщательная „ре-

1) Если не считать отрывка изъ лекціи о Карамзинѣ, воспроизведеннаго въ VII-мъ вып. «Русской поэзіи» С. А. Венгерова (стр. 64—67); ссылки же на Лекціи И. Н. можно встрѣтить нерѣдко въ различныхъ изслѣдованіяхъ. Кромѣ того, намъ извѣстны двукратныя попытки издать полныя собранія лекцій И. Н. Жданова: одна относится къ 1898 г., другая къ году смерти профессора. Но и въ тотъ и въ другой разъ изданія не были доведены до конца. Объ попытки принадлежали студентамъ Историко-Филологическаго Института.

дакція" лекцій: встрѣчаются ошибки въ собственныхъ именахъ и датахъ, изложеніе мѣстами неясно и даже непонятно, и что наиболѣе существенно — рѣдко можно встрѣтить равномѣрное изложеніе и прочную связь между собою отдѣльныхъ частей того или иного курса; нерѣдко курсъ какъ бы обрывается, и при чтеніи послѣднихъ страницъ не чувствуется ultima manus профессора, которой Ждановъ, насколько помнится, любилъ закрывать курсъ, какъ бы и до какого бы пункта имъ ни доведенный. Впрочемъ, всѣ эти недочеты — обычное явленіе, разъ тотъ или иной профессоръ, при изданіи своихъ курсовъ, предоставляетъ редакцію ихъ своимъ слушателямъ; весьма естественно, что и „Лекціи И. Н. Жданова" не составляютъ въ данномъ случаѣ исключенія.

Какъ бы то ни было, но ученики И. Н. Жданова сохранили отъ забвенія циклъ курсовъ своего учителя, такой циклъ, который при бѣдности у насъ общихъ курсовъ по словесности, можетъ служить отличнымъ пособіемъ не только при знакомствѣ съ исторіей русской литературы, но и при изученіи отечественной словесности, начиная отъ народной поэзіи и древней письменности, кончая первой половиной XIX столѣтія. Многія основныя, характерныя черты именно ждановскихъ курсовъ въ Лекціяхъ сохранены, сохранена ихъ программа, не искажена оригинальная постановка Ждановымъ нѣкоторыхъ историко-литературныхъ вопросовъ, на многихъ листахъ этихъ Лекцій замѣтно до сихъ поръ и то освѣщеніе, какое давалъ И. Н. Ждановъ многимъ вопросамъ, оставшимся до него невыясненными или спорными, освѣщеніе цѣлыхъ эпохъ и портретовъ минувшихъ дѣятелей исторіи и литературы; вообще же сохранено много подробностей, которыя живо вызываютъ въ памяти, при чтеніи этихъ Лекцій, образъ покойнаго профессора и ученаго. Неудивительно, что литографированные курсы Жданова, при всѣхъ своихъ недочетахъ, — настольная книга многихъ и многихъ преподавателей русской словесности, именно той особой категоріи лицъ, которая составляла аудиторію профессора, съ спеціальными потребностями которой онъ считался. Ждановъ — профессоръ Историко-Филологическаго Института смотрѣлъ на своихъ слушателей прежде всего не столько какъ

на будущихъ жрецовъ науки, спеціалистовъ-ученыхъ, а какъ на будущихъ педагоговъ. Этимъ взглядомъ объясняется и оригинальное построеніе курсовъ Жданова, представляющее весьма удачную попытку дать нѣчто среднее между ученными детальными изслѣдованіями той или другой области исторіи литературы и учебнымъ курсомъ для средней школы, а вмѣстѣ и пособіемъ для самообразованія. Для успѣшнаго и блестящаго выполненія такой задачи покойный профессоръ обладалъ въ высшей степени всѣми необходимыми для сего средствами: при своей громадной эрудиціи, широтѣ научныхъ интересовъ, безпристрастіи и осторожности въ выводахъ Ждановъ могъ дать и послѣднее слово науки и полное освѣщеніе фактовъ, подобранныхъ умѣлой и осторожной рукой, равно какъ избѣжать односторонняго толкованія и увлеченій, столь губительныхъ для всякой молодой аудиторіи, еще неспособной разобраться своими силами въ лабиринтѣ чужихъ мнѣній и отыскать прочную почву среди зыбкихъ, но, порою, заманчивыхъ теорій. Весьма цѣнное замѣчаніе нашли мы въ одномъ изъ воспоминаній о покойномъ профессорѣ: „если Ждановъ не успѣлъ „создать“ школы ученыхъ, то изъ его аудиторіи вышло не мало преподавателей, которые понесли въ среднюю школу новые научные взгляды, которые могутъ бороться противъ царящей въ ней архаической рутины“ [1]). Оживленіе въ дѣлѣ преподаванія отечественной словесности въ средней школѣ стало теперь несомнѣннымъ фактомъ, и среди причинъ, способствовавшихъ этому оживленію, вліяніе лекцій Жданова намъ, по крайней мѣрѣ, представляется безспорнымъ; учесть этого вліянія болѣе или менѣе опредѣленно, конечно, нельзя, но можно насчитать болѣе сотни среднихъ школъ, въ различныхъ уголкахъ нашего отечества, школъ, гдѣ преподаваніе словесности ведется бывшимъ слушателемъ и ученикомъ покойнаго, сѣющимъ тѣ самыя сѣмена, что заронилъ въ его умъ и сердце его профессоръ И. Н. Ждановъ. Вотъ почему при выработкѣ плана академическаго изданія сочиненій Жданова было рѣшено,—не вводя въ это изданіе литографированныхъ курсовъ покойнаго (такъ какъ они,

1) См. біографическій очеркъ И. Н. Жданова, приложенный къ настоящему тому (стр. 539—540).

строго говоря, не представляютъ произведеній пера самого ученаго)— дать мѣсто хотя бы перечню ихъ, тѣмъ болѣе, что они—этотъ вещественный памятникъ долголѣтней дѣятельности покойнаго профессора—сохраняютъ до сихъ поръ свое значеніе и продолжаютъ привлекать къ себѣ вниманіе. Этотъ памятникъ слагается изъ слѣдующихъ литографированныхъ курсовъ:

I. Исторія русской словесности. Общій курсъ. Часть I.

Вступительныя лекціи посвящены выясненію общихъ историко-литературныхъ вопросовъ (опредѣленіе понятій: «литература», «литературныя произведенія», «исторія литературы»). Изложеніе курса начинается обзоромъ народной поэзіи, при чемъ на первыхъ порахъ предлагается подробный анализъ «стиля» (эпитеты, сравненія, символы). Разсмотрѣніе памятниковъ народной словесности начато съ обрядовой поэзіи. Разсмотрѣны: 1) заговоры, которые раздѣлены на три группы: а) заговоры, обязанные своимъ происхожденіемъ языческимъ вѣрованіямъ славянъ, б) заговоры, на появленіе которыхъ оказали вліяніе представленія, зашедшія съ востока, в) общехристіанскія молитвы, получившія значеніе заговоровъ; 2) пѣсни — обрядово-праздничныя и пѣсни обрядово-бытовыя: свадебныя и похоронныя. Въ свадебныхъ пѣсняхъ подробно разсмотрѣны слѣды брачныхъ обычаевъ сѣдой старины, культа домашняго очага и отчасти культа стихійныхъ существъ. — Похоронныя причитанія. —

Центральное мѣсто въ курсѣ отведено разсмотрѣнію былевого эпоса. Въ качествѣ введенія предпослано подробное изложеніе миѳологической и исторической теорій происхожденія былевыхъ пѣсенъ, при чемъ предпочтеніе оказано послѣдней теоріи. Составъ былевого эпоса дѣлится на слѣдующія группы: 1) циклъ Владиміровъ; 2) циклъ Новгородскій; 3) пѣсни о Романѣ, кн. Михайлѣ и др., не относящіяся ни къ Владимірову, ни къ Новгородскому циклу; 4) пѣсни историческія, относящіяся къ эпохѣ татарщины; 5) циклъ пѣсенъ объ Іоаннѣ Грозномъ; 6) пѣсни о Смутномъ времени и дальнѣйшихъ событіяхъ XVII в. Эта часть курса представляетъ въ значительной степени резюмэ тѣхъ наблюденій надъ составомъ нашего былевого эпоса, которыми Ждановъ дѣлился съ публикой на страницахъ своихъ спеціальныхъ этюдовъ и монографій, собранныхъ впослѣдствіи въ докторской диссертаціи «Русскій былевой эпосъ»; въ этомъ же от-

дѣлѣ курса профессоръ успѣлъ ознакомить въ подробностяхъ и съ методомъ своихъ наблюденій. За былинами разсмотрѣны сказки. Къ сожалѣнію, обзору этихъ произведеній народнаго творчества въ Лекціяхъ удѣлено мало мѣста. Трудности при изученіи этого отдѣла:—трудность разграниченія сказокъ (миѳологическія и бытовыя) и установленія типа, вслѣдствіе легкаго перемѣщенія въ сказкахъ подробностей; сходство сказокъ у разныхъ народовъ; теоріи, объясняющія это сходство; теорія Бенфея, спорный вопросъ относительно пути, по которому сказки проникали въ Европу; возможность вторичныхъ пересказовъ. Національное значеніе сказокъ, несмотря на сходство ихъ у разныхъ народовъ.

Обзоръ древне-русской письменности открывается свидѣтельствами существованія письменности на Руси до XI вѣка. Разсмотрѣніе памятниковъ ведется не въ хронологической послѣдовательности, а по группамъ (раздѣленіе памятниковъ на періоды—до-монгольскій, монгольскій и т. д.—отвергается), при чемъ къ первой группѣ отнесены: «Слово о полку Игоревѣ», «Моленіе Даніила Заточника»,—произведенія, носящія весьма замѣтные слѣды народной поэзіи; ко второй—поученія; къ третьей—житія и лѣтопись и къ четвертой—путешествія. Между прочимъ, при разсмотрѣніи «Моленія» Ждановъ останавливается на притчахъ, какъ драгоцѣнныхъ памятникахъ народнаго творчества [1]).

Далѣе слѣдуетъ анализъ лѣтописи, какъ литературнаго памятника. Давъ понятіе о спискахъ Несторовой лѣтописи, профессоръ останавливается наиболѣе подробно на источникахъ лѣтописнаго свода; древнія лѣтописи, офиціальные акты, отдѣльные разсказы о замѣчательныхъ лицахъ и событіяхъ, поэтическія преданія и, наконецъ, длинный рядъ памятниковъ переводной литературы. Отъ лѣтописи Ждановъ переходитъ къ житіямъ—этому «наиболѣе любимому и распространенному чтенію нашихъ предковъ». Разсмотрѣны: Слово о законѣ и благодати и Похвала кагану нашему Владиміру [2]), Житіе Бориса и Глѣба и Житіе Ѳеодосія Печерскаго. На основаніи анализа этихъ житій сдѣлана общая характеристика житія, какъ литературнаго памятника, отмѣчены особенности стиля, указано поэтическое, историческое и поучительное значеніе житій. Въ заключеніе, сдѣланъ подробный анализъ Печерскаго Патерика.

Отъ житій естественно было перейти къ разсмотрѣнію «памят-

1) Ср. Сочиненія, т. I, стр. 286—290; 333—360.

2) Ср. Сочиненія, т. I, стр. 1—80.

никовъ поучительныхъ», дошедшихъ до насъ во множествѣ по той же причинѣ, какъ и житія. Такого рода памятники раздѣлены на двѣ группы: 1) поученія, писанныя «безъ литературныхъ претензій», и 2) поученія, авторы которыхъ видимо придавали особое значеніе красотѣ формы. Изъ поученій первой группы разсмотрѣны поученіе Луки Жидяты и два поученія Ѳеодосія Печерскаго; изъ поученій второй группы разсмотрѣны произведенія Кирилла Туровскаго (указаны 7 поученій, по Макарію); большое вниманіе удѣлено стилю и въ особенности – символическимъ толкованіямъ и притчамъ. Отдѣлъ поученій завершенъ обстоятельнымъ анализомъ «Поученія Владиміра Мономаха», съ исторической и литературной точекъ зрѣнія.

Къ разряду памятниковъ поучительныхъ отнесены и «путешествія». Обзору ихъ предпослано объясненіе причинъ широко распространеннаго въ древности обычая путешествовать къ св. мѣстамъ и словъ: «странникъ», «калика», «паломникъ». Разсмотрѣны два памятника: «Хожденіе игумена Даніила» и «Путешествіе Добрыни Андрейковича въ Царьградъ». При разборѣ перваго профессоръ, отмѣтивъ, между прочимъ, вліяніе на автора «Хожденія» апокрифовъ, обращаетъ особое вниманіе на роль русскихъ паломниковъ, какъ передатчиковъ и распространителей апокрифическихъ и многихъ восточныхъ сказаній. Въ Путешествіи Добрыни отмѣчены черты, свидѣтельствующія о сильномъ вліяніи Византіи на русскихъ людей XII—XIII вв.

Курсъ заканчивается обзоромъ памятниковъ русской литературы такъ наз. «монгольской эпохи» (XIII—XV вв.) Послѣ общихъ замѣчаній объ отрицательномъ вліяніи монгольскаго ига на русскую жизнь, сказавшемся и на литературѣ, профессоръ переходитъ къ обзору наиболѣе интересныхъ памятниковъ этой эпохи. Прежде всего разсмотрѣны «историческія повѣсти», относящіяся къ татарскому нашествію (наиболѣе подробно — «Задонщина»), и нѣкоторыя сказанія отчасти историческаго, отчасти поэтическаго характера, какъ, напр., сказанія, касающіяся Новгорода и его отношеній къ Москвѣ.

Далѣе разсмотрѣны поучительные памятники: поученія (еп. Серапіона, архіеп. новгородскаго Василія, Фотія и Григорія Цамблака), житія (Кипріана, Епифанія Премудраго и Пахомія Логофета), путешествія (Стефана Новгородскаго, Игнатія Смольнянина, монаха Зосимы, Василья Гостя, митроп. Исидора, Аѳ. Никитина). Въ извѣстныхъ намъ литографированныхъ курсахъ этотъ отдѣлъ изложенъ весьма сжато, конспективно.

II. Исторія русской словесности. Общій курсъ. Часть II.

Эта часть общаго курса посвящена обзору культурныхъ и ближайшимъ образомъ литературныхъ явленій, слѣдовавшихъ послѣ сверженія монгольскаго ига и подготовившихъ эпоху Петра Вел.; далѣе, разсмотрѣны литературныя произведенія XVIII вѣка. Во вступительныхъ лекціяхъ выяснено обще-культурное значеніе двухъ фактовъ—объединенія сѣверо-восточной Руси и постепеннаго ослабленія и паденія Византіи—и ихъ послѣдствій на Руси (ослабленіе авторитета старины, зарожденіе новыхъ умственныхъ запросовъ и правъ на образованіе и, какъ слѣдствіе того и другого—сближеніе съ Западомъ). Не малое значеніе имѣли и слѣдующіе факты: сверженіе монгольскаго ига («сознаніе національной свободы возбуждало умственный подъемъ и броженіе русской мысли»), неоправдавшееся ожиданіе конца міра въ 1492 г. («явились новыя надежды на болѣе свѣтлое будущее и вмѣстѣ съ тѣмъ критически-отрицательное отношеніе къ старинѣ»); критически - отрицательное направленіе, характеризующее конецъ XV—нач. XVI вв., подтверждаются и настойчиво заявленной необходимостью исправленія богослужебныхъ книгъ и появленіемъ ереси жидовствующихъ. Наиболѣе подробно профессоръ останавливается на фактахъ сближенія съ Западомъ путемъ переводовъ и заимствованій (Геннадіевская Библія, сборники, «Римскія Дѣянія», «Великое Зерцало», рыцарскіе романы и романъ о Бовѣ и др.), личнаго вліянія иностранцевъ, наѣзжавшихъ въ Россію, и путешествій русскихъ людей за границу. Потребность въ образованіи, а слѣдовательно въ школахъ; школьное дѣло на Руси въ XVI—XVII вв.; типы образованія; школы, какъ учрежденія «государственныя». Въ качествѣ иллюстраціи къ главѣ о сближеніи съ Западомъ И. Н. Ждановъ даетъ обзоръ путешествій русскихъ людей Петровской эпохи за границу (Б. П. Шереметьева, П. А. Толстого, А. А. Матвѣева, И. Л. Нарышкина, Б. И. Куракина).

Литературные памятники XVIII в. профессоръ находитъ удобнымъ раздѣлить на три группы: 1) памятники Петровской эпохи до Ломоносова, въ которыхъ ясно отразилась борьба за европейскую образованность; 2) періодъ дѣятельности Ломоносова, Сумарокова и Тредьяковскаго, какъ начинателей новой литературы; 3) эпоха Екатерины II, какъ эпоха новаго образованія, усвоенія идей французскаго просвѣщенія и появленія писателей новаго направленія.

Литературное наслѣдіе Петровской эпохи разсмотрѣно въ такомъ порядкѣ: 1) памятники школьной поэзіи (дано опредѣленіе термина «школьная поэзія», указаны ея особенности и разсмотрѣны произведенія Кирилла Транквилліона, Лазаря Барановича, Симеона Полоцкаго, Кирилла Истомина, Сильвестра Медвѣдева, Стефана Яворскаго, Ѳеофана Прокоповича и др.); 2) русская повѣсть въ связи съ исторіей переводной литературы (разсмотрѣны Повѣсть о Василіи и Повѣсть объ Александрѣ, кавалерѣ Россійскомъ, указаны источники ихъ и выяснено ихъ историческое и бытовое значеніе); 3) драматическая поэзія. Разсмотрѣнію послѣдней предпослано замѣчаніе о такъ сказать «первыхъ симптомахъ драматическаго искусства на Руси» до XVII в., о старинныхъ народныхъ играхъ, играхъ скомороховъ и нѣкоторыхъ церковныхъ обрядахъ («вещное дѣйство», «шествіе на осляти», «дѣйство Страшнаго Суда»). Изъ памятниковъ школьной драмы разсмотрѣны: объ Алексѣѣ Божьемъ человѣкѣ, Дѣйствія на страсти Христовы списанныя, двѣ пьесы С. Полоцкаго— Комедія о Навуходоносорѣ и Комедія о блудномъ сынѣ (при разсмотрѣніи послѣднихъ отмѣчены взгляды автора на воспитаніе и образованіе, поскольку С. Полоцкій успѣлъ высказать ихъ въ своихъ произведеніяхъ), драмы Дмитрія Ростовскаго. Далѣе, разсказана исторія придворнаго театра царя Алексѣя Михайловича, разсмотрѣнъ его репертуаръ, въ бѣглыхъ чертахъ обрисована судьба этого театра при Петрѣ, когда на русской сценѣ исполнялись такія пьесы, какъ Сципіо Африканъ, Принцъ Пикель Герингъ, Фридерико фонъ Поплей, а также «тріумфальныя комедіи» и т. п. Изъ репертуара школьнаго театра при Петрѣ разсмотрѣны трагикомедія Ѳ. Прокоповича «Владиміръ» (Кіевъ) и комедіи: «Страшное изображеніе второго пришествія Господня на землю», «Освобожденіе Ливоніи», «Ревность Православія» (Москва). Обзоръ театра Петровской эпохи законченъ замѣчаніемъ о театрѣ Натальи Алексѣевны и ея пьесахъ...

«Многочисленныя общественныя и государственныя реформы»,— читаемъ въ Лекціяхъ—«сложныя политическія отношенія, войны и пр. привлекали вниманіе общества, и въ его желаніи откликнуться на дѣйствія правительства нужно искать причину того, почему Петровская эпоха богата прозаическими и въ частности публицистическими сочиненіями». Такого рода памятники И. Н. Ждановъ дѣлитъ на четыре группы: 1) газеты, 2) книги по отдѣлу политическихъ и государственныхъ вопросовъ, 3) церковныя проповѣди, 4) записки частныхъ лицъ по различнымъ вопросамъ. Особое вниманіе

удѣлено обзору проповѣдей, носившихъ въ Петровскую эпоху политическій характеръ, и запискамъ. При обзорѣ проповѣдей указаны особенности въ постановкѣ ораторскаго искусства въ тѣхъ школахъ, изъ которыхъ вышли такіе проповѣдники, какъ Галятовскій, Радивиловскій, Л. Бирановичъ, а также указаны существовавшія въ то время для составленія проповѣдей пособія; болѣе детальному разсмотрѣнію подвергнута дѣятельность С. Яворскаго и Ѳ. Прокоповича.

Изъ писателей—авторовъ записокъ, проектовъ и т. п., И. Н. Ждановъ обращаетъ вниманіе прежде всего на И. Т. Посошкова, затѣмъ знакомитъ съ Пропозиціями Салтыкова какъ съ документомъ, доказывающимъ сильное возбужденіе русскихъ умовъ времени Петра Вел., когда простые корабельные мастера брались за обсужденіе предметовъ общегосударственнаго значенія. Охарактеризовавъ немногими словами дѣятельность автора различныхъ проектовъ — Абрамова, И. Н. Ждановъ переходитъ къ характеристикѣ писателей, дѣятельность которыхъ протекала уже по смерти Петра Вел., т.-е. «во второй періодъ» Петровской эпохи (В. Н. Татищевъ, А. Д. Кантемиръ, В. К. Тредьяковскій, М. В. Ломоносовъ).

Курсъ заканчивается главой о состояніи русскаго театра при Елизаветѣ, характеристикой дѣятельности Ѳ. Г. Волкова и А. П. Сумарокова.

III. Исторія новой русской литературы. Петровская эпоха (*Изд. 1886 г.*).

Этотъ курсъ представляетъ варіантъ предыдущаго; въ немъ лишь полнѣе очерчена дѣятельность нѣкоторыхъ писателей эпохи Петра. Кромѣ того, въ изданіи *1886 г.* весь матеріалъ курса изложенъ болѣе тщательно и въ болѣе стройной системѣ, чѣмъ въ прочихъ извѣстныхъ намъ изданіяхъ 2-й части Общаго курса.

IV. Духовные стихи (*Изд. 1893 г.*).

Въ качествѣ введенія къ курсу изложена въ краткихъ чертахъ исторія христіанской религіозной пѣсни; далѣе отмѣчены виды пѣсенъ и обстоятельства, содѣйствовавшія проникновенію религіозныхъ пѣсенъ въ народныя массы и широкому распространенію ихъ (странничество, калѣчество, монастыри, секты). Затѣмъ, указавъ на

зачатки духовныхъ (богослужебныхъ) пѣсенъ на Руси и приведя доказательства въ пользу ранняго распространенія ихъ, профессоръ приходитъ, однако, къ заключенію, что вопросъ о древности русскихъ духовныхъ стиховъ—вопросъ далеко не рѣшенный. Приведя затѣмъ главнѣйшіе источники и пособія для изученія вопроса о духовныхъ стихахъ, перечисливъ сборники послѣднихъ, отмѣтивъ ихъ достоинства и недостатки и охарактеризовавъ въ немногихъ словахъ результаты изслѣдованій въ области духовнаго стиха такихъ ученыхъ, какъ Буслаевъ, Срезневскій, Тихонравовъ, Билярскій, Котляревскій, О. Ѳ. Миллеръ, Кирпичниковъ, Веселовскій и др., И. Н. Ждановъ приступаетъ къ детальному разсмотрѣнію явленій, способствовавшихъ образованію и развитію духовныхъ стиховъ (калѣчество; церковное богослуженіе и въ особенности чтеніе; ереси и секты, въ особенности богомилы, манихеи и ересь жидовствующихъ; школы—кіевская и московская, воспитанники которыхъ занимались писаніемъ стиховъ съ религіознымъ содержаніемъ, легко проникавшихъ въ народъ). Анализъ духовныхъ стиховъ И. Н. Ждановъ предпочитаетъ сдѣлать соотвѣтственно ихъ содержанію, которое бываетъ или ветхозавѣтное, или новозавѣтное, или имѣетъ отношеніе къ святымъ.

Обзору ветхозавѣтныхъ стиховъ предпосланы общія замѣчанія объ апокрифахъ, псевдоапокрифахъ, отреченныхъ и т. п. книгахъ, подъ вліяніемъ которыхъ слагались духовные стихи, а также о Палеѣ и Византійскихъ хроникахъ, служившихъ хорошими проводниками апокрифическихъ сказаній въ народъ. Изъ ветхозавѣтныхъ духовныхъ стиховъ прежде всего разсмотрѣнъ стихъ «Плачъ Адама». Въ итогѣ своего анализа И. Н. Ждановъ не соглашается съ мнѣніемъ Буслаева, что въ «Плачѣ Адама» мы имѣемъ дѣло съ народнымъ духовнымъ стихомъ: источникъ этого стиха, по мнѣнію профессора, слѣдуетъ искать въ церковной пѣснѣ Іосифа Студита; впрочемъ, на одинъ изъ извѣстныхъ видовъ стиха (подробный), быть можетъ, и есть основаніе смотрѣть какъ на работу какого-нибудь неизвѣстнаго русскаго поэта (хотя возможно, что онъ представляетъ отзвуки какого-нибудь еще неизслѣдованнаго сказанія). Какъ бы то ни было, но вопросъ объ оригинальности или заимствованіи этого стиха изъ Византіи, по мнѣнію И. Н. Жданова, долженъ считаться открытымъ.

Анализъ стиха объ Іосифѣ Прекрасномъ, по мнѣнію профессора, позволяетъ признать, вмѣстѣ съ другимъ источникомъ этого стиха,

помимо Библіи, поученіе Ефрема Сирина объ Іосифѣ, которое было широко распространено и въ передѣлкахъ. Въ заключеніе выяснена связь стиха объ Іосифѣ съ былиной «о 40 каликахъ съ калико».

Далѣе детально разсмотрѣны варіанты стиха о Голубиной книгѣ. Для цѣлей анализа привлеченъ циклъ апокрифическихъ сказаній о Соломонѣ, «Бесѣда трехъ святителей», «Вопросы Іоанна Богослова Господу», «Физіологъ», Шестодневы и др., а съ другой стороны — такіе памятники, какъ пѣснь о св. Іаковѣ [1]).

«Евангелистую пѣснь» профессоръ считаетъ школьно-монастырскаго происхожденія; распространеніемъ своимъ она, вѣроятно, обязана школярамъ, въ особенности кіевскимъ. Не лишено значенія указаніе И. Н. Жданова на рядъ итальянскихъ и кавказскихъ сказокъ, въ содержаніе которыхъ вставленъ, между прочимъ, рядъ вопросовъ, напоминающихъ вопросы евангелистой пѣсни.

Отъ этой пѣсни естественно было перейти къ отдѣлу новозавѣтныхъ духовныхъ стиховъ. Обзоръ памятниковъ этого отдѣла предваряется общими замѣчаніями о вліяніи на нихъ каноническихъ книгъ и апокрифическихъ сказаній и указаніемъ важнѣйшихъ источниковъ и пособій при изученіи этого отдѣла. Прежде всего разсмотрѣны стихи, связанные съ Рождествомъ І. Христа, которые, по мнѣнію профессора, слѣдуетъ считать школьнаго происхожденія; затѣмъ—пѣсня объ Аллилуевой женѣ, связанная съ сказаніями о дѣтствѣ Христа. При изложеніи мнѣній различныхъ изслѣдователей по вопросу о происхожденіи этой пѣсни И. Н. Ждановъ становится на сторону проф. Кирпичникова, указавшаго на связь этого стиха съ арабскимъ «Евангеліемъ Дѣтства».

Далѣе разсмотрѣны три вида стиховъ, связанныхъ съ Страстями Христа, при чемъ отмѣчено вліяніе книжное (измѣна Іуды), вліяніе церковной пѣсни-канона (плачъ Богородицы), вліяніе колядокъ (встрѣча Маріи съ жидами и разговоръ съ ними) и Никодимова Евангелія. На происхожденіе стиха на «Вознесенье» могли оказать вліяніе Вопросы Іоанна Богослова Господу и рѣчи проповѣдниковъ, любившихъ рисовать передъ слушателями картину Вознесенія. Изъ стиховъ, связанныхъ съ притчами Христа, разсмотрѣны: О блудномъ сынѣ (по мнѣнію И. Н. Жданова—этотъ стихъ книжнаго происхо-

1) Ср. статью И. М. Жданова: «Бесѣда трехъ святителей и Іосса Monachorum» (Сочиненія, т. I, с. 763—808).

жденія), о богатомъ и Лазарѣ (при чемъ попутно сдѣланъ обзоръ стиховъ о разставаніи души съ тѣломъ) и стихи о Страшномъ Судѣ. На стихѣ о богатомъ и Лазарѣ весьма замѣтно вліяніе литературное, въ особенности сказаній о послѣднихъ дняхъ жизни человѣка и загробной судьбѣ (приведены памятники поучительные, апокрифическія сказанія и легенды о жизни святыхъ, напр.—Видѣніе Макарія, Видѣніе Св. Ѳеодоры, житіе Нифонта), а также и народныхъ воззрѣній (напр., сказки: о Кривдѣ и правдѣ, Двѣ доли).

Разсмотрѣніе стиха о «Разставаніи души съ тѣломъ» представляетъ краткое изложеніе изслѣдованій А. Н. Веселовскаго и Ѳ. Д. Батюшкова, а стиха объ «Аникѣ-воинѣ»—изложеніе взглядовъ И. Н. Жданова на этотъ любопытный памятникъ, подробно разсмотрѣнный имъ въ его маг. диссертаціи «Къ литературной исторіи русской былевой поэзіи».

Обзоръ духовныхъ стиховъ о Страшномъ Судѣ приводитъ къ мысли о книжномъ (отчасти школьномъ) происхожденіи ихъ, а также къ тому, что народная переработка сказалась въ нихъ въ слабой степени. Далѣе, передавъ вкратцѣ сказанія объ Успеніи Божіей Матери, И. Н. Ждановъ предлагаетъ анализъ стиха о Снѣ Богородицы, на которомъ сказалось вліяніе упомянутыхъ сказаній.

Разсмотрѣніе духовныхъ стиховъ, связанныхъ съ событіями и лицами священными, но не библейскими начато съ обзора стиховъ о чествованіи дней—а) воскресенья и б) пятницы. Обзору предпослано изложеніе исторіи празднованія воскреснаго дня и указаніе относящихся сюда легендъ, въ которыхъ произошло олицетвореніе Воскресенья. Привлеченіе къ цѣлямъ обзора длиннаго ряда сказаній и апокрифовъ раскрываетъ сложный міръ представленій, связанныхъ съ почитаніемъ воскресенія и пятницы.

Изъ стиховъ, связанныхъ съ почитаніемъ святыхъ, разсмотрѣны прежде всего стихи о Василіи Великомъ (наставленіе «о пьянствѣ»), затѣмъ рядъ стиховъ 1) о подвижникахъ и 2) мученикахъ. Изъ стиховъ первой группы разобранъ рядъ стиховъ объ Іосафѣ-царевичѣ, въ связи съ повѣстью о Варлаамѣ и Іосафѣ. Стихи объ Алексѣѣ.

Изъ стиховъ о св. герояхъ подробно разобраны стихи объ Егоріи Храбромъ; памятники, оказавшіе вліяніе на образованіе стиховъ объ Егоріи, результаты изслѣдованій Веселовскаго, Кирпичникова и друг.; сказанія о завоеваніи Палестины. Мнѣніе Щапова.

Курсъ заканчивается отчасти бѣглымъ обзоромъ, отчасти лишь перечнемъ стиховъ о Ѳедорѣ Тиронѣ, Димитріи Солунскомъ, Дмитровской субботѣ, святителѣ Николаѣ, объ Александрѣ Невскомъ и другихъ.

V. Русская литература XV и XVI вв.

Этотъ періодъ въ исторіи нашей культуры въ введеніи къ курсу характеризуется, какъ періодъ «переходный», въ теченіе котораго замѣчается поворотный пунктъ въ исторіи русской жизни, естественно отразившійся и на современной русской литературѣ: послѣдняя стоитъ въ тѣснѣйшей связи съ политическими и общественными событіями того времени, поставившими русское государство на новый путь развитія. XV и XVI вв., можно сказать, «знаменуютъ эпоху русскаго Возрожденія». Далѣе предложенъ обзоръ литературныхъ памятниковъ, въ которыхъ нашли отраженіе всѣ болѣе или менѣе серьезные факты того времени, — паденіе монгольскаго ига, паденіе Константинополя, ожиданіе кончины міра... Отмѣтивъ значеніе этихъ фактовъ для русскихъ и ихъ послѣдствія для русской культуры (новое значеніе Москвы, обращеніе русскихъ къ Западу и т. д.), И. Н. Ждановъ переходитъ къ выясненію тѣхъ культурныхъ явленій, которыми сопровождалось объединеніе московскаго государства. Много мѣста отведено обзору литературныхъ памятниковъ новгородскаго происхожденія, рисующихъ тревожное и приподнятое настроеніе Господина Великаго Новгорода наканунѣ его паденія, сказанія и преданія о минувшей его славѣ, силѣ и свободѣ, сказаніе о Бѣломъ Клобукѣ, наконецъ — рядъ сказаній, въ которыхъ отразилось сознаніе новгородцевъ въ безполезности и безуспѣшности борьбы; далѣе, идетъ рядъ литературныхъ памятниковъ, въ которыхъ нашла себѣ мѣсто московская точка зрѣнія на паденіе Новгорода и Пскова. Затѣмъ отмѣченъ циклъ памятниковъ, имѣвшихъ цѣлью закрѣпить и упрочить фактъ возвышенія Москвы — третьяго Рима (подробно разсмотрѣны «Сказаніе о великихъ князехъ Владимірскихъ», посланія старца Филоѳея и др.).

Продолженіе связей съ православнымъ Востокомъ; болгаро-сербское просвѣтительное движеніе на русской почвѣ; митрополитъ Кипріанъ; дѣятельность Григорія Цамблака, Пахомія Серба, Льва Филолога и др. Религіозно-церковные споры XV и XVI вв. Ересь жидовствующихъ. — Къ сожалѣнію, на этой главѣ (она посвящена

характеристикѣ ереси жидовствующихъ, дѣятельности архіепископа Геннадія и его сотрудниковъ) обрывается изданіе этого курса, обрывается буквально на полусловѣ (стр. 96). Впрочемъ, среди изданныхъ курсовъ Жданова есть курсъ, составляющій прямое продолженіе только что отмѣченнаго. Курсъ этотъ называется:

VI. Очерки умственной жизни XVI и XVII вв.

Этотъ курсъ начинается выясненіемъ значенія тѣхъ политическихъ и общественныхъ событій, которыя предшествовали эпохѣ возвышенія Москвы, и комментированіемъ литературныхъ памятниковъ, въ которыхъ эти событія нашли отраженіе. Въ вступительныхъ лекціяхъ къ курсу отмѣчены въ общихъ чертахъ и культурныя послѣдствія новаго порядка вещей (духъ критики; сближеніе съ Западомъ; подъемъ національнаго духа; броженіе умовъ; новыя вѣянія; страсть къ спорамъ, страсть къ собиранію памятниковъ старины и т. д.). Задачей курса поставлено: дать общее обозрѣніе общественной жизни въ XVI и XVII вв., указать общественные, умственные и религіозные вопросы, интересовавшіе и волновавшіе умы представителей этой эпохи, разсмотрѣть литературные памятники, находящіеся въ связи съ культурнымъ движеніемъ того времени.

Первымъ изъ общественныхъ вопросовъ того времени поднятъ имѣвшій весьма важное значеніе въ то время вопросъ о монастырскихъ имуществахъ. Установившійся къ XV-му вѣку типъ монастыря, находившагося въ тѣсной и живой связи съ жизнью, протекавшей внѣ стѣнъ монастыря (причины, превратившія мирную обитель въ «бойкое мѣсто»). Реакція противъ такого положенія вещей; протесты противъ монастырскихъ правилъ, исходившіе отъ лицъ духовныхъ, протесты правительства противъ расширенія монастырскихъ владѣній; посягательства со стороны правительства (по нуждѣ) на то, что до сихъ поръ считалось священнымъ и неприкосновеннымъ (попытки правительства въ этомъ направленіи и его нерѣшительность). Характеристика дѣятельности противника монастырскихъ владѣній — Нила Сорскаго, его аскетическихъ воззрѣній и идеаловъ. Вассіанъ Патрикѣевъ; «Бесѣда Сергія и Германа Валаамскихъ чудотворцевъ», какъ показатель значительной работы критической мысли (общія соображенія по различнымъ государственнымъ вопросамъ). Максимъ Грекъ и его сочиненія; важнѣйшія

темы, которыхъ касался Максимъ Грекъ и которыя могутъ служить наглядными иллюстраціями къ сужденію о культурномъ состояніи и интересахъ русскаго общества его времени.

Отъ характеристики писателей — противниковъ монастырскаго имущества и внѣшняго благочестія, отъ писателей, касавшихся общественныхъ вопросовъ, Ждановъ переходитъ къ обзору трудовъ той группы писателей, во главѣ которыхъ стоитъ Іосифъ Волоцкій. Сдѣлавъ характеристику І. Волоцкаго какъ хорошаго организатора въ области монастырей и церквей, профессоръ переходитъ къ выясненію его роли въ спорахъ о церковныхъ имуществахъ и ереси жидовствующихъ, а затѣмъ къ характеристикѣ его, какъ писателя, остановившись главнымъ образомъ, конечно, на «Просвѣтителѣ». Затѣмъ обрисована въ главныхъ чертахъ дѣятельность архіепископа Геннадія, его сотрудниковъ и помощниковъ и выяснена роль митрополита Даніила. Изъ трудовъ Даніила болѣе подробно разсмотрѣны его проповѣди, изъ которыхъ, между прочимъ, заимствованъ рядъ живыхъ картинъ тогдашней русской жизни, съ ея броженіемъ умовъ и особенностями быта (нападки Даніила на религіозный индиферентизмъ русскаго общества, на упадокъ внѣшняго благочестія, на роскошь, щегольство, пиры и развратъ и т. п.). Историческія и бытовыя условія проповѣди противъ роскоши и веселья (Москва, какъ центръ русской жизни, крупная и шумная столица, въ которую являются выходцы изъ Пскова, Новгорода и иностранцы, вносящіе вмѣстѣ съ собою и свои обычаи и нравы и возбуждающіе такимъ образомъ новую и бойкую жизнь; исчезнувшее чувство подавленности отъ татарскаго ига; свѣтлое настроеніе, выразившееся, между прочимъ, въ вольной и веселой жизни и т. п.). Параллель между картинами, оставленными Даніиломъ, и состояніемъ общества XVIII-го вѣка, по изображенію сатириковъ того времени. «Стародумы», какъ типы переходнаго времени.

Переходя ко второй половинѣ 16 в., профессоръ подводитъ итогъ тѣмъ вопросамъ, которые волновали умы въ предшествующую этой порѣ эпоху, и приходитъ къ заключенію, что вопросы, возникавшіе въ русской государственной и церковной жизни въ концѣ 15 в., остались неразрѣшенными и теперь и еще болѣе осложнялись и попрежнему занимали русское общество. Въ то же время своеобразное движеніе умовъ, выразившееся, между прочимъ, въ среси жидовствующихъ, продолжается и теперь, но приняло лишь другую форму. Изъ прежнихъ наиболѣе жгучихъ вопросовъ нѣ-

сколько потерялъ теперь свою остроту вопросъ о монастырскихъ имуществахъ; гораздо большее оживленіе вызвалъ вопросъ о вольномысліи, еретичествѣ. Ереси Матвѣя Башкина и Ѳеодосія Косого; характеристики этихъ лицъ, главныя положенія ихъ ученій. Зиновій и Артемій.

Ознакомивъ слушателей съ еретическими ученіями, профессоръ переходитъ къ анализу другихъ вопросовъ, волновавшихъ русское общество второй половины XVI-в. и отразившихся въ литературѣ. Всего удобнѣе профессоръ считаетъ коснуться этихъ вопросовъ въ связи съ соборами, которые тогда такъ часто собирались, и затѣмъ ознакомиться съ писателями, дѣятельность которыхъ такъ или иначе связана съ тѣмъ или другимъ вопросомъ. Схема этого отдѣла курса такова: предложенъ перечень соборовъ съ 1547 по 1566 г., но детальному обзору подвергнута дѣятельность лишь Стоглаваго Собора 1551 г., а затѣмъ даны характеристики и обзоръ трудовъ трехъ (каждаго въ отдѣльности) дѣятелей Собора: митрополита Макарія, попа Сильвестра и Іоанна IV [1]).

На характеристикѣ Грознаго, какъ писателя (если не считать незначительной замѣтки о кн. А. Курбскомъ), обрывается курсъ.

VII. Екатерининскій періодъ русской литературы (*Изд.* $189^{7}/_{8}$ г.).

Общая характеристика Екатерининской эпохи; ея основныя черты, позволяющія выдѣлить эту эпоху въ особый періодъ русской литературы. Знакомство съ французской просвѣтительной литературой до времени Екатерины II (Кантемиръ, Ломоносовъ, Елисавета Петровна). Дворъ императрицы Елисаветы. Вольтеръ, Монтескье, Дидро,—переводы ихъ сочиненій на русскій языкъ до времени императрицы Екатерины II. Характеристика Екатерины Алексѣевны, ея воспитаніе, сношенія съ Вольтеромъ, Дидро, Даламберомъ, Гриммомъ. Знакомство русскаго общества времени Екатерины II съ просвѣтительной литературой. Бецкій, кн. Дашкова, кн. Голицынъ, Шуваловъ. Переводы сочиненій Вольтера; «вольтерьянцы».—Масонство, его исторія и системы.—Масонство въ Россіи. И. П. Елагинъ, Новиковъ, Шварцъ, кн. И. Лопухинъ, И. Тургеневъ, Гамалѣя.—Проявле-

1) Ср. «Матеріалы для исторіи Стоглаваго Собора», «Церковно-земскій соборъ 1551», «Сочиненія царя Ивана Васильевича». См. Сочиненія И. Н. Жданова, т. I, стр. 171—272; 80—171; 361—380.

нія общественнаго и національнаго самосознанія, наряду съ увлеченіемъ Западомъ. Живучесть вкусовъ, обычаевъ и понятій старины въ русскомъ обществѣ того времени.—Записи произведеній народнаго творчества, лубочныя картины; сборники народныхъ пѣсенъ; Чулковъ, Трутовскій, Прачъ, Богдановичъ (пословицы); комическія оперы.—Интересъ къ изученію Россіи въ ея прошломъ и настоящемъ; ученыя экспедиціи; изданіе памятниковъ старинной литературы; Новиковъ, Миллеръ, Татищевъ, кн. Щербатовъ, Болтинъ и др.—Литературная дѣятельность императрицы Екатерины II. Литературныя произведенія императрицы разсматриваются по группамъ: 1) сатирическія статьи, при чемъ обзору послѣднихъ предпосланъ краткій очеркъ сатирическихъ журналовъ на Западѣ и у насъ; общіе вопросы, которыхъ касалась императрица въ своихъ сатирическихъ статьяхъ (пороки, составлявшіе наслѣдіе стараго времени и пороки новаго поколѣнія), частныя темы (масонство); 2) драматическія произведенія (комедіи, комическія оперы, историческія представленія); 3) педагогическія сочиненія (вопросъ о воспитаніи въ Россіи; Бецкій; Инструкція Салтыкову; Сказки и др.). — Наказъ (его исторія, источники, общекультурное значеніе). — Журнальная сатира Екатерининской эпохи; главные журналы, ихъ содержаніе (изображеніе современнаго общества и быта стариннаго; недостатки современнаго общества; крѣпостное право) и форма («письма»). — Дѣятельность Новикова и Шварца въ области русскаго просвѣщенія.—Сатирическіе журналы послѣ Новикова.— Фонвизинъ (біографія, общая характеристика литературной дѣятельности; комедіи: Бригадиръ, Недоросль, Коріонъ, Выборъ гувернера).—Я. Б. Княжнинъ (поправка къ мнѣнію Галахова о подражательности Княжнина и оригинальное въ его пьесахъ; трагедіи Княжнина; комедіи, ихъ источники; самостоятельность Княжнина въ передѣлкахъ, его наблюдательность; превосходство комедіи «Чудаки» передъ оригиналомъ; комическія оперы). — Второстепенные драматурги Екатерининскаго періода: Аблесимовъ, Капнистъ, Веревкинъ, Ефимьевъ, Плавильщиковъ, Лукинъ. — Общая характеристика драматическихъ произведеній эпохи; появленіе слезной драмы; стремленіе къ «народности»; постепенное освобожденіе отъ псевдоклассическихъ оковъ. — Державинъ (біографія, черты характера, отразившіяся на литературной дѣятельности Державина. — Торжественная лирика; оды — сатиры; «Жизнь Званская»).—В. П. Петровъ, Е. И. Костровъ, Богдановичъ, В. И. Майковъ, какъ подготовители реформы, произведенной въ рус-

ской литературѣ Карамзинымъ. Работа общественной мысли подъ вліяніемъ просвѣтительныхъ идей XVIII в.; публицистика. Радищевъ, Щербатовъ, Болтинъ, Леклеркъ.—Сентиментализмъ; его проявленія въ сатирическихъ журналахъ, семейныхъ романахъ, описательныхъ поэмахъ и чувствительныхъ путешествіяхъ. Появленіе новыхъ видовъ драмы; слезная комедія и буржуазная трагедія и ихъ представители.—Н. М. Карамзинъ (біографія, основныя черты воспитанія и характера, жизнь въ Москвѣ, путешествіе за границу; «Московскій Журналъ»; сентиментализмъ Карамзина и его причины). Литературные вкусы Карамзина, знакомство съ произведеніями иностранныхъ писателей сентиментальнаго направленія. Оригинальныя произведенія Карамзина; повѣсти, типы (чувствительнаго человѣка; человѣка съ холоднымъ сердцемъ, положительный типъ русскаго европейски-образованнаго человѣка). «Письма русскаго путешественника». Драма «Софія». Второй періодъ литературной дѣятельности Карамзина (интересъ Карамзина вопросами философіи).

На этомъ обрывается изложеніе дѣятельности Н. М. Карамзина. Но въ бумагахъ покойнаго И. Н. Жданова нашелся курсъ о Карамзинѣ, читанный имъ въ Кіевѣ въ 1882-мъ году. Курсъ этотъ называется:

VIII. Карамзинъ и его время. (*Литогр. изд. 1882 г.* Кіевъ. Литографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго).

Въ качествѣ введенія къ курсу дана справка о состояніи литературныхъ вкусовъ и образованности въ Москвѣ, ко времени появленія Карамзина на общественномъ поприщѣ. Университетъ и его профессора; учрежденія при университетѣ (библіотека, типографія, ученыя общества, подготовительныя учебн. заведенія). Біографія Карамзина до переѣзда въ Петербургъ; К. въ Петербургѣ и его переводы; К. въ Симбирскѣ и И. П. Тургеневъ. Масонство (масонство на Западѣ и у насъ) и вліяніе его на Карамзина; впечатлѣнія, вынесенныя Карамзинымъ изъ кружка Новикова; А. Петровъ, Ленцъ, А. Кутузовъ.—Первые шаги на литературномъ поприщѣ; литературныя направленія того времени (данъ пространный очеркъ изъ исторіи возникновенія сентиментализма на Западѣ и у насъ отмѣчено знакомство Карамзина съ европейскими представителями, этого направленія, и, путемъ анализа произведеній Карамзина первой поры его дѣятельности, въ подробностяхъ выяснены его

взгляды на драму, семейный романъ, описательную поэзію и чувствительныя путешествія. Подражатели Карамзина. Противники сентиментальнаго направленія (П. Л. Яковлевъ). — Второй періодъ дѣятельности Карамзина (1794—1801). Интересъ Карамзина къ вопросамъ философіи; Галлеръ, Боннетъ, Лафатеръ, Попъ; религіозныя воззрѣнія Карамзина; «Нѣчто о наукахъ», «Аѳинская жизнь», «Письмо Мелодора къ Филалету»...., «Разговоръ о счастіи». Отношеніе современниковъ Карамзина къ его философскимъ воззрѣніямъ (П. И. Голенищевъ-Кутузовъ, Ѳ. Туманскій).—Третій періодъ дѣятельности Карамзина. Встрѣча К — мъ новаго царствованія. Карамзинъ-издатель «Вѣстника Европы». «Направленіе» журнала; общественные и политическіе взгляды Карамзина того времени и причины происшедшей въ нихъ перемѣны. Статьи: «О легкой одеждѣ модныхъ красавицъ XIX вѣка», «Странность», «О публичномъ преподаваніи наукъ въ Московскомъ университетѣ», «О любви къ отечеству и народной гордости». Борьба между приверженцами Запада и поклонниками старины въ русской литературѣ до Карамзина (Тредьяковскій; Фонвизинъ; Болтинъ; кн. Щербатовъ). Консерватизмъ Карамзина въ связи съ его историческими занятіями; историческія статьи Карамзина въ «Вѣстникѣ Европы»; отношеніе Карамзина къ крестьянскому вопросу (попутно: крестьянскій вопросъ въ XVIII в.) и къ вопросу о просвѣщеніи. — Послѣдній періодъ дѣятельности Карамзина (1803—1826). Публицистическія работы («Записка о древней и новой Россіи», «Освобожденіе Европы и слава Александра», «Записка о московскихъ достопамятностяхъ», «Записка о Польшѣ», «Мысли объ истинной свободѣ»). — «Исторія Государства Россійскаго» съ литературной точки зрѣнія (попутно: взглядъ Карамзина на исторію и ея задачи; отношеніе къ «Исторіи» современниковъ) и со стороны научной. — «Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ собраніи Россійской Академіи» (попутно: отношеніе Россійской Академіи къ Карамзину до избранія въ члены; споръ шишковистовъ и карамзинистовъ).

IX. В. А. Жуковскій.

Признаки, характеризующіе новую русскую литературу. — Подражаніе литературнымъ образцамъ Западной Европы.—Псевдоклассицизмъ; его расцвѣтъ и паденіе на Западѣ и у насъ.—Возникновеніе сентиментальнаго направленія. Мѣщанская драма; чувствительныя

путешествія; семейные романы; описательная поэзія.—Значеніе дѣятельности Карамзина въ области русскаго сентиментализма. — Жуковскій, какъ продолжатель дѣла, начатаго Карамзинымъ. Дѣятельность Жуковскаго разсматривается въ связи съ дѣятельностью Карамзина. Карамзинъ—блестящій представитель новаго направленія, какъ писатель, давшій образцы сентиментальныхъ повѣстей и какъ теоретикъ, Жуковскій,—какъ поэтъ по преимуществу. — Біографія Жуковскаго. Его раннія произведенія, ихъ темы (мысли о добродѣтели и смерти), общая характеристика; литературныя вліянія на Жуковскаго (Ломоносовъ, Державинъ). Жизнь поэта въ періодъ 1801—1808 г.г. и особенности его произведеній этого періода (новое въ этихъ произведеніяхъ; подробности, дополняющія основную тему темъ прежнихъ; отраженія интимной жизни поэта въ его произведеніяхъ; меланхолическіе мотивы, какъ «звуки его сердца» и какъ литературное вліяніе того времени). Сходство образовъ, мыслей и мотивовъ въ произведеніяхъ Жуковскаго и Карамзина и причины сходства (вліяніе литературное и вліяніе самой личности Карамзина на Жуковскаго; общность литературныхъ вкусовъ обоихъ писателей). Жизнь и дѣятельность Жуковскаго съ 1808 года. «Вѣстникъ Европы». Особенности въ тонѣ стихотвореній поэта 1810 г. (живое и бодрое чувство, вызванное любовью). Увлеченіе нѣмецкой литературой.—Прозаическія произведенія Жуковскаго (повѣсти; статьи, посвященныя литературнымъ вопросамъ; статьи по вопросамъ нравственной философіи; сходство съ Карамзинымъ, и отчасти зависимость отъ произведеній послѣдняго). Жизнь и дѣятельность Жуковскаго съ 1811 по 1817 г. Жизнь въ деревнѣ (счастливое настроеніе). 1815 г.—переворотъ въ интимной жизни поэта. М. А. Мойеръ; произведенія этого періода. 1812 годъ—начало «бурнаго» періода жизни Жуковскаго; его странствованія. Переводы Жуковскаго въ этотъ періодъ (Геббель и Уландъ; Шлегель и Тикъ). Увлеченіе Жуковскаго романтиками и идеями Шлегелей, не сдѣлавшее, однако, поэта романтикомъ.—Занятія Жуковскаго исторіей (исканіе поэтомъ въ исторіи новыхъ темъ; баллады). Жуковскій въ Петербургѣ и вліяніе на него петербургскаго общества. Арзамасъ и видная роль «меланхолика»—поэта въ этомъ веселомъ обществѣ (отсутствіе въ «скорби» Жуковскаго элемента безнадежности и отчаянія, объясняемое отчасти тѣмъ, что поэту были вообще чужды глубокія страсти); значеніе пребыванія Жуковскаго въ средѣ арзамасцевъ для его литературной дѣятельности (Арзамасъ долженъ былъ предостеречь

поэта отъ крайностей романтизма). Жизнь Жуковскаго съ 1817 г. Пребываніе при Дворѣ (попутно: исторія приближенія поэта ко Двору; торжественная лирика; мечты о славѣ). Педагогическая дѣятельность Жуковскаго и, между прочимъ, его «Черты исторіи Государства Россійскаго» (зависимость отъ Карамзина). Несчастія, постигшія Жуковскаго въ его интимной жизни. Путешествія Жуковскаго; литературные памятники этихъ путешествій; вліяніе Карамзина.—Значеніе литературныхъ связей съ Пушкинымъ.—Ослабленіе поэтическаго вдохновенія Жуковскаго; его произведенія послѣдняго періода; переводы изъ новыхъ и древнихъ авторовъ. Новое во взглядахъ Жуковскаго на поэзію и идеалъ семейнаго счастья за этотъ періодъ его жизни.—Послѣднее путешествіе Жуковскаго за границу; переводы («Одиссея»; переводы изъ восточной литературы; повѣсти въ стихахъ педагогическаго характера; произведенія религіознаго характера; статьи, навѣянныя современными ему событіями на Западѣ).—Выводъ: значеніе Жуковскаго въ русской литературѣ (Жуковскій, какъ поэтъ сентиментальнаго направленія; Жуковскій, какъ переводчикъ).

X. Наканунѣ Пушкина.

Обзоръ литературныхъ явленій начала XIX ст. (*Изд. 1888 г.*).

Связь исторіи русской литературы съ движеніемъ русской образованности и съ развитіемъ русскаго самосознанія. Два періода въ исторіи русской образованности до начала XIX ст.: эпохи Петра I и Екатерины II и типы образованности. Возбужденіе общественной мысли при Петрѣ и развитіе общественнаго самосознанія при Екатеринѣ II; разность направленій въ области общественной и литературной мысли, какъ показатели развитія общественнаго самосознанія.—Эпоха Александра I. Личность императора; его воспитатели; его характеръ и способность поддаваться постороннимъ вліяніямъ; двѣ эпохи его царствованія.—Дальнѣйшее изложеніе курса распадается на двѣ части: 1) факты изъ исторіи русской культуры и просвѣтительнаго движенія эпохи Александра I, 2) русская литература—ея представители и направленія.—Отношенія правительственной власти къ дѣлу образованія и развитія наукъ (университеты и печать); значеніе увлеченія философіей (Шеллингъ) въ исторіи русской образованности. Интересъ къ научному изученію прошлаго русской исторіи, какъ показатель національнаго самосознанія;

Россійская Академія, кружки Румянцева и Оленина; связь движенія научнаго съ общественнымъ; Шишковъ и его противники; Исторія Карамзина; понятія о патріотизмѣ, С. Н. Глинка и Ѳ. В. Растопчинъ.— Общественное движеніе при Александрѣ I; борьба «творческаго» и «хранительнаго» направленій; вопросы о крѣпостномъ правѣ и лучшей организаціи общественнаго строя и отношенія къ нимъ правительства (Сперанскій; оффиціальные журналы, переводы Беккарія, Монтескье, А. Смита и др.; министръ гр. С. С. Уваровъ) и общества (Кайсаровъ, Стройновскій, П. И. Тургеневъ; Карамзинъ и его «Записка о древней и новой Россіи»). — Оживленіе въ области литературы; борьба между направленіями старины и новизны; псевдоклассицизмъ и сентиментализмъ (слезная комедія, семейный романъ; чувствительныя путешествія); интересъ къ народному эпосу. Бесѣда любителей русскаго слова и Арзамасъ; «шишковисты» и «карамзинисты»; «неоклассики» и «реалисты». Карамзинъ въ Александровскую эпоху. Подражатели (кн. Шаликовъ, В. Измайловъ, Макаровъ) и послѣдователи (Жуковскій) Карамзина. — В. А. Жуковскій (см. предыдущій курсъ), какъ продолжатель дѣла, начатаго Карамзинымъ, и какъ писатель открывающій новый періодъ развитія нашей литературы; связь поэтической дѣятельности Жуковскаго съ Пушкинымъ. — Воейковъ и В. Л. Пушкинъ. — Наиболѣе даровитые приверженцы «стараго» направленія: Державинъ и Крыловъ. Русскій театръ въ началѣ XIX ст.; отсутствіе талантливыхъ драматурговъ и обиліе переводовъ. Озеровъ и Катенинъ; Крыловъ, кн. Шаховской, Хмельницкій, Кокошкинъ, Загоскинъ. Реакція псевдоклассицизму въ лицѣ «неоклассиковъ». Батюшковъ (параллель между поэтической дѣятельностью Батюшкова и Жуковскаго), Гнѣдичъ. — Выводъ: ко времени появленія Пушкина русская литература сдѣлала значительный шагъ по пути къ самостоятельному развитію и совершенству; псевдоклассицизмъ былъ пораженъ; возникъ рядъ новыхъ направленій; возникла новая «простая» поэзія — поэзія сердца; въ области формы было достигнуто богатство разнообразія и изящество рѣчи. Оставалось «примирить» непримиренныя общимъ началомъ возникшія литературныя теченія; нужна была болѣе широкая и мощная натура съ болѣе широкимъ взглядомъ, которая бы придала новой поэзіи болѣе глубокое общественное и національное значеніе. Такимъ поэтомъ-примирителемъ былъ Пушкинъ: его поэзія — художественная лѣтопись сердца, чувствъ, идей и вмѣстѣ рядъ картинъ современнаго ему русскаго общества; поэ-

зію Пушкина привѣтствовали представители всѣхъ литературныхъ направленій [1]).

XI. А. С. Пушкинъ (*Изд. 1890 г.*).

Установленіе связи между литературной дѣятельностью Пушкина и русской литературой предшествовавшей ему эпохи; главныя литературныя направленія послѣдней; псевдоклассицизмъ; сентиментализмъ и заслуги Карамзина въ попыткѣ дать изображеніе типовъ, взятыхъ изъ русской жизни, но не «поучительное» и не «сатирическое», какъ прежде; поэзія Жуковскаго, какъ «интимная лѣтопись сердца»; романтизмъ и споры о романтизмѣ и классицизмѣ, возникшіе по поводу литературной дѣятельности Пушкина; отношеніе къ этому спору самого Пушкина; «романтизмъ» Пушкина. — Явленія русской общественной жизни при вступленіи Пушкина на литературное поприще; интересъ къ вопросамъ общественнымъ; консервативное и либеральное направленія общественной мысли; Отечественная война и политическія идеи того времени. Оживленіе литературной дѣятельности въ связи съ усиленной работой общественной мысли. Выводы: къ началу XIX в. литература русская развилась до понятія художественной правды; появилась потребность дать, путемъ литературныхъ произведеній, картины общественной жизни; идея національнаго самосознанія находитъ все болѣе яркихъ выразителей; но только въ Пушкинѣ нашли геніальнаго выразителя, всѣ признаки, характеризующія новую русскую литературу, и запросы общественной мысли того времени.

Біографія Пушкина и важность изученія ея для уясненія литературной дѣятельности поэта. — Происхожденіе; родители; домъ Пушкиныхъ; отрицательныя и положительныя стороны воспитанія и отраженіе ихъ въ первыхъ стихотвореніяхъ. Жизнь въ Лицеѣ; образованіе характера Пушкина, его двойственность, страсть казаться «дурнымъ», способность къ глубокой дружбѣ. — Пушкинъ на порогѣ самостоятельной жизни. Общественные интересы того времени, политическіе идеалы Пушкина и его либеральное направленіе (знакомства и эпиграммы); «Зеленая Лампа» и отвращеніе Пушкина къ условностямъ, царившимъ въ обществѣ его времени; «Арзамасъ» и недовольство Пушкина односторонностью этого кружка. Широта литературнаго «пониманія» Пушкина, не примкнув-

1) Ср. о Пушкинѣ, какъ о «художникѣ-миротворцѣ» т. II, стр. 69—71.

шаго всецѣло къ одному опредѣленному направленію. — Ссылка и серьезный интересъ къ литературному труду. Чувство одиночества и разочарованія въ людяхъ; «Демонъ» и внутренняя борьба. Серьезное отношеніе къ общественнымъ вопросамъ. Работа надъ самообразованіемъ. — Пребываніе въ Михайловскомъ. Облегченія участи поэта; мечты о поѣздкѣ заграницу, Кавказъ. Перемѣна въ душевномъ складѣ Пушкина въ связи съ перемѣнами въ окружавшей его жизни; чувство отчужденности. — Стремленіе къ журнальной дѣятельности; Пушкинъ и Веневитиновъ. Воззрѣнія Пушкина на поэзію и поэта. — «Литературная газета». — Послѣдній періодъ жизни Пушкина. Женитьба. Противорѣчіе между внѣшней, съ виду покойной жизнью поэта и душевнымъ состояніемъ, приведшее къ трагической развязкѣ. Неблагопріятныя условія жизни поэта; его семейныя дѣла,—денежныя затрудненія, общественныя отношенія (свѣтская жизнь, пустота свѣтской жизни; стремленія въ деревню), политическій надзоръ за Пушкинымъ.—Убѣжденія Пушкина за этотъ періодъ жизни; кажущаяся перемѣна въ убѣжденіяхъ; стремленіе сдѣлать въ нихъ нѣкоторыя «поправки»; историческія занятія Пушкина и интересовавшіе его моменты русской исторіи разсужденія Пушкина о родовитости.—Литературная дѣятельность послѣдняго періода: журнальная работа; труды историческіе; поэтическія произведенія. Смерть Пушкина. — Общая характеристика Пушкина, какъ человѣка, одареннаго богатымъ запасомъ жизненныхъ силъ и жаждой умственнаго и нравственнаго самообразованія.

Литературная дѣятельность Пушкина. Лицейскія стихотворенія біографическое значеніе ихъ; подражательность и противорѣчія; вліяніе французскихъ и отечественныхъ писателей и отчасти народной поэзіи; тонъ лицейскихъ стихотвореній; воспѣваніе «лѣни». Раннее сознаніе Пушкинымъ своего литературнаго призванія и общественнаго значенія поэзіи. — Литературная дѣятельность 1818—1820 гг.. «Русланъ и Людмила» въ связи съ произведеніями лицейскаго и ближайшаго къ нему періода; связь съ поэмой Жуковскаго «Двѣнадцать спящихъ дѣвъ»; причины успѣха поэмы. — 1820—1824 гг. Черты вліянія французскаго классицизма въ стихотвореніяхъ, написанныхъ на югѣ Россіи; Пушкинъ и Шенье. Интересъ къ произведеніямъ народной словесности. Пушкинъ и Байронъ; ограниченность вліянія послѣдняго на нашего поэта (идеи и идеалы Байрона имѣли вліяніе на Пушкина по стольку, по скольку они соотвѣтствовали его собственнымъ). — «Кавказскій Плѣнникъ»;

отношеніе критики; недостатки поэмы, личныя мнѣнія поэта объ этой поэмѣ. Установленіе психологической связи «К. П.» съ предшествовавшими ему лирическими произведеніями Пушкина и лишь внѣшней зависимости (въ формѣ, въ обработкѣ) отъ Байрона; двойственность въ характерѣ главнаго героя «К. П.» и сравнительная характеристика послѣдняго и Пушкина; параллели къ «К. П.» изъ лирическихъ произведеній поэта; выводъ: основу поэмы далъ поэту его жизненный опытъ, форму — изученіе Байрона. Художественное и общественное значеніе героя «К. П.», какъ литературнаго типа; поправка къ мнѣнію Бѣлинскаго. — Возвращеніе Пушкина къ темамъ, намѣченнымъ въ «К. П.» и обработка ихъ поэтомъ въ позднѣйшихъ поэмахъ. «Братья-разбойники» и «Кавказскій Плѣнникъ»; сходство темы; «Женихъ»; «Галубъ»; кажущаяся зависимость отъ «Корсара» Байрона; самостоятельность Пушкина. «Бахчисарайскій Фонтанъ»; мнѣнія критики и изслѣдователей; опроверженіе зависимости «Бахч. Ф.» отъ «Донъ-Жуана» и «Гяура» Байрона; связь «Бахч. Ф.» съ предыдущими поэмами Пушкина и параллели изъ лирики поэта; дальнѣйшее развитіе въ этой поэмѣ женскихъ типовъ, ранѣе очерченныхъ поэтомъ въ другихъ поэмахъ; (попутно, — женщины въ жизни Пушкина); образъ Маріи и героинь Жуковскаго; Марія и Татьяна. «Цыгане» и дальнѣйшее развитіе въ Алеко ранѣе намѣченнаго типа разочарованнаго сына культуры; Евгеній Онѣгинъ, какъ современникъ Алеко. — Романъ «Евгеній Онѣгинъ», его художественныя достоинства. Связь романа съ поэмами Пушкина, отраженія въ немъ душевныхъ настроеній поэта пережитыхъ имъ за время созданія романа; двойственность и противорѣчія въ характерѣ Евгенія Онѣгина; причины этихъ противорѣчій; отзывъ Бѣлинскаго; Онѣгинъ, какъ сложный типъ. Характеристика Татьяны, поправки къ мнѣнію Бѣлинскаго; отзывъ Достоевскаго. Ленскій и Ольга. Пушкинъ и Евгеній Онѣгинъ; возможность «возрожденія»; взгляды Пушкина на общество и на поэта.

Позднѣйшія произведенія Пушкина и ихъ основныя темы въ связи съ темами, занимавшими поэта въ предшествующій періодъ его поэтической дѣятельности. Циклъ произведеній, связанныхъ съ образомъ Петра Великаго; интересъ Пушкина къ личности Петра; психологическіе и политическіе мотивы. Общественные взгляды Пушкина и его «аристократизмъ»; Пушкинъ и «Путешествіе» Радищева. (Въ извѣстныхъ намъ литографированныхъ лекціяхъ курсъ не законченъ).

XII. М. Ю. Лермонтовъ.

Біографія Лермонтова; происхожденіе, воспитаніе, учителя; пребываніе въ университетскомъ пансіонѣ; Лермонтовъ — студентъ, противорѣчія въ характерѣ поэта, его скрытность; вліяніе школы гвардейскихъ подпрапорщиковъ на образованіе характера Лермонтова. Поѣздка на Кавказъ, впечатлѣнія. Раннее пробужденіе чувства любви.—Лирическія произведенія Лермонтова юношеской поры; меланхолическое настроеніе; мысль о смерти въ раннихъ произведеніяхъ Лермонтова и Жуковскаго; чувство разочарованія; двойственность въ душевномъ настроеніи Лермонтова-поэта; противорѣчія въ отношеніяхъ его къ людямъ и къ жизни, замѣчаемыя въ его лирическихъ произведеніяхъ юношеской поры, и источникъ этихъ противорѣчій; борьба «возвышенныхъ» помысловъ поэта съ чувственными порывами; «Мой демонъ», «Исповѣдь», «Ангелъ», «Молитва», «Отрывокъ» и др. Жажда славы, любви и борьбы; самолюбіе Лермонтова. Лермонтовъ, какъ идеалистъ.—Эпическія произведенія, связь ихъ съ стихотвореніями лирическими; краткая передача содержанія поэмъ Лермонтова 1828—1832 гг.; повѣсть «Вадимъ». Драматическія произведенія. «Демонъ». Сходство темъ въ раннихъ произведеніяхъ Лермонтова; разновидность типа разочарованнаго человѣка въ этихъ произведеніяхъ; двойственность въ характерѣ Демона, какъ отголосокъ собственной души поэта. Общественные идеалы Лермонтова, нашедшіе отраженіе въ его раннихъ произведеніяхъ.—Литературныя вліянія: Байронъ, Шиллеръ, Шатобріанъ, Вальтеръ Скоттъ.—Второй періодъ жизни Лермонтова; знакомство съ декабристами; любовь Лермонтова; отношенія къ свѣтскому обществу. Поэмы. Прозаическія произведенія; Печоринъ и Лермонтовъ. Драматическія произведенія. Выводъ: Лермонтовъ, какъ типичный представитель поколѣнія 1830-хъ годовъ (NB. Лекціи о Лермонтовѣ извѣстны намъ въ трехъ изданіяхъ, но въ одной редакціи, которую, къ сожалѣнію, нельзя считать удовлетворительной).

XIII. Н. В. Гоголь. (*Изд. 189⁶/₇ ак. г.*).

Встрѣча Гоголя русской критикой при первомъ появленіи его на литературномъ поприщѣ.—Причина необычайнаго успѣха Гоголя—своевременное появленіе его въ литературѣ. Бѣлинскій о ли-

тературѣ того времени («Литературныя Мечтанія»). Послѣдніе годы дѣятельности Пушкина («Лѣта къ суровой прозѣ клонятъ»); литература и общество его времени. Господство романа и повѣсти; увлеченіе русскаго общества этой новой формой литературныхъ произведеній (свидѣтельства и мнѣнія Ломоносова, Сумарокова, Фонвизина, Карамзина, Жуковскаго и др.); переводные романы въ эпоху Екатерины II и Александра I-го. Начало русскаго оригинальнаго романа; романы А. Е. Измайлова и Н. Ѳ. Остолопова; «Несчастная Маргарита». В. Т. Нарѣжный. Реальное направленіе въ нашихъ романахъ и повѣстяхъ начала XIX в.; типы повѣстей того времени и мѣсто среди нихъ повѣстей Гоголя. — Біографія Гоголя. Значеніе малороссійскаго происхожденія Гоголя (общій характеръ малорусской литературы; писатели-малороссы до Гоголя, его ближайшіе предшественники — Котляревскій, Гулакъ-Артемовскій, Квитка-Основьяненко, Гоголь-отецъ). Семейныя отношенія Н. В., В. А. и М. И. Гоголей (вліяніе родителей на Н. В., въ особенности вліяніе матери; сходныя черты въ характерѣ матери и сына; недочеты воспитанія — баловство). Пребываніе Гоголя въ Нѣжинѣ; рано сказавшаяся страсть къ литературѣ и театру. Характеристика Гоголя передъ пріѣздомъ въ Петербургъ (крайняя неустойчивость душевнаго настроенія; мечтательность, приводившая его порою къ возвышеннымъ, порою къ горделивымъ планамъ; живое религіозное чувство). Пріѣздъ Гоголя въ Петербургъ; его разочарованіе столицей; поѣздка за границу и мотивы ея. — «Ганцъ Кюхельгартенъ» («Луиза» Фосса и др. литературныя вліянія; автобіографическое значеніе «Ганца») и «Италія». — Широкіе планы Гоголя при переѣздѣ его въ Петербургъ. Поступленіе на службу и неудовлетворенность ей. Педагогическая дѣятельность. Мечты объ ученой карьерѣ Гоголь—профессоръ. Попытки Гоголя сдѣлаться актеромъ; занятія живописью. Знакомства Гоголя; литературныя связи. — Литературная дѣятельность Гоголя въ 1832 — 1836 гг. Интересъ къ Малороссіи въ русской литературѣ и лично у Гоголя; Вальтеръ Скоттъ. «Вечера на хуторѣ близъ Диканьки». Отзывы: а) Пушкина, Булгарина и Надеждина и б) Полевого и Царьиаго; упреки въ неточной передачѣ Гоголемъ этнографическихъ особенностей Украины и въ «барскомъ» отношеніи къ народному быту. Идеализація Гоголемъ природы и быта Малороссіи и причины этой идеализаціи (любовь къ родинѣ, молодость, обаяніе народной поэзіи). Литературныя вліянія (народная поэзія, писатели-малороссы; Гофманъ, Вальтеръ

Скоттъ, Тикъ и др.). Душевное настроеніе Гоголя при созданіи «Вечеровъ» (тоска по родинѣ и въ то же время двойственное отношеніе къ ней — восторженное описаніе картинъ природы и изображеніе «пошлыхъ» типовъ; чувство грусти). — Миргородъ (критическіе отзывы Булгарина, Шевырева, Бѣлинскаго, Кулиша, Грабовскаго и др.). Вліянія, сказавшіяся на повѣстяхъ вошедшихъ въ составъ Миргорода (вліяніе народной поэзіи; Нарѣжный; душевное настроеніе); историческія сочиненія, которыми могъ пользоваться Гоголь при созданіи Тараса Бульбы. — «Арабески»; «петербургскія» повѣсти Гоголя. Критическіе отзывы о нихъ. Связь «петербургскихъ» повѣстей Гоголя съ повѣстями изъ малорусской жизни и причина перехода отъ послѣднихъ къ первымъ; душевное настроеніе Гоголя; впечатлительность Гоголя; разочарованіе столицей; потребность отозваться на пошлыя стороны наблюдаемой имъ жизни; «призрачность» этой жизни; «смѣхъ сквозь слезы» и сострадательное отношеніе къ изображаемымъ типамъ; типы художниковъ; образы идеальные съ окраской аскетизма; литературныя вліянія (романтизмъ; заимствованія). Статьи Гоголя по искусству и исторіи (проявленіе въ нихъ художественной натуры Гоголя). — Драматическія произведенія Гоголя. «Владиміръ 3-ей степени» (свидѣтельства объ этой комедіи современниковъ и самого Гоголя; заключеніе Тихонравова; «Утро дѣлового человѣка», «Тяжба», «Лакейская», «Отрывокъ»); «Женитьба» (критическіе отзывы Булгарина и Бѣлинскаго; связь типовъ этой пьесы съ типами повѣстей Гоголя; типъ «нерѣшительнаго» человѣка). «Ревизоръ». («Ревизоръ» и «Пріѣзжій изъ столицы» Квитки-Основьяненки). Критическіе отзывы: а) Сенковскаго, Булгарина, Полевого, б) Серебрянаго, в) Андросова, кн. Вяземскаго, г) Бѣлинскаго (сходство воззрѣній Бѣлинскаго на комедію и ея задачи съ воззрѣніями Гоголя). Взглядъ самого Гоголя на «Ревизора» (письмо Щепкину; «Характеры и костюмы», «Отрывокъ изъ письма къ одному литератору»....; «Театральный разъѣздъ».... «Предъувѣдомленіе»....). «Ревизоръ», какъ «комедія призраковъ». Общественное значеніе «Ревизора» (отсутствіе у Гоголя сознательнаго желанія обличать общественныя злоупотребленія).

— Журнальная дѣятельность Гоголя. «Современникъ» Пушкина въ ряду другихъ современныхъ журналовъ; статьи въ немъ, принадлежащія Гоголю (критическіе взгляды Гоголя — взгляды Пушкинскаго кружка).—Третій періодъ жизни Гоголя: 1836—1852 гг.,— періодъ блужданій. Жизнь за границей. Поводъ къ путешествію и

причины. «Болѣзнь» Гоголя (постепенно, съ годами, обострявшееся душевное состояніе поэта; «коренныхъ перемѣнъ въ душевномъ состояніи Гоголя не было, — все шло и вело къ роковой развязкѣ естественнымъ путемъ»); мнѣніе доктора Тарасенкова. — «Мертвыя души». Критическіе отзывы: а) Сенковскаго, Булгарина, Полевого, б) Масальскаго, в) «Литерат. Газеты», Сорокина, Плетнева, Мизки, Шевырева, К. Аксакова, Бѣлинскаго. «Мертвыя души», какъ поэма. Сходство сюжета и типовъ этой поэмы съ прежними произведеніями Гоголя и, между прочимъ, съ «Ревизоромъ». Неудавшійся планъ Гоголя дать изображеніе положительныхъ типовъ и причины неудачи. — «Переписка съ друзьями» и причины осужденія ея критикой.

Заключеніе: значеніе Гоголя въ исторіи русской литературы (въ высшей степени художественный реализмъ въ области типового творчества; высоко-гуманное чувство къ человѣку; серьезное отношеніе къ слову; «Мертвыя Души», какъ яркая картина современной Гоголю дѣйствительности; Гоголь, какъ художникъ).

XIV. Обозрѣніе исторіографіи русской литературы. (*Изд.* $189^{5}/_{6}$ *ак. г.*).

Исторія литературы, какъ наука. Развитіе понятія объ исторической критикѣ. Дѣятельность А. Л. Шлецера и Гердера; примѣненіе исторической точки зрѣнія къ изученію литературы. — Древнѣйшій періодъ историческаго изученія литературы; «литтеральная исторія». Попытки каталогизировать литературный матеріалъ на Руси: библіотеки князей, монастырей, епископовъ; «описи книгамъ» XV, XVI и XVII вв.; «Палинодія» Захарія Копыстинскаго.—Библіографическіе «опыты» XVIII вѣка: «Извѣстія о нѣкоторыхъ русскихъ писателяхъ».... Дмитревскаго, труды Штелина, «Опытъ историческаго Словаря» Новикова, «Библіотека Россійская».... Д. С. (Дамаскина) Руднева; Домашневъ, Бакмейстеръ, Баузе. — Изученіе народной поэзіи въ XVIII в. Связь XVIII в. съ предшествовавшимъ въ бытовомъ отношеніи; живучесть преданій старины и интересъ къ старинѣ въ высшихъ классахъ русскаго общества; записываніе произведеній народной поэзіи; рукописные пѣсенники, сборники повѣстей и романовъ; интересъ къ народной поэзіи при Екатеринѣ II; комическія оперы; сборники пословицъ. Взглядъ на значеніе народной поэзіи у писателей XVIII в.. Чулковъ, Трутовскій Прачъ и др.—XIX вѣкъ. Общая характеристика состоянія русской

науки и литературы въ первую четверть XIX вѣка.—Дѣятельность и заслуги Карамзина и Румянцева. Калайдовичъ, митроп. Евгеній (Болховитиновъ), Востоковъ, Строевъ. Каченовскій. Погодинъ, Бутковъ и Максимовичъ; Ундольскій.—Изученіе народной словесности въ XIX вѣкѣ. Понятіе «народности» въ 1830-хъ гг.; Надеждинъ, Бѣлинскій; «офиціальная» народность. Собиратели памятниковъ, великорусской поэзіи (Сахаровъ, Снѣгиревъ, Макаровъ, Терещенко, Даль) и южнорусской (Цертелевъ, Срезневскій, Максимовичъ, Бодянскій).—Опыты общаго обозрѣнія литературы въ началѣ XIX в. (Шевыревъ, Милюковъ). — Новый періодъ изученія русской литературы. Накопленіе къ 1840-мъ гг. литературнаго матеріала; оживленіе въ дѣлѣ изученія славянства; новыя теченія европейской мысли; славянофилы и западники; историческій методъ. Я. Гриммъ, Кунъ, Максъ Миллеръ, Маннгардъ. Ѳ. И. Буслаевъ. — Позднѣйшіе труды по изученію русской словесности. — Собираніе памятниковъ народной поэзіи (заслуги Географическаго Общества и Отдѣленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи Наукъ; П. Кирѣевскій, Безсоновъ; Рыбниковъ; Гильфердингъ, акад. Соболевскій; сборники великорусскихъ сказокъ; сборники малорусскіе и бѣлорусскіе). — Труды по изученію народной словесности: 1) миѳологическая теорія (подробно разсмотрѣна дѣятельность А. Н. Аѳанасьева, О. Ѳ. Миллера, А. А. Котляревскаго, А. А. Потебни); 2) теорія заимствованій (представители этой теоріи на Западѣ; Бенфей; русскіе изслѣдователи — Шиффнеръ, Стасовъ; В. Ѳ. Миллеръ, Потанинъ); 3) новое историческое изученіе русскаго эпоса (акад. А. Н. Веселовскій, акад. И. В. Ягичъ). — Краткія свѣдѣнія о дѣятельности изслѣдователей въ области изученія былинъ; сказокъ; пословицъ; заплачекъ; историческихъ, обрядовыхъ и лирическихъ пѣсенъ. — Изученіе древней письменности: 1) общее обозрѣніе памятниковъ (труды акад. Срезневскаго, еп. Филарета, Строева); 2) описаніе и изданіе рукописей (труды обществъ и отдѣльныхъ изслѣдователей); 3) изслѣдованія памятниковъ («Слово о полку Игоревѣ»; памятники, связанные съ событіемъ Куликовской битвы и подвигами Дмитрія Донского; духовные стихи; апокрифныя сказанія; легендарная литература).

Выше передано въ самыхъ краткихъ чертахъ содержаніе только 14 курсовъ покойнаго профессора и то лишь тѣхъ, которые И. Н. Ждановъ читалъ въ Историко-Филологическомъ Институтѣ [1]); кромѣ того, мы передали содержаніе нѣкоторыхъ курсовъ по Лекціямъ, извѣстнымъ намъ въ одномъ какомъ-либо изданіи. Къ сожалѣнію, намъ не удалось собрать всѣхъ Лекцій, читанныхъ И. Н. Ждановымъ за время своей профессорской дѣятельности въ Институтѣ; правда, въ большинствѣ случаевъ новое изданіе того или другого курса мало чѣмъ отличалось отъ предыдущаго, но иногда новыя изданія содержали значительныя отступленія отъ предшествовавшихъ, какъ, напр., изданія общаго курса по исторіи литературы.—Что же касается курсовъ Ивана Николаевича, читанныхъ имъ въ Кіевѣ, а также въ Петербургѣ на Высшихъ Женскихъ Курсахъ и наконецъ въ Александровскомъ Лицеѣ, то передавать ихъ содержаніе считаемъ излишнимъ, въ виду того, что они отличаются отъ курсовъ, читанныхъ въ Институтѣ, лишь меньшимъ объемомъ. Въ заключеніе, упомянемъ, что въ бумагахъ покойнаго нашлось собственноручно написанное введеніе къ общему курсу исторіи русской литературы.

---

1) Курсъ о Карамзинѣ, содержаніе котораго мы передали по Лекціямъ, изданнымъ въ Кіевѣ, И. Н. читалъ и въ Институтѣ, но петербургскаго изданія этого курса въ нашихъ рукахъ не было.

УКАЗАТЕЛЬ.

„Аврамовица“ I, 837—841.
Адашевъ, А. Ѳ. I, 208, 225—227.
Адріанъ II, папа Римскій I, 753.
Акакій, еп. Тверской I, 214, 221.
Аксаковъ, К. С. II, 90.
Александръ I (его время) II, 70.
Александръ Македонскій (сказанія о немъ) I, 592—596.
Амфилохій еп. (Сергіевскій) II, 415.
Анастасія царица I, 110, 122.
Андрей ап. I, 58, 59—61.
Андріевскій, М. А. I, 424.
Аника-воинъ (сказанія о немъ) I, 555—611.
Антоній Сійскій св. (См. „Житіе св. Антонія Сійскаго“).
Антоній митроп. (XI в.) I, 24—29, 50.
Антоній еп. (Вадковскій) II, 415.
Антоній (Стаховскій) митроп., I, 579.
Антоній, монахъ (VIII в.) I, 298.
Антоній старецъ (XVI в.) I, 95.
Араповъ, П. Н. II, 46.
Ариосто (его поэма „Orlando furioso“) I, 860—864.
Аристотель II, 7.
Аристофанъ II, 10.
Артемій, игум. (XVI в.) I, 133, 134, 135, 164, 189—191, 203, 204, 214, 215.
Архангельскій, А. С. проф. I, 768—787, 843—845; II, 411—460 (отзывъ И. Н. Жданова „О сочиненіяхъ А. С. Архангельскаго“); 529.
Аѳанасій митроп. (XVI в.) I, 94.
Аѳанасьевъ, А. Н. I, 390, 433, 727.
Байронъ II, 274.
Бантышъ-Каменскій, Д. Н. II, 179.
Барминъ, Ѳедоръ I, 216.
Барсовъ, Е. В. I, 881—444 („Литер. Слова о полку Игоревѣ“).
Баторій, Ст. I, 137.
Батюшковъ, К. Н. II, 58, 65, 72, 88, 362, 410[2], 504.
„Баянъ“ см. „Боянъ“.
Безсоновъ, П. А. I, 274—276, 837, 888.
Берсень-Беклемишевъ, бояринъ I, 371.
Бестужевъ, А. А. II, 320.
Бестужевъ-Рюминъ, К. Н. I, 436; II, 521, 522.
„Бесѣда трехъ святителей и Josa Monachorum“ I, 763—808.
Бибиковъ, А. П. II, 149.
Богдановичъ, И. Ѳ. II, 160.
Бодянскій, О. М. I, 7; II, 379.
Болтинъ, И. Н. II, 168.
Бомарше, II, 1, 8.
Бонякъ, I, 309, 310.
„Борисъ Годуновъ“ II, 99—134 („О драмѣ А. С. Пушкина: „Борисъ Годуновъ“).
Бороздинъ, А. К. проф. II, 524, 540, 541.
Боткинъ, В. П. II, 263.
Боянъ I, 345—354.
Бржевскій, Амвросій (XVI в.) I, 129.
Броннеръ II, 62.
Буало II, 476.
Будиловичъ, А. С. проф. II, 415.

Булгаковъ, Я. И. II, 161.
Буличъ, Н. Н., проф. II, 410².
Буслаевъ, Ѳ. И. I, 44, 274, 284, 299, 418, 515, 809; II, 90, 879, 885, 897—409 („О трудахъ Ѳ. И. Буслаева").
Бѣлинскій, В. Г. II, 107, 169, 193—267 („Памяти В. Г. Бѣлинскаго"); 374.
Бѣльскій, И. Д. I, 125.
Бѣльскій, Мартинъ (XVI в.) I, 128—129 (его Kronika Swiata).
Бѣляевъ, И. Д. проф. I, 64.
Вэнъ II, 467.
Вюргеръ I, 727; II, 65.
Ваденюкъ, П. Е. I, 422, 427.

„Валтасаръ" („Повѣсть о королевичѣ Валтасарѣ") I, 842—869; II, 511—512 („О черновой рукописи III части изслѣдованія о „Валтасарѣ").
Вальтеръ Шпейерскій I, 681.
Вареоломеевъ, Н. И. прот. II, 514, 515, 516, 517.
Василій, еп. Амасійскій I, 145.
Василій Великій I, 145.
Вассіанъ (Топорковъ), еп. (XVI в.) I, 264, 265.
Веселовскій, А. Н., акад. I, 408, 465, 650, 789, 789, 794; II, 388—396 („О трудахъ А. Н. Веселовскаго"); 526, 527, 538.
Викторовъ, А. Е. I, 847.
Виноградовъ, І. Г. свящ. II, 430.
Висковатый, дьякъ I, 122, 284.
Владимиръ, вел. кн. I, 51—55, 60—68 (его крещеніе) (См. также „Похвала кагану Владимиру", „Житіе Владимира").
Владимиръ Андреевичъ, кн. I, 110, 112.
Владиміровъ, П. В. II, 436, 437.
Возаревичъ, Гр. I, 888.
Волковъ, Ѳ. Г. II, 188.
Вольтеръ II, 2, 178.
Вольфъ, Христіанъ II, 14, 59.
Воропай (XVI в.) I, 122—128.
Воротынскій, М. И. I, 125.
Востоковъ, А. Х. I, 450.
Вудъ, Робертъ II, 9.
Вяземскій, кн. П. А. I, 413; II, 45, 151, 153, 156, 160, 166, 174, 179, 181, 182, 296, 297, 309, 318.

Гавріилъ (Петровъ), митроп. II, 168, 177.
Гагаринъ, И. А. кн. II, 46.
Галаховъ, А. Д. I, 390, 428, 453; II, 15, 198, 589.
Гарабурда, I, 122—123, 126.
Гебель, Іоганъ Петеръ II, 62.
Гегель II, 218.
Геннадій (Гонзовъ), архіепископъ Новгородскій (XVI в.) I, 221.
Геннадій, патріархъ Константинопольскій (V в.) II, 420.
Генслеръ, Кардъ Фридрихъ (о его „Das Donauweibchen") II, 329—374.
Георгіевскій, П. Е. проф. I, 890.
Георгій, арх. Александрійскій I, 146.
Георгій, митроп. кіевскій (XI в.) I, 80.
Гердеръ II, 10, 11.
Гесснеръ II, 14, 62.
Гете II, 10, 14, 260, 353.
Гильфердингъ, А. Ѳ. I, 647.
Глинка, С. Н. II, 161, 220, 228.
Гмелинъ, І. Г. I, 577, 590.
Гнѣдичъ, Н. И. II, 1—66 (Рѣчь И. Н. Жданова по поводу столѣтія со дня его рожденія); 272, 504, 541.
Гоголь, Н. В. I, 815; II, 212, 221, 235, 237, 248, 249, 255, 262, 269; 595—598 (Лекціи о немъ И. Н. Жданова).
Годуновъ Борисъ см. „Борисъ Годуновъ".
Голенищевъ-Кутузовъ, П. И. II, 15, 16.
Голицынъ, А. Н. кн. II, 19.
Голицынъ, М. М. кн. II, 19.
Гольбергъ, Людвигъ II, 149.
Гомеръ II, 9, 10, 13, 58, 59, 260.
Горацій II, 7.
„Горе отъ ума" II, 221.

Горсей, Джеромъ I, 106, 118, 122, 299, 301, 452, 772.
Горскій, А. В. I, 6; II, 420, 438, 442, 445.
Горчаковъ, Д. П. кн. II, 185.
Гречъ, Н. И. I, 390; II, 44, 45, 46, 51, 53.
Грибоѣдовъ, А. С. II, 54, 221, 236.
Григорій Назіанзенъ I, 144.
Григорій Палама I, 130.
Григорій Самвлакъ I, 432.
Григоровичъ, В. И. проф. I, 421.
Григоровичъ, Д. В. II, 263.
Григорьевъ, Ап. А. II, 90, 95, 198, 201, 266.
Гриммъ, Яковъ II, 379, 392, 402, 525.
Грязной-Ильинъ, В. Г. I, 117—118.
Гулятовъ, купецъ (Сказка о немъ) I, 865—869.
Гурій, архіеп. (XVI в.) I, 29—31, 34, 37, 39, 93—94, 108.
Гурій, еп. Смоленскій (XVI в.) I, 221.

Данилевскій, I. Е. II, 162.
Данилъ Переяславскій препод. (XVI в.) I, 100—101 (Молитва ему ц. Ивана Васильевича); 193, 370.
Дашкова, Е. Р. кн. II, 160, 169.
„Двоесловіе живота и смерти“ I, 688—695 (См. также: „Прѣніе Живота и Смерти“).
Делиль II, 7.
Дельвигъ, А. А. бар. II, 77.
Державинъ, Г. Р. II, 50, 69, 160, 174, 246.
Дестунисъ, Г. С. I, 773.
Дивковичъ, Фраматій I, 888.
Дигенисъ Акритъ (Сказаніе о немъ I, 730—738.
Дидицкій, писат. I, 391.
Діаконовъ, М. II, 531.
Діонисій Ареопаг. I, 144.
„Діоптра“ Филиппа Пустынника, I, 132—133; 144.
Дмитріевъ, И. И. II, 174.
Дмитріевъ, М. А. II, 28, 29.
Добротворскій, И. М. проф. I, 510.
Дометіанъ монахъ (XIII в.) I, 17, 18, 146.
Дорофей, Авва (его Поученія) I, 133.
Достоевскій, Ѳ. М. I, 815; II, 199.
Дружининъ, II, 64.
Дубенскій, Г. I, 391.
Дубенскій, Д. Н. II, 398.
„Духовные стихи“ — Лекціи И. Н. Жданова, II, 578—582.
Дюкло II, 178.
Дюкъ Степановичъ (Сказаніе о немъ) I, 750—788.

Евгеній (Болховитиновъ), митроп. I, 82, 84—85.
Евлампіосъ, авторъ сборника „Амарантосъ“ I, 571, 641.
Евфимій (Турковъ) игуменъ (XVI в.), I, 174.
Евфросинія Суздальская (ея Житіе) I, 136.
Евфросинья Андреевна, кн. I, 110.
Екатерина Великая, императрица, II, 2, 35, 149, 154, 167.
Екатерина Павловна, вел. кн. II, 88.
„Екатерининскій періодъ рус. литературы“ — Лекціи И. Н. Жданова, II, 585—586.
Елагинъ, И. П. II, 145, 146, 147, 149, 151, 187.
Ефремъ Сиринъ I, 460; II, 435, 458—460.

Ждановъ, И. Н., II, 511—512 (О черновой рукописи III части его изслѣдованія о „Валтасарѣ“), 513—565 (біографическій очеркъ), 567—600 (о его лекціяхъ).
Житецкій, П. И. II, 490.
„Житіе св. Антонія Сійскаго“ I, 124—125.
„Житіе блаженнаго Владимира“ I, 2, 3.
Житіе Евфросиніи Суздальской I, 136.

„Житіе Леонтія Ростовскаго“ I, 18, 19, 58.
„Житіе Симеона Сербскаго“ I, 17—19, 20.
„Житіе Стефана Сурожскаго“ I, 68.
Жуковскій, В. А. I, 727; II, 15, 25, 42, 43, 44, 48, 49, 67, 69, 72, 108, 287, 320, 353; 588—590 (Лекціи И. Н. Жданова о Жуковскомъ).

Зарубскій, Георгій I, 355.
Зенгъ, Вейтъ I, 135.

Ибнъ-Фодланъ, I, 334, 335.
Ивановъ, Н. I, 446.
Иванъ Васильевичъ, царь I, 81—170 („Сочиненія п. Ивана Васильевича“), 175, 205, 206, 207, 209, 211, 212, 213, 362—380, 723, 810, 820.
Иконникова, А. А. II, 534.
Иларіонъ Великій I, 31—33, 145.
Иларіонъ Исповѣдникъ I, 31—33.
Иларіонъ, митроп. Кіевскій I, 7, 8, 9, 21—40, 43, 53, 57, 72—76, 79 (См. также его „Исповѣданіе вѣры“).
Иларіонъ Меглинскій (XII) I, 33.
Иловайскій, Д. Н. I, 397, 427.
Илья Муромецъ I, 647—653.
Индикопловъ Козьма I, 460.
„Исповѣданіе вѣры“ митроп. Иларіона I, 33—34.
„Исторіографія русск. литературы“—Лекціи И. Н. Жданова, II, 598—599.
„Исторія русской словесности“—Лекціи И. Н. Жданова II, 573—578.

Іаковъ мнихъ (См. „Похвала Іакова мниха“).
Іоаннъ III, вел. кн. II, 206, 213.
Іоаннъ IV, царь см. **Иванъ Васильевичъ**.
Іоаннъ, митр. (XVI в.) I, 335—337.
Іоаннъ Дамаскинъ I, 446, 461.
Іоаннъ Златоустъ I, 146, 461.
Іоаннъ Малала I, 449, 461, 798.
Іоаннъ Нантіохійскій I, 447, 448.
Іоасафъ, митроп. I, 257, 258, 259, 378.
Іосифъ Волоцкій I, 103, 106, 147, 168, 259.
Іосифъ Флавій I, 385.

Кавелинъ, К. Д. II, 90, 201, 226.
Калайдовичъ, К. Ѳ. I, 274, 280; II, 411, 415.
Капитонъ, еп. (IV в.) I, 15—16.
Капнистъ, В. В. II, 88, 160.
Караджичъ, В. I, 888.
Карамзинъ, Н. М. I, 2, 3, 4, 5, 18, 82, 85—87, 125, 126, 127, 137, 253, 273, 379, 391; II, 14, 15, 16, 17, 25, 30, 48, 49, 103—113, 121, 202; 505—507: 587—588 („Карамзинъ и его время“ — лекціи И. Н. Жданова).
Карлъ V, императоръ I, 127, 129.
Кассіанъ, еп. Рязан. (XVI в) I, 192, 214.
Касторскій, изд. Краледворской рукописи I, 391.
Катенинъ, П. А. I, 727; II, 73.
Каченовскій, М. Т. II, 200, 201, 212, 213, 214.
Келлеръ (его изданіе „Fastnachtspiele“) I, 501.
Кириллъ, Св. первоуч. славян. I, 745—762 („Рѣчь по поводу празднованія тысячелѣтія со дня смерти первоучителя славянъ св. Меѳодія).
Кириллъ, митроп. (XVI в.) I, 105.
Кириллъ II, митроп. I, 31.
Кириллъ Бѣловерскій I, 146.
Кириллъ Туровскій I, 290, 355.
Кириллъ Философъ I, 303.
Кирѣевскій, И. В. II, 90.
Кирѣевскій, П. В. II, 325.
Кирпичниковъ, А. И., проф. I, 644.
Клейстъ, Эвальдъ II, 7.
Княжнинъ, Я. Б. II, 160.
Ковловскій, Ѳ. А. кн. II, 143, 144, 149.
Ководавлевъ, О. И. II, 168.
Козьма, игуменъ (XVI в.) I, 94—98, 145, 149.

Кольцовъ, А. В. II, 77, 78.
Коробейниковъ, Трифонъ I, 141.
Костомаровъ, Н. И. I, 512.
Костровъ, Е. И. II, 56.
Котляревскій, А. А. II, 375—382 („Рѣчь объ А. А. Котляревскомъ").
Краснопольскій, И. С. II, 330, 331, 338, 343, 344, 374.
Красносельцевъ, Н. Ѳ. I, 763, 765, 770, 711, 777—790.
Краусъ, Ф. С. II, 396.
Крузе, Кр. I, 119, 126, 135, 139.
Крыловъ, И. А. I, 609; II, 15, 72, 286.
Кубаревъ, А. М. I, 6, 7.
Куницынъ, А. П. II, 70.
Куракинъ, А. Б. кн. II, 180.
Курбскій, А. М. кн. I, 104, 113—117 (посланіе къ нему ц. Ивана Васильевича); 146, 147, 149, 151, 154, 158—160, 169, 170, 225, 227, 369, 371.
Кухарскій, А. I, 391.

Лабрюйеръ II, 178.
Ламанскій, В. И. акад. II, 480.
Ласицкій, Янъ I, 108.
Латкинъ, В. М. II, 531.
Лафонтенъ I, 609.
Леонтій Ростовскій I, 18, 19 (См. „Житіе" и „Похвальное Слово Леонтію Ростовскому").
Леонтьевъ, Н. В. II, 168.
Лепехинъ, И. И. II, 168.
Лермонтовъ, М. Ю. I, 815; II, 64, 236, 253; 595 (Лекціи о немъ И. Н. Жданова).
Лессингъ II, 10, 14.
Лилло, Георгъ II, 3, 4.
Лобановъ, М. Е. II, 20, 22, 28.
Ломоносовъ, М. В. I, 760; II, 50, 194, 288, 303.
Лопухинъ, И. В. II, 25.
Лоутъ II, 9.
Лукинъ, В. И. II, 145, 146, 162.
Лукьяновъ, П. II, 489.
Лѣствица Іоанна, игум. Синайскаго I, 132, 138.
„Лѣтописецъ литовскихъ князей" I, 128.
„Лѣтописецъ польскій" I, 128.
Люгебиль, проф. II, 527.
Людовикъ XIV II, 4.

Магнусъ, король Датскій I, 111.
Магнусъ, Павелъ I, 127.
Майковъ, А. Н. II, 87, 199.
Майковъ, Л. Н. II, 410—410[4] („Ученолитерат. дѣятельность Л. Н. Майкова").
Макарій, митроп. (XVI в.) I, 91—92, 104—105, 142, 193, 212—217; II, 415.
Макарій, пр. I, 7, 86.
Макаровъ, М. Н. II, 32.
Максимовичъ, М. А. I, 422, 426, 435; II, 361, 398.
Максимъ Грекъ I, 92—93, 217, 219, 227.
Макферсонъ II, 6, 9, 14, 52.
Малининъ, В. Н. II, 415, 430.
Малышевскій, И. I, 424.
Маркевичъ, Н. II, 366.
Мартирій черноризецъ I, 682, 683.
Марѳа Владимировна, кн. I, 111.
Матисонъ II, 7.
Мей, Л. А. II, 79—98 (Рѣчь, читанная въ день двадцатилѣтія годовщины смерти поэта).
Меркаторисъ I, 501—504.
Меѳодій, Св. первоуч. слав. I, 744—762 („Рѣчь по поводу празднованія тысячелѣтія со дня смерти первоучителя славянъ св. Меѳодія").
Меѳодій Патарскій I, 460.
Миллеръ, В. Ѳ. I, 842—843; II, 375.
Миллеръ, Г. Ф. II, 478.
Миллеръ, О. Ѳ. I, 411, 412, 420, 435, 786, 809, 810; II, 523, 524, 527, 540.
Мильтонъ II, 250.
Милюковъ, А. Н. II, 93.
Михаилъ Черниговскій, преп. I, 100 (молитва ему ц. Ивана Васильевича).
Мицкевичъ, Ад. II, 295, 296, 297.

Модестовъ, Е. I, 277, 278, 279.
Мольеръ II, 2, 8.
Морозовъ, Я. М. I, 161.
Мочульскій, В. I, 774, 803.
Мстиславскій, И. Ѳ. I, 125.
Муравьевъ, М. Н. II, 274, 362.
Муравьевъ-Апостолъ, И. М. II, 88.
Мусинъ-Пушкинъ, А. И. гр. I, 1, 2, 8.
Мусницкій II, 274.
Мюнстеръ, Себастіанъ I, 129 (его Cosmographia).
Мятлевъ, П. В. II, 182, 183.

Надеждинъ, Н. И. II, 200, 201, 202, 208, 214, 309.
Невоструевъ, К. И. I, 299, 301, 452, 772; II, 420, 438, 442.
Незеленовъ, А. И. II, 540.
Никандръ, еп. Ростов. I, 220.
Никита, митроп. Ираклійскій I, 181.
Никифоръ, митроп. I, 79.

Оболенскій, М. А., кн. I, 447.
Огоновскій, Ем. I, 394, 395.
Оленинъ, А. Н. I, 1, 2, 8.
Онуфрій Великій I, 146.
Орловъ, Ѳ. Г., препод. II, 517.
Орловъ, Гр. Гр., гр. II, 149.
Оссіанъ II, 6, 9, 18, 31.
Островскій, А. Н. II, 90.

Павскій, Г. П. I, 426.
„Палея“ I, 445—488.
Палицынъ Авраамій II, 100, 101.
„Памяти В. Г. Бѣлинскаго“ II, 193—267.
Панаевъ, В. И. II, 7, 60—63, 65.
Панинъ, Н. И., гр. II, 149, 151, 153, 155, 156, 161, 164, 165, 168, 172, 179, 189.
Панинъ, П. И., гр. II, 152, 166, 175, 176, 179.
Пахомій Логофетъ I, 146.
Пенинскій I, 392.
Перетцъ, В. Н. (по поводу его книги: „Изъ исторіи русской пѣсни“), II, 478—495.
Перси, Т. II, 9.
Петровъ, Н. И. II, 482, 484.
Петръ Великій II, 203, 206, 207, 209, 217, 220, 228, 229; 269—322 („Пушкинъ о Петрѣ Великомъ“).
Писемскій, А. Ѳ. II, 90.
Пискаревъ (собр. рукописей) I, 695, 847, 848, 855.
Писпикинъ, Германъ I, 185.
Плаксинъ, В. Т. I, 392.
Платоновъ, С. Ѳ. II, 581.
Плетершникъ I, 392.
Плетневъ, П. А. II, 51, 108.
Погодинъ, М. П. II, 273.
Позняковъ, Василій I, 141.
Полевой, Н. А. II, 103, 107, 224.
Поликарпъ, еп. (XIII в.) I, 27, 28.
Полонскій, Я. П. II, 252.
Поповъ, А. Н. I, 440, 445—483 („Палея“), 778; II, 415.
Порфирьевъ, И. Е. I, 306, 458, 460, 763.
„Посланіе Симона къ Поликарпу“ I, 22, 25, 26, 27.
Поссевинъ Антоній I, 106—109, 137—139.
Потебня, А. А. I, 413—445; II, 396.
Потемкинъ, Гр. А. II, 168, 179.
„Похвала кагану Владимиру“ I, 1—80.
„Похвала Іакова инока“ I, 65—67.
„Похвала княгинѣ Ольгѣ“ I, 2—8.
„Похвальное Слово Леонтію Ростовскому“ I, 18, 19, 20.
Приклонскій, А. И. II, 153.
Продромъ, Ѳеодоръ (XII в.) I, 826, 833, 835, 836.
Прокоповичъ, Андрей, протоіерей II, 20.
Прокоповичъ, Ѳеофанъ II, 488.
Прокопьевъ, М. В. II, 519.
„Прѣніе Живота и Смерти“ I, 489—554; 688—710.
Пыпинъ, А. Н. I, 274, 472, 774, 806, 824, 846; II, 395.
Пушкинъ, А. С. I, 813, 815; II, 50, 51, 64, 79, 178, 189, 255, 260, 284, 346,

247, 466, 542—548. (См. также „Нѣсколько словъ о знач. Пушкина въ исторіи рус. литературы", II, 67—78; „О драмѣ Пушкина: „Борисъ Годуновъ", II, 99—134; „Пушкинъ о Петрѣ Великомъ", II, 269—322; „Русалка" Пушкина и „Das Donauweibchen" II, Генслера 323—374; „Наканунѣ Пушкина" — Лекціи, II, 590—592; „А. С. Пушкинъ"—Лекціи, II, 592—594.
Пѣтуховъ, Е. В. II, 445.

Раевскій, Н. Н. II, 102.
Расинъ II, 2, 3, 45.
Ричардсонъ II, 6, 14, 16.
Рокита, Янъ I, 108.
Рыбниковъ П. Н. I, 585, 613, 632, 819.
Рылѣевъ, К. Ѳ. II, 275, 276, 277.
Румянцевъ, Н. И., гр. II, 65.
Рудаковъ, А. Е. II, 539.

Савва Сарскій I, 214, 221.
Савва Сербскій I, 146.
Самсонъ (былины и сказанія о немъ) I, 611—686.
Сатурнъ (сказанія о немъ), I, 796—802.
Сахаровъ, И. П. 1, 82, 274, 297, 447.
Свѣтоній I, 186.
Святогоръ (былины о Самсонѣ и Святогорѣ), I, 611—686.
Семенова, Е. С. II, 45, 46, 331.
Серапіонъ, архіеп. (XVI в.) I, 191.
Серапіонъ (Курцевъ), игум. I, 258.
Серкамби, Дж. I, 859—860, 863, 864.
Сигизмундъ Августъ I, 125, 126, 140.
Сильвестръ, свящ. I, 131, 190—199, 204, 208—211, 213, 225—227.
Симеонъ Сербскій I, 17 (См. также „Житіе Симеона Сербскаго").
Симонъ, еп. (XIII в.) I, 22 (См. также „Посланіе Симеона").
Сиповскій, В. В. (рецензія на его сочиненіе: „Н. М. Карамзинъ, авторъ Писемъ русск. путешественника") II, 505—507.
Сирахъ I, 808.
Скопинъ-Шуйскій, Ѳ., кн. I, 216.
Скульскій, А. I, 396.
„Слово Даніила Заточника" I, 278—332.
„Слово о законѣ и благодати" I, 1—80.
„Слово о законѣ Моисѣемъ данѣемъ" I, 8.
„Слово о полку Игоревѣ" II, 92—94, 210, 381—444 („Литература Слова о п. Иг.").
Смирновскій, П. (отзывъ о его учебникѣ по теоріи словесности) II, 461, 472—477.
Смирновъ, А. I, 381—444 (по поводу его труда о Словѣ о Полку Игоревѣ); 452, 488.
Снегиревъ, И. М. II, 361.
Соболевскій, А. И., акад. II, 546.
Созоновичъ, И. Н., проф. (рецензія на его изслѣдованіе: „Къ вопросу о западн. вліяніи на слав. и русск. поэзію") 496—504.
Соловьевъ, С. М. I, 7, 125; II, 90.
Соломонъ I, 808; 798—807 (сказаніе о немъ).
Софоклъ II, 10.
Сохацкій, П. А. II, 16.
Спасовичъ, В. Д. II, 296.
Сперанскій, М. М., гр. II, 317, 318.
Срезневскій, И. И. I, 5, 7, 276, 451, 463; II, 378, 385, 415, 419, 420, 451, 527.
Станкевичъ, Н. В. II, 213, 214, 259.
Стернъ II, 6, 8.
Стефанъ Сурожскій (См. „Житіе Стефана Сурожскаго").
„Стихи о двѣнадцати мѣсяцахъ" I, 824—837.
„Стоглавъ" (см. „Матеріалы для исторіи Стоглаваго Собора"), I, 171—272.
Строгановъ, А. С., гр. II, 64.
Строевъ, П. М. I, 82, 173; II, 411.
Сумароковъ, А. П. II, 1, 2, 3, 4, 14.
Сухомлиновъ, М. И. I, 274, 468; II, 415, 523, 524, 527, 528, 530, 540.

Таубе I, 119, 126, 127, 135, 139.
Татищевъ, В. Н. II, 118, 448.
Тепловъ, Г. Н. II, 144, 145, 147.
Тетеринъ, Т. I, 161.
Титъ Ливій I, 186.
Тихонравовъ, Н. С. I, 450, 452, 467, 510, 521, 824, 837; II, 541.
Толстой, Д. А., гр. I, 274.
Томпсонъ II, 5, 6, 7, 8, 14.
Тредьяковскій, В. К. II, 478.
Трифонъ, еп. Суздальскій I, 214.
Тургеневъ, И. С. I, 815; II, 193, 199, 267, 408.
Тургеневъ, Н. И. II, 70.
Тэнъ II, 4, 6.

Уваровъ, С. С., гр. II, 49, 56, 57, 170.
Ундольскій, В. М. 1, 88, 274, 275, 700, 703; II, 415, 422.
Успенскій, В. (по поводу его изслѣдованія: „Толковая Палея") I, 445—483 („Палея").
Успенскій, Ѳ. И. II, 525, 527.
Устряловъ, Н. Г. I, 113—115.

Филаретъ, арх. I, 88; II, 415.
Филаретъ, митр. I, 837.
Филаретъ, пр. I, 7, 74.
Филиппъ, пустынникъ I, 132.
Филоновъ, А. II, 477.
Филоѳей (Лещинскій), митрополитъ (XVIII в.) I, 579.
Флавій, I. I, 138, 624, 625.
Фойницкій, проф. II, 521.
Фонвизинъ, Д. И. II, 135—192.
Форіель II, 53.
Фоссъ II, 13, 14, 59, 62.
Фуниковъ, казначей (XVI в.) I, 122.

Хвостовъ, А. С. II, 184, 185.
Хвостовъ, Дм. Ив., гр. II, 45, 55.
Ходкѣвичъ, Янъ Яромировичъ I, 116, 117, 125.
Христофоръ св. (легенды о немъ) I, 668—686.
Христофоръ, еп. II, 19.
Хрущевъ, И. П. I, 178, 420; II, 580.
Худяковъ, И. I, 641, 711.

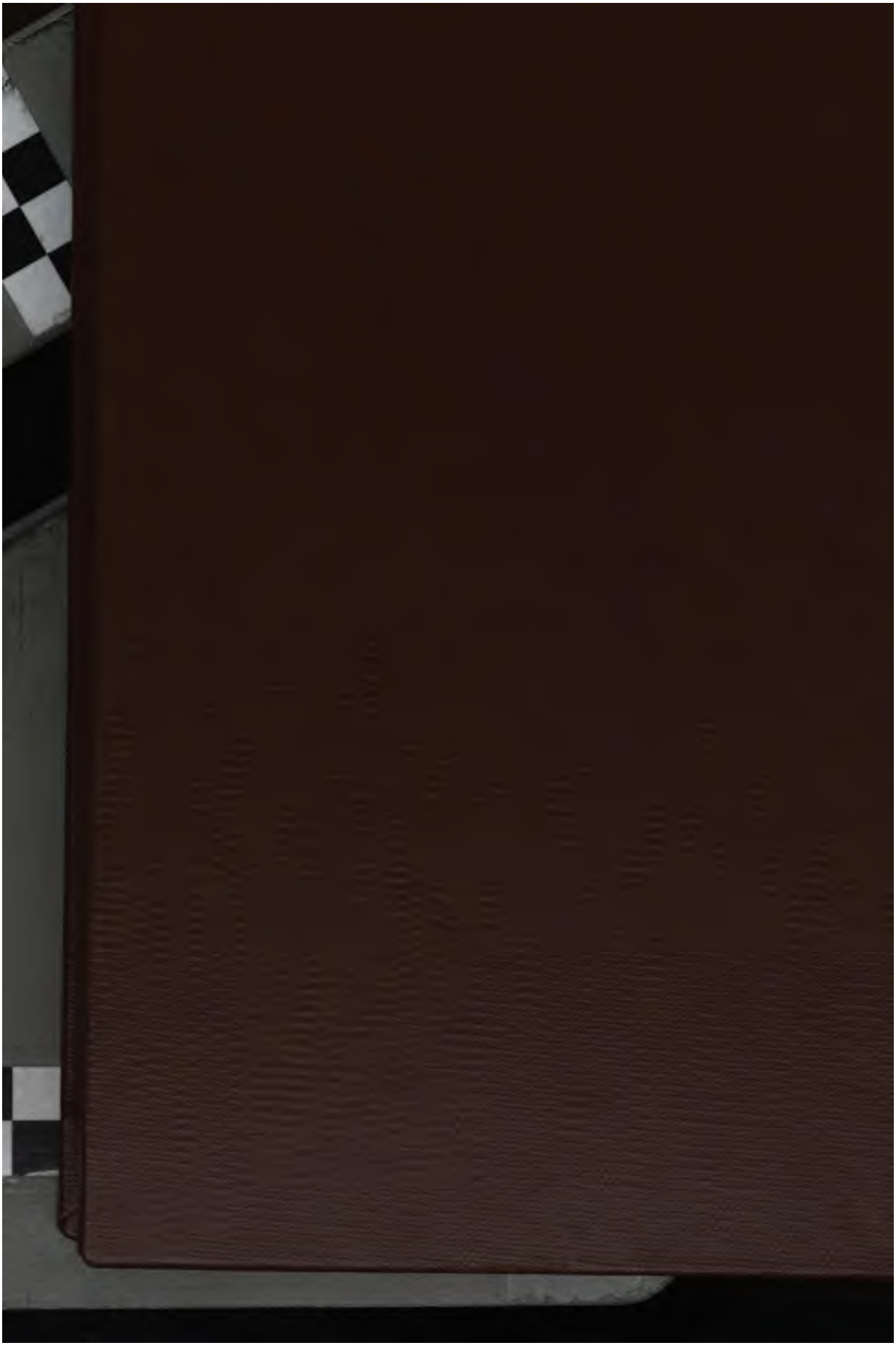
„Церковно-Земскій Соборъ 1551 г." I, 861—880.

Чаадаевъ, П. Я. II, 201, 202, 304, 309, 310, 312.
Челядининъ, И. П. I, 125, 216.
Чернышевъ, Г. Г., гр. II, 149.

Шафарикъ I, 892.
Шевченко, Т. Г. I, 892.
Шевыревъ, С. П. I, 7, 74, 83, 145; II, 399.
Шекспиръ II, 13, 14, 44, 45, 250, 260.
Шемячичъ, Вас. (XVI в.) I, 871.
Шиллеръ, II, 10, 26, 29, 44.
Шишковъ, А. С. II, 17, 49, 72.
Шлецеръ II, 66, 218.
Шлитте, Іоаннъ I, 127.
Шмурло, Е. Ф. II, 522.

Щелкаловъ, дьякъ I, 119.
Щербатовъ, М. М., кн. II, 109, 112, 119.

Эберфельдъ, Каспаръ I, 135.
Эверсъ, Х. Г. I, 111.
Экономосъ, Конст., прот. II, 53.
Эрикъ, шведск. король (Письмо къ нему п. Ив. Вас.) I, 86—87.

Юнгъ II, 6, 8.
Юрій Васильевичъ, кн. I, 110.
Ягичъ, И. В., акад. I, 397, 416, 795, 547.
Яковлевъ, В. А. (отзывъ о его учебникѣ по теоріи словесности) II, 461—472.
Ярославъ, вел. кн. I, 7, 8, 9, 10, 23, 24, 28, 29, 34—36, 41—49 (его время), 50, 56—57, 70—71, 76.

Ѳеодосій, архіеп. Новгородскій I, 174, 214, 221.
Ѳеодосій, еп. Коломенскій I, 214.
Ѳеокритъ II, 14, 60, 62.
Ѳеопемптъ, митроп. (XI в.) I, 23.
Ѳеофилъ, императоръ I, 146.